



**ТАЙНА
ВСЕХ
ТАЙН**



**ТАЙНА
ВСЕХ
ТАЙН**

**В МИРЕ
ФАНТАСТИКИ
И
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**

ТАЙНА
(ВОЕН)
ТАЙН

ЛЕНИЗДАТ • 1971

Составители:
Е. П. БРАНДИС и В. И. ДМИТРЕВСКИЙ

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

ГЕОРГИЙ МАРТЫНОВ

АСКОЛЬД ШЕЙКИН

ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

СЕРГЕЙ СНЕГОВ

ГЕННАДИЙ ГОР

АЛЕКСАНДР МЕЕРОВ



Лев Успенский

ЭН-ДВА-О ПЛЮС ИКС ДВАЖДЫ

ПОЛУФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЛЮДА БЕРГ И ПРОФЕССОР КОРОБОВ

Прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать маленький экзамен.

А. Чехов

— Ну что ж, милая барышня, — проговорил профессор Коробов, с сомнением глядя на Люду Берг, — что ж будем делать? Опасаюсь, что ваш коллега, — он покосился на застывшего на стуле Игорька, — знает всё это основательней... Но на то он и горняк. Он всё это небось Константину Федоровичу Белоглазову давным-давно сдал. А, что там: понимаю я вас! Год рождения? Ну вот! Оно и видно! Химиком быть не собираетесь? Ну вот... Нет у вас других дел, как растворы титровать... Сергей Игнатьевич! Разве я не прав?

Люда Берг, студентка третьего курса Первого медицинского, сидела, как пушкинская муза — «под лавку ножки, ручки в рукава». Игорь Строгов, явившийся вместе с ней только для храбрости, понимал ее: хвост

с первого года, и напросилась сдавать на дому! Ужас! От одного кабинета поджилки трясутся...

Профессорский кабинет был, как Игорек определил его внутренне, не от мира сего. Огромная комната, щедро освещенная майским солнцем. В открытое окно заглядывает ветка сирени: там — сад. На стене портрет дамы в очень открытом платье: масло... и подпись: «Копчаловский». С ума сойти!

Впервые в жизни горняк Строгов попал в такой кабинет, видел *живьем* профессора (да пуще того: членкора!) не на кафедре, не в лаборатории, а у себя дома...

— Так как же, Сережа? Зачем, что ли?

Полный, с не вполне обычным важным щегольством одетый, русобородый человек, лениво читавший английскую газету в дальнем углу, чуть пошелестел страницами.

— Я же не химик, Павлик... Я сопроматчик, — высоким капризным тенором проговорил он. — Я в химии ничего не понимаю.

Чем-то он был недоволен, бесспорно, но, пожалуй, не ответами студентки Берг. Он опустил на миг газету, и у Игоря сердце екнуло: «Еще того не легче! Это же Сладкопцевцев, из Техноложки... Из зверей зверь! Ну влипли!»

Доктор технических наук Сладкопцевцев поверх своей газеты взглянул на Люду. «Да махни ты на нее рукой, Павлик! — написалось на его лице. — Посмотри на ее нос. Разве он из тех носов, которыми фосфористые соединения отличают от мышьяковистых? Отпусти ее по добру-поздорову...»

У него были основания досадовать. Сговорились отправиться сегодня на машине на Пюхя-Ярви на рыбалку. Погода — прелесть! А старик не предупредил вчера. Он, оказывается, назначил зачет этому мимолетному виденью. Хвост у нее, видите ли: неорганика! Теперь какая же поездка!

— По-моему... коллега знает вполне удовлетворительно! — неожиданно добавил он и спрятался за газету.

Профессор Коробов через пенсне (пенсне!) подозрительно поглядел в его сторону:

— Вполне, по-твоему? Ну что же, быть по сему... Вообще-то говоря, на большинство вопросов мы как будто

ответили... Вот только с закисью азота у вас почему-то нелады. С *веселящим газом*... Как-то он жас, по-видимому, не слишком *развеселил*... Проскочили мимо в пылу зубрежки?

Люда Берг умела краснеть, как опоссумы умеют притворяться мертвыми, — необыкновенно, не так, как все. Даже враг номер один, Вадик, двоюродный, признавал: «Когда Людка краснеет, у нее, наверное, и пятки становятся розовыми, как у новорожденных!» А что? Очень возможно!

— Ой, Павел Николаевич, что вы! Я просто... как-то так... Я подумала — закись... Она же теперь почти не применяется... Медику с ней вообще никогда не придется встретиться...

Она сказала так потому, что вообразить себе не могла, какое действие произведут эти ее легкомысленные слова.

Членкор Коробов за секунду перед этим уже взял в мягкие пальцы великолепную паркеровскую вечную ручку, уже развернул Людочкину зачетку, уже занес перо над страничкой, на которой было помечено: «Фармакология — уд.; пат. анатомия — хор», и вдруг замер, точно споткнулся. Хуже того: он положил ручку на стол. Он прикусил нижнюю губу и даже часть аккуратной сеньской эспаньолки и уставился на Люду так, точно тут только заметил, что она внезапно появилась и сидит против него.

— Ах вот как вы полагаете, коллега! — каким-то совершенно новым, зловещим голосом протянул он, рассматривая Людочкину прическу, Людочкину блузку, Людочкину сумочку на коленях. — Не придется встретиться, говорите? Это — с закисью азота? С эн-два-о? Сергей Игнатьевич, ты, я полагаю, слышал? Ну а если, паче чаяния, всё же столкнетесь?

В случаях крайней опасности — «мрачной бездны на краю» — Людмила Берг применяла улыбку. Ту, которую тетя Соня именовала «сё сурир найф»¹ (Вадька свирепо переводил это как «подсмешка юной идиотки»). На любого фрунзенца, даже старших курсов, такой «сурир» действовал как команда «Ат-ста-вить!». Но бело-розовый старичок в черной шелковой тюбетеечке видывал, должно быть, на своем веку всякие «суриры». Он взял ручку со

¹ Эта наивная улыбочка (*франц.*).

стола и безнадежно навинтил на нее колпачок. И, навинтив, опустил ее, колпачком вверх, в хрустальный стакан. И откинулся в кресле.

— А если всё-таки придется вам с ней встретиться, уважаемая коллега? — с непонятной настойчивостью повторил он. — Сереженька, ты слышал: *Она ее* не встречала, а? А ну-ка, если ты сам не позабыл, припомни, голубчик, где и как мы с тобой на нее впервые напоролись, на закись-то эту самую? На ЭН-ДВА-О, да еще ПЛЮС ИКС ДВАЖДЫ? Сохранилось это событие в твоей памяти?

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Человек в кресле преобразился. Он шумно швырнул на ковер толстую стопку газет. Лицо его оживилось, точно он вдруг очнулся от спячки.

— Было бы по меньшей мере странно, Павлик, — высоким бабьим голосом, но с чрезвычайной энергией говорил он. — Было бы *нелепо*, если бы мы с тобой это запамятавали! Удивительно уже и то, что мы с тобой о нем так давно не вспоминали. Скажу сейчас! Мы шли на Щукин рынок, за яблоками для Анны Георгиевны... Нет! Для Лизаветочки! Был ветер, конец августа; по Забалканскому несло пыль...

— Не нынешнюю, Сереженька, тогдашнюю, желтую... Измельченный конский навоз! — со странным энтузиазмом подхватил Коробов...

— Как охра желтую! И вот как раз, выйдя на Фонтанку...

— Ей-богу, всё верно! Всё точно, молодые люди! — Членкор Коробов развел в стороны недлинные свои ручки. — Фонтанка, угол Забалканского! Обухов, следовательно, мост! На крышах: «Пейте „Майский бальзам“!» На воде — тысячи барок. Десятый год нашего удивительного века! Третья, не тем будь помянута, Государственная дума! Блерио перелетает Ла-Манш. Граф Роникер убил миллионера Огинского. Никаких вам газовых войн, никаких атомных бомб... А! Какие там атомные! Вон эту штуку именовали не «свет», а «электричество». Машину называли «мотором». Машиной тогда простонародье звало поезд. *Простонародье*, Сереженька, а? Ведь было же такое?!

Вот в этот-то день она и наскочила на нас... Прямо по Фонтанке, со стороны электрической станции Бельгийского общества. Как — кто? Она! *Они!* Закись азота...

— Он бегом бежал...

— Ну, скорее, шел очень быстро. На нем был старый морской офицерский плащ, с львиными мордами на застежке...

— И узкие брючки. И чудовищные лакированные башмаки: каблук набок, но лакированные. И — усы...

— Усы?! Ну какие же усы, Сергей Игнатьевич? Я его и не видел с усами: он уже носил бороду! Припомни: борода, как у царя Дария, и страшные глаза. Факирские глаза. Ужас, дорогая коллега! «Закись» тогда приняла обличье студента-технолога, каким были и мы оба. Ничего, это к ней шло; получилось нечто вроде писателя Гаршина перед кончиной — вид одухотворенный и не вполне здоровый...

Ну вот... Бородатый питерский студент шел нам навстречу по Фонтанке. Под мышкой у него были три толстые тома: на переплетах тисненные золотом орлы, следовательно — из Академической библиотеки. В левой руке он держал ломоть ситного (тогдашнего, его продавали караваями, величиной с прачечное корыто), в правой — фунта два чайной колбасы по восемь копеек фунт; на ней следовало бы ставить череп и кости для предупреждения... Зубы у него были белые, как у крокодила; он вгрызался ими поочередно то в растительную пищу, то в животную. Он был голоден.

— Павлик, а ты не перепутал? — улучил момент Сергей Сладкопевцев. — Это не десятый год — одиннадцатый... Еще Тамара пела в «Летнем Буффе». Шляпы были аршина полтора в поперечнике...

— Да оставь, Сергей Игнатьевич, какая Тамара, какой одиннадцатый?! В августе одиннадцатого Петра Столыпина — уже тово, в Киеве. А тут — вспомни конец истории: «Подлинный скрепил Председатель Совета Министров...»

— «Петр Столыпин!» Ты прав, как всегда, Павлуша... Август десятого!

— Конечно. А ты не забыл *его* первые слова? Он увидел технологов, вынул колбасу изо рта и на ходу: «Слушали фан дер Флита о коллоидах? Спорно? Споры — бессмысленны. Коллоиды — чушь. Есть вещи поважнее».

— Да. И ты еще спросил его не без яда: «А может быть, вы сообщите нам, какие *вещи* вы имеете в виду, милостивый государь?»

— А он, опять набив рот полуфунтом студенческой, уже разминувшись с нами, этак нечленораздельно, через плечо: «Жакиш! Жакись ажота! Эн-два-о... Не интересно? Ничего, придется заинтересоваться!»

— И ведь что ты скажешь, Павлушенька: жаинтересовались! Еще как!

— Да-с, милая барышня: встретились мы с этой за-кисью, не станем скрывать — встретились! И в неблагоприятных условиях. Ну... Вы теперь нам, двум почтенным склеротикам, вправе и не поверить, но ведь сколько нам тогда лет было? Да не намного больше, чем сегодня вам. Ему двадцать, мне — двадцать один. «Жакиши» этой самой, *ему*, и то было не больше двадцати трех... Хотя... За него никто и ни в чем не мог бы поручиться... Но так или иначе — молодозелено! Вроде вас, вроде вас...

Павел Коробов, доктор, членкор, лауреат, остановился на полуслове, как язык прикусил. Как-то понурясь, он облокотился, положил подбородок на руку и уставился вдаль, не то на сиреневую ветку, не то на портрет на стене... Дама с портрета улыбалась странной, не очень доброй улыбкой...

Профессор Сладкопевцев, встав с кресла, подошел к двери на маленький балкон, взялся за притолоку и тоже молча задумался.

«Вот на кого он похож: на Стиву Облонского!» — обрадовался Игорь.

Было неловко прервать это малопонятное молчание старших. «Семьдесят лет? — вдруг подумала Людочка. — Ужас какой! А были студентами, за яблоками бегали...» Ей стало холодновато...

Деликатно прикрыв рот ладошкой, Люда осторожно зевнула. Фрунзенцы и дзержинцы любого курса содрогнулись бы от такого сдержанного зевка — «Людочке скучно!» Но профессор Коробов безусловно привык считать девичьи зевки тысячами; он даже не заметил *этого*. Тем не менее он вдруг встрепенулся:

— Вот что, дорогие коллеги и, главное, ты, Сергей Игнатьевич! Что там ни говори, а молодые люди эти разрушили наши с тобой планы. Вдребезги. До основания!

Ты всю ночь лелеял каких-то там своих упарышей или занорышей, мормышки точил... Я тоже спал беспокойно. А вон — двенадцатый час, куда же ехать? Всё убито, как мой лаборант говорит...

Да нет, мои юные друзья, судите сами. Двое старцев собрались в кои-то веки на лоно. Он половить лососей или там омулей, не знаю кого. Я — с кукушкой поконсультироваться, сколько она мне лет накукует... И вот... Ну... «Мне отмщение, и аз воздам!» Сейчас мы им воздадим, Сереженька! Казнь я уже придумал — такую казнь, чтоб царь Иван Василич... Мы и сами никуда не поедem и их не пустим. Мы повелим, чтобы Марья Михайловна распаковывала твой «Мартель» и мой эти... как их? Ну, ну, не бутерброды, а... сэндвичи, а то ты меня убьешь, и еще хороший кофе. И заставим мы их разделить с нами трапезу. Но главная пытка не в этом. Мы усадим их и поведаем им *всё* про закись азота. Всю историю, грустную, но поучительную, и в то же время правдивую от первого слова до последнего. «Нет повести печальнее на свете», чем повесть о Венцеслао Шишкине, о Сереженька! Ведь я не преувеличиваю? Об одном из величайших химиков того мира; о человеке, достойном мемуаров и памятников, если бы... О судьбе поразительной и невнятной. О том, что было и чего не стало...

Сергей Игнатьевич, ты только подумай! Та наука, к служению которой готовились мы с тобой когда-то, — разве она похожа на нынешнюю? Совершенно не похожа. Те проблемы, которые были для нее передовыми, — где они теперь, в каком далеком тылу мы их оставили?.. Те методы, которыми тогда работали ученые, — кто теперь применяет их? Так пусть же они заглянут в то наше «тогда». Пусть они увидят, каким оно было... Отказываться? Ничего не получится, милая барышня... Матрикул-то ваш... Прошу прощения, *зачётка*-то ваша — вот она! И он ее еще не подписал, этот вздорный старик Коробов. Так вот: с закисью азота вы еще как-нибудь разберетесь, а с Коробовым не советую конфликтовать...

Решено? Принято? Сережа, будь другом: сходи к Марье Михайловне на кухню...

БАККАЛАУРО В ГОДУ ОДИННАДЦАТОМ

То был еще не старый мужчина, готовый ко всяким неожиданностям...

Дж. Хантер. «Охотник»

В те весьма далекие годы — молодые люди, не заставляйте себя угощать! — я, студент третьего курса Санкт-Петербургского имени императора Николая Первого Технологического института, снимал комнату на Можайской улице, неподалеку от своей альма-матер... Годы были глуховатые, жизнь спокойная; к лету на трех четвертях питерских окон появлялись белые билетки — сдавались квартиры, комнаты, углы.

Мне повезло: вот уже три года, как мне попались чудесные хозяйки, менять местожительство — никаких оснований.

Глава семьи — сорокапятилетняя вдова полковника, убитого под Ляояном, моложавая еще дама, с чуть заметными усиками, с таким цветом лица, что хоть на обертку мыла «Молодость». При ней — дочка, Лизаветочка, прямая курсистка из чириковского романа. Рост — играй Любашу из «Царской невесты». Русая коса ниже пояса; глаза серые, строго-ласковые, сказал бы я. И туповатенький, несколько даже простонародный мягкий нос... В общем, на что хочешь, на то и поверни: можно Нестерову любую кержачку в «Великом постриге» писать, можно Ярошенке — народоволку-бомбистку. Кто их знает, каким образом появлялись тогда в русских интеллигентских семьях этикие удивительные девы, среднее пропорциональное между Марфой у Мусоргского в «Хованщине» и Софьей Перовской. Такие — то сдобные булочки с тмином пекли, вспыхивая при слове «жених», то вдруг уезжали по вырванному силой паспорту в Париж, становились Мариями Башкирцевыми или Софьями Ковалевскими, стреляли в губернаторов, провозили нелегалыцину через границу... Знаете, у Серова — «Девушка, освещенная солнцем»? Вот это — Лизаветочкин тип...

Жил я у них с девятьсот восьмого, холерного года; стал давно полусвоим. Ну чего уж на старости лет кокетничать: да, нравилась мне она, Лизавета... Но время-то было, молодые люди, какое? Вам этого и не понять без комментариев. Нравилась, нравилась, а — кому? Студен-

ту без положения... Э, нет, таланты, способности не коти- ровались... Человек — золотом по мрамору в учебном за- ведении на доске вырезан, а тело его лежит в покойниц- кой, и на него бирка «в прозекторскую» повешена, потому что востребовать тело некому. Или, кашляя кровью, обивает со своим патентом министерские пороги: «Сколько раз приказывал — не пускать ко мне этих санкюдотных Невтонов!» Нет, студент — это не «пар- тия».

Впрочем, и сама Лизаветочка тоже летала невысоко: бесприданница.

Во «Всем Петербурге» — справочнике, толщиной с Остромирово евангелие, но куда более остром по содер- жанию, — значилось: «*СВИДЕРСКАЯ*, Анна Георгиевна, дворянка, вдова полковника. Можайская, 4, кв. 37».

Ох, как много таких дворянок, с дочерьми, тоже стол- бовыми дворянками, перекатывались из кулъка в рогожку по Северной Пальмире. Заводили чулочно-вязальные мастерские. Мечтали выиграть двести тысяч по заветному билету. В великой тайне работали белошвейками или кружевницами на какую-нибудь «мадам Жюли». Посту- пали в лектрисы к выжившим из ума барыням, или — всего проще и всего вернее — сняв барскую квартиру, превращали ее в общежитие, сдавая от себя комнаты жильцам.

Так вот шла жизнь и на Можайской, 4, — с хлеба на воду, на какой-то таинственный «дяди Женин капитал», который не мог же быть вечным. А когда дядя Женья ис- сякнет, тогда что?

Лизаветочке нашей к одиннадцатому году стало — сколько, Сережа? — да, верно, уж двадцать, а то и два- дцать один год: без пяти минут вековуша. Но в то же время — какой у нас с ней мог быть выход? Соединить два «ничего»? И в учебнике латинского языка утвержда- лось: «Экс нигило — нигиль фит!» — «Из ничего ничего и не получится»...

Да, но жили-то мы рядом. Так — ни за что ни про что — сдать? Этого молодость не терпит... И получилось из нас нечто вроде родственников, вроде как двоюродные брат и сестра. А была и такая — французская на сей раз — пословица: «Кузинáж — данжерё вуазинáж!»¹

¹ Двоюродный брат — опасный сосед! (франц.)

«Ой, Анечка, милочка, смотрите... Теперь за молодыми людьми глаз да глаз нужен!»

Комнатушка моя, под стать хозяйкам, была типичным студенческим честным обиталищем. Студенческим, но, по правде говоря, из наилучших: о таких боялись даже мечтать наши матери где-нибудь там над Тёзой или над Сюзюмом...

Пятый этаж. Дальше — крыша. Метров? Ну на метры тогда счета не было: полагаю, пятнадцать, что ли, на нынешний счет. А, Сережа? Узкое длинное пристанище. Чистота идеальная, не моя, хозяйская, — следили. Направо — железная кровать; никелированную тогда студенту было как-то неприлично поставить: вроде намека какой-то. Насупротив — утлый диванчик с серенькой рипсовой обивкой. В углу за дверью рукомойник с педалью, с доской фальшивого мрамора...

Единственное окно выходило на юго-запад. По горячему от солнца железному подоконнику целый день, страстно воркуя, топотали жирные — на Сенной питались — питерские голуби. Направо виднелся брандмауэр бокового флигеля. На соседнем окне был укреплен зеленый ларь «для провизии», с круглыми дырками в стенках — вместо холодильника. Теперь такие лари редко увидишь, а слова «провизия» и вовсе не услышишь. А мы бы тогда вашего «продукты» не поняли. Вон у Даля как сказано: «Продукт — противоположно «эдукт» — извлечение!»

У окна, помнится, стояла хрупкая этажерочка. На ее верхней полке, над томиками «Шиповника», «Фьордов», да курсом химии Меншуткина-старшего, заботами Лизаветочки обыкновенно устраивалось этакое «томление умирающих лилий» — два-три подснежника или ночная фиалка в простенькой вазочке. За окном — то пыльное марево душного петербургского полдня, то таинственная, непривычная для саратовца или полтавца, белая ночь. Купола Троицкого собора рисуются на белесом небе, как из темной бумаги вырезанные. Правее — не слишком яркая на свету Венера. Простенькие обои странно серебрятся. И Лизаветочкино широкоскулое милое лицо начинает представляться лицом этакой гамсуновской Эдварды, а может быть, какой-нибудь Раутенделейн. До химии ли тут?

Сергей Игнатьевич, друг мой, скажи: ведь, наверное, вон они и сейчас *всё это* видят? Такой же свет в мире?

Почему же он от нас ушел? Возраст, возраст! Несправедливо это!

Ко мне на это мое «пятое небо» охотно забредали товарищи: вот он, Сладкопевцев, совсем иного круга человек, сын фабриканта, коллега солидный; Петя Ефремов такой, Толя Траубенберг и он же почему-то Лапшин — он теперь, кстати, крупный юрист в Киеве, Сереженька! — Сёлик Проектор — ныне, не поверите, говорят: мульти-миллионер в бельгийском Конго, скотом торгует, гуртовщик... Всем нравились чистота, уют; обстановка, и семейная и студенческая. Ну и подружки Лизаветочки — стебутовки — курсистки сельскохозяйственных курсов Стебута; художницы от Штиглица; консерваторки — тоже, конечно, занимали, надо думать, воображение... Вместе мерзли зимними ночами в уличных очередях на Шалыпина или на «Художников», вместе с шумом ходили в «Незабудку» — смертоубийственную «греческую кухмистерскую» на углу Клинского... Вот сейчас вспомнил про нее, и как-то странно под ложечкой сделалось — подходящее было название! Ну и говорили, говорили, говорили — без конца!

К великому моему сожалению, не могу знать — о чем и как беседует теперь между собою ваше юное поколение. Думается, замечательные должны быть у вас разговоры, не нашим тогдашним чета... Но, грех отрицать, и мы держали высоко. Посягали, как говорится, на всю Вселенную, от зенита до надира. Помнишь, Сергей Игнатьич, как тебе Севка Знаменский, «поэта максимус», в письме написал:

...Давай беседовать об этом и о том:

О Ницше пламенном, о каменном Толстом,

А — хочешь? — о любви. А то — о Метерлинке?

Об аналитике, о глине и суглинке,

О Чарльзе Дарвине иль о «Поэм д'экстаз»,

Но альма-матер пусть совсем оставит нас...

Так вот и ширяли от одного к другому. Начнем, бывало, со Сванте Аррениуса, пройдем, сравнительно мирно, через анаэробных бацилл, коснемся опытов Шмида по анабиозу, и вдруг — как обрушимся на господа бога и всех святых! А то — на господина Бердяева и Зинаиду Гиппиус (почему это все Гиппиусы всегда бывают рыжие?)... Или сцепятся декаденты и читатели «Вестника Европы»... И всё вызывало шум, перепалки, хрипоту в горле, восторг и негодование...

Сегодня собирают деньги на стачечников в Казани, а завтра терзают друг друга по поводу андреевской «Бездны». Нынче Анна Павлова, покорив Европу, воротилась в родную Мариинку, а там всё внимание отдано капитану Льву Макаровичу Мациевичу, первой трагической жертве воздушной стихии. Это мы собирали деньги на венок летчику Мациевичу — венок с *красными* лентами. Это мы, в другой день, выпрягали лошадь у извозца и везли на себе в гостиницу Лидочку Липковскую, знаменитое колоратурное сопрано и прелестную женщину... Мы протестовали против Кассо, министра народного образования, сверххракобеса... Мы декламировали крамольные стихи Саши Черного. Мы ломились на лекции Бальмонта, на концерты Скрябина, на «Недели авиации»... До всего нам было дело, во всё студенчество совало нос. И как-то странно, что многие из нас — и мы с тобой, друг Сереженька! — при таком шумстве самого главного, того, к чему всё это шло, и не разглядели. Не заметили. Уж чего там говорить: да!..

Казалось бы — буйная деятельность. Но в то же время, что это был за медленный, почти неподвижный первобытный мир вокруг нас! «Как посмотреть, да по-сравнить век нынешний и век минувший...» Сам себе не веришь!

Только за три года до этого в Питере пошел трамвай. Буквально вчера появились первые «синематографы», они же «иллюзионы», они же и «биоскопы»: не сразу придумалось, как это чудо называть. Фонари на улицах были где газовые, а где и керосиновые; электричество горело на десятке улиц.

Читая Уэллса, все понимали: это — фантазия, всякие тепловые лучи да черные дымы. А реальный мир в чем? Вот он — в городках Окуровых, в их пыли, в одичавших вишневых садах с натеками клея на заскорузлых стволах. Реальный мир — никем не тревожимые версты топчей ржи, перемешанной с пышными васильками и куколем, прорезанной узкими межами. Вот это — реальность, это — навсегда. И так тяжело лежало на нас сознание незыблемости, неотвратимости, предвечности дворянских околышей на станционных платформах, жандармских аксельбантов рядом с вокзальными колоколами, жалобных книг и унтеров пришибеовых всюду, от погоста Дуныни до Зимнего дворца в Петербурге, что волей-неволей все мы — интеллигенты! — душами тянулись ко всему

необычному, новому, неожиданному, дерзкому, откуда бы оно ни приходило к нам: с неба или из преисподней...

Я думаю, именно в связи с этим нашим свойством, в своем неоспоримом качестве странного человека, оригинала, таинственной личности, овладел всеобщим вниманием и студент-технолог Вячеслав Шишкин. Вскоре после той памятной первой встречи с нами на Фонтанке он неожиданно, без всякого уговора или приглашения, заявился на моем тихом пятом этаже.

Надо признать: он мог-таки произвести немалое впечатление. Он не укладывался ни в какие рамки, воспринимался как исключение и загадка: ни богу свечка, ни черту кочерга, капитан Копейкин какой-то...

Он носил *цыганскую фамилию*, потому что родился от матери-цыганки и никогда не был узаконен отцом. Отец был генерал в отставке, владел какими-то тысячами десятин в краю толстовского Мишуки Налымова, носил странную фамилию Болдырев-Шкафт и при огромном беспорядочном состоянии обладал огромным беспорядочным нравом. Сам Шишкин отзывался о нем неясно, больше вертел пальцем передо лбом: «Старик — ничего. Но *этого* бог ему не дал!»

Юный Шишкин стал Вячеславом по прихоти отца. А вот в *Венцеслао* — так он всюду подписывался — он превратился по особым причинам и много позже.

Однажды Сёлик Проектор — теперь respectable конголезец, а тогда скромнейший и прилежнейший студент Технологжки, — копаясь в Публичной библиотеке в книгах по истории химии, наткнулся на изданную года три назад в Мантуе на сладчайшем итальянском языке тощенькую, но презанимательную брошюру: «Кѣмика, дѣльи, тѣмпи футури» — «Химия будущего» именовалась она. Под заголовком, на титульном листе, — это редкость на Западе — стояла дата: 1908 год, а наверху было скромно обозначено:

ВЕНЦЕСЛАО ШИШКИН (баккалауро)

Сёля Проектор оторопел. Едва встретив в институте нашего бородача, он кинулся к нему:

— Скажите, коллега... Это случайно не вы?

Шишкин не сморгнул глазом. Взяв на секунду брошюру в руку, он равнодушно положил ее на стол:

— Почему — случайно? Я! Старье! Не интересно. Всё будет иначе, — ответил он.

Естественно, на него насели:

— Слушайте, Шишкин, но почему же? Почему Мантуя? Почему итальянский язык?

Расспросы ему не понравились.

— А не всё ли равно какой? — пожал он плечами. — Ну, Мантуя... Это мне *Гаврила Благовещенский* устроил...

Мы так бы и остались в неведении — кого он так именовал, если бы некоторое время спустя в институт не пришло на имя Венцеслао Шишкина письмо из Фиуме. На конверте был обратный адрес: «Рóма, такая-то гостиница. Габриэль д'Аннунцио, король поэтов». Аннунцио по-итальянски и есть «благовещенье»; а Габриэль д'Аннунцио был в те дни «величайшим», «несравненным», «божественным» итальянским декадентом. Это позднее он стал фашистом и другом Муссолини.

Мы так никогда не узнали, как и почему «баккалауро» свел знакомство со столь шумной и пресловутой личностью, о чем тот писал ему в письме, почему прислал с полдюжины своих фотографий с напыщенными и трудно переводимыми надписями. Но имя Венцеслао, так же как и звучное звание баккалауро, закрепилось за технологом Шишкиным навсегда.

Венцеслао был юношей среднего роста. Предки-цыгане наградили его тонкой, как у восточного танцора, поясницей, при сравнительно широких и мускулистых плечах. Руки и ступни ног у него были малы, точно у непальского раджи, но тонкими пальцами своими он, если находился меценат, склонный оплатить дорогостоящий опыт, без особого труда сгибал пополам серебряные гривенники.

К смуглому красногубому лицу его — интересно, что бы сказали о нем вы, коллега Берг? — по-своему шла большая, угольно-черная, без блеска, ассирийская борода. Зубы — реклама насты «Одоль»; на белках глаз и лунках ногтей чуть заметный синеватый оттенок... В те периоды, когда генерал Болдырев вспоминал о сыне, сын, одетый с нерусским небрежным щегольством, начинал походить на индийского принца, обучающегося в Кембридже: изучает «Хабеас корпус», но, едва кончив курс, вернется к своим женам, своим гуркасам и к священному крокодилу в пруду под священным деревом с белыми священными цветами.

Если же папаша менял настроение (что случалось чаще), Венцеслао быстро приходил в захудание. Ободраный, всклокоченный, весь в пятнах от всяких реактивов, он в такие дни проходил сквозь строй студентов, как сквозь толпу призраков, ему незримых. Он шел и смотрел вперед глазами маньяка, случайно ускользнувшего из дома умалишенных.

При первой встрече он показался нам малопривлекательным ломакой. Но скоро выяснилось, что дело обстоит сложнее. В его матрикуле царил удивительный кавардак. Там были — как и у вас, коллега Берг! — «хвосты» за самые первые семестры; а в то же время профессор Курбатов, далеко не такой кротости ученый, как ваш покорный слуга, — зачел ему сложнейшие работы последних курсов... Я ни на что не намекаю, нет, нет...

Случалось, бакалавро являлся мрачным на простейший зачет, высиживал в грозном молчании час или два, вслушиваясь в ответы, внезапно вставал и уходил. «Не подготовлен... Не смею отнимать драгоценное время...» Бывало, он резался не на жизнь, а на смерть с самыми свирепыми экзаменаторами, забрасывая их парадоксами; дерзил, говорил резкости и уносил всё же с поля боя завоеванную в битве пятерку. И когда его кидались поздравлять, сердито цедил сквозь зубы: «А, это всё — чепуха!»

Его давно уже перестали спрашивать: «А что же — не чепуха?» Если кто-либо новенький задавал этот вопрос, Шишкин прожигал его насквозь огненным взглядом. «Закись азота!» — с маниакальным постоянством, сразу утрачивая чувство юмора, бросал он. Так к этому и относились: «Пунктик!»

Черты его личности открывались нам постепенно и не вдруг: так дети подбирают картинки из причудливо вырезанных деталей. Узнали, что живет он где-то у черта на куличках, на Малой Охте или за Невской лаврой; снимает угол у хозяина. Нельзя понять: то ли он за стол и квартиру консультирует этого хозяина — гальваноопласта и никелировщика, то ли договорился и в его мастерской проводит какие-то собственные опыты... И — чем дальше, тем больше — всё, что нам удавалось узнать о нашем Шишкине, пропитывалось дымкой какой-то таинственности.

На моем личном горизонте он некоторое время маячил вдали, «в просторе моря голубом». И вдруг, в роковой

день, крайне заинтригованная Анна Георгиевна прошептала мне в прихожей:

— Павлик, вас там кто-то дожидается... Кто это?

Я заглянул в щелку:

— Это? Баккалауро... Шишкин!

Ее глаза недоуменно округлились; но ведь сверх сего я и сам ничего не знал.

Венцеслао сидел на углу диване моем, пребывая в перигелии, в лучах отеческой любви. На столе стояла корзинка от Елисеевых с разными «гурмандизамп». Рядом красовалась бутылка хорошего вина, а владелец всего этого изобилия, аккуратно сняв ботинки, оставшись в новеньких шелковых носках, уронив на пол газету «Речь», дремал в задумчивой позе с таким видом, точно привык тут дремать уже много лет.

С этих пор его постоянно можно было встретить у меня: на Можайской, 4, он стал... Ну нет, это было бы неверное утверждение: своим он стать не мог нигде. Таким своим может оказаться разве лишь страус в стаде быстроногих антилоп: бежим вместе, но вы млекопитающие, а я — птица!

Среди нас он выглядел марсианином. Анна Георгиевна скоро пришла к мысли, что он пришелец из мира четвертого измерения: она почитывала романы Крыжановской-Рочестер, не к ночи будь таковая помянута... Мило общаясь с нами на некоем определенном уровне, он никогда не позволял с собой никакой фамильярной близости.

Скоро с разных сторон до нас стали доходить самые странные и маловероятные рассказы о нем, о Шишкине. Он не подтверждал и не отрицал даже самых неправдоподобных сплетен. Но странно, если недоверчивые скептики брались от случая к случаю проверять любую такую околесицу, всякий раз оказывалось: да, так оно и было! По меньшей мере — вроде того...

В институтской канцелярии, как во всех институтах, и тогда работали дамы. Через них стало известно: Венцеслао Шишкину сам Дон-Жуан де Маранья в подметки не годится.

Вот, скажем, лишь год назад кто-то по оплошности порекомендовал его на лето репетитором в чопорную баронскую семью Клуки фон Клугенау. Против желания баронессы, заменив собою внезапно заболевшего учителя из Петер-шULE, он отправился куда-то под Пернау, в баронский майорат. Фрау баронин поначалу видеть

не желала этого неаполитанского лаццарони: «Эр ист цу мálериш фюр айн Лёрэр...»¹

А месяца через два — взрыв. И фрау баронин, и восемнадцатилетняя баронэссерль Мицци без памяти влюбились в этого страшного человека. Фрейлейн бегала на набережную с намерением утопиться. Матушка будто бы приняла яд, но баккалауро недаром был химиком: он спас ее каким-то подручным противоядием. Генерал Клуки рвал и метал, но не на «негодяя», а на своих дам: негодяй, по его словам, вел себя, как подобает дворянину, хотя в чем это выражалось, до нас не дошло.

Утка? Да как сказать? Не на сто процентов. Нам всем был знаком массивный и по-немецки аляповатый золотой портсигар Венцеслао, в виде этакого полена; в трудные дни он охотно предоставлял его нуждающимся для залога в ломбарде.

Так вот, внутри этой штуковины готическим прифтом были под баронской коронкой награвированы два имени — «Катаринэ» и «Мицци»...

Уверяли, будто однажды, посреди чемпионата французской борьбы в цирке «Модерн», когда не то Лурих, не то финн Туомисто вызвали желающих испытать счастья, из рядов поднялся чернобородый студент-технолог и принял вызов. Матч Лурих — студент в маске будто бы состоялся и закончился вничью. Купчихи в ложах сходили с ума, Николай Брешко-Брешковский напечатал в «Биржевке» хлесткий фельетон «Стальной бородач», а скульптор Свирская долго умоляла Венцеслао позировать ей для вакхической группы «Нимфа и молодой сатир»... Баккалауро отказался.

Мы бы рады были не верить такой ерунде, но вот однажды...

Мы — я, Сережа (вот он!), еще двое-трое студюзов, баккалауро в том числе, — шли теплым весенним вечером по Милльонной к Летнему саду. Дурили, эпатировали буржуазию, смущали городских.

Внезапно нас догоняет великолепный темно-синий посольский «фиат», с итальянским флажком на радиаторе. И маркиз Андреа Карлотти ди Рипарбелла, министр и чрезвычайный посол Италии в Санкт-Петербурге, улыбаясь прелестно, машет оттуда роскошной шляпой белого фётра. Машет — нам?!

¹ Он чрезмерно живописен для репетитора (нем.).

Мы удивились, Шишкин — нет. Венцеслао передал кому-то из нас фунта три ветчинных обрезков, которые в пергаментной бумажке нес в руке (мы имели в виду поехать на Елагин на финском пароходике), подошел к остановившемуся поодаль «мотору», обменялся несколькими негромкими словами с его владельцем, сел рядом с любезно приподнявшим в нашу сторону шляпу маркизом, крикнул: «Завтра на Можайской!» — и был таков... Куда, зачем, почему с Карлотти?

Мы даже не пытались у него спросить об этом. На подобные вопросы бакалауро никогда никому не отвечал... Да мы уже и привыкли: марсианин! Мы — вроде планет — ходим по эллипсам, а он движется по какой-то параболе. Откуда-то прибыл, куда-нибудь может уйти...

...Нет, отчего же? Он превесело танцевал с барышнями на наших вечеринках, принимал участие в наших спорах (а принимал ли? Больше ведь слушал!), мог даже подтянуть «Через тумбу-тумбу — раз!» или «Выпьем мы за того, кто «Что делать?» писал...» Но ведь никогда он не соблазнился распить по бутылочке черного пивка в «Европе» на Забалканском, 16, не орал до хрипоты «Грановская!» в «Невском фарсе», не был приписан ни к какому землячеству... И весной, когда мы все перелетными птицами после долгого стояния в ночных очередях у билетных касс на Конюшенной (помнишь, Сергей Игнатьевич? «Коллега из Витебска! Список № 82 у коллеги из Нижнего в чулках со стрелкой») разлетались кто на Волгу, кто на Полтавщину, — он не волновался, не записывался у коллеги со стрелкой, не хлопотал.

Каждую весну он одинаково спокойно приобретал запово в магазине на Сенной обычное ножное точило, с каким «точить ножи-ножницы!» ходили тогда по Руси бесчисленные мужики-кустари. С ним он садился в поезд на Варшавском вокзале, доезжал до Вержболова (а в другие годы — до Волочиска) и оттуда, со своей немудрящей механикой за плечами, с заграничным паспортом в кармане, уходил пешком за царскую границу.

Там, в Европах, представьте себе, не было таких «точить ножи-ножницы!». Там по отличным шоссе ездили громоздкие точильные мастерские на колесах. Но им было не проникнуть в глухие углы Шварцвальда, не забраться в Пиренеях на склоны Канигу́, не спуститься в камышовые поймы Роны или По... А бакалауро все пути были открыты. И к осени, обойдя весь старый ма-

которой к баккалауро уже заставляло нас обмениваться понимающими взглядами, была этим немного огорчена и немного обеспокоена.

Прошла фомина неделя. Шишкин не объявлялся. Правда, Ольга Стаклэ, могучая стебутовка, видела его на углу Ломанского и Сампсониевского, но он ее не заметил, вскочил на паровичок и уехал в Лесной...

Лизаветочкин день ангела из года в год отмечался пиром, подобного которому студенчество не видывало.

Задолго до срока всё в квартире становилось вверх дном. Переставляли мебель. Полотеры неистовствовали. Кулинарные заготовки производились в лукулловских масштабах. На моей этажерочке теперь то и дело я находил то коробку с мускатным орехом, то пузырек, полный рыжих, как борода перса, пряно и сладко пахнущих волокон: шафран! Можно было увидеть здесь и лиловато-коричневый стручок ванили, как бы тронутый инеем, в тоненькой стеклянной пробирочке.

Из неведомых далей — не с горы ли Броккен на помеле? — прибывала крючконосая Федосьюшка, «куфарка за повара», и получала самодержавную власть над кухней. Портнихи — рты, полные булавок, — часами ползали на коленях вокруг именинницы и ее матушки. На плите что-то неустанно и завлекательно урчало, кипело, пузырилось, благоухало. Уже на лестничной площадке чужлось: то припахивает словно миндальным тортом, а то вот теперь повеяло вроде как «Царским вереском» или «Четырьмя королями»... Ветер сквозь только что выставленные окна листал пропитанные всеми жирами и сахарами страницы «Подарка молодым хозяйкам» Елены Малаховец... Мелькали озабоченные тети Мани, тети Веры; шмыгали, шушукались, жемчужным смехом хохотали Лизаветочкины подруги; важно восседали в креслах, консультируя закройщиц и швей, полногрудые приятельницы Анны Георгиевны...

В этой кутерьме и для меня находилось дело. Конечно, от студента проку мало, но все же — только мужчина должен ехать к кондитеру Берэн за сливочными меренгами; в этих кондитерских можно встретить таких нахалов!

Или — боже мой! — а гиацинты-то?! Сколько Лизочке лет? Значит, двадцать гиацинтов должны стоять на столе; так всегда бывало!.. Ехалось на Морскую, 17, к Мари Лайлль («Пармских фиалок не желаете-с?»). Вот так!

И я, и мои друзья целыми днями крутили мясорубки, мёленки для миндаля, растирали желтки, взбивали белки, кололи простые и грецкие орехи, с важными минами пробоvalи попережку и сладкое, и кислое, и соленое.. Эх, чего не попробуешь, когда тебе двадцать с небольшим, а ложку к твоим губам подносят милые, выше локтя открытые девичьи руки, все в муке и сахарной пудре, и па тебя смотрят из-под наспех повязанной косынки большие, умные, вопросительные глаза... Впрочем, это уже лирика; простите старика: расчувствовался...

В том году я оказался в особом разгоне в самый канун торжества, в егорьев день. Ох, то был денек: все Юрочки и все Шурочки именинницы! На улицах — флаги: тезоименитство наибольшей «Шурочки» — императрицы... Тóртов — не получить; извозцы дерут втридорога...

...Я сломя голову летел вниз по лестнице, и с разгона наскочил на Венцеслао. Господин Шишкин неторопливо поднимался к нам. Какие там дары: в одной руке он нес коричневую, обтянутую кожей тубу, в каких и тогда хранили чертежи; другую руку оттягивал предмет неожиданной: средних размеров химическая «бомба» — толстостенный чугунный сосуд для сжатых под давлением газов. Эта бомба была приспособлена для переноски; как у чемодана, у нее была наверху кожаная ручка, прикрепленная к рыжим ремням; на одном из концов цилиндра я заметил краник с маленьким манометром; другой был глухим.

Баккалауро небрежно нес свой вовсе не именинный груз, но на лице его лежало странное выражение не мотивированного ничем торжества, смешанного со снисходительным благодушием. Он поднимался по лестнице дома № 4, как какой-нибудь ассирийский сатрап, как триумфатор! Это раздосадовало меня, тем более что я торопился.

— Свинья ты, баккалауро! — на бегу бросил я. — Хоть бы по телефону позвонил... Да в том дело, что Лизаветочка именинница завтра, а ты...

Он даже не снизошел до оправданий.

— А... Ну как-нибудь... — совсем уже беспардонно пробормотал он.

И я — помчался. И по-настоящему столкнулся я с ним только поздно вечером, ввалившись наконец в свою комнату.

Венцеслао был там. Лежа на диване, он курил, стряхивая пепел в поставленный на пол таз из-под рукомойника. Не будь окно распахнуто, он давно погиб бы от самоудушения. Та самая туба для чертежей валялась на моей кровати, а газовая бомба, раскорячив короткие, как у таксы, кривые ножки, стояла под столом у окна. На стуле у дивана виднелись тарелки, пустой стакан. Лежала развернутая книга. Приспособить бакакалауро к делу, конечно, никому и в голову не пришло, а вот покормить его вкусеньким вдова полковника Свицерского, разумеется, не преминула.

Обычно Венцеслао, встречаясь, проявлял некоторую радость. На сей раз ничего подобного не последовало. Бородатый человек лежал недвижно и смотрел в потолок; и только красный кончик кручёнки (он не признавал папирос) описывал в темноте причудливые эволюты и эвольвенты.

— Бакакалауро, ты что? Нездоров?

Он и тут не соблаговолил сразу встать. Он всё лежал; потом, спустив ноги с дивана, сел. Я щелкнул выключателем. Он смотрел на меня с тем самым выражением монаршего благоволения, которое бросилось мне в глаза на лестнице. Потом странная искра промелькнула в его угольно-черных глазах. Неестественный такой огонек, как у актера, играющего Поприщина...

— Павел, я всё кончил! — произнес он незнакомым мне голосом.

Было странно, что за этими словами не прозвучало торжественное «Аминь!». Таким тоном мог бы Гете сообщить о завершении второй части «Фауста». Наполеон мог так сказать Жозефине: «Я — Первый консул». Чернобородый лентяй Венцеслао, пускающий дым в потолок студенческой комнаты, права не имел на такой жреческий тон.

— Да неужели? — как можно ядовитее переспросил я, вешая пальтецо на скромный коровий рог у притоки двери, заменивший на Можайской турьи рога родовых замков. — Ты всё кончил? А нельзя ли узнать что именно? И — как?

— Всё! — ответил он мне с античной простотой. — Теперь я могу... тоже — всё. Как бог...

Вы, может быть, удивитесь, но я запнулся, слегка озадаченный. Вдруг в самом тоне его голоса мне почудилось что-то такое... Я насторожился.

— А без загадок ты не способен? *Что*, собственно, ты *можешь*? Почему?

— Я тебе сказал — всё! — повторил он уже не без раздражения. — Почему? Потому, что я нашел ее... Ну закись... Эн-два-о... плюс икс дважды... Вон она стоит, — он указал на бомбочку.

— А, закись... — махнул я рукой. — Да, тогда, разумеется...

И вот тут он очень спокойно улыбнулся мне в ответ улыбкой Зевса, решившего поразить чудом какого-нибудь погонщика ослов, не поверившего его олимпийству.

— Спать не хочешь? Тогда сядь и послушай... «Наткнулся на интересное?» — спрашиваешь (я не спрашивал: «Наткнулся на интересное?» — он возражал самому себе). Ни на что я не натыкался. Я искал и нашел... Колумб воп тоже... наткнулся на Америку... На, кури...

Я вдруг понял, что ничего не поделаешь, сел и закурил. Гипноз, что ли? Он милостиво разрешил мне сесть на мой собственный стул. И я сел. А он встал и, не зажигая света, заходил по комнате. И заговорил. И с первыми его словами остренький озноб прозмеился у меня между лопаток. Позвольте, позвольте, как же это? Что-то непредвиденное и очень большое обрисовалось в тумане передо мной...

ПУТЬ В ВЕСТ-ИНДИЮ

Истина часто добывается изучением предметов, на взгляд малозначащих...

Д. И. Менделеев

Тут вам надо забыть о сегодняшней науке. Вам даже вообразить трудно, как мало, как случайно занимались мы в те годы вопросом о прямом воздействии химических веществ на человека... Ну кто же говорит, лечили себя медикаментами — химия! Пили-ели; опять-таки — химия; XIX век, Либих и прочие, не поспоришь! Наркозы стали применять с каждым годом шире. Еще Фохты и Молешотты шум подняли: в человеке всё — сложная вязь химизмов... Что же повторять банальности?

Но *выводов* из этого никто не делал. Никаких, Сереженька! Ни малейших, заслуживающих этого названия,

милая барышня, и вы, молодой человек! Ведь если человек — совокупность химизмов, то... Вот об этом-то никто и не подумал. Кроме *него*! Кем он был в глубине своей — гением или злодеем, не скажу. Но прав Дмитрий Иванович Менделеев: всё началось с предметов малозначащих, с ерунды.

Нет ерунды для людей такой закваски! У Ньютона было яблоко, у Вячи Шишкина — пузырек с валерьянкой и кошка.

Еще мальчишкой, черномазым саратовским гимназистиком, он увидел кошку, которой подсунули скляночку от валерьяновых капель, только что опорожненную. Здоровенный свирепый котяга, гроза округи, ловивший зайцев на огородах, стал вдруг котофеем-ангелом, ластился к людям, похотливо валялся на полу. Он обнимал свой фиал блаженства, валерьяновый пузырек... «Мам, что это он?» — «Что-что? Мяу ну нанюхался, вот и ошалевает...»

Вот и всё, конец. Для Вячки Шишкина это оказалось началом.

Через пять лет отрок Шишкин уже кончал гимназию. Учитель физики — скептик, циник, но настоящий химик, не «свинячий», как у Чехова, — вздумал продемонстрировать классу действие веселящего газа. Да, да, закиси азота, коллега Берг!

Чудо созерцало человек тридцать семнадцатилетних приволжских митрофанушек. Веселились все. Но потрясло оно одного только Шишкина. Что же это такое? Это-то уже не кот! Что же она с нами делает — химия? С людьми?

Вот Гблов, тупица из тупиц, а смотрит с изумлением: «Тремзе! А Тремзе! В «Аквариум» бы такой газок...» И «поливановский» хулиган Тремзе, сын околоточного, который зверем смотрел на учительские приготовления, осклабясь, как Калибан, качает кабаньей головой своей и хохочет, и кричит: «Михал Ваныч! Коперник! Вы — победили!»

Застенчивый может превратиться в рубаху-парня, в удальца. Нежная княжна Мери — в буйную Клеопатру... И всё на тот срок, пока молекулы азота, соединившегося с кислородом, молекулы эн-два-о, кружатся и пляшут в их жилах... Так где же тогда воспитание, характер, личность? Где я, человек? А черт его знает... Нет личности — азот и кислород!..

Тысячи проходили мимо этого «малозначащего предмета» с полным равнодушием, как слепые. А Вяча Шишкин, цыганенок-генеральчонок, вцепился в него мертвой хваткой. На всю жизнь.

Он рассуждал так. Вон оно что! Закись азота выводит человека из равновесия, «веселит» его. Бромистые соединения «успокаивают». Какой-нибудь датурин вида цэ-16-аш-23-о-три-эн (опять, заметьте, о-эн) доводит до состояния смертельного иступления: «Белены объелся!»

Ну хорошо, пусть! Но, во-первых, почему «пусть»? А, во-вторых, раз «пусть», так, очевидно, рядом с датуринами и бромидами должны существовать в мире тысячи неведомых и доныне не испытанных соединений, которые способны превратить хомо сапиенса во что угодно. В гориллу и в тигра. В кролика и соловья. В сатира и ангела. И кто сказал, что это превращение нельзя закрепить надолго, сделать стойким. Нужно — произвольным; надо — насильственным? А если так, то не стоит ли всю свою жизнь, всего себя посвятить поискам подобного эликсира. Подобного зелья, черт возьми! Такой отравы!

«Мир исполнен возможностей, никогда не осуществленных!» — говорил Леонардо. Отыскать в грудях вещей и явлений хвосты этих возможностей и ухватиться за них может только гений. Я не могу разъяснить вам, как Шишкин нашел свой норд в мире химических явлений. По-видимому, он и был гением...

— Газ! — сказал он, стоя у стола, под которым присел на короткие лапки, как таинственная черепаха, обыкновенный лабораторный газгольдер, хозяйственно и наивно перевязанный желтыми чемоданными ремнями, точно толстый мопс сбруйкой. — Да, газ... Состав? Да вот: эн-два-о... Ну и... плюс икс дважды, скажем пока так. Плюс два атома еще одного элемента. Под воздействием света (и в присутствии воды) быстро разлагается на газообразные кислород и азот... Икс дает отчасти соединение с аш, отчасти — улетучивается. Обнаружить его после реакции практически невозможно. Потому и икс. Вот такой газ, Коробов! В этой бомбочке он под приличным давлением — его... порядочно. Представляешь себе?

— Это я представляю себе очень просто, — не желая показать своих чувств, сухо сказал я. — Но представления не имею — что это такое? Кому оно нужно и зачем... Газов много.

Бакалавр Шишкин, слушая, остановился перед моим стулом. Он был сегодня какой-то парадный: руки мыты с пемзой, борода подстрижена. Что такое?

— Скажи мне, Коробов, скажи, есть у тебя хоть сколько воображения, как у профессора В. Тизенгольдта? Или ты — «всегда без этого»? Можешь ты представить себе... ну, хоть жидкость... Какую-нибудь там несмачивающую, пенящуюся, золотисто-желтую маслянистую дрянь... Пусть она слегка припахивает жасмином, туберозами, если ты их предпочитаешь. Пусть слегка флюоресцирует в проходящем свете... Ты вводишь ее в вены самого тугухого из твоих друзей, ну хоть Сергею Сладкопевцеву (ей-богу, Сергей Игнатьевич, не морщись, так и было сказано!), и — на то время, пока это вещество остается в его организме, он становится гениальным музыкантом. Играет, подбирает, напевает... Сочиняет сонаты. Бредит мелодиями. Не может без этого. Способен ты вообразить такое?

— Ты что, бакалавро, стал сотрудником «Мира приключений»? С Уэллсом хочешь соперничать?

— Я хочу соперничать не с Уэллсом, а с господом богом! — с внезапным раздражением и досадой рывкнул Венцеслао. — Если тебе угодно играть шута, играй: но, ей-богу, стоило бы стать посерьезней... Нет такой желтой жидкости. Есть газ! *Мой газ!* Газ Шишкина! Голубоватый в малых концентрациях, изумрудно-зеленый в больших. Подожди — увидишь! Слегка кислит на вкус (как когда раздражаешь язык слабым током), в темноте флюоресцирует... Странное такое лиловатое свечение... В замкнутом пространстве очень стойко. Соприкасаясь с аш-два-о, даже при слабом свете разлагается быстро; в темноте — медленно. Добыть его... Проще простого, потому что икс дважды — это идиотски вездесущее вещество. Отброс производства. Мусор.

— Слушай, Шишкин! — рассердился наконец и я. — Ты химик, но и я — химик. Что ты меня вокруг да около водишь? Свойства, свойства... Меня интересует *действие*. Действие на человека, на металлы, на минералы, на что — в конце концов?

— Действие? А вот какое у него действие. — Вдруг, резко понизив голос, Шишкин сел рядом с моим стулом на кровать. — Действие — одно... Нет, прости, два. Первое: он энергично возбуждает центры Брокá... Ну — мозговые центры речи, говорения. Заметил? Во-вторых, он

одновременно (слышите? — одновременно!) нацело парализует центры фантазии... Если ты не... Должен же ты, наконец, понять, что это значит!..

В тот вечер я очень устал, еле на ногах держался. Я не был ни студентом, ни химиком. Я видел его возбуждение, чувствовал, что за ним что-то есть, но никак не мог начать резонировать на его колебания. Хорошо, любопытно, но — чем же тут так уж особенно восторгаться? Еще один наркотик, еще одно анестезирующее средство... Эх, Сереженька! Приходится признать: не умели мы с тобой проникать в будущее...

— Ну что ж, — сказал я ему тогда миролюбиво, — считай меня оболдуем: не пойму, что тебя выводит из себя...

— Что ты оболдуй — всем и так ясно, — сердито фыркнул он, — но до какой же степени? Ладно, слушай! Вот ты вдохнул достаточный объем... *этого газа*. Центры речи твои возбуждены. Ты начинаешь *говорить*. Ты не можешь не *говорить*. Ты *говоришь непрерывно*.

Но ведь фантазия-то твоя в это время угнетена; воображение-то не работает! Ты полностью лишен способности *выдумать* что-либо. Полностью! Абсолютно. Значит, говорить ты можешь лишь то, что действительно видишь, думаешь, чувствуешь. А думаешь ты тоже лишь о реально существующем. Понял? Следовательно, ты *говоришь правду*. Только правду. И — всю правду, до конца...

Он взгляделся в меня, и ему показалось, что этого не достаточно.

— Если ты ненавидишь своего соседа по квартире, ты звонишь к нему и выкладываешь ему всё, от «а» до «зет». Если ты непочтительно мыслишь о ныне благополучно царствующем, ты не будешь молчать. Если ты — муж, а вчера побывал в веселом доме в Татарском переулке, ты, возвратившись домой, на вопрос супруги так и отчеканишь: «В Татарском переулке, милочка, и не в первый раз...»

— А, да ну тебя! — вскричал я, довольно искренне вознегодовав. — Хорошо, что это хоть — твоя фантазия...

— Хочешь — открою? — внезапно проговорил баккалауро, наклоняясь и живо протягивая маленькую смуглую руку свою к бомбочке. Он коснулся крана. Послышался и тотчас же смолк топенький острый свист. Я вздрогнул.

— Какая же это фантазия, — пожал он плечами, — зажги-ка электричество...

Я щелкнул выключателем. Маленький хлопок зеленоватого тумана, быстро редая и голубея, плыл над столом к окну. Венцеслао смотрел на него с непередаваемым выражением.

— Эн-два-о плюс икс дважды! — строго, по слогам, произнес он, когда облачко окончательно рассеялось. — Запомни, Коробов, навсегда и это название, и сегодняшнее число... И стол твой этот дурацкий... С этого начинается новая эра.

Простить себе не могу: мне и тут еще казалось — шуточки. Глуповата бывает порою молодость; не сердитесь, коллеги!

— Забавно! — спаясничал я. — Ты — пробовал? Ну, и? Режут правду-матку?..

Воображаю, каким ослом я показался в тот миг ему!

— Уморительно, не правда ли? — в тон мне ответил он. — Я-то пробовал, но... К сожалению, одиночки — не показатель. Мальчишки, девчонки заставские. Неинтересный материал. Мне нужна целая подопытная группа. Несколько вполне интеллигентных индивидов... Чтобы каждый был способен отдать отчет в ощущениях, проанализировать, письменно изложить... Мечты, мечты! Где таких найдешь!

Одна смутная мыслишка в этот самый миг мелькнула передо мной... Когда между людьми почти всё сказано, не находится только решимости переступить какую-то черту... Тогда — такое вот эн-два-о... Но нет, я даже не успел прислушаться тогда к самому себе, мне кажется...

— Скажи-ка, а газ-то твой не ядовит? Могут же быть всякие косвенные последствия... И на какой срок действие? Навсегда?

Венцеслао встал с кровати и пересел на подоконник. Сел и уставился на меня своими глазами гипнотизера: в газетах тогда помещал объявления некто Шиллер-Школьник, чародей, у него из очей на рекламной картинке текли молнии. Вот такие были сейчас глаза и у баккалауро.

— Хотел бы я, — мечтательно заговорил он, — хотелось бы мне услышать, что мне сказал бы какой-нибудь Арсен Люпен, если бы я предложил ему, для пользы его допросов, установить в ящике письменного стола примерно такую вот бомбочку... Преступник запирается. Сле-

дователь нажал рычажок... Запахло духами... Это-то ты понимаешь?.. Или ты — Морган, или Рокфеллер. Ты пригласил на обед с глазу на глаз Вандербильта или Дюпона; хочешь выяснить, как смотрят они на положение на бирже... В стене отдельного кабинета — газгольдер с эн-два-о (плюс икс дважды, само собой)... Ведь, пожалуй, стоило бы Моргану заплатить неплохое вознаграждение тому, кто ему этакий газгольдер заполнит газом... Да что — Дюпоны?... Вон я возьму да и предложу в нашем Главном штабе... «А что ваши превосходительства? Вот ваши люди имеют порой конфиденциальные беседы с разными там австрийскими или прусскими штабистами... А не заинтересует ли вас этакий, мягко выражаясь, фирмам? Пахнет не то ландышами, не то черемухой, чем-то весьма приятным... Что, если такой запах будет клубиться в каком-нибудь дамском будуаре, куда такой полковник Эстергази привык заглядывать? Ведь это только приятно... Запахло так в номере гостиницы, в кузове автомобиля... Так, на один момент...

Видишь ли, Павел, я уже сказал тебе: на свету... Я составил диаграмму его распада... Минутное дело; через полчаса — никаких следов...

И вот представь себе: ты в комнате, в которую я впустил некий объем газа... Удельный вес его равен весу воздуха. Диффундирует он мгновенно. Свет в помещении обычно слаб; минут десять газ будет жить. За десять минут ты вдохнешь восемьсот, тысячу литров воздуха... Вполне достаточно! Что же с тобой произойдет? Сначала приятное быстрое опьянение, этакий легкий хмель... Дамы будут в восторге: нежное головокружение, этакое блаженство; зеленовато-сиреневый туман в глазах, запах цветов... Потом — секунд на пять — семь, не более! — полная потеря сознания. Очень любопытно: выключается только одна какая-то часть мозга; координация движений полностью сохраняется. Ну да об этом потом: томы наворотят физиологи!

Затем — обморок мгновенно проходит... Очень легко дышится, чудесное ощущение... Никаких видимых следов опьянения. Но ведь тот газ, который в тебе, он-то — не на свету... Он не распадается так быстро... По-видимому, он остается в организме несколько часов, у разных лиц по-разному... От двух до десяти... И все эти часы, всё это время, ты, мой друг Павлик, *говоришь правду...*

Подумай над этим! Ты чувствуешь себя бодро, приподнято... Ты никак не можешь ничего заподозрить — просто у тебя чудесное настроение. Тебя обуревают необыкновенно ясные чувства и мысли. Они значительны и неопровержимы. Нельзя же их утаивать от мира. Тебе хочется сообщить о них людям. Молчать становится нестерпимо...

Тебе двадцать лет? Ты не можешь ни прибавить ни убавить их даже на год. Ты полюбил девушку?.. Ты немедленно расскажешь об этом и ей, и всем, кого встретишь. Если ты писатель, ты — погиб. Толстой не смог бы изобразить Наташу: ведь она — ложь, ее не было. Беда, если ты дипломат или князь церкви: стоит тебе открыть рот, и ты наговоришь такого... Начинаешь понимать, что такое мой эн-два-о? Соображаешь, к чему ведет владение им?

Баккалауро, всегда лаконичный, превратился в Демосфена. Способность убеждать у него всегда была, и мы даже поговаривали — нет ли у него свойств гипнотизера... Впрочем, кажется, я начинаю искать оправданий... Не хочу этого!..

...В окне брезжило утро, Венцеслао, бледный, усталый, говорил уже с трудом, куря кручёнку за кручёнкой. Я открыл фортку; за ней густо заворковали первые голуби... Я слушал их и думал: а что, если это так и есть? Если он и впрямь добился всего этого?

Не буду хвастать: всего значения этого открытия — ведь только теперь наука подошла к решению проблемы Шишкина — я еще не мог осознать. Но на меня как бы повеяло, пахнуло необычным. *Я начал верить*. И что ж говорить, в таком мире мы жили... Мне не пришло в голову видеть за этим открытием великие и светлые перспективы. Во мне возникло не желание овладеть *новым*, чтобы это *новое* отдать человечеству. А, что там еще: мне захотелось сделать из того, что я узнал, маленькое, не слишком честное, эгоистическое употребление. Искусственно добиться откровенности, добыть признание человека, который... Плохо, отвратительно, не хочу продолжать: сегодня-то я не дышал его проклятым газом, выкладывать всё начистоту для меня не обязательно...

— Слушай-ка, баккалауро, — далеко не решительно проговорил я в тот рассветный час, движимый этими невинными побуждениями, — а ведь в самом деле... Это необходимо проверить. Экспериментально!

Он махнул рукой с досадой:

— Необходимо!.. А где и как? Мне ведь нужна не группа энтузиастов, всё понимающих, но готовых ради науки на подвиг... Предварительная осведомленность всё исказит, сам понимаешь... Мне нужно неведение. Нужны павловские собачки. Я должен без их ведома сделать кроликами людей, и притом — людей интеллигентных... Которым — *потом* — можно всё объяснить, и которые поймут, как важно сохранить пока этот опыт в тайне. *Поймут меня...* А где я их возьму?

И вот тут-то — не он — я! — произнес решительные слова. Зачем? Мне захотелось услышать хоть один раз правду, всю правду из уст Лизаветочки... Плохо? Конечно, хуже нельзя, — мерзко! Всё равно что вырвать признание гипнозом, напоить девушку пьяной... А вот...

— Ну, ерунда! — пожал я плечами. — Ты ручаешься, что это безопасно для «кроликов»? Так тогда... Забыл, какой завтра день? Соберется, как всегда, человек двадцать; как раз то, что тебе нужно. Либо благородные старцы, либо — студенчество... Никаких гробовых тайн, разоблачение которых было бы трагедией... Может быть, только эта ходячая кариатида Стаклэ замешана в какой-то там политике, так это и так всему миру известно... У Раички, конечно, кое-что за душой есть; говорят, она к поэту Агнивцеву на дачу одна ездила. Но Раичка и без твоего газа каждому всё расскажет, только попроси. Да и вообще — газетных репортеров у нас не будет... Почему бы тебе не попробовать?..

Венцеслао не шевельнулся на стуле. Он колебался. Теперь-то я думаю: ничего он не колебался, — он очень ловко разгадал меня и сыграл со мной в прятки. Но вид был такой: размышляет в нерешительности.

— Не знаю, Коробов, — произнес он наконец в тяжком сомнении. — Конечно, с филистерской точки зрения превращать людей в подопытных морских свинок — ужасно. Но ты представь себе, что Пастер бы не рискнул привить свою сыворотку в первый раз *человеку*... Ты же первый осудил бы его...

Он произнес слово «филистер». Большого оскорбления молодому интеллигенту тех дней и придумать было нельзя. Да каждый из нас любую попытку бы принял, лишь бы снять с себя такое обвинение. Лучше «отца загубить, пару теток убить», лучше по Невскому, бичуя себя, нагишом бежать, чем прослыть филистером...

Мы все-таки решили, хоть для приличия, заснуть: я на кровати своей, Шишкин — на коротком диване. Гений закрылся пледом, и ноги его в носках торчали по ту сторону валика. В окно уже тек свет Лизаветочкина «ангела», и прикармливаемые ею жирные голуби уже топотали по ржавому железу, стучаясь в стекло розовыми носами.

Когда я уже задремывал, мне пришел в голову еще один вопрос, может быть и существенный.

— Баккалауро! — окликнул я. — А противоядия от этой прелести ты не знаешь? Ты-то сам можешь избежать ее действия?

Венцеслао лежа курил, пуская дым в потолок.

— Пока нет! — ответил он после некоторой паузы и весьма лаконично.

Мне не пришлось в тот миг в голову, что по крайней мере сегодня Шишкин не вдыхал еще газа правды. У меня не было оснований ни верить, ни не верить ему.

ПИР ВАЛТАСАРА

Вот приведены были ко мне мудрецы и *обаятели*, чтобы прочитать написанное и объяснить его мне. Но они не могли объяснить значение этого...

Даниила, V, 15

Теперь, друзья, зовите на помощь воображение: я не Г.-Дж. Уэллс, а у вас не отнята способность фантазировать; вы-то ведь никогда не слыхали запаха злосчастного эн-два-о, смешанного с икс дважды.

Лизаветочкины именины, как я уже сказал, на Можайской, 4, расценивались как событие двенадцатое. Помнишь, Сергей Игнатьевич, какую корзину фруктов ты — Крез среди нас — притащил в тот день? В каком небывалом галстуке появился? Не морщись, не морщись: ты не анкету заполняешь...

Открывать секреты и совлекать покровы так уж со-влекать. Ему мало дела было до семьи Свидерских. Он — и фамилия-то Сладкопевцев — интересовался тогда только колоратурными сопрано... Новой Мравиной. Второй Липковской! Иначе говоря — Раичкой Бернштам, которую, кстати, тот же баккалауро непочтительно именовал

«сто гусей»... Вот той самой, что к Агнивцеву ездила... Тем лучше!

Собирались на Можайской всегда не по-петербургски рано. Анна Георгиевна, всё еще не снимая снежного фартучка и кружевной наkolки, — этакая «белль шоколатьер»¹ в опасном возрасте, — докруживалась на кухне. Кухня, фартучек, наколочка к ней очень шли. Вокруг все еще бегали, сутились, волновались... Один только Венцеслао, реализуя свои, неведомо как добытые в этом доме дворянские привилегии, лежа на моем диване, читал с отсутствующим видом по-итальянски чудовищный роман Матильды Серао. Он ничего не терял от этой неподвижности. Как пророка Илию, его кормили разными деликатесами вóроны. На головах у них были кружевные наkolки...

Часов в семь начали появляться нимфы и гурии; черненькая и вертлявая, как обезьянка-уистити, Раичка в том числе. Дом заполнился еще большей сутолокой, серебристым смехом, контральтовыми возгласами Ольги Стаклэ, запахом духов и бензина (лайковые перчатки чистились только им), фиоритурами Джильды и Розины.

Часом позже в стойке для зонтов и тростей водворилась шашка с орденским темлячком. Дядя Костя, генерал Тузов, долго, с некоторым усилием нагибаясь, лобызал ручку кухни Анечки, поздравляя с торжественным днем.

Потом начались непрерывные звонки. Палаша с топотом кидалась в переднюю.

Стою, и слышу за дверям
Как будто грома грохотанье —
Тяжелозвонкое скаканье!..—

это про нее кто-то там сказал; Севочка Знаменский, должно быть... Палаша возвращалась, и по выражению ее лица можно было определить, кто пришел: иной раз на нем была написана удовлетворенная корысть, иной — женская суетность. Приходили ведь в беспорядке, и тароватые старшие, и веселые студюзы, от которых проку мало, одно настроение...

Прибыли, как всегда, два Лизаветочкиных дальних родича, провинциалы-вологжане, студенты-лесники, Коля

¹ «Прекрасная шоколадница» — известная картина Ж. Лиотара.

положительный и Коля отрицательный; фамилий их как-то никто никогда не употреблял.

— Гм... толково! — сильно напирая на «о», отреагировал на накрытый, уставленный бутылками и закусонами стол Коля положительный.

— Э... коряво! — с тем же северным акцентом отозвался Коля отрицательный, разглядев аккуратные записочки с именами гостей, разложенные у приборов. Такое ограничение свободной воли застольников никогда не устраивало его.

— Коля, подите сюда! — тотчас же взялась за него Раичка Бернштам. Сейчас же объясните, что означает это ваше вечное «коряво»? Что за нелепое выражение?

— Ну... Во всяком случае, *нечто отрицательное*, — еще раз забыв про подвох, как всегда, ответил Коля и махнул рукой на общий смех...

Всё было, как заведено, как каждый год. Ничто не менялось...

Было у Лизаветочкиных именин одно негласное преимущество: в эти недели между пасхой и вознесеньем полагалось *христосоваться*, «приветствуя друг друга *троекратным* лобзанием». «Не понимаю, почему только троекратным?» — удивлялась Раичка. Вот и христосовались; иные по забывчивости дважды и трижды.

Почтальоны несли телеграммы. Кому-то уже облили платье белками: «Химики, что нужно делать? Белки!»

Один мазурек сел, другой стал пригорать. И химики и чистые технологи рванулись было туда, но Федосья Марковна была на страже: «Ахти матушки, Георгиевна, не столько оны помогать, сколько к миндалю-изюму соваться...»

Один только Венцеслао хранил величественное спокойствие. Конечно, и у него были свои заботы: перед зеркалом со страшным лицом он с полчаса вдевал запонку в крахмальный воротник, пока хозяйка дома, махнув рукой на приличия, не пришла к нему на помощь.

Часов в девять наконец все сели за стол...

Ну, с классиками соперничать не стану: всё и теперь происходит, как тогда. Бутылки веселили цветными бликами. Рюмки позванивали. Ольга Стаклэ, будущий агроном, пила водку, как хороший гусар, к восхищению генерала Тузова. Колоратурная Раичка умоляла соседей: «Не спаивайте меня, я за себя не ручаюсь...» Я же исподтишка поглядывал на баккалауро.

Он с достоинством восседал рядом с Анной Георгиевной. Черная борода его казалась еще чернее рядом с мамишкой, рукавичками, белоснежной скатертью... Он, безусловно, был достойным Валтасаром этого пира, и я сам себе удивлялся: как это мы до сих пор не уразумели, что перед нами — не такой, как все, человек? Кто именно? Не знаю: может быть, капитан Немо, он же принц Даккар, благородный индеец... А на худой конец тот полуиндус, мистер Формалин, который превратил в жирный аэростат мистера Пайкрофта в смешном рассказе Уэллса...

Мистер Формалин, однако, вел себя сегодня очень мило. Он по-светски ухаживал за соседками, хвалил кушанья, перебрасывался свободными репликами со старшими, так же, как и со своими ровесниками... Да шут его знает: у него как-то не было точного возраста... Чей он был ровесник?

Он вызвал сенсацию, случайно вынув из кармана крошечную книжку — «Фиоретти» — прославленные «Цветочки», сборник лирико-религиозных излияний святого Франциска Ассизского. Книжку заметили. Он, не ломаясь, прочел несколько строк по-итальянски. «Я всегда ношу ее с собой...» А кто поручится: вполне возможно — и впрямь носил... Но в то же время он не терял из виду и ту цель, которую перед собой поставил.

Когда после первых здравниц наступил обычный и обязательный период общего молчания, он нашел возможность заговорить негромко со своими дамами справа и слева, — слева, поглядывая в двери и распоряжаясь взорами, восседала Анна Георгиевна. Это было недалеко от меня, и я прислушался.

— Именины Лизаветы Илларионовны, — вкрадчиво ворковал баккалауро, — останутся мне памяты и по личной причине. Дело в том, что сегодня я и сам как бы именинник... Да вот, работу одну закончил, и еще какую! А представьте себе — мне удалось сделать одно чрезвычайное открытие... Когда оно будет реализовано, оно вызовет чрезвычайные последствия и в наших понятиях, да, возможно, и в течение жизни человечества... Но, простите: сейчас неловко входить в подробности; вот потом Павлик...

Он действовал с тончайшим психологическим расчетом, Шишкин. Шли самые первые годы еще не определившегося нового этапа во взаимоотношениях между

наукой и жизнью. Наука, как Илейко Муромец, просидев свои тридцать лет и три года на печи, начала покрхтывать и примериваться, как бы ей сойти в красный угол человеческой горницы... Людей со дня на день живее и острее начинало занимать всё, исходившее из лабораторий ученых и из мастерских техников... Общество начинало всё пристальней поглядывать на ученого, с удивлением замечая, что чудес-то, наслаждений-то, восторгов приходится ждать скорее от него, чем от старых корифеев — писателей, поэтов, музыкантов...

Раньше черт знает какие приключения происходили со всякими международными авантюристами, с Казановами всякими, с искателями кладов, с масонами, волшебниками, гипнотизерами... А теперь вниманием овладевали совсем другие персонажи: Томас Эдисон, придумавший фонограф; молодой итальянский аристократ, теннисист и щеголь, Гульельмо Маркони, сумевший вырвать патент у бескорыстного, как все русские профессора, Попова, изобретателя «беспроволочного телеграфа». Люди, еще вчера казавшиеся скучными педантами, грубыми мастеровыми — чудаки с перхотью на плечах, с дурными манерами и пустыми кошельками, — вдруг начали выходить в герои дня. Дамы — они всегда первыми реагируют на сдвиги общественного сознания. Что больше всего привлекает женщин? Сила, мощь, власть... Не всё ли равно — власть чего? Сила оружия или сила таинственных лучей?

А тут еще и особый раздражитель: «Павлик объяснит...» Как Павлик? Почему раньше Павлику? А почему не прямо мне?

Очень хитро пометал свои сети в воду этот баккалауро!

Анна Георгиевна и Раичка, хотели они того или не хотели, сделали всё от них зависящее, чтобы привлечь к сидевшему меж них Шишкину максимум внимания. Он же был не из смущающихся. Я на несколько минут отвлекся от него, чтобы шепнуть два-три слова Лизаветочке, и когда снова повернулся в сторону Анны Георгиевны, он уже как бы читал лекцию окружающим. Вдохновенную лекцию: «Я и эн-два-о...»

Но теперь получалось, что им изобретено что-то вроде алхимического эликсира жизни... Правда, он еще не овладел искусством закреплять на длительный срок действие своего снадобья, но одно ясно: тот, кто вкусил его, испы-

тывает блаженство, трудно поддающееся описанию... Усталости, печали, любого недовольства и боли, физической и душевной, — как не бывало!.. Вы знаете, что называется эвфорией, сударыня? Эвфория — это чувство абсолютного довольства жизнью... Люди пожилые (дядя Костя Тузов приложил руку к уху) ощущают прилив молодой энергии; юноши становятся вдвое, втрое, может быть вдесятеро, крепче, выносливей, энергичней, деятельней... Сказка? Нет, это еще не сказка... Сказка началась бы в том случае, если бы удалось провести, так сказать, всечеловеческую ингаляцию моего газа... Ввести его как бы в постоянный дыхательный рацион жителей земли...

Я не пророк, но подумайте сами: ведь мир может стать иным — терпимым, оптимистичным, доброжелательным, правдивым, прогрессивно мыслящим...

В ахиллесову пяту общества он пустил вторую стрелу. «Прогресс!» — было лозунгом и успокоением тогдашнего либерализма. Его алкоголем и его хлороформом. Его опиумом! Прогресс, а не революция; улучшение мира не в крови и борьбе, а вот так, как он говорит: вдыханием газа, принятием таблеток гераклеофорбии, — «Пищи богов» Уэллса, — посредством таинственного облучения эманацией его чудодейственных комет... Что могло бы быть вожаденнее, о чем еще можно было мечтать? К этому звали Уэллсы, на это надеялись философы-интуитивисты...

На баккалауро обрушился перекрестный огонь: «Простите, молодой человек, но... ваше открытие — уже проверенный факт?», «Венцеслао, друг, как же это получилось, как ты до этого додумался?», «Коллега Шишкин, один вопрос: а нельзя ли как-нибудь... ну, попробовать, что ли... действие этого вашего вещества?», «Венцеслао, а Венцеслао?! — это уже Раичка, конечно: — А этот ваш... углекислый газ? Он что? Он — вкусный?»

Коллега Шишкин охотно отвечал всем и каждому, как самый опытный «кумир толпы»... Ну что же? Если угодно, можно назвать его и «вкусным», дорогая Раиса Борисовна! Вред? Он испытывал его многократно на себе, но, как видите, никаких признаков вредности... О, вот об этом пока говорить трудно... В лабораторных условиях вещество получается крайне дорогим... Ну, скажем так: пока что оно ценится *на вес золота*... В дальнейшем?..

Нет, почему же! В настоящий момент он располагает несколькими десятками кубических метров газа... Ну, может быть, чуть больше... Где? Хранятся в специальном портативном газгольдере. Ну что вы — просто такой толстенный сосуд... Совершенно точно, этот самый, Лизавета Илларионовна... Да просто, знаете, я не рискую оставлять его без присмотра...

Вы понимаете, чего он достиг? Он никому не предлагал ничего. Никого ни о чем не просил, ни лично, ни через мое содействие. Он, собственно, ровно никого даже и не обманул в тот вечер. Он допустил одну неточность, одну «фигуру умолчания», как учат в курсах словесности, он не назвал свой газ его настоящим именем. Не сказал, что это — *газ правды*... Только и всего. Но ведь его никто об этом и не спрашивал...

И когда на него накинудись с уговорами, упреками, мольбами, ему осталось малое: слегка поломаться, поосторожничать, проявить нерешительность... «Ах, это невозможно!» Всё это он проделал на самом высшем уровне, как теперь стали говорить.

Ты помнишь, какой поднялся кавардак? «Какая прелесть! Человечество станет *гуманнее!*» «И мы испытаем это первыми!..» «Лизанька, ты подумай: я же буду во всей консерватории единственная!» «И этот человек — среди нас. Какая удивительная личность! Какой благородный профиль! А — борода? А — глаза!.. Нэтти, почему ты его никогда раньше не показывала?!»

Убеждать? Не он убеждал, его убеждали! Даже Лизаветочка, с ее видом Лизы Калитиной, даже она трогала пальчиком рукав баккалауро через стол: «Вячеслав Петрович! Ну сделайте мне именинный подарок!..» Коля положительный сурово высказался насчет того, что видеть такой опыт было бы «толково». Сам генерал Тузов проворчал: «Прошу, прошу, господин технолог... Весьма любопытно...»

Технолог Шишкин не спешил. Спокойно, как бы всё еще ведя внутренний спор с самим собой, глядя в себя, он докурил папиросу, потом сделал неопределенный жест умывающего руки Пилата, резко встал и вышел из комнаты.

Думается, в этот миг некоторым застольникам вдруг стало не по себе. До того многие как-то не вполне себе представляли, что ведь *штука*-то эта где-то тут же, рядом... Что *эксперимент*-то может начаться не через год,

а вот сейчас... И над ними! Но пойти вспять уже никто не решился...

Баккалауро вернулся мгновение спустя. Матово-черная, мрачноватого вида бомбочка стала на своих кривых крокодильих лапках на нарочито придвинутый к обеденному столу самоварный столик с толстой, искусственного коричневатого мрамора, фигурной доской.

Я смотрел на это всё, но даже я не понимал, что нашей обыденной — такой милой, такой мирной! — жизни отведены последние *считанные минуты*. Место тамады на добродушном пиру Лизаветочкиных именин, в квартире на Можайской, неожиданно, непрошенный и незванный, занял сын садовника и горничной из имения Ап-Парк в Кенте Герберт Джордж Уэллс. И если никто из нас не увидел на стене надписи «мэнэ тэкэл фарэс», то не потому, что ее там не было, а по слабости зрения. Она — была.

КОШМАРНЫЙ СЛУЧАЙ

«Борис Суворин разбил дорогое трюмо...»

«Десять гнусных предложений за одну ночь!»

«Кошмарный случай на Можайской улице...»

«Петербургский листок», 1911 г.

Помнишь, Сергей Игнатьевич, такие заголовки? Эх, знали бы репортеры «Листка», что произошло в ночь на двадцать пятое апреля одиннадцатого года на Можайской, дом 4, — все мы стали бы знаменитостями. Видите: у него и сегодня ужас на лице написался... у Сладкопевцева!

Ну-с, так вот-с... Был на Венцеслао в тот день серенький, очень приличный пиджачок, хотя рубашка всё же с приставными манжетами и манишкой... «Не имитация, не композиция, а настоящее *белье линоль!*» — как было тогда написано на всех заборах. Вам-то эти вдохновенные слова рекламы ничего не говорят, а для нас в них — наша молодость!

Как фокусник, он протянул смуглую ручку свою к вентилю бомбы. Из-под «не композиции» выглянуло волосатое узкое запястье, — всё помню!

Все кругом — кого не интересует фокус? — замерли. Стало слышно, как ворчит Федосьюшка на кухне...

— Двери плотно! — вдруг требовательно командовал Шишкин, и кто-то торопливо захлопнул дверь. — Прошу не нервничать! — проговорил он. — Внимание! Начинаю!

Мы все — я в общем числе — дрогнули.

Тонкая, быстро расширяющаяся на свободе струйка зеленоватого пара или дыма тотчас вырвалась из маленького сопла. Она была под таким давлением, что, ударившись с легким свистом о потолок, мгновенно заволокла его зелеными полупрозрачными клубами. Свист перешел в пронзительное шипение... Стрелка на крошечном манометре дошла до упора...

В тот же миг золотисто-зеленое, непередаваемого оттенка облако окутало лампу; волнуясь и клубясь, оно поползло по комнате. Никем и никогда не слыханный запах — свежее, лесное, лужаечное, росистое благоухание достигло наших ноздрей еще раньше, чем туман окутал нас. Ландыш? Да нет, не ландыш... Может быть и ландыш, но в то же время — всё весеннее утро, со светом, со звуками, с ропотом вод... Пахнуло — не опишешь чем: молодостью, чистотой, счастьем...

Я взглянул вокруг... Все сидели, счастливо зажмурившись, вдыхая эту нечаянную радость... Боже мой, что это был за запах!

В следующий миг странные, иззелена-желтые лучи брызнули нимбом от лампы. В их свете лица приобрели не только новый колорит, казалось даже — новые черты. Помню, как поразила меня в тот миг глубина и неземная чистота этого зеленого цвета: только в спектроскопе, да при работе с хлорофиллом, натыкаешься на такую золотистую зелень... А в то же время у стен комнаты, по ее углам забрезжило вовсе уж сказочное, непредставимое винно-аметистовое сиянье... Оно точно бы глухо жужжало там...

Не знаю, долго ли росло зеленое облако, много ли газа выпустил Венцеслао: на манометр мы не глядели, куда там!

Едва первые глотки воздуха, насыщенные всем этим, влились в мои легкие, я перестал быть самим собой. Блаженное головокружение заставило меня закрыть глаза. Нежные, неяркие радуги поплыли перед ними, в ушах зазвенели хрустальные звоночки... В терцию, потом — в квинту. В квинту, Сережа, лучше не спорь! Они сли-

лись в простую и сладкую мелодию — флейтовую, скрипичную. Вроде прославленных скрипок под куполом храма Грааля в «Парсифале» у Вагнера.

Одна нота выделилась, протянулась, понеслась, как метеор, как ракета, крутой параболой, всё дальше, дальше, всё выше в зеленый туман... Захотелось как можно глубже, полнее вдохнуть, вобрать в себя всю ее радость, всё ее счастье, весь ее бег... Я вздохнул полной грудью... Звук лопнул ослепительной вспышкой, и — как будто именно в этот миг — я открыл глаза...

Он был прав, этот Венцеслао: я не лежал на полу, не сидел на стуле, даже не стоял. Жестикулируя и громко говоря, я шел в этот миг от стола к окну, — шел уверенно и прямо, не шатаясь, не хватаясь ни за что руками. Шел так, как люди с помраченным сознанием не ходят...

Примерно с четверть часа (не секунды! — кто-то из Коль умудрился всё же засечь время) нас держало в плену это новое, никому до того дня не известное состояние сознания. Все эти минуты мы двигались, говорили, жестикулировали — следовательно, не были «в беспомоществе»... Ничто в тесной, загроможденной большим столом комнате не было разбито, сломано: ни опрокинутой рюмки на скатерти, ни разлитого бокала... Значит, живя в своем удивительном *отсутствии*, мы всё время действовали разумно. Мы *сознавали что-то*. Спрашивается — *что?*

Потом мы — все разом! — очнулись. В комнате ничто не изменилось; разве только воздух... Воздух стал таким прозрачным и *целебным*, как если бы, пока мы *отсутствовали*, кто-то открыл окна навстречу упругому морскому ветру; не на крыши, между Можайской и Рузовской, а на океан, плещущий вокруг благоуханных тропических островов... Новым был, пожалуй, и свет лампы — голубоватый, милый, ласкающий глаза... Или он нам таким показался?

В этом ясном свете, в этом чистом воздухе у конца стола на прежнем месте сидел Венцеслао Шишкин и смотрел на нас тоже так, словно ничего не случилось.

И если бы рядом с ним на мраморном самоварном столике не стояла, растопырив черепашины ножки, та самая бомбочка, — каждый из нас поклялся бы, что ровно ничего и не произошло.

Тем не менее баккалауро-то знал, что это не так!

— Ну, господа, — что же? — произнес он несколько фатовским тоном, тоном модного профессора, показавшего публике эффектный опыт и теперь ожидающего аплодисментов. — Как вы себя чувствуете? Присаживайтесь. Обменяемся впечатлениями. Что каждый из нас ощущает?

«Позвольте! — мелькнуло у меня в голове. — Так а он-то что же? Или на него это не подействовало? Или и для него всё ограничилось лишь коротким исключением из жизни? Что каждый из нас ощущает? А что ощущаю я?»

Мне было *просто легко дышать*: удивительно легко, неправдоподобно! Даже дым от шишкинской папиросы казался дымом от лесного костра где-нибудь над вольной рекой, а не вонью от «Пажеских» фабрики «Лаферм»... Ясная незнакомая сила вливалась в мои легкие, пропитывала всё тело, трепетала в венах, звала, требовала... Чего?

Я бросил взгляд вокруг и встретился глазами с Лизаветочкой. Она сидела теперь на низенькой табуретке у окна, откинувшись спиной к стене, уронив руки свободным, спокойным жестом. «И взоры рыцарей к певцу, и взоры дам — в колени...» Живой незнакомый румянец играл на ее щеках; никогда не виданная мною улыбка — такую можно встретить только на лицах у художников Возрождения, — полнокровная, торжествующая улыбка женщины в расцвете перастраченных сил волнами сходила на ее лицо, новое, невиданное мною, нынешнее...

«Господи, какой идиотизм! — вдруг с неожиданной и непривычной самораскрытостью ужаснулся я сам в себе. — Чего же ты ждешь, тряпичная душа? Чего вы боитесь? Как можно хоть на час откладывать собственное счастье? Иди сейчас же... Скажи всё... И тете Ане, и ей, ей прежде всего!.. Ведь так же можно упустить жизнь, свет, будущее...»

Где-то далеко-далеко шмыгнула мысль: «Ты с ума сошел! Это же оно и есть — *его газ*! Разве можно?..», но могучее чувство подхватило меня, повернуло лицом к окнам, к собравшимся, к миру... Я раскрыл рот. Я поднял руку. Я шагнул вперед... Но тут — совершенно неожиданно — меня опередил дядя Костя. Инженерных войск генерал Константин Флегонтович Тузов...

Генерал оказался, по-видимому, более энергичным «реципиентом» этого газа, нежели все мы. Я изумился,

когда он вдруг крикнул на своем стуле. Я не узнал генерала. Фельдфебельский нос его шевелился от возбуждения, рыжие усы топорщились. В маленьких глазах под мощными бровями вспыхивали небывалые огни.

— Эх! — крикнул он вдруг и махнул рукой, «была не была», обращаясь к Анне Георгиевне. — Слушай-ка, что́ я тебе скажу, Нюта!.. Смотрю я вот сейчас, знаешь ты, на них... На именинницу нашу дорогую, да на Павла свет Николаевича вот этого... Смотрю, говорю тебе, и думаю: «А ведь — дураки! Ох, дуралеи!..» Ну чего они ждут? Что хотят выиграть, объясни мне это? Гляди: оба молоды. Гляди: оба — кровь с молоком, веселы, здоровы, жизнь кипит!.. Хороши собой оба. Так объясни ты мне — чего же им, болванам, не хватает? Молчи! Отвечай мне сама, Лизок! Прямо, не виляя, по-военному... По́ сердцу тебе сей вы́нош честнóй? По́ сердцу! Замуж — пора тебе? Скажу сам: давно пора! Так чего же вам прикидывать, чего скаредничать? Кому это нужно? Живете бок о бок, во цвете лет... Так что же вы?

По комнате пробежал как бы электрический разряд — испуг, трепет, возмущение, согласие... А Лизаветочка... Нет, Лизаветочка не опустила снова глаз в колени, как сделала бы вчера, как сделала бы час назад. Она не вспыхнула, не упала в обморок, не выбежала в прихожую... Она вдруг выпрямилась, подняла голову и большими, широко открытыми глазами уставилась на дядю.

— Да, дядя Костя, — негромко, но очень внятно проговорила она, чуть-чуть бледнея, и Рапчка Бернштам заломила руки в уголку на диване, впившись в подругу с жадным восторгом. — Да... Ты — верно... Только... Павлик... Он — не *нравится* мне, дядя Костя... Я... Я... *люблю* его, дядя Костя...

...Бог весть, что вышло бы из этого, если бы мы могли в тот миг говорить, соблюдая очередь, последовательность, слушая друг друга... Страшно подумать, до чего мы договорились бы в ту ночь... Но сразу поднялся такой шум, такая неразбериха вопросов, признаний, восклицаний, торопливых ответов, смущенных взрывов смеха, всхлипов каких-то, что... Всё смешалось в доме Свищерских!..

— Браво-брависсимо, дядя Костя! — вскочил со своего стула который-то из двух Коля. — Пррравильниссимо, старый воин! Мы всегда хорошо думали о вас, хоть вы и арррмейский генерал... Только... Ну что тетя Анечка

в этом понимает? Вы меня, конечно, извините, тетя Аня, дорогая... Я очень... Очень я у... уважаю вас, — глаза его выпучивались всё сильнее, пока он, сам себе не веря, выпаливал эту тираду, — но... тетушка! Да ведь вы же запутались, устраивая Лизкино счастье... Ну что вы ей готовите? Кого? Старика с денежным мешком? Этого косопузого грекóса? Папаникогло этого? Губки и рахат-лукум в Гостином дворе, в низку? «Ах, Фемистокл Асинкритович, мы вас ждем, ждем...» Кто ждет? Она? Лизка? Чего ждет? Рахат-лукума его, халвы его липкой? Да как же вы не видите!..

У Анны Георгиевны и без всякого эн-два-о глаза были на мокром месте... Губы ее сразу же задрожали, подбородок запрыгал, слезы полились по щекам... Она рванулась было к дочери. Но генерал Тузов, оказывается, еще не кончил.

— Что? — загремел он, вырастая над пустыми бутылками, над мазуреками и тортами, как древний оратор на рострах. — Деньги? Чепуха! Молчать! Лизавета! Я тебя люблю, как родную дочь... А, да какое — как родную! Ты — и моя Катька! Туфельки номер тридцать три, два фунта пудры в неделю, «хочу одежды с тебя сорвать...» Я *тебя* люблю, не Катьку! Слушай, что я говорю. Сам был глуп: женился по расчету... Стерпится-слюбится, с лица не воду пить, — мерзость такая!.. Подло упрекать? Весьма справедливо-с: достойнейшая дама, генеральша в полном смысле... Имеем деток: дети не виноваты!.. Но сам-то я, старый дурошлеп? Я-то чего ради душу заморил? Чем я теперь жизнь помяну, ась? Надечкиными «Выселками», семьдесят две десятины и сорок сотых, удобица и неудобица, рубленый лес и кочковатое болото, будь они прокляты: на генеральном плане так обозначено! Никого не слушай, Лизавета! Любишь — иди на всё! Не любишь? В старых девках оставайся, коли на то пошло, только...

Но тут пришел черед тети Мери...

Она никому не приходилась здесь тетей, эта сухая, высокая, всегда затянутая в старомодный корсет, всегда весьма приличная учительница музыки, с ее слегка подсиненными серебристыми сединами, с лорнетом на длинном шнурке, с гордо откинутой маленькой головой, несомненно когда-нибудь красивой, с фотографией пианиста Гофмана, им же надписанной, в ридикюле... Такой ее везде знали. Везде. И — всегда!

С малых Лизаветочкиных лет, она «ставила ей руку» (так и не поставила до этого дня)... «Тетя Мери — вся в музыке...» «Тетя Мери — сонатина Диабелли и «Ль'армонй дэз анж» Бургмиллера...»

Теперь эта тетя Мери, как сомнамбула, поднималась со своего стула: одна из всех она не переменила места, пока шишкинская зелень владела нами; одна, если не считать самого Шишкина...

Я обмер, увидев ее; думается, не я один... Худые длинные руки пианистки были прижаты к плоской груди. Лицо стало мертвенно-бледным... Всем корпусом она рванулась через стол к генералу Тузову, и генерал Тузов в ужасе отшатнулся от нее...

— Константин Флегонтович! — зазвенел вдруг ее никем и никогда не слыханный, неожиданно молодой высокий голос — такой голос, что у нас у всех мороз пробежал по коже. — Нет, Константин Флегонтович... Этого я вам не позволю! Как — Лизаветочке тоже? Нет, нет, нет! А вы, если уж начали, — договаривайте до конца. Мон дьё!¹ Да, вы не любили Надин, не спорю. Ей не легко, вам — тоже не легко! Ну а той-то, которой вы клялись в вечной страсти? Той, которая отдала вам всё, что имела, господин поручик Тузов, Кокочка Тузов, Котик? Отдала даже то, что принадлежало другому... Та, которую вы — да, вы! — отвергли... Она-то что же? Ей-то чем помянуть свое страшное, свое бессмысленное существование? Точку замерзания свою? Ах, она поступила по вашему мудрому совету. Она осталась «барышней», да, да! Сначала — просто барышней. Потом — немолодой барышней. Наконец — старой барышней, старой девой... Вы знаете, что ей выпало на долю? Откуда вам это знать; это знаем мы... О, эти уроки в разных концах города, в слякоть, в пургу, под летними ливнями — в чужих, живых, счастливых семьях! О, эти детские головки — с бантами, с косами, стриженные ежом, кудрявые; касайся их, ласковая старая дева, — у тебя никогда не будет ребенка! Вдыхай хоть их теплый чистый младенческий аромат! Серый дождь, заплатанные калоши, пустая комната на пятом этаже: «Мария Владимировна, сыграйте нам «Аппассионату». «Душечка, вы с такой душой ее играете!» «Аппассионату!». Я!.. Мокрая юбка бьет по ногам; надо платить за прокат пианино... Беги, старая ведьма, кому ты нуж-

¹ Боже мой! (франц.)

на?! Разучивай фортепьянную партию «Крейцеровой» — ты же аккомпаньаторша, ты — умеешь! Играй «Мазурку» Венявского, играй танго, тапёрша! Не оборачивайся; тебе играть, извиваться будут другие... «Аппассионаты» не для тебя, — бренчи! «Странно, откуда у нее такой темперамент, у этой седой летучей мыши, пустоцвета, старой девы? Что она-то понимает в страстях?..»

Горло у нее перехватило. Судорожный жест: сухая рука ее рванула со стола первый попавшийся бокал; она выпила с жадностью привычного пьяницы; голос ее почти перешел в крик:

— Лиза, Лизанька... Милая! Только не это... нет, — не это! Умоляю тебя, что угодно, только... Лучше пусть всё летит к черту! Лучше — какой угодно травяной¹, только не такой смертельный холод, не такое про... про.. прозябание... Как червяк под землей... Как увяд... как увядший...

С силой оттолкнув от себя стол (вот тут бокалы и рюмки попадали на скатерть; по полотну побежали красные пятна), она кинулась прочь... Генерал Тузов, человек с именем, преподаватель Академии Генштаба, посеревав лицом, схватил ее за руки:

— Мери... Мурочка... Ты права... Я знаю, я — негодяй, трус, идиот... Но... как же теперь, Мурочка?..

И — точно прорвало плотину. Все как один вскочили, кинулись кто куда. Все загалдели, перебивая друг друга, хватая друг друга за лацканы тужурок, за локти, за пуговицы пиджаков... Мейерхольду бы такую сцену ставить — и то... Не знаю, как... Взрыв парового котла!

Всё, что в душах людей десятки лет слеживалось под всё нараставшим давлением, что кипело, клокотало, пузырилось, распирало болью грудные клетки, вдруг, гроыхнув, вырвалось наружу... Всё взорвалось! Ничего нет: условностей, приличий всяких... К дьяволу, к дьяволу, ко всем чертям мира!!!

Раичка Бернштам, с рюмкой в руке, этакое колибри в золотистом шелку, вскочила на стул, проливая вино на скатерть, на платье, на плечи соседей... Сергей Сладкопевцев — он вот, он! — с выражением ужаса («Рая, Рая... Не сейчас, не здесь!») держал ее за талию, умоляя сойти, уйти, подождать.

¹ Сбившаяся с пути; в переносном смысле — кокотка (итал.).

Ольга Яновна Стаклэ — этой было легче всех! — Ольга Стаклэ, огромная, великолепная, как статуя прибалтийской Венеры, отбрасывая движением головы за спину удивительные, в руку толщиной, косы свои, с жаром, — и, видимо с полной откровенностью, — грозя ему пальцем, отчитывала, уговаривала, исповедовалась перед дядей Костей и тетей Мери... — но по-латышски, по-латышски! Ей можно было что угодно говорить, и видно было, она себя не стесняла: глаза ее сверкали, зубы тоже... Ее ведь никто не понимал, умницу! Коля положительный продолжал громить несчастную Анну Георгиевну, зажав ее в дальний угол.

А — Лизаветочка? Лизаветочка-то что же?

Обернувшись, я снова увидел ее. Всё так же, руки на коленях, она сидела на табуреточке, обратив девичье свое лицо к еще не белой, но уже совсем светлой ночи. А, будь всё оно пеладно! Чего бы я не дал, чтобы еще раз в жизни, хоть один-единственный раз увидеть такое лицо, встретить такой взгляд...

Я бросился к ней.

— Ни-че-го... — одними губами прошептала она. — Ничего не говори! Мне ничего больше не надо... если такое чудо... Иди, иди к себе... Я сейчас в окошко закричу, что люблю тебя... Иди скорее!..

Я метнулся к двери: задержаться на миг, значило бы заговорить, а заговорив — до чего бы каждый из нас договорился?

Последнее, что я запомнил в тот миг, было оливково-смуглое лицо этого страшного человека. Он пересел из-за стола в угол за финиковую пальму, выращенную Лизаветочкой из зерна, из косточки. Оттуда, из ее тени, он зорко, жадно, пылливо и с торжеством смотрел на нас. Нет, это был уже не индусский принц, не капитан Немо! Там, за пальмой, сидел какой-то темный дух из заброшенного храма, чернобородый и лукавый оболститель людей.

Было что-то нелюдское даже в движении его маленькой руки, скручивавшей папироску...

А бомбочка с эн-два-о спокойно стояла теперь у его ног, как черный пес у ног Мефистофеля, как страж хозяина, готовый по первому его указанию вцепиться в горло кому угодно...

Как говорилось в те времена: «Облетели цветы, догорели огни...» Гости стали разбегаться — впервые в жизни этого дома — преждевременно. Хозяйка (она же надышалась газа правды!) никого не удерживала. Все чувствовали, что произошло нечто из ряда вон выходящее; каждому неодолимо хотелось как можно скорее выложить кому-то всё, что у него рвалось из души. Каждый все-таки соображал на первых-то порах, что для этого надо найти *подобающих* слушателей. Как потом было выяснено: человек, испытавший действие эн-два-о, жаждет открыться непременно тому, кто не подвергся вместе с ним этому действию...

Вспомните: шишкинский газ парализовал только те мозговые центры, которые ведают воображением; весь же остальной мозг (не говоря о центрах речи, центрах Брока) лишь слегка стимулировал, как бы освежал. Надышавшись этой пакости, человек не только не глупел — он умнел, и умнел чрезвычайно.

Да, верно, ни с чем не считаясь, не справляясь с собой, он начинал, так сказать, правду-матку резать, но делал-то это он с блеском, вдохновенно, с упоением, и в то же время отлично понимая, чем это грозит. Страшно, а говорю... Стыдно, а — говорю! Не могу молчать... Так что же делать? Бежать, только бежать, куда глаза глядят...

И гости бежали.

Швейцары в те времена великолепно знали все торжественные дни стоящих жильцов, вели им учет и в нужные даты являлись с «проздравлениями». Швейцар Степан и тут с утра уже «повестил» находившихся в денной зависимости от него извозцев о возможной поживе. К полуночи с десяток ванек дежурило у нашего подъезда...

Ваньки, сидя на своих козлах, ожидали обычного — появления людей навеселе, под мухой, заложивших за галстук; жизнерадостных, пошатающихся, но обыкновенных!

А из парадной на улицу выходили люди почти не хмельные, а в то же время явно не в своем уме. Они садились в пролетки и, еще не застегнув на коленях кожаных фартуков, начинали выкладывать ничего не соображающему вознице *правду*. Правду, подумайте над этим!

Каждый свою, все — разную, но зато уж — всю правду, до конца...

...Сначала в недоумении, потом в панике питерские автомедоны (так про них писали тогда в газетах), то в ужасе оборачивались на седоков, то принимались отчаянно гнать своих кляч, а во влажном воздухе весны в их уши врывались такие признания, такие исповеди, каких петербургские улицы не слышали со времен восторженного романтизма...

Генерал Тузов — нет-с, он не рискнул довериться извозчику! — пошел было к Техноложке пешком. Но на первом же углу он заметил городского и, среди пустых трамвайных рельсов взяв его за пуговицу шинели, понес в утреннем сереньком свете такое, что тот, вынучив рачьи глаза, остановил первый, на великое счастье проехавший мимо таксомотор и приказал шоферу срочно отвезти их превосходительство в номера «Виктория», на Мал-Царскосельский...

— Домой — пи-ни! — зловещим шепотом, слышным от Забалканского до Владимирского, внушал он удивленному таксомоторщику. — Вовсе из ума вышедши господин генерал-лейтенант... Дома ее превосходительству такое натарабарят — до гроба потом не разберутся...

Тетя Мери тихо плакала за кухней, на скудной Палашинной кровати. Около нее была мудрая Ольга Стаклэ. Латышка наотрез отказалась покинуть квартиру Свицерских, «пока из меня этот болтливый чертик не вискочит!» Она то обнимала бедную старую учительницу, как ребенка, повторяя ей утешительно: «Пустяки, крустматэ, мйла! Бóдро!», то вдруг, быстро отойдя в угол за плитой, начинала громко, страстно, точно споря с кем-то, говорить по-латышски... Ох, умна была!

Оба Коли исчезли, как воск от лица огня. Бесследно испарилась и чериенькая, пепстовая Раичка Берпштам вместе со своим рыцарем... Ну, она и без эн-два-о не держала свой язык за семью замками, — так что ей никаких особых опасностей не грозило...

А вообще-то несколько странно: каким образом роковая ночь эта не вызвала всё же в городе и даже в кругу наших знакомых каких-либо существенных бед, драм, трагедий... Впрочем, что же тут странного? Люди тогда были *очень хорошо воспитаны*; воспитаны ничуть не хуже, чем черепахи в костяных панцирях. Испытав потрясение, они на следующий же день втянули под панцири

лапы, хвосты, головы — всё; заперлись на все засовы, спрятались как кроты в норах...

Во всяком случае — проштудируйте тогдашние газеты, — нигде ни слова о том, чему мы были свидетелями, о необыкновенном случае на Можайской. А ведь любой репортер «Петербургской газеты» или «Биржевки» жизнь бы отдал за такое сенсационное сообщение... Значит — не знали!

Вот так-то, друзья... Тысячи раз в дальнейшей своей жизни я — он пусть сам за себя говорит! — жалел я, что действие эн-два-о было таким кратким, что оно никогда больше не возобновлялось, что... Всё бы, конечно, сложилось иначе в наших жизнях, если бы... Ну, да и за то, что он нам тогда дал, спасибо этому удивительному бо-родачу... Не так ли, Сладкопевцев?

ВОЙНУ ОБЪЯВЛЯТЬ НЕТ НАДОБНОСТИ

Я начинаю войну, а затем
нахожу ученых-правоведов, ко-
торые доказывают, что я сделал
это по праву.

Фридрих II

Ну что же, пора закругляться (странное какое выра-
жение, — вы не находите?..).

Когда наутро я вошел в свою комнату, Шишкин пре-
спокойно пил чай с земляничным пирогом от Иванова.
На минуту мне захотелось вытянуться перед ним и по-
просить разрешения сесть, — так мал и ничтожен пока-
зался я себе в сравнении с ним. Он не слишком усердст-
вовал, чтобы восстановить меж нами равенство.

— Ну, видел? — снисходительно поинтересовался
он. — Понимаешь, какая сила в моих руках? Бертольд
Шварц или Альфред Нобель... да они щенки рядом со
мною. Сообрази, голубчик, — до этого он никогда не звал
меня голубчиком, — если некто, в секрете, наладит про-
изводство этой *субстанции*. Наладит в промышленных
масштабах... Где тогда будут пределы *его* власти над ми-
ром?.. Не веришь?

Какое там — не верить! *Теперь* я верил каждому его
слову: холод ходуном ходил у меня между лопаток. Ведь
на самом деле — в его маленькие индусские руки попала

чудовищно большая потенциальная власть. А кто он такой, чтобы ею распорядиться? Что мы знаем о нем? Что, кроме исключительной одаренности ученого, таится за его невысоким смугловатым лбом? Какие нравственные законы значимы для него, и к каким из них он равнодушен? Что же хочет он извлечь из своего открытия? Стать новым Прометеем? Одарить человечество великой силой, силой *правды*?

Ничего подобного! Он, кривясь, мечтает о том, как бы унести свой клад в темное место, как собака тащит найденную кость в конуру. «Соблюдая тайну, наладить производство...» Тайна, патент, собственность; что в конце всего этого? Богатство! Великое богатство. Власть! Чья? Его!

Говорю вам это и думаю: кто это говорит? Это — членкор Коробов, убеленный сединами, не Павлик Коробов, не студент-технолог одиннадцатого года... Членкор хорошо знает, что к чему: выучили за долгие годы. А Павлик?.. Да мне даже и не вообразить теперь, что он думал и чувствовал в то время...

Меня охватило смятение, пожалуй даже и страх... неприязнь к нему... Мы вот с ним тогда Маркса — Энгельса не читали, что говорить... Не в пример другим своим коллегам — не читали! Герберта Уэллса — почитывали. «Человека-невидимку» я считал гениальным памфлетом, ясно видел по судьбе несчастного Гриффина, что «гений и злодейство суть вещи великолепно совместимые»... Ну, а коли так, — чего это я из себя выхожу? Человек, добыв из собственного черепа самородок золота, хочет поступить с ним себе на утеху... Так ведь все кругом — Цеппелины и Райты, Маркони и Эдисоны — разве они иначе поступают? Может быть, Шишкин этот потом тоже какой-нибудь там Шишкинианский университет на свои деньги, как Карнеги, откроет...

Не переоцениваю ли я благородство своих эмоций?

Говоря начистоту, я не только и не столько в этом «мировом плане» оробел. Я испугался проще, лично... Вот он нас всех свел с ума, а сам? Ведь похоже, что он-то остался «трезвым». Значит, у него было противоядие? Но тогда он обманул меня... Зачем?

Стоило ему теперь захотеть, посмотревшись и наслушавшись всякого за те четверть часа или полчаса, что мы не владели собою, он мог превратить наши существования в совершенный кошмар.

Да... Я не хотел попасть в лапы преуспевающего Гриффина, но мне — да и всем нам — претила бы и роль Уэлсова доктора Кемпа, мещанина, во имя своего мещанского покоя осудившего голого и беззащитного гения на смерть.

Да, Гриффины были *угрозой*, но Кемпы были вечными *филისტерами*. А из этих двух репутаций для каждого из нас наиболее отвратительной была вторая... Доведись, случись что-либо страшное, никто из нас не сможет встать, пойти куда-то, забить тревогу и в каком-то смысле *выдать* своего товарища. И проклятый Венцеслао отлично учитывал это.

Он возлежал на моем диванчике, курил черт его знает какие папиросы, укрепленные вместо мундштуков на соломинках, и говорил со мной тоном доверительно-откровенным. Но что он говорил?!

— Я вот думаю (мне пришлось о многом подумать в последние дни) — мне, собственно, сам бог велел теперь стать таким Морнарти... Королем преступников, страшным и неуловимым... Но — не стóит, верно? Лучше — всё по честности, ха-ха... Сам подумай: вот мы с тобой могли бы... Ты вообрази: маленький аптекарский магазинчик, тихая лавчонка, торгующая — так, всякой дрянью... Реактивами, химической посудой... Стеклянными трубками (он вдруг ни с того, ни с сего рассмеялся, и я со страхом посмотрел на его папиросу)... На Шестой линии, представляешь себе? Под сенью бульварчика, а? «Коробов и Шишкин»... Так, для начала... Теперь прикинь: двести кубометров эн-два-о — это семь гривен затрат да сутки сидения над перегонным кубом... И — «пожалуйста, заходите! Вам сколько угодно? Двести кубометров? Ради бога; двести по рубль двадцать три — это...» Морщишься? Кустарщина? Ну давай искать финансиста... С ушами и с головой, но — без языка! Ваши деньги, наша идея; начала паритетные... Завод — где-нибудь у черта на куличках, подальше от всяких глаз... И через три года, — его глаза вспыхнули, он вскочил на ноги, — к чертям собачьим всю эту говорильню, все эти сантименты, дурацкие споры!.. Шовинизм, пацифизм — идиотство: Вячеслав Шишкин не желает, чтобы в мире были войны! И — баста! И — точка! Всё! И — не будет!

Лицо мое выразило: «Ну, это уж ты, друг мой...»

— Ах, ты всё еще не веришь? Хочешь — картинку? Две армии — на позициях. На стороне одной — я, Шиш-

кин... Мой газ. Противники готовы ринуться вперед... Вдруг — дальний гул... Странные снаряды. Взрыва почти нет, осколков нет, только клуб темно-зеленого дыма... Солдат окутывает изумрудный туман... А дальше... дальше тебе всё известно. Прошло, скажем, четверть часа. «Ваше благородие, дозволейте спросить... Чего это ради нам помирать надо? Не пойду я, господин ротный, в атаку, ну его!.. До поры в яму лезть никому не охота!» — «А что, Петров (или там Сидорчук), ты ведь прав!.. Идем на смерть ни за хвост собачий. Царь у нас юродивый, министры — ракални, всех пора долой, слово офицера!»

Повоюй в этих условиях! А ведь я, — он в одних носках забегал по комнате, — я пока создал только икс дважды! А кто тебе сказал, что через год не найдется игрека трижды, зета, кси или пси? Кто сказал, что, если вместо закиси азота я возьму какое-нибудь йодистое, бромистое, натриевое соединение, я не получу вещества с совершенно иными свойствами? Таблетка, а в ней — все инстинкты Джека-Потрошителя?.. Флакончик — а там одаренность Скрябина или Бетховена? Порошок, и за ним — фанатическая одержимость всех Магометов, всех Савонарол... Ты уверен, что такие «снадобья» не были уже — кустарно, конечно, вслепую! — открыты и изготовлены? А средневековые мании? А диккий фанатизм Торквемады? А семейка Борджиа?.. Гении рождались всегда: эти Борджиа мне весьма подозрительны. А коли так...

«Сам ты маньяк!» — промелькнуло у меня в голове.

— Слушай, баккалауро, ты же теряешь меру! Ну тебе повезло: ты наткнулся... Но теория вероятностей говорит...

Он остановился, точно уперся в песок, и уставился на меня острым, колючим взглядом. Потом не спеша вытащил из жилетного кармана что-то, напоминающее маленькую плиточку шоколада, тщательно завернутую в свинцовую бумажку.

— Вспомни историю химии, милый... Восемьдесят лет назад Вёлеру *повезло*: он *наткнулся* на синтез мочевины... А спустя два-три десятилетия — и понесло, и замелькали... Зинин и Натапсон, Перкин и Грисс, Гребе и Либерман... Теория вероятностей? Нет, фуксин, алizarин, индантрены... Видимо, тебя не было припугнуть их этой самой вероятностью! Хочешь? — он протянул мне

свою плитку. — Попробуй, не бойся, не помрешь... На вкус — терпимо, а результаты... Ага, побаиваешься всё-таки? И правильно делаешь: после Вячеслава Шишкина народ начнет остерегаться химии. Еще как!

Ну а я? Что я мог сказать ему теперь путного, после того, что произошло накануне?

* * *

— Сергей Игнатьевич, помнишь, что было потом? Мы-то с тобой помним, а вот коллегам... Трудно им всё сне даже *вообразить*... А каково же нам было *решать*?

Ты пришел ко мне назавтра, весьма смущенный. Баккалауро не терял времени: он побывал у тебя и, несколько высокомерно информировал тебя о сути дела, предложив тебе переговорить на эту тему с твоим батюшкой; может быть, твой родитель пленится идеей и выложит деньги... Ты пришел посоветоваться со мной. Так ведь?

Мы весь вечер просидели в моей комнате: ты, Лизаветочка и я. Мы говорили почти что шепотом: мы хотели, чтобы Шишкин ничего не узнал о наших сомнениях, а в то же время нам начало казаться — не слишком ли сильное влияние с его стороны испытывает Анна Георгиевна?

Да, всем было понятно: судьба поставила нас, как говорится, у колыбели очень важного открытия... Неужто в этом положении брать на себя роль обскурантов, маловеров? Это нам никак не подходило. Мы помнили десятки примеров: французские академики за год до Монгольфье объявили полет немыслимым делом. Английские ученые ратовали за запрещение железных дорог: коровы от грохота потеряют молоко! Уподобляться этим мракобесам? Конечно, нет! Но в то же время...

Имели ли мы право *запретить* человеку реализовать его удивительное изобретение? Не имели. Но было ли у нас и право *позволить* ему в тайне и секрете реализовать открытие *для себя*?

Помешать этому? *Выдать товарища*? Но ведь это — предательство самой чистой воды... *Не выдавать его*? Но не окажется ли это чем-то куда более худшим, *предательством человечества*?.. И у меня, и у него, Сергея, за то время, что баккалауро убеждал нас, *открылись на него глаза*: человеком-то он, по-видимому, был далеко

не на уровне своих ученых достоинств... Как же нам поступить?

Ах, какими маниловыми мы все тогда были, такие интеллигентки! Мы решили *подождать*; а что могло быть хуже?! Мы сделали великую ошибку: «Попробуем затянуть, отсрочить решение дела... Поговорим со Сладкопевцевым-отцом. То да се... Авось...»

И бакакалауро в свою очередь допустил не меньший промах; *видимо*, допустил!

В самонадеянном нетерпении своем он не нашел в себе силы ждать. Кому-то (были смутные основания думать, что тем самым Клугенау, о которых уже шла речь) он открыл свою тайну. Возможно, над ними он проделал такой же опыт, как у нас на Можайской. У нас все «обошлось», если не считать, что дядя Костя Тузов внезапно разошелся с женой и уехал за границу с тетей Мери Бодибеловой. А вот у Клугенау разыгралась настоящая трагедия: в июне месяце восемнадцатилетняя Матильда отравилась; ее едва спасли...

А вскоре события понеслись таким галопом, что наша тактика кунктаторов оказалась вовсе не применимой, и всё пришло к печальному концу раньше, чем мы успели ее проверить.

После Лизаветочкиных именин Венцеслао сразу же исчез с наших глаз. Когда это случилось раньше, мы не тревожились: явится! Теперь начались волнения: где он, что делает, какие новые сюрпризы готовит там у себя, не то на Охте, не то за Невской заставой? Что ожидает ничего не подозревающий мир? Больше других тревожился вот он, Сладкопевцев.

— Так еще бы! — неожиданно проявил сильное чувство до сего времени помалкивавший сопроматчик. — Если только икс дважды — шут с ним! А если он и впрямь нащупал общий путь воздействия на человеческую психику (об условных рефлексах кто тогда знал?)? Изобретет какой-нибудь там «антиволюнтарин» или «деморалин» и не то что сам его применять будет, а продаст на толчке любому сукину сыну с тугой мошной... Нет ничего на свете опасней сорвавшейся с цепи науки, если ею не управляет добрая воля!.. Я не прятал голову под крыло, как вы... Я предлагал сразу же начать действовать...

— Верно, Сереженька, верно, — подмигнув Игорьку, благодушно согласился Коробов. — Мы были Рудины, а ты ориентировался более на Угрюм-Бурчеева... Положи

мой ножик на стол: нет поблизости Шишкина!.. Он его тогда буквально возненавидел!

Да, по правде сказать, и все мы... помешались на Шишкине, бредить им стали. Сидим с Лизаветочкой в Павловске, в весенней благодати, на скамейке у Солнечных часов, и — «Шишкин! Шишкин, Шишкин... Баккалауро! Венцеслао!» Тошно, ей-богу!

Но и понятно. Вообразите: пришел к вам приятель и на ухо шепчет, что вчера случайно заразился чумой... Как быть? Как уберечь от заразы людей, не повредив себе самому?.. Премучительное наступило для нас время..

Жизнь, однако, шла своим руслом... Венцеслао обрелся в нетях; приближались весенние экзамены. И вот, мая пятого числа, в девять часов пополудни, направились мы с тобой, Сереженька, можно сказать — тут же через улицу, в альма-матер. В Техноложку... Шли спокойно, по...

АЛЬМА-МАТЕР ВСКИНЕЛА!

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус...
Студенческая песня

Странный гул и возбуждение встретили нас уже в вестибюле. Не слышно было обычного шарканья профессорских калош; швейцар, прославленный Демьяныч, не возглашал, как заведено было: «Здравия желаю ваше-ство»; студенчество не мчалось опрометью по лестницам в аудитории... Подобно киплинговскому «Злому племени», потревоженному Маугли, оно по-пчелиному гудело и жужжало у всех летков.

Скинув пинели, мы ахнули. У гардероба на деревянном диванчике лежал студент-второкурсник, прикрытый каким-то пальто, с головой, забинтованной белым. Кто-то шупал ему пульс, кто-то требовал воды, кто-то уже ораторствовал: «Мы не можем пройти мимо случая возмутительного произвола...»

Что случилось, коллеги?

Случилось нечто из ряда вон выходящее.

В тогдашней восемнадцатой аудитории (помнишь, Сережа, в конце коридора, за кабинетом химической тех-

нологии?) должна была состояться очередная лекция адъюнкт-профессора Кулябки-Борецкого по этому самому предмету.

Кто ходил на Кулябку? Никто. Его терпеть не могли: талдычит от и до по собственному же учебнику. И личность сомнительная!.. Но где-то рядом сорвалась лекция Гезехуса. Образовалось окно; без дела скучно. Аудитории Кулябки заполнилась случайной публикой.

Кулябко, как всегда, гнусил что-то себе под нос, скорее недовольный, нежели обрадованный неожиданным многолюдием.

Студенты — кто да что: читали романы, дремали, со- беседовали. Всё было тихо и мирно.

Внезапно — вспоминали очевидцы — где-то под потолком небольшого амфитеатра раздался негромкий звук, хлопок; точно бы пробка вылетела из бутылки зельтерской... Почти тотчас же через небольшой душничок-вентилятор, подававший воздух откуда-то с чердака, помещение начало заполняться каким-то дымом или паром своеобразного, зеленоватого, похожего на флуоресцин, оттенка.

Окажись этот туман остропахучим, зловонным — началась бы паника. Но в воздухе вдруг запахло какими-то цветами, благоухало, так сказать... Ни у кого ни удушья, ни раздражения в горле...

Профессор, принявшись, приказал служителю подняться на чердак, узнать, что это еще за шалопайство? Кулябке было не впервой сталкиваться с тем, что тогда именовалось «устроить химическую обструкцию»; странно только, что запах-то — приятный... Впредь до выяснения он прервал свою лекцию (и напрасно!).

Студенты, пользуясь тишиной, стали всё громче и громче обсуждать случившееся. Шепот возрос, перешел в довольно громкий шум. И вдруг кто-то из второкурсников, сидевший почти против кафедры, подняв руку, пожелал обратиться с вопросом к самому Кулябке. Без особой радости Кулябко процедил что-то вроде: «Чем могу служить?»

Студент встал и с какой-то странной ухмылкой оглянулся... Похоже, он сам не понимал, с чего это его дернуло заводить такой разговор. Потом, помявшись:

— Господин профессор... Вы меня уж извините, но я... Вам, верно, приятно, что собралось так много народа? А? Так вот — я хочу предупредить: не обольщайтесь,

господин Кулябко! Ваша популярность не возросла... Я давно уже собираюсь вам всё сказать... Как на духу! Мы ведь вас терпеть не можем, а? Да вот, — все мы... Химик вы... ну, средней руки, что ли... Сами знаете! А то, что вы покровительствуете этим франтикам в кургуzych тужурочках (он досадливо махнул туда, где кучкой сидело несколько «белоподкладочников», черносотенцев), так это вызывает и окончательное пренебрежение к вам... А потом... Ведь про вас нехорошие слухи ходят, господин член «Союза русского народа»! Говорят, на Высших женских вы руководствуетесь при оценке успеваемости отнюдь не способностями к наукам... Это как же так, господин истинно русский?

Аудитория остолбенела. Да, так все думали, но никто никогда ничего такого не говорил. Тем более этак... экс катэдра¹. Скандал, коллеги! Вот как он рявкнет...

Кулябко не рявкнул. Он было открыл рот, сообщая, — не может быть! Ослышался?

Но внезапно выражение его лица изменилось. Он вдруг сел, поставил локти на кафедру, подпер щеки кулаками и желчным, острым, ненавидящим взглядом прошелся по рядам студентов.

— Выражаю вам глубокую признательность, молодой наглец! — произнес он затем, осклабясь в ухмылке старого сатира. — Ценю вашу редкую откровенность. Позвольте ответить тем же... Тоже — не первый год питаю такое желание... Меня — если вам угодно знать-с — отношение к моей особе со стороны было, именуемого российским студенчеством, не заботит ни в малой мере-с... И никогда не заботило-с! Выражаясь словами господ либеральных писателей, я — чинодрал, господин этюдьян!² Да-с! Вам до химической технологии — никакого дела, и очень прелестно! Мне до вас, господа в пурпуровых дессу³, — как до прошлогоднего снега. Как свинье до апельсинов, если вас это более устраивает, юные померанцы! Я так: отбарабанил, что в программе записано, и — на травку! Однако на ближайших же испытаниях с превеликим удовольствием буду вам парочки водружать... С наслаждением-с! Садист Кулябко? А мне наплевать-с! Что же до тужурочек, как вы изволили изящно

¹ Буквально: с кафедры, во всеуслышание (лат.).

² Студент, студия (франц.).

³ Кулябко обвиняет студентов в том, что они скрытые красные — носят под формой красное исподнее белье.

выразиться, то кому, знаете, поп-с по сердцу, а кому — понады. Вам, к примеру, Сашки Жигулевы импонируют, а я — было б вам известно-с — в девятьсот шестом приснопамятном в своем дворянском гнездышке мужичков-погромщиков — порол-с! А очень просто как: через господина станового пристава: «чуки-чук, чуки-чук!». Оно, после вольностей предшествовавших лет, весьма сильное впечатление на оперируемых производило... Так что — де густибус¹, знаете...

Свиристое мычание прокатилось по рядам. «Долой! Позор!» — послышалось сверху.

— Эй, полупрофессор! — раздался вдруг злой, совсем мальчишеский голос. — А что ты скажешь про дело Веры Травиной, старый циник! Ну-ка вспомни!

И тут Кулябко совсем лег грудью на пюпитр. Мясистая нижняя губа его бесстыдно отвисла, серые глазки прищурились, как у борова, хрюкающего в луже.

— А я и без тебя ее вспоминаю, дурачок! И не без приятности!.. Хомо сум...² Очень ничего была девица, а что глупа, то глупа-с! В петлю ее никто не гнал, предлагать же то, что ей было мною или там другим кем-то предложено, сводом действующих законов не возбраняется... А что до вашего мнения, так я на него с высоты Исаакиевского кафедрального плевать хотел, господа гаудеамус игитур...

— Подлец! — взревела теперь уже почти вся аудитория. — Гоните с кафедры негодяя... Так, значит, ты ей предлагал что-то, старый павиан? А что же ты суду чести плел?

Одни вскочили на скамьи во весь рост, другие кинулись по проходам к кафедре...

Неизвестно, что случилось бы в следующий миг, если бы точно в это мгновение у ступенек, ведущих на кафедру, не появился седенький и благообразный старичок Алексеич, добродушный приятель студентов, тот самый служитель, которого Кулябко отправил в разведку на чердак.

Несколько секунд Алексеич сердито расталкивал студентов: «Ай-ай-ай, непорядок какой!», но потом остановился и как-то странно шатнулся на ходу. Потом он провел рукой по розовому личику своему и с изумлением

¹ О вкусах (не спорят) (лат.).

² Человек есьмь! (лат.).

выпучил глаза. Взгляд его уперся в белокурого юношу, уже поднявшегося на нижнюю ступеньку кафедры. Лицо этого юноши пылало; это он первый завел перепалку с Кулябкой и теперь клочкотал негодованием. Его видели, за ним следили все: общий любимец и приятель, вечный зачинщик всех споров на сходках, заводила смут — Виктор Гривцов. Алексеич устоял в него, точно приколдованный. И Гривцов, сердито сведя брови, наклонился к нему: «Ну, что тебе?»

Вот тут-то и грянул гром.

— Га-спа-дин Грив-цов! — неожиданно для всех то-пенько протянул, как-то просияв личиком, Алексеич, — ай-ай-ай! Нехорошо, господин Гривцов! Что же это вы господину профессору лишей других «позор» кричать изволите? Дак какой же это, извиняюсь, позор? Тут — «позор», а как в охранном отделении по разным случаям наградные получать, так там पहले вас никого и на свете нет? Уж кому-кому очки втирайте, не мне: вместе каждый месяц за получкой-то ходим...

Немыслимо описать страшную, смертную тишину, которая воцарилась за этими словами в той восемнадцатой аудитории. Можно было в те годы бросить человеку в лицо какое угодно обвинение; можно было назвать его обольстителем малолетних, шулером, взяточником, взломщиком, иностранным шпионом, насильником — всё это было терпимо; от всех таких обвинений люди, каждый по умению своему, обелялись и оправдывались. Но тот, кого в лицо — да вот еще так, на людях, в студенческой среде, — называли провокатором, агентом охраны... Нет, в самом страшном сне не хотел бы я, чтобы мне приснилось такое...

Все глаза — добрая сотня пар молодых беспощадных глаз (даже глаза тех, белоподкладочников!), как сто пар копий, вонзились в обвиненного. Побледнев, как алебастровый, Виктор Гривцов, всё еще подавшись вперед, схватившись рукой за воротник форменной тужурки, широко открытыми глазами смотрел на старика, точно на вставший над разверстой могилой призрак...

Даже на мухортом личике адъюнкт-профессора Кулябки рядом с сожалением выразилось что-то вроде легкой брезгливости.

А Алексеич внезапно размахисто перекрестился. Святоотческая плешь его побагровела.

— Осьмой год, — кланяясь миру на все четыре сто-

роны в пояс, заговорил он громко, истово, словно на общей исповеди, — семь лет, как один год, прослужено у меня в полиции, господа студенты! Но я-то что ж? Верой служу, правдой, как полагается... Истинный крест! Осьмой год куска недоедаю, ночей недосыпаю — боюсь! Узнаёте, думаю, убьете, как муху, господа студенты... Ну — мое дело, как говорится, такое: оно до вас вроде как и совсем постороннее; вы — ясны соколы, а я кустовой лунь! Мне сам бог велел: кто такой есть Коршунов, Егор Алексеев? Новгородской губернии Валдайского уезда деревни Рыжоха самый закорявый мужичонка... А вот как я господина Гривцова теперь понимать должен? Он-то кто же? Богу свечка или — не хочу черным словом рот поганить — другому хозяину кочерга? Ну что, ваше благородие, скажи — нет?! Не на одной ли скамеечке с тобой у Коростелева, у Гаврилы Миныча, в приемный день сидим? Только что вы так меня, старого лешего, не признаете, а я-то вас — очень хорошо приметил... По полету признал, и в очках в черных...

Он замолчал, уставив в Гривцова палец, как Вий: «Вот он!» И тогда, к ужасу, гневу, омерзению и торжеству присутствовавших, Виктор Гривцов, блестящий студент, сын довольно крупного инженера, тоном не то медиума, не то лунатика, высоко подняв белокурую голову, заговорил, как по-затверженному:

— Ну что ж? Да. Я — охранник. Я выдал Горева и его группу. А удалось бы, выдал бы и других. Жаль, что срывается. Ненавижу вас всех. Делайте что хотите: я ни в чем не раскаиваюсь!.. Я...

Как-то вдруг взвизгнув, он бросился к двери. Его схватили. Началась свалка. И вот — теперь...

...Все наши попытки добиться толку относительно чердака, отверстия в стене или потолке, то есть, по сути вещей, относительно Венцеслао, не привели ровно ни к чему. О зеленом тумане уже никто не думал. Всё бурлило вокруг; люди кричали, тащили друг друга куда-то в дальние коридоры, в чем-то исповедовались друг другу, чем-то возмущались, чему-то радовались... Мы одни понимали, в чем тут дело: картина-то была знакомой!

Делать, однако, было нечего, и мы оба сбежали, нечестно бросив щиты. Весь этот кавардак, если верить составленному час спустя полицейскому протоколу, «перешел в побоище».

Гривцова еле удалось вырвать из рук разъяренных коллег, и то потому, что появился еще один студент, который, рыдая, обещал сейчас же, немедленно, открыть всем про себя чудовищную, непредставимую тайну... За ним побежали, а аудиторией овладел специально вызванный наряд городских.

Впрочем, мы скоро перестали допытываться подробностей. Мы-то точно знали: солгать нам не мог никто; замолчать случившееся — тоже. Если все эти юнцы ничего больше не сообщали, значит — они и не знали ничего. Мы же не сомневались в главном: Венцеслао начал необъявленную войну с миром, ни словом не предупредив нас.

Были, правда, странности: в институте никто не видел его в тот день. Это означало, что трагикомедия могла разыгаться и в его отсутствие. А если так, то он выпустил эн-два-о из рук, выдал кому-то свой секрет... Или его у него похитили? Какой ужас!..

Опять мы трое — Лизаветочка, вот он и я — сидели вечером в моей комнате. Мы были буквально убиты, да и было чем...

Вы живете в совершенно другом мире, молодые друзья, и всё же подумайте...

Что сказали бы вы, если бы я, мило улыбнувшись, сообщил вам, к примеру, что в тот кофе, которого вы, правда, почти что и не попробовали, что в эти рюмочки коньяка подмешано плюс икс дважды? Что через десять минут вы уже никому и ничего не сможете солгать? Даже скрыть что-либо от собеседника? Как бы вы почувствовали себя...

Люда Берг вдруг вся залилась краской. Она быстро взглянула на Игоря. Игорь выпрямился и кашлянул.

— Нет, как же тогда? — ахнула Люда. — У нас, например, вчера... как-то трюфельный торт... случайно съелся... Нет, я не хочу, чтоб так... Как же так — сразу?

— Ага? Ну вот то-то и есть! — вздохнув, поглядел на нее Коробов. — Да нет, не бойтесь; нет в природе такого газа... Был, а — нет. Но подумайте сами: какое он мог иметь действие *тогда*? Мог, да — не имел? А не *имел ли*? Несколько месяцев спустя мы с Сергеем Игнатьевичем попытались кое-что в этой связи порасследовать... И, знаете, остановились. Смелости не хватило: страшно ведь заходить слишком далеко...

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

В истории немало стертых строк, которые никогда уже не будут восстановлены...

Альфонс Олар

Если у вас есть время, подите в Публичку, спросите комплект газет за май одиннадцатого года и внимательно, с бумажкой, проштудируйте их.

Во всех крупнейших газетах вы найдете подробные отчеты о заседаниях Государственной думы — думы третьего созыва, столыпинской. Весной в одиннадцатом году потихоху-помалёху плелась четвертая ее сессия. Почему я помню это так подробно? Других сессий не помню, эту — забыть не смогу никогда.

Так вот, тянулась эта сессия, с паяцем Пуришкевичем, с розовым ликом и седым бобриком Павла Милюкова, с кадетским трибуном Родичевым и октябристским Гучковым на рострах... Шли скучные прения по вопросу о земстве на Волыни. Как тогда стали выражаться: «думская вермишель»...

Пересберите майские номера какой-нибудь «Речи» в том году. Вы без труда установите: заседания думы происходили последовательно и мирно в понедельник второго мая (под председательством его сиятельства князя Владимира Михайловича Волконского-второго), в четверг, пятого (закрытое заседание утром), в субботу седьмого числа (в прениях остро выступал Н. Н. Кутлер) и в понедельник, девятого. Запомнили?

В понедельник этот состоялось даже два заседания — утреннее и вечернее; на вечернем председательствовал сам Родзянко. Оно и понятно: выносили резолюцию соболезнования французской республике; в Ле-Бурже под Парижем произошла катастрофа на аэродроме: на группу членов правительства обрушился самолет, погиб цвет кабинета министров. Франция — союзник, а всё же — республика! Могла быть демонстрация. Могли «Марсельезу» запеть! Понадобился Родзянко.

В мирной скуке протекало заседание одиннадцатого числа. На двенадцатое были снова назначены два заседания, на тринадцатое — одно. Ничто не предвещало конца сессии; ни в одной газете не появилось ни единой, обычной в таких случаях, итоговой статьи.

А тринадцатого мая, в пятницу, без всяких предупреждений господам депутатам думы был зачитан высочайший указ:

«На основании статьи 99-й Основных законов ПОВЕЛЕВАЕМ: Заседания Государственной думы прервать с 14 сего мая, назначив сроком их возобновления 15 октября сего же 1911 года... Правительствующий Сенат не оставит учинить к сему соответствующего распоряжения.

НИКОЛАЙ

12 мая 1911 года
в Царском Селе

Подлинное скрепил
Председатель совета министров
Петр Столыпин».

Изумленные газеты не нашли даже слов, чтобы хоть как-нибудь прокомментировать этот указ. Всегда в таких случаях они поднимали шум; на сей раз последовало недоуменное молчание. Сдержанное брюзжание послышалось лишь несколько дней спустя. «В Государственном совете, — писала кадетская «Речь», — недоумевают по поводу внезапного роспуска думы на каникулы. Странным кажется и то, что последнее заседание сессии не затянулось, как то обычно бывало, допоздна, но даже закончилось несколько раньше срока, законных шести часов вечера...»

В других газетах — я говорю, конечно, о газетах оппозиционных — завершение работ Думы именовалось где «нежданным», где «преждевременным» или даже «вызывающим всеобщее недоумение». Но любопытно, что дальше этого ни одна из них — ни «Речь», ни «Русское слово», ни «Биржевые ведомости» — не пошла.

Примечательно, юные наши друзья, и вот еще что. Никто нигде никогда не задал вопроса по поводу одного весьма странного обстоятельства: почему не был опубликован отчет о заблаговременно назначенном и никем не отмененном дневном заседании думы в четверг 12 мая? Оно же состоялось? Но ведь о его отмене никто не был извещен. Оно произошло? Но тогда что же на нем могло случиться такого, что никаких не то что стенограмм, даже самых сжатых репортерских заметок о нем вы нигде не найдете?!

Может быть, оно было преуказано заранее по ошибке? Да полно: о такой ошибке вся печать трубила бы полгода! Были бы опубликованы сотни карикатур на забывчивого Родзянку, на депутатов, ожидающих у закрытых дверей Таврического, на стенографисток, на кого угодно... Ничего этого вы нигде не обнаружите. Этого и не было.

Не было потому, что то заседание всё-таки состоялось. Точнее: оно началось в обычное время; оно продолжалось примерно до половины пятого дня и закончилось совершенно внезапно.

Спустя какой-нибудь час по его окончании Петр Аркадьевич Столыпин (он не присутствовал в тот день во дворце) в неистовой ярости и полном смущении экстренным поездом выехал в Царское Село на всеподданнейший доклад.

К ночи редакторам всех газет, независимо от их направления, было внушено изустно и поодиночке специально направленными к ним чинами, что не только ни единого намека на случившееся не должно просочиться в повременную печать, но полиции отдано распоряжение наистрожайшими мерами пресекать любые слухи и устные сплетни, восходя даже до заключения виновных под стражу.

Возник единственный в истории случай: состоявшееся заседание русского парламента было, по-видимому, «высочайше повелено» *полагать небывшим*. Стенограммы его — об этом тоже, очевидно, запрещено было упоминать — подверглись уничтожению в присутствии особоуполномоченных чинов министерства внутренних дел. Всё было затерто как гуммиластиком.

В думе 12-го, совершенно случайно, только лишь в качестве кавалеров при знакомых дамах, присутствовали два представителя аккредитованного при Санкт-Петербургском дворе дипломатического корпуса — фигуры далеко не первого ранга — военный атташе Аргентины господин Энрико Флисс и морской атташе Великобритании Гарольд Гренфелд. На следующее утро обоим навестил — вот уж сейчас не упомяну, кто тогда был мининделом — уже Сазонов или еще Извольский? — кто-то из самых высших лиц. Побеседовав с обоими, сановник и сам убедился, и их убедил без труда, что при создавшемся положении единственная возможная политика для всех — хранить гробовое молчание обо всем, что они видели, слышали,

и — главное! — что сами говорили и делали вчера. Это было строго выполнено всеми участниками.

После этого фантастическое — состоявшееся, но никогда не бывшее — заседание Государственной думы от 12 мая одиннадцатого года навеки ушло в небытие.

Сами сообразите: какие можно сделать заключения по этому поводу? Что могло произойти в думе? В повестке не значилось пунктов, требовавших «закрытых дверей», речи не шло ни о «государственных тайнах», ни о морских программах, ни о реорганизации армии. А тем не менее стряслось что-то такое, что лишило языка *всех решительно депутатов всех до единой* партий и фракций думы. Значит, произошло нечто, в чем каждый ощущал себя если не виновником, то соучастником, и причин чего он никак не мог даже самому себе объяснить. Во всех других случаях, разумеется, Марков или Пуришкевич никак не упустили бы сообщить о том, что стряслось с Гегечкори или Чхеидзе; точно так же — любой кадет не утаил бы ничего скандального, если бы оно было сотворено «крайним правым». Но, видимо, в этом случае даже самые длинные языки укоротились...

Это могло означать одно: сами участники заседания не в состоянии были найти причину случившемуся с ними со всеми. Оно и естественно: причину эту знали только мы. Имя ей было ВЕНЦЕСЛАО ШИШКИН, БАККАЛАУРО!

* * *

Вот как это всё у него получилось.

Восьмого или девятого мая по какому-то поводу у нас в квартире не осталось никого, кроме Палаши. Она-то вечером и передала мне записку от Шишкина: он приходил, никого не застал и ушел недовольный.

На сей раз Шишкин писал на какой-то дамской раздушенной бумаге с игривыми рисуночками вверху; писал он огрызком химического карандаша и, как всегда, по-русски, но латинскими литерами и с собственной орфографией:

«Дорогой Павлик, — писал он, — *nastupajut rechitelnye dni! Ja bezumno zaniat, vybratca k vam nie smogu. V to že vremia vy mnie neobhodimu.* В четверг двенадцатого состоится очередное заседание думы. Предполагается резкое выступление Шингарева — неважно о чем. Отвечать должен, кажется, Марков-Валяй, опять-таки —

наплевать. Важно, что там буду Я. Ты понимаешь, что это значит?!

Мне надоело ждать: покажу когти, и они станут поворотливее. К черту положение просителя; у меня есть все основания диктовать свою волю. Дураки сорвали мне умно задуманный опыт в Техноложке; всё было должно идти не так; век живи, век учишься, — сам виноват. Неважно: дума исправит дело. Кстати, я создал бесцветный и лишенный запаха вариант.

Не сомневаюсь в успехе. Тем не менее: ты наймешь на часы таксомотор и будешь держать его с часа до четырех у подъезда дома 37 по Таврической. Это — угловой дом; по Тверской он — № 2. Мотор должен быть наготове. Сергеев мотор не пригоден: слишком заметен. Ты — рядом с шофером. Я прибегну к твоей помощи лишь в крайнем случае. Если всё кончится по плану, как только разъезд из дворца придет к концу, — поезжай домой не ожидая меня. Ja zjavliu priamo na Moğajskuju i my potorgestvujem čort voz'mil!

Privet vsem! *Tvoj Venceslao*

Был там и постскрипtum, тоже латиницей: «Не пытайтесь мешать мне, хорошего ничего не получится».

Вот видите как? Он ни о чем не просил — он приказывал. Он не сомневался в нашем повиновении и был прав. Мы долго спорили, шумели, возмущались, а ведь сделали, как он велел: мы были в безвыходном положении. Ну как же? Пойти, сообщить властям предержащим? Мы же как-никак русские студенты...

Четверг тот выдался тихим, теплым, безветренным и влажноватым. Бывают в Питере такие дни: весна идет-идет, да вдруг задумается: «А что же это, мол, я делаю? Не рано ли?» От мостовых и стен веяло душной сыростью, пахло «топью блат». На западе, над заливом, как будто собиралась гроза...

Точно в час дня я на таксомоторе занял предписанную позицию. Место оказалось приметное: в этом самом доме на верхнем этаже помещалась квартира поэта Вячеслава Иванова, знаменитая «Башня»; бакалауро всё продумал: машина у такого подъезда не должна была привлечь внимания. Шофера же подобрал я сам — мрачного, ко всему, кроме чаевых, равнодушного субъекта. Уткнув нос в кашне, он немедленно заснул; я же занялся какой-то книгой, всё время поглядывая на часы.

Я не знал, когда начинаются, когда кончаются думские бдения, — кого из нас это интересовало? Время тянулось еле-еле... Наконец впереди на Шпалерной замелькали взад-вперед автомобили: дело идет к концу? Никогда не случалось мне выполнять подобные задания, я насторожился. Но... четверть часа, сорок минут, час... Движение стихло. Венцеслао не появился. А в то же время мне стало казаться, что там, внутри дворца, произошло что-то чрезвычайное...

С Тверской пришел на рысях полуэскадрон конных городских. Они проскакали мимо меня и вдруг быстро окружили дворец: два всадника, спустя минуты, оказались даже в саду, за его решеткой... Один остановился саженьях в двадцати впереди меня; буланая сытая кобылка его приплясывала, переступая красивыми ногами; седок хмуро поглядывал туда-сюда... Венцеслао не было.

Потом туда же, к дворцу, торопливо прокатилось несколько карет скорой помощи, — убогие, с красными крестами... Что такое?.. Прошло еще некоторое время, и вот ручеек людей в штатском — пешком; извозчиков туда, что ли, не пропустили? — двинулся и по Шпалерной и по Таврической... Да, это были, безусловно, депутаты думы — «чистая публика», в котелках, в мягких фетровых шляпах. Могли среди них быть и посетители «гостевых лож», и журналисты... Странно: никто из них не ехал ни на чем: все они торопливо шли — те порознь, эти — маленькими группками, в каком-то странном возбуждении, то непривычно громко разговаривая, то хватая друг друга за пуговицы, то как бы со страхом шараясь друг от друга... Нет, это ничуть не было похоже ни на какой обычный думский политический скандал; это *очень походило на...* Но его-то, Венцеслао-то, не было!

Выйти из автомобиля, остановить первого встречного, спросить, что произошло? Не знаю, что бы мне ответили, и ответили ли бы, — почему я знал, какое действие оказывает новая фракция шишкинского газа? Но не в этом дело, — я не рисковал ни на миг оставить свое место: а что, если именно в это мгновение?.. Терзаясь и мучаясь, я сидел в «лимузине». Шофер проснулся, поглядел на часы, уперся глазами в газету «Копейка»... Стало смеркаться.

Наконец всё вокруг успокоилось. Скорая помощь уехала. Снялись со своих постов конные городские, без-

молвные, мрачные, в круглых меховых шапках с черными султанчиками. Улицы опустели... Где Венцеслао?

Дольше ждать не было смысла. Я приказал везти меня к Царскосельскому вокзалу, к поезду. Так — мне показалось — осторожнее. На Можайской меня ждали: вот он и Лизаветочка. О Венцеслао и тут никаких сведений.

Всё сильнее тревожась, мы перебирали тысячи возможностей. Но прежде всего следовало узнать, что же было сегодня действительно в Таврическом дворце... Как это сделать?

Решили начать с самого простого: почему бы не позвонить прямо в канцелярию — закончилось ли уже заседание думы?

Сердитый баритон крайне резко ответил нам, что сегодня никакого — ни-ка-ко-го! — заседания не было... «Да, не было! А вот очень просто как — не было! Оно... Оно отложено до понедельника... А? Чем еще могу служить?»

Мы переглянулись. Как же не было? Я-то знал, что оно было!

В шесть часов Анна Георгиевна покормила нас... Ведь как запоминаются в большие дни всякие малые мелочи, ерунда... Вот сказал — «покормила», и точно: запахло вокруг рассольником с почками...

В девять вечера мы пили чай, тоже вчетвером. Венцеслао не являлся, не звонил... В полночь Сергей вызвал из дома свой мотор и уехал. Мы легли спать в самом смутном состоянии духа; Анне Георгиевне так ничего и не сказали...

Утром тринадцатого Сладкопевцев примчался ни свет ни заря, и на нас обрушились новые непонятности.

Его отец, по его просьбе, позвонил своему доброму другу Александру Ивановичу Гучкову — так просто: спросить, что вчера любопытного было в думе? «Александр Иванович изволили отбыть на неопределенный срок в Москву-с!» Отбыл? Так-с... А если — к Капнистам? «Их превосходительство не вполне здоровы... А ее превосходительство поехали на дачу... Не откажите позвонить на той неделе...»

Между тем по городу, несмотря ни на что, побежали всякие смутные шепотки. Шушукались, будто вчера в думе разыгралось что-то вовсе неслыханное и несообразное... Депутату Аджемову как будто бы сломали ребро.... Которого-то из двух Крупенских отвезли в Ев-

геньевскую общину... Наталья Александровна Усова хотела узнать подробности по телефону у Анны Сергеевны Милюковой, но та вдруг ужасным голосом прошептала: «Душечка, ничего не могу вам сказать: свист и кнут!» Правда, затем выяснилось: Анна Сергеевна сказала не «свист и кнут», а «лѣ сюис экут» — «швейцар подслушивает», но это же еще ужаснее!..

Пронесся слух: кто-то из дипломатов, бывших в зале, внезапно сошел с ума, начал всех разоблачать, кричать с места такие ужасы, что об этом даже намекать запрещено. Болтали — правда, в редакции «Земщины», — что на заседание пробрался гипнотизер-одессит Шиллер-Школьник, тот, который печатает объявления во всех газетах, кроме «Земщины» и «Русского знамени». Устремив еврейский взгляд на Маркова-второго, он принудил его признаться в двоеженстве... Да нет, при чем тут двоеженство: в том, что он — выкрест! Марков-второй?.. Какая подлость!

Всё это — кругами, кругами — сходилосъ для нас к одной точке: *к нему!*.. Но *его-то* и не было... И то, что донесли до нас эти смутные сплетни, эти бабьи разговоры, — единственно и осталось как известное о нем, с того времени и до нынешнего дня...

Ну что? Ожидали другого конца, милые друзья? Рад бы закончить по-иному, но ведь я рассказал вам не сказку — правду. А правда наша кончилась именно так.

Вячеслав Шишкин, бакалавр, один из замечательнейших экспериментаторов века, так и не пришел ни к нам на Можайскую, ни в Технологический, ни куда-либо в том мире, из которого мы как-либо могли бы получить сведения о нем. Он исчез, растаял бесследно. Растаял так, как таял под действием света и в присутствии аш-два-о его удивительный зеленый газ. Так бесследно, что доказать даже самим себе, что он всё-таки *был* когда-то, что он *существовал*, приходил к нам, спорил с нами, пил, ел, изобретал, мы можем только при помощи своих воспоминаний. Только!

Ну нет, что вы! Как же не пытались? За кого вы нас принимаете?! Было сделано всё, что в наших силах; хотелось найти хоть какие-либо его следы. Недели через три, сочтя, что теперь-то уж можно, мы и в полицию обращались, и на более серьезные кнопки нажимали... Как раз у батюшки Сергея Игнатьевича возможности в этом смысле были... Но...

Шишкин? Шишкиных в Петербурге обнаружилось много: сорок два человека пола мужеска, сорок дам, среди оных четыре Шишкиных-Явейн... Нашелся даже Вячеслав Шишкин, только, увы, Степанович... А вот нашего Венцеслао не оказалось в том числе... Да, вот такая странность: не проходил по полиции таковой, с таким паспортом. Зато в делах Технологического института он значился с отметкой: «По копии метрического свидетельства»... Почему, как, каким образом? Ничего не могу вам больше сказать... Ничего! И вижу — не нравится вам эта история...

УВЫ!

Кто в огонь полсженный,
Им сожжен не будет?
Как же житель Павии
В чистоте пребудет?..

*Средневековая школярская
песенка*

— Конечно, не нравится! — тотчас же взвилась Люда Берг. — А кому же такие вещи могут нравиться?! Ну, Игорь, ну ты скажи...

Точно стряхивая с себя наваждение, Игорь резко мотнул головой.

— Как мне *это* может *нравиться* или не *нравиться*? — сердито пробурчал он для начала. — Ты так спрашиваешь, точно прочитала повесть, выдумку... А если это — правда?..

— Несомненная, молодой человек. Так сказать — шишкински-чистая! Как если бы мы перед вашим прибытием нюхнули эн-два-о плюс... Только так о ней и есть смысл судить...

— А тогда я не понимаю... Как же тогда вы?.. Ну хорошо; ну пусть он был неправ; пусть он был — неполноценный, что ли... «Моральный урод», что ли. — Игорь вдруг сильно, не хуже Людочки покраснел. — Но изобретение-то было отличное!.. Мало ли, что мы теперь далеко ушли? Теперь — другое дело... Это всё равно как если бы прочесть мемуары екатерининских времен и узнать, что у кого-то в имении в те дни одна электрическая лампочка горела... На конюшне! Так ведь это же был бы — гений! Так почему же вы... вы-то были хорошие?! По-

чему же вы не помогли ему? Не защитили его... от него же от самого?.. Я что-то путаю, но... Надо было — к правительству, к министрам, к царю... К президенту Академии! Кто-то должен же был выслушать!.. Почему я знаю, к кому тогда обращались? Надо было!.. Нет, это у меня не укладывается, это прямо в мозгу не помещается... Такая мысль — *тогда!* — погибает, а вы — целый же институт кругом! — а вы всё видите... Как паралитики какие-нибудь. Да как же это так?

Он остановился и насутился, медленно отходя от краски: сначала лоб, потом уши... Подбородок никак не хотел бледнеть, всё еще сердился...

Членкор Коробов так и впился в него.

— Посмотри-ка, посмотри-ка, Сереженька! — проговорил он наконец с каким-то двойным значением, подмигивая Сладкопевцеву. — Вот тебе и ответ на ту дилемму! Видишь, как сегодня-то завтра-то нынешнее, как оно осуждает нас, тогдашних... И ведь как ни крути — справедливо! Беда одна: не представляют они себе, даже после таких моих стараний, этого самого нашего «тогда». *Тогдашнего нашего сегодня...* Ох, современный юноша, современный юноша! Вы бы, может быть, посоветовали бы нам в профком институтский обратиться за поддержкой... К парторганизации воззвать, к комячейке... Да ведь не было профкома, и парторганизации не было. Куда нам было идти? В тогдашние землячества? На студенческую сходку? А кто бы прислушался к нашим голосам? Кто этого требует? Студенты? О ком они ходатайствуют? Ну, значит, человек подозрительный... Одно это уже обрекло бы бакалауро на всякие неприятности. Он же — оказался — жил в столице без паспорта, без прописки... Вероятно, не без причин. И мы бы при этом в него пальцем ткнули: обратите, дескать, внимание: *се муж!*.. Да и было бы всё это без прока, без результата... Вячеслав Шипкин, — подумаешь! Дмитрий Менделеев за всю свою жизнь не добился начала опытов по подземной газификации. Попов не мог пробить дороги своему открытию — наши воротили его же волны втридорога от Гульельмо Маркони выписывать предпочитали. Из-за границы! Охраны труда не было... Советов изобретателей не было... Что было-то, Сергей Игнатьевич, друг милый, скажи? К чему люди стремились? К чистогану, к барышу вот к этому, близкому, видному, который — синица в руках... Это теперь во всем мире наука хрустальный башмачок

нашла, в принцессы вышла. А тогда... Попробовали бы вы хоть вон его батюшку, коммерции советника Сладкопевцева, убедить, что Венцеслао и на самом деле что-то путное открыл, что изобретение его и впрямь существует...

— Ну а действительно, оно существовало, Павел Николаевич? — сорвалась Люда. — Я теперь уж совсем запуталась: был ли мальчик-то? Брошюра та — была? Вы ее видели, или и это только сказка?

Павел Коробов еще раз подмигнул Сергею Сладкопевцеву, теперь уже с другим значением, новым: умел подмигивать членкор!

— Оцени детектива, Сережа. Шерлок Холмс в девическом естестве! Хорошо, скажу... — Мы сразу же кинулись тогда в Публичку. Нет! Не нашлось там такой брошюры. Кто-то из старожилов — чуть ли не сам знаменитый Иван Афанасьевич Бычков — припоминал, что как будто видел ее когда-то среди еще не разобранных поступлений. Но найти ее — нет, не удалось...

Очень выразительное лицо у этой Людочки Берг: можно было подумать, что она вот-вот разревется.

— Ну, так тогда, значит, и не было никакой брошюры. И — ничего не было тогда... И — лучше молчите...

Член-корреспондент АН СССР Коробов и впрямь некоторое время хранил молчание. Потом, как-то странно привздохнув — мол, что уж с вами поделаешь? — он повернулся на своем вращающемся креслице вправо. Там, около стола, стояла, совсем у него под рукой, — тоже вращающаяся, — этажерочка с книгами. Привычным движением руки профессор крутанул ее, и, не глядя, почти за спиной, без промаха извлек с полочки тоненькое серенькое издание.

— Нате, — протянул он ее Людмиле Берг. — *Была* она, ваша брошюра ненаглядная, была, как видите! Это в двадцать восьмом году один мой хороший друг, математик, ездил на съезд в Болонью... В кулуарах съезда его поймал за фалду маленький, дергающийся человек, бывший наш однокурсник Сёлик Проектор. Поймал и попросил передать мне вот эту самую прелесть... Для него это был прямо «вопрос чести»: мы же его задразнили в одиннадцатом «духовидцем»; он ведь один держал брошюру в руках...

Игорь Строгов без церемоний отобрал тетрадочку у Люды.

Венцеслао Шишкин
Химика дэля тэмн футури
МАНТУА
1908 —

значилось на ее порыжелой, замазанной какими-то странными потеками обложке.

Несколько минут прошло в полном молчании: удар был нанесен мастерски, ничего не скажешь. Потом Коробов, насладившись, медленно надел очки.

— Так вот, так-то! — неопределенно проговорил он. — Трудно рассказывать о том, что ты пережил полвека назад; оказывается — очень это трудно. Как-то искажаешь невольно картину: перспектива какая-то не та получается... Вот у вас теперь, видимо, какое впечатление: бедняги, да как же они жили там? Как в Собачьей пещере, без глотка кислорода?! Да, верно, время было тяжковатое; барометр падал, как перед бурей, дышалось — кто постарше — трудно...

Но мы-то ведь — молоды были, ах, как молоды! А молодость — она как порох: она не нуждается в кислороде для горения; она содержит свой кислород в себе и несет его с собой везде и всюду. Мне кажется, в пещерах палеолита, и там, наверное, росли юнцы, которым их закопченные жиром своды казались миром радости, счастья, надежд... Хотя от этого они чище и выше не становились, своды...

Ну, что ж? Вернемся к нашим барашкам, как говорится... Где же ваша зачетка, милая барышня? Вот теперь я ее вам с удовольствием подпишу... Видите: даже «отлично»! О чем о чем, но уж о закиси азота вы теперь знаете больше любого химика мира. И думаю, не станете спорить: есть-таки в ней кое-какой интерес!

Людмила Берг до зачета и после зачета — это две разные девицы. Агнец и козлище!

— Ах, так ведь это когда к ней еще икс-два присоединены! — осмелев, твякнула она.

— Оптимально!..¹ Но вот что заметьте: в каждой частице мира, в каждом его явлении обязательно свой икс сидит. Нужно только суметь его обнаружить... Что ж, Сергей Игнатьевич, ничего не поделаешь, — пора отпустить наших гостей. Думаю, тебе это, как сопроматчику, ясно: как бы предел прочности не превзойти!

¹ Отлично (лат.).

Все встали, мило попрощались. Двое стариков любезно вышли с молодыми в прихожую. И вот тут, уже у двери на лестницу, Людочка не выдержала вторично:

— А я... Нет, вы как хотите, Павел Николаевич, а я — спрошу!.. Потому что я не могу так... Лизаветочка-то как же? С Лизаветочкой-то что же теперь?

И тут член-корреспондент Коробов, автор множества замечательных трудов, лауреат нескольких Государственных премий, покорно склонил свою седую, очень академическую, очень благообразную, но повинную голову...

Он стоял как раз в проеме двери, открытой во вторую, соседнюю комнату. Там был виден большой черный рояль, накрытая аккуратным и красивым чехлом арфа за ним, и за арфой — второй большой портрет той же красивой женщины, что и там, в кабинете. Стоял, смотрел мимо всего этого и молчал.

— Ах, милая барышня, милая барышня! — проговорил он наконец как бы с усилием. — Понимаю вас. И стыжусь. Как человек стыжусь, как сын своего времени... В самом деле: где она, Лизаветочка? Что с ней теперь? Не знаю. Ничего не знаю. Не могу вам сдать этого зачета... Увы!

1947—1967

Ленинград



Георгий Мартынов

КТО ЖЕ ОН?

ФАНТАСТИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Глава первая

1

Под ногами монотонно скрипел снег...

Отряд, вернее то, что осталось от отряда, растянулся длинной цепочкой. Люди идут по-партизански, в затылок друг другу, стараясь по привычке ступать след в след, хотя сейчас, в том положении, в котором они находятся, это и не имеет никакого значения. Три четверти цепочки составляют носилки с ранеными. Но настоящих носилок мало, в большинстве — просто две палки или две винтовки, накрытые плащ-палатками, а то и шинелями, снятыми с тех, кто перестал в них нуждаться.

Убитых пришлось оставить на месте боя, там, откуда всё еще доносились до напряженного слуха Нестерова короткие пулеметные очереди.

«Что-то уж слишком долго», — думал Нестеров.

Изредка глухо рвались ручные гранаты. Нестеров считал пять таких разрывов. Значит, в распоряжении Михайлова остались две, последние.

«Пора ему отходить, давно пора!»

По расчету Нестерова, отряд оторвался от карателей, оставив позади непроходимое болото, не замерзающее даже в суровые зимы. А в этом году зима выдалась мягкой. Не зная тайных троп, перейти болото немыслимо. Можно было считать, что раненые уже вне опасности.

Нестеров подумал именно о раненых, а не вообще об отряде. Как боевая единица он временно прекратил свое существование. В живых осталось не более ста человек, из которых семьдесят ранены. Тех, кто был ранен тяжело, несли их товарищи, мужественно, не обращая внимания на собственные раны. Здоровые, человек двадцать или двадцать пять, вынуждены идти позади, чтобы преградить путь преследователям, если те всё же найдут какую-то обходную дорогу и сумеют миновать болото.

Арьергардом остался командовать комиссар отряда Александр Лозовой. Нестерову пришлось согласиться с этим, а самому идти впереди, указывая дорогу к месту расположения соседнего отряда Доценко, которую знал он один. Только там можно было связаться по радио с «Большой землей» и попытаться вызвать самолет для эвакуации тяжелораненых. Радист Нестерова погиб, разорванный вместе с рацией снарядами. Но до отряда Доценко никак не меньше сорока километров.

Нестеров не мог знать, являлась ли сегодняшняя акция немцев местным эпизодом или это широко задуманная операция по уничтожению всех партизанских отрядов, базирующихся в этом районе.

Если верно последнее, то Доценко также вел сегодня бой. А его отряд вдвое слабее нестеровского.

«Тогда, — думал командир, — раненые погибли. Больше неоткуда ждать помощи».

Два других отряда — Кускова и Добронравова — находились далеко, и дойти до них с ранеными нечего было и думать.

Эта гнетущая мысль неотступно преследовала Нестерова, заглушая другую — об оставшемся на месте боя человеке, пулемет которого всё еще работал, хотя прошло уже двадцать две минуты и по всем законам боя он должен был давно смолкнуть.

Пулемет работал...

В сухом воздухе, казалось совсем близко, с почти правильными паузами раздавался его «голос». Глухо треснула еще одна граната.

Шестая!..

Нестеров старался идти быстрее. Это было очень тяжело, но он хорошо знал, что идущим за ним еще тяжелее. Скорость была единственным шансом на спасение для тех, кто сможет выдержать этот темп.

«Хорошо, если выдержит половина, — думал командир. — Но придется всё же остановиться и дать людям хотя бы небольшой отдых. Хорошо бы найти какую-нибудь полянку. Тогда Катя смогла бы переменить повязки».

Катя — санитарка отряда. Совсем еще молоденькая, недавно окончившая санитарные курсы. Но это всё же лучше, чем никого. Два врача и все санитары-мужчины погибли сегодня.

Но полянки словно попрятались...

Два года воюет Нестеров в тылу врага. Но такого разгрома, какой учинили сегодня каратели его отряду, он не помнит. Впрочем, «разгром» не то слово. Бой, в котором фашисты, по самому скромному подсчету, потеряли трех человек за одного партизана, нельзя назвать даже неудачным. Просто противник оказался слишком силен, и на его стороне была внезапность нападения — ситуация, в которой Нестеров и Лозовой чуют руку предателя. Но кто он, этот предатель? Погиб или остался жив? Перешел к врагу или идет сейчас за Нестеровым? Об этом придется еще поломать голову...

Нестеров шел не оглядываясь. Бывают на войне минуты, когда командир, если он командир, а не случайно оказавшийся на этом месте человек, вынужден проявлять жестокость. Как ни тяжело людям, они идут за ним и будут идти, пока не упадут от истощения сил. А останавливаться рано, слишком рано!..

Монотонно скрипит снег под ногами...

Партизаны тянутся за командиром длинной цепочкой, три четверти которой — люди с носилками.

Кто уже упал? Кто умер? Кто еще жив? Командир этого не знает, не хочет знать!

Его воля — единственный шанс для тех, кто, наперекор всему, останется жив.

Нестеров идет ровным шагом.

А позади уже целых четыре минуты тишина. Пулемета не слышно.

Нестеров считает секунды по биению сердца. Еще минута... еще!

Позади тишина!

Что же! Когда-нибудь это должно было кончиться. Теперь фашистов ничто не задерживает. Но решатся ли они преследовать отряд? В сумерках незнакомого леса? Вряд ли! Даже если бы не существовало болота, даже если у них есть проводник. Немцы боятся леса.

Нестеров услышал скрип снега под чьими-то быстро приближающимися шагами. Оглянувшись, он узнал своего комиссара.

Если уж Лозовой покинул свой пост, значит, он уверен в безопасности. Можно вздохнуть свободнее!

Александр Лозовой был ранен в голову и шел без шапки. Бинты не позволяли надеть ее. Но вечер был на редкость теплым, конечно для зимнего времени.

На шее комиссара висел немецкий автомат.

— Я решил снять заслон, — сказал он, поравнявшись с командиром. — И всех своих людей поставил к носилкам.

Нестеров кивнул головой.

— Я считаю, что опасности больше нет, — продолжал комиссар. — С каждой минутой темнеет.

Нестеров снова кивнул. Ему не хотелось говорить. Тишина позади отряда была слишком красноречива.

— Пока все живы! — сказал комиссар. — Я проверил на ходу. Все раненые живы!

— У Николая осталась одна неиспользованная граната, — хрипло сказал Нестеров.

Лозовой заметно вздрогнул.

— Может быть, это была предпоследняя? — нерешительно спросил он. Не хотелось верить очевидности.

— Нет, — ответил Нестеров. — После разрыва шестой гранаты я слышал еще одну очередь его пулемета.

Несколько минут они шли молча.

— Сегодняшние наши потери огромны, — сказал комиссар.

Казалось бы, что подобная фраза была излишней: командир сам знал, сколько человек потерял отряд. Но Лозовой произнес ее с определенной целью, и Нестеров понял это. Напоминание о потерях должно было уменьшить боль от сознания еще одной. Когда на твоих глазах

погибли сотни товарищей и друзей, можно ли говорить об одном! Вот что должна была означать эта фраза.

Но Нестеров не почувствовал облегчения...

Этим отрядом он командовал чуть ли не с первых дней войны. От тех, кто вместе с ним начал тяжелую борьбу с оккупантами, осталось всего семь человек. Сам Нестеров трижды выбывал из строя и трижды возвращался. Лозовой был его вторым комиссаром, первый погиб. Не менее пяти раз состав отряда обновлялся полностью. Но никогда еще удар врага не был столь сокрушителен, как сегодня. Видимо, каратели твердо решили покончить с Нестеровым и добились бы своей цели, если бы не геройский подвиг Николая Михайлова. Он, только он один спас жалкие остатки некогда грозной силы от полного уничтожения. Пройдет немного времени, и свежие силы вольются в поредевшие ряды, возвращая отряду его мощь. Недостатка в желающих стать партизанами нет. В последние месяцы Нестеров вынужден был даже отказывать в приеме новых людей: не хватало оружия.

Фашисты не смогут объявить о полном уничтожении Нестерова, отряд будет существовать!

Это самое главное!

Да, комиссар прав, сегодня погибли сотни. Они умерли в бою, и Нестеров всё время был рядом с ними. Его могли убить точно так же, как их.

Николай Михайлов погиб один!

Не было рядом с ним ни одного товарища. Никто не мог прикрыть его огнем, помочь уйти. Один!..

И если что-нибудь могло уменьшить боль Нестерова, то именно последняя, седьмая граната, о которой он только что сказал Лозовому. Николай Михайлов не успел использовать седьмую гранату!

Это могло означать одно — торжествующие фашисты получили только его труп. Как бы тяжело ни был ранен Михайлов, он сумел бы подорвать себя этой последней гранатой. А если бы ему удалось отступить, он использовал бы ее против врага.

Фашисты не схватили его живым!

Это было утешением, слабым, но всё же утешением.

Правда, мог быть еще один вариант — Михайлов достался врагу в бессознательном состоянии. Но за время беспримерного боя одного человека с целым батальоном (каратели начали наступление на партизан полком,

усиленным артиллерийским дивизионом, но, по расчетам Нестерова, их осталось не более батальона) не было слышно ни одного выстрела из орудия или миномета. А пулевые ранения, это Нестеров знал по опыту, очень редко лишают человека сознания. Тем более, что у Михайлова была стальная каска. Нестеров был вполне убежден, что Николай Михайлов убит.

Несмотря на трагические потери сегодняшнего дня, эта смерть давила на сознание Нестерова. Во сто раз легче было бы ему остаться на месте Михайлова, но он не имел на это права. Командир меньше, чем кто бы то ни было, может руководствоваться в своих действиях эмоциями или желаниями. Он должен поступать так, как требует обстановка.

А обстановка оставляла одно решение — отход.

Конец боя грозил превратиться в истребление. Спасти тех, кто был еще жив, можно было только одним путем — оторваться от карателей, дравшихся с невиданным упорством и настойчивостью. Командир немецкого полка не жалел людей и не считался с потерями, бросая редевшие роты всё в новые и новые атаки на позиции партизан. Вот если бы противник почему-либо задержался! Хотя бы на десять минут!

И тут — словно судьба сжалась над Нестеровым — он увидел подползавшего к нему Николая Михайлова. Разгоряченный, как всегда весело возбужденный боем, он лег рядом с командиром, не только живой, но и без единой царапины.

Окопчик Нестерова был расположен среди пней недавней вырубки, на небольшом возвышении. Кроме самого Нестерова, в нем сейчас никого не было. Трофейный пулемет Гочкиса стоял тут же.

«Всё, что требуется, — совсем спокойно сказал Михайлов. — Отводи людей, товарищ Нестеров. Я задержу гадов».

И Нестеров, не раздумывая, без колебаний принял это предложение. Его быстрое согласие во многом объяснялось тем, что Михайлов уже два раза, при сходных обстоятельствах, оставался прикрывать отход и оба раза, блестяще справившись с задачей, благополучно уходил. Нестеров как-то невольно верил в счастливую звезду своего партизана, везение которого вошло в поговорку среди людей отряда.

Правда, оба раза с Михайловым оставался напарник,

а сейчас не было никого, и не было возможности приказать кому-нибудь остаться с ним. Единственное, что успел сделать Нестеров, — это собрать поблизости семь штук ручных гранат.

Вспоминая эти минуты, даже секунды, Нестеров помнил и то, что был убежден — Михайлову повезет и теперь.

Но на третий раз ему не повезло!..

— Саша! — сказал Нестеров идущему рядом с ним Лозовому. — Всё может случиться. Если я не дойду, а тебе это удастся, тотчас же, не откладывая, пошли на «Большую землю» материалы на Николая Михайлова.

— Разумеется, Федор Степанович! — ответил Лозовой.

Он не спросил, о каких материалах говорит командир. Это было ясно и без вопроса...

Верхушки деревьев еще пламенели багрянцем заходящего солнца, а внизу, под ними, сумерки сгущались плотнее. Нестерову приходилось напрягать зрение, чтобы различать наиболее удобный для носилок путь.

Лесная тишина ничем не нарушалась. Становилось очевидным, что Лозовой был прав и немцы не преследуют партизан.

— Теперь, — сказал Нестеров, — только бы застать на месте отряд Доценко.

И только он успел это сказать, совсем близко, из-за стволов деревьев, показалось двое людей. Нестеров узнал своих разведчиков, посланных вперед дозором. Время от времени они возвращались получить указания о направлении дальнейшего пути.

Но на этот раз их заставила вернуться иная причина.

— В трех километрах отсюда, — доложил разведчик, — движется нам навстречу отряд Доценко.

— Весь отряд? — удивленно и радостно спросил Лозовой.

— Весь, товарищ комиссар. Мы встретили их дозор.

— На них не было нападения?

— Было, но они смогли уклониться от боя и весь день кружили по лесу, запутывая карателей. Потом направлись в нашу сторону. Они думали, что каратели напали только на их отряд.

— Стоп! — сказал Нестеров. — Будем ожидать их здесь. Возвращайтесь! — приказал он разведчикам. — И ведите Доценко прямо сюда. Порядок! — обратился он к комиссару, когда фигуры обоих партизан скрылись за

деревьями. — Раненых разместить нигде, но это полбеды. Как следует отдохнем и вместе направимся к нашей резервной базе.

— Большая удача! — сказал Лозовой.

Нестеров повеселел. Теперь никакие каратели им не страшны. Но через минуту он снова вернулся к прежним мыслям.

— Больше всего меня мучает то, что мы сомневались в Николае и какое-то время ему не верили...

— Поступить иначе мы не имели права, Федор Степанович;

— ...и что он знал об этом, — закончил Нестеров.

Николай Михайлов появился в отряде Нестерова за пять месяцев до дня своей гибели. И обстоятельства его появления не могли не возбудить и, конечно, возбудили весьма серьезные подозрения на его счет.

В тот день, ранним утром, еще до рассвета, отряд совершил массированный налет на крупный гарнизон фашистов в большом селе, превращенном в опорный пункт на скрещении двух шоссеных дорог.

Разведка донесла, что в село прибыл транспорт с оружием и боеприпасами, в которых остро нуждался непрерывно увеличивающийся отряд. Кроме того, в этом же селе находился крупный продовольственный склад, что также было на руку Нестерову.

Тщательно разработанный план был осуществлен четко и успешно. Партизаны могли поздравить себя с редкой удачей. Гарнизон, насчитывавший до двухсот солдат, был уничтожен полностью. Такое случалось не часто. Решающую роль сыграла внезапность.

Узкая полоска зари только-только появилась на востоке, когда отряд уже выступил в обратный путь. Длинная вереница немецких повозок, запряженных лошадьми из немецкой конюшни, потянулась к лесу.

Нестеров торопил людей. Шум боя и яркие всполохи ракет могли заметить в соседних селах. С минуты на минуту можно было ждать появления солдат из других гарнизонов. И хотя Нестеров не очень опасался нового боя, зная малочисленность вражеских частей в этом районе, он беспокоился за сохранность трофейного обоза. Направление, по которому ушли партизаны, легко было определить по следам повозок на мокрой земле. Авиация,

несмотря на плохую погоду, могла обнаружить отряд в открытом поле. Значит, надо как можно скорее достигнуть леса, а там уж опасность стала бы минимальной.

Успеют ли они пройти эти десять километров до того, как совсем рассветет?..

Но время шло, а от арьергарда, двигавшегося в полутора километрах, не приходило тревожных известий. Ни позади, ни в воздухе не было ничего угрожающего. Становилось всё более очевидным, что, как ни было это странно, ракет никто не заметил и шума боя никто не услышал.

— Не помню такого удачного дела, — сказал Нестеров подошедшему к нему командиру отрядной разведки Остапу Кучеренко, уже немолодому мужчине с типичным лицом украинца-хлебороба.

— Пока всё идет удачно, — осторожно, точно боясь сглазить, ответил тот. Как почти все разведчики на свете, Кучеренко был немного суеверен.

Он скрутил сигарку и, только сделав несколько затяжек, сообщил то, ради чего и подошел к командиру. Нестеров с удивлением узнал, что к отряду самовольно присоединились два человека. Само по себе такое происшествие было самым обыденным, но Нестеров знал, что именно здесь, в этом селе, превращенном в опорный пункт, не осталось ни одного жителя.

— Откуда они? — спросил он.

— Еще не знаю. Ребята рассказывают, что один из них принимал участие в бою и дрался отчаянно смело.

— А другой?

— О нем никто ничего сказать не может. В бою его не видели.

— Какого они возраста?

— Тот, что был в бою, — молодой. Второй много старше.

— Хорошо, — сказал Нестеров. — На базе приведешь их ко мне. А пока не спускай глаз. Где Лозовой?

— Александр Петрович возле раненых.

— Хорошо, — повторил Нестеров. — Пошли кого-нибудь к арьергарду. Пусть подтягиваются ближе. Через час войдем в лес.

Как он сказал, так и вышло. Ровно через час последняя повозка скрылась в густой тени деревьев. Теперь уж никакая авиация не сможет обнаружить место отряда.

Двигались медленно. Густые заросли часто преграждали путь. Обходы занимали много времени. Пришлось започевать в лесу, всего в двенадцати километрах от собственной базы. Увидев наконец своего комиссара, Нестеров рассказал ему о новичках.

— Я знаю, — ответил Лозовой. — Видел обоих. Впечатление плохое.

Эти слова насторожили Нестерова. Пять раз гестапо засылало в отряд своих агентов, но все пятеро были своевременно разоблачены. Может быть, эти двое — шестая попытка?..

Приказав командирам рот обеспечить охрану лагеря, Нестеров послал своего ординарца разыскать и позвать к нему Кучеренко.

Тот пришел пасмурный и злой.

— Згинув гадюка! — сказал он.

— Кто?

— Та новичок же.

Выяснилось, что один из новеньких, тот, что постарше, непонятным образом исчез.

— Проворонил? — зло спросил Нестеров.

— Хоть расстреливай, глаз не спускали с обоих.

— Кто не спускал глаз?

— Да вси!

Уж одно то, что Кучеренко стал путать русские слова с украинскими, показывало, как сильно он расстроен случившимся.

— Все — значит никто, — сказал Лозовой. — Почему не назначил конвойных?

— А на який бис? Воны ж не пленны, в партизаны прийшли.

Возразить на это было нечего. К новым людям, приходившим в отряд, никогда не приставляли конвоя. Раз пришел сам, то не убежит же.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что человек вошел в этот лес вместе со всеми, а километра через два пропал куда-то. Кучеренко приказал его найти, но поиски ни к чему не привели, как сквозь землю провалился.

— Почему ты сразу не сообщил мне? — спросил Нестеров.

— Думал, найдется.

— Ты уверен, что это случилось не дальше чем в двух километрах от опушки леса?

— Это точно.

Нестеров и Лозовой облегченно вздохнули. Если человек этот и был фашистским агентом, то его краткое пребывание в отряде ничем не угрожало. До базы он не дошел, и ее местонахождение осталось ему неизвестным.

— Говорил он с кем-нибудь?

— Ни, молчал, як той сынч.

— Наверное, просто струсил, — сказал Лозовой. — И подался к дому. Такое случается.

— Может, и так. — Нестеров повернулся к Кучеренко. — Смотри не упусти второго. Голову сниму!

— То треба зробить з́араз, — угрюмо ответил разведчик и пропал в темноте.

Ночь прошла спокойно. К рассвету отряд был уже на базе.

Нестеров не опасался, что пропавший в дороге неизвестный мог проследить отряд, тайно следуя за ним. В этом отношении на Кучеренко и его разведчиков можно было положиться. По утомленному их виду командир понял, что люди не спали всю ночь.

Он приказал привести к нему оставшегося.

2

Первое впечатление было в пользу новичка. Открытое, честное лицо, прямой взгляд серых глаз. Человек был, несомненно, русским.

Но командир не должен поддаваться первому впечатлению. И Нестеров сурово сказал:

— Рассказывайте!

Он знал свою «слабость» — верить людям. Но рядом сидел Лозовой, воплощение твердости, совесть отряда, как его называли. В присутствии комиссара Нестеров не опасался своей доверчивости.

Новичок, казалось, немного смутился. Легкая краска выступила на его щеках, но, как и прежде, он смотрел прямо в лицо людям, которые его допрашивали.

«*Слишком* открытый, *слишком* честный взгляд», — неожиданно подумал Нестеров и покосился на комиссара. Но лицо Лозового не выражало ничего, кроме внимания.

— Я мало что могу рассказать вам, — начал допрашиваемый. — Бежал из плена...

— При каких обстоятельствах попали в плен?

— Воевал в партизанском отряде. В бою был контужен. Потерял сознание. Очнулся в плену.

— Где и в каком отряде воевали?

Ответ был настолько неожиданным, что Нестерову показалось, что он ослышался.

— Не знаю.

— Как так «не знаю»?

— Не помню.

— Из-за контузии? — спокойно и даже сочувственно спросил Лозовой.

Нестеров понял цель вопроса и ожидал, что допрашиваемый обрадуется и воспользуется подсказанной ему правдоподобной версией.

Но тот ответил иначе:

— Вряд ли. Контузия была не тяжелой. Меня никто не лечил. Всё прошло само собой.

— Почему же вы не помните?

— Не знаю.

— Хорошо! — Лозовой взял допрос в свои руки. — Расскажите, кто вы такой, кем были в партизанском отряде, где содержались в плену, как удалось бежать?

— Меня зовут Николай Поликарпович. Фамилия Михайлов. Воевал рядовым партизаном. В плену находился в лагере, где — не знаю. Бежал с тремя товарищами, потом их потерял. Остался один, пошел на восток. Позавчера дошел до села, в котором вы останавливались перед нападением на опорный пункт. Решил присоединиться к вам и пошел с вами.

Он говорил отрывистыми фразами, деревянным голосом, точно отвечая заученный урок. Румянец на щеках разливался, темнея всё больше.

Нестеров чувствовал, что его первоначальная симпатия к этому человеку исчезла, сменившись неприязнью. Несообразности в рассказе бросались в глаза. Не говоря уж о более чем странном факте, что Михайлов забыл, в каком отряде он воевал до плена, в его словах была и явная ложь. Отряд перед нападением на опорный пункт не останавливался ни в каком селе, а расположился в лесу. «Пойти с отрядом» было совсем не так просто. Партизаны сразу бы заметили неизвестного человека, к тому же идущего без оружия. Не мог же Михайлов бежать из лагеря военнопленных с оружием.

— Не расскажете ли вы более подробно? — невозмутимо спросил комиссар.

— Нет, не могу, — ответил Михайлов. В его голосе ясно слышалась усталость. — Я плохо помню, что со мной происходило в последнее время. Если вы мне не верите, я уйду. Поищу другой отряд.

— Вы думаете, это так просто сделать? Вы дошли с нами до нашей базы...

— О! — воскликнул Михайлов, сразу оживившись. — Вы думаете, что я шпион? Так расстреляйте меня, и дело с концом! Потеря не велика.

Нестерову не показалось — он ясно видел, как при этих словах глаза Михайлова радостно вспыхнули.

— Расстрелять вас мы можем в любую минуту, — сказал Лозовой. — Время военное, а оснований у нас достаточно. Я хочу выяснить истину.

— Тогда верьте моим словам. — Михайлов снова как-то сразу сник. Он опустил голову и сказал едва слышно: — Что я могу сделать, если действительно ничего не помню.

Нестеров и Лозовой переглянулись.

— Знаете что, — внезапно сказал комиссар, — отложим нашу беседу. Когда вы как следует отдохнете, к вам, возможно, вернется память.

— Как хотите, — безучастно ответил Михайлов.

— А сейчас скажите мне только одно. Этого вы не можете не помнить. Кто был тот человек, который вместе с вами присоединился к нашему отряду?

— Я был один.

— Тот человек, — напористо продолжал Лозовой, — который шел с вами, а потом куда-то исчез?

— Я не знаю, о ком вы говорите. Я пришел в село один. Один пошел за вами. И сюда пришел один. Кругом меня были только ваши люди. И в бою, и в походе.

— Этот человек шел рядом с вами. И, так же как вы, был безоружен.

Михайлов резко поднял голову. Его глаза сверкнули.

— Вы ошибаетесь! — сказал он. — Я добыл оружие в бою. У меня его отобрали, прежде чем привести в эту землянку. А человека, о котором вы спрашиваете, я помню. Я принял его за санитаря. Потом он ушел куда-то.

— Почему именно за санитаря?

— По тому самому, что у него не было оружия.

— Наши санитары, — сказал Лозовой, — такие же партизаны, как и остальные. И они все вооружены.

— Тогда я не знаю.

Лозовой вышел и вскоре вернулся с дюжим партизаном.

— Отведи-ка вот его в землянку Кулешова, — приказал он, указывая на Михайлова. — Пусть его накормят и устроят на отдых.

Нестеров удивленно посмотрел на комиссара. Кулешов был врач и жил в одной землянке со вторым врачом, рядом с санитарной частью. Свободных мест там сейчас не было.

— Я велел отвести его не к раненым, а в самую землянку Кулешова, — поняв взгляд командира, сказал Лозовой, когда Михайлов и партизан вышли.

— Ты считаешь его ненормальным?

— В данную минуту он ненормален. Но вчера утром он был вполне нормален. Об этом свидетельствуют рассказы тех, кто видел его в бою. Я расспрашивал многих. Все говорят в один голос, что Михайлов, или как бы там его ни звали на самом деле, дрался умно и смело. Опыт партизанских боев у него, безусловно, есть.

— Ты хочешь сказать, что тут он говорил правду?

— Да.

— Но в его словах была и явная ложь.

— Или ложь, или... Ты обратил внимание на его одежду, Федор Степанович?

— Специально нет. Вроде он в солдатской гимнастерке и в гражданских брюках. Всё грязное, но ведь так и должно быть.

— Не совсем так. Ты не заметил главного. Гимнастерка грязная, это верно, но она совсем новая. Когда вчера я увидел его в первый раз, Михайлов шел с расстегнутым воротом. Я обратил внимание, что нательная рубашка у него совсем свежая.

— Значит, он не был в лагере для военнопленных.

— Безусловно, не был.

— Еще одна ложь. Решающая.

— Что же ты предлагаешь?

— Расстрелять, как вражеского агента, — решительно сказал Нестеров.

Комиссар задумчиво постукивал пальцами по краю стола.

— Как часто, — сказал он, — ты, Федор Степанович, говорил нам, что опасно недооценивать противника. Гестаповцы не дураки. Когда они засылают своего человека к партизанам, то обращают большое внимание на маски-

ровку. И, конечно, снабжают логичной версией. Вспомни тех пятерых.

— Могло быть, что на этот раз...

— Не могло. Не похоже. Поведение Михайлова чересчур странно. Просто неправдоподобно. Поэтому... я склонен ему верить.

— Но ведь явная ложь.

— Вот в том-то и дело, что нужно выяснить — явная она или нет. Я послал Кулешову записку. Просил его затеять с Михайловым разговор и проверить его умственную полноценность. Кулешов в прошлом невропатолог. В психологии он разбирается. Расстрелять всегда можно. Но случай исключительный...

Нестеров впервые видел своего комиссара в такой нерешительности и пожалел, что поторопился со своим мнением.

— Ладно! — сказал он, вставая. — Поживем — увидим. Пройду по ротам.

— Зайди во взвод Молодкина, — посоветовал Лозовой. — Михайлов дрался вчера с ними вместе. Послушай, что они говорят о нем.

— Зайду.

Стрелковый взвод, которым командовал Молодкин, считался лучшим во всем отряде. В нем подобралось, один к одному, отчаянно смелые ребята. Потому ли, что «смелого пуля боится», или благодаря искусству командира, но, участвуя постоянно в рискованных операциях, взвод, как правило, нес самые незначительные потери. Во вчерашнем бою молодкинци не потеряли ни одного человека и только сам Молодкин был легко ранен.

Командир взвода вышел навстречу Нестерову.

— Ты почему же, такой-сякой, не в санитарке? — шутливо приветствовал его Нестеров.

Молодкин пренебрежительно махнул рукой:

— Царапина!

— Ну, если так... Я вот зачем пришел, Вася. Ты видел в бою новенького, ну этого... Михайлова?

— А как же, конечно, видел... Ты его от нас не отнимай, Федор Степанович. После вчерашнего боя мои ребята просто влюбились в него.

После такого заявления секретаря партбюро отряда Нестерову незачем было расспрашивать о Михайлове бойцов взвода. Он понял причину нерешительности своего комиссара.

— Ладно, не отниму.

— А где он сейчас? Мне передали его автомат. Он что, арестован?

Нестеров огляделся. Возле них никого не было.

— Вот послушай...

Когда Нестеров кончил говорить, Молодкин долго молчал.

— Нет, не может быть! — сказал он. — Человек, с таким ожесточением, с таким бесстрашием бывший фашистов, не может быть их агентом.

— Лозовой так же думает.

— Неудивительно. Ребята ему рассказывали.

— Чем занимаются люди взвода? — спросил Нестеров, резко меняя тему. Он заметил, что несколько бойцов из взвода Молодкина подошли близко.

И хотя сам Молодкин не мог их видеть, он ответил моментально:

— По вашему приказанию — отдыхают, товарищ командир.

«Сообразительный парень!» — подумал Нестеров.

— Ты был, как всегда, прав, Саша, — сказал он, входя в землянку.

А вечером жизнь Михайлова снова повисла на волоске. Кулешов официально доложил Нестерову и Лозовому, что новый партизан абсолютно нормальный человек. Более того, память Михайлова несколько не ослаблена.

— Я говорил с ним более двух часов, — сказал врач, — и убедился, что он обладает прекрасной памятью. Но когда речь заходит о недавнем прошлом, Михайлов немедленно всё «забывает». По моему мнению, он просто притворяется.

Притворяется!..

В условиях партизанской жизни это звучало как приговор. И Кулешов прекрасно знал, что должно последовать за его словами. Но он был уверен, что не ошибается, и считал долгом поставить командование отряда в известность о своем мнении.

Лозовой и Нестеров долго молчали. Комиссар задумчиво потирал лоб. Командир, сдвинув брови, сердито смотрел на Кулешова, словно был недоволен им.

— Хорошо! — сказал наконец Лозовой. — Благодарю вас, Сергей Васильевич! Попрошу никому не повторять того, что вы сказали здесь.

— Раз нужно, конечно, буду молчать. Но я уже говорил Лаврентьеву, советовался с ним.

Лаврентьев был старшим врачом в отряде.

— Это ничего, — сказал Лозовой. — Передайте и ему мою просьбу.

Когда Кулешов ушел, Нестеров спросил:

— А ты не ошибаешься, Саша?

— Уверен, что нет. Не может вражеский агент вести себя так, как Михайлов. Ведь он буквально принуждает нас расстрелять себя. Сегодня утром ты предположил, что гестапо, засылая его к нам, нарочно придумало такую дикую программу его поведения, действуя, так сказать, рассудку вопреки. Я не отрицаю, что такой прием возможен, но не в такой степени. Гладкие версии, действительно, мало кого обманывают, и небольшие несуразности в рассказе о себе могут обмануть поверхностного «следователя». Фашистам свойственно недооценивать умственные способности противника. Но тут совсем другое. В любом партизанском отряде Михайлова расстреляли бы без малейших колебаний...

— Мы же колеблемся.

— Только потому, что знаем, как он вел себя во вчерашнем бою. Цель любого агента — войти в доверие, закрепиться там, куда его послали. С этой целью он может демонстративно бить своих, — это в стиле гестапо. Но его цель не может состоять в том, чтобы его самого убили в первом же бою. А Михайлов, об этом говорят все, с кем я ни беседовал, в полном смысле слова бросался навстречу смерти. Ведь именно он подавил пулеметный дот, мешавший продвижению взвода Молодкина, и остался жив по чистой случайности. Если бы это сделал другой партизан, я немедленно представил бы его к ордену. И ты тоже.

Помолчали.

— Утром, — сказал Нестеров, — когда он сам предложил нам расстрелять себя, я заметил, что его глаза радостно блеснули при этом.

— Я тоже заметил. И это еще больше убеждает меня подождать с решением его судьбы. В жизни этого человека есть какая-то тайна.

— Может быть, угрызения совести?

— Возможно. Все, кто видел его в бою, убеждены — Михайлов ненавидит фашистов всем своим существом.

Угрызения совести? Если так, он хочет смыть свою вину собственной кровью.

— Весь вопрос, какая это вина.

— Я уверен, что он расскажет. Когда почувствует, что заслуживает снисхождения.

Нестеров поморщился.

Лозовой понял его мысль и сказал:

— Посуди сам, Федор Степанович. Можем ли мы, после геройского поведения Михайлова в бою, расстрелять его, не имея явных доказательств? Какое впечатление это произведет на людей? Ведь бойцы Молодкина молчать не будут, они всем расскажут. Конечно, никто ничего не скажет прямо, но люди будут думать, что мы с тобой поторопились и расстреляли человека ни в чем не повинного.

— Всё это так, — сказал Нестеров. — Но в том, что у нас нет доказательств, ты, пожалуй, неправ! Грубая ложь — это доказательство!

— Где ложь?

— Ты же знаешь. Он говорит, что присоединился к отряду в селе, где мы якобы ночевали, что был в лагере военнопленных, тогда как там не был. Я уж не говорю о том, что он «забыл», где воевал до плена. И «не знает» человека, шедшего к нам вместе с ним.

— Он может и в самом деле не знать его. Забыть, где воевал, также мог, — контузия есть контузия. Вывод, что он не был в лагере, сделал я сам. Признаюсь, поспешил с этим выводом. Он мог по пути зайти куда-нибудь, где его спрятали, дали помыться и снабдили чистым бельем. Это правдоподобно, и я спрошу его об этом. Остается только одно — утверждение, что мы перед боем останавливались в каком-то селе.

— Да, пожалуй, — согласился Нестеров. — А с этим как быть?

— А очень просто. — Лозовой словно сердился на Нестерова за его упрямство. — Очень просто. Я сейчас напишу тебе докладную записку, что к нам пришел новый партизан, опишу его поведение в бою, а затем, прибавив, что он что-то путает о месте, где к нам присоединился, потребую расстрела. Утверди, и дело с концом.

— В боксе это называется нокаутом, — сказал Нестеров. — Ты комиссар, и я не собираюсь оспаривать твое решение. Просто хотел помочь тебе избежать ошибки.

- Значит, согласен?
- Согласен!
- Подождем и посмотрим.
- А если он убежит?
- Оставим его во взводе Молодкина.

Нестеров улыбнулся. Совсем недавно об этом просил его сам Молодкин. Секретарь партбюро знает о Михайлове всё. Он с него глаз не спустит. От такого человека не убежишь!

— Решение правильное! — сказал Нестеров.

С новым партизаном больше не говорили о его прошлом. Ему вернули оружие и, казалось, перестали специально им интересоваться. Бойцы Молодкина с радостью приняли его в свою среду. О разговоре комиссара с командиром взвода, состоявшемся в тот же вечер, никто не знал.

Нестеров, Лозовой и Молодкин были уверены, что и сам Михайлов не знает, что за ним внимательно наблюдают. Но через два месяца, когда все подозрения давно были забыты, выяснилось, что он об этом знал.

За эти месяцы взвод несколько раз совершал дерзкие нападения, принимал участие во многих оборонительных боях, часто ходил на сопровождение диверсионных групп. И настал день, когда командир взвода, секретарь партбюро, в верности глаза которого никто не сомневался, пришел к Нестерову и Лозовому и заявил, что не считает для себя возможным дальнейшее наблюдение за Михайловым.

— Этот человек вне подозрений, — сказал он. — Михайлов лучший боец взвода. Он заслуживает не подозрений, а наград. Смелость его безгранична, ненависть к врагу совершенно очевидна. Что он до сих пор даже не ранен — просто чудо!

А потом произошел первый случай, когда Михайлов вызвался прикрывать отход отряда и выполнил свою задачу блестяще.

Именно тогда Лозовой попытался еще раз поговорить с ним, выяснить причины, побудившие Михайлова столь странно и непонятно вести себя в самом начале.

Все давно заметили, что только в бою Михайлов был весел. В остальное время он почти никогда не улыбался, держал себя замкнуто и явно искал одиночества. К этому привыкли и старались не мешать ему, когда, отойдя куда-нибудь в сторону, Михайлов часами бродил от

дерева к дереву, погруженный в свои, видимо, невеселые мысли.

В один из таких моментов Лозовой и встретился с ним. Вблизи никого не было. Возможно, комиссар прошел мимо, не желая навязывать своего общества человеку, явно не желавшему этого. Но Михайлов сам его остановил. Приветствовав комиссара отряда по уставу, он попросил отправить его на какое-нибудь задание, прибавив, что уже три дня находится на базе и что ему трудно переносить бездействие.

— Вот ведь какой вы ненасытный, — шутливо сказал Лозовой. — Сколько фашистов отправили на тот свет, и всё вам мало.

— Мало, — серьезно ответил Михайлов. — Мой счет еще не оплачен.

Лозовой давно искал удобного случая и решил, что момент подходящий.

— Присядем, — предложил он, указывая на ствол поваленного дерева.

Они разговорились. И после нескольких фраз, всегда считая прямой путь самым лучшим, Лозовой высказал то, что хотел.

— Я весь перед вами, — спокойно ответил Михайлов. — Весь, какой есть. Ваши слова, товарищ комиссар, меня не удивили. Я давно жду, что вы заговорите об этом. Я знаю, что за мной наблюдают, не до конца верят мне. Это естественно, и я не могу обижаться. Скажу одно, если мое поведение дает вам основание не доверять мне, расстреляйте меня. Отряд не должен рисковать из-за одного человека. Вы же видите, товарищ комиссар, — Лозового поразили нотки безнадежной грусти в голосе партизана, — что пуля меня не берет.

— Можно подумать, что вы ищете смерти, — сердито сказал Лозовой. — Как вам не стыдно!

— Я не ищу ее, но... Э, да что скрывать! Был бы рад, если бы меня убили в бою.

— Почему? В чем дело?

Михайлов не ответил. Он сидел неподвижно, устремив взгляд прямо перед собой.

Пауза длилась долго.

— Никто за вами не следит, — сказал наконец Лозовой. — И никакого недоверия к вам у меня нет. Я просто хотел по-товарищески поговорить с вами. Мне показалось, что вы что-то скрывали тогда..

Было странно видеть на лице человека, о храбрости которого в отряде слагали чуть ли не легенды, выражение явного страха.

И снова, как в давно прошедший день, он опустил голову и сказал едва слышно:

— Что́ я могу сделать, если действительно ничего не помню.

— Забудьте об этом, — решительно сказал Лозовой. — Простите меня за назойливость. Вы воюете прекрасно, и весь отряд гордится вами. Но не рискуйте так своей жизнью.

— Я не могу поступать иначе.

— Подумайте о том, что нам будет тяжело потерять вас.

И Лозовой крепко пожал руку партизана.

Рассказывая об этом разговоре Нестерову, он сказал:

— В жизни Михайлова тяжелая тайна. Но что она его не позорит, я убежден.

Глава вторая

1

Оперативные работники милиции, вызванные дежурным администратором, прибыли через десять минут после выстрела.

Огромный вестибюль «Москвы», как всегда в утренние часы, был полон. В ожидании номеров приезжие толпились кучками по всему помещению, оживленно обсуждая событие.

Выстрел в номере гостиницы! Такое не часто случается.

Наиболее любопытные настойчиво осаждали администрацию, добываясь хоть каких-нибудь сведений, но те и сами еще ничего не знали.

За запертой изнутри дверью номера раздался револьверный выстрел, — вот всё, что они могли сказать. Ожидают прибытия представителей следственных органов.

Все знали об этом и ожидали приезда оперативной группы с острым нетерпением. Но когда вошли три человека в скромных гражданских костюмах, на них никто не обратил внимания, все почему-то ожидали людей в милицейской форме.

Директор гостиницы подошел к ним.

— Вы из милиции? — вполголоса спросил он.

— Да.

— Я — директор.

— Капитан Афонин, — представился высокий широкоплечий блондин, на вид лет тридцати пяти.

В капитане безошибочно угадывался военный. Сильный загар, ровным слоем покрывавший лицо, явно был обязан своим происхождением не солнечным лучам южных курортов, а обжигающим ветрам фронтов.

Он и два его товарища, один молодой, а другой лет под пятьдесят, смотрели на директора гостиницы с явным нетерпением.

— Пойдемте, — сказал тот и добавил едва слышно: — Сегодня у нас больше приезжих, чем обычно.

— Они знают? — спросил капитан.

— А как скроешь?

— Тогда проведите нас каким-нибудь боковым ходом.

— Поднимемся в служебном лифте.

— Очень хорошо!

Директора не знали в лицо и на группу из четырех человек, неторопливо направившихся в глубину вестибюля, по-прежнему никто не обращал внимания. Удали милицию.

— Расскажите подробности, — попросил капитан Афонин.

— Их немного. Это случилось на десятом этаже в номере тысяча одиннадцать. Там остановился некто Михайлов Николай Поликарпович, приехавший из Свердловска. В восемь часов двадцать минут... время замечено точно, — прибавил директор, — дежурная по этажу услышала в этом номере выстрел. Я уже приехал и сразу поднялся на десятый этаж. Дверь оказалась запертой изнутри. На стук никто не отозвался. В номере тишина. Взломать дверь без вас мы не решились.

Афонин кивнул головой.

— Правильно сделали! — сказал он.

Лифт остановился, и двери раздвинулись.

Кроме дежурной, в коридоре никого не было.

Афонин внимательно, через лупу, осмотрел замочную скважину.

— У вас есть запасный ключ?

— Да, конечно, вот он, — ответил директор. — Но с той стороны вставлен другой.

— Это не имеет значения. — Афонин передал ключ молодому сотруднику. — Действуйте, товарищ лейтенант!

Тот вынул из кармана длинный тонкий инструмент и осторожно, точно замок двери был стеклянным, ввел его в отверстие, стараясь не задеть края. Через несколько секунд послышался стук упавшего на пол ключа.

Так же медленно и осторожно лейтенант вставил запасный ключ и повернул его.

— Готово! — сказал он.

— Войду я и врач, — распорядился Афонин. — Остальным ожидать здесь.

Дверь открылась.

Капитан остановился на пороге. Врач быстро прошел в номер.

Он был невелик и обставлен просто. Кровать, шкаф, письменный стол и два кресла. Окно задернуто легкой, но не прозрачной шторой.

У самого стола, на полу, лежал человек. Тонкая струйка крови из простреленного виска уже начала подсыхать. В руке, откинутой немного в сторону — это было видно даже от двери, — мертвой хваткой зажат небольшой пистолет.

«Немецкая марка «вальтер», — мысленно констатировал Афонин. — Пистолет не был вложен в руку трупа, а зажат еще при жизни. Да и кто мог бы это сделать в комнате, запертой изнутри?»

— Мертв! — сказал врач, пряча в карман стетоскоп и поднимаясь. — Смерть наступила мгновенно.

Капитан продолжал стоять у двери.

— Проверьте, пожалуйста, окно, — попросил он.

Всё как будто указывает на самоубийство, Михайлов в момент выстрела находился в номере один, но всё же Афонин цепким взглядом «прощупал» все предметы обстановки и особенно пол, не покрытый ковром. На паркете едва виднелись следы врача, только что вошедшего в комнату, и больше ничего. Но это нужно будет проверить тщательнее.

— Окно плотно закрыто, — сказал врач, после внимательного осмотра.

Только теперь Афонин вошел в номер.

Сняв трубку телефона, стоявшего на столике у кровати, капитан назвал номер.

— Здесь Афонин, — очень тихо сказал он. — Вторая машина не нужна. Самоубийство!.. Да, совершенно точ-

но... — С минуту он внимательно слушал, что говорил ему собеседник на другом конце провода. Чуть заметное движение бровей выдало удивление. — Слушаюсь!

Положив трубку, капитан опустился на колени возле покойника, с трудом вынул из начавшей уже костенеть руки пистолет. При этом он обратил внимание, что пальцы правой руки Михайлова чем-то испачканы.

Самоубийца был, по-видимому, совсем еще молодой человек, лет тридцати, не больше. Лицо, чистое, гладко выбритое, с твердо сжатыми губами, хранило выражение спокойной решимости. Лицо волевого человека, знающего, чего он хочет, и идущего к поставленной цели не задумываясь, без сомнений и колебаний.

«Такой не мог застрелиться без очень и очень серьезной причины», — подумал Афонин.

На мертвом был темный, из дорогого материала костюм, застегнутый на все пуговицы. Белая рубашка, воротничок, тщательно завязанный галстук свидетельствовали о привычке к опрятности и даже щеголеватости. На ногах шелковые носки и полуботинки, начищенные до блеска.

— Когда приехал Михайлов? — не оборачиваясь, спросил Афонин.

— Вчера вечером в девять часов, — ответил директор, оставшийся стоять у самой двери.

— Сегодня утром он вызывал горничную?

— Точно нет! В номер никто не входил со вчерашнего дня.

«Постель застлана, но неумело, — размышлял Афонин. — Михайлов стелил ее сам. Он спал и проснулся в совершенно спокойном состоянии. Об этом говорит и тот факт, что он тщательно оделся и побрился. Побрился не вчера, а явно сегодня. Трудно совместить это с намерением тут же застрелиться».

Обыскав карманы покойника, Афонин не нашел ничего, кроме совсем чистого носового платка. Ни документов, ни записок! Ничего из того, что люди обычно носят в карманах, часто даже не замечая.

Случайно ли это?..

Капитан поднялся.

— Вызывайте санитарную машину! — приказал он. — Тело надо отправить на вскрытие. Покойный сдавал паспорт?

— Без этого он не мог получить номер.

— Принесите, пожалуйста!

Директор поспешно вышел.

Лейтенант несколько раз сфотографировал самоубийцу с различных точек.

— Теперь перенесем его на постель, — распорядился Афонин.

Когда и это было сделано, капитан занялся письменным столом.

Только что полученный по телефону приказ полковника Круглова обязывал Афонина самым тщательным образом осмотреть всё так, словно дело шло о «тяжелейшем преступлении», как выразился Круглов. И хотя этот приказ оставался не совсем понятным (обыкновенное самоубийство и ничего более!), Афонин пунктуально выполнял его, как выполнял всегда приказания начальства. Видимо, у полковника были какие-то, неизвестные Афонину, особые причины интересоваться этим случаем.

Внимание капитана привлекла стеклянная пепельница, стоявшая на столе. Она почти доверху была наполнена бумажным пеплом. Тут же рядом лежала открытая коробочка спичек.

Михайлов сжег какие-то бумаги, прежде чем нажать на спуск пистолета.

Это могло стать уже нитью, если бы речь действительно шла о преступлении. Но как раз преступления-то и не было!

Осмотрев содержимое пепельницы через лупу, Афонин убедился, что восстановить нельзя ничего, пепел был очень тщательно измельчен.

«Вот почему испачканы пальцы его правой руки», — подумал Афонин.

Осмотр продолжался.

Положение тела указывало, что покойный в момент выстрела сидел в кресле перед столом. Кресло было слегка повернуто, и это дало возможность мертвому телу соскользнуть на пол. При этом, как определил врач, опытный криминалист, рука с пистолетом, плотно прижатым к виску, должна была откинуться именно так, как она и была откинута. Факт самоубийства этим обстоятельством подтверждался окончательно.

В большинстве случаев, почти как правило, самоубийцы оставляют после себя записку или запечатанное письмо. Здесь ничего не было. На столе, кроме уже осмотр-

ренной пепельницы, находились: лампа под матерчатым абажуром, газета и кожаный бумажник.

Лампа горела.

Афонин машинально погасил ее и взялся за бумажник. Но, к его разочарованию, и там не оказалось ничего, кроме денег. Примерно как раз такой суммы, которую берут с собой люди, едушие в чужой город и не пользующиеся аккредитивом. В одном из отделений бумажника лежал аккуратно завернутый в чистый листок бумаги железнодорожный билет из Свердловска.

Газета была — «Известия» за вчерашнее число. Она была согнута и положена так, что сразу бросался в глаза указ Президиума Верховного Совета, вернее два указа, напечатанные один под другим.

Создавалось впечатление, что Михайлов читал эту газету непосредственно перед смертью. Не совсем обычное занятие для человека, собирающегося пустить пулю в лоб. Не газета же побудила его взяться за пистолет?

Но может быть, Михайлов читал ее вчера вечером?

«Нет! — решил Афонин. — Он читал именно сегодня. Зачем иначе он зажег лампу? Сейчас светлеет рано. Видимо, он поднялся, когда было еще темно или недостаточно светло. Штору он не отдернул».

Капитан сел в кресло и как можно естественнее положил руки на стол.

Несомненно! Если Михайлов читал, то именно указы.

В первом из них Афонину сразу бросилась в глаза строка: «Михайлов Николай Поликарпович».

«Люди, представленные к столь высокой награде, не кончают самоубийством накануне получения, — подумал капитан. — Незачем приезжать в столицу только для того, чтобы застрелиться. Это совершенно невероятно».

Но факт оставался фактом — Николай Поликарпович Михайлов мертв! И невозможно было допустить, что в указе речь идет о другом Михайлове, к тому же еще и двойном тезке.

Откроется ли эта тайна? Удастся ли установить, что послужило причиной смерти этого человека?..

Только теперь Афонин понял, почему начальник приказал провести следствие самым тщательным образом. Видимо, полковнику Круглову стало известно, кто именно остановился в тысяча одиннадцатом номере гостиницы «Москва».

«Да! — сказал Афонин самому себе. — Придется

искать и найти во что бы то ни стало! Президиум Верховного Совета не удовлетворится догадками или половинчатым ответом».

Что же можно сказать сейчас, здесь, на месте?

Афонин хорошо понимал, как важно в случае, подобном этому, составить себе первое впечатление на месте происшествия. Только здесь можно «допросить» немых свидетелей — вещи, находившиеся в комнате. Опытному глазу они могут рассказать многое. И особенно сейчас. Дело не уголовное, а психологическое. Надо понять, о чем думал Михайлов перед смертью. В этом ключ к разгадке...

Снова появился директор гостиницы. На покрасневшем лице его («бежал наверное!») было написано смущение.

— Паспорта нет! — ответил он на вопросительный взгляд Афонина. — Михайлов прибыл вчера вечером и заявил, что паспорт забыл в Свердловске. Поскольку номер для него был забронирован секретариатом Президиума Верховного Совета, дежурный администратор счел возможным предоставить ему этот номер. Я думаю, что он поступил правильно, — поспешно прибавил директор, словно опасаясь, что работник милиции поставит ему в вину это нарушение.

— Так! — сказал Афонин.

Сожжение каких-то бумаг, отсутствие паспорта! Еще смутно, но уже проступала возможная линия поиска.

— Я вам нужен? — спросил директор.

— Нет, не нужны. Если понадобится, вызовем.

Афонин снова обратился к газете.

Из всех видов следственной работы капитан больше всего любил психологический анализ. Даже в чисто уголовных делах он никогда не проходил мимо возможности понять мысли и чувства преступника, что нередко помогало выяснить истинные мотивы преступления, даже тогда, когда эти мотивы на первый взгляд казались очевидными.

А в деле Михайлова этот путь был единственным.

И пока лейтенант с помощью врача вторично обследовал тело, вскрывал и осматривал чемодан покойного, капитан Афонин сидел у стола, неподвижным взглядом смотря на газетный лист, и напряженно думал. «Михайлов не мог не знать, зачем его вызывают в Москву. Но указы о награждении опубликованы только вчера, —

значит, фамилии других награжденных он узнал из этой газеты. И именно ее читал он перед смертью! Читал еще с ночи. Об этом свидетельствует лампа. Михайлов забыл ее погасить, когда стало светло. Почему забыл? Могло быть две причины. Он мог сжигать бумаги, и ему было не до лампы. Это менее вероятно. Вторая причина — его что-то поразило в этих фамилиях, поразило настолько, что он забыл обо всем. Но ведь он мог прочесть газету вчера! Нет, — тотчас же возразил Афонин самому себе, — это совсем не обязательно. Он мог купить газету вчера, а прочесть ее только сегодня. Итак, что мне известно? Человек проснулся в спокойном состоянии, не думая, что сделает через час или два. Он бреется, тщательно одевается, застилает постель. Потом он вспоминает о газете, садится к столу и читает указы. Его взгляд останавливается на одной из фамилий... Или могло быть иначе. Он прочел газету всё-таки вчера, а сегодня читал ее вторично. Это естественно, поскольку в ней его фамилия. И сегодня заметил то, чего не заметил вчера. Но что именно?»

Капитан пристально всмотрелся в газетный лист. И заметил, что возле одной фамилии стоит карандашная точка.

Но где же карандаш? На столе его нет.

Капитан огляделся и нашел карандаш на полу, у самого окна; он, видимо, был отброшен.

Кончик карандаша оказался сломанным.

Афонин без труда нашел этот кончик на столе, возле лампы.

Ясно! Карандаш сломался именно на этой фамилии.

Вглядевшись, Афонин увидел карандашные точки у нескольких фамилий, только очень слабые, едва заметные.

Так поступают люди, когда с карандашом в руке читают список фамилий, стараясь вспомнить людей, стоящих за ними.

Фамилий двенадцать. Жирная карандашная точка у четвертой фамилии второго указа.

«Иванов Андрей Демьянович — комиссар партизанского отряда», — прочел Афонин.

В обоих указах только бывшие партизаны.

Возле пяти фамилий, стоящих ниже Иванова, никаких точек нет. Михайлов их не читал!

Что же привлекло его внимание к этому имени? По-

чему, найдя его в указе, Михайлов достал пистолет и выстрелил себе в висок?

«Не совсем так, — поправился Афонин. — Сначала он тщательно уничтожил какие-то бумаги. Этот факт чрезвычайно важен».

Но если покончить с собой Михайлова побудила фамилия Иванова, которого он, очевидно, хорошо знал, то связи между сожженными бумагами и забытым паспортом никакой нет. Паспорт действительно забыт. Приехав в Москву, Михайлов не думал о самоубийстве. Он решил на него внезапно, сегодня утром.

Возможна другая связь — между сожженными бумагами и личностью Иванова. Может быть, было сожжено письмо этого самого Иванова к Михайлову, письмо, послужившее мотивом выстрела. Не обязательно держать пистолет своей рукой, чтобы убить. Можно воспользоваться рукой самой жертвы. Принуждение к самоубийству ничем не отличается от прямого убийства. История криминалистики знает много подобных случаев.

Как ни поворачивай дело, а Иванов — ключ к тайне!

Этот человек должен быть сейчас в Москве или приехать сегодня. Если, конечно, он не москвич. Его можно легко найти!

Афонин поднял голову.

— Что в чемодане? — спросил он.

— Обычные вещи, какие берут в дорогу. Две смены белья, второй костюм, две книги и бритвенный прибор. Ну, полотенце, носовые платки...

— Письма, записки?

— Ничего нет!

Афонин сложил газету и сунул ее в карман. Карандаш и отломанный кончик он завернул отдельно.

— Поехали! — сказал он. — Больше тут нечего делать. Чемодан захватим с собой.

2

Врач остался в гостинице, чтобы сопровождать тело Михайлова и присутствовать при вскрытии. Лейтенанта Афонин послал вперед, поручив ему доставить чемодан в научно-технический отдел МУРа для детального осмотра, а сам, сев в машину, приказал ехать в управление кружным путем.

Это распоряжение не удивило шофера. Он давно знал капитана и привык к тому, что после почти каждого выезда на место происшествия Афонин поступал точно так же.

Капитану хотелось наедине с собой, без помех, обдумать и систематизировать всё, что пришлось ему в голову во время осмотра. А сейчас в особенности.

Он сознавал огромные трудности дела и считал, что именно ему будет поручено вести его дальше и что работать придется много и ускоренным темпом. Фраза полковника: «Проведите осмотр так, как если бы было совершено тягчайшее преступление» — говорила о многом.

Не хотелось приехать в управление и идти с докладом к начальнику с пустыми руками. На неизбежный вопрос: «Каково же ваше мнение?» — придется что-то ответить, а у Афонина, несмотря на несколько возникших предположений, ответа на этот вопрос всё еще не было. Такого ответа, который мог бы считаться первой версией.

Олег Григорьевич Афонин был опытным следователем. До войны он восемь лет работал в органах прокуратуры. Тогда же закончил заочно юридический факультет. Сотни дел прошли через его руки. Он любил свою профессию и каждому порученному делу отдавал весь свой ум, всего себя целиком. И, оглядываясь на пройденный путь, с удовлетворением вспоминал, что ни одно из дел, которые он расследовал, не осталось незавершенным. Неизбежные в любом деле неудачи пока что не коснулись его.

Когда началась война и немецкие войска вплотную подошли к Москве, Афонин настоял на своей отправке на фронт. После разгрома фашистских войск под Москвой Афонина перевели из строевой части в военную прокуратуру и снова сделали следователем. Но дела, которые ему приходилось вести на фронте, ничего общего не имели с делами мирного времени.

Вернувшись из-под Берлина в Москву, Афонин был назначен не на старое место в прокуратуре, а в МУР. И вот, не успев провести и десятка дел, он столкнулся с проблемой, где навыки и опыт работника прокуратуры могли очень и очень ему пригодиться.

«Уж не потому ли полковник Круглов послал именно меня в гостиницу „Москва“?» — подумал Афонин.

Это было не только возможно, но и почти навверное так.

«Тем хуже!» — невольно мелькнула мысль.

Дело Михайлова грозило нарушить установленный Афониным для самого себя закон: каждое порученное ему дело *должно* быть доведено до успешного конца. Во что бы то ни стало!

До сих пор Афониному удавалось не нарушать этого неписаного закона, чем он втайне гордился.

В памяти внезапно возникло последнее, до войны, дело.

Казавшееся на первый взгляд до примитивности простым, оно оказалось в действительности очень трудным и сложным. В нем, так же как и сейчас, было самоубийство и так же не было видно никаких побудительных причин к нему. Но тогда, еще больше, чем в деле Михайлова, несомненность добровольной смерти казалась очевидной. Самоубийца — молодая женщина, оставила после себя записку со стандартной просьбой «никого не винить в ее смерти». Выходило, что расследовать нечего, тождественность почерка, которым была написана записка, и почерка умершей женщины была установлена быстро и неопровержимо. Но Афонина смутило, что записка была написана *в точности* тем же почерком, что и письмо, найденное в комнате самоубийцы. По словам родственников и знакомых покойной, эта молодая женщина обладала веселым и беззаботным характером. Легкомысленное письмо к подруге и письмо предсмертное — не одно и то же. Они писались в разных психических состояниях, и это неизбежно должно было отразиться на почерке. Почему же нет никакой разницы? И, задав себе такой вопрос, отталкиваясь от него, Афонин сумел найти истину, установить факт тщательно продуманного и подготовленного убийства, разыскать и арестовать убийцу. Это дело принесло ему тогда большую известность в среде криминалистов.

Вспомнив о нем, Афонин подумал, что в том давнем деле: и в деле Михайлова есть что-то общее. Так же на первый взгляд не за что уцепиться. Разница, и притом очень существенная, состоит в том, что женщина оставила записку, а Михайлов, наоборот, сжег какую-то бумагу или бумаги.

Зачем? С какой целью?

Еще в номере гостиницы Афониному пришла мысль, что бывший комиссар партизанского отряда Иванов как-то причастен к делу. Если такое предположение правильно,

то, казалось бы, Михайлову не было смысла сжигать записку или письмо этого Иванова и тем самым отводить от него обвинение в принуждении к самоубийству. Естественнее было поступить как раз наоборот — оставить письмо на столе.

Поступок Михайлова был психологически неоправдан.

А если Иванов тут ни при чем, то поведение Михайлова перед выстрелом объяснить еще труднее.

Машина «крутила» по улицам Москвы уже более получаса. Шофер выбирал самые замысловатые маршруты, не удаляясь, однако, от района Петровки на слишком большое расстояние. Он знал по опыту, что когда капитан примет решение, то потребует доставить его в управление как можно скорее.

А Афонин словно забыл, что его ждут.

Он хорошо знал характер начальника МУРа. Выслушав бессодержательный доклад, не имеющий, как он любил говорить, «конечного вывода», полковник Круглов мог поручить это дело кому-нибудь другому. Такое случалось неоднократно. Если дело было «на ходу», Круглов никогда не менял следователей, помогая им всем, чем мог помочь, но в самом начале...

Как ни странно, но, сознавая прекрасно почти обеспеченную бесперспективность дела Михайлова, Афонин совсем не хотел выпускать это дело из своих рук. Его профессиональное самолюбие было уже сильно задето самим фактом, что ему не удастся прийти к какому-нибудь твердому мнению, хотя бы впоследствии оно и оказалось ошибочным. Ложность первоначальной версии — часто случающееся и хорошо понятное каждому криминалисту и оперативному работнику явление. В нем нет ничего позорного. Важно, в конечном счете, найти правильную линию и успешно закончить следствие. Это главное.

Афонин знал, что за ошибку никто его не осудит. Но войти в кабинет полковника и беспомощно молчать в ответ на естественные вопросы казалось капитану нестерпимым. И он продолжал напряженно искать зацепку, которая помогла бы наметить хоть какой-нибудь путь в тумане.

Но, кроме все того же Иванова, ничего не приходило в голову. Другие мелькавшие у него догадки были еще менее убедительны и еще больше походили на «фантастику», которую не очень-то одобрял Круглов.

Прошло еще минут десять, и капитан решил, что тя-

путь больше нельзя. Иванов так Иванов! Как первая версия это могло сойти. Правда, полковник, всю жизнь проработавший в МУРе, вероятно, сразу же заметит ее слабые стороны, но всё же это версия!

Афонина частенько в шутку называли мистиком, потому что капитан имел слабость безоговорочно верить своему внутреннему голосу, интуиции. И пока неопровержимые факты не доказывали обратного, он упрямо стоял на том, что подсказывала ему интуиция.

И сейчас, несмотря на все «против», приводимые им самому себе, несмотря на то, что версия «Иванов» казалась ему самому шаткой, интуиция упорно твердила: «Иванов, Иванов, Иванов!»

Начальник Московского уголовного розыска полковник милиции Круглов встретил Афонию спокойно, не упрекнув за долгое отсутствие, причина которого была ему хорошо известна, и, не прервав ни единым словом, внимательно выслушал, не спуская с капитана глаз, — огромных за толстыми стеклами очков.

— Такова первая версия, Дмитрий Иванович!

Начальник МУРа любил, когда к нему обращались неофициально.

— И она нелогична, — отрезал Круглов.

Афонин решился возразить.

— Обстановка подсказывает именно эту, — сказал он.

— Давай рассуждать.

Переход на «ты» обрадовал Афонию. Это показывало, что полковник в общем доволен работой капитана и одобряет ее.

— Давай рассуждать. Ты считаешь, что Михайлов покончил с собой потому, что боялся встретиться лицом к лицу с этим Андреем Демьяновичем Ивановым?

— Очень похоже, что так.

— И даже идешь дальше, предполагая, что сожженное письмо было именно от Иванова. Вот это и является первым слабым местом в твоей версии. Михайлов прибыл в Москву вчера вечером. Когда же Иванов успел узнать, где он остановился? Или письмо было привезено из Свердловска?

— Безусловно, нет!

— Правильно; безусловно, нет. В том, что Михайлов до приезда в Москву и не помышлял о самоубийстве, ты

прав. Значит, если сожженная бумага — причина выстрела, то она получена в Москве в период от вчерашнего вечера до сегодняшнего утра.

Афонин молча кивнул головой. Как он и опасался, полковник сразу же ухватился за самое шаткое звено его версии. Возразить было нечего.

А Круглов, отлично понимая своего сотрудника, безжалостно продолжал «добивать» его, считая, что лучше всего с самого начала доказать капитану ложность его пути. Видимо, этот путь — результат знаменитой интуиции Афонина, в которую Круглов никогда не верил, признавая в следственной работе только путь логики.

— Но допустим, — продолжал он, — что ты прав в том, что причиной самоубийства явилось какое-то письмо. Могло ли оно быть от Иванова? Ведь такое письмо имеет характер шантажа. Кто такой Иванов? Комиссар партизанского отряда, человек, привыкший оценивать свои поступки с партийной точки зрения...

— Можете не продолжать, товарищ полковник. Мне всё ясно. Я ошибся!

Круглов усмехнулся. Резкость, с которой капитан произнес эту фразу, показывала, как глубоко задела его «стрела» полковника. Это хорошо!

— Тогда пойдем дальше, — сказал он. — Если Михайлов застрелился, узнав, что встретится с Ивановым, то вывод может быть только один. Михайлов боялся этой встречи. Почему он мог бояться? Только в том случае, если Иванов знает о нем что-то плохое. Очень плохое! Настолько, что Михайлов предпочел смерть разоблачению.

— Конечно!

— Но мог ли бояться этого Михайлов? Что бы он ни сделал в прошлом: проявил трусость или нарушил партизанскую дисциплину — всё искуплено последующей героической борьбой с оккупантами. Высокая награда зачеркивает прошлые грехи. Согласен?

— Да, пожалуй! Но Иванов мог знать такое, что делало Михайлова недостойным этой награды.

— Возможно. Но согласись, что в этом случае нет повода для самоубийства. Михайлов, по твоим же словам, производит впечатление сильного, волевого человека. Можно сказать, самый факт его самоубийства доказывает это. Как же должен был поступить такой человек? Он мог найти Иванова, поговорить с ним, как со своим

бывшим комиссаром. Мог, наконец, не являться за наградой, письменно сообщив, что от нее отказывается, изложив причину. Дело Президиума Верховного Совета решить — достоин он или нет. Так должен был поступить каждый честный человек. Но Михайлов поступил иначе. Он приехал в Москву за наградой. По логике — кривой душой, так как знает, что ее недостоин. Поступил трусливо. А узнав, что ему грозит встреча с человеком, знающим, что он недостоин, кончает с собой. Логично ли это?

— Нет, — твердо ответил Афонин. — Нелогично!

— Те, кто представил Михайлова к награде, должны были знать о нем всё. — Полковник посмотрел на номер «Известий», лежавший перед ним на столе. И, помолчав, сказал: — Тебя толкнуло на ложный путь то, что возле фамилии Иванова карандаш у Михайлова сломался и он его отбросил. Но это могло быть случайностью. Ему могла прийти в голову какая-нибудь мысль как раз тогда, когда он дошел до этой фамилии, и, сама по себе, она тут ни при чем. Согласен?

— Могло быть и так, — сдержанно ответил Афонин. Круглов метнул на него быстрый взгляд.

— Не согласен? Пойдем дальше. Ты не думай, Олег Григорьевич, — неожиданно сказал полковник, — что я тебя в чем-нибудь упрекаю. Ты сделал что мог, и твоя версия могла меня убедить, если бы я не знал того, чего ты не знаешь. Пока ты находился в гостинице, а затем колесил по Москве, мы связались по телефону с секретариатом Президиума Верховного Совета и выяснили, что Михайлов был представлен к одной и той же награде дважды. Командованием двух партизанских отрядов, в которых он воевал. Первое представление посмертное: Михайлова считали убитым. Оба командира отрядов находятся в Москве. Фамилия первого из них, того, кто представил Михайлова к награде посмертно, — Нестеров. Он москвич. Фамилия второго — Добронравов. Он приехал сегодня. Точнее, — поправился полковник, — приедет. Сегодня вечером. Здесь, — Круглов дотронулся до указа, — его имя стоит первым. Михайлов знал, что встретится с ними обоими, и это его не испугало. А в отряде, где комиссаром был Иванов, Михайлов вообще не воевал.

— Это точно? — вырвалось у Афонина.

— По полученным сведениям, точно.

— Да, это меняет дело.

— Именно меняет. Так где же и когда Михайлов мог встретиться с Андреем Демьяновичем Ивановым? (Афонин понял, что полковник намеренно произнес полное имя и отчество, подчеркивая свое уважение к Иванову и несогласие с подозрениями его, Афонина.) В обоих представлениях Михайлова характеризуют как человека совершенно исключительной храбрости. Так разве такой человек мог покончить с собой из малодушия?

Тон, которым Круглов произнес последнюю фразу, показал Афонину, что ответа не требуется. Полковник как бы поставил точку в разговоре.

И капитан молчал. А внутренний голос упорно продолжал твердить одно и то же: «Иванов — ключ к тайне!»

Обычно Афонин не боялся отстаивать свое мнение, кто бы ни был его оппонент. Но он видел, что полковник почему-то взволнован. Круглов снял очки и тщательно протирал стекла кусочком замши. В управлении все знали, что это верный признак волнения. Без очков его лицо резко изменилось. Глаза уменьшились, придав ему выражение добродушия — черты, не свойственной характеру Круглова.

— Выходит, дело более сложно, чем я думал, — сказал Афонин после непродолжительного молчания.

— С чего начнешь?

Капитану хотелось ответить, что он намерен начать с Иванова, но он не рискнул. Настроение начальника МУРа изменилось и не располагало к проявлению упрямства.

— Раз Иванов отпадает... — всё же сказал он.

— Почему отпадает? Не крути, Олег Григорьевич! Хочешь начать с Иванова, начни с него. Кто знает... — Полковник снял трубку телефона и назвал номер. — Адрес Иванова установлен? — спросил он. — Записываю. Вот, — сказал он, положив трубку, — начни с него. А затем побеседуй с Нестеровым и Добронравовым. С последним завтра. Иванов приехал сегодня из Киева. Остановился у родственников, хотя номер в гостинице был ему забронирован. Возьми с собой фотографии, они готовы. Понимаешь, для чего?

— Понимаю, но фотография покойника...

— Ничего не поделаешь! Это несчастная случайность, что Михайлов забыл паспорт. Кстати, как думаешь, забыл или намеренно оставил?

— Сначала я думал, что намеренно, а потом — что случайно. Но это, — Афонин улыбнулся, — относится уже к моей ошибочной версии.

— Понимаю, — серьезно сказал Круглов. — Мы позвонили в Свердловск. Там сегодня же займутся поисками не только паспорта, его нетрудно будет найти, но и каких-нибудь фотографий. А также писем и вообще бумаг. Всё будет срочно прислано. Но мы ждать не можем, время дорого. Бери фотографии, какие есть.

Афонин встал.

— Разрешите выполнять?

— Держи меня в курсе. Желаю удачи!

Капитан вышел из кабинета Круглова далеко не в радужном настроении. Что бы там ни говорила ему интуиция, а логика на стороне начальника МУРа.

Афонин вспомнил лицо мертвого Михайлова. И еще раз подумал, что человек с таким лицом не мог покончить с собой без очень серьезной причины. И этой причиной не мог быть страх перед каким-либо разоблачением, даже если это разоблачение грозило лишением награды. Полковник прав.

Но как же тогда искать причину смерти Михайлова? Ведь могло произойти и так, что никакой причины не было. Внезапное помешательство маловероятно, но возможно. Правда, такое предположение никак не вяжется опять-таки с типом лица покойного Михайлова.

3

Машина остановилась у пятиэтажного дома на Большой Полянке.

Афонин вышел.

Квартира оказалась на самом верхнем, пятом этаже. Лифт не работал. Послевоенные неурядицы еще давали себя чувствовать на каждом шагу.

Афонин медленно поднимался по лестнице. Он вынужден был признаться самому себе, что волнуется.

Предстоящий разговор мог многое выснить. В глубине сознания капитан всё еще не окончательно распростился со своей первоначальной версией.

Иванов — ключ к тайне смерти Михайлова!

Афонин чувствовал это всем существом.

Что же! Сейчас он убедится.

Бывший комиссар партизанского отряда ожидал его, предупрежденный по телефону.

Это был уже немолодой человек, среднего роста, с длинными седыми усами, которые резко дисгармонировали с молодым лицом. Волосы также были тронуты сединой, явно преждевременной.

— Прошу, прошу! — сказал он, пожимая руку Афонина и пытливо всматриваясь в его лицо. — Чем могу быть полезен вашему почтенному учреждению? Кстати, вы могли и не приезжать сами, а вызвать меня повесткой. Так, кажется, у вас принято?

— Зависит от обстоятельств, — улыбнулся Афонин. — Вас мы не хотели беспокоить больше, чем это необходимо в интересах дела.

— Признателен за внимание. Времени у меня действительно очень мало. Прошу сюда!

Он открыл дверь и пропустил гостя вперед.

Квартира, видимо, была большой, но никто из жильцов не показывался. Ничем не нарушаемая тишина создавала впечатление, что Иванов дома один.

Афонина это вполне устраивало.

Комната, куда он вошел, была небольшой и служила одновременно столовой и спальней. По крайней мере, сейчас. На диване была постлана аккуратно заправленная постель.

На столе Афонин заметил всё тот же номер «Известий», точно так же сложенный и даже с карандашными пометками у фамилий, напечатанных в указах. Только здесь были не точки, а «птички», и они стояли возле всех двенадцати.

«Естественно, — подумал Афонин. — И Михайлов и Иванов искали знакомых».

Он пристально взгляделся в пометку, стоявшую у фамилии «Михайлов». Но она ничем не отличалась от остальных.

— Вот сюда садитесь, — предложил хозяин, указывая на кресло у окна. — Здесь вам будет удобно.

Сам он уселся на стул.

— Слушаю вас, товарищ...

— Афонин, — представился капитан. — Олег Григорьевич.

— Слушаю вас, Олег Григорьевич! — В голосе Иванова явно звучало нетерпение. Видимо, он торопился или просто не любил терять время.

— Я приехал к вам по поводу Михайлова Николая Поликарповича, — без предисловий начал Афонин. — Знаете ли вы его, Андрей Демьянович?

Говоря, он внимательно следил за лицом собеседника. Нет, ни одна черточка не дрогнула на этом лице. Иванов остался абсолютно спокойным.

Он протянул руку и взял со стола газету.

— Вот этого? — спросил он.

— Да.

— Нет, не знаю. Впервые услышал о нем из указа.

Это было сказано просто и даже с оттенком сожаления. Словно Иванову стало неловко, что он не сможет помочь своему гостю.

Невозможно было сомневаться в его искренности. Весь облик бывшего комиссара, в особенности выражение небольших умных глаз, начисто опровергал какие-либо подозрения на его счет. Слова полковника Круглова: «Комиссар привык подчинять свои действия партийным целям» — как нельзя больше подходили к этому человеку.

Было предельно ясно, что если бы Иванов знал Михайлова и тем более знал о нем что-нибудь плохое, то не стал бы прибегать к письмам или угрозам, а просто заявил бы куда следует. И он, конечно, не ответил бы отрицательно на вопрос капитана милиции.

Афонин почувствовал глубокое разочарование. И не потому, что интуиция на этот раз обманула его, а только потому, что ответ означал — наступает пора огромных трудностей.

Приезд в эту квартиру оказался ненужной тратой драгоценного времени.

— Уверены ли вы в этом? — спросил Афонин. — Может быть, вы его всё же знали, но забыли?

— Нет, не знал. Среди моих знакомых никогда не было Михайловых.

— А в тылу врага?

— Был в нашем отряде один Михайлов. Короткое время. Но я хорошо помню, что его звали Владимиром. Он был убит на моих глазах.

Афонин вынул из кармана фотографию. Как утопающий за соломинку, он цеплялся за надежду — вдруг Иванов вспомнит. Всё тогда выяснилось бы легко и просто.

— А этот человек вам не знаком?

Иванов взял карточку и удивленно поднял брови.

— Странный снимок!

— Это фотография мертвого человека. Сильно ретушированная. Нам крайне важно, чтобы вы его узнали, если когда-нибудь встречались с ним. Пожалуйста, напрягите память.

— Постараюсь!

Иванов долго всматривался в фотографию.

— Нет, — решительно сказал он. — Этого человека я не знаю. А лицо волевое, запоминающееся. Кто это?

— Это Михайлов.

— Какой Михайлов?

— Этот самый. — Афонин указал на газету.

— А разве он умер?

— Да, сегодня утром.

— Вот уж действительно не повезло человеку. Перед самым получением такой высокой награды. Ай-яй, как нехорошо! А что же случилось, паралич сердца?

Афонин колебался буквально одну секунду. Сообщать правду он не собирался, но это было последней возможностью испытать искренность Иванова. Не железный же он в конце концов!

— Михайлов покончил самоубийством. Застрелился в номере гостиницы «Москва».

Капитан ожидал восклицаний, расспросов, в которых легко было бы расслышать фальшивые ноты. Но бывший комиссар оказался человеком закаленным. Он ничем не выказал своего отношения к услышанному, а только очень долго молчал.

«Нет! — подумал Афонин. — Мою версию надо окончательно сдать в архив. Так притворяться немислимо. Полковник кругом прав».

— Теперь я понимаю, — задумчиво произнес Иванов, — причину вашего визита ко мне. Вам надо найти мотив самоубийства. Раз Михайлов приехал в Москву получать награду, этот мотив не может быть, например, семейного характера.

— Совершенно верно! — Афонин одобительно кивнул головой.

Ничего не скажешь! Иванов обладает логическим мышлением.

— А раз так, — продолжал комиссар, — то вы и взялись за нас. Путь правильный! Но я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Не знал Михайлова.

Афонин поднялся.

— Не буду вас больше беспокоить, — сказал он. — Поеду к другим.

— Возможно, что кто-нибудь из остальных десяти и воевал вместе с Михайловым, — сказал Иванов, провожая своего гостя. — Но вашей задаче я не завидую.

— Сам себе не завидую, — вздохнул Афонин. — Но... надо найти.

— Да, я понимаю.

И он так сказал эти слова, что Афонин понял — комиссар догадался, почему он не завидует себе...

Спустившись и сев в машину, Афонин дал водителю адрес Нестерова.

Версия с Ивановым рухнула окончательно. Привычно прислушавшись к самому себе, капитан убедился, что внутренний голос его молчит. «Иванов — ключ к тайне». Нет! Больше эта фраза не звучала.

Отбросим Иванова! Но уж Нестеров обязательно должен знать Михайлова. Он сам представил его к награде. Михайлов воевал в отряде Нестерова.

Ехать пришлось через весь город, на Бутырский хутор, где в одном из одноэтажных домиков, каких много еще сохранилось в Москве, жил бывший командир партизанского отряда.

Перед отъездом из управления Афонин звонил Иванову, но не позвонил Нестерову, не зная, когда сможет приехать к нему. И теперь опасался, что того не окажется дома.

Но дверь открыл сам Нестеров.

Афонин невольно улыбнулся, увидев его, до того Нестеров был похож на Иванова. Тот же рост, то же сложение. Только усы у него были черные, как смоль.

— Олег Григорьевич? — неожиданно спросил он.

— Да.

— Входите! Меня предупредили о вашем приезде и просили оказать помощь. Готов сделать всё, что могу. Входите! — повторил он.

Афонин еще раз улыбнулся, но на этот раз внутренне. Прodelка, иначе не назовешь, исходила от полковника Круглова. Телефонный звонок к Нестерову как бы говорил капитану: «Ты всё еще не убежден, что твоя версия ошибочна? Ты думаешь, что разговор с Ивановым займет у тебя много времени? И что, может быть, тебе вообще не придется ехать к Нестерову? Я думаю иначе, и вот ты получаешь доказательство моей, а не твоей правоты».

Это было вполне в стиле полковника Круглова «без очков». Да, именно так, «без очков». Круглов «в очках» не сделал бы этого.

Комната, куда вошел Афонин, ничем не напоминала комнату Иванова. Это был кабинет, обставленный тяжелой, видимо старинной, кожаной мебелью. Массивный письменный стол, такие же книжные шкафы, громадные кресла. Телефон, стоявший на столе, никак не гармонировал с этой обстановкой. По приглашению хозяина Афонин сел в кресло, сразу утонув в нем.

Нестеров опустил в такое же кресло напротив.

— Итак? — сказал он и тут же, словно перебивая себя, прибавил: — Цель вашего, именно вашего, приезда для меня совершенно непонятна.

— Вам ничего не сообщили?

— Ничего. Только сказали, что просят подождать вас и что вы приедете скоро.

— Так и сказали, «скоро»?

— Да. И вы действительно не заставили себя ждать.

Нет, это уже не походило на «проделку»! Звонил, видимо, Круглов «в очках». А может быть, даже и не он сам. Полковника тревожит ход следствия, и он опасался, чтобы Афонину не пришлось проехать к Нестерову зря.

— Нас, — Афонин подчеркнул это слово, — очень интересует всё, что вы сможете сказать о Михайлове Николае Поликарповиче. Знаете ли вы его?

Нестеров пожал плечами.

— Как же я могу его не знать? Вместе воевали пять месяцев. На фронте, а тем более в тылу врага, это много. Очень много. Но простите, перебую вас! Не могу не спросить. Почему Михайловым интересуется уголовный розыск? У-го-лов-ный!

— Это вышло почти случайно. Могло случиться и так, что вместо меня к вам приехал бы следователь прокуратуры.

— Хрен редьки не слаще!

Афонин засмеялся.

— Сейчас вы всё поймете, — сказал он. — Вы были дружны с Михайловым?

— Как понимать это слово? Личной дружбы не было. Я был командиром, а он рядовым партизаном. Но мы все были дружны. Иначе не могло быть. Партизанский отряд — не армейский полк. Когда мы думали, что Михайлов погиб, то искренне оплакивали его. Все! Но, еще раз

простите, перебью вас. Я никогда не поверю, что Коля Михайлов способен на преступление. Это ошибка!

— Никакого преступления не было. Дело в том, что сегодня утром ваш бывший партизан Николай Поликарпович Михайлов действительно погиб.

— Убит? — Нестеров выпрямился в кресле.

— А разве у вас есть основание думать, что он мог быть убит? — тотчас же спросил Афонин.

У него сразу мелькнула мысль, что Нестеров что-то знает.

— Нет, оснований у меня никаких. Просто меня поразило слово «погиб», которое вы произнесли.

— Это слово больше подходит, чем слово «умер». Он не убит. Михайлов застрелился.

Скрывать от Нестерова правду о смерти Михайлова не было никакого смысла.

— Застрелился?! — Нестеров ошеломленно смотрел на Афонина. — Сам? Но почему?.. Как?

— Как люди стреляются? Но вот почему это случилось? Причину мы как раз и надеемся выяснить с вашей помощью.

— Я ничего не могу знать об этом.

— Вы можете помочь нам, рассказав о том, что за человек был Николай Михайлов, как он воевал, какой у него был характер.

— Подождите! Просто не могу прийти в себя. Застрелился! А я как раз сегодня собирался его разыскать. Хотелось повидаться с ним. Откуда он приехал?

— Из Свердловска. Вчера вечером. А сегодня...

— Может быть, несчастная любовь?

«Нет, это не Иванов, — подумал Афонин. — Тот сразу сообразил».

Капитан коротко изложил соображения, по которым искать причину самоубийства Михайлова в Свердловске было бесполезно.

— Это логично, — согласился Нестеров, выслушав Афонина. — Но подумать только... Сегодня утром... А послезавтра...

— В том-то и дело!

Наступило молчание. Нестеров о чем-то задумался, видимо о Михайлове. Афонин не мешал ему. Пусть вспоминает! Разговор будет длинным, и не в интересах следствия форсировать его. Нестерову предстояло рассказать многое.

— И всё-таки погиб от пули, — неожиданно произнес он.

— Как это понять? — спросил Афонин.

— А вот когда расскажу, тогда поймете. У каждого человека своя судьба.

— Вы фаталист?

— Поневоле станешь им после четырех лет партизанской жизни. Когда смерть смотрит в глаза четыре года подряд, каждый день и каждый час, единственный выход — махнуть рукой и сказать себе: «Что суждено, то и будет. Надо думать не о своей смерти, а о смерти врага».

— Это совсем не фатализм, — улыбнулся Афонин. — Так думают на фронте все. Без этого нельзя воевать.

— А вы и всерьез подумали, что я фаталист? Забегу немного вперед. Коля Михайлов искал смерти от немецкой пули.

— От нее он и умер, — сказал Афонин.

— То есть?

— Он застрелился из немецкого пистолета.

— Вот как! Так что же я могу рассказать вам? Коля Михайлов...

— Одну минуту! — перебил Афонин, которому пришла в голову новая мысль. — Посмотрите, пожалуйста, вот на эту фотографию.

— Снято с мертвого? — спросил Нестеров, взглянув на снимок.

— Да. Это он?

— Конечно он! Вы же сами знаете.

— Мы не в счет. Важно, чтобы его опознали вы. Нельзя исключить и такую возможность, что вместо Михайлова приехал в Москву и застрелился другой человек.

— Если бы так! Но, к сожалению, это, несомненно, мой Михайлов. Сейчас я вам это докажу.

Нестеров подошел к письменному столу и долго рылся в одном из ящиков. Афонин не сомневался, что сейчас увидит фронтовую фотографию Михайлова.

«Очень удачно, — думал он. — В наших руках будет фотография живого Михайлова. Это может очень пригодиться».

— Вот! — сказал Нестеров, снова усаживаясь в кресло и держа в руках довольно толстую пачку снимков. — Сейчас найдем!

Он медленно стал перебирать карточки, иногда по-

долгу разглядывая то ту, то другую. Афонин терпеливо ждал.

Наконец Нестеров закончил свой осмотр и протянул Афонину три снимка.

— Пожалуйста! — сказал он. — Убеждайтесь!

Фотографии были очень плохие. На всех трех был изображен не одип Михайлов, как надеялся Афонин, а группы бойцов, среди которых капитан только с большим трудом нашел того, кто его интересовал. Но как ни плохи были снимки, сомнений не было.

— Да, это он, — сказал Афонин.

Нестеров взял снимки из его рук.

— Здесь три группы моих партизан, — задумчиво сказал он. — Мало кто из них остался жив. Вот это взвод разведки, это диверсионная группа, а это автоматчики. Интересно, что Михайлов не принадлежал ни к одному из этих подразделений. Он был в стрелковом взводе. Но бойцы попросили его сняться вместе с ними. Это должно доказать вам, какой любовью пользовался Коля Михайлов во всем нашем отряде. И эта любовь была заслуженна.

— Только любовь?

— Почему вы так спросили?

— Любовью бойцов может пользоваться просто хороший парень.

— Нет. — Нестеров покачал головой. — Видно, что вы не были в партизанах. В партизанской жизни мало быть «хорошим парнем», как вы выразились. Этим не заслужишь любовь людей, ежедневно рискующих жизнью. Надо быть хорошим бойцом! А Михайлов был образец воина. Он пользовался не только любовью, но и уважением. И не только бойцов, а всех, в том числе и моим.

— Простите! — сказал Афонин, видя, что фраза, которую он произнес намеренно пропихно, произвела на бывшего командира отряда неприятное впечатление. — Я совсем не хотел обидеть память вашего товарища.

— Да, именно товарища. Теперь, когда Михайлов умер, я больше чем прежде чувствую, что он был товарищем, даже другом. А не просто одним из бойцов, которых много перебивало у меня за четыре года.

Афонин почувствовал, что пора переменить разговор.

— Мне остается выслушать вас... Простите, до сих пор не спросил вашего имени и отчества.

— Федор Степанович.

— Прошу вас, Федор Степанович, рассказать как можно больше. Малейшая подробность может пролить свет на это темное дело.

— Какое «темное дело»?

Афонин мысленно выругал самого себя. Ведь он всегда умел найти правильный тон с каждым, кого допрашивал или с кем вел беседу. Полковник Круглов, а раньше, до войны, областной прокурор неоднократно хвалили его за это умение. А вот сегодня ему положительно изменило следовательское чутье. В разговоре с Нестеровым он допустил вторую ошибку подряд.

— Я сказал «темное дело» потому, что причины смерти Михайлова покрыты мраком. Рассеять этот мрак — моя цель. И реабилитировать вашего покойного друга.

— Реабилитировать?

— Вы должны понимать, что самоубийство...

— Да, да! Я не подумал об этом. Было бы очень неприятно и несправедливо... Коля Михайлов был достоин любой награды. Больше, чем я!

Афонин достал блокнот и карандаш.

— Итак, слушаю вас! — сказал он.

Нестеров откинулся на спинку кресла. Он даже закрыл глаза, очевидно вспоминая пять месяцев, которые интересовали его гостя, пять месяцев, бывших в его памяти небольшим отрезком богатой событиями партизанской жизни отряда, которым он командовал.

— Михайлов появился у нас ранней осенью тысяча девятьсот сорок третьего года... — начал он.

Глава третья

1

— Много позже, — закончил Нестеров свой рассказ, — к нам попали два партизана из отряда Добронравова. От них мы узнали ошеломившую нас новость — Николай Михайлов жив! Он появился в их отряде примерно так же, как появился у нас. И воевал с такой же беззаветной смелостью. И так же, как мы, Добронравов представил его к той же награде, что меня несколько не удивляет.

— Это мне известно, — сказал Афонин. — Вы не знаете, где сейчас находится ваш бывший комиссар?

— Лозовой? Он жив. В одном из последних боев нашего отряда Александру Петровичу оторвало ступню. Нам удалось переправить его в медсанбат армейской дивизии, это и спасло ему жизнь. Сейчас он живет в Москве.

— Его адрес вам известен?

— Конечно. Мы часто встречаемся.

Афонин записал адрес и поднялся.

— Мне остается поблагодарить вас, Федор Степанович, — сказал он. — И извиниться за беспокойство.

— Мой рассказ прояснил что-нибудь?

— Очень мало, но спасибо и на том. В таком деле сведения приходится собирать по крохам. В сумме они могут кое-что дать. И помочь следствию.

— Сейчас вы, наверное, направитесь к Добронравову?

— Нет, сначала к Лозовому. Добронравов живет не в Москве. Он должен приехать сегодня вечером.

— Понимаю.

— И вот еще что, Федор Степанович. Прошу вас никому не сообщать о нашем разговоре. Если речь пойдет о Михайлове, а это обязательно случится, то скажите, что вы знаете о его смерти, но не говорите о самоубийстве. Я начинаю думать, что об этом не будет сообщено вообще.

Нестеров пристально взглянул на Афонина:

— Почему вы так думаете? Если это не секрет.

— Есть кое-какие соображения на этот счет.

— Значит, секрет. Ну что ж, вам виднее. Со своей стороны, обещаю молчать.

— Благодарю вас! Пока до свидания!

— Пока? Значит, вы думаете, что я могу понадобиться?

— Всё может случиться.

— Всегда к вашим услугам.

Сев в машину, Афонин попросил шофера снова ехать на Большую Полянку.

Надо предупредить Иванова о том, что необходимо молчать о самоубийстве Михайлова. А затем придется ехать в гостиницу «Москва» и постараться пресечь слухи.

Чутье оперативного работника подсказывало Афонину, что в деле Михайлова лучше сохранить в тайне обстоятельства его смерти.

Он не мог бы сказать, что именно в рассказе Нестерова насторожило его, но был уверен — что-то тут неладно.

Разбираться сейчас в своих подсознательных ощущениях Афонин и не пытался. Он знал, что ясность придет сама собой потом, когда мозг как бы переварит сообщенные ему сведения. Так бывало у Афонаина всегда.

Сделать всё возможное, чтобы сохранить тайну, — ближайшая задача. Ну а если впоследствии окажется, что он ошибся и хранить ее нет никакой необходимости, то ничего плохого от его действий произойти не может.

Иванова он застал дома и тотчас же получил его обещание молчать. При этом бывший комиссар не задал даже ни одного вопроса.

В гостинице Афонин с удовлетворением узнал, что фамилии самоубийцы никому не сообщали, да никто ею и не интересовался. Проинструктировав директора о том, как он должен поступать в дальнейшем, если появятся корреспонденты газет, Афонин ненадолго заехал в управление, пообедал, а в пять часов дня вошел в подъезд дома на бульваре Гоголя, где жил Лозовой.

Дверь открыла пожилая женщина, как выяснилось потом, — мать Лозового.

— Александра нет дома, — ответила она на вопрос Афонаина. — Немного не застали.

— Вы не можете сказать, когда он вернется?

— Думаю, что не скоро. Он ушел в гостиницу «Москва» повидаться с товарищем.

— А с кем именно, вы случайно не знаете?

— Знаю, с Николаем Михайловым. Воевали вместе. А вы, очевидно, тоже его фронтовой товарищ?

Афонин улыбнулся. Просто удивительно, как все, с кем бы он ни встречался, безошибочно угадывают в нем недавнего фронтовика.

— Нет, Александр Петрович меня не знает, — сказал он. — Я действительно фронтовик, вы угадали. И мне очень, просто до зарезу, нужен товарищ Лозовой. Давно он ушел?

— С полчасца.

— А больше он никуда не собирался пойти?

— Кажется, никуда.

— В таком случае разрешите мне подождать его. Я думаю, что он скоро вернется.

Женщина с удивлением взглянула на Афонаина.

— Пожалуйста, войдите! — сказала она. — Но я не думаю, чтобы он скоро вернулся. Фронтовые друзья...

— Видите ли в чем дело, — сказал Афонин. — Я точ-

но знаю, что Александр Петрович не застанет Михайлова.

— Вы у него были?

— Нет, но я знаю точно.

— Если так, то конечно. Вот сюда, пожалуйста!

Она провела гостя в чисто прибранную комнату и оставила его одного.

— Уж извините! — сказала она. — Но у меня обед на кухне...

— Не церемоньтесь со мной, — попросил Афонин.

Как он и предполагал, ожидать пришлось недолго. Лозовой явился через пятнадцать минут. Афонин слышал, как мать, открыв ему дверь, сказала о нем. Ответа он не расслышал.

Лозовой вошел в комнату быстрой походкой, высокий, по-военному подтянутый, не только не на костылях, как ожидал Афонин, но даже без палки. Видимо, протез был сделан хорошо, и Лозовой успел к нему привыкнуть. На вид ему было лет тридцать, может быть даже меньше. Молодое лицо старила глубокая морщина между бровями и седая прядь в густых каштановых волосах, зачесанных на косой пробор.

Афонин сразу понял, что его визит неприятен Лозовому. Было очевидно, что он сильно расстроен и не расположен беседовать с кем бы то ни было.

Первые же его слова подтвердили это.

— Простите меня... — начал он, но Афонин поспешно перебил его.

— Я всё понимаю, — сказал он. — Вас расстроило известие о смерти вашего друга. Но я явился к вам как раз по этому самому поводу.

— Кто вы такой?

Афонин протянул свое служебное удостоверение.

Брови Лозового сдвинулись, и складка между ними стала еще глубже.

— Мне сказали в гостинице, что Николай Михайлов скоропостижно скончался.

— Вам сказали правду.

— Тогда при чем здесь вы?

— Мне нужно, даже необходимо поговорить с вами. Если разрешите, сядем вот тут.

— Ах да, конечно! Извините меня. Я совсем забыл о том, что вы стоите.

— Ничего! Мне это понятно,

Когда оба сели, Лозовой нервным движением потер лоб.

Афонин вспомнил, что об этом жесте упоминал в своем рассказе Нестеров. Видимо, это была постоянная привычка Лозового.

— Вчера вечером, — сказал он, — Николай позвонил мне, сообщил о своем приезде в Москву и просил зайти. Мы договорились встретиться сегодня около пяти.

— В котором часу он вам звонил?

— В начале двенадцатого.

— Каким тоном он говорил с вами?

— Не понимаю вашего вопроса. Самым обыкновенным.

— Его просьба о свидании не звучала так, что ему необходимо видеть вас как можно скорее?

— Нисколько! Я же сказал, что мы договорились встретиться в пять часов.

— Он согласился на это охотно?

— Даже предложил сам. Я звал его к себе с утра, но он сказал, что раньше пяти не сможет освободиться.

— Почему же вы пошли к нему, а не он к вам?

— Право, не знаю, так вышло.

— Это очень важно, то, что вы рассказали!

— Почему важно?

— Это доказывает, что Михайлов вчера вечером не думал о смерти. Не удивляйтесь моим словам. Через несколько минут вы поймете всё. Вам сказали, от чего он умер?

— Ничего не сказали. Даже в какую больницу отправлено тело, они не знают. Возмутительное равнодушие! Я откровенно высказал директору гостиницы всё, что о нем думаю.

— Напрасно! Администрация гостиницы выполняет нашу просьбу. Я сам просил их никому ничего не сообщать. Так что дело не в равнодушии. Должен вас предупредить, Александр Петрович, что наш разговор не подлежит оглашению. Вы дадите мне слово.

— Да, конечно, — явно машинально сказал Лозовой. Он посмотрел на Афонина, и только тогда до него, видимо, дошел смысл слов гостя. Недоумение, растерянность, любопытство — всё сразу отразилось на его лице. — Но почему? Разве смерть Николая Михайлова тайна?

— Пока да. Нас никто не может услышать?

— Никто. В квартире никого нет, кроме нас и моей матери. Она на кухне, это далеко.

— Тогда слушайте.

Афонин подробно рассказал бывшему комиссару обо всем, что случилось утром в номере гостиницы «Москва». О своем визите к Иванову и Нестерову он не заикнулся.

Лозовой долго, очень долго молчал. Казалось, он, как и Нестеров, погрузился в воспоминания, забыв о госте. Афонин подумал, что отношение к Михайлову обоих этих людей одно и то же, что явствовало и из рассказа Нестерова.

— Странное дело! — сказал наконец Лозовой. — Но мне кажется, что такой конец логичен. Вас, конечно, удивляют мои слова, вы ничего не знаете, но это так...

Афонин ничего не сказал. Он знал достаточно, чтобы понять мысль Лозового, но хотел услышать от него рассказ о Михайлове еще раз. В изложении двух людей одни и те же события могут быть различно окрашены. Сопоставление этих рассказов может кое-что дать.

— Я понимаю теперь, — продолжал Лозовой, — цель вашего прихода ко мне. И готов рассказать всё, что знаю о Николае Михайлове.

— Я вас слушаю, — сказал Афонин.

Еще из рассказа Нестерова капитан составил себе ясное представление о характере Лозового. Теперь, даже после столь короткого знакомства, он был совершенно уверен — с таким человеком не нужны наводящие вопросы, Лозовой расскажет всё сам и именно так, как это нужно Афонину. Школа политработы на войне не проходит для человека даром, она оставляет след в характере на всю жизнь.

Афонин почти не ошибся. Почти, потому что самый рассказ Лозового о появлении в их отряде Михайлова, о его поведении и о предполагаемой гибели ничем не отличался по существу от рассказа Нестерова. Но бывший командир отряда на этом и закончил, а Лозовой, как и надеялся Афонин, перешел к своим выводам, что было для капитана самым интересным.

— С самого начала, — говорил он, — я был уверен, что в жизни Николая есть какая-то тайна. И ясно было, что эта тайна относится не к довоенному времени, а к его боевой жизни. В то, что он действительно забыл о своем пребывании в партизанском отряде до того, как попал в плен, я не верил, хотя и должен был признать,

что это возможно, учитывая контузию. И так же было ясно, что именно там, в том партизанском отряде, зародилась эта тайна. Не желая ее раскрывать, или потому что он не мог ее открыть, Михайлов был вынужден притворяться, что всё забыл. И эта же тайна заставляла его кидаться навстречу смерти. То, что он остался жив до конца войны, — не его «вина». Михайлов делал всё, чтобы быть убитым в бою. Именно в бою. Покончить с собой он мог в любую минуту. Мне кажется, что вам надо обратить особое внимание на это обстоятельство.

Афонин кивнул. Он не хотел прерывать мысли Лозовой своими репликами. Пусть говорит всё, что думает. Слабые места в его рассуждениях капитан отмечал про себя.

— Я много думал о тайне Михайлова, — продолжал Лозовой, — особенно после его «смерти». И чем больше я думал, тем больше крепло во мне убеждение, что он... — Лозовой, словно споткнувшись на этом слове, тревожно посмотрел на Афонина. — Я еще раз заявляю вам, что наградной лист на Михайлова я подписал, придя к окончательному выводу. Я считал и считаю, что Николай Михайлов заслужил награду.

— Полностью с вами согласен, — сказал Афонин.

— Как много советских людей проявили малодушие в начале войны, и как много из них последующей жизнью заслужили полное прощение. Так что же могло произойти с Михайловым? — круто вернулся Лозовой к прежней теме. — Он попал в плен... Право, мне очень неприятно говорить вам про всё это, — к досаде Афонина, которую он, впрочем, ничем не показал, Лозовой снова свернул в сторону, — но вы должны знать всё. Иначе вы никогда не установите причину смерти Михайлова... Я думаю, он попал в лапы гестапо и не выдержал. Согласился сотрудничать, спасая этим свою жизнь. Но он не намеревался действительно служить гестапо. Его мучили угрызения совести. Этим объясняются его дальнейшее поведение и поиски смерти. И вот, оставшись чудом жив, узнав о высокой награде, он кончает самоубийством, не прощая себе проявленного малодушия и считая себя недостойным награды. Мне кажется, было так.

Лозовой замолчал, всё с тем же выражением тревоги на лице глядя на Афонина. Капитану было ясно: его собеседник искренне верит в правильность своей догадки и боится, что следственный работник может с ним не со-

гласиться. Вероятно, Лозового даже оскорбляет мысль, что к его фронтовому товарищу, которого он любил и уважал, могут отнестись не так, как относится он сам.

Когда несколько минут назад Афонин согласился с мнением Лозового, он говорил не совсем то, что думал, не хотелось спорить. Ему было важно узнать мысли Лозового, а свое мнение он не считал нужным высказывать. Его выводы из двойного рассказа о Михайлове были почти противоположны выводам бывшего комиссара.

— Если позволите, я задам вам несколько вопросов, — сказал он. — Но сперва я должен заметить, что вы напрасно стараетесь реабилитировать Михайлова в моих глазах. Поверьте, в этом нет никакой нужды. Я, так же как и вы, вполне убежден, что он был безусловно достоин... награды.

Лозовой не заметил легкой заминки перед словом «награда», тревога в его глазах исчезла.

— Первый вопрос. Чем вы руководствовались, когда противились расстрелу Михайлова в день его появления в вашем отряде? Тем более, что, по вашим же словам, вы не поверили тому, что он действительно всё забыл.

— В тот день, — ответил Лозовой, — вернее, на второй день, я не был уверен, что он помнит. Это пришло потом. А во-вторых, было совершенно очевидно, что Михайлов не агент гестапо, или, судя по его дальнейшему поведению, не намерен быть агентом. Слишком нелепо для гестаповца он себя вел. Я же говорил уже об этом, — немного удивленно сказал Лозовой.

Вопрос действительно мог показаться страшным, но Афонин не хотел объяснять, чем он вызван, — это не входило в его планы. Поэтому он притворился, что не заметил удивления своего собеседника (пусть думает, что хочет), и задал второй вопрос:

— Михайлов бежал из лагеря для военнопленных с тремя товарищами. Я понял из вашего рассказа, что этот факт сначала вызвал у вас сомнения, но потом они отпали. Так вот, пытались ли вы узнать у него фамилии тех трех? И что вы думаете об этой детали сейчас?

— Да, пытался. Но он назвал только имена. Фамилий он не помнил, или никогда не знал. Не знал, конечно, потому что не бежал из лагеря, в котором никогда не был.

— Почему вы отказались от мысли, что он мог где-нибудь по пути получить чистую одежду?

— Потому что он сам как-то, месяца через три после прихода к нам, рассказал, что, идя на восток, не заходил никуда, прячась от людей.

— И вы оставили этот факт без внимания?

— К тому моменту у меня сложилось о нем твердое мнение. Если бы это выяснилось раньше — другое дело, а тогда я считал, что такая мелкая деталь не меняет общей картины. Я уже вполне был уверен, где он был.

— А где, по-вашему?

— Служил в полициях. И находился как раз в том селе, на которое мы совершили налет в то утро. Это и объясняет — как он оказался в бою вместе с нами.

— Совершенно верно! — вырвалось у Афонина.

Но он тут же постарался замаскировать свой промах. В намерения капитана совсем не входило выдавать Лозовому свое согласие с его выводами. А это неизбежно случилось бы, обрати тот внимание на эти слова и начини расспрашивать Афонина. Поэтому он поспешил пояснить их сам:

— То есть, мне кажется, что это верно. Иначе трудно объяснить появление Михайлова в ваших рядах. Вы сами говорили, что присоединиться к отряду до нападения на опорный пункт он не мог.

— Никак не мог. В конце войны у нас было несколько бывших полицейев. И, как правило, они воевали, не щадя себя. Но Михайлов воевал *геройски!*

Лозовой так нажал на последнее слово, что Афонин понял: тревога за репутацию Михайлова еще не совсем покинула его.

«Велика сила боевой дружбы», — подумал Афонин.

Всё же он не удержался от реплики:

— Как бы хорошо ни воевал бывший полицей, мне кажется, что награда, к которой вы его представили, чрезмерно велика.

Он сказал это потому, что хотел выяснить до конца предположения Лозового.

Лозовой ответил так, как и ожидал Афонин:

— Мы с Нестеровым считали, что Михайлов только числился в полициях. Допускали возможность, что он оказался в этом селе только потому, что отсюда гестапо намеревалось перебросить его к нам в качестве своего агента. Никаких преступлений против нашего народа Михайлов не совершил. Согласился только затем, чтобы скорее и любым путем попасть к нам. Мы были уверены,

что его не в чем обвинить. И исходили из того, как он воевал у нас. И то, что мы были правы, доказывает факт представления его к той же награде в отряде Добронравова.

— Это логично, — согласился Афонин. — Еще один, последний вопрос. Что вы подумали, когда узнали, что Михайлов жив и находится в отряде Добронравова?

— У нас, — ответил Лозовой, — Михайлова называли везучим. Я подумал тогда то же, что думали и другие: снова ему повезло. Я никогда не поверю, что он мог оказаться вторично в плену по своей воле.

— Я тоже так думаю, — на этот раз вполне искренне сказал Афонин. — Ну что же, Александр Петрович, спасибо за сведения. Я доложу начальству вашу точку зрения. Думаю, что с ней согласятся.

— А вы сами разве сомневаетесь?

Афонин решил покривить душой.

— Нет, не сомневаюсь, — сказал он. — Я считаю, что вы правильно разгадали причину смерти Михайлова. Но мое мнение не решающее. Я человек маленький.

Провожая своего гостя, Лозовой осведомился, когда состоятся похороны.

— Пока не знаю, — ответил Афонин. — Надо еще выяснить, есть ли у Михайлова родственники в Свердловске.

— Нет, — сказал Лозовой. — Николай несколько раз говорил, что он один на свете.

— Он мог жениться после войны.

— Думаю, что я знал бы об этом.

— Вы с ним переписывались?

— Он знал мой адрес. И одно письмо я от него получил.

— Это письмо вы сохранили? — с живостью спросил Афонин.

— Да, и могу вам его отдать. Но в нем нет ничего интересного для вас. Уверен.

— Не потеряйте его. Возможно, что оно еще пригодится.

По дороге в управление Афонин думал: «Лозовой скоро встретится с Нестеровым, а возможно, и с Ивановым. Разговор у них, безусловно, коснется смерти Михайлова. Лозовой узнает, что я был у них до него. Вряд ли они скроют это от Лозового. Им и в голову не придет, что моя просьба молчать может относиться и к нему.

И сам Лозовский расскажет по той же причине. Нет, именно он, наверное, промолчит. Но не это важно. Главное то, что Лозовой выложит им свою версию»,

2

Полковник Круглов любил свет. Зимой, к концу рабочего дня, и в летнее время, если ему приходилось задерживаться в управлении допоздна, его кабинет был ярко освещен.

Так было и сейчас. Когда Афонин вошел, горела большая люстра и настольная лампа под светлым, почти прозрачным абажуром.

«Хоть киносъемку производи», — поморщился капитан. В отличие от своего начальника он предпочитал мягкое и несильное освещение.

— Заждался тебя! — сказал Круглов, увидя в дверях Афонина. — Думал уж домой уезжать. Садись, Олег Григорьевич, устал наверное. И рассказывай.

— Я мог бы заехать к вам домой, Дмитрий Иванович, — заметил Афонин, поняв, что начальник задержался на работе только из-за него.

Круглов снял очки и принялся протирать стекла.

— Добился чего-нибудь? — спросил он.

— Очень немногого. Появился небольшой просвет, но туман легко может сгуститься еще плотнее.

— Утешил! — Круглов надел очки. Это означало, что с посторонними разговорами покончено и наступает деловая часть беседы. — Недавно звонили из Свердловска. В комнате Михайлова не оказалось ни паспорта, ни фотографий. Ни документов, ни записок — ничего!

— Прекрасно!

— Что же тут прекрасного?

— Разрешите ответить на этот вопрос несколько позднее, — попросил Афонин. — Это очень важный факт и расширяет тот просвет, о котором я говорил.

— Прибавив при этом, что туман может сгуститься еще больше, — усмехнулся полковник. — Ну, ну! Давай рассказывай!

Слово «рассказывай» всегда заменяло у Круглова «докладывай», хотя он требовал от своих помощников не рассказа, а именно доклада. Афонин пришел в управление сравнительно недавно, но уже хорошо это знал,

— Разрешите вопрос?

— Да.

— Михайлов жил один?

— Один. Ключи он увез с собой. Дверь и ящики стола пришлось открывать, взламывая замки,

— Взламывая?!

— Так мне сказали товарищи из Свердловска. Возможно, они имели в виду «вскрывая».

— Ни в вещах, ни в карманах Михайлова ключей не было, — сказал Афонин, мысленно прикидывая, насколько этот новый факт укладывается в составленную им для себя версию.

— Знаю, что не было. Начинай! — приказал полковник совсем другим тоном.

Афонин обладал хорошей памятью. Не заглядывая в блокнот, он сжато, но с необходимыми подробностями пересказал начальнику всё, что слышал от Нестерова и Лозового, не пропустив и версии последнего.

На версию полковник реагировал одним словом:

— Нелогично.

— Я сразу обратил на это внимание, — сказал Афонин.

Он замолчал, выжидательно глядя на начальника, не зная, нужно ли продолжать.

— Давай дальше! — сказал Круглов. — Выкладывай теперь свою версию, гипотезу, предположения — в общем, всё, что у тебя в голове. А я буду отмечать нелогичности у тебя. Говори так, как если бы я ничего не знал. Согласен?

— Конечно, товарищ полковник!

Афонин не сумел скрыть одобрительной улыбки. Такой метод был самым плодотворным и быстрее всего мог привести к цели. Впрочем, это было не ново, в управлении часто прибегали к такому способу обсуждения при расследовании уголовных дел, которые нередко бывали еще более запутанными, чем дело Михайлова.

— Ни Лозовой, ни Нестеров не обратили внимания на два очень важных факта, — начал Афонин. — Третьего они не знали, но его знаем теперь мы. Этот третий факт, не менее важный, чем два других, заключается в том, что Михайлов не хранил никаких фотографий, никаких писем, вообще никаких бумаг. Те, что у него были, он уничтожил перед смертью. Обычно люди так не поступают. На это должны быть серьезные причины. Можно было бы

подумать, что и паспорт им уничтожен. Но это не так. Отсутствие паспорта ничего не значащая деталь. Уничтожать его Михайлову не было никакого смысла. Он просто потерял его в дороге, вместе с ключами, которые не мог выбросить, так как о самоубийстве не думал, а намеревался, получив награду, вернуться в Свердловск. Паспорт обязательно найдется...

— Пока еще не нашелся, — вставил Круглов.

Эта реплика сразу показала Афонину, что в своих умозаключениях полковник шел с ним параллельным путем, хотя до приезда Афонина и не знал того, что рассказывали Нестеров и Лозовой. Было очевидно, что Круглов давно отдал приказ искать потерянный документ по линии Свердловск — Москва.

— Фотографии на паспортах, как правило, очень плохи, — продолжал Афонин. — Таким образом, у нас нет ни одной хорошей фотографии Михайлова. Это не может быть случайностью.

— Пока не вижу основания для такого заключения, — сказал Круглов. — Михайлов пришел с войны недавно. То, что у него было до войны, могло пропасть, а новым он не обзавелся. Из Свердловска сообщили, что в его комнате вообще почти нет никаких вещей, она имеет вид случайного жилья. По словам Лозового, у Михайлова нет родственников, потому и нет писем. Многие люди не хранят разные бумажки, а уничтожают их. Паспорт, как ты сам говоришь, потерян. Вот всё и становится на место. Продолжай! погоди! А те фотографии, которые ты видел у Нестерова?

— Совершенно непригодны для опознания. Они очень плохого качества. Только потому, что Нестеров сказал, что на них изображен Михайлов, я и смог узнать его. Но с равным основанием можно сказать, что там снят не он, а похожий на него человек.

— Так! Теперь продолжай!

— Перехожу к двум другим фактам. Лозовой, да, видимо, и Нестеров, хотя он и не говорил об этом, считают, что Михайлов намеренно скрыл от них свою тайну, заключавшуюся в том, что он малодушно изменил родине и согласился служить немцам. Отбросим вопрос о искренности его согласия, о том, имел ли он намерение действительно служить им или хотел только получить возможность перебежать к партизанам. Не будем придирааться к тому, что гестаповцы не столь наивны, чтобы поверить

на слово. Допустим, что Михайлову удалось обвести их вокруг пальца. Примем как факт, что план его удался и он достиг своей цели. Михайлов у партизан. Что же дальше? Во время войны мне много раз приходилось допрашивать перебежчиков, в том числе полицейев. И я не помню ни одного случая, чтобы раскаявшийся предатель пытался скрыть правду. Наоборот, они рассказывали всё, не щадя себя, и это вполне естественно и единственно правильно. Тем более не было смысла скрывать правду Михайлову, когда прошло время и его боевая жизнь заслужила всеобщее уважение в отряде. Я уже не говорю о том, что в самом начале скрытность угрожала ему почти неминуемым расстрелом. Чистая случайность, что он попал к такому комиссару, как Лозовой. А когда тот же Лозовой вторично заговорил с ним о его прошлом, Михайлов должен был полностью открыться. Иначе он просто не мог поступить. Однако мы видим, что он продолжает ту же линию, снова заявляет, что ничего не помнит. Такое упорство можно было бы объяснить тем, что преступление Михайлова настолько тяжко, что рассчитывать на прощение он не мог, несмотря на всё его героичество. Но тут возникает противоречие. Тяжкую измену совершают исключительно трусы, люди, для которых собственная шкура дороже всего. Трусам же не свойственно искать смерти, как это делал Михайлов, и уж, конечно, трус не покончил бы с собой, когда высокая награда начисто перечеркнула все его грехи. Одно с другим не вяжется, — это очевидно.

— Давай второй факт! — Брови полковника сошлись в одну линию, лицо было хмуро, а огромные за стеклами очков глаза возбужденно блестели.

— Второй факт еще резче бросается в глаза, и просто непонятно, как мог Нестеров, опытный партизанский командир, не обратить на него внимания. Когда Михайлов остался прикрывать отход отряда, у него был пулемет и семь гранат, из которых он использовал шесть. Как использовал? Судя по внешним признакам (при этих словах Круглов пристально посмотрел на Афонина сузившимися в щелку глазами), он использовал их, когда каратели подбирались к нему слишком близко. Пулемет также должен был нанести им значительный урон. Командир карателей, по словам Нестерова, — снова оговорился Афонин, — намеревался преследовать отряд с целью полного его уничтожения. Он должен был торо-

питься, так как приближалась ночь. И, несмотря на всё это, немцы даже не пытались покончить с *одним* человеком артиллерийским снарядом или миной. У них была артиллерия и были минометы, но, отходя, Нестеров не слышал ни одного выстрела из орудия или миномета. Окончились снаряды и мины? Маловероятно! А если прибавить к этому, что Михайлов оказался жив, то остается один вывод — фашисты стремились во что бы то ни стало захватить его живым, что им и удалось в конце концов. К нему сумели подобраться и схватить раньше, чем он успел воспользоваться седьмой, последней гранатой. Так рисуется картина этого боя из рассказов Нестерова и Лозового.

— А по-твоему?

— Мне трудно в это поверить. Зачем было нести лишние потери ради захвата одного человека? Что он мог им дать, если по числу убитых, оставшихся на месте боя, они видели, что отряд почти целиком уничтожен? Какие ценные сведения они могли получить от Михайлова? Игра явно не стоила свеч. Не дураки же они в конце концов! К тому же Михайлову удалось вторично бежать из плена. Это уже вовсе странно. Не в обычае фашистов оставлять в живых партизана, нанесшего им тяжелые потери и попавшего в их руки.

— Когда он попал в плен в первый раз, они его также пощадили, — заметил Круглов.

— Да. А мы знаем, что партизан, как правило, вешали.

— Дальше!

— Видимо, именно Михайлов был почему-то очень им нужен. По известным нам фактам можно заключить, что командир карателей узнал, *кто* остался прикрывать отход отряда...

— Например, рассмотрел его в бинокль.

— Возможно и это.

— А что еще?

— Не знаю. Так или иначе Михайлова узнали и опять-таки почему-то должны были схватить живым. Командир карателей от кого-то получил такой приказ. И выполнял его, не считаясь с потерями.

— Что же дальше?

Чуть насмешливая улыбка полковника показала Афонину, что его ответ уже не нужен. Но он счел себя обязанным ответить, раз начальник спрашивает:

— Дальше, если мы хотим сами быть логичными, возможен единственный вывод. Всё это настолько неправдоподобно, что не может быть правдой.

— Кто же лжет?

— Конечно, не Нестеров и не Лозовой.

— Ты считаешь их обоих неспособными к логическим выводам?

— Отнюдь нет. Но со стороны всегда виднее. Оба говорили мне, что весь отряд «влюбился» в Михайлова. И они сами были «влюблены» в него. Вот поэтому-то они и не заметили очевидных неувязок.

— Несмотря на то что многие факты, в их же изложении, говорят не в пользу Михайлова?

— Да, несмотря на это. Только бывший педагог и секретарь райкома комсомола (им был до войны Лозовой), люди глубоко гражданские, могли так легко поверить, что немцы не сумели в течение почти тридцати минут справиться с одним человеком при наличии у них минометов и артиллерии.

— А как же с двумя другими случаями, когда Михайлов оставался прикрывать отход и успешно справлялся с задачей?

— К сожалению, я не догадался спросить, сколько времени выполнял он эти задачи.

— Значит, инсценировка, так я тебя понял?

— Выходит, так.

Полковник с минуту размышлял.

— По существу мне возразить нечего, — сказал он. — Хотя твоя версия кажется мне ошибочной. Я не буду напоминать о том, что Михайлов искал смерти. Ты это и сам хорошо помнишь. Но твое восклицание в самом начале нашего разговора «прекрасно!», видимо, следует понимать так, что дальнейшее следствие надо передать в Госбезопасность?

— Да!

— А к чему оно, если Михайлов мертв? — На этот раз полковник посмотрел на Афонина, не скрывая насмешки. — Не является ли эта весьма остроумная версия результатом твоего стремления избавиться от этого дела?

Афонина передернуло. Круглов не подал вида, что заметил.

— Я прекрасно понимаю, что мое предположение, — Афонин не сказал «версия», — шатко и можно найти

веские возражения. Но иначе я не могу объяснить историю боя Михайлова с батальоном карателей.

— На мой вопрос ты не ответил, — констатировал Круглов. — Госбезопасность откажется от расследования, раз объект мертв.

— Если он мертв, — как бы поправил полковника Афонин.

— То есть как это «если»? Нестеров узнал Михайлова по фотографии.

— Фотография, снятая с мертвого... Похожие люди встречаются более часто, чем принято думать.

— Ты это серьезно, Олег Григорьевич?

— За это говорят факты, — уклончиво ответил капитан.

— Отсутствие фотографий и бумаг?

— Именно.

— *Кто был человек, застрелившийся в гостинице?*

Афонин молча пожал плечами.

В кабинете снова наступило молчание. На этот раз оно было продолжительным.

Полковник Круглов задумался, явно ошеломленный неожиданным поворотом дела. Афонин тоже думал — о том, что построенное им здание предположений и догадок воздвигнуто на песке. Один толчок — и всё рухнет, как картонный домик. А таким толчком станет всё тот же неопровержимый довод — поведение Михайлова в партизанских боях, с очевидностью доказывающее ненависть к оккупантам, безумную смелость и полное пренебрежение к собственной жизни. Никакой вражеский агент не мог вести себя подобным образом, тем более агент, ценный для немцев. Это ни с чем несообразно. А ведь это было так. Особенности характера и мышления Лозового немцы знать никак не могли. Психологический трюк? Как будто единственное объяснение. Но такой трюк чрезмерно рискован и, как сказал Круглову сам же Афонин, только случайно увенчался успехом, на что гестапо не могло рассчитывать. А с другой стороны, всё, буквально всё говорит за связь Михайлова с немцами. Вот и разберись в этой путанице.

Афонину казалось, что выдвинутая им версия единственно возможная, чтобы как-то объяснить все эти противоречия. Но и тут было одно, весьма существенное «но», ускользнувшее пока что от внимания полковника Круглова. Это «но» заключалось в телефонном звонке

Михайлова Лозовому. Как бы ни был человек, приехавший в Москву под именем Михайлова, похож на него, он не мог надеяться обмануть Лозового, который, конечно, хорошо помнил настоящего Михайлова. Возможно, конечно, что звонок был только уловкой, а на самом деле этот человек и не думал встречаться с Лозовым лицом к лицу. Всё это так, но версия всё же не могла объяснить главного — поведения Михайлова в отряде. Этот пункт по-прежнему оставался загадочным.

Полковник неожиданно хлопнул ладонью по столу. Афонин вздрогнул.

— Вот так! — сказал Круглов. — Согласен я с тобой, Олег Григорьевич, или не согласен, твое предположение нельзя оставить без внимания. Мы свяжемся с Госбезопасностью и проконсультируемся с ними. Если это верно и человек, приехавший под именем Михайлова, был убит, чтобы обеспечить настоящему Михайлову свободу действий, то это дело перейдет к ним. Но нам надо сделать всё, что в наших силах, в частности доказать факт убийства, а не самоубийства. Зайди в наш научно-технический отдел. Они сами, кстати, просили прислать тебя к ним. Нужен отпечаток твоего сапога.

— Это зачем?

— А затем, что ты не выполнил моего приказа как следует. Не осмотрел пол в номере гостиницы. (Афонин вспыхнул, только сейчас вспомнив, что имел такое намерение, но почему-то забыл о нем. «Непростительно!» — подумал он.) Мы сделали это за тебя, — продолжал Круглов. — Обнаружены свежие следы шести человек. Четыре установлены: это сам Михайлов, наш врач, лейтенант Петровский, бывший там с тобой, и директор гостиницы. Нужно разобраться в оставшихся двух. Когда вошел шестой человек? До вас или после?

— Я сейчас же зайду, — порывисто поднялся Афонин. — Сам не понимаю, как это могло со мной случиться.

— Куда зайдешь? — полковник говорил добродушно, видимо не сердясь на Афонина. — Посмотри на часы. Вижу, что тебя вышибло из седла это дело. Садись! Твоя задача: завтра утром посетить Добронравова. Узнай у него: первое — при каких обстоятельствах Михайлов появился у него в отряде, в каком виде он был, что говорил о бегстве из плена. Второе — за что Добронравов представил его к награде. Только как можно подробнее.

И ему тоже покажи фотографию. Но не говори сам, кто изображен на снимке.

— Я не говорил об этом и Нестерову.

— Сказал. Не прямо, а косвенно. Ты приехал к нему по делу Михайлова, и Нестеров это знал. На него могло невольно повлиять это обстоятельство. Просто покажи Добронравову фотографию раньше, чем скажешь, зачем приехал.

— Понимаю! Но как бы Добронравов не узнал от Нестерова или Лозового о моем с ними разговоре. Тогда он сразу догадается, зачем я приехал.

— Как он может это узнать? Добронравов приехал сегодня вечерним поездом.

— Михайлов тоже вечерним, но это не помешало ему позвонить Лозовому в половине двенадцатого.

— Михайлов одно, Добронравов — другое. У них были разные отношения с Лозовым и Нестеровым. Но поскольку сейчас уже без десяти двенадцать, можно надеяться, что Добронравов звонить не будет. Тебе надо явиться к нему как можно раньше.

Афонин позволил себе пошутить. Он чувствовал большую неловкость от своего промаха в гостинице и хотел проверить — гневается на него полковник Круглов или нет.

— Я буду стоять на часах у его двери, пока он не проснется.

— Именно так! — отрезал Круглов. — Сам заварил кашу, сам и расхлебывай.

— Слушаюсь!

— Записывай адрес!

По дороге домой Афонин нещадно ругал себя за эту историю с полом. Как мог он столь постыдно забыть о нем? Видимо, он устал за последнее время, или сказывалось более глубокое утомление военных лет. Полковник очень недоволен — это ясно.

«Попрошусь в отпуск, — решил капитан. — Конечно, после того, как закончу дело. Кажется, он не отстранит меня от него. Сказал ведь: «Сам заварил, сам и расхлебывай». Итак, кто шестой мог быть у Михайлова в номере? Уходя, я сам запер дверь и просил директора никого не пускать. Значит, этот человек был у Михайлова до нашего прихода. Кто?»

Что-то шевельнулось в глубине сознания, и Афонин с удивлением понял, что думает о человеке, казалось бы,

окончательно вычеркнутом из числа причастных к делу Михайлова лиц.

Со знакомой настойчивостью внутренний голос шептал, как утром: «Иванов!.. Иванов!.. Иванов!..»

— Это уже форменные глупости! — неожиданно для себя вслух с сердцем сказал Афонин.

8

На следующее утро полковник Круглов приехал в управление раньше обычного. В приемной еще никого не было. Забрав у секретаря сводку происшествий и папку со срочными документами, он прошел в свой кабинет, бросив на ходу:

— Меня еще нет. Переключите на себя все телефоны. К капитану Афонину это не относится.

— Слушаюсь! — ответил секретарь, несколько не удивляясь. Он давно знал Круглова и привык понимать мысли начальника даже тогда, когда он высказывал их не совсем ясно.

Утро выдалось пасмурное. Моросил дождь, и небо было затянуто густыми тучами. Погода вполне подходила к дурному настроению начальника МУРа.

Круглов задернул на окнах темные портьеры, зажег все лампы и уселся в стороне от письменного стола на обитый коричневой кожей диван.

Своего кабинета полковник не любил и был убежден, что принятый повсеместно стиль служебных кабинетов не располагает к сосредоточенному размышлению.

Место, где стоял диван и круглый столик, казалось Круглову единственным, где можно было думать по-настоящему. Но он никогда не сидел здесь, если в кабинете находился кто-нибудь из его подчиненных.

Пробежав глазами сводку происшествий и убедившись, что за прошедшую ночь не произошло ничего серьезного, полковник открыл папку. Несколько писем он отложил в сторону (это успеется!) и взялся за плотный конверт со штемпелем Свердловска, присланный авиапочтой. В нем должны были находиться материалы по единственному делу, занимавшему все его мысли, — делу Михайлова.

В пакете оказалось только три бумаги. Внимательно прочитав их, полковник задумался.

Вчерашний разговор с капитаном Афониним и неожиданный конец этого разговора сильно обеспокоили Круглова. И вот теперь то, что он прочел, еще больше запутывало дело.

Ошеломившая его версия (полковник не мог не признать, что она оказалась совершенно неожиданной для него) не была высказана подробно, но и так всё достаточно ясно. Афонин предполагает, что Михайлов, или кто бы там ни скрывался под этой фамилией, — высококвалифицированный и очень опасный агент фашистской (теперь Геленовской) разведки. И если вместо него приехал в Москву и застрелился другой человек, то это может означать только одно — настоящий Михайлов заинтересован в том, чтобы его считали умершим...

На плечи Круглова ложилась большая ответственность.

Сбросить ее, передать дело в иную инстанцию... Мысль полковника упиралась в глухую стену. Чем и как объяснить поведение Михайлова в тылу врага? Без правдоподобного ответа на этот вопрос все предположения Афонина — мыльный пузырь. В том, что Михайлов искал смерти в бою, — сомневаться нельзя. Не могли же в конце концов все немецкие солдаты, с которыми имели дело партизаны Нестерова, а потом Добронравова, знать Михайлова в лицо и намеренно не стрелять в него. Это совершенно невероятно!

Единственный случай, когда инсценировка боя выглядела очень вероятной, — это последний бой Михайлова в отряде Нестерова. Но и тут многое оставалось трудно объяснимым.

Когда же произошла замена Михайлова, которого знали Нестеров и Лозовой, другим, похожим на него человеком? Был ли в отряде Добронравова первый Михайлов или уже второй? А может быть, замена произошла в Свердловске или незадолго до приезда туда человека по фамилии Михайлов?

Сведения, только что полученные Кругловым, как будто подтверждали эту возможность. Михайлов жил в Свердловске один, ни с кем близко не сходиллся, редко появлялся на глаза соседям. Всё это хорошо сходится.

«А как же быть с письмом Михайлова к Лозовому?» — подумал полковник.

Но и здесь легко было найти объяснение. Письмо могло быть написано первым Михайловым, или даже вто-

рым, если Лозовой не знал почерка своего партизана. А это вполне возможно. В то же время письмо и телефонный звонок Михайлова к Лозовому (Афонин ошибался, думая, что Круглов не обратил на это внимания) были хорошей маскировкой. И то и другое могло, по мысли «Михайловых», послужить доказательством, что застрелился именно тот, кого знали в партизанских отрядах.

Нельзя было проходить без внимания и мимо того факта, что приехавший в Москву человек должен был явиться в Кремль для получения награды и, следовательно, встретиться там с Нестеровым, Лозовым и Добролюбовым. А поскольку это было невозможно для фальшивого Михайлова, то, значит, самоубийство было запланировано заранее. Как же тогда согласовать это с тем, что застрелившийся человек по всем признакам был очень спокоен в то утро и, по предположению Афонина, с которым Круглов был вполне согласен, не думал о близкой смерти? Странно!

А само самоубийство? Легко сказать — кто-то застрелился вместо Михайлова! Подобных случаев самопожертвования история разведки еще не знает. Правда, всё происходит в согласии, если допустить факт убийства, неожиданного для второго Михайлова. Запертая изнутри дверь ни о чем не говорит. Есть много способов проделать такой трюк. Афонину не могла прийти подобная мысль, самоубийство выглядело несомненным, и он не обследовал замок двери.

Существовали веские возражения против этой версии. Но их можно обойти. Каким образом пистолет оказался накрепко зажатым в руке трупа? Как ни вкладывай, мертвая рука его не зажмет. Афонин говорил, что он вынул пистолет с трудом. На это можно ответить, что Михайлов был убит из другого пистолета. Почему же в его руке было оружие? Потому, что он пытался защищаться.

Натяжка? Конечно натяжка, но всё же объяснение.

Второе возражение более серьезно, и его объяснить очень трудно. Выстрел услышала дежурная по этажу. Ее служебное место недалеко от двери номера Михайлова. Она немедленно позвонила директору, но своего места не покидала. И должна была видеть человека, вышедшего из номера после выстрела. Тем более, что он какое-то время возился с замком, запирая дверь «изнутри». Но

женщина утверждает, что никого не видела. Это решающее доказательство в пользу самоубийства. Но можно предположить, что дежурная лжет, говоря, что не уходила. Ложь может быть вызвана боязнью, что ее обвинят в преступной халатности. При таких обстоятельствах покидать свое место до прихода директора она не имела права, тем более что директор сказал ей: «Никуда не уходите!» Не верить и директору нет оснований.

Да, запутано!

Он снова взял одну из бумаг, присланных из Свердловска, и прочел ее во второй раз.

Странно, более чем странно!

Полковник встал и подошел к своему столу. Но тут же вспомнил, что телефоны отключены по его приказанию. Он нажал на кнопку звонка.

— Узнайте, — сказал он вошедшему секретарю, — почему так долго нет заключения технического отдела по пистолету Михайлова.

— Оно уже у вас, — ответил секретарь. — Лежит в папке.

— Видимо, я его не заметил. Кто-нибудь меня ждет?

— Нет никого. Заходил майор Дементьев...

— Хорошо, идите!

Нужная бумага действительно оказалась в папке.

По мере чтения брови полковника поднимались всё выше. И хотя после сведений, полученных из Свердловска, он ожидал нечто подобное, заключение технического отдела поразило его.

Он снова позвонил и приказал переключить к нему внутренний телефон.

Ответил молодой энергичный голос:

— Лейтенант Беликов у аппарата!

— Немедленно, — сказал полковник Круглов, — отправляйтесь в гостиницу «Москва» и как можно скорее доставьте мне полный список всех проживавших там вчера утром.

— Только фамилии?

— Нет. Все сведения, имеющиеся у администрации.

— Слушаюсь!

Положив трубку, Круглов снова устроился на диване.

Мелькнувшая у него мысль выглядит вполне обоснованной. И она в корне меняет всю ситуацию, хотя и не облегчает задачу. Скорей усложняет. Но достоинство этой новой версии в том, что с ее помощью можно правдо-

подобно объяснить все факты, уже известные следствию. И поведение Михайлова в партизанском отряде перестает выглядеть загадочно.

Всё становится на свои места.

Но так ли это?

Минут десять полковник, закрыв глаза, обдумывал свою мысль. Потом он встал и направился к письменному столу.

— Очень может быть! — сказал он. — А теперь займемся текущими делами.

Он приказал переключить к нему все телефоны и открыть доступ в кабинет. Последней мыслью, прежде чем он взялся за другие дела, было: «Скорей бы приехал Афонин. Рассказ Добронравова может всё изменить, подтвердить одни детали и опровергнуть другие, свести на нет обе версии, Афонина и мою».

Капитан явился через четыре часа.

Вторично в этот день начальник МУРа приказал никого к нему не пускать.

— Садись, Олег Григорьевич, — сказал он, — и рассказывай! Кстати, могу тебе сообщить, что наш научно-технический отдел разобрался в следах в номере Михайлова. Шестой был там до вашего приезда. Видимо, еще при жизни Михайлова. Теперь слушаю тебя.

— Повторять всё, что рассказывал Добронравов, нет необходимости. Почти ничего нового.

— Если так, конечно.

— Поведение Михайлова в его отряде ничем не отличалось от поведения у Нестерова. Та же «безумная» смелость, те же поиски смерти в бою. Но некоторые факты заслуживают внимания. Первый и самый главный: Михайлов не сам пришел в отряд. Тут Нестеров и Лозовой ошибаются. Он был освобожден партизанами Добронравова при налете на поезд, в котором везли в Германию советских людей, угоняемых в рабство...

— Вот, — перебил Афонина полковник, — первая трещина в твоей версии.

— Это была не версия, — поморщился Афонин, — а только одно из возможных предположений. Гестапо не могло знать, что именно на этот поезд будет совершено нападение.

— То-то и есть, что никак не могло.

— Кроме того, Михайлов был ранен в голову и перевязан не врачом, а одним из тех, кто был с ним в вагоне.

— Еще того лучше!

— Второй факт — рассказ Михайлова о себе. Он скрыл, что дважды был в плену, и сообщил только о том, что воевал в отряде Нестерова. Всё остальное несущественно.

— Хватит и этого. А почему он промолчал о первом плене, как ты думаешь?

— Очень просто. Считал ненужным осложнять свое положение.

— Об обстоятельствах, при которых попал в поезд, он рассказывал?

— Нет. Сказал только, что его схватили полиция, когда он один шел в разведку, и, приняв за мирного жителя, сунули в поезд. То, что он вообще не говорил о плене, ни о первом, ни о втором, мне понятно, учитывая психическое состояние Михайлова.

— Но ведь он мог ожидать, что Добронравов встретится с Нестеровым. Их отряды воевали недалеко друг от друга.

— Я думал об этом. Считаю, что он стремился к одному — получить оружие и драться с фашистами.

— Я вижу, Олег Григорьевич, что твое мнение о Михайлове резко изменилось.

— Факты — упрямая вещь, — пожал плечами Афонин.

— А как фотография?

— Добронравов сразу узнал Михайлова.

— А если всё же ошибка?

— От этой версии, пожалуй, следует решительно отказаться.

— Уверен?

— Судите сами. Добронравов произвел на меня впечатление человека, заслуживающего полного доверия. Я откровенно поделился с ним нашими сомнениями. Он хорошо всё понял и дал ценный совет. Дело в том, что у Михайлова была примета. Ни Лозовой, ни Нестерова ее не заметили, а Добронравов заметил и запомнил.

— Какая примета?

— Разный цвет глаз. Правый глаз Михайлова был немного, чуть-чуть, темнее левого.

— И ты... — полковник в возбуждении весь подался вперед.

— Заехал в клинику. Врач, производивший осмотр и вскрытие тела, всё подтвердил. Правый глаз темнее левого. На голове ясный след раны, нанесенной каким-то

тупым орудием, возможно прикладом винтовки. По словам врача, такой удар только случайно мог оказаться не смертельным.

Круглов откинулся на спинку кресла.

— Такую примету не подделаешь, — сказал он.

— Да... Приходится отказаться, — ровным голосом продолжал Афонин, — от мысли, что вместо Михайлова застрелился, или был застрелен, другой человек. Застрелился именно тот Михайлов, который был в отряде Нестерова. И еще одна небольшая деталь. В самом конце войны в отряд Добронравова приезжал по какому-то делу начальник разведки Нестерова — Кучеренко. Он видел Михайлова, долго говорил с ним.

— Почему ты подчеркиваешь эту деталь? — с интересом спросил Круглов.

— Она доказывает лишний раз, что во всех случаях мы имеем дело с одним и тем же Михайловым.

Полковник одобрительно кивнул головой. Мысль, что Михайлов мог быть подменен до появления в отряде Добронравова, видимо, пришла в голову и Афонину.

— Каков же теперь твой вывод?

— Его подсказывает тот факт, что Михайлова отправили в Германию вместе с другими советскими людьми. Это противоречит предположению, что он был ценным агентом гестапо. Тем более, что ему не сочли нужным оказать медицинскую помощь, хотя бы перевязать рану.

— А как со временем?

— Время совпадает. Между последним боем Михайлова в отряде Нестерова и нападением на поезд партизан Добронравова прошло неполных два дня. Мне кажется, можно считать установленным, что к Михайлову подкрались сзади и оглушили ударом приклада по голове. Почему его не добили — загадка.

— Акт великодушия?

— Возможно, — тем же невозмутимо ровным голосом ответил Афонин, — что командир карателей оценил героическое поведение и пощадил Михайлова.

— И ты веришь в такую возможность?

Афонин ничего не ответил.

— А я не верю, — сказал Круглов. — Но всё же, каков твой вывод?

— А! — Капитан махнул рукой. — Пришли к тому, от чего начинали.

— Теперь слушай меня. Но сперва ответь — тебя не удивило, что Михайлов застрелился из немецкого пистолета?

— Нет, не удивило. Партизаны очень часто пользовались трофейным оружием. Пистолет «вальтер» мог остаться у Михайлова как память.

— Значит, он должен был иметь разрешение на хранение этого пистолета?

— Конечно.

— На, читай! — полковник протянул Афонину донесение из Свердловска.

— Это номер! — сказал Афонин, прочитав бумагу.

В ней было сказано, что гражданин Михайлов Н. П. имел в личном пользовании трофейный пистолет марки «бельгийский браунинг», хранение которого было ему разрешено. Указанный пистолет обнаружен при обыске в комнате Михайлова в запертом ящике стола.

— Зачем человеку, едущему в Москву получать награду, брать с собой оружие, не правда ли? Зачем человеку, имеющему разрешение на хранение одного пистолета, иметь второй, разрешения на который у него нет? Согласен? — Полковник достал из папки вторую бумагу. — А теперь прочти это.

В заключении научно-технического отдела МУРа было сказано, что пистолет марки «вальтер», номер такой-то, выпущен с завода не более двух месяцев назад. Пуля, извлеченная из головы Михайлова, выстрелена из этого пистолета. На рукоятке сохранились следы пальцев двух человек, самого Михайлова и кого-то другого. Отпечатки пальцев прилагаются.

— Твоих отпечатков на рукоятке нет, — сказал Круглов.

— Я держал пистолет за ствол.

— Правильно! Так что ты скажешь?

Афонин так долго молчал, что полковник начал проявлять нетерпение. Наконец капитан заговорил, медленно и тихо, точно размышляя вслух:

— Почему каратели не убили Михайлова? Почему его отправили не в лагерь для военнопленных, а на принудительную работу в Германию? Вместе с гражданскими людьми. Потому что он партизан, а не солдат? Но ведь партизан, как правило, казнили. И в первый раз его также оставили в живых. Что-то тут явно не так! И не видно путей к догадке. Если последний бой Михайлова

в отряде Нестерова был не инсценировкой, а настоящим боем, то напрашивается предположение, что, оглушив прикладом, его сочли убитым. И не было никакого великодушия командира карателей. А затем Михайлов очнулся и направился на поиски отряда. Блуждая по лесу, он мог быть схвачен полицией. Этим можно объяснить его появление в поезде. Безусловно, всё это выглядит натянутым, но в то же время возможным. Рану на голове он мог объяснить достаточно правдоподобно, это не типично боевое ранение. Те, что его схватили, могли поверить, что он мирный житель. Остаются две загадки, связанные между собой. Поиски смерти и странная забывчивость. И как хотите, Дмитрий Иванович, но невольно мысль возвращается к последним минутам жизни Михайлова. Почему всё-таки у него сломался карандаш на фамилии Иванова? Почему он нервно отбросил этот карандаш? Не верю, что это случайность. Не может быть никакой случайности! Но Иванов не знает Михайлова. Михайлов не встречался с Ивановым в тылу врага. Неразрешимое противоречие!

— Между прочим, — сказал Круглов, — отпечатки шестого человека, входившего в номер гостиницы, не соответствуют ноге Иванова.

Афонин с изумлением посмотрел на полковника. Круглов усмехнулся.

— Я не очень доверяю твоей интуиции, дорогой мой Олег Григорьевич, — сказал он, — но оставлять ее без внимания не могу. Иванов носит обувь на два номера больше, чем неизвестный. Продолжай!

— Перейдем к пистолету. Откуда появился у Михайлова «вальтер», да еще совсем новый? Оружейные заводы в советской зоне оккупации не работают. Пистолет изготовлен на западе. Как же он попал в руки Михайлова? Но тут являются на сцену следы шестого человека. Вырисовывается *кто-то*, передавший Михайлову этот пистолет здесь, в Москве. Необходимо получить сведения о всех, кто проживал в гостинице вчера утром...

— Уже сделано, — вставил полковник. — Сведения вот-вот будут у меня.

— Но даже имея эти сведения, — продолжал Афонин, — очень трудно, почти невозможно установить личность этого человека. Нет никаких данных. В гостиницах не снимают отпечатков пальцев. Остается принять за исходную точку дальнейшего следствия вопрос — зачем

вручен Михайлову пистолет «вальтер»? Для какой цели? И когда? Этот последний вопрос чрезвычайно важен. Когда? Вечером или утром? Мы знаем, что Михайлов застрелился из этого пистолета. Значит, можно предполагать, что пистолет вручен ему утром. Вечером он не думал о самоубийстве, — это доказывает его телефонный звонок к Лозовому. — Афонин внезапно поднял голову. — А не мог бы наш техотдел установить точно...

— Мог и установил. — Круглов взял в руки заключение. — Ты не все прочел. Тут сказано: следы пальцев имеют *одну и ту же* давность.

— Тогда ясно! Михайлов держал пистолет в руке вчера утром. Раз следы одной давности, то и другой человек держал его в то же утро. Кто-то входил в номер к Михайлову до восьми часов двадцати минут и передал ему пистолет. О чем они с Михайловым говорили, мы не знаем. А потом Михайлов запер за этим человеком дверь, вернулся к столу, сжег какую-то бумагу и застрелился. Как я уже говорил, мы вернулись к исходной точке.

— Не совсем так. Появилась фигура незнакомца, которого раньше не было.

— А что толку?

— Как знать. Это дело настолько запутано и туманно, что любая деталь может навести на след. Как раз перед твоим приходом я вспомнил один документ, который мне как-то пришлось прочесть. И мелькнула странная мысль — нет ли тут связи? — Полковник замолчал, о чем-то думая. — Вот что, — сказал он решительно, — съезди-ка еще раз к твоему Иванову.

— Зачем?

— Спроси его, не знал ли он в тылу врага человека по фамилии Миронов. И если окажется, что знал, то расспроси подробно. Вот так!

— А кто это — Миронов?

— Был один такой. Не обижайся, Олег Григорьевич, но я не хочу путать тебя. Путаницы и так хватает в этом деле. А эта моя мысль слишком сомнительна. Но раз она явилась, надо проверить. Нельзя терять ни одного шанса.

Афонин знал, что настаивать бесполезно. Он подпался:

— Разрешите выполнять.

— Да. И сразу возвращайся. Дело Михайлова пора кончать!

Едва за Афониним закрылась дверь, раздался осторожный стук. На пороге стоял лейтенант Беликов.

— Разрешите!

— Входи. Быстро ты обернулся.

Лейтенант положил на стол объемистую пачку бумаги.

— Здесь отмечены те, кто выехал вчера или сегодня? — спросил Круглов.

— Из тех, кто находился в гостинице вчера утром, выехал только один. Отмечен красным карандашом.

— Так!

Полковник внимательно прочел длинный список.

«И когда только Беликов успел его составить? — подумал он. — Прекрасная оперативность!»

— Ну как? — не удержался молодой сотрудник, увидя, что Круглов дошел до последней фамилии.

Полковник поднял на лейтенанта холодный взгляд.

— Можете идти! — сказал он резко.

В данном случае эта резкость объяснялась тем, что в списке не оказалось фамилии, которую Круглов ожидал увидеть, и даже больше — был уверен, что увидит.

Ее не было.

«Что ж! Этого следовало ожидать», — подумал он, снимая трубку телефона. Другой рукой полковник раскрыл список на листе, где лейтенантом Беликовым была отмечена красным карандашом фамилия выехавшего вчера вечером постояльца гостиницы.

— Соедините меня с прокуратурой СССР, — приказал он секретарю. — И вызовите ко мне майора Дементьева.

Фамилия, остановившая на себе внимание Круглова, была иностранной, но ничего не говорила полковнику.

Глава четвертая

1

Иванова дома не оказалось. Афонину пришлось вернуться в управление и ждать до позднего вечера. Сотрудники, которым полковник Круглов поручил это сделать, быстро выяснили, что Иванов разыскал через адресный стол Нестерова и поехал к нему. Там же находились Лозовой и Добронравов.

Накануне получения наград это было вполне естественно. Бывшим партизанам всегда есть о чем поговорить и что вспомнить.

— Удачно! — сказал Афонин. — Лозовой выложит им свою версию.

— А что удачного? — вздохнул полковник. — Иванова надо увидеть сегодня.

— Вернется же он домой.

— Вернется-то вернется! Но можно ли будет с ним разговаривать?

— Что вы, Дмитрий Иванович!

— А разве не может быть?

— Иванов произвел на меня впечатление человека...

— Непьющего?

— Во всяком случае в меру.

— Увидим! — недовольно сказал Круглов.

Завтрашний день безусловно исключался. Награжденные пробудут в Кремле долго, а затем, скорее всего, отправятся к тому же Нестерову или кому-нибудь другому из одиннадцати. Опасения Круглова, которые сегодня казались Афонину необоснованными, завтра могут легко подтвердиться. А доложить о результатах следствия нужно как можно скорее.

Беспокойство Круглова было понятно Афонину.

Каждые полчаса капитан звонил по телефону в квартиру, где остановился Иванов, но бывший комиссар всё не возвращался. Только в половине двенадцатого Афонин услышал наконец его голос.

— Может быть, можно отложить до завтрашнего вечера? — спросил Иванов, выслушав просьбу Афонина о свидании.

— Крайне желательно сегодня.

— Ну что ж, приезжайте.

Иванов оказался совершенно трезвым. С тем же радующим встретил он гостя, ничем не выказывая недовольства столь поздним визитом.

— Где это вы пропадали весь вечер, Андрей Демьянович? — шутливо спросил Афонин.

Он не хотел выдавать свою осведомленность. Не всякому понравится, что его разыскивали методами уголовного розыска.

— Был у товарища, — коротко ответил Иванов.

Постель, постланная на диване, была раскрыта, и даже горела лампа под абажуром на стуле возле изголовья.

Иванов не считал нужным скрывать от гостя, что соби-
рался спать.

Впрочем, он сразу же попросил у Афонина разреше-
ния лечь.

— Что-то сердце пошаливает, — сказал он. — Вол-
нуюсь, конечно, но и годы...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — попросил Афо-
нин. — Я задержу вас не долго.

— Я и не стесняюсь, как видите.

Он медленно разделся и лег, закинув руки за голову,
Всё это сопровождалось «старческим» кряхтением.

Афонин знал, что Иванову около пятидесяти. Это еще
не старость. Вчера днем он был бодр и держался совсем
иначе.

Откуда же взялась вдруг эта «дряхлость»? Почему он
заговорил о годах?

Мелькнула мысль, что бывший комиссар нарочно при-
кидывается стариком, чтобы подчеркнуть несвоевремен-
ность прихода капитана милиции, но Афонин отбросил
эту мысль. Ничто не мешало Иванову просто отказаться
от разговора, перенести его, например, на завтрашнее
утро.

Кроме того, Афонин умел разбираться в людях, и
у него сложилось твердое впечатление, что Иванов не та-
кой человек, чтобы притворяться. Видимо, что-то его
сильно расстроило или взволновало. Он и сам сказал, что
волнуется. Но из-за чего? Получать орден Иванову не
впервой. Значит, есть другая причина, и скорее всего она
связана с посещением Нестерова.

Спросить неудобно, а знать было бы весьма полезно.

Но пока капитан раздумывал, Иванов сам заговорил
как раз о том, о чем думал Афонин.

— Был у товарища, — сказал он, повторяя свою же,
недавно сказанную фразу. — Впервые увидел его сегодня.
И еще двое там были, тоже не встречался прежде. Несте-
ров его фамилия. Может, помните, в том же указе, что
и ваш Михайлов. Говорили и о нем. Между прочим, я
спрашивал их мнение. Они знают о самоубийстве, по
никто не может понять, что его заставило. («Так! —
подумал Афонин. — Не сумели промолчать, а Лозовой,
наоборот, не сказал того, что должен был сказать.
Жаль!») О многом мы говорили. И вот, представьте себе,
разговор с почти чужими людьми... Почти, — пояснил
он, — потому, что все мы — партизаны — одна семья...

Расстроил меня Нестеров. Возбудил, невольно конечно, тяжелые воспоминания. Словно постарел я сразу... А как было отказать? Верно?

Афонин кивнул головой. Он был уверен, что правильно понял то, что было не высказано в сбивчивой речи Иванова.

— Конечно!

— А что «конечно»? — насмешливо спросил тот.

— Конечно, не могли отказать, — храбро ответил Афонин.

— В чем отказать?

«Черт бы тебя взял!» — подумал капитан.

— Не могли отказаться рассказать о тяжелом прошлом.

На секунду в глазах Иванова мелькнуло удивление. Потом он рассмеялся.

— Я и забыл, что вы следователь, — сказал он.

У Афонина внезапно возникла новая идея. Знаменитая интуиция вновь властно заговорила в нем. Он не колебался. В случае ошибки он сумеет вывернуться, придумать правдоподобное объяснение. Риска почти не было. Иванов же не знает, зачем приехал к нему Афонин. А перевести разговор в нужное русло можно в любой момент.

— Как раз о вашем прошлом, — сказал он, — я и хотел поговорить с вами. Как раз о том случае, о котором вы рассказывали у Нестерова. — Афонина, как это часто с ним случалось, «понесло вдохновение». — Второй раз рассказывать легче. Расскажите и мне.

— Вы разве знаете об этом случае?

— К сожалению, далеко не всё. А нам очень важно знать подробности.

Иванов резко выпрямился.

— Это может означать одно, — взволнованно сказал он. — Мерзавца поймали! Да? А я думал, вы приехали из-за Михайлова.

— А что же говорить о Михайлове? — Афонина продолжало «нести». К тому же он действительно приехал не из-за Михайлова, а из-за Миронова. — Вы же сказали, что не встречались с ним. У нас много других дел.

— Но мой случай относится скорее не к вам, а к Госбезопасности.

На миг Афонину стало не по себе. Еще немного — и проницательный комиссар разоблачит его.

— «Мерзавца», как вы выразились, нашли мы..,

— Понимаю! Впрочем, его вполне можно считать не политическим, а уголовным преступником.

— Тем более.

— Вы меня очень обрадовали, Олег Григорьевич! Я благодарен вам за ваш приезд. Много предателей повидал я на войне, многим воздал по заслугам лично сам. А про этого никогда не мог забыть. Готов рассказать всё.

— Я вас слушаю!

Афонин облегченно вздохнул. Пронесло!

Иванов закрыл глаза.

— Вы правильно заметили, — сказал он, — второй раз рассказывать гораздо легче. И вы услышите более подробный рассказ, чем у Нестерова. Слушайте!

Он говорил медленно, тихим голосом, иногда таким тихим, что Афонину приходилось напрягать слух, чтобы не пропустить ни одного слова. И чем дальше шел рассказ, тем больше капитан убеждался в его огромной важности, тем больше поражался верности своей интуиции, заставившей его выслушать Иванова прежде, чем изложить цель своего приезда. Задолго до конца он понял, что рассказ Иванова — именно то, что нужно было узнать полковнику Круглову и самому Афонину, чтобы раскрыть тайну Михайлова.

Капитан понимал, что случай, которым он воспользовался интуитивно, всё равно выплыл бы сразу, как только он назвал бы фамилию «Миронов». Но это не меняло сущности случившегося.

— Это произошло в середине сорок третьего года, — говорил Иванов. — Точнее, в начале июня. В одном из боев я был ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Надо вам сказать, что у нас в отряде весь командный состав носил военную форму, но без знаков различия. Это потому, что три четверти командиров не имели воинских званий, а остальные решили не носить «шпал» и «кубиков», чтобы не отличаться от других своих товарищей. Мы любили и уважали друг друга. На мне была гимнастерка со звездами на рукавах, как и у всех наших политработников. Партийного билета, правда, не было. Мы отдали их секретарю партийного бюро, который сам не участвовал в этом бою из-за ранения. Мы всегда так делали, чтобы партбилет не попал в руки фашистов. Но и звезд на рукавах было вполне достаточно. А комиссарам, как правило, фашисты не давали пощады, уничтожая на месте. Я очнулся от беспамятства в подвале гестапо.

С удивлением обнаружил, что рана тщательно перевязана. Сразу понял, что это сделано не из милосердия, — я был им нужен для допроса. Сознание того, что меня ожидает — не скрою от вас, — отнюдь меня не обрадовало. Я знал, что гестаповцы ничего не добьются, но их методы были мне очень хорошо известны. Весь день меня не трогали, даже принесли еду и воду. Я понимал их цель: было очевидно, что, рассчитывая получить ценные сведения, мне дают возможность немного прийти в себя, окрепнуть. А к ночи за мной пришли. Не стану вам рассказывать о выпавших на мою долю пытках. Ни к чему это, да я и не смог бы рассказать. Вы, конечно, заметили седину, ее не было до того, как я попал в плен. В нашем роду седели поздно.

Ничего не добившись — я был тогда здоровым мужчиной, — гестаповцы бросили меня в камеру смертников — такой же подвал, в каком я находился до допроса. Именно бросили, да так, что меня с трудом привели в чувство другие осужденные. Там я провел последнюю, как я думал, ночь. Допрос продолжался почти сутки. До сих пор не могу понять, как я умудрился остаться живым. Видно, не судьба была умереть в тот день. Под утро нас вывели, посадили в машину и отвезли на место расстрела. Почему расстрел, а не виселица? Как это ни кажется странным, но именно этот вопрос не выходил у меня из головы всю дорогу к месту казни. А ответить можно было совсем просто — не захотели возиться! Но я тогда не мог додуматься до столь простой вещи. Был очень слаб и временами впадал в беспамятство. Помню, что лежал на полу кабины и голова моя покоилась на коленях какой-то женщины, которая всё время что-то говорила, видимо мне. Но я не понимал ни одного слова. Из машины меня вынесли товарищи. И тут вдруг вернулись силы. Я пошел сам. Нас выстроили на краю рва. Голова у меня удивительно прояснилась, и я стал хорошо сознавать окружающее. И обратил внимание, что вокруг не видно ни одного немецкого солдата. Только офицеры и какой-то человек в полувоенной, полугражданской одежде. Гимнастерка на нем наша, не немецкая. В руках у него был немецкий автомат. Я услышал, как кто-то возле меня сказал: «Какая нам оказана честь, товарищи!» И засмеялся. Да, точно! Есть люди, способные смеяться в такой момент. Я понял, что под честью этот человек подразумевал то, что нас расстреляют офицеры, а не солдаты. Но я не видел у них автоматов.

Только у того, в гимнастерке. «Видимо, это и есть палач», — сказал тот же голос. «Он русский», — сказал другой. Я невольно взгляделся в палача и узнал его. Ошибки быть не могло, я видел хорошо. Два года этот человек, лейтенант Красной Армии, воевал в нашем отряде, куда пришел из окружения. По его словам, могу я добавить теперь. С месяц назад он пропал без вести. Сейчас он стоял среди гестаповцев и собирался расстреливать нас. И до самого конца, до того, как раздалась очередь из его автомата, я думал о том, что у меня нет ни времени, ни возможности предупредить своих, и о том, что изменник останется безнаказанным. Но случилось иначе. Я рассказываю о нем вам и повторяю свой рассказ на заседании военного трибунала, если меня вызовут как свидетеля обвинения, на что я очень надеюсь. Как вспомню его глаза, горящие неистовой ненавистью, искаженное лицо и трясущийся в руках автомат... Всё это я запомнил навсегда... вот стоит только закрыть глаза... и вижу. С наслаждением сам лично привел бы в исполнение приговор трибунала. Несмотря на то, что этот мерзавец, в сущности, спас мне жизнь.

Афонин кивнул. Всё ясно, спрашивать не о чем.

— Впрочем, — продолжал Иванов, — меня спас не только он. Стечение обстоятельств, совершенно непонятных к тому же. Мне приходилось, бывая в разведке, видеть расстрелы и повешения. Много слышал рассказов об этом. И не знаю другого такого случая. Почему не было ни одного солдата, если не считать шоферов двух машин, стоявших в отдалении? Человек пять офицеров, и только. А ведь нас, осужденных, было не меньше пятнадцати человек. Почему приговор приводил в исполнение один, да к тому же не немец? А когда прозвучала очередь автомата и мы все упали в ров, почему немцы не подошли убедиться, что все мертвы, и прикончить тех, кто остался жив? Обычно они поступали именно так. А тут просто сели в машины и уехали. Я знаю, потому что пули не задели меня и сознания я не терял. Упал инстинктивно. А потом оказалось... — Иванов приподнялся, голос его дрогнул, — оказалось, что все, понимаете, все остались живы!

Афонин молчал. Такого конца он не ожидал.

— Все упали, как я, инстинктивно. Ни один не остался стоять, хотя пули и пролетели мимо.

— Чем же это объяснить?

— Объяснить этого я не могу.

— Что было дальше?

— Что ж дальше! Где должен находиться наш отряд, я знал. Расстреливали нас на опушке леса. Осталось только углубиться в этот лес.

— Удивительный случай!

— Более чем удивительный.

— Вы хорошо запомнили черты лица?..

— Мерзавца, который нас расстреливал?

— Почему «мерзавца»? — сказал Афонин. — Он рисовал жизнью, стреляя мимо.

Иванов покачал головой.

— Если бы так, — сказал он. — Нет, я уверен, что он стрелял в нас, а промахнулся против своей воли. Достаточно вспомнить выражение его лица.

Капитан уже несколько не сомневался, что слушал рассказ о Михайлове. Версия полковника Круглова как раз в том и состоит, что Михайлов — псевдоним. Настоящая его фамилия Миронов. Но Иванов не назвал фамилии «мерзавца»...

— Миронов воевал у вас в отряде, — сказал он как мог естественнее. — Как он себя вел?

Внутренне Афонин весь напрягся в ожидании ответа.

— Обыкновенно, как все, — ответил Иванов, и капитан вздохнул облегченно. Всё в порядке! — От командной должности он отказался, так как был не строевым, а техником-лейтенантом. Ничем не выделялся, но и упрекнуть его было не в чем. Никаких подозрений не вызывал.

— При каких обстоятельствах он исчез? Вы говорили — пропал без вести.

— Не вернулся из боя. Такие случаи бывали часто. Мы не знали — убит он или попал в руки немцев. Таких мы заносили в графу «пропавшие без вести». Очень редко, но бывало так, что немцы не казнили партизан, попавших в их руки, а отправляли в лагеря военнопленных. В таком случае человек мог остаться жив.

— Чем же вы объясните, что человек воевал два года, ничем себя не компрометируя, а потом с «неистойвой ненавистью», как вы сами сказали, расстреливал своих?

— Догадки не мое дело. Спросите у него самого.

Иванов снова закрыл глаза. Было видно, что он устал. Афонин почувствовал, что пора кончать разговор, — время позднее.

— Вам больше нечего добавить, Андрей Демьянович?

— А что добавлять? Извините за краткость, но тяжело было вспоминать.

— Спасибо за помощь!

Афонин поднялся.

— Вы меня еще вызовете? — спросил Иванов.

— Мы — вряд ли. А суд, вероятно, вызовет. Или следователь прокуратуры. Нет, не провожайте! Я сам закрою дверь. Заметил, что замок у вас автоматический. Спокойной ночи! И спасибо еще раз!

— Было бы за что!

Спускаясь по лестнице, Афонин слышал, как Иванов всё же запер за ним дверь на ключ.

Шофер спал, привалившись к дверце машины. На улице никого не было.

Афонин приказал ехать в управление. Удивленный взгляд шофера привел его к сознанию действительности. Было больше двух часов ночи.

— Ко мне домой! — поправился он.

Нервы капитана были взвинчены. О том, что, в конечном счете, он оказался прав и ключ к тайне смерти Михайлова дал именно Иванов, капитан даже не вспомнил. Ему было не до таких мелочей.

История с расстрелом советских людей как будто объясняла многое, что было непонятно в поведении Миронова в отрядах Нестерова и Добронравова. В таком преступлении Миронов не мог признаться. Угрызения совести, возможно и отчаяние, привели к поискам смерти в бою.

Миронов знал, что ему нет и не будет прощения. Всё это сходилось, и достаточно правдоподобно.

Самоубийство получало достоверное объяснение. Миронов не мог не узнать Иванова, комиссара, которого он расстрелял своей рукой. И можно себе представить впечатление, произведенное на него фамилией Иванова в указе Верховного Совета, перспективой встречи с «расстрелянным».

Всё как будто становилось на место.

Но... как будто, не больше.

Всё было логично, но только в том случае, если Иванов прав и Миронов — Михайлов не знал, что выпустил очередь автомата в воздух, никого не убив, если он промахнулся не намеренно.

Тогда ясно. Только тогда!

Но можно ли допустить, что опытный воин промахнулся с близкого расстояния, не задев ни одного человека?

Очень трудно!

А если это было сделано намеренно и только случайно не повлекло за собой казни самого Миронова, то все его поступки и поведение в отрядах Нестерова и Добронравова становятся еще более непонятными.

Оставался факт присутствия в номере Михайлова, непосредственно перед самоубийством, какого-то человека, передавшего ему пистолет «вальтер». Кто он и зачем передал этот пистолет?

Оставался психологически необъяснимый факт приезда Миронова — Михайлова в Москву для получения награды. Считать себя достойным ее он не мог и, безусловно, не считал...

Капитан чувствовал, что его ожидает беспокойная ночь, что ему не заснуть.

2

Афонин вообще не ложился. Остаток ночи он ходил по своей комнате, надеясь как-то свести концы с концами и прийти к какому-нибудь выводу в «деле Михайлова».

Увы! После рассказа Иванова это дело не только не прояснилось, как ему показалось сгоряча, а, наоборот, еще больше запуталось. Противоречия стали еще резче, еще необъяснимее.

Капитан ясно чувствовал, что не хватает какой-то зацепки, какого-то одного звена. Будь это звено, всё стало бы ясно!

Есть ли оно у полковника Круглова?..

Афонин приехал в управление так рано, что пришлось ожидать более часа.

Круглов выслушал его, не перебивая ни единым вопросом или замечанием. Когда Афонин закончил свой доклад, полковник минуты три молчал, о чем-то думая.

— Майор Дементьев еще не вернулся, — сказал он неожиданно для Афонина, — и от него нет еще никаких известий. — Круглов снял очки и снова замолчал, тщательно протирая стекла. — Похоже, что мы приближаемся к концу. Но конец этот может оказаться двояким. В зависимости от того, каков будет результат у Дементь-

ева. — Он посмотрел на капитана. — Ты еще не догадался?

— О чем?

— Обо всем!

— Пока нет.

— Впрочем, с таким случаем мы действительно столкнулись впервые. И не будь я знаком с документом, о котором вчера упомянул, я тоже бы не догадался, наверное. Но я хочу, чтобы ты сам решил эту загадку! Это тебе по силам. Итак! Допустим, что тебе поручили важное задание в тылу врага. Допустим, что тебе удалось войти в доверие к немцам. Твои сведения чрезвычайно важны и спасают жизнь многим советским людям. Словом, ты очень нужен командованию нашей армии, и заменить тебя некем. И вот случилось так, что у тебя нет иного выхода, как только самому расстрелять наших людей. Иначе ты был бы разоблачен и погиб, как разведчик. Понял ситуацию, Олег Григорьевич?

— Понял.

— Как бы ты поступил?

— Отказался бы от участия в расстреле!

— И провалил бы задание?

— Да! — Афонин с удивлением слушал эти странные вопросы. Можно было подумать, что сам Круглов поступил бы иначе в таком положении.

— Несмотря на то, — продолжал полковник, — что твое самопожертвование ничего не изменило и осужденные всё равно были бы расстреляны, но только вместе с тобой? А твоя гибель стоила бы жизни гораздо большему числу наших людей?

— Да, несмотря на это! С кровью товарищей на руках жить нельзя. Я всё равно уже не годился бы в разведчики. Впрочем, — перебил Афонин самого себя, — я поступил бы иначе. Да, совсем иначе. Я согласился бы. А получив в руки автомат, направил бы его на палачей. Захватил бы с собой на тот свет как можно больше.

— Другого ответа и не могло быть, — задумчиво произнес полковник. — И мы знаем много случаев, когда разведчики губили себя, но не могли пойти против совести, совести советского человека. А почему не могли?

— Вы уже сами ответили на этот вопрос, Дмитрий Иванович. Совесть советского человека.

— Именно. Но были и другие люди, которые шли на всё, чтобы... Доканчивай!

— Чтобы спасти свою жизнь.

— Кто они, эти люди?

— Шкурники.

— Иначе говоря, трусы. Согласен?

— Конечно! — ответил Афонин, не понимая, к чему клонит полковник. Всё это было ясно, и они уже говорили об этом.

— Ты удивлен? — спросил Кругов. — К чему, мол, этот разговор? Дело запуталось еще больше. И даже у меня, знающего то, чего ты не знаешь, возникают сомнения. Я хочу рассеять их с твоей помощью. Поэтому не удивляйся, а отвечай. Итак, эти люди — трусы. Но совесть у них есть?

— Страх смерти оказался сильнее совести.

— Правильно. Но совесть всё-таки всегда есть. У одного больше, у другого меньше, но есть. И результат борьбы страха с совестью зависит от самых глубоко заложённых в человеке жизненных принципов, от его характера и воспитания, которые изменить за короткое время невозможно. И если один раз победил страх, то так же произойдет во второй и в третий раз. Согласен?

Теперь уже Афонин понял цель разговора. И хотя он был полностью согласен с Кругловым, счел себя обязанным что-то возразить, помня сказанное полковником.

— Трудно сказать. Бывало много случаев, когда человек трусил в первом бою, а впоследствии становился смелым воином. Я сам знал таких.

— Это из другой оперы. В случае, который мы сейчас обсуждаем, речь идет о ином. Может ли человек, пошедший на огромную подлость из-за страха за свою жизнь, потом искать смерти? И не в состоянии аффекта, вызванного приступом угрызений совести, а систематически, в течение месяцев. Ты говорил о людях, преодолевших страх смерти. Но это совсем не то, что искать ее, добиваться. Это глубоко разные вещи. Недаром еще Суворов говорил, что нет человека, который не боялся бы на войне. Инстинкт самосохранения заложен природой, и нужно что-то очень мощное, чтобы целиком преодолеть его, перестать ему подчиняться. Трусы всегда ищут оправдания своей трусости, вольно или невольно уменьшают свою вину в своих глазах. Совершенное ими, что бы это ни было, никогда не может послужить столь мощным толчком, чтобы инстинкт самосохранения исчез у таких людей. А вот у смелых может. Но только у действительно

смелых. Таких, кто не подвержен страху за жизнь, затмевающему совесть.

— Тяжелое противоречие! — сказал Афонин, понимая, что Круглов говорит о Миронове.

Снова поставлен вопрос о поведении «Михайлова», вопрос, на который никак не найти ответа. Но кажется, полковник знает ответ. Когда же он выскажется до конца?

— На эту тему интересно поговорить с учеными-психологами, — сказал Афонин, только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Можно и это. — Круглов протер и надел очки. Его лицо было мрачно. — Перейдем от общих рассуждений непосредственно к Миронову. В рассказе Иванова мне кажутся чрезвычайно важными четыре факта. Я их сейчас перечислю, а ты следи за мной очень внимательно. Первый факт! При расстреле присутствовало пять, только пять немецких офицеров и не было ни одного солдата. Это совершенно исключительный случай. Я о таком не слышал. Чем можно его объяснить? Из того, что ты говорил, ясно, что ни ты сам, ни Иванов объяснить не можете.

— А вы? — вырвалось у Афонина.

— Погоди, не перебивай! Все вопросы потом. Второй факт! После расстрела ни один из офицеров не подошел и не проверил, действительно ли расстреляны осужденные. Ведь Миронов мог выпустить очередь автомата в воздух. Осужденные могли упасть притворно. И мы знаем, что именно так и произошло. Миронов мог подсказать им эту хитрость, дать понять, что будет стрелять мимо. Хотя бы тогда, когда поднял автомат. В этот момент он находился, безусловно, впереди немецких офицеров, и те не могли видеть его лица. Подсказать можно по-разному, без слов, мимикой. Почему же никто из офицеров не подумал о такой возможности? К этому прибавляется еще и то, о чем ты говорил. Миронов мог повернуться и расстрелять пятерых офицеров. Это было бы не только естественно, но и гораздо проще, если он намеревался стрелять в воздух и спасти приговоренных. Офицеры не могли быть уверены, что такого не случится. Миронов же — русский. Не правда ли, странное поведение для гестаповцев?

Круглов на этот раз, видимо, ожидал ответа, и Афонин сказал:

Миронов не осмелился. Он, конечно, думал, что немцы проверят результат его стрельбы.

— Но ведь он стрелял мимо!

— Это произошло против его воли. Я согласен в этом пункте с Ивановым.

— Третий факт. Выражение лица Миронова, врезавшееся в память Иванова. Как он сказал? Искажённое ненавистью?

— Да.

— Откуда же она взялась, эта ненависть? Он согласился расстрелять своих, чтобы сохранить свою жизнь, доказать немцам, что искренне готов служить им. Но ненавидеть тех, кого он расстреливал, не было причины. Гораздо естественнее, если бы его лицо окаменело или ожесточилось. А Иванов говорит, что глаза пылали ненавистью.

— Иванов мог ошибиться, принять одно выражение лица за другое. Миронов мог и притворяться.

— Ошибиться Иванов не мог. Перед смертью сознание человека обостряется, все чувства его как бы усиливаются. Об этом говорят многие факты, и ученые-психологи придерживаются этого мнения. Недаром сам Иванов подчеркнул, что его голова удивительно прояснилась. Насильственная смерть не то, что смерть от болезни, на своей постели. Притворяться Миронову было ни к чему. Повторяю, в момент расстрела немецкие офицеры не видели его лица. Перед кем же он притворялся?

Афонин молчал. Ему было досадно, что эти, вполне очевидные, соображения не пришли в голову ему самому. И, словно поняв его мысли, Круглов сказал:

— Ты не знаешь того, что знаю я, Олег Григорьевич. То, что для меня всё более становится ясным, покрыто туманом для тебя. Но этот туман скоро рассеется, даю тебе слово.

Афонин красноречиво вздохнул. Круглов усмехнулся.

— Потерпи еще немного, — сказал он. — Значит, ты согласен, что у Миронова не могло быть неистовой ненависти к советским людям?

— Пожалуй, согласен.

— Ну, а к немцам?

— Судя по рассказам Нестерова, Лозового и Доброправова, безусловно была.

— Значит, если бы перед ним находились не партизаны и подпольщики, а немецкие агенты и провокаторы,

он мог расстрелять их с таким выражением лица, которое у него было, по словам Иванова?

— Мог-то мог, но перед ним...

— Погоди! Я еще не кончил. О чем говорит тот факт, что все осужденные остались живы?

— О том, что у Миронова не было опыта в ремесле палача.

— А еще о чем?

Афонин потер лоб.

— Право, не могу сообразить.

— Как должны были поступить офицеры гестапо, опытные в расстрелах?

— Понял вас! Странное доверие к Миронову и тот факт, что осужденные остались живы, свидетельствуют о том, что среди пятерых офицеров гестаповцев не было.

— Не только это. Может быть и другое объяснение. Вот пока всё!

— Вы не упомянули о четвертом факте.

Круглов посмотрел на часы.

— Да, не упомянул, — сказал он. — Через час должен прийти Иванов...

— Но ведь он в Кремле.

— Вручение наград отложено на послезавтра. Всё из-за того же Михайлова.

— Вы думаете, что до завтра...

— Всё будет окончено сегодня. Предстоящий разговор с Ивановым окончательно всё выяснит. В том числе и четвертый факт. Ты будешь присутствовать при этом разговоре. И если даже тогда не догадаешься обо всем, то я буду очень разочарован.

— Разрешите до приезда Иванова вернуться к себе в кабинет. Есть неотложное дело.

— Иди! Когда Иванов будет здесь, я позвоню.

Звонок раздался через полтора часа. Войдя в кабинет, Афонин увидел комиссара Иванова и услышал конец фразы:

— ...что пришлось вас беспокоить. Но это необходимо.

— Я рад этому, — ответил Иванов. — Всё, что касается Миронова, меня затрагивает. Слишком хорошо мне пришлось узнать его. И я не могу себе простить, что за два года его пребывания у нас в отряде не сумел разоблачить этого человека.

— Вы и не могли этого сделать. Никак не могли! — сказал Круглов.

— Почему?

— Да очень просто. Потому что до самого конца пребывания в вашем отряде Миронов никогда и не помышлял ни о какой «измене».

Кавычки отчетливо прозвучали в голосе полковника. Из этого можно было заключить, что он считает Миронова вообще не виновным ни в какой измене, что никакого предательства с его стороны никогда не было. Афонина удивила эта фраза. Измена, пусть случайная, минутная, но, безусловно, была. Даже, если Иванов не прав и Миронов намеренно стрелял мимо, жертвуя собой. В этом невозможно было сомневаться, а Круглов как будто не только сомневался, но был уверен в противном.

У капитана мелькнула мысль, что Миронов — Михайлов никогда и никого не расстреливал, что Иванов ошибся, приняв за него другого, похожего на Миронова человека. И что полковник Круглов точно это знает.

«Опять на сцену является двойник», — подумал Афонин.

— Как вел себя Миронов в вашем отряде?

Снова странный вопрос. Круглов же знает, что говорил по этому поводу Иванов.

— Когда человек оказывается мерзавцем, принято отзываться о нем отрицательно. Но я этого не сделаю, а отвечу правдиво. Он был хорошим партизаном, — ответил бывший комиссар.

— Вы представляли его к награде?

— Да. Он получил у нас орден Красной Звезды.

— Так чем же вы объясняете, что он внезапно стал предателем?

— Ничем не объясняю. Я говорил вчера Олегу Григорьевичу, что догадки и предположения не мое дело. Да и как можно объяснить такую перемену? Чужая душа — потемки, как говорит пословица.

— Но вы не станете отрицать, что предателями становятся исключительно трусы?

— Да, конечно! Нет, трусом его никак нельзя было назвать.

Круглов многозначительно посмотрел на Афонина. Этот взгляд доказал капитану, что пришедшая ему в голову мысль неверна. Расстреливал Миронов!

«Ничего нельзя понять!» — подумал он.

— Тут получилось сложное и запутанное дело, Андрей Демьянович, — сказал Круглов. — Помогите нам разобраться, по мере возможности.

— Готов сделать что могу.

— Опишите еще раз, но как можно подробнее сцену расстрела. Я понимаю, это тяжело для вас. Одну только эту сцену, не касаясь предыдущего.

Иванов кинул мимолетный взгляд в глубину комнаты и, проследив за его взглядом, Афонин неожиданно обнаружил, что в кабинете находится еще кто-то. Человек сидел в глубоком кресле, боком к Афонину. Была видна половина его лица, к тому же прикрытая узкой кистью руки, на которую он опирался. Капитан смог определить только, что человек этот еще молод, или выглядит молодым. На нем габардиновый плащ, которого он почему-то не снял. Рядом, на столике, лежала серая шляпа, а на ней тоже серые перчатки. К столику была приставлена массивная трость с набалдашником из кости. Такие трости бывают у пожилых ученых, солидных врачей, вообще у людей немолодых. Трость резко дисгармонировала с внешностью своего владельца.

Всё это Афонин заметил с одного беглого взгляда. Этого человека полковник почему-то не считал нужным представить Афонину. Судя по взгляду Иванова, он также не знал, кто это.

— Итак, слушаю вас, — сказал Круглов.

В продолжение рассказа, в котором для Афонина не было ничего нового, полковник несколько раз бросал взгляд на незнакомца, но тот ни разу не переменил позы. Он сидел совершенно неподвижно. Слушал он или нет, определить было нельзя.

— Вы точно помните, что в глазах Миронова была ненависть, а не какое-нибудь другое чувство, например ожесточение? — спросил Круглов, когда рассказ был окончен.

— В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Я сказал бы даже — дикая ненависть.

— В самый момент расстрела или раньше тоже?

— Я обратил на него внимание после того, как услышал слова: «Он русский». Это было за минуту до расстрела.

— И какое выражение было у него в тот момент, когда вы его увидели?

— Такое же. Как будто он в нетерпении, словно готов задушить нас всех голыми руками. Никогда, ни у одного фашиста, не видел я подобной ненависти к нам, русским.

— Но ведь он сам русский?

Иванова передернуло.

— Нельзя называть русскими таких выродков, — сказал он глухо.

Афонин заметил, что человек в кресле слегка кивнул головой. Было вполне очевидно, что Круглов, собиравшийся что-то сказать, также заметил этот кивок, «проглотил» готовый вопрос и круто изменил тему беседы.

Видимо, человек в кресле только казался равнодушным. Он внимательно следил за разговором и даже, незаметно для Иванова, направлял его.

— Забудем про Миронова! — сказал полковник. — Если вы не возражаете, поговорим о немецких офицерах. Вы их хорошо рассмотрели?

— Вы забываете, в какой момент я их увидел. — Иванова словно начал раздражать допрос, он говорил резко. — Мне было не до них.

— Но может быть, случайно вы запомнили, были они старые или молодые?

— Могу сказать одно, меня удивляют ваши вопросы.

— Сожалею, что вынужден задавать их. Вы сказали, что готовы сделать всё, что можете, чтобы помочь нам. Эти вопросы нужны.

— Извините! Спрашивайте!

— Значит, о немецких офицерах вы ничего сказать не можете?

— Они показались мне на одно лицо.

— Но если бы среди них были гестаповцы, которые допрашивали и мучили вас почти сутки, вы их, вероятно, узнали бы?

— Не могу сказать. Возможно, они там были.

Новый, более отчетливый кивок головы незнакомца, и новая перемена темы Кругловым:

— Хорошо, оставим и этот вопрос. Скажите, в каком физическом состоянии находились люди, которых расстреливали вместе с вами?

Афонин почувствовал, что полковник переходит к четвертому факту, о котором почему-то умолчал, и удвоил внимание. Он видел, что человек в кресле немного по-

дался вперед, услышав этот вопрос, словно напрягся в ожидании ответа Иванова.

— Большинство было сильно избито; человек пять или шесть — в почти нормальном состоянии. Хуже всех было со мной и женщиной, кстати единственной среди нас.

— Допустим, что кто-нибудь из вас бросился бы на офицеров, хотя бы в тот момент, когда вас высадили из машины или когда вели ко рву. Сколько человек могло бы его поддержать?

— Все! Не сомневаюсь в этом. Я сам был очень слаб, но ни минуты бы не колебался.

— Это ясно. Но я спрашиваю о другом. Сколько человек физически могли напасть на пятерых здоровых немцев и одного, тоже здорового, русского?

— Точно сказать не могу. Думаю, что человек десять были вполне способны на это.

— Офицеры держали пистолеты в руках?

— Нет, это точно помню.

— Значит, — Круглов стал говорить очень медленно, словно разделяя паузой каждое слово, — если не считать одного человека с автоматом, против вас находилось пятеро фактически безоружных. Шоферы были в машинах. В отдалении. Достать пистолеты из кобур нужно время. Почему же вы не бросились на них? Вас было пятнадцать!

«Да, точно! Это и есть четвертый факт. И он действительно непонятен», — подумал Афонин.

— Почему не бросились? — Иванов смотрел на полковника явно растерянно. — Почему не бросились? А ведь правда, почему? Я очень хорошо помню, что об этом говорили ночью, в подвале. Решили, что нападут хотя бы на взвод солдат, чтобы принять смерть в борьбе.

— Вот видите! А перед вами оказался не взвод, а всего пять безоружных (Круглов сильно нажал на это слово) офицеров. И один только автомат, который в этом случае, скорее всего, не был бы пущен в ход. Вам было ясно, что шансы на спасение огромны. Рядом был лес. В чем же дело?

Афонин понял, что этот вопрос, настойчиво повторенный полковником, имеет какое-то особое, неизвестное ему, Афонину, решающее значение. Стало ясно, что Иванов вызван сюда исключительно для того, чтобы ответить

на него, а всё предыдущее только подготовка к этому вопросу. Он видел, с каким напряжением Круглов ожидал ответа.

Человек, сидевший в кресле, встал. Афонин машинально отметил, что он высокого роста и худ. Рассматривать не было времени: всё внимание сосредоточилось на Иванове.

А тот поднял руку, пошевелил ею, словно не зная, что с нею делать, потом провел дрожащими пальцами по лбу, покрывшемуся капельками пота.

— Напрягите память!

Это сказал незнакомец, повелительно, властно, громко, точно ударил хлыстом.

Иванов сжал голову руками. Выражение боли исказило его черты. Неожиданно он покачнулся и упал бы на пол, не подхвати его незнакомец, оказавшийся уже рядом.

— Ничего! — сказал он спокойно. — Всё в порядке, лучше, чем могло быть. Небольшой обморок, которого я ожидал. Пожалуйста, стакан воды, Дмитрий Иванович!

3

Афонин даже не заметил, как незнакомец привел в чувство потерявшего сознание Иванова, как бывшего комиссара отправили домой в сопровождении одного из сотрудников управления. Все мысли капитана были поглощены неожиданным, ошеломляющим открытием.

Да, полковник Круглов был прав, Афонин всё понял!

Не понять было нельзя.

Но кто мог ожидать такое?!

Его привел в нормальное состояние голос начальника МУРа.

— Познакомьтесь! — сказал Круглов. — Профессор Снегирев Всеволод Аркадьевич! Капитан Афонин Олег Григорьевич!

— Так это вы расследовали дело Миронова? — спросил профессор, пожимаая руку Афонова с такой силой, что тот поморщился.

— О, нет! — вздохнув, ответил капитан. — Никак не могу приписать себе хоть какую-нибудь заслугу. Всё время я блуждал в тумане, как слепой.

Снегирев улыбнулся.

У него было очень моложавое лицо. Светло-серые, почти голубые глаза смотрели на Афонина чуть насмешливо.

— Я тоже блуждал в тумане, — сказал Круглов. — До тех пор, пока не мелькнула мысль о гипнозе. А тогда я вспомнил показания Синельникова. — Он повернулся к Афонину. — Синельников — это один из «расстрелянных» вместе с Ивановым. Он знал Миронова и, когда пришла наша армия, рассказал обо всем в политотделе армейской дивизии. Его рассказ, зафиксированный в форме протокола, и есть тот документ, о котором я говорил вчера. А когда я вспомнил, что там упоминалась фамилия Иванова, всё стало окончательно ясно.

— Мне и теперь не всё ясно, — признался Афонин. — С момента мнимого расстрела прошло много времени. Почему же Иванов потерял сознание сегодня?

— Такой вопрос, — очень серьезно сказал Снегирев, — делает вам честь, Олег Григорьевич. Вы, если можно так выразиться, ухватились за главное звено всей цепи. Именно в этом проявилась колоссальная сила Эдуарда Фаулера.

— Почему Фаулера? — удивленно спросил Круглов. — Мне известна фамилия Фехтенберг.

Снегирев пренебрежительно махнул рукой:

— Фехтенберг, Стимсон — это всё псевдонимы. Такие люди встречаются крайне редко и хорошо известны в медицинском мире. Я готов спорить на что угодно, — это был именно Фаулер.

Зазвонил телефон. Круглов снял трубку. Афонин увидел, как просветлело лицо его начальника.

— Ну вот, — сказал он, положив трубку телефона, — всё и пришло к концу. Эдуард Стимсон задержан. Он будет доставлен в Москву завтра утром.

— Я ничего не понимаю, — сказал Афонин.

— Сейчас поймешь. Вы не возражаете, Всеволод Аркадьевич?

— Наоборот, мне самому интересно.

— Так вот, — сказал Круглов. — Когда мы установили, что в номер к Михайлову, вернее Миронову, входил какой-то человек, передавший ему пистолет, изготовленный на Западе не более чем два месяца назад, мы предположили, что это иностранец. Я получил список всех, кто находился в гостинице «Москва» в утро самоубийства. Но, к моему разочарованию, фамилии Фехтенберг

в нем не было. Дело в том, что, получив сообщение Синельникова, сотрудники особого отдела дивизии провели расследование и допросили большое количество пленных, взятых как раз в том городе, где произошла эта история с Мироновым. И выяснилось, что расстрелом руководил Фехтенберг, недавно приехавший из Берлина. Мое внимание обратил на себя тот факт, что корреспондент Стимсон выехал из гостиницы «Москва» в тот же вечер, хотя приехал только накануне. И естественно, явилось предположение, что Стимсон — псевдоним Фехтенберга. Я обратился в прокуратуру и получил ордер на его задержание. Майор Дементьев вылетел тотчас же наперехват. Помогло то, что Стимсон приобрел билет через администрацию гостиницы. Вот, в сущности, и всё. Стимсона задержали на самой границе.

— На самой границе? — Снегирев казался удивленным. — Выходит, что Фаулер не чувствует себя в чем-либо виноватым. Иначе он попытался бы заставить Дементьева отпустить себя.

— Вы думаете, это так просто сделать? — усмехнулся Круглов. — Мы ведь знали, с кем имеем дело. Мы не столь наивны.

— Простите! — сказал Снегирев.

— Допустим, что Дементьев отпустил бы Стимсона. Ну пусть будет Фаулер. Тогда его задержали бы другие. Все меры были приняты.

Профессор повернулся к Афонину. Казалось, он был чем-то очень недоволен.

— Вы спрашивали, почему Иванов потерял сознание?

— Да, меня это интересует.

— Вы знакомы с принципами и техникой гипноза?

— С техникой, конечно, не знаком. А с принципами весьма поверхностно.

— Но всё же знакомы? А вы? — спросил он Круглова.

— Вероятно, так же, как капитан Афонин.

— У вас есть время? Мне придется прочесть небольшую лекцию.

— Ради такого случая у кого угодно найдется время. Надо же знать, как действует человек, которого нам придется завтра допрашивать.

— Рекомендую не забыть сделать это в моем присутствии.

— Конечно, Всеволод Аркадьевич! Именно потому мы вчера и обратились к вам. И очень признательны за ваше согласие.

— Так вот, — начал профессор. — Вы догадались, что Миронов расстреливал своих под внушением Фаулера, тогда Фехтенберга. Под тем же внушением он выпустил очередь из автомата в воздух. По той же причине офицеры, присутствовавшие при расстреле, не проверили результат расстрела. Но вы, вероятно, не знаете, что внушение такой силы невозможно.

— То есть как это невозможно? Оно же было!

— Невозможно для человеческого мозга, — повторил профессор. — На помощь Фаулеру пришла техника. Чтобы вы лучше поняли, мне придется коснуться вопроса о сущности гипноза. Я не буду утомлять вас и скажу только то, что поможет вам понять силу и... слабость Фаулера. Мысль, с очень грубым приближением, можно сравнить с радиоволнами. Я подчеркиваю, что говорю крайне упрощенно. Но такое сравнение удобно, как бывает удобно объяснять явления в электрической цепи путем аналогии с течением воды в трубах. Примем такой метод, — это короче. Итак, каждый человек имеет в мозгу небольшую передающую станцию и приемник, очень малочувствительный при этом. Благодаря слабости передающих «станций» и низкой чувствительности «приемников», мы не слышим мыслей друг друга. Но из радиотехники известно, что и на малочувствительных приемниках можно с успехом принимать передачу особо мощных станций. То же происходит и здесь. Мысль, переданная мощным источником, воспринимается мозговым приемником и, что особенно важно, воспринимается как мысль собственная. Хорошо ли вы меня понимаете?

— Думаю, что да, — одновременно ответили Круглов и Афонин.

— Отдельные люди, — продолжал профессор, — иногда обладают от природы очень сильной «передающей станцией», но всё же недостаточной, чтобы передать мысль с такой силой, которая заставила бы другого человека подчиниться. Но внушение — могучее средство в борьбе с психическими расстройствами, и естественно, наука ищет средства, могущие усилить естественную «передающую станцию», сделать ее более мощной. Вам ясно?

На этот раз ответил только Круглов:

— Вполне. Продолжайте, пожалуйста!

— Мне осталось сказать немного. Эдуард Фаулер — врач-психиатр. Он широко известен не только на своей родине — в Канаде, но и во всем научном мире. Он достигал выдающихся результатов в лечении психических заболеваний, главным образом потому, что от природы обладает исключительно сильной «радиостанцией». Он — редкое явление в медицине. Но, как я уже сказал, его сила недостаточна, чтобы обеспечить успех во всех случаях. А успех ему необходим. Фаулер — я говорю только о предвоенном периоде, теперь я потерял его из виду — стремился к славе «чудотворца», потому что слава в мире капитализма — это деньги. Видимо, ему удалось напасть на верную идею усилителя мысли. Да и не только видимо, а наверное так. Без такого усилителя невозможно было бы проделать такой номер, как в истории с Миرونным. Вот почему я выразил удивление, когда вы сказали, что вашему Дементьеву удалось задержать Фаулера. Вооруженный усилителем, он неуязвим. Ему ничего бы не стоило заставить отпустить себя и даже совершенно забыть о нем не только одного Дементьева, но и других. Мне непонятно, почему он этого не сделал.

— Завтра, — сказал Круглов, — вы сможете узнать это от него самого.

— Вот почему, — повернулся Снегирев к Афонину, — Иванов потерял сознание сегодня. Все осужденные были под внушением Фаулера. Именно поэтому они и не бросились на палачей. Это внушение, точнее сказать — состояние мозга после внушения, дает о себе знать длительное время. У Иванова усилие вспомнить привело к обмороку. А у Миронова, например, внушение Фаулера действовало до самой смерти.

Наступило непродолжительное молчание. Его нарушил Круглов:

— Нам известно, что Фаулер — Фехтенберг помог Миرونну бежать к партизанам. Это показывает, что он действовал, в общем, так, как подобает ученому, а не фашисту. Я никоим образом не хочу сказать, что Фаулер ни в чем не виноват. Его вина велика, и я думаю, что он будет отдан под суд. Но мне не ясно, почему он не снял с Миронова свое внушение. Должен же он понимать, что его жертву будет терзать совесть. Из самого факта, что пришлось прибегнуть к гипнозу, видно, что Фаулер

знал о том, что Миронов патриот и не станет предателем.

— Об этом мы тоже спросим его завтра. Я не знаю точно конструкции усилителя Фаулера. Нашим стационарным усилителем можно снять с человека, как вы выразились, ранее внушенное. А портативных, переносных, у нас нет. Нам они не нужны.

— Значит, такие усилители у нас есть?

— Я уже сказал, таких нет. Но есть другие. Эта идея висела в воздухе и, как всегда бывает, осуществлена не только одним Фаулером. У нас есть крупные стационарные усилители, и они успешно применяются в лечебных целях. Есть ли такие в других странах, в частности у Фаулера, не знаю. Но если у него они есть, то я заранее могу сказать, что в его руках они не дадут того, что дают наши.

— Почему?

— Потому что Фаулер и многие, подобные ему, зарубежные ученые исходят из неверной точки зрения на внушение. Они считают, что нужно навязать пациенту мысль врача. Но это не так. Внушаемая мысль должна восприниматься, и воспринимается, как мысль собственная. Я уже говорил об этом. Если бы это было не так, то получилось бы, что можно изменить внушением, скажем, политические убеждения. А это абсолютно невозможно. Кстати, я точно знаю, что Фаулер, по крайней мере до войны, считал это возможным.

— Почему вы подчеркнули, что до войны?

— Потому что я убежден, читал. Он увидел Мирнова, очевидно, в гестапо при допросах, на которых смог присутствовать. Он понял, что этот человек обладает сильной волей и твердыми убеждениями. Я знаю психологию ученых, подобных Фаулеру. Ему захотелось проверить на *таком объекте* силу своего усилителя. Трудно удержаться от такого соблазна. А потерпев неудачу, он проверил усилитель в другой области, с помощью того же Мирнова. По всей вероятности, Фаулер сумел заинтересовать гестапо своими опытами. Только этим можно объяснить его присутствие при расстреле.

— Значит, вы полагаете, что при расстреле всё же были гестаповцы? — спросил Круглов.

Афонин невольно улыбнулся. В голосе Круглова прозвучало глубокое разочарование. Ведь он был убежден, что там не было сотрудников гестапо.

— Конечно, — ответил Снегирев. — Кто же еще мог там быть?

— Странно всё-таки, что гестаповцы с таким доверием отнеслись к Фаулеру.

— Что вы имеете в виду?

— Надо быть очень уверенным в силе гипнотизера, чтобы спокойно стоять безоружным перед лицом вооруженного автоматом партизана. Ведь он мог пустить очередь в них самих.

— Видимо, они были вполне убеждены, — сказал профессор, но Афонин заметил, что тень сомнения пробежала по его лицу и фраза прозвучала совсем не уверенно...

На следующее утро капитан Афонин присутствовал на допросе человека, которого профессор Снегирев называл Эдуардом Фаулером, но который был известен до сих пор под именами Фехтенберга и Стимсона.

...Накануне вечером Круглов вызвал Афонина к себе и сообщил ему, что следственные органы Советского Союза не располагают никакими сведениями, компрометирующими Фехтенберга, кроме всё того же «дела Михайлова — Миронова».

— Если он сумеет доказать, что спас пятнадцать приговоренных к расстрелу, а это и для нас несомненно, то его не в чем будет обвинить. Он канадец, и если служил немцам, то это относится к ведению канадских властей.

— Вы хотите сказать, что мы задержали его незаконно? — спросил Афонин.

— О нет! Он задержан не как Фехтенберг, а как Стимсон, человек, вошедший в номер гостиницы, занимаемый Михайловым, передавший ему пистолет «вальтер» и заставивший его покончить самоубийством с помощью внушения.

— Это еще надо доказать.

— Вот именно. И в этом нам должен помочь профессор Снегирев.

— Внушением говорить правду?

— Такие методы допроса запрещены законом. Ты сам знаешь. Кстати, профессор убежден, что Фаулер скажет правду.

— Он говорил это?

— Да. И я почему-то верю.

— Видимо, потому, — сказал Афонин, — что Фаулер не попытался заставить себя отпустить на границе.

— Отчасти поэтому. Он уверен, что ему ничто не грозит.

— Вы сказали «отчасти». Какие еще основания думать, что Фаулер скажет нам правду?

— Только характеристика, данная ему Снегиревым. Фаулер — ученый, глубоко преданный науке, хотя и во многом заблуждающийся. Таким людям лгать не свойственно...

Капитан Афонин представлял себе Фехтенберга — Стимсона — Фаулера совсем не таким, каким он оказался на самом деле. Ему казалось — почему, он и сам не знал, — что человек, обладающий такой силой, должен быть и физически могучим. И когда в сопровождении майора Дементьева в кабинет Круглова вошел задержанный, Афонин был разочарован.

Фаулер был пизеньким толстым человеком лет сорока. Лысая голова его, окруженная венчиком рано поседевших волос, походила на тыкву. Круглая, лоснящаяся. Глаза с синеватым оттенком не имели в себе ничего «гипнотического». Он выглядел добродушным.

— Садитесь! — сказал Круглов.

Кроме него в кабинете находились профессор Снегирев и три бывших партизана, имевшие близкое отношение к истории Миронова — Михайлова, — Иванов, Нестеров и Лозовой.

И, конечно, Дементьев и Афонин.

Фаулер спокойно сел.

— Я к вашим услугам, — сказал он на довольно чистом русском языке.

— Будем вести беседу по-русски или по-английски? — спросил полковник.

Афонин обратил внимание, что его начальник не сказал «допрос».

— Мне всё равно, — ответил Фаулер. — Я говорю по-русски.

— В таком случае приступим. Итак, господин Фаулер...

— Моя фамилия Стимсон.

— Насколько я знаю, это псевдоним. В действительности вы Эдуард Фаулер.

— А кто вам это сказал?

— Я! — ответил Снегирев.

— Можно узнать, кто вы такой?

Снегирев назвал себя.

— Слышал! — сказал Фаулер. — Допустим, что вы правы. Что из этого?

— Просто мы хотим установить истину, — сказал Круглов. — Прошу вас рассказать, при каких обстоятельствах вы оказались у фашистов под фамилией Фехтенберг, где и когда увидели партизана Миронова и для чего заставили его расстрелять советских людей?

— Отвечаю по порядку заданных вопросов. Как и зачем я оказался в немецкой армии под фамилией Фехтенберг и что я там делал, вернее, для чего был туда направлен, вам могут сообщить руководители разведки канадской армии или английской. Если, разумеется, сочтут нужным это сделать. Я не имею права говорить об этом.

— Вы намекаете на особое задание?

— Я отвечаю на ваши вопросы, — сухо сказал Фаулер. — Могу прибавить и доказать, что пробыл в немецкой армии очень недолго. Причиной явился как раз Миронов. Случившееся с ним так на меня повлияло, что я сразу вернулся в Берлин. Но после того, как помог Миронову бежать к партизанам и убедился, что он находится в безопасности.

— Вы и сами у них были, — как бы между прочим заметил Круглов.

— Только потому, что так сложились обстоятельства. Рассказывать о них долго, да вам это и неинтересно. Я быстро покинул партизан. И на следующий день уехал из армии.

— Почему именно в Берлин?

— Странный вопрос! Потому что у меня были дела в Германии, и я считался на их службе.

— Пожалуйста, продолжайте!

— Вы спрашиваете, как я познакомился с Мироновым? Отвечаю. Увидел его в гестапо на допросе. Был поражен силой воли этого человека и решил его спасти.

— Каким путем?

Фаулер бросил взгляд на Снегирева.

— Видимо, — сказал он, — вы уже сами всё знаете. Но всё равно. У меня был только один способ спасти

Миронова от пыток и казни. А заодно и кое-что проверить...

— Возможности вашего усилителя, — вставил Снегирев.

— Вот как! Вы и это знаете. Ну что ж! Да! Хотел бы я посмотреть, как бы вы сами поступили на моем месте.

— Как бы поступил на вашем месте профессор Снегирев, не имеет значения, — сказал Круглов. — Нас интересует, как поступили вы.

— Я полагаю, что это вам уже известно.

— Желательно уточнить.

— Пожалуйста! — как-то равнодушно сказал Фаулер. — Спрашивайте!

— Зачем вы внушили Миронову ненависть к расстреливаемым?

— Считаю, что это необходимо. В конце концов иного выхода у меня не было, если я хотел его спасти. Он должен был доказать гестаповцам, что готов им служить. Психика человека сложна. Была опасность периграть или, что еще хуже, недоиграть. Всё должно было выглядеть убедительно. Вы, разумеется, знаете, что расстрел был мнимым. Миронов стрелял из моего автомата, заряженного холостыми патронами. Всё обошлось даже лучше, чем я надеялся. Сцена была сыграна хорошо!

В голосе Фаулера прозвучала гордость. Видимо, ему и в голову не приходило, что его поступок можно расценить иначе, чем расценивал он сам.

— Кто кроме вас присутствовал при расстреле?

— Мои адъютанты. Офицеры армейского корпуса.

— Почему не было гестаповцев?

— Потому что мне так было удобнее.

— Вы могли распоряжаться в гестапо?

— Я приехал из Берлина с широкими полномочиями, мне обязаны были подчиняться. Если бы немцы только знали, кому они подчиняются, — усмехнулся Фаулер.

— Чем объяснили свое желание?

— Ничем не объяснял. История моего пребывания у немцев могла бы составить увлекательный роман. В армию я приехал как представитель Гиммлера и никому не отдавал отчета в своих действиях. Держался, как подобает высокопоставленному гестаповцу, заносчиво и грубо. Они пресмыкались передо мной. Когда-нибудь я опишу всё это в книге.

Когда Фаулер сказал, что при расстреле не было ни одного гестаповца, Круглов с торжеством посмотрел на Афонина. Полковник всегда тяжело переживал свои ошибки в анализе фактов. То, что он, вопреки мнению Снегирева, всё-таки был прав, доставило ему большое удовольствие.

— Хорошо, — сказал он. — С вопросом о Миронове пока ясно. Перейдем, с вашего разрешения, к другому. Вы первый раз в Москве?

— Первый.

— Приехали как корреспондент?

— Да.

— А почему под чужой фамилией?

— Потому что и раньше часто писал для этой газеты. Статьи по моей специальности. И подписывал их псевдонимом Стимсон.

— Миронова — Михайлова вы встретили вечером, в день приезда?

— Да.

Было ясно, что ответ прозвучал невольно. Фаулер ответил машинально, по инерции. Он покраснел и, было похоже, рассердился на себя.

— Вы ловко меня поддели, — сказал он. — Я не хотел говорить о встрече с этим человеком. Видите, я говорю откровенно. Я мог бы сказать, что оговорился.

Круглов кивнул головой.

— Могли! — сказал он. — Но мы рассчитывали на вашу откровенность и были уверены, что вы лгать не будете.

— Разрешите спросить, откуда у вас была такая уверенность? Ведь вы меня не знаете.

— Вы крупный ученый, — просто ответил полковник. — А в данном случае ложь была бы бесполезной. Миронов застрелился из пистолета «вальтер», на ручке которого остались следы ваших пальцев.

— Понимаю! Так вот, значит, для чего у меня сняли отпечатки. Вы хорошо подготовились. Отдаю вам должное.

— Благодарю вас! — без тени улыбки сказал Круглов. — Раз вы согласны говорить правду, наш разговор не затянется.

— Да, придется рассказать всё. Спрашивайте!

— Зачем вам мои вопросы?

— Правильно, не нужны. Я сам знаю, что вы хотите

спросить. В смерти Миронова я не виновен. Его самоубийство было очень неожиданно и очень неприятно для меня. Оно потрясло меня. И только из-за этого я решил срочно покинуть вашу страну. Я хотел ему только добра.

— Что понимать под словом «добро»? — сказал Круглов. — У разных людей разные представления о добре. Психика человека — сложна, — насмешливо повторил он слова самого Фаулера. — Кому и знать это, как не вам.

— Добро всегда одно для всех, — поучительным тоном сказал Фаулер. — То, что хорошо для человека, всегда хорошо. Ваша ирония здесь, мягко выражаясь, неуместна. Я вижу, вы не верите в то, что я не принуждал Миронова к самоубийству. А это правда. Слушайте! — Он с минуту молчал. — Я не буду читать вам популярную лекцию. Всё, что может вас заинтересовать, вам объяснит ваш консультант — профессор Снегирев. Скажу коротко. Миронов был очень интересным перцепиентом. В своей практике, а она была и есть очень обширна, я не встречал людей, столь восприимчивых к индукторной передаче. Там, в тылу немцев, я пробовал проверить на нем одну свою теорию...

— Перемены политических взглядов силой внушения, — снова вмешался Снегирев.

— Свою теорию, — продолжал Фаулер, словно не заметив реплики. — И потерпел полную неудачу. Но не потому, что имеет в виду уважаемый профессор. Память об этой неудаче не давала мне покоя всё это время...

— Разве эта неудача была единственной? — не удержался Снегирев.

Фаулер нахмурился.

— Я прошу вас, — обратился он к полковнику Круглову, — оградить меня от бестактных вопросов. Я не намерен устраивать здесь научную дискуссию. В моем теперешнем положении она просто смешна. В противном случае я отказываюсь отвечать.

— Больше вас не будут перебивать, — сказал Круглов.

— Я неожиданно встретил Миронова в коридоре гостиной и сразу узнал его. Он меня не заметил. Встреча эта очень взволновала меня. Я даже не мог заснуть, с такой силой мною овладело желание еще раз поработать над этим объектом. Нет, я не хотел его принуждать,

ни в коем случае не хотел. Я решил сделать ему очень выгодное предложение и был уверен, что он примет его. Утром я зашел к нему. Но он отказался наотрез.

— От чего отказался?

— От поездки ко мне, в Канаду, и от работы со мной. Я предложил ему такое вознаграждение, от какого не должен был отказываться ни один здравомыслящий человек. Но он отказался. И тогда я возмутился. Признаю, в этом я виноват. В пылу гнева, я подвержен припадкам гнева, — прибавил Фаулер, — я усыпил его и внушил желание ехать. Вернее, перейти границу неофициально, потому что я понимал: его могут не отпустить. Когда я разбудил его, он согласился. И неожиданно для меня попросил оружие. Я подумал, что он боится переходить границу безоружным, и отдал ему пистолет. Вот и всё. Мне не могло прийти в голову, что он так им воспользуется.

— А вы не опасались, что он обратит ваш пистолет против вас же самого, чтобы избавиться наконец от вашего насилия над его волей.

— Этот вопрос, — ответил Фаулер, — свидетельствует, что вы плохо разбираетесь в вопросах гипноза. Миронову не могла прийти мысль о каком-либо внушении. Свое согласие он считал добровольным.

Круглов посмотрел на Снегирева. Профессор кивнул головой, подтверждая слова Фаулера.

— Почему, — спросил он, — вы не прибегли к усилителю?

— Во-первых, потому, что он был в данном случае не нужен. А во-вторых, у меня его нет. Брать с собой усилитель было ни к чему. Я приехал как корреспондент, и только как корреспондент.

Было несомненно, что Фаулер говорит правду. И ясно было, что он совершенно не сознает всей низости своего поведения. С его точки зрения, он хотел Миронову добра, а предложение было *естественным и выгодным* для Миронова.

— У меня нет больше вопросов к вам, мистер Фаулер, — сказал полковник.

— Значит, я свободен?

— Пока еще нет. С вами хотят поговорить в другом месте. Не буду вдаваться в анализ ваших поступков, скажу только: по нашим законам вы не безгрешны. Но это опять-таки вам разъяснят не здесь.

— Разрешите задать один вопрос, — попросил Лозовой.

— Задавайте!

— Почему, мистер Фаулер, вы не сказали Миронову о том, что он фактически никого не расстрелял?

— Потому что это не так просто было сделать, как вам кажется. Стереть в памяти то, что было ранее внушено, требует времени, которого не было, и более мощного усилителя, чем мой портативный аппарат. Слово «стереть», конечно, примитив, — добавил Фаулер. — Миرون мне не поверил бы. Я обдумал его положение и приказал ему переменить фамилию. Больше я ничего не мог сделать.

— Но ведь должны вы были понимать, что воспоминание о расстреле своих же товарищей...

— Какое воспоминание? — перебил Фаулер. — Никаких воспоминаний у него не было.

— Почему же он искал смерти?

— Я не знаю, искал ли он ее. А если искал, то на это была другая причина. О расстреле он помнить не мог. — Фаулер задумался. — Вы говорите, он искал смерти. Это точно?

— Не может быть никаких сомнений. — Лозовой указал на Нестерова. — Вот он был командиром того отряда, куда вы оба попали после боя в опорном пункте. А я был комиссаром этого отряда. Мионов — Михайлов упорно искал смерти в бою. Что-то мучило его всё время. Я считаю, что он помнил и его терзала совесть.

Фаулер пожал плечами.

— Помнить он никак не мог, можете спросить профессора Снегирева. Он подтвердит мои слова. Но я вспоминаю, что Мионов говорил мне, что почему-то не помнит допросов в гестапо. Я отвечал ему, что он находился в состоянии гипноза, что сделать это меня побудила жалость и желание избавить его от сознания пыток, от боли. И что по этой же причине он подписал обязательство сотрудничать с немцами. Я тут же прибавил, что перебросу его к партизанам в самое ближайшее время и, следовательно, никакого сотрудничества не будет и его совесть может быть чиста.

— И он вам поверил? — спросил Снегирев.

— Думаю, что поверил. Но он несколько раз возвращался к этому разговору.

Профессор наклонился вперед и, пристально глядя в глаза Фаулеру, спросил:

— Скажите, когда в номере гостиницы вы внушали Мионову согласиться на ваше предложение, не вспомнили ли вы случайно о событиях прошлого?

— Вы имеете в виду мнимый расстрел?

— Да!

— Кажется, вспомнил. Да, точно, воспоминание мелькнуло. Но ведь это естественно... — Неожиданно канадец вскочил. Растерянность, даже смятение ясно отразилось на его лице. — Вы думаете?..

— Да, — грустно ответил профессор. — Именно это самое.

— О, боже великий! Значит самоубийство?..

— Сомнений быть не может. Самоубийство — ваша вина! Правда, невольная, этого я не могу отрицать.

— Я никогда не прощу себе!

— Хочу верить.

Снегирев повернулся к полковнику Круглову:

— Вы говорили, что у вас нет больше вопросов. Тогда очень прошу вас — заканчивайте допрос. Или позвольте мне уйти. Я не могу больше видеть этого...

— Но ведь вы сами сказали, что я невольно, — умоляюще воскликнул Фаулер.

— Ничего не меняет. Вы обязаны были понимать, что вы делаете, и следить за своими мыслями. Вы ученый, а не дилетант в науке.

Снегирев повернулся к канадцу спиной.

— Есть у кого-нибудь вопросы? — спросил Круглов. Все молчали.

— В таком случае, всё!

Фаулера увели.

— Я не вполне понял смысл вашего разговора с этим человеком, — сказал Круглов, обращаясь к Снегиреву.

Профессор встал и нервно заходил по кабинету.

— Вот что делает наука в руках безответственных ученых, — сказал он. — Погоня за деньгами и славой, личные интересы прежде всего. А люди? Материал для опытов, не более. Кролик или человек — какая разница? Смысл нашего разговора? При чем здесь его смысл? И я не верю в искренность его раскаяния. «О боже великий! Я никогда себе не прощу!» Слова, слова, слова! Подопытный кролик умер, только и всего! Какое ему дело до «кроликов».

Профессор уже почти бегал по комнате.

— Но может быть, всё же вы объясните нам, почему застрелился Миронов?

— Потому что по вине этого, с позволения сказать, ученого, Миронов отчетливо вспомнил всю сцену расстрела им советских людей, вспомнил, *не зная*, что стрелял холостыми патронами и никого не убил. *Не зная!* Можете вы понять весь ужас этого? На ваш вопрос, — профессор повернулся к Лозовому, — Фаулер ответил правильно. Миронов не помнил о расстреле, потому что в тот момент находился под сильнейшим внушением. А значит, и бесполезно было говорить ему о том, что расстрел был мнимым. Он действительно просто не поверил бы. Но в гостинице Фаулер обязан был сказать ему об этом. Врач, проводящий сеанс гипноза, не может думать в этот момент о чем придется. Тем более такой, как Фаулер. О своей исключительной силе он хорошо знает. Один факт, что без помощи усилителя ему удалось вернуть память Миронову, говорит об этой исключительности. — Снегирев резко остановился. — А может быть, — сказал он медленно, — не было тут никакой случайности? Может быть, он не невольно, а сознательно вернул память Миронову? Для того, чтобы еще в большей степени внушить ему желание бежать из нашей страны? Что, если так?

— Возможно, — отозвался Круглов. — Но доказать этого никак нельзя.

— Не в доказательстве дело. Так или иначе, но Миронов, внезапно для себя, вспомнил, что он сделал, находясь у немцев. Вспомнил, что среди расстрелянных находился его комиссар Иванов, имя которого стояло в списке награжденных. Видимо, он подумал, что этот Иванов случайно остался жив. И ему предстояла встреча с этим самым Ивановым при получении награды. Он понял, что оправдания ему нет.

— Это вполне правдоподобно.

— Это факт. И в этом причина самоубийства.

— А в чем же тогда причина поисков Мироновым смерти?

— Трудно сказать! Возможно, он мучился неизвестностью. Ведь Фаулер сказал ему, что на допросах он находился под внушением. Он не знал, что и о чем говорил на допросах. Может быть, выдал кого-нибудь. Не мог он полностью верить Фаулеру, которого считал гестапов-

цем. Кроме того, в партизанском отряде он назвал себя Михайловым, а о том, что в действительности его фамилия Миронов, судя по всему, помнил. И сам не понимал, что заставляет его упорно держаться за фальшивую фамилию. И еще. Он знал, что подписал обязательство сотрудничать с гестапо. Для честного человека сознание этого непереносимо, что бы ни было причиной. А может быть, он и не искал смерти, а просто был человеком бесстрашным.

— Нет, — сказал Нестеров. — В том, что он искал смерти, сомневаться нельзя. Это было именно так.

Снегирев развел руками.

— Тут я бессилен, — сказал он.

— Хорошо! — сказал Круглов. — Всё, что вы сказали, безусловно, истина. И всё сходится. Но неясны два пункта. Зачем Миронов сжег какие-то бумаги?

— Боюсь, что это навсегда останется тайной, — ответил профессор. — В состоянии остро воспринятого внушения мысль человека работает иногда причудливо.

— Зачем он попросил у Фаулера пистолет?

— На это легче ответить. Во-первых, у него могла явиться если не мысль, то желание убить Фаулера. А во-вторых, могла сказаться привычка иметь при себе оружие. Я уже сказал, что в таком состоянии мысль человека причудлива. И в-третьих, он мог пожелать иметь оружие именно потому, что почувствовал желание тайно перейти границу. Ведь о том, что он загипнотизирован, Миронов не догадывался. И очень возможно, если бы у него мелькнула мысль не являться за наградой, а сразу бежать, он не застрелился бы. Но здесь огромную роль играет характер человека и, разумеется, тот факт, что Фаулер действовал без усилителя. Полностью подавить протест в душе Михайлова ему не удалось. Трудно сказать, — задумчиво закончил Снегирев.

Наступило непродолжительное молчание. Его нарушил Лозовой.

— Как хотите, — сказал он, — а мне как-то не верится, что Фаулер был направлен к немцам с разведывательной целью. Он же ученый, а не разведчик.

— Зато в его руках была сила, которой не обладают обычные разведчики. Мы не знаем, с каким заданием он был послан. Может быть, именно эта сила и сделала его единственным, кто мог выполнить это задание.

Круглов потер лоб.

— Что-то я припоминаю, — сказал он. — Как будто этим вопросом интересовались, когда стали известны показания Синельникова. Фигура Фехтенберга выглядела загадочно. Нет, Фаулер сказал нам правду. И в том, что канадская разведка вряд ли захочет сообщить подробности, он также прав. Когда-нибудь, возможно, мы их узнаем, если Фаулер действительно напишет свои воспоминания.

— Интересно, как с ним поступят? — сказал Иванов, молчавший до сих пор.

Круглов улыбнулся.

— Я не пророк, — сказал он. — Очень скоро это станет известным.



Аскольд Шейкин

ТАЙНА ВСЕХ ТАИН

ПОВЕСТЬ

Писатель — это воронкообразный фильтр с высоким коэффициентом скважности.

Из выступления ученого-кибернетика на симпозиуме по комплексному изучению художественного творчества.

Ленинград, Отделение Союза писателей, 1963 г.

Часть I

У ПОРОГА ТАИНЫ

Глава первая

Кирилл Петрович — академик, физик, математик, кибернетик, лауреат Государственных премий. Ему лет шестьдесят. Он приземист, подстрижен ежиком; лицо грубоватое, с коричневой обветренной кожей. На нем светлый серый костюм, белоснежная рубашка, черный капроновый галстук. Говорит он негромко. Задавая вопрос, делает короткий жест правой рукой, словно приглашая вступить в спор.

Но о каком споре может идти речь? Утром мне позволили и пригласили в Институт прикладной энергетики. Поколебавшись мгновение — стоит ли ломать сегодняшний день? — я согласился. Не так уж часто меня приглашают к себе академики!

И вот мы беседуем, сидя в его кабинете.

— Наш институт, — говорит Кирилл Петрович, — занимается проблемой передачи энергии без проводов. Исследования идут сразу в нескольких направлениях. Одно из них развивает лаборатория, где вы сейчас находитесь. Она не очень велика, создана четыре года назад — срок, в общем, вполне достаточный, чтобы более или менее узнать друг друга, сработаться...

Уже с первых фраз я всё, мне кажется, понимаю: видимо, какие-то достижения лаборатории этого Кирилла Петровича решено выдвинуть на соискание Государственной премии. Согласно правилам с такой работой следует через газеты и радио ознакомить общественность. Сделать это и будет мне в конечном счете предложено. Но я не пишу очерков! Я пишу об ученых, но повести, рассказы.

Слушая Кирилла Петровича, я понемногу осматриваюсь. Здание, которое занимает институт, очень старой постройки. В дореволюционные годы в нем помещалась торговая фирма. Кабинет Кирилла Петровича, безусловно, остался от той поры. Он поражает: дубовые панели, дубовый письменный стол и кресла на драконьих лапах (и такие же лапы, и красные и зеленые морды из гипса на потолке!) — роскошь самая купеческая, столь колоритная и неповторимая в своей несуразности и размахе, что я вдруг начинаю сомневаться в реальности происходящего. Как может работать в таком кабинете современный ученый? Неужели это не мешает ему? Что он за человек?

— Давайте, — говорит Кирилл Петрович, — продолжим наш разговор уже после знакомства со всеми сотрудниками лаборатории.

У меня невольно вырывается:

— А нужно ли?

— Нужно, — отвечает Кирилл Петрович и добавляет, как бы уговаривая себя: — Очень нужно.

Первое помещение, куда мы попадаем, миновав узкий и извилистый, тоже явно оставшийся от старины коридор, — это обширный зал, блистающий стеклом и алюминием переплетов гигантских, от пола до потолка, окон. Пол его на десяток ступеней ниже порога. Мы останавливаемся у входа. У наших ног лилипутскими небоскребами высятся голубовато-серые параллелепипеды блоков счетной машины. Они окружают мерцающий сигнальными

огоньками полукруглый барьер. Это пульт управления. Гудят вентиляторы, поет генератор звукового контроля: уа, уа, уа...

И от порога я вижу сотрудников. Их трое. Все в белых халатах. Высокий полный мужчина лет сорока сидит у пульта на винтовом голубом стуле. Еще один мужчина — худощавый и сутулый — склонился над большим столом в дальнем углу. Молодая женщина в неловкой позе, с рулоном бумажной ленты в руке, стоит возле блока печатающего устройства. Всё — словно застывший кадр кинофильма.

«Взволнованы моим появлением? Что за чепуха!» — думаю я.

— Это наша основная группа, — говорит Кирилл Петрович.

Высокий мужчина поднимается с винтового стула, подходит к нам, протягивает руку:

— Рад познакомиться... Острогорский.

По всему его облику, по решительности движений, по спокойному прищурю глаз видно, что человек этот преуспевает и в научной работе и в личной жизни, и к тому же он наверняка любимейший сотрудник Кирилла Петровича.

— Кирилл Петрович, — продолжает Острогорский, — Гордич опять мудрит: вычисления за всю неделю — в корзину!

— Да, я знаю, знаю, — торопливо отвечает Кирилл Петрович.

— Так дальше нельзя. Мы только и занимаемся перепалками. — Острогорский вопрошающе смотрит на меня, безнадежно машет рукой и умолкает.

И уже вместе с ним мы подходим к женщине. Она кладет рулон на стол, глядит на свои руки — чисты ли? — здоровается. Ей едва ли больше двадцати четырех лет. Красива она удивительно.

Дело не только в правильности и изяществе черт лица и темно-каштановом цвете волос — моем любимом цвете. Просто я как-то мгновенно понял ее и восхитился ею, как человеком гордым и в то же время беззащитным из-за доверчивости и мягкости характера. Она, конечно же, из тех людей, которых с детства задержали воспитанием. Выработали умение держаться, развили чувство самоконтроля и, в добавление, привили устойчивую неуверенность в себе, которую на Западе называют комплексом непол-

ноценности, а у нас — застенчивостью молодого специалиста. Я всегда сочувствовал таким людям.

— Галина Тебелева, — излишне громко говорит Острогорский. — Инженер-программист!

Женщина вздрагивает и распрямляется. Смущенная улыбка делает ее еще красивее. Я ловлю на себе испытующий взгляд Острогорского. Он словно проверяет, какое впечатление произвела на меня Тебелева.

Затем мы подходим к сотруднику, который склонился над столом. Поглядывая на бумажку со схемой, он вставляет шпильки в отверстия квадратных пластин, разложенных на столе. Я понимаю: он готовит для машины новую программу вычислений.

— Пуримов, — говорит Острогорский, — Новомир Алексеевич.

В его голосе снисходительность.

С минуту мы смотрим на Пуримова — на его исхудалое сосредоточенное лицо, на седоватые, будто пыльные волосы, на мятый халат в пятнах ржавчины.

«Лаборант, — думаю я, — пожизненный старший лаборант, убежденный, что пройдет еще два-три месяца (или дня), он отложит все неважные дела, которые vyplняет по приказанию, займется самой высокой теорией и перевернет мир. И потому сегодня он ни в коем случае не должен терять время, отрывать от своей лаборантской работы. Даже вот сейчас, когда к нему подошло начальство».

Я оглядываюсь на Тебелеву. Она по-прежнему стоит возле печатающего устройства и улыбается.

«Коллектив самый обычный», — решаю я, с трудом перебарывая желание еще раз посмотреть на Тебелеву.

Следующая комната, куда мы приходим, невелика, стены расписаны красными, желтыми и черными треугольниками; в углу, слева от входа, над батареей парового отопления, квадратная клетка с большим попугаем на жердочке; три письменных стола, заваленных книгами, научными журналами, кипами перетянутых резинками библиографических карточек.

В комнате двое. Длинный большеротый вихрастый парень в сером костюме сидит на столе, положив ногу на ногу. Женщина в белом халате — очень смуглая, черноволосая, лет тридцати — стоит, прильнув щекой к окон-

ному проему. Когда мы входим, никто из них не меняет позы. Я догадываюсь, что здесь меня тоже ждали и по-своему приготовились к встрече.

— Теоретики, — говорит Кирилл Петрович. — «Здравствуй» у них не допросишься, — он кивает в сторону женщины. — Вера Мильтоновна Карцевадзе...

Женщина отрывается от окна, протягивает мне руку.

— Никита Аникеевич Вента, — продолжает Кирилл Петрович.

Я оборачиваюсь к парню, поклоном здороваюсь с ним. В ответ он изгибается на своем столе. На лице его подчеркнутая серьезность.

— Они высказывают бредовые идеи, — говорит Кирилл Петрович, — группа Острогорского эти идеи обсчитывает. Ну а мы с Кастромовым потом хватаемся за головы.

— А мы не хватаемся? — певуче спрашивает Вера Карцевадзе.

— Хватаетесь, если у вас растрепалась прическа, — отвечает Кирилл Петрович добродушно-ворчливым тоном и вдруг озабоченно оглядывается. — Но где же Гордич? Мы договаривались — сегодня быть всем!

— Гордич нонче в архиве, — отвечает Вента, глядя на меня. — Они опять (он так и сказал: не «опять», а «опять») замахиваются на устои гидродинамики...

— Гидродинамика — наука наук, — скрипит попугай.

— Теоретики — странный народ, — говорит Кирилл Петрович уже в коридоре. — Только весьма молодые, житейски неопытные люди могут мыслить теоретически по-настоящему нескованно. И уж их всегда приходится принимать такими, какие они есть. Попытки воспитать, конечно, удаются. Работать становится легче, они дисциплинируются, но — увы! — частенько при этом теряют и счастливую способность мыслить не по шаблонам. Очень сложно администрировать! — заканчивает он с извиняющейся улыбкой.

Я отвечаю, что уже встречался с такими людьми, и вновь думаю о Галине Тебелевой: как хорошо, что она работает под началом этого Кирилла Петровича!

Тем временем мы входим в такой же обширный зал, как и тот, где были недавно. В нем тоже счетная машина. Возле пульта стоят три человека: сухощавый, с резкими

чертами лица мужчины лет пятидесяти и две молодые женщины: одна — рыженькая и веснушчатая, другая — высокая, темноглазая и темноволосая. Женщины переговариваются. Мужчина поочередно поглядывает на них. Из-за гула машины голосов нам не слышно.

Мы подходим. Разговор прерывается. Все трое улыбаются нам.

— Группа контроля, — говорит Кирилл Петрович. — Елена Константиновна Речкина...

Рыженькая женщина подает мне руку.

— Рада Григорьевна Саблина... Руководитель группы — Антар Моисеевич Кастромов... И вы не смотрите, что эти дамы улыбаются, — продолжает Кирилл Петрович. — На самом деле они народ очень въедливый. Так, впрочем, и должно быть: группа контроля!

— Покой нам только снится, — говорит Саблина.

И как подводит итог: в зале становится вдруг совершенно тихо. Лишь через мгновение я соображаю, что Саблина тут ни при чем. Просто вычисление закончилось, и машина остановилась.

Мы выходим в коридор.

— Осталось еще познакомить вас с Ириной Валентиновной Гордич, — говорит Кирилл Петрович.

— С Ириной Валентиновной?

Я почему-то думал, что Гордич — мужчина.

— Да, — отвечает Кирилл Петрович. — И, между прочим, заметьте себе: Острогорский и Гордич единственная родственная пара в нашей лаборатории. Они — муж и жена.

Я пожимаю плечами: мало ли родственных пар работает в лабораториях?

Кирилл Петрович толкает дверь с табличкой «Архив» и пропускает меня вперед.

Длинную узкую комнату с пунктиром ламп дневного света вдоль всего потолка занимают стеллажи с папками и письменные столы. За одним из этих столов (на нем лежит листок бумаги и ничего больше нет) с карандашом в руке сидит женщина лет сорока, невысокая, в ярко-красном платье.

Когда мы подходим, она встает и смотрит на нас, быстро мигая, словно только что вышла из темноты на яркий свет.

— Ирина Валентиновна Гордич, — произносит Кирилл Петрович торжественно, — или просто Ирина, как она просит себя называть. Наш главный теоретик и верховный неподкупный судья. И вообще чудеснейший человек. Не хмурьтесь, Ирина. Я знаю — вы не любите комплиментов. Но в моем возрасте их говорят с абсолютнейшим бескорыстием. Это единственное преимущество старости!

Он говорит, а я тем временем вглядываюсь в Гордич: тонкие губы, узкие кисти рук, вся фигура по-спортивному подобранная, осанка благородно-непринужденная... Ну а в целом... В целом, пожалуй, внешность работника архивов, допущенного к самым сокровенным государственным тайнам. Она — с нами и в то же время она — далеко-далеко.

«О таком человеке непременно надо бы написать, — думаю я. — Конечно, не документальный очерк, а написать о человеке такого типа в романе, в повести, чтобы можно было свободно домысливать, обобщать...»

Я вдруг чувствую ту взволнованность, которая всегда овладевает мной в предчувствии «настоящего материала».

Глава вторая

Когда мы возвращаемся в кабинет и усаживаемся в кресла, я спрашиваю:

— Это все, кого вы хотели мне показать?

— Сотрудники, с которыми я вас познакомил, — после некоторого молчания отвечает Кирилл Петрович, — готовят лишь самый первый, я бы сказал даже — прикидочный, вариант одного из проектов. На этой стадии большого числа исполнителей не требуется. Однако, думается, и в дальнейшем они могли бы играть основную исследовательскую роль. Среди тех, кого мы видели, два доктора и два кандидата. Не знаю, достаточно ли много это говорит вам...

— Ну хорошо. А зачем нужен вам я?

Кирилл Петрович отвечает не сразу. Я рад этой паузе. Ведь я буду должен огорчить его, прямо сказать, что увиденное, в общем, не увлекло меня. Да и что я увидел? Большой архив, две вычислительные машины, десять научных сотрудников разной квалификации. Одна из них, Гордич, заинтересовала меня, как литератора. Пожалуй,

об этом человеке я даже хотел бы узнать возможно больше, но писать очерк?.. Это не мое дело. Да и о чем?

— Для чего нужны вы? — спрашивает Кирилл Петрович и смотрит на меня с какой-то полуулыбкой.

Он словно бы решает: сказать или не сказать прямо?

— Да. Чего бы вы хотели от меня?

— Мы намерены предложить вам стать сотрудником нашей лаборатории. Говоря проще — поступить на работу в наш институт.

Я удивленно гляжу на Кирилла Петровича, а вслед за тем чувствую огромное облегчение: от такого предложения очень легко отказаться.

— Говоря казенным языком, — продолжает Кирилл Петрович, не дав мне ответить, — мы хотим, чтобы вы написали нечто похожее, так сказать, на отчет о работе нашей лаборатории.

Я улыбаюсь. Кирилл Петрович встает и, заложив руки за спину, проходит по кабинету. Все это время я ловлю на себе его изучающий и в то же время, несомненно, проницательный взгляд. Потом он останавливается возле меня:

— Проблема, над которой мы работаем, очень трудна. Не менее важно другое: успех или неуспех всего дела будет окончательно решаться в очень сложных, точнее — в чрезвычайно сложных условиях.

— О, понимаю... Космос... Каждый лишний грамм веса... — я тоже стараюсь говорить с иронией.

— Да, — совершенно серьезно отвечает Кирилл Петрович. — Для окончательной регулировки аппаратуры, безусловно, придется выходить даже в космос.

— И, следовательно, — подхватываю я, — любой участник, который окажется не наилучшим, поставит под угрозу все предприятие.

— Да, — с прежней серьезностью повторяет Кирилл Петрович, — причем само понятие «наилучший», возможно, обретет какие-то особые оттенки.

Я вдруг всё понимаю:

— Вы хотите, чтобы я помог вам разобраться в каждом из ваших сотрудников?

— В каждом? — спрашивает он живо. — Зачем же! В отделимости каждый мне ясен. Иначе никто из них не был бы принят в лабораторию.

— Вас интересует коллектив, как единое целое?

— Да, — соглашается он. — Эффект взаимодействия. Если вы за это возьметесь, вам придется написать нечто

вроде повести или романа, героями которого окажутся сотрудники лаборатории, а действие будет происходить там, где им довелось бы работать, уже завершая проект. Само собой разумеется, что ваш труд мы потом коллективно обсудим. Теоретическая разработка рано или поздно закончится. Придется решать: переходить к стадии воплощения проекта или его отложить.

— Вообще отложить?

— Для меня — вообще. Я достаточно стар. Отложить проект совсем — невозможно.

— Боже мой! — восклицаю я. — Но сознаете ли вы, что фактически предлагаете? Написать роман (всего лишь!), в котором каждый герой — реально существующий человек! И потом еще предъявить его для обсуждения тем самым людям, которые будут описаны! Ну а что, если некоторые из ваших товарищей отнесутся к этому чрезмерно болезненно? Ведь далеко не всегда то, что человек думает о себе, и есть истина. Одних я просто не смогу понять. Других, хотя и пойму, не сумею изобразить... Вас устроит, если опыт мы проведем, а коллектив распадётся?

Пока я говорю, Кирилл Петрович, соглашаясь, кивает.

— Ваши сомнения понятны, — начинает он, едва я заканчиваю: видимо, он заранее готов к таким возражениям: — И всё же решиться на подобный опыт необходимо. Причин сразу несколько. Вот одна из них, пожалуй наиболее убедительная, — он понижает голос, словно опасаясь, что нас могут подслушать. — В конце концов ведь нельзя потребовать от страны грандиозных, многомиллиардных затрат, не имея полной уверенности в удачном исходе.

Я недоумеваю:

— Но о чем идет речь? Всё же над чем вы работаете, я до конца так и не понимаю.

— О, пожалуйста! Это отнюдь не секрет. В принципе мы, наша лаборатория, предлагаем очень простую вещь. Как известно, Земля улавливает всей своей поверхностью примерно одну двухмиллиардную излучения Солнца. Много это или мало? Много! Можно ли больше? Нельзя. Почему? Всё остальное не попадает на нашу планету и рассеивается во Вселенной. И вот мы предлагаем охватить Солнце воронкообразными волноводами из электромагнитных полей особого рода и, как по трубам, подвести к полюсам Земли энергию, еще по крайней мере в тысячу

раз большей мощности. Как бы подарить человечеству тысячу Солнц.

— Та-ак, — только и выговариваю я.

— Не менее важно другое. На всей остальной поверхности Земли останутся прежними и спектр солнечного света, и общая циркуляция атмосферы, и распределение температур. Наш проект очень реалистичен. Он осуществим даже в эпоху государств с различными социально-экономическими системами, то есть и в наши дни. Что это даст? Ну хотя бы, наконец, в распоряжении человечества появится энергия, накопленная, скажем, в виде антивещества, — достаточная для межзвездных полетов. Сейчас на Земле такой энергии нет. Пока ведь для достижения даже ближайшей туманности в ракетных двигателях космического корабля нужно было бы сжечь — в пересчете на массу самого энергоемкого горючего — несколько таких планет, как наша.

— Позвольте! Вот эти десять сотрудников... Галя Тебелева, Речкина, Саблина... Ваш коллектив рассчитывает такой грандиозный проект?

— Почему это вас удивляет? И можете не сомневаться: вы будете иметь дело лишь с добровольцами. Этот вопрос мы обсудили между собой. Искренность, самая искренняя, вам гарантируется.

— Ну а я? Обо мне вы подумали? — говорю я почти с отчаянием, понимая, что вопрос уже решен и я непременно займусь этим удивительным делом. — Вы понимаете, что значит описать человека с наибольшей полнотой?..

— Человек эмоционально бедный и в науке всегда пустоцвет, — отвечает Кирилл Петрович. — Наша задача очень серьезна. Шутить с нею нельзя.

— Но что вы, собственно, хотите выяснить? Я, например, убежден, что коллектив вашей лаборатории состоит из людей замечательных...

— Многое. Приведу простейший пример. Может, для того, чтобы сотрудник А работал с наибольшей отдачей, его подчиненный Б должен быть не послушным и влюбленным в своего начальника, а напротив — до дерзости неговорчивым? Правда, лишь в том случае, если у этого А есть данные, чтобы еще и еще расти. Если же данных нет? Тогда это А плюс Б разве не обернется трагедией зависти? Или трагедией неумной наглости?.. В коллективе плюсы и минусы людей складываются по

законам особой логики. Насколько могу судить, правда искусства к ней очень близка. Я не раз уже думал об этом. Любое произведение искусства — это знаковая система, предназначенная людям в качестве инструмента саморегулирования. Таков смысл искусства с точки зрения кибернетики. Я всю жизнь работаю в другой области и всю жизнь мечтаю совершить, так сказать, попытку инженерно-литературного свойства. Разве это не заманчиво?

О чем-то сходном и я думал не раз, хотя никогда еще не связывал это со своими литературскими планами.

— Не увлекает? — Кирилл Петрович делает излюбленный жест. — Ну а если подумать более широко? Это окажется особой формой критики: не сверху, не снизу, а из вероятного будущего. Не мне объяснять вам: критика — обратная связь в отношениях между людьми. Одно из элементарнейших положений кибернетики: система без обратных связей работает плохо... Нам не чужны дифирамбы. Сократите, к примеру, состав нашей группы на одного человека, докажите, что коллектив вполне обойдется без него, и вы сэкономите огромные средства!

— Но — время действия? Неужели нынешний уровень техники уже дает такие возможности? Когда это произойдет? Через десять лет? Через сто?

— Пишите так, словно бы вами предположенное завтра будет осуществлено. Ваш объект — человек. Он уже давно готов к выходу в космос. Техника — дело других.

— Но послушайте: получится обыкновенный научно-фантастический роман! Или, вернее, совсем не обыкновенный!

— И превосходно! Роман под названием «По алгоритму печали и радости», или лучше — «Тайна всех тайн», имея в виду, что тайна всех тайн — истинное будущее. Впрочем, называйте, как вам будет угодно.

Он умолкает. Молчу и я.

Физики еще много веков назад ввели в обиход понятие «физическое тело». Это — сразу миллиарды миллиардов атомов. И по такой сумме атомов ученые судили о материи, о Вселенной. Они шли от общего к еще более общему. Однако было так лишь до той поры, пока не удалось исследовать отдельные атомы и частицы. Поввысило ли это понимание нами свойств материи в целом? Безусловно.

Можем ли мы теперь, зная свойства отдельной частицы, более глубоко предсказывать не только ее поведение в «коллективе» других частиц — в «физическом теле», но и особенности самого «физического тела»? Конечно.

Однако для этого пришлось создать и новые приборы — циклотроны, пузырьковые камеры, электронные микроскопы, — и совершенно по-другому подойти к изучению частиц, разработать особый математический аппарат.

Ну а в литературе? Разве теперь мы не можем настолько глубоко исследовать физическую и психическую природу отдельного человека, его генетическую формулу, взаимовлияния в нем личного и общественного, случайного и закономерного, чтобы и в художественной литературе решать вопросы на новом уровне?

Можем. В этом Кирилл Петрович прав, и всё-таки решаема ли вообще задача, за которую он предлагает мне взяться?

Кирилл Петрович, видимо, понимает, что происходит в моей душе. Он сидит в кресле, положив на письменный стол руки, и ждет.

— Хорошо, — говорю я. — Но мне нужно уяснить еще один вопрос. Вы не боитесь, что выводы из этого романа, или, как, пожалуй, лучше называть его — отчета, окажутся неблагоприятны лично для вас? Если я приду к таким выводам.

Кирилл Петрович хохочет, откинувшись в кресле.

— Я обязан задать вам этот вопрос, — настаиваю я.

Оживление оставляет Кирилла Петровича. Он устало и даже печально произносит:

— Ну а я обязан ответить. Нет. Не боюсь. Вы можете верить мне: я всегда всё додумываю до конца. Это профессиональное.

Я встаю:

— Ну что же? Давайте попробуем.

Кирилл Петрович улыбается:

— Чудесно! Я уверен: никто из нас в конечном счете не будет раскаиваться. Единственное условие: обсуждение вашей рукописи в лаборатории состоится точно первого октября, и, значит, к этому числу она должна быть готова обязательно.

— Понятно, — отвечаю я. — Постараюсь ни в коем случае не подвести...

В течение нескольких месяцев я почти каждый день прихожу в Институт прикладной энергетики ровно в девять утра. Здороваюсь с сотрудниками лаборатории, просматриваю технические отчеты и статьи, заглядываю то в одно, то в другое помещение, сижу на семинарах и совещаниях, стараюсь быть полезен — печатаю на машинке, перебираю библиографические карточки.

Привыкаю я, постепенно привыкают ко мне. Я очень охотно рассказываю о себе — как приобрел профессию литератора, как сложилась моя семейная жизнь. Ответная откровенность возникает сама собой. Еще чаще, пожалуй, откровенность возникает как плата за умение слушать того, кто говорит о себе.

На виду у других я никогда ничего не записываю. Никого не поправляю, не ловлю на противоречиях.

Для меня было важно одинаково глубоко узнать характеры всех сотрудников лаборатории. Но достижение такого равенства требовало весьма разных усилий: одни раскрывались сразу, другие — нет.

Немало пришлось подумать над тем, в какой форме написать «Отчет».

Можно было скупой изложить воображаемые факты и снабдить их комментариями.

Можно было ограничиться краткими и решительными рекомендациями на будущее: в таких-то и таких-то положениях такие-то и такие-то сочетания сотрудников наиболее желательны, такие-то нет.

Можно было, наконец, создать повесть-предостережение в духе Уэллса или Азимова.

Постепенно, после многих проб, я пришел к выводу, что «Отчет» надо строить в виде нескольких глав, описав в них события, которые совершаются хотя и в разных местах, но в один и тот же момент. Сотрудники лаборатории окажутся тогда поставленными в одинаковые исходные положения, будут равными по своему жизненному опыту в этих новых для них, «смоделированных» мной, фантастических условиях.

И, конечно, то, что я скажу о каждом из этих людей, к каким выводам приду, до самого конца работы будет тайной для всех.

Впрочем, и для меня самого: я ведь пишу!..

Часть II

ТАЙНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель предприятия:

« » 19..... года.

О Т Ч Е Т

об исследовании психологической совместимости сотрудников лаборатории № 48 на завершающей стадии проекта «Энергия Солнца».

Шифр: «Тайна всех тайн».

Главный инженер:

(подпись)

Ответственный исполнитель:

(подпись)

Глава первая

ВЕНТА ПРОХОДИТ СКВОЗЬ СТЕНЫ

— Послушай, Никита, я прошу тебя прекратить эти похождения.

— Какие похождения, Леночка? Выбежать тебе наперерез и раскланяться — похождения?

— Да, если из-за этого на целых десять минут машина переключается для расчета нестандартного прохода.

— Но ты же знаешь: я не могу ходить по стандартным! Я — индивидуум. Я желаю перемещаться только своими путями. Я — кошка, которая гуляет сама по себе.

— Ты вообще уникам, но прошу больше так не поступать.

— Хорошо, товарищ общий дежурный. Разрешите откланяться? Или, может, изложить прежде мотивы?

— Да, пожалуйста.

— Я хотел тогда поцеловать тебя, Леночка!

Лена Речкина резко повернула рукоятку на пульте. Звук пропал. Но изображение Венты на экране шевелило губами.

— Я наконец осмелился, Леночка! — читалось по движению губ.

Лена щелкнула переключателем. Экран видеотелефона погас. Она повернулась к Карцевадзе:

— Слышала?

— Слышала, — ответила Карцевадзе, не оборачиваясь и не отрывая глаз от цветных линий на экране согласователя потоков энергии. — Но ты напрасно принимаешь это всерьез. Ты же знаешь Никиту...

Зажужжал зуммер. Из щели на пульте выдвинулась бумажная лента. Карцевадзе оторвала ее, пробежала глазами ряды букв и цифр.

— Опять, — испуганно сказала Речкина. — И конечно, из-за него?

Карцевадзе не ответила.

— Торчим в десятках миллионов километров от Земли, держим четыре космических корабля на орбитах готовности, мучимся с каналами связи, а он не может просто довести расчет до конца, — продолжала Лена. — Нет уж, я сейчас пойду к этому милому Никите...

Карцевадзе протянула ей бумажную ленту.

— Что тебе Никита? — спросила она с улыбкой. — Кастромов просит независимо от них просчитать элементы орбиты Восемнадцатой станции. При чем здесь Никита?

Линии на экране согласователя вдруг хаотически перемешались: на Солнце забушевала магнитная буря. Включение Сорок девятой автоматической станции откладывалось на много часов.

Карцевадзе встала с кресла, приблизилась к Лене.

Обе они были одеты в облегающие тело темно-синие комбинезоны из магнитной ткани, что позволяло по желанию то уменьшать, то увеличивать воздействие внутрикорабельного поля, создававшего иллюзию земной тяжести.

— Не слишком ли много ты думаешь о нем?

— И пусть, — ответила Лена.

— И он это знает.

— Пусть.

Карцевадзе пожала плечами. На ходу нажимая кнопку радиоключа на запястье левой руки, подошла к тому месту у стены отсека, где на шероховатом сером металле желтым овалом обозначался стандартный проход, обернулась к Лене. Та сидела в кресле, положив руки на колени, и пустыми глазами смотрела перед собой.

— Не будь дурочкой, — сказала Карцевадзе.

— Он это уже второй раз говорит.

— И оба раза по видеотелефону? Ну конечно! Он смеется над тобой!

Стена позади Карцевадзе стала прогибаться. На месте овала образовалась глубокая ниша. Карцевадзе вошла в нее. Серый металл замкнулся за ее спиной.

Космический корабль «Восток», так же как и корабли «Север», «Юг», «Запад», на которых группами по два-три человека работали остальные сотрудники лаборатории, и так же как еще десятки разбросанных в околосолнечном пространстве автоматических станций, где находились только приборы, был создан (слово «построен» тут не подходит) из тончайших порошков — феррилитов, с гигантской силой обжимаемых магнитными полями. Из феррилитов состояло и почти всё, что находилось внутри кораблей и станций: переборки, приборы, механизмы. Изменяя поля, можно было не только соединять отсеки временными коридорами, но и очень легко, всего лишь набирая на пультах цифры каталога, переделать или создать заново любую машину, предмет. Конструкцию станций и кораблей это упрощало безмерно: никаких люков, дверей, герметичных запоров; в случае аварии, столкновения с метеоритом корпус автоматически восстанавливался, — и, кроме того, можно было обходиться без каких-либо запасов инструментов или деталей.

На пульте внешней связи перед Леной вспыхнула лампочка вызова, и голос Кирилла Петровича произнес:

— «Восток»... «Восток». Вас вызывает «Юг»... Речкина, как меня слышите?.. С «Севера» к вам обратится Кастромов. Продублируйте для него вычисления по Восемнадцатой станции. Дополнительно подготовьте ответ на вопрос: сколько времени самостоятельно просуществуют волноводные зоны СИ-14 и К-19, если Восемнадцатая вообще выйдет из строя?..

А Вента тем временем думал так: «Странный народ женщины. Скажи самой умной, сильной, смелой, находчивой «поцелуй», «любовь» — она уже и растаяла. Выключилась! И это в эпоху, когда можно пошутно пересчитать все импульсы биотоков, поступающие при поцелуе в кору головного мозга, в подкорку, к кровеносным сосудам, железам внутренней секреции. Не анахронизм ли? Не убожество ли самое дикое?..»

Ажурное кресло, в котором полулежал Вента, было с трех сторон окружено пультами счетных машин. Экран видеотелефона, сплюснутый, похожий на лунный серп, занимал место чуть ли не под самым потолком. Овал стандартного прохода охватывал угол отсека и был высотой не более полутора метров. Симметрия не соблюдалась ни в чем: четвертую вычислительную машину Вента встраивал уже находясь на орбите и, чтобы освободить место для ее пульта, потеснил остальное оборудование.

Машины работали. Стены отсека искрились сигнальными огоньками. Поглядывая на них, Вента удовлетворенно кивал: все задачи проходили успешно.

На месте овала стандартного прохода открылся освещенный изнутри узкий и низкий коридор. Наклонив голову и с трудом протискиваясь боком, Карцевадзе вошла в отсек.

— А-а, здрасьте, — проговорил Вента не оборачиваясь: он увидел ее в отражении от экрана видеотелефона.

— Здравствуй, — ответила Карцевадзе, протягивая ему бумажную ленту. — И вот тебе работенка.

Вента рывком поднялся с кресла, повернулся к ней:

— Опять Восемнадцатая? Суете станцию на первую попавшуюся орбиту, а мне потом — считай и считай? — Он пнул усаженную приборами стенку. — А мне даже транслятор некуда было пристроить, всё читаю с экрана. А я кто, по-вашему? Я теоретик! Я могу требовать, чтобы мне готовое подавали! А этой Речкиной что говори, что нет...

— Послушай, Никита. — Карцевадзе так надвинулась на Венту, что тот попятился и уперся спиной в стенку с приборами. — Чего тебе надо от Лены?

— Ну, знаешь, это мое дело!

— И мое.

— И вообще всех нас. Вот так-то!

— Нечего ухмыляться. Если ты просто морочишь ей голову...

Но Вента уже не слушал ее:

— Я — морочу! Ха! Ха! И — ха! Да я презираю все ваши охи и ахи. Слишком дорого будет обходиться государству, если за семьдесят миллионов километров от Земли я начну томиться тоской. Мне все эти ваши эмоции — пыль, че-пу-ха!

Нажимая кнопку радиобраслета (в отличие от всех Вента носил его на правой руке), он грудью уперся

в сигнальные лампочки и циферблаты приборов. При этом он нетерпеливо топал ногой и повторял:

— Ну! Ну! Ну!

— Обалдел, — сказала Карцевадзе. — Там же реакторы!

Вента резко повернулся к ней:

— Ну и что? Они — что? Не из атомов? Через воздух — пожалуйста, а через урановые стержни нельзя?.. Атомы, видите ли, не те.

— Скоро обед, Никита. Займись, милый, делом.

Но Венту уже нельзя было остановить:

— Обедать? Каша, обжата магнитным полем, бульонные тубики... Ах, простите! Мы ведь самп тоже из электромагнитных, гравитационных и еще там каких-то полей!.. Разрешите доложить: сумма полей Никита Вента не желает следовать на обед!

— А мы с Леной пойдем, — спокойно ответила Карцевадзе. — Нам надо. У нас структура протоплазмы, как видно, не та.

— И какая она — моя протоплазма? Бешеная? Буйная? Самая сложная?..

Карцевадзе ушла из отсека.

Через несколько часов Вента по видеотелефону обратился к Речкиной и Карцевадзе. Он заявил, что изобрел некий «зависимый магнитный формирователь» и, пользуясь каталогом запасных деталей, уже изготовил его. Теперь он просил разрешения подключить свой прибор к Автономному пульту, то есть к тому самому центру, который автоматически управлял кораблем, оставляя на долю ученых только работу по созданию волноводов.

— От чего же он будет зависеть? — спросила Карцевадзе.

— Он будет материализовать мои мысленные приказы.

— Только твой?

— Он будет мгновенно рассчитывать и формировать для меня проходы по кораблю в любых направлениях. Это пойдет на пользу и мне, и вам обоим, всем!

— Зачем же называть его так громко?

— Как хочу, так и называю.

— Но ты учиываешь, что потом он останется в отсеке Автономного пульта до самого возвращения на базу? В этом особенность конструкции пульта.

— А зачем его убирать?
— Ну а если он начнет дурить?
— Вот тебе на! Я же всё просчитал! Формирователь будет экономить мне силы.

— А ты экономя их, ослабив воздействие на тебя общего внутрикорабельного поля!

— Здравствуйте! Да ты же пойми: каждый раз — особый расчет. И еще вечные ограничения: через реакторную зону нельзя, через карантинный отсек нельзя, через нижнюю дирекционную нельзя! А тогда вокруг меня будут свои поля безопасности.

— Надо запросить Кирилла Петровича, — сказала Лена.

— Зачем? Так он и станет нас слушать!

— Ну, знаешь, это ты брось, — возмутилась Лена.

— Он прав, — сказала Карцевадзе. — По всем инструкциям, экипаж сам распоряжается полями в пределах корабельного объема.

— Экипаж! А тут будет распоряжаться один человек.

Проговорив это, Лена вопросительно взглянула на Карцевадзе. Та кивнула, соглашаясь.

— Ладно, — сказала Лена. — Делай! Но ты подумал о граничных условиях?

— Какие еще граничные условия?

— Граничные условия будут, — отрезала Карцевадзе. — И ты над ними хорошенько подумаешь.

Вента схватился за голову:

— Но это же прямая функция Автономного пульта! Никакая команда не проходит без санкции автоматики безопасности!

— Ну а я, например, не желаю, чтобы ты циркулировал через мое жилье. Пульт разрешит, ему плевать: он железный, — а для меня это условие безопасности. И нечего. Делать так делать. А то отработаешь свои двенадцать часиков, в каюту придешь, а там — гость...

Формирователь ввели в отсек Автономного пульта в самом начале общего дежурства Венты. На световой схеме было видно, как черный квадрат формирователя медленно вдвигается в ярко-красный круг Автономного пульта. Что будет дальше с творением Венты, где оно поместится, останется компактным или рассредоточится по всему объему отсека, какие возникнут прямые и об-

ратные связи с различными системами корабля, — это решится уже без участия человека, когда прибор полностью примет температуру пульта. Предположительно это должно было занять около трех часов.

Но прошло и четыре, и пять, и шесть часов, а в красном круге на световой схеме еще просматривался темный квадрат.

Экипаж «Востока» всё это время был занят работой. Магнитная буря на Солнце закончилась. Печатающие устройства вычислительных машин выдавали столбцы цифр, на экранах десятков приборов то появлялись, то исчезали светящиеся точки и линии, вспыхивали и гасли на пультах сигнальные лампочки. Надо было всякий раз как можно быстрее понять, о чем это говорит, и тут же сформулировать для вычислительных машин новые задачи, вращая верньеры, нажимая пусковые кнопки, отдавать команды генераторам автоматических станций. Сложнейший процесс образования волноводов для передачи к Земле энергии Солнца вступал в завершающую стадию.

На свой формирователь, как, в общем-то, на совершенно незаконное, не предусмотренное никакими программами детище, Венте удавалось вырвать лишь считанные минуты, и тогда, сжав губы, он торопливо орудовал кнопками всех четырех счетных машин. Было очевидно, что запоздалое включение формирователя скажется на его работе. Для теории было важно, чем эта задержка вызвана. Для практики — чем она грозит. Оба вопроса следовало выяснить как можно скорей.

В начале седьмого часа Вента не выдержал. Он сорвался с кресла, бросился к ближайшей стенке и, пристально глядя на нее, скомандовал:

— Глубина шесть метров! Ну!

Это происходило в операторской. Все были в сборе. Лена Речкина и Карцевадзе ахнули: в стенке образовалась ниша!

— Что? — торжествующе крикнул Вента.

Но Карцевадзе и Лена уже смеялись: это всего лишь открылся стандартный проход! Размахивая руками, Вента случайно нажал кнопку радиоключа.

В конце восьмого часа темный квадрат на световой схеме исчез, но поля внутри корабля по-прежнему никаким мысленным приказам Венты не подчинялись.

В середине девятого часа по требованию системы

ОЦУТа — автоматов объективной оценки утомления — Карцевадзе и Речкина прервали работу и ушли отдыхать, хотя Вента клятвенно обещал всего через десять минут доставить каждую из них в свою каюту по наиболее короткому и, следовательно, настаивал он, по самому легкому, разумному, выгодному пути. Получалось, что Речкина пройдет через склад продовольствия, Карцевадзе — через карантинный отсек, блок автоврача и ванную комнату.

Ждать они не стали, молчаливо решив, что затея Венты не удалась.

Как и обычно, Лена Речкина проснулась, разбуженная автоматом-секретарем за час до начала дежурства. Некоторое время она лежала не открывая глаз, потом вдруг вспомнила, как Вента сказал с экрана видеотелефона: «Я хотел тогда поцеловать тебя, Ленокча!» Она улыбнулась, открыла глаза и вздрогнула: в каюте стоял Вента.

Чувствуя, как наливается жаром лицо, забыв, что на ней надет магнитный комбинезон для сна — в общем точно такой же, какой она носит днем, — Лена схватила первую подвернувшуюся под руки одежду и начала натягивать на себя. Это был спецкостюм для силовых гимнастических упражнений, сработанный из дерюги в сантиметр толщиной.

Вспыхнул сигнальный огонек. Кто-то вызывал ее. Продолжая лихорадочно одеваться и не глядя в сторону Венты, Лена нажала кнопку согласия на разговор (без такого ответа к находившимся в каютах мог обращаться только общий дежурный, причем видеосвязи с каютами вообще не было). И тотчас загремел голос Веры Карцевадзе:

— Послушай, Ленок! У меня — чертовщина из чертовщин! Самая настоящая!

— Что у тебя? О чем ты говоришь? Что у тебя там случилось? — прерывающимся голосом спросила Лена.

— Лежу в кольцевом коридоре, — продолжала Карцевадзе. — Честное слово! Под вентиляционной трубой!.. Проснулась, подумала, что надо добираться до ванной... И глядь — лежу в коридоре. Под трубой. — Она помолчала. — Впрочем, стоп. Я разобралась. Надо мной балдахин из эластичного феррилита. Ну да! Штучки проклятого Венты! Мерзавец! Это его чертов формирователь!

Всю ночь мне снилось, что я у себя в селе, еще девочкой, сплю в кровати под балдахин, и пожалуйста! А как у тебя?

— У-у меня никак, — ответила Лена, осторожно поворачивая голову и краем глаза видя, что Вента всё еще стоит посреди каюты.

— Негодяй! — говорила Карцевадзе. — Подумать только — какой негодяй! — Она вдруг вскрикнула: — Это что еще? О господи! Лишь этого мне не хватало!

Раздались аккорды сигнала общего оповещения. Послышался смеющийся голос Венты:

— Девушки! Как вам живется? Вы там у себя ничего особого не замечаете?

— Чтоб тебя черти побрали, — ответила Карцевадзе.

— Ничего не понимаю, — продолжал Вента. — Я же хотел только из отсека в отсек свободно ходить. А тут сижу, замечтался, футбольные ворота себе представил: хорошо бы сыграть! Глядь: стоят во всю стену ворота. И с сеткой!.. Вы скорее приходите, я теперь боюсь вообще думать. Надо как-то эту петрушку расхлебывать, — закончил он самым ликующим тоном.

— Понимаю, — отозвалась Лена.

Она глубоко вздохнула, грустно усмехнулась и начала стягивать с себя спецкостюм. Получалось, что всякая мысль, нашедшая в мозгу любого из них яркое образное выражение, неизбежно теперь окажется олицетворенной в этих феррилитовых фигурах и, следовательно, доведенной до всеобщего сведения.

— Идиот ты несчастный, — опять закричала Карцевадзе. — Вот я приду сейчас...

Лена смело взглянула на Венту, стоявшего посреди комнаты: она теперь не боялась его. Копия была удивительно точной. На лице застыло выражение озорства и растерянности, то самое, с каким он говорил: «Я хотел тогда поцеловать тебя, Леночка».

«Никто не видит, я могу любоваться», — подумала она и посмотрела на Венту уже не только смело и без смущения, но с радостным удивлением.

— «Я хотел тогда поцеловать тебя», — шепотом проговорила она, передразнивая его, и вдруг увидела, что рядом с Вентой, прильнув к нему, стоит она сама!

В растерянности Лена с минуту вообще ни о чем не могла думать. «Боже мой! Боже мой! — мысленно повторяла она, и лишь постепенно к ней возвратилась обыч-

ная собранность. — Надо подумать о чем-то другом. Представить вместо всего этого книжный шкаф, стол... Скамейку!»

Плотно зажмурив глаза, она заставила себя ярко-ярко увидеть садовую скамейку на литых чугунных ножках и россыпь кленовых листьев на земле вокруг...

Она открыла глаза. Всё так и было: скамейка, оранжево-желтый ковер опавших звездчатых листьев...

«Пока не разобрались с этим, самая строгая дисциплина, — приказывала она себе. — Думать только о деле. И только — логически! Никаких эмоций! Никакого образного мышления!»

Уходя из каюты, она оглянулась: садовая скамейка и не подумала исчезать. Магнитный формирователь знал свое дело. Вот только зависим он был совсем не так, как ожидалось.

В операторской Лена увидела Венту и Карцевадзе. Они стояли друг против друга в позах готовых к поединку боксеров, а между ними высилось что-то похожее на куст цветущей сирени.

Лена пригляделась. Это была вздыбившаяся прямо посреди пола морская волна. Возле нее лежало несколько больших бело-зеленых арбузов и здоровенное бревно. Его старая кора была в трещинах и наростах. Жаба сидела на одном из них.

— Ты смотри, — сказала Карцевадзе, — какие невинные штучки! Концы в воду прятал, — она повернулась к Венте. — Признайся, что было? Вот это — вместо арбузов?

— Что было, то было, — сердито ответил Вента. — Про это я тебе не обязан докладывать.

— Я принимаю дежурство, — сказала Лена, подойдя к приборной панели и переключая несколько тумблеров.

С этого момента ее суждения пользовались наибольшим весом для логических машин Автономного пульта.

Лена продолжала:

— Прежде всего надо выяснить, как обходиться с этими... — она замялась, — с этими...

— Творениями, — подсказала Карцевадзе. — Вообразить только! Мне явилось такое... Никакими словами не передать! Оно и сейчас там, в каюте. Бр-р! И знаете, — держась за сердце, Карцевадзе крутила головой, — еще

два-три таких сюрприза... Мне этот милый поклонник и на Земле достаточно крови попортил. Полетим сегодня на Сорок девятую, и с этой станции я не вернусь.

— Конечно, — подхватил Вента. — Гуляй там себе по главному коридору: семьсот пятьдесят метров в один конец, семьсот пятьдесят в другой. Райская жизнь!

— Товарищи! — вмешалась Лена. — О чем вы, товарищи?

— А всё проще простого, — бодрым голосом сказал Вента. — Я нашел выход. Хотите, чтобы исчезло? Представьте себе лишь, как это место выглядело раньше. Ключ в зрительной памяти. У кого она лучше, тот легче и справится. Даже полезно: будем ее развивать. Дополнительная тренировка!

Карцевадзе с ненавистью посмотрела сперва на него, потом на бревно. Бревно исчезло.

— Чуть не представила я себе очень образно, что двинуло это бревно тебя, милый друг, по башке, — сказала она, вновь глядя на Венту.

— Но-но-но! — Вента погрозил пальцем. — Ты эти штучки брось!

— Да уж, — сказала Карцевадзе, — теперь даже тебе придется быть вежливым...

— ...Ты виновата во всем, — сказал он, когда Вера Карцевадзе ушла и они остались одни.

— Я? В чем?

— В том, что я о тебе всё время думаю. Ты не считай только, что я влюбился в тебя. — Он кивнул на «морскую волну». — Это была ты. Футбольные ворота — потом. А первой — ты. И тогда я понял, что думаю всё время о тебе.

Он положил руку ей на плечо. Лена отступила, но руку его с плеча не сняла.

— Твое дежурство кончится, приходи. Или я к тебе приду. Понимаешь? Ты же любишь меня. Значит, тебе быть со мной — радость. Придешь?

Лена смотрела на него, мучительно сведя к переносице брови.

— Я ни работать, ни думать ни о чем не могу, — продолжал Вента. — Я как помешанный.

Она подняла на него глаза, улыбнулась — через силу и словно бы виновато.

— Ты... Ты... Наверно, бывает так: одни могут сказать, другие — нет.

Он резко снял руку с ее плеча:

— Ну, знаешь, мысли выражать я умею. И достаточно хорошо изучил процессы, происходящие в моем организме.

Он попытался снова положить руку ей на плечо.

Лена оттолкнула руку:

— Не надо.

— Что — не надо?

— Вообще — не надо. Не надо так... Я не могу. Ты меня не любишь.

— Начинай, — проговорил Вента. — Живописуй: любовь, соловей, свет луны...

Лена прервала его:

— Ну конечно! Как я не поняла сразу! Эта часть сознания в тебе не развилась. Изучение теории поля заняло всё время. А постепенно и потребность в таком развитии пропала.

Она осеклась: из стенки выдвинулось плечо (ее плечо!).

Вента положил на него руку и сжал его так, что ферритит податливо, как тесто, выдавился между пальцами.

— Пожалуйста, помни, — сказал Вента, — то, что я о тебе всё время думаю, для меня сейчас — непреодолимый барьер.

Лена молчала.

Он снял руку с «плеча», оставив отпечаток пятерни, с брезгливым удивлением поднес ладонь к глазам, сказал звенящим от напряжения голосом:

— Барьер то, что мои желания не исполняются.

— Да какие ж это желания! Ты подумай, что говоришь!.. Со стороны послушать — мы решаем логическую задачу... Тебя надо лечить. Сходи в карантинный отсек,ними витограмму, пусть автоврач назначит лекарства, режим, диету...

— Лечить? Ограничивать? За что? За то, что я не стал обманывать? Плести красивенькие слова: «Милая, любимая, давай повздыхаем на луну и больше ничего-ничего мне не надо...» Это мой принцип — полная ясность. Я был честен с тобой!

— Да какая же честность! В чем ты ее увидел? Крайний цинизм!

Вента возвысил голос:

— Сумей додумать: мы — товарищи по общему делу, я обязан быть с тобой искренним. И если что-то мешает мне работать...

Несколько мгновений Вента смотрел на Лену круглыми от бешенства глазами. Губы его тряслись от еле сдерживаемого желания еще что-то сказать. Потом он повернулся и шагнул прямо в стену, усаженную от потолка до пола цветными квадратами приборов.

И стена пропустила его.

Вера Карцевадзе слышала этот разговор: видеотелефон операторской был включен на общее оповещение.

Принимая дежурство, она сказала Лене:

— Он просто заурядная дрянь. Уж на что я сама во многом запрограммированная дура, но дойти до такого...

Лена, не соглашаясь, покрутила головой.

Вера Карцевадзе иронически смотрела на Лену.

— Он думает, что он в одном лице и Фауст и Мефистофель, — сказала Лена, — хочет — будет хорошим, хочет — будет плохим. Но он не Фауст. К самому себе у него нет вопросов. В себе он ни в чем не сомневается. И в этом его несчастье: внешне — скептик из скептиков, а на самом деле слепо верит в могущество вульгарно-рационалистической логики. А ведь сделать счастливым она одна не может.

— Да ты ослепла, дурочка! Он просто пошляк. Посмотри, что рождает его фантазия: автоуборщик в фате и кружевах, люк утилизатора в виде рта... Заметь — у него пошлость особого рода. Он не готовит эрзацы. Иначе б он тебя смоделировал из феррилита и этим утешился. Он пошляк от эклектики: кибермашина с человеческими чертами — пошлое, а в фате и кружевах — вдвойне. Пошл сам принцип гибридизации частей человеческого тела и машины. А для него это норма. Его это никак не корежит, хотя, казалось, теперь-то он должен бы воочию убедиться в собственной эмоциональной убогости: факт nämlich! А он же из фактопокклонников!

— Хорошо. Не корежит. Но разве он обречен таким быть всегда?

— Обречен, потому что вся его сила как ученого, я убеждена, именно в самом воинственно-диком смешении стилей. Наука для него — содержание жизни. Это бесспорно. Ну и он, естественно, переносит эстетику своего

научного метода на всё, с чем встречается, и таким путем постоянно тренируется, квалифицируется как исследователь. Почти парадокс, но потому-то он и среди нас, потому-то, скажу тебе, он и серьезный ученый. Но рассуждая с ним о любви, как говорят у нас в Грузии, всё равно что толковать с рыбой о способах ездить верхом.

— Я обязана помочь ему, — тихо и упрямо проговорила Лена. — Ну почему он должен оставаться калекой?

— И убить в нем ученого, дурочка?..

В 21 час 49 минут по единому времени, Антар Моисеевич Кастромов с корабля «Север», как и обычно, запросил ежедневные данные о стабильности внешнего поля в зоне корабля «Восток».

И пока вычислительные центры автоматически обменивались подлежащими согласованию данными, Кастромов воспользовался случаем побеседовать с кем-нибудь из экипажа «Востока». Передача шла без значительных искажений, Кастромов сразу узнал, что с ним говорит Карцевадзе.

— У нас всё хорошо, Антар Моисеевич, — услышал он. — И поздравьте нас: отбываем на Сорок девятую станцию. Будем вводить ее в рабочий режим. В нашей зоне это последняя. И еще одна новость: часа через два вы получите от нас отчет о внеплановом опыте. Вента внес дополнение в способ переформирования внутрикорабельных полей. Если результат вам покажется стоящим, отправьте отчет прямо на «Юг», Кириллу Петровичу... И еще очень важно: Лена просила передать — по ее мнению, на Восемнадцатой станции вышли из строя дублирующие цепи и теперь, при усиленной нагрузке, сигналы коррекции недопустимо запаздывают. Потому-то зона К-19 и дробится на волновые пакеты. Ни я, ни Вента не согласны с этим, но она настаивает. Вы же знаете, какая она тихо-настырная, как она умеет... — Несколько мгновений Вера Карцевадзе молчала и вдруг произнесла совсем другим тоном: — Это что еще! Боже! Опять какая-то дьявольщина! Убирайся к чертям!

Она говорила негромко, но очень отчетливо, с мольбой и ненавистью одновременно.

— С кем вы так строго, Вера Мильтоновна? — озадаченно спросил Кастромов: в первый момент он принял слова Карцевадзе на свой счет.

Между ними было сто тридцать миллионов километров. Чтобы радиоволны достигли «Востока» и возвратились, требовалось почти пятнадцать минут, и, конечно, Кастромов не ожидал ответа на свой вопрос немедленно.

А из репродуктора неслось:

— Неужели ж я тебя сама вызвала? Тебя-то с чего? И еще из-под пульта? Убирайся, убирайся назад! Не хочешь?.. Ах, так! И таким быть не хочешь?.. А таким?.. Тоже нет?.. На ж тебе тогда!

— Каждый раз гусар да гусар! — послышался затем вдруг почти плачущий голос Венты. — И каждый раз — шляпа с пером. А разве гусары носили шляпу с пером? Они кивера носили!.. Тьфу! Обмазала всего феррилитом! Даже в рот напихала!.. А я к тебе с делом шел: оказывается, Восемнадцатая потеряла стабилизацию в тот самый момент, когда мой формирователь заработал. Совпадение до наносекунд¹ получилось!..

Кастромов не выдержал:

— Вера Мильтоновна! Что там у вас происходит, Вера Мильтоновна!

И он с нетерпением взглянул на часы. До ответа даже на первый его вопрос оставалось еще восемь минут...

Глава вторая

ДИАЛЕКТИКА ПОИСКА

Ирина Гордич любила работать, не включая верхнего света. Так лучше думалось. Вот и сейчас в операторской космического корабля «Запад» — полумрак. Перемигиваются розово-фиолетовые лампочки пульта счетной машины. Змеятся на экранах линии. По ритму вспышек на пульте Гордич понимает: вычисление скоро закончится. Ну а что делать потом?

Как она полагает, расчет еще раз и уже окончательно подтвердит: с течением времени волновые пакеты неизбежно должны расплываться, а значит — должны расплываться и образованные из них волноводные зоны. На Земле, в лабораторных условиях, они были устойчивы. Тут же, у Солнца, не помогали никакие, казалось бы самые надежные, системы стабилизации.

¹ Н а н о с е к у н д а — миллиардная часть секунды.

Гордич нажала кнопку связи с первым вычислительным постом.

— Саша, — сказала она, — мне нужен коэффициент поглощения для волновода типа Х-5К-СТИ.

Никто не отозвался.

«Ах да, — вспомнила она, — у него сейчас перерыв... Но тем более надо теперь же сказать ему: пока отдыхает, пусть запустит машину считать».

Она нажала кнопку личной связи:

— Саша, извини, что я тревожу тебя...

Острогорский не отозвался.

Гордич перевела взгляд на указатель местонахождения. На фоне бирюзового квадрата, отведенного Острогорскому, светилась надпись: «Свободен от контактов до 14 часов».

«Он освободил себя от контактов, — подумала Гордич. — Правильно! Наконец-то он отдохнет!.. Ну что же! Пусть тогда этим займется Галина...»

Она взглянула на соседнее, золотисто-пурпуровое поле указателя. На нем светились слова: «Нижняя дирекционная». Гордич огорченно поджала губы. Видеотелефонной связи с этим отсеком не было. Входить в него разрешалось лишь в крайних случаях, категорически запрещалось шуметь.

По праву дежурной Ирина Гордич повернула ключ общего оповещения и, как только отзвучали аккорды внимания (в нижней дирекционной в такт им должны были розовым светом неслышно вспыхивать стены), сказала, зная, что ее слова появятся на световой панели дирекционной:

— Галя, не могла бы ты...

Она вдруг услышала такой счастливый смех Тебелевой, что у нее перехватило горло и она не смогла продолжить.

— Ой, Саша! — говорила Тебелева. — Я прекрасно их вижу!

Гордич удивленно вскинула брови. Это «Саша» резануло ее и потому, что она никогда прежде не замечала, чтобы Тебелева называла так Острогорского, и потому еще, что было в ее голосе какое-то кокетливое ликование.

Затем она услышала, как Тебелева хлопает в ладоши:

— Вместе эти две эвольвенты совсем-совсем похожи на бабочку! На махаона! Мы обязательно их покажем Ирине!

«Почему они так шумят? — подумала Гордич. — Забыли обо всем на свете?»

Послышался голос Острогорского:

— Что вы, Галя! Зачем Ирине про бабочек? Вот если бы вы преподнесли ей постоянную Большушку, полученную с точностью плюс-минус одна миллионная!.. Ирина — женщина, совершенно лишенная сентиментальности...

Он говорил тоже с волнением и счастливым смехом.

«Да, но я подслушиваю!» — ужаснулась Гордич.

Она выключила видеотелефон. Ей стало душно.

«Ревную?»

Следующим ее желанием было — вслух обзвать себя бабой.

Она так и сделала:

— Баба! Дрянная базарная баба! О чем ты думаешь?.. Хотел полней отдохнуть, выключил индикатор, случайно встретил Галину, пошел с нею в дирекционную... Чего же сходить с ума?

«Но почему в дирекционную? Не потому ли, что автоматы безопасности не разрешают собираться там сразу всему экипажу? И, следовательно, пока они там, я не войду. И, к тому же, никто не подсмотрит».

— Постыдись! Глупо думать о такой ерунде до возвращения на Землю!

«А потом — думать? Вот уж будет награда по случаю возвращения».

— Хватит об этом. Хватит. На чем я остановилась?..

«Да, конечно, в дирекционную они вместе попали внезапно. Случайно вышло, что я их подслушала. Однако почему они не заметили сигналы вызова? Смотрели друг другу в глаза? Предположим, один из них в это время не отрывался от окуляров экрана-накопителя, ну а другой?.. Или — для влюбленных все моря по колено?.. И почему «Саша»?.. Хватит, ты опять сходишь с ума!.. Но как всё меняется! Еще недавно разве он мог бы хоть с кем-нибудь другим смеяться так?..»

Больше всего ее задело не то, что он вообще смеялся и говорил ласковые слова, а то, как он говорил и смеялся...

Ну хорошо, он очень устал и воспользовался своим правом на очередные полтора часа в сутки освободиться от всяких контактов, контроля. Побывать наедине и в молчании. Но се-то, жену, он вполне мог бы известить о том,

как памерен провести это время. Допустим, что совместить его и ее отдых оказалось нельзя, но ведь еще недавно быть всегда под ее контролем и составляло его главное желание, счастье.

— Перестань, — снова вслух сказала она себе. — Ну почему под твоим неусыпным оком он должен оставаться всё время? От этого тоже можно устать.

«...Зачем Ирине про бабочек?.. Ирина — женщина, совершенно лишенная сентиментальности». Это было то второе, что задело ее: ведь он всегда говорил, что любит в ней именно суровую собранность мышления, то, что она свободна от обычных женских слабостей: излишней чувствительности, слащавости, кокетства, тяги к косметике и нарядам. Она верила. А получалось, что, оставаясь такой, она обкрадывала его. На самом деле он мечтал о другом. Он не понимал себя. Сам зашел в тупик и ее завел туда же.

«Довольно. Надо всё-таки заставить себя думать о деле... Но как всё меняется. Как всё меняется! Он всегда относился к Галине Тебелевой с большим вниманием. Это началось еще в ту пору, когда она студенткой проходила у них в лаборатории практику. И на втором, и на третьем курсе, и на четвертом... Правда, я думала, что это лишь чисто дружеское внимание. Оказывается, вовсе нет. Илл просто он изменился за последнее время... Только сама я прежняя — девчонка, с детских лет влюбленная в строгость физических истин. Вот и награда: начинать всё сначала... На чем я остановилась там? На чем же?.. Мы допускаем в целом для волноводов лишь бесконечный совмещенный процесс: деформация магнитного поля плюс эволюция волноводов, с тем чтобы сумма всех градиентов неизменно равнялась нулю, то есть чтобы за пределами системы ничто никогда не менялось. После настройки такую стабилизацию и будут осуществлять автоматические станции. Сама я и предложила это решение!.. Сама. Всё — сама и сама... Нельзя распускаться. Но где они сейчас? Всё еще в нижней дирекционной? Посмотреть на указатель? Довольно дурить! Подумаешь! Два сотрудника несколько минут находились в одном отсеке!.. Но — голос! Почему он смеялся так? То, что он говорил, было обычным. Но — смех! Тон!.. Он захлебывался от радости! Какими нелепо несчастными казались мне женщины, которые ревновали мужей, выслеживали, устраивали сцены. Себя считала выше этого, а теперь

потерялась, как дурочка... Конечно, мне уже за сорок. Но разве всё дело в гибкости талии? Дело в способности отнестись к любимому с таким преувеличенно искренним восхищением, какое выражалось только что в голосе Тибелевой. Уж такого я никогда не могла. Признавала лишь отношения на равных. И потому-то теперь нет этого утешения: «Ну что ж? Будем друзьями». Остается одно: уйти без каких-либо драм, устранившись из жизни мужа... Грубое слово «устраниться»... Да и почему? Что же всё-таки произошло?»

Она вдруг почувствовала ужасное отчаяние. Захотелось кричать, топтать ногами, куда-то немедленно бежать, что-то сделать с собой.

Шагнуть бы сквозь внешнюю оболочку «Запада» — в двухсотградусный космический холод, вечную черноту!

Автоматы безопасности не разрешат.

Выключить их!

Автоматы безопасности не выключаются. Они специально сконструированы без обратных связей, чтобы знать только одну-единственную функцию. Потому-то они предельно просты и надежны. Полный отказ от обратных связей, коррекций, регулировок в процессе работы их и сделал такими...

«Стоп. Но если допустить циклическое, периодами, существование волноводов? Полный распад и воссоздание всего за две-три наносекунды! Столько времени волновод продержится без всякой стабилизации. А как только она начнет делаться необходимой, волновод исчезнет, чтобы возникнуть затем опять во всей своей целостности. Фактически мы будем иметь каждый раз как бы заново созданный волновод. Конструкция автоматических станций упростится в сотни раз, отпадет нужда в хранении единого времени! Боже мой! Да какое же счастье, что я вдруг подумала об этой примитивной автоматике безопасности! Какое счастье!..»

Она стала набирать на пульте счетной машины буквы и цифры, математически формулируя эту мысль. И всё: подозрение, ревность, отчаяние — забылось, перестало существовать для нее.

Сигнал срочного вызова оторвал ее от вычислений.

— Ирина, — сказал Острогорский. — Ты не можешь сейчас же прийти? Мы у меня, на первом посту. Я и Га-

лина. Нам сложно добираться к тебе. Приди лучше ты. И ничему не удивляйся, пожалуйста.

— Хорошо, — ответила она, мгновенно покинув свой прекрасный математический мир.

Поспешно поднявшись, она провела руками у ворота, по груди, по бедрам, как бы одергивая платье: из далекого детства, когда взрослые так часто отчитывали ее за растрепанный вид, к ней вдруг возвратился этот проверяющий жест — жест очень нелепый для человека в магнитном комбинезоне.

— Повторяю, мы в отсеке первого вычислительного поста, здесь, у меня.

— Хорошо, — повторила она замерзшими губами.

И когда она уже стояла у овала прохода, ожидая образования ниши, спокойный недремлющий ум ее отметил: «Чему я не должна удивляться? Тому, что ты бросаешь меня? Как честный и прямой человек — муж женщины, лишенной сентиментальности, — ты считаешь своим долгом сказать ей это немедленно, чтобы никому из нас ни минуты не находиться в ложном положении. Что же? Спасибо и на том».

В отсеке первого вычислительного поста она увидела: Галина Тебелева сидит в кресле, Острогорский стоит перед ней, держит за руку и с улыбкой восхищения смотрит ей в изумленно раскрытые глаза. И Гордич с таким чувством, словно она преступник, которому сейчас должны объявить приговор, застыла у стенки отсека. Но Острогорский и Тебелева молчали.

— Ну так что? — спросила Гордич усмехнувшись. — Надеюсь, ты объяснишь мне смысл этой сцены?

Ей не ответили.

— Итак?

Острогорский выпрямился и, не выпуская руки Тебелевой, повернул к Гордич смущенное лицо.

— Понимаешь, Ира, — начал он, ласково глядя ладонь Тебелевой. — Пожалуйста, не надо волноваться, Галя...

То, что он обратился не к ней, а к Тебелевой с этими словами, обидело Гордич. Она перебила мужа:

— Хорошо. И она, и я, обе мы совершенно спокойны. Острогорский дробно закивал:

— Да, да, мы не волнуемся, и вы, Галя, тоже будьте совершенно спокойны.

— Мы все спокойны, — нетерпеливо заключила Гордич. — В чем дело?

Поглаживая Галю по руке, Острогорский сказал:

— Вышло так: я собирался на отдых, Галя вдруг вызвала меня в нижнюю дирекционную. И понимаешь, что оказалось?

Гордич нашла в себе силы улыбнуться: предисловие слишком затягивалось.

— Во время наблюдений за Восемнадцатой станцией Галя стала свидетелем какого-то непонятного явления. Ни счетчики, ни самописцы ничего не зафиксировали, но сама Галя ощутила его, как очень яркую вспышку экрана-накопителя, что возможно вообще лишь при острейшем импульсе крайне жесткого рентгеновского излучения.

Гордич переводила взгляд то на Тебелеву, то на Острогорского.

— ...И вот теперь у нее что-то с глазами. Я прибежал... Она вызвала меня по аварийной связи...

«Дура, и ничего больше, — подумала Гордич о себе. — Мерзкая дура!»

— ...Я прибежал, еще некоторое время Галя кое-что видела на экране-накопителе: кривые, свечение марок, координатную сетку... Я думал уже — обойдется, хотя, кроме того, что было на экране, она с самого начала ничего не могла различать...

«Дура, беспросветная, ревнивая дура...»

— ...Потом она и на экране перестала видеть. Мы прошли в отсек автоврача. Диагноз: паралич зрительных нервов.

Тебелева вздрогнула при этих словах. Гордич подбежала к ней:

— Какое несчастье!

— Не так уж и страшно, — продолжал Острогорский, глядя Тебелеву по руке. — И вполне излечимо: зрительный нерв легко протезируется! Здесь нам это не сделать, но вы, Галя, пожалуйста, не переживайте: сегодня же мы отправим вас на Землю в энергокапсуле, и всё будет прекрасно. С букетом цветов встретите потом наши корабли на космодроме.

— Что дала витограмма? — спросила Гордич.

— Никаких срочных угроз, но тонус, в общем, пониженный, и это, конечно, понятно.

— Кто же ее пошлет в энергокапсуле?

— Тогда — возвращать «Запад» к Земле? А что же еще?

— Я не хочу возвращаться, — сказала Тебелева. — Без нашего «Запада» остальные три группы тоже работать не смогут. А волноводы еще не держатся на автокоррекции. Я могу ждать. У меня ничего не болит.

— Ты-то подождешь, — говорила Гордич, чувствуя, что едва сдерживает слезы. — Но как мы оставим тебя в таком положении?

— А вы меня в анабиоз, Ирина Валентиновна. Я буду спать. Только вам всем и за меня работать тогда...

«Боже мой! Но какая ж я дремучая, непроходимая дура!» — опять подумала Гордич.

— Нет, Галя, — сказала она, — это не выход.

— А меня нельзя с вами сдублировать, Ирина Валентиновна? — продолжала Тебелева.

— Сдублировать? — удивленно спросила Гордич и посмотрела на Острогорского.

Тот всплеснул руками:

— Конечно же! Как только я сам не додумался! Аппаратура наверняка есть в каталогах. Сделать ее — пять минут! — Он схватил Тебелеву сразу за обе руки и сжал их, радостно смеясь. — Молодчина, Галя! Превосходно придумано!

Гордич молчала, плотно сжав губы. Она знала, что такое дублирование. Влюбленные иногда объединяют свое видение, потому что видеть глазами любимого или любимой — одна из величайших радостей.

Она взглянула на мужа. Тот смотрел на нее с какой-то затаенной улыбкой. Она поняла: он разгадал всё, что происходило в ее душе в эти ужасные минуты, и осуждал ее. И это взорвало Гордич:

— Что за глупость! С какой стати ей с утра до ночи смотреть в мои графики! Если дублировать, то ее и тебя! У вас общее дело. Вы поставите пульта обоих постов в одном отсеке и сможете полноценно работать.

Тебелева, слушая это, сидела с безучастным лицом. Нельзя было понять, радуется она или нет. Глаза ее по-прежнему оставались широко открытыми.

— Нет, — сказал Острогорский. — Нет! И нет!

— Почему же — нет? — спросила Гордич, ловя себя на мысли, что этот категорический отказ мужа ей очень приятен, что она ждала его, ради него и сделала свое предложение.

И, осознав это, она вдруг обозлилась на себя:

— Единственный разумный выход. Не возвращать же действительно всех нас на Землю? И тем более теперь, когда остаются считанные дни до завершения. Или ты думаешь иначе?

— А я говорю — нет! — повторил Острогорский.

— Но почему же? Функции первого и второго вычислителей могут объединяться с наибольшей целесообразностью. Это азбучная истина.

Острогорский притронулся к руке Тебелевой.

— А? — как будто очнувшись, спросила она.

— Извините нас, пожалуйста, Галя, — сказал Острогорский. — Нам нужно поговорить без вас.

Тебелева сделала попытку встать:

— А-а... Ну, я пойду.

Острогорский усадил ее опять:

— Не беспокойтесь, Галя, пожалуйста. Мы выйдем. Это на несколько минут. Пойдем, Ирина!

Они вышли в соседний отсек. Подождали, пока проход за ними закроется.

Острогорский резко повернулся к Гордич:

— Это невозможно.

— Почему?

— Ты отнесись без предвзятости. Нам нельзя быть сдублированными. Подумай как следует.

— Хорошо, — сказала Гордич. — Я подумаю.

Они с мужем никогда не проходили через дублирование. В годы их молодости дублирования еще не существовало. Позже — было некогда. Да как-то и утратилась жажда такого близкого общения. Они слишком уж разошлись, как узкие специалисты, слишком были заполнены своими обязанностями по службе. А ведь когда видишь глазами другого, всё больше и больше очаровываешься внутренним миром друг друга; вживаешься в какую-то высшую незаменимость друг для друга, в сознание того, что несешь другому самую высокую радость; необычайно приближаешь к себе этого человека. Всё вместе — наибольшая духовная близость! Об этой опасности он и говорит сейчас, пытаясь разбудить в ней ревность и не зная того, что лишь полчасу назад эта бабья темная ревность уже бушевала в ней. В ту самую пору, когда он делал всё, что только мог, спасая Галину от слепоты, эта мерзкая ревность чуть не свела ее с ума. Темный омут! Болото!

— Я подумала, — сказала она, — и всё-таки не понимаю, почему ты не можешь работать с ней в паре. В конце концов разве вы не работали и прежде на одной машине и не находились вместе в одном помещении по многу часов подряд?

— И всё равно невозможно. Хотя бы потому, что я мужчина. А есть многие вещи... Зрение нужно ей не только для работы...

— Ну извини, — прервала его Гордич, — решительно ничего не произойдет, если ты время от времени будешь выключать аппаратуру, то есть на какие-то минуты оставлять Галю как бы в темноте...

Говоря это, она всё еще мстила себе за то, что низко подозревала мужа.

— Зачем ты так говоришь! — воскликнул Острогорский с отчаянием. — Зачем нам говорить, как чужим!

— Но как же я еще могу говорить? — Гордич дернула плечами. — Я говорю просто разумно.

Где-то в глубине своего сознания, вторым планом, она удивлялась тому, что быть жестокой по отношению к себе, оказывается, доставляет такое острое удовольствие.

— Боже мой! — продолжал Острогорский. — Неужели ты ничего не понимаешь? Ты должна помочь мне бороться с самим собой!

— В чем помочь, Саша? — спросила она и вдруг похолодела от предчувствия того ужасного, что, как наверняка знала теперь, сейчас услышит от мужа.

— Ты должна пойти мне навстречу. Помочь. Ты не замечаешь, а мне давно уже трудно. Я разрываюсь. Ты пойми меня.

— Между мною и ею? — почти без удивления сказала Гордич.

Значит, всё-таки правда. Она не ошиблась.

— Что ж, — сказала она. — Ситуация обыкновеннейшая. Но почему ты говоришь об этом сейчас? Ты боишься, что не удержишь себя в руках?

— Да разве я не держу себя в руках всё время? И разве не понимаю, как это ужасно?.. Ты должна помочь мне, а не взваливать на меня еще одно испытание. Ты для меня значишь всё. Но мне трудно. А тут придется еще сильнее сблизиться с ней. Зачем?

Обида и гордость заставили Гордич стремительно выпрямиться:

— Так. Что же ты предлагаешь мне? Удерживать тебя любой ценой? Тактическими приемами?

Впервые в жизни она увидела на лице мужа такое выражение, будто он собирался плакать. Она припала к его груди. Горькое ощущение, что это последний раз, владело ею. И, всё еще прижимаясь к нему, она сказала:

— Ты же понимаешь: другого выхода нет. Я не могу. Я буду чувствовать себя потом всю жизнь дрянью, бабой, которая только и знает, что бесится от ревности. Я потеряю право на самоуважение. Ты тоже перестанешь уважать меня.

Она говорила это, и каким-то не вторым уже, а третьим или пятым планом в ее мозгу проходила мысль, что с самого начала она не хотела быть дублером Тебелевой именно потому, что ревнует к ней, подсознательно давно не любит ее. Это была бы пытка из пыток. Может, даже куда бóльшая пытка, чем навсегда потерять мужа.

Они шли по осевому коридору жилого отсека, время от времени касаясь друг друга плечами. Это позволяло ей шагать свободно, не опасаясь на что-либо наткнуться. У входа в ее каюту они остановились.

— Дальше не надо, — сказала Тебелева и взяла его за руку; виновато улыбнулась. — Страшно! Там темно, — она передернула плечами.

Он смотрел на нее. И потому, что она видела только то, что видел он, то есть в данный момент как в зеркале видела самое себя, она подняла руку, чтобы подправить выбившуюся из-под шлема дубликатора прядь волос, и спросила:

— Я — некрасивая?

Он не ответил.

— Ладно. Дальше я сама. Ну ладно же! Ладно!..

В своей каюте он долго сидел у стола, не снимая с головы шлем дубликатора. Не было сил.

Наконец снял. Положил шлем на стол. Взглянул в зеркало. И удивился. Оказалось — он улыбается! Улыбается, не замечая того. Он столько улыбался за этот день, что мышцы лица привыкли уже. Он перестал чувствовать, когда улыбается.

— Ты у себя, Саша? — спросила Гордич по видеотелефону. — Можно зайти к тебе? Я отыскала совершенно удивительное решение.

— Да, конечно, — ответил он, вздрогнув.

Глава третья

ВОРОТА

— Антар Моисеевич! Только что закончился сеанс связи с Восемнадцатой автоматической станцией.

Саблина смотрела с экрана видеотелефона, как и всегда, спокойная, почти бесстрастная, ожидая, пока Кастромов сам не обратится к ней за дальнейшими подробностями, — так было принято на «Севере».

— Ну что же там, Рада?

— На станции переизбыток мощности.

— А по нашим подсчетам?

— Восемь десятых.

— Спасибо. Что еще?

— С «Востока» поступил отчет об опытах по переформированию внутрикорабельных полей.

— Знаю, Рада, знаю. О нем говорила Вера Мильтоповна. Кажется, очень интересная штука. Перешлите, пожалуйста, его мне сюда.

— Еще одно сообщение: опять с Восемнадцатой. В окрестностях станции ее приборами обнаружен источник радиации. Излучение распространяется узким пучком вдоль плоскости нашей орбиты.

Кастромов некоторое время молча смотрел на Саблину.

— То есть орбиты «Севера»? — спросил он.

Он перевел глаза на усеянный звездами экран кругового обзора, затем вопросительно посмотрел на Саблину. Та кивнула.

— Расшифровку вы делали сами?

— Я получила из транслятора готовый ответ. Если траектория корабля не изменится, мы окажемся на пути излучения через четыре часа.

— Конечно окажемся. Это входит в наши прямые задачи. Вы хотите мне возразить?

— Нет, Антар Моисеевич. Но мощность потока очень велика. Пассивной защиты «Севера» не будет достаточно. Придется принять противодозы.

— Да, да, конечно, Рада! Сейчас же начните делать замеры и, как только будет готово... — Кастромов поднялся с кресла, чтобы поскорее перебраться к Саблиной в операторскую. — Но вы, Рада, вообще отдаете себе отчет, насколько удивительно это явление?..

Подсчеты показали: «Север» пересечет поток радиации за две с половиной минуты. Выполнить весь цикл наблюдений было возможно, лишь заранее запрограммировав даже мельчайшие этапы исследования.

— Случай редчайший, — с воодушевлением повторял Кастромов, занимаясь подготовкой приборов. — Мы с вами накануне открытия, Рада. И мы, по счастью, знаем об этом и, значит, встретим его во всеоружии, — удача невероятнейшая. О таком можно только мечтать...

Ровно за полтора часа до «момента X» (встреча с потоком) Саблина включила аппаратуру противорадиационного облучения. Кастромов лежал в кресле, сама же она стояла у пульта автоматики безопасности, приглядываясь к показаниям приборов, неторопливыми легкими движениями касаясь кнопок, верньеров; переключателей. Кастромова мучило удущье: сердце не успевало перекачивать кровь. Он знал, что Саблина испытывает то же самое, но не показывает вида, и думал о ней с особой благодарностью.

Профилактическое облучение закончилось в два часа тридцать минут. В три часа четыре минуты приборы доложили, что подготовка к наблюдениям завершена. Более получаса оставалось в резерве. Кастромов углубился в радиограмму-отчет с «Востока», Саблина ушла на вычислительный пост.

Минут через десять она вдруг появилась на экране видеотелефона. Кастромов только начал проверку вывода главной формулы Венты. Она якобы позволяла поразительно быстро и просто получать исходные данные для любого преобразования внутрикорабельных полей. Это следовало проанализировать со всей обстоятельностью, и Кастромов далеко не сразу поднял глаза на экран. Всё это время Саблина, и теперь подчиняясь общему правилу — докладывать лишь тогда, когда к ней обращались, молчала. Но то, что она сообщила потом, было, в сущности, трагедией: в «момент X» никакого удара радиации не последует.

Саблина говорила совершенно спокойно:

— ...Для контроля был подсчитан баланс энергии со-

путствующего поля. Но важно другое: за время, пока шли вычисления, вектор Пойнтинга уменьшился в семьсот тысяч раз. Сейчас он, вероятно, уже почти равен нулю...

— Насколько я понимаю, — сказал Кастромов, — опасность теперь именно в том, что мы с вами провели противорадиационное облучение?

Саблина скупно кивнула.

«Умница, — вдруг подумал Кастромов. — Другая уже билась бы в истерике. Да вообще лучше, чем с ней, я ни с кем никогда не работал. Но всё-таки сколько в ней скрупулезности! Ни о чем не спросит, ничему не удивится. Исполнительность, доведенная почти до полного забвения себя, почти до безумия! И какая ирония: именно потому-то мне так и легко работать с ней».

— Итак, вы полагаете, — сказал он, — что никакой встречи с потоком излучения не произойдет?

Саблина молча кивнула.

— Но почему? — После облучения и отдыха Кастромов чувствовал себя небывало сильным, ему хотелось смеяться, говорить громко, двигаться резко. — Куда он мог подеваться? Что за чудеса в решетке!

Он говорил это бодро и каким-то звонким, отчетливым голосом, а сам думал уже: «Выхода нет. Ну я — старый дурак. Я пожил. Но она же — девочка. Ей бы еще жить и жить. И понимает ли она, что нам грозит?»

Саблина прервала его жестом.

— Что? — спросил Кастромов.

— При опытах на полигоне у нас даже комбинезоны взрывались, как порох. Один раз взорвалась оболочка реактора. Сейчас в нас с вами всё сжато, как пружина, чтобы нейтрализовать лучевой удар...

— Та-ак, — выдавил из себя Кастромов.

Выход нашелся. Если в «момент Х» все реакторы «Севера» вывести в критический режим и затем мгновенно убрать переборки, отделяющие реакторный отсек от операторской, Кастромов и Саблина смогут получить дозу радиации, достаточную, чтобы свести к нулю изменения, вызванные в них обоих профилактическим облучением. Присланные с «Востока» формулы (если только они не содержали ошибок), позволяли выполнить это с достаточной быстротой. Строить по примеру Венты специаль-

ный прибор, чтобы мысленно отдавать приказы, Кастромов, конечно, не собирался. Хуже получалось с характером излучения. Полного эффекта нейтрализации достигнуть было невозможно, и это грозило довольно серьезными последствиями.

Саблина получила результат на полторы минуты раньше Кастромова. Этого времени ей хватило, чтобы добежать из вычислительного поста в операторскую. Протянув Кастромову ленту с рядами цифр, она остановилась, тяжело дыша. На щеках ее блестели дорожки от слез, но лицо было спокойно.

— Я всё уже знаю, — сказал он.

— У вас получился тоже такой результат? Это же замечательно!

«Да она просто не досмотрела ленту до конца», — подумал Кастромов.

— Мы с вами отделаемся только потерей памяти, — оживленно продолжала Саблина. — Получится всего лишь, как при опытах в институте психологии!

«Но это же отчаянно много! — чуть не закричал он. — Что нам останется? Привычки? Инстинкты? Умение вести себя за столом? Крохи образования?..»

Он повернулся к приборам и резко, пулеметной дробью — так вслепую печатают на машинке, — начал набирать заключительные команды: на полностью автоматическое управление «Севером», на автоматическую связь со всеми другими кораблями экспедиции, с Центром информации Звездного совета, с Энергоцентром. Последней была команда на преобразование ограждений реакторного отсека по присланным с «Востока» формулам Венты.

Наконец всё было сделано. Кастромов откинулся в кресле. И тут в его сознание опять вошел голос Саблиной:

— Знаете, как он меня полюбил? Встретил на улице и влюбился. Я еще и слова ему сказать не успела. Он голоса моего до самой свадьбы, можно сказать, не услышал...

— О ком вы, Рада? — спросил он с досадой.

— Лешик мой... Он меня потом всему снова научит. Мы с ним хоть три часа можем молча ходить — нам скучно не будет. Он мою каждую привычку помнит, каждую черточку.

Кастромов поморщился:

— Ходить и молчать?

— А что они выражают — слова? Кто им верит? Я никогда не верю. Любовь не словами доказывают...

Кастромов молчал, нахмуясь. Итак, если они в чем-либо ошиблись, если формулы Венты не доработаны, — гибель. Если нет — утрачена память о прошлом. Но и это ведь гибель. Ком глины!.. Социальность и та будет стерта. Она тоже записана в мозгу физико-химическими структурами. Забыто будет всё, что передумано, выстрадано, радовало счастьем; девочка Кама (девчонку с таким именем он безнадежно любил в школьные годы — вообще любил, пожалуй, первый и последний раз в жизни. Всё, что случалось потом, было не то и не так), забытыми окажутся теоремы, формулы. Сохранится ли в памяти таблица умножения?

Придется снова начинать жизнь, и, значит, чтобы опять стать таким, какой он сейчас и каким он только и хочет быть, надо опять пройти через детство на Крайнем Севере (отец его был там начальником большого строительства), через военные годы: фронт — ранение — фронт — ранение — фронт; через все трудности студенчества — запоздалого из-за войны, из-за неважного здоровья, из-за того, что лишь через три года после демобилизации он наконец понял, что его призвание математика — одна только математика! — и вернулся в тот институт, где учился до июня 41-го года, но уже на специальность не прикладную, а теоретическую и, значит, снова начал с первого курса.

Или может: новое время — новые песни! Так, как было с тобой, — никогда и ни с кем уж не будет. Но ведь поиски истины смолоду — вечное. За ясность всегда платишь полную цену... Однако зачем же повторять весь жизненный путь? Разве порою не хотелось избавиться от воспоминаний? Мечта сбылась — получай! Память — что белый лист. Но как ответить тогда себе на вопрос: во имя чего вообще жить? Во имя чего жил именно ты? На что истратил полвека? Почему не шел более трудным или, напротив, более легким путем?.. И что значит «более легким путем»? Жить так, чтобы, кроме круга физико-математических откровений, ничто тебя не касалось?

— Рада, — сказал он, — у нас еще двадцать минут. Вы, пожалуйста, подумайте, вспомните всё самое важное для вас, зафиксируйте в Информаторе.

Он посмотрел на часы: до «момента X» девятнадцать минут. Что можно успеть?

«Да, жить так, чтобы ничто, кроме физико-математических истин, тебя не касалось, — капитуляция. Ведь это возможно лишь, если перестать задумываться над судьбой открытий, над судьбой результатов твоего же собственного труда, если сделать для себя главным не то, что происходит вокруг, а то, что творится в твоём сознании. Если вообще отгородиться от людей. Всё это в целом — отступничество от своего прямого человеческого долга. Извинить такое отступничество нельзя ничем и никак».

— Мы с Лешей меньше года женаты, — между тем продолжала Саблина, как будто не услышав его. — У нас столько еще впереди! Мы когда встретимся после работы, друг на друга насмотреться не можем. Спать жалко: жалко это время сну отдавать... Лешик никогда не бросит меня.

«Леша тебя не бросит, но ведь ты его бросишь. Ты себя бросишь. То будешь уже не ты. С твоим Лешей будет другая. А тебя просто не будет, хотя у этой другой и окажется твое тело. Человек — весь опыт, который он накопил в своей жизни. А ты будешь без опыта. Когда вы с ним встретитесь, ты будешь не человек еще. Ты будешь то, что, возможно, станет человеком. А возможно и нет. И следовательно, то, что случится с нами, — смерть. Только говорить этого не надо... Но как странно! В животном, физическом смысле умереть страшнее, чем в психическом. Что за удивительный эгоизм? А вдруг ты потом окажешься таким, какого бы ты сейчас презирал?..»

Он вновь перевел глаза на электрические часы в центре Главного пульта: до «момента X» оставалось двенадцать минут.

Они думали:

Саблина:

«Лешик мой ни за что не бросит меня. Я ему напишу. Он потом меня всему снова научит. Важно только, чтобы у меня характер такой же остался: легкий, радостный. А слова мы друг другу и не говорили... Пускай только Лешик любит меня!..»

Кастромов:

«Надо возвыситься над всем ничтожным, случайным. Выбрать единственно лучшее. Навеки определить в себе самое ценное. Сделать, чтобы мимо меня потом не прошло в жизни наиболее важное... Но что же это — наиболее важное?..»

Они обнаружили вдруг, что не отрывают глаз от диска часов. До «момента Х» оставалось девять минут.

Саблина спросила шепотом:

— Что ж будет, Антар Моисеевич?

Кастромов сказал:

— Не бойтесь. Одно несомненно: мы с вами воскреснем еще.

— Воскреснем? Но, значит, до этого мы умрем?

Саблина смотрела на него с вызовом и протестом.

Кастромов продолжал:

— Я неправильно выразился. Мы не умрем и не будем воскресать. Мы просто продолжим жизнь. Но... Но только произойдет это лишь в одном случае: если то, к чему каждый из нас пришел за всю свою жизнь, как к итогу ее, сами потом не станем оплевывать... В мире, Рада, пока еще часты горе, печаль, страдание. А ведь на самом деле для каждого человека норма — счастье. Счастье с первого и до последнего дня своей жизни, и не в одиночку, а вместе со всеми людьми на свете. В этом смысл бытия. А что же еще?.. И каждое истинное дитя человеческое обязано помнить об этом и не падать себя в малых и больших битвах с теми, кто жаждет счастья лишь для себя, для какой-то одной своей нации или расы, кто обкрадывает других — обогащается за их счет, растлевает их души... И вот что важно поэтому: когда в нас опять пробудится сознание и наша память снова начнет насыщаться, то, какие слова и какие идеи мы узнаем в первую очередь, во многом решит и то, рядом с кем и против кого мы с вами, Рада, будем идти. — Кастромов взял световое перо — восьмигранный металлический стержень, соединенный гибким шнуром с пультом Информатора. — Путь только один, Рада...

Концом светового пера Кастромов начал писать по поверхности экранла-накопителя Информатора, оставляя на ней светящиеся слова — копию записи, которая сохранится на магнитных лентах и, даже если «Север» огненным метеоритом врежется в Землю, не утратится, будет прочитана.

Он писал: «Мой приказ самому себе. Путь, каким я должен идти, — щедро жить для людей, Антар, быть коммунистом. И запомни: предать это мое решение — предать себя. Не предай же себя, Антар!»

— Отчет об опыте Венты вы послали Кириллу Петровичу? — спросила Саблина, из-за плеча Кастромова

глядя на экран: надпись медленно уплывала под верхний обрез.

— Нет, — ответил Кастромов.

— А вдруг это срочное?

— Возможно. Но теперь уже некогда. Автоматы пошлют.

— А рецензия?

— Этого будет достаточно. Мы испробуем формулы Венты на самих себе.

Держась за спинку кресла, Саблина обошла его и, кивнув в сторону экрана, виновато посмотрела в глаза Кастромову:

— Мне тоже надо так? Но я ведь плохая. Я с вами честно: я только о Леше думаю. Мне надо веселой, красивой остаться...

Она не успела договорить. словно пушечным залпом встряхнуло воздух. Это открылся путь в операторскую излучению реакторов «Севера».

Рывком смяв панели Главного пульта, распоролась ферритовая стена. Операторская стала частью гигантского — пределы его терялись во мраке — отсека реакторов. Их серебристые коконы, окруженные холодным зеленоватым свечением, нависли над Саблиной и Кастромовым. Но Кастромов понимал всё это лишь несколько первых мгновений.

И тогда же было мгновение, в которое он видел Саблину, торопливо водившую световым пером по экрану-накопителю Информатора. «Ей тоже ведь трудно», — подумал он и вдруг удивился бессмысленности этих слов: он уже не помнил, в чем, как и кому было трудно...

Глава четвертая

СТОЯТЬ ДО КОНЦА

Операторская на корабле «Юг» (так же, впрочем, как и на всех других кораблях) состояла из двух зон: зоны работы и зоны отдыха. В зоне работы верхнюю часть передней стены (и почти весь потолок) занимал экран кругового обзора. Он был как бы широко распахнутым окном в космос. На нем мерцали звезды, матово светился раскаленный шар Солнца, восходили и закатывались пепельно-голубые диски Земли, Марса, Венеры... Всю ниж-

нюю поверхность передней и боковых стен устилали приборные панели. Десятки шкал, сигнальных огней, светящихся надписей, переключателей, кнопок, овальных, круглых и квадратных экранов выстроились здесь в несколько ярусов. Всё это вместе (включая сюда еще и два массивных командирских кресла из голубовато-золотистого ферилита) и было — Главный пульт корабля.

Там, где кончались приборные панели, начиналась зона отдыха. Сидя в командирском кресле, ее нельзя было видеть. Взор человека не мог проникнуть сквозь пелену сиреневого марева, а за нею-то и располагалось пространство, которое на каждом корабле оказывалось своим особенным миром. На «Юге» здесь стояли широкий письменный стол на драконьих дубовых лапах, два мягких кожаных кресла, здесь был еще застекленный шкаф, золотящийся корешками книг, настольная лампа с зеленым абажуром, на стенах висели картины: пейзажи Армении, море в штормовую погоду. Тут царили тишина и покой.

Чтобы перейти из зоны работы в зону отдыха, почти не требовалось усилий. Всего лишь обычный шаг — и человек переносился в совсем другую обстановку.

Иногда бывало, что зона отдыха состояла из двух или даже трех отдельных «пространств» — по числу членов экипажа, но здесь, на «Юге», вкусы Кирилла Петровича и Пуримова сошлись целиком. Вернее, Новомир Пуримов безоговорочно присоединился к тому, что попросил создать для себя перед отлетом в космос Кирилл Петрович.

И вот теперь Кирилл Петрович сидел у этого стола с драконьими лапами и, словно карты в пасьянсе, рядами раскладывал сообщения автоматических станций.

Третья станция: «Волноводная зона стабильна».

Восьмая: «Волноводная зона стабильна».

Восемнадцатая...

Нет, нет, это сообщение — потом. Оно выпадает из общего ряда.

Двадцать четвертая: «Волноводная зона стабильна».

Семьдесят пятая: «Волноводная зона стабилизирована».

Стабилизирована? Смотрите, пожалуйста! Стабилизирована и стабильна — одно и то же, в общем. Потому и поразительна эта инициатива автоинформатора станции, — ведь он только машина.

Кирилл Петрович покосился на индикатор ОЦУТа. Чтобы всегда быть к услугам, он находился на браслете рядом с кнопкой радиопключения. Глазок индикатора тускло

желтел. Это значило: с настоящим отдыхом можно еще подождать, но сделать небольшой перерыв — обязательно. Где ж эти сообщения от рабочих групп? Вот они!

Группа «Север»: «В районе Восемнадцатой автоматической станции волноводными зонами создано неподустимо плотное затеняющее поле. Образовалось пространство с особым космическим климатом. Со временем его влияние на атмосферу Земли примет такие размеры...»

Нет. Читать дальше не стоит. Знакомая песня Кастромова: «Природа консервативна. Подтачивать этот фундамент нельзя», — демагогическая чепуха! Истина конкретна. Ученый не имеет права мыслить такими расплывчатыми категориями.

Группа «Восток»: «Всё — норма. Ближайший этап — посещение Сорок девятой. Цель — рабочий режим. Осуществлен эксперимент — преобразование внутрикорабельного поля. Отчет направлен «Северу». Цель — рецензирование».

Это, конечно, Вента. Его стиль. Сжато, насыщено информацией, но, в общем-то, фразы нарублены, словно дрова: главное, чтобы ни в одной не оказалось больше пяти слов. Или это несовместимо — предельная краткость и нормальный стиль языка?

Группа «Запад»: «Автоматической стабилизации волноводных зон, расположенных в непосредственной близости к Солнцу, достичь не удастся. Частная причина: сбой в работе Восемнадцатой станции. Общая: безусловная необходимость циклического существования волноводов. Расчеты ведутся. Гордич, Острогорский, Тебелева».

Кирилл Петрович снова покосился на глазок ОЦУТа: по-прежнему желт, тускл. Эти минуты совершенно ничего не дали, хотя, раскладывая карточки сообщений, он, в сущности, лишь развлекался и даже ушел с ними в зону отдыха.

Кирилл Петрович нахмурился. Прежде только к машинам присоединяли индикаторы. Дошла очередь и до людей.

Но, конечно, пора отдыхать. Не стоит ссориться с автоматикой безопасности.

Кирилл Петрович встал с кресла, собрал в стопку пластиковые прямоугольники сообщений, которые только что раскладывал на столе, сунул их в нагрудный карман комбинезона и вышел в зону работы. Как и обычно в свободное время, Пуримов стоял там у пульта изготовителя

приборного оборудования. В руках он вертел толстую гайку с ушками. Извлекать из люка изготовителя то одну, то другую деталь, обозначенную в каталоге, осматривать ее, затем отправлять в утилизатор, было любимым занятием Пуримова. Он мог это делать часами. Обезьянье любопытство на уровне самой высокой техники.

— Послушайте, Новомир, — сказал Кирилл Петрович. — Я сейчас уйду к себе, а вы тем временем просмотрите документацию по Восемнадцатой станции. Пожалуйста, всю, начиная с самых азов. В вашем распоряжении полтора часа.

Продолжая ощупывать гайку, Пуримов повернул к нему голову:

— То есть?

— Какие-то несообразности.

— А именно?

— Судите сами! Автономным пультом станции вдруг почему-то изъяты все дублирующие системы. Это косвенный вывод. Сообщения самой станции — абракадабра.

Пуримов по-прежнему продолжал ощупывать гайку, и на лице его выражался интерес лишь к тому, что делали руки.

— Причем заметьте: системы изъяты, но поле, которое формирует их, осталось. Из данных, поступивших от станции, это следует со всей несомненностью. Однако почему ж тогда системы не восстанавливаются?

— Общее дежурство вы мне тоже передаете? — спросил Пуримов.

— Стоит ли? Это вас только свяжет. Сейчас все спокойно, автоматика справится.

— Хорошо, — сказал Пуримов.

Пуримов начал с заводской документации. На экране корабельного Информатора перед ним проплывали вереницы формул. Автоматические станции строились из металлических ферм и затем (уже в космосе) заполнялись феррилитом. Уравнения магнитных полей олицетворяли собой детали их конструкции, системы приборов, отдельные механизмы и то, как все они между собой должны взаимодействовать.

С холодным сердцем смотрел Пуримов на эти цепочки математических индексов. В глубине души скука и неприязнь владели им.

Вообще для Пуримова существовало лишь то, что было предметом, механизмом, очевидным физическим явлением. Всё хоть сколько-нибудь отвлеченное казалось ему напрасно придуманным усложнением, а на самом деле просто находилось за пределами его восприятия. «Глухота» на абстрактные представления свойственна многим. В крайнем своем выражении это такая же яркая особенность мышления, как и абстрактное видение — свойство видеть в окружающем мире как бы скелетные линии предметов и образов. Но человечески Пуримов был зауряден. Признаться, будто он отрицает такое, что все «здравомыслящие» люди находят нормой, он не мог ни Кириллу Петровичу, ни самому себе. Это значило бы, что он идет против сотрудников лаборатории, среди которых как раз умение мыслить отвлеченно было не только нормой, но и ценилось превыше всего. Вот почему и теперь работа шла точно так, как и много раз прежде, когда Пуримов получал подобные задания. Несмотря на всю неприязнь и скуку, владевшие им в глубине души, привычно подчинив себя приказу и создавая вполне убедительный образ активного действия, он с лихорадочной торопливостью заменял на экране Информатора одно уравнение другим, световым пером подчеркивал те или иные формулы, ставил возле них вопросительные и восклицательные знаки.

— Как дела, Новомир? — спросил вдруг Кирилл Петрович, появившись на экране видеотелефона. — Что-нибудь привлекло ваше внимание?

— Да, — вздрогнув (хотя он и ожидал всё время этого момента), ответил Пуримов и спохватился: — То есть нет! Я не закончил еще. Осталось проследить эволюцию орбиты станции за последние десять суток.

— Что-о? — брови Кирилла Петровича взлетели вверх. — Зачем же? И почему тогда только за последние десять суток?

Пуримов молчал.

— Через пять минут я приду, мы во всем разберемся. А эти орбиты, — Кирилл Петрович махнул рукой: — Бог с ними, Новомир! Что в них копать.

Экран погас.

«А я всё равно прослежу», — подумал Пуримов.

Не дожидаясь Кирилла Петровича, он ушел в нижнюю дирекционную. Там, на экране гравимагнитного накопителя, вокруг желтого диска Солнца, вилаась кружев-

ная вязь всех орбит станций, астероидов, траекторий полетов космических кораблей, метеоритных потоков. Космос навечно запечатлевал здесь свою историю.

Поворотом верньера Пуримов сделал орбиты Восемнадцатой станции самыми яркими, потом деформировал их, совмещая по наибольшему диаметру, взгляделся, многозначительно поджав губы, и вдруг отшатнулся от накопителя: получалось, что Восемнадцатая движется теперь не по эллипсу, а по спирали, неудержимо приближается к Солнцу, падает на него! Вот вам и не надо копаться!

Какая-то мысль заставила его застыть с озадаченным видом. Мысль была очень важная. Она касалась всей его жизни. Но какая — он так и не смог понять.

Пуримов вернулся в операторскую. Кирилл Петрович, выслушав его, не проронил ни слова. Скорее всего, он ничему не поверил. Но в нижнюю дирекционную пошел. Возвратясь же, схватил Пуримова за руку:

— Вы гений, Новомир. Кто бы еще, кроме вас, надумал сейчас заняться орбитами? Разве только через десятки лет для изучения фигуры Солнца!

Пуримов пожал плечами: «Гений так гений...»

— И как истинный гений, Новомир, вы сразу же задаете вопросы. Итак, главный вопрос: почему лишь одна Восемнадцатая повела себя так необычно? Законы всемирного тяготения не отменены. Наша планета на орбите миллиарды лет, — Кирилл Петрович умолк, вдруг подумав: «Но ведь это и есть кастромовский консерватизм!»

— Не знаю, — ответил Пуримов.

Кирилл Петрович внимательно посмотрел на него. За все годы их знакомства Пуримов впервые так непринужденно признавался, что чего-то не знает. Уличать других — это он мог. Но признаваться в незнании... О нет! Прежде ему это было вовсе не свойственно.

Основных загадок было три.

За счет какой энергии изменилась орбита Восемнадцатой? Каким способом осуществлялось это воздействие? Продолжается ли оно?

И прежде всего требовалось установить, нет ли в окрестностях Солнца пылевого, радиационного или магнитного пояса, еще не обнаруженного учеными. Самым

естественным было предположить, что он-то и замедлил движение станции.

Занимаясь сопоставлением данных, собранных забортными датчиками Восемнадцатой за время ее существования, Кирилл Петрович настолько был захвачен работой, что до его сознания далеко не сразу дошел смысл очередного предложения Пуримова: срочно посетить эту станцию.

Кирилл Петрович указал рукой на одну из панелей Главного пульта:

— Зачем? Там перед нами будут эти же самые приборы — их абсолютная копия. Дубликат! И показывать они будут то же самое!

— Мы выйдем посмотрим.

— Дорогой Новомир, — ответил Кирилл Петрович. — Эпоха, когда «исследовать» значило «осмотреть», — давно в прошлом. Ее завершил еще Леверрье, на кончике пера, как вам известно, открыв планету Нептун!

— Вы, может, боитесь вместе со станцией упасть на Солнце? Но мы успеем благополучно уйти.

— Всё движется и, значит, куда-нибудь падает. Даже когда мы стоим на месте, то всё равно падаем, — сказал Кирилл Петрович и взглянул на глазок ОЦУТа: цвет его был совсем уже темно-желтый.

«Да врут все эти ОЦУТы, — проговорил он про себя. — Я только что отдыхал. Я давно не чувствовал себя так хорошо».

— Конечно, иной прибор в сотни раз больше любого осмотра говорит, — сказал Пуримов. — Прибор прибору рознь...

«Волга впадает в Каспийское море... Лошади едят овес и сено, — думал Кирилл Петрович. — Вот оно где — рутина. И понятно, откуда она: от незнания, от бесконечного откладывания «на потом» всякого самовоспитания, требующего повседневных усилий: завтра начну как следует всё изучать, с понедельника, с четверга, с пятницы перестану попусту терять время... Лишь бы не сегодня, а завтра!.. На Восемнадцатую мы полетим, но только для того, чтобы выдать Звездному совету формулировку: «Осмотр на месте установлено». А ответ держать там придется, и надо, чтобы разбор перипетий не затягивался, иначе я просто физически не успею довести проект до конца».

И он с раздражением покосился на глазок ОЦУТа.

Кирилл Петрович был прав.

Когда «Юг» достиг Восемнадцатой автоматической станции и двинулся в ангарное отверстие у ее северного полюса; когда сработали поля автоматики безопасности и корабль и станция намертво слились, так что Кирилл Петрович и Пуримов могли выйти в отсеки станции не надевая скафандров, в показаниях приборов операторской ничто не изменилось.

Но они вышли из корабля. Выход открылся прямо в полуторакилометровый коридор приборного отсека станции. Стены, пол и потолок его были из ферритовых управляющих блоков. Только белые разграничительные линии да цифры монтажной маркировки оживляли однообразные серо-стальные поверхности.

Пуримов принялся деловито шагать взад-вперед по коридору, останавливаясь у разграничительных линий и пристально вглядываясь в них.

Смотреть на это Кириллу Петровичу было в высшей степени тягостно.

Не сказав ни слова, он вернулся в операторскую «Юга», передал функции общего дежурного Автономному пульту и вновь занялся анализом данных о полях и скоплениях частиц, которые встречались на пути Восемнадцатой за весь ее длинный путь от места сборки в околоземном космосе.

К сожалению, он почти ничего не успел сделать. Пуримов вернулся.

Войдя, он с минуту молча постоял за спиной Кирилла Петровича, потом сказал:

— Теперь-то я всё окончательно понял.

— Что вы поняли? — с неприязнью спросил Кирилл Петрович, ожидая от Пуримова нового потока общеизвестных сентенций.

— А то, что станция столкнулась с астероидом.

«Ах вот что он искал там, — подумал Кирилл Петрович. — Но это бессмыслица». Он сказал:

— Вы же знаете: каждое столкновение станции даже с метеоритом величиной в горошину отмечается, как событие чрезвычайной важности, не говоря уж о том, что оно немедленно фиксируется приборами станции, и весть об этом тотчас доводится до всех наших групп и до Земного центра.

— А почему отсутствие сигналов не может явиться последствием столкновения?

Глазок ОЦУТа был уже розовым. И это отозвалось в душе Кирилла Петровича стоном: на что ушли силы! На толчение воды в ступе!

— Вам хочется осмотреть станцию? — сказал он, чтобы прекратить разговор. — Пожалуйста. На ближайшие часы вы свободны.

— Я и пойду, — ответил Пуримов. — Я всё продумал. В том месте, куда пришелся удар, фермы станции хотя и восстановились, но уже будут не из спецсплава, а из феррита. Их отличишь просто по внешнему виду. Они шершавее. Вы еще убедитесь, насколько я прав. Я даже знаю уже, в каком месте это могло произойти!

«Ну да, именно потому ты и стремился сюда: на ощупь искать повреждение. Это, конечно, полезнее, чем часами торчать у люка изготовителя... Но если бы удалось так просто найти объяснение!» — подумал Кирилл Петрович и вдруг почувствовал к Пуримову острую-острую жалость. Надо ж такую судьбу: позади целая жизнь и ни научных успехов, ни степеней, ни семьи, ни вообще хотя бы какой-нибудь одаренности, всегда способной скрасить даже самое глубокое одиночество.

Он вновь взялся за таблицы плотностей межзвездного газа и вдруг отложил их. Никчемный разговор с Пуримовым как-то повернул весь ход его мыслей. Он даже знал, в какой момент это случилось: когда Пуримов высказал в пылу спора сумасбродную идею, что отсутствие информации о столкновении может оказаться последствием самого столкновения. В этом допущении определенно таилось нечто значительное. Даже очень и очень значительное. И он вдруг понял, что и как он должен исследовать дальше.

Обычно корабли и станции находились в десятках миллионов километров друг от друга. Из-за немгновенности распространения радиоволн обмен информацией между ними изобиловал паузами. Но сейчас впервые за всю историю науки приборы космического корабля и автоматической станции работали как единое целое, и это позволяло не только обнаружить неполадки их взаимодействия, но и до конца выяснить самое трудное: что было следствием и что причиной.

Три явления совершились строго одновременно: резкий скачок, который превратил Восемнадцатую в неудержимо падающее на Солнце небесное тело; начало перестроения внутрикорабельных полей «Востока» (де-

талей этого порожденного фантазией Венты феномена Кирилл Петрович еще не знал); возникновение в аппаратуре кораблей «Север» и «Запад» самопроизвольных местных эффектов, принятых экипажами за лучевые удары извне. Разве это могло быть простым совпадением?

Уже после первого часа расчетов Кирилл Петрович мог совершенно обоснованно утверждать, что причиной всех несчастий станции была слишком высокая надежность ее оборудования. Да, как ни поразительно! Из-за этого ее автоматика ни разу еще не сталкивалась с аварийными ситуациями. И в итоге, в какой-то момент Автономный пульт станции счел дублирующие, запасные, системы приборов и механизмов вообще не нужными и, действуя по принципу рационального расходования энергии, изъясил их.

Логично?

С точки зрения автоматического устройства — вполне. Однако потому-то в дальнейшем эта самая автоматика и не смогла удерживать станцию на орбите и даже оказалась не в состоянии своевременно сигнализировать о таком положении дела.

Еще час пролетел как миг. Кирилл Петрович заметил это, когда в поле его зрения случайно попал глазок ОЦУТа. Он был вишнево-красен. Станет еще хоть немного темней — и автоматика безопасности потребует ухода Кирилла Петровича на новый отдых. Прикажет Главному пульту «Юга» прекратить вычисления.

И это было бы вопиющей несправедливостью, потому что никогда за все последние годы он еще не чувствовал такого удовольствия от процесса работы. А разве это не самый верный признак, что он не устал?

Он вновь погрузился в расчеты, решив, пока возможно, не обращать внимания на предостережения ОЦУТа, однако невольно все время помнил об этом, и то и дело с раздражением поглядывал в сторону индикатора.

Дублирующие системы не использовались, и Автономный пульт станции ликвидировал их. Но она еще держалась на орбите, пока не проявил себя другой фактор: эффект неравномерности обмена информацией. Счетные машины действовали очень быстро. Чтобы, получив рас-

поряжение с корабля, произвести вычисление и выдать аппаратуре станции исполнительную команду, им требовались всего лишь наносекунды. А потом — пять—десять минут ожидания, пока радиосигнал пробежит расстояние от станции до ближайшего корабля, — то есть в миллиарды раз большая пауза. Для машин эти минуты были вечностью. Машины как бы периодически ввергались в небытие. И поэтому даже одинаковые приказы, поступавшие с кораблей, воспринимались Автономным пультом станции различно; они приходили к счетной машине, оказывающейся в разном состоянии. Получалось нечто вроде того, как если бы один человек сказал: «Мне хочется есть», а другой бы ответил: «Возьмите в буфете хлеб», но только ответил бы с разрывом в десяток лет.

Законодателем тут выступало время как форма существования материи, по особому воздействуя на всю сумму факторов: немгновенность распространения радиоволн; излишне высокая самостоятельность автоматов; мощные магнитные поля, сжимающие станцию; воздействие на нее излучения Солнца, — с неумолимой неизбежностью приведя Восемнадцатую к сходу с орбиты, в приборных системах кораблей «Север» и «Запад» вызвав всплески энергии, воспринятые как лучевые удары, хотя на самом деле никаких ударов не было и не должно было быть, а на корабле «Восток» вмешавшись в работу изобретенного Вентой формирователя.

Почему все другие станции не сошли по такой же причине с орбит?

Они с самого начала оказались в ином положении: корабли мало работали с ними. Автоматика станций «не пробудилась». Но неизбежно «пробудится», когда и с ними обмен информацией достигнет некоторой критической величины.

Но почему же Восемнадцатая потребовала большего внимания?

Она была самая близкая к Солнцу, сильнее других взаимодействовала с его излучением.

В какой-то мере они всё это предвидели. Чтобы сократить разрывы между радиокомандами, разделились на четыре группы и вышли на космических кораблях к самому Солнцу, ближе к станциям. Однако надо было не ограничиваться полумерами: каждой станции, словно живому организму, следовало не оставаться застывшей конструкцией. Тогда б им открылась возможность активного

приспособления к переменчивой действительности. Автономные пульта их стремились бы не к упрощению, а к дальнейшему совершенствованию конструкции станции. И не к этому ли сводилась в конечном счете идея, намеченная в сообщении Гордич, Острогорского и Тебелевой с «Запада»: сделать волноводы существующими циклически, то есть тоже изменяющимися во времени. И не потому ли даже малейшее новое усложнение конструкции Автономного пульта — создание Вентой формирова-теля привело к неожиданностям: аппаратура начала выходить из-под контроля людей?

Всё это он, Кирилл Петрович, понимал теперь с предельнейшей ясностью. Больше того, он видел уже контуры той математической картины, которая должна была заложить основы совершенно новой науки: релятивистской теории информации, то есть действующей лишь при скоростях тел, сравнимых со скоростью света.

И всё это — увы! — было самообманом, потому что приборы ОЦУТа давно уже категорически утверждали, что он больше не способен думать с необходимой логичностью, и могли в любую секунду отдать вычислительному центру корабля «Юг» приказ прекратить работу.

Несправедливость! Насилие! Духовный подъем гигантски умножает физические силы!

Автоматы отрицают это?

Тем хуже для них. Они — с конвейера. И дело не только в том, что природа создала человека, как систему с громадным запасом прочности. Они — все десятеро сотрудников лаборатории — вышли в космос, чтобы полнее проявить себя. Лишь это оправдывает необходимость посылать туда людей. И потому-то их подбирали не только как сумму специалистов разных профессий, но и как сплав индивидуальностей. Человеческий коллектив, сосредоточившийся на решении единой задачи, — самое жизнеспособное целое, что только может быть создано земной цивилизацией.

Нет. Подчиняться нельзя. Надо стоять до конца. Нужно поработать еще хотя бы час.

Он отключил от себя всю систему ОЦУТа. Его статус — начальник экспедиции и первый заместитель председателя Звездного совета — давал ему право принимать чрезвычайные решения. Это было одно из них.

«Мое решение, — сказал он себе, — не бунт против засилия автоматики (хотя именно таким бунтом это и было). Оно, — сказал он себе, — закономерное проявление того, что возвысило человека над живой и неживой природой. Это — проявление воли». (И тут он не ошибался!)

Информатор замигал было красным протестующим глазом. По его суждению, Кирилл Петрович, видимо, и на такое решение уже не имел права.

Кирилл Петрович выключил и его. Он передал Автономному пульту «Юга» не только функции контроля (функции общего дежурного он передал ему раньше!), но и контроль за контролем, то есть поступил так, будто люди вообще покидали корабль.

И пришла тишина.

Глава пятая

СТОЯТЬ ДО КОНЦА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вернувшись через несколько часов в операторскую, Пуримов опустил в кресло и сидел, устало откинувшись на его спинку и закрыв глаза до тех пор, пока Кирилл Петрович не спросил:

— Ну что там у вас, Новомир?

Чувство удовлетворения переполняло Кирилла Петровича.

Пуримов, выпрямившись в кресле, открыл глаза:

— В одном месте усомнился было. Пришлось делать анализы. А так...

— А у меня, знаете, есть кое-что. И между прочим, первый толчок мне дала одна ваша мысль. Сказать вам — какая?

Пуримов поднял глаза на Кирилла Петровича, улыбаясь ему устало и смущенно, и вдруг закрутил головой, оглядываясь. Затем он рывком поднялся с кресла, приблизился к Главному пульту и несколько секунд всматривался в запись на экране Информатора: «Системы ОЦУТа отключены. Автономный пульт — в режиме оптимальной стабилизации».

— Почему тишина? — спросил он у Кирилла Петровича.

Ответить тот не успел: Пуримов заметался у приборных панелей, нажимая кнопки автономных пускателей.

И как будто рухнули стены: залились трелями звонки, сразу на десятках экранов запылали тревожные красные огни и вспыхнули табло:

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УСКОРЕНИЯ!

ТЕМПЕРАТУРА СЛОЯ А — 1400 ГРАДУСОВ, СЛОЯ Б — 1200, СЛОЯ В — 1150.

И, перекрывая все звуки, прерывисто завывла сирена общей тревоги, привлекая внимание к надписи из больших белых букв, перечеркнувшей экран кругового обзора:

АВТОНОМНЫЙ ПУЛЬТ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С КОРРЕКЦИЕЙ ТРАЕКТОРИИ.

Но Кирилл Петрович смотрел не на экраны: вновь вспыхнувший на его браслете глазок ОЦУТа был не желт и не изумрудно-зелен и даже не темно-красен. Он был почти черен, словно рубин самой густой окраски.

— Новомир, — сказал Кирилл Петрович, — примите дежурство.

Пуримов резко обернулся.

— Какое дежурство! — Несколько мгновений он с ненавистью смотрел на Кирилла Петровича, потом бросился к Аварийному пульту и, одну за другой нажимая кнопки, продолжал: — Страусиная политика! И вот — финал: приборы ОЦУТа говорят неприятную правду? Выключить их! Отгородиться от беспокоящей информации!.. Да это же самая настоящая дряхлость! Смерть!..

Кирилл Петрович почти не слушал его. Рубиновый глаз ОЦУТа гипнотизировал его.

— Примите дежурство, — повторил он.

— Автоматы подчинились мне: я уже общий дежурный, — грубо ответил Пуримов. — Чего вам еще?

— Отдайте команду: «Семьдесят шестая станция немедленно переходит из резерва на бывшую орбиту Восемнадцатой».

— Семьдесят шестая тоже слетит на Солнце!

Кирилл Петрович посмотрел на глазок ОЦУТа: черен, как ночь.

— Восемнадцатую столкнули мы сами, — сказал он. — Семьдесят шестая удержится.

В глазах Пуримова он увидел откровенную жалость. «Он тоже глядит на ОЦУТ», — подумал Кирилл Петрович.

Не ответив, Пуримов сделал несколько переключений.

Вокруг по-прежнему был ад полыхающих титров, экранов, сигнальных огней. Выдвигаясь из-под обреза экра-

на кругового обзора, медленно наплывал на черноту неба край зернисто-огненной поверхности Солнца.

— Через семь минут, — сказал Пуримов.

— Энергокапсула?

— Да.

В стене отсека слева и справа от аварийного пульта открылись ниши. По форме они были словно оттиски фигуры человека, широко расставившего ноги и руки. Пуримов спиной вдвинулся в одну из ниш. Стена закрылась за ним и почти тотчас вытеснила из себя белоснежную куклу почти в два раза толще и на полметра выше Пуримова. Но это был он: сквозь открытое забрало шлема виднелось его посеревшее лицо.

Подойдя к Кириллу Петровичу, он сказал:

— Капсула выйдет к «Востоку». Ближе никого нет.

Кирилл Петрович тоже надел скафандр.

Стоя у аварийного пульта, они некоторое время молча следили за тем, как перемещается по шкале стрелка концентратора энергии. Максимум должен был наступить через пять-шесть минут.

— Всё идет по принципу незаменимости, — сказал Пуримов. — Мы с вами разны наполненные сосуды.

Понимая, о чем он говорит: о том, что из них двоих именно он, Пуримов, должен оставаться, чтобы корректировать полет энергокапсулы, — Кирилл Петрович ответил:

— Я — командир. Уйти последним — мой долг.

— И ваш и мой долг сейчас — довершить дело, ради которого мы пришли сюда. Стоять до конца. Поняли?

Это было последнее, что Пуримов успел сказать. В стене операторской открылось круглое отверстие: проход к той точке корпуса, где начинался волновод. Пуримов рванул рычаг под шкалой концентратора энергии.

«Я не могу так!» — хотел крикнуть Кирилл Петрович. Магнитное поле оторвало его от пола, лишило веса, перевернуло, — и свет для него померк.

Они мчались теперь в разных направлениях. Ферритовый челнок с Кириллом Петровичем, погруженным в состояние особого электрогипноза, позволявшего выдерживать тысячекратные перегрузки, уносился в звездную черноту. Тянувшая за собой хвост испаряющегося металла масса — Восемнадцатая автоматическая станция, космический корабль «Юг», — по спирали падала на Солнце.

Но в глубине этой массы еще был порядок. В отсеке Автономного пульта корабля «Юг» царила сверхнизкая температура, и в операторской, на панели Главного пульта лежали руки одетого в скафандр человека. И глазок ОЦУТа, подключенного теперь к нему, был безмятежно солнечен.

И даже когда Восемнадцатая автоматическая станция и слившийся с нею корабль «Юг» провалились в хромосферу Солнца, и тогда капсулу с Кириллом Петровичем по-прежнему настигали корректирующие сигналы: те, которые вышли из операторской «Юга» еще до того, как всё, что было станцией, кораблем, Пуримовым, распалось на атомы. И конечным сигналом, посланным в самый последний миг, когда уже сгорали оболочки скафандра Пуримова, был сигнал на остановку энергокапсулы, распыление феррилитового челнока и возвращение к бытию освобожденного из него человека.

Этот сигнал настиг челнок в семидесяти восьми тысячах километров от корабля «Восток».

С помощью ракетного пояса, вмонтированного в скафандр, Кирилл Петрович преодолел эти семьдесят восемь тысяч километров за пять часов, — конечно, не быстро, но время уже не имело значения: тот факт, что остановка энергокапсулы совершилась в такой дали от «Востока», говорил о гибели Пуримова. Он сделал всё, что мог. Предпринимать что-либо для него было поздно.

«Восток» двигался с ускорением. Кирилл Петрович догнал его, но добраться до овала стандартного входа не сумел. Пришлось бы отклониться почти на тысячу километров в сторону, огибая испепеляющий веер фиолетового огня, бьющего из боковых дюз. Сделать это запас энергии ракетного пояса не позволял. Оставалось одно: приблизиться к кораблю в любой доступной точке. Единственным таким местом был район левого реакторного отсека — во время работы двигателей район очень сильного излучения радиоволн. Собственно, Кириллу Петровичу это ничем не грозило, но, заглушаемые помехами, сигналы тревоги оттуда не могли быть услышаны.

Рывком выжав всё, что могли дать ракеты пояса, он приблизился к «Востоку», прильнув грудью к корпусу корабля, и включил магнитное сцепление. Через десять — пятнадцать часов запасы кислорода кончатся, но тело его найдут.

«Новомир погиб там, я — здесь», — подумал он. Эта мысль принесла облегчение. Она почти обрадовала его, вывела из состояния апатии. «Как всё же обидно: ведь я всего в десятке метров от спирального коридора!» Он представил себе этот коридор и вдруг почувствовал, что стремительно летит в черноту. Подумать он ничего не успел: всё свершилось за доли секунды. Он обнаружил, что стоит в коридоре «Востока» и рядом — Пуримов в одном только комбинезоне. «Но мой же скафандр радиоактивен!» — ужаснулся Кирилл Петрович.

Все корабли, в общем, были одинаковы по конструкции. Два поворота по коридору — и Кирилл Петрович вбежал в карантинный отсек.

«Какое счастье», — думал он, торопливо помогая автомату освободить себя от скафандра.

И все долгие пять минут, которые он находился в камерах дезактивации, он повторял про себя: «Какое счастье! Какое невероятное счастье!»

Выйдя из карантинного отсека, Кирилл Петрович увидел: Пуримов ждет его в левом конце коридора. Кирилл Петрович рванулся было к нему, но справа в коридоре тоже стоял Пуримов!

— Новомир! — крикнул Кирилл Петрович. — Новомир!

Он глядел то вправо, то влево. Обе мужские фигуры стояли не двигаясь.

«Мне всё это кажется, — решил он тогда. — Новомир прошел в операторскую. Зачем бы он ждал меня здесь?»

И, видимо, действительно это только казалось: обе фигуры исчезли.

В операторской никого не было.

«Обогнал? — подумал Кирилл Петрович. — Но где же он бродит? И как вообще я сумел проникнуть в «Восток»? Или я еще на своем «Юге», и всё, что произошло с Восемнадцатой, сон?»

Он шагнул в зону отдыха. За сиреневой световой завесой было именно то, что он всеми силами души желал увидеть: дубовый стол, кресла, книжный шкаф, пейзажи Армении...

«Да, конечно, это «Юг». На «Востоке» у них там гимнастический зал, опушка березовой рощи... Значит, я и на самом деле никуда не улетал. Мы с Новомиром по-

прежнему на своем корабле. Но тогда как же всё-таки Восемнадцатая? Пригрезилось?..»

Он стал ощупывать себя. Нет, он не спал.

В изнеможении Кирилл Петрович опустилсЯ в кресло и закрыл глаза.

«Итак, мы оба всё еще на корабле «Юг», и ничего не было. Но как же не было? Споры с Новомиром были! И упрек в дряхлости тоже был!..»

Ему стало вдруг очень жаль себя.

«Главное несчастье старости в том, что не хочется никого убеждать, — подумал он. — И понятно: мыслишь зрело, позади опыт всей жизни. То, что для других еще только будет, для тебя уже было. Любые возражения ты слышал, знаешь, что впоследствии наверняка получится именно так, как ты предсказывал. Зачем же зря расходовать свои и чужие силы?..

И потому-то в старости ты признаешь только споры с самим собой. Внутреннюю борьбу. Недаром после пятидесяти лет уже почти не приобретаешь друзей: спор — это всегда сражение за единомышленников. А как их может завоевывать тот, кто спорит лишь с собой?

Чем моложе душой человек, тем настойчивей доказывает он свою правоту. И, значит, он работает с наибольшей отдачей, не отмалчивается, оберегая себя, своей покой.

Но почему же, так ясно понимая всё это, я враждовал с Новомиром Пуримовым? Из зависти к его застоявшейся молодости? Или потому, что сам я действительно уже безнадежно дряхл? Все понимать — одно. Быть в состоянии делать что-либо — другое...»

Он открыл глаза и вздрогнул: как! Он уже на Земле? Конечно. В кресле напротив — консультант-психолог, писатель. С его помощью проводят эксперимент «Тайна всех тайн» — исследование поведения сотрудников лаборатории в условиях воображаемых обстоятельств. И, значит, вообще еще ничего не было: ни Восемнадцатой автоматической станции, ни всех этих групп на космических кораблях «Север», «Юг», «Восток», «Запад».

Да, он на Земле. Он находится в своем кабинете. Теперь он понимает: сказочная обстановка кабинета подсудно утешала его: из Иванушки-дурака можно стать Иваном-царевичем! Из лягушки — Василисой Прекрасной! Из старика — юношей! Можно быть вечно юным!

Смешно и наивно?

Нет, если это помогало жить.

Но — браслет! У него на руке радиобраслет! Он в космосе! Он на корабле «Юг». Они здесь вдвоем с Пуримовым!

Кирилл Петрович вскочил на ноги. Если он на корабле «Юг», то всего лишь в нескольких шагах отсюда Главный пульт корабля.

Кирилл Петрович рванулся сквозь тускло мерцающее марево световой перегородки. Да. Так и есть: стены, усеянные приборами, звезды и чернота неба на экране кругового обзора. Это корабль. Операторская. Она пуста. Но он знает: Пуримов сейчас войдет.

Стена перед Кириллом Петровичем расступилась.

— Новомир! — крикнул он.

В овале ниши стоял Пуримов. Теперь Кирилл Петрович ясно видел, что это он. Пуримов был в комбинезоне, слегка сутулился. На его лице застыло всегдашнее упрямо-хмурое выражение готовности к спору.

— Новомир, — сказал Кирилл Петрович, протягивая к нему руки. — Вы говорили: стоять до конца. Я теперь знаю: вы, как никто, понимаете — это значит спорить, пока тебя по-настоящему не убедили, щадить себя всегда меньше других, в любую минуту был готовым к подвигу. Всё это — звенья неразрывной единой цепи, и вот что значит: стоять и стоять до конца...

Возвратившись с Сорок девятой на корабль «Восток» вместе с Вентой и Карцевадзе, Лена Речкина вошла в операторскую первой и как раз в то время, когда Кирилл Петрович начал говорить. Думая, что он обращается именно к ней, она слушала его не перебивая, удивляясь тому лишь, что говорит он, не отрывая глаз от смоделированной из феррилита фигуры Пуримова.

Начальник отдела:

(подпись)

Заведующий лабораторией № 48:

(подпись)

Ответственный исполнитель:

(подпись)

Часть III

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Глава первая

День, когда я вышел из дому, чтобы отнести в институт рукопись, был хмурый. Улицы, площади, набережные застилал туман.

Осень только еще начиналась, деревья не потеряли листву, и была она не только зеленая, но и багряная, золотая. Однако в тумане и деревья и дома казались призрачно однообразными, серыми.

Как отнесутся к моей работе Кирилл Петрович, Пуримов, Тебелева и вообще все эти замечательные люди, с которыми свела меня жизнь, — вот о чем думал я.

То, что мое вторжение в их коллектив свершилось по всеобщему добровольному согласию, ничем не облегчало моего положения. Каждый из этих людей ждал от меня нелицеприятную правду и каждый, конечно, надеялся, что предсказание будет благоприятно для него, укрепит духом. Иначе зачем было всё затевать? А получалось, что я почти всех (исключая, пожалуй, Кастромова) обвинял в непонимании самих себя.

И предположим, я был целиком прав! Но как будут жить дальше все эти люди, заглянув с моей помощью в самих себя?

«Тайна всех тайн» — не будущее, а мы сами, внутренний, духовный мир человека, его истинная мера в любви, дружбе, ненависти, следовании долгу.

«Тайна всех тайн» — творческий процесс, его противоречиво-последовательная и потому так трудно постижимая логика.

Так рассуждал я.

Но являлись ли мои рассуждения важными и для других?

Этого я не знал.

Положение мое было нелегким и еще по одной, глубоко личной причине.

С сотрудниками лаборатории меня уже связывала дружба. Что теперь станется с ней?

И если дружба утратится, что возместит мне потерю? Сознание того, что я «врезал правду-матку»?

Очень слабое утешение.

Впрочем, если бы я написал не то, что думаю, разве наша дружба не оборвалась бы?..

Я передал Кириллу Петровичу десять экземпляров «Отчета», мы договорились, что ровно через четыре часа я вернусь, и мы, все одиннадцать человек, встретимся для откровенного разговора.

К институту примыкал большой сад. Я принялся ходить по его аллеям, радуясь, что в тумане меня невозможно узнать из окон, и, пожалуй, впервые думая о том, какую же будет наша Земля после того, как проект «Энергия Солнца» станет явью.

...Ночь была холодна, и под утро на застывшей листве и на стеблях травы матово заблестела роса. Лес стоял темный и неподвижный. Но на востоке небо уже светлело, и там, где лес редел, слитная масса его начинала распадаться на клубящиеся кроны кленов и лип. Но и в этих местах у земли, в кустах орешника и крушины, лежала густая глубокая темень.

Резко и требовательно свистнула малиновка: фюист... фюист... чт-чт-чт... фюист...

Умолкла. Опять разлилась, но уже нежней и тише, просительней: фьюит... фьюит...

И снова умолкла.

А заря разгоралась сильнее. Восток всё более розовел. Одна за другой начали гаснуть звезды. Лишь самые крупные из них еще некоторое время были видны, но и те пропали, едва высоко-высоко вверх зазолотились перистые облака. Их было мало — три-пять легких прозрачных крыла на весь небосвод, — и они как-то мгновенно словно бы проявились в нем, едва на них упал свет.

И вдруг край солнечного диска показался над горизонтом. Красноватые лучи осветили деревья. Сразу оборвалась, рухнула тишина. Зяблики, лесные коньки, сорокопуты, пеночки, дрозды засвистали, застрекотали, зацвиркали. Где чья трель? Кто кого зовет? Кто кому откликается?

Приход тепла, света — вот радость!

Солнце — вот кому привет!

Только уханье удода да кукованье кукушки мрачно отделялись от всего этого гомона: фот-фот-фот!.. фот-фот-фот!.. фот-фот-фот!.. Ку-ку... ку-ку... ку-ку...

Лосиха вышла из леса. Постояла у опушки. Волосатой мягкой губой подобрала с земли гриб. Шагнула к дуплистой осине почесать бок и отшатнулась, вздрогнув: серая мухоловка — вся величиной с еловую шишку — вылетела из дупла нахохлившись, вздыбившая на голове перышки, вытаращившая черные глазенки-бусинки и, трепеща в воздухе, с писком бросилась на лосиху, защищая птенцов.

И та отступила.

И в этот миг луч солнца ворвался на поляну. Голубыми искрами вспыхнула роса на траве. Нежное тепло охватило голову и грудь лосихи, и она замерла, глядя в сторону солнца и жадно принимаясь: ветерок потянул от солнца, от берега моря, и нес тысячи волнующих запахов.

А Солнце поднималось всё выше и выше над реками и озерами, над лугами и лесом, над всем простором теплого Северного Ледовитого океана, у берега которого стояла лосиха, — жаркое Солнце, одно из двух искусственных солнц, зажженных над полюсами Земли!

Но, конечно, всем этим пеночкам и малиновкам, лосям и лосихам, деревьям и травам ничего не было известно о том, лучи какого Солнца — старого или нового — несут им жизнь...

Я посмотрел на часы: четыре часа прошло. Осталось несколько минут до того момента, когда мне скажут: «Ты слушал нас. Мы ничего не скрывали. Теперь слушай ты...»

Глава вторая

Кирилл Петрович. Друзья мои! Некоторое время тому назад в стенах лаборатории был начат эксперимент под условным названием «Тайна всех тайн». Ныне эта работа завершена. Разрешите открыть наше небольшое совещание или, говоря точнее, первое обсуждение результатов. Два момента побуждают не откладывать разговор. Во-первых, нельзя держать автора работы в неведении, удалась она или нет. Во-вторых, надо устранить то напряжение, которое уже, как мне кажется, вызвано ею в нашем сознании. Прошу высказываться.

Вента. Разрешите мне! Насколько я понял, меня в «Отчете» не только глядят по головке, но и ставят пестерку за поведение. Я объявлен самым умным, воспитанным и галаптным. Лучше меня никого в мире вообще нет и не может быть. «Ура» — автору «Отчета»! Дать ему премию. Я кончил.

Кирилл Петрович. Что-о?

Вента. Впрочем, я могу и продолжить. Кто сделал великое открытие? Вента. Кто был обходителен с дамами? Вента. Кто циркулировал сквозь реакторы и туалеты? Вента.

Кирилл Петрович. Никита, будьте, пожалуйста, посерьезнее.

Вента. Хорошо. Буду... Итак, на чем мы остановились?

Кирилл Петрович. Будьте серьезны, Никита!

Вента. Мы остановились на том, что во второй половине двадцатого века бестактно и примитивно осуждать повышенный интерес к точным наукам и пониженный к так называемым романтическим переживаниям. За этими положениями «Отчета» скрывается обывательское нежелание признать те изменения в психологии человека, которые принесло вторжение науки в нашу жизнь. Мышление средних веков было образным. Мышление двадцатого века — логическое. Это — факт. Выступать против него — элементарная серость, свойственная, впрочем, многим работникам литературы. На этом именно мы и остановились, не так ли?

Кирилл Петрович. М-м, да.

Речкина. Прости, пожалуйста, Никита, но Френсис Бэкон жил в конце шестнадцатого века.

Вента. Благодарю за поправку... Люди теперь проще одеваются, бесстрашней в суждениях, всё меньше страдают от расовых и национальных различий. Утверждать же, что занятия математикой с детства приводят к примитивизации духовного облика, — чушь. В математической школе, где я учился, было втрое больше умеющих играть на рояле и вчетверо больше спортсменов-разрядников, чем в школе с гуманитарным уклоном на другой стороне улицы. И в музеи мы ходили больше и диспутов и вечеров устраивали не меньше. Ну а медалистов у нас было столько же, сколько сразу во всех остальных школах района. Я достаточно серьезен, Кирилл Петрович?

Кирилл Петрович. О да!

Вента. Далее. По материалам «Отчета» получается, что я лично несчастен, не зная о том, что я несчастен. Меня даже предлагается опекать. Говорят, что я счастлив, видите ли, лишь субъективно! Доказательства — разговоры, которые я будто бы вел с Леной Речкиной. Лена Речкина! Я действительно вел с вами эти сакраментальные разговорчики?.. Не отвечаете? Ну что же, могу сообщить уважаемому автору «Отчета»: я за свои поступки никогда ответственность на других не перекладывал. И я тоже читал Пушкина и знаю, что гений и злодейство вещи несовместные.

Карцевадзе. Ого. Вот это уже по-серьезному.

Пуримов. Ты, Никита, напрасно превращаешь обсуждение в балаган.

Речкина. Вернее, ты очень всё упрощаешь. Вопрос стоит как? Хорошо или плохо, когда человек становится предельно узким специалистом? Музыкант, для которого вся действительность только мир звуков — это ведь тоже антигуманно! И с этим ты, надеюсь, согласен?

Вента. Ну такое я опять-таки читал. Козьма Прутков: «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя».

Кастромов. Вы извините меня, Никита, но отношение к женщине — пробный камень духовной сущности мужчины. Простите, пожалуйста, что я вас перебил.

Вента. Контрвопросы: что же мне теперь не заниматься больше теорией поля? А чем заниматься? Ходить в оперу и на конные состязания, или, как там их называют, — ристалища?

Пуримов. Да ты задумайся хорошенько над тем, что про тебя написано!

Вента. А что про меня написано? Я уже говорил: обо мне превосходно написано! Даже каприз мой и то оборачивается открытием.

Карцевадзе. Естественно. Любой каприз — это звено в пока не познанной цепи поступков.

Кирилл Петрович. Товарищи! Обсуждается «Отчет» об эксперименте «Тайна всех тайн»!

Вента. Вернемся к нашим баранам... Все вы читали роман Станислава Лема «Солярис». Там описывается планета, единственный гигантский житель которой облакает в материальную форму образы, возникающие в мыслях людей. В одной из глав «Отчета» происходит такое же. Но если у Лема это допущение связано с этической

стороной замысла (человек наедине со своей совестью), то в «Отчете» мы встречаем лишь рабское повторение литературного приема без всякого смыслового подтекста. Разрешите, Кирилл Петрович, я повторю свой вопрос: достаточно ли я серьезен, товарищи?

Речкина. Извини, Никита, но в «Отчете» в роли соиздателя подобных творений выступает человек, которому в результате открывается его собственный внутренний мир.

Карцевадзе. Причем выясняется, что мыслит он, увы, не как титан.

Кастромов. И обратите внимание, Никита Аникеевич, прометеев огонь уже не раз оказывался в руках людей своекорыстных, мистиков и фанатиков. Открыть человеку его собственную убогость — не значит ли это: заставить его задуматься над собой и сделаться лучше?

Вента. Все реплики были серьезны, следовательно, был серьезен и я. Продолжим... Особенно удачны, на мой взгляд, те страницы «Отчета», на которых расписано, как блестяще я подавляю в себе грубые физиологические инстинкты.

Пуримов. Где ты их там подавляешь? Наоборот!

Вента. Наоборот? Чудесно! Но тогда разрешите задать автору «Отчета» элементарнейший вопрос: прежде чем посылать людей на ответственное задание в космос, разве их не изучают? И коли я такой, разве я попал бы в космос в компании женщин?

Карцевадзе. Но ведь именно потому, что ты оказался в этой самой женской компании и, не понимая себя, готов был, извини, в самом прямом смысле кидаться на стены, ты и сделал свой формирова-тель! Эмоции — величайший стимулятор научного творчества. Это и доказывается.

Вента. Здравствуйте! Но разве бывает человек вообще без эмоций? Человек — такая машина, которая если уж расцветает, то сразу во всех отношениях: и физически, и умственно, и эмоционально.

Речкина. Очень мило: машина с эмоциями...

Вента. Да, представь себе. И, значит, тем более недопустимо так издевательски писать об ученых, то есть о лучших из этих машин.

Карцевадзе. Лично о тебе или вообще об ученых?

Вента. Изображать физиков примитивными циниками — штамп. Впрочем, всё в «Отчете» — сплошные

штампы. Пульты и автопульты, несуразные «нижние дирекционные» и «особый электрогипноз, позволяющий выдерживать тысячекратные перегрузки»... Уж если придумывать, то пооригинальнее!

Ка стр о м о в. Но зачем же? Это — символы. Их конкретное содержание в данном случае не имеет значения.

В е н т а. И, конечно, я всегда поднимаюсь с кресла рывком, вы, Кирилл Петрович, чуть что бросаетесь к Новому миру, а вы, Ирина, и вы, Рада, то и дело резко выпрямляетесь... Ну а эти навязшие в ушах экраны, на которых «змеятся линии»? А «жужжание зуммеров»? А «ад полыхающих титров и безумствующих сигнальных огней»?.. Разве это не штампы? Если я подсовываю машине неправильно составленную задачу, мне заявляют: «Халтура! Работай, милый, как следует!» Такое же надо говорить писателю, когда набор банальнейших штампов выдается за художественное изображение... Всё нужно было делать иначе. Изложить биографии, дать подробные описания. Это послужило б программой. Остальное вытекало бы из нее.

Р е ч к и н а. Но ты призываешь тоже к штампам! В сотнях книг уже после первых десяти фраз абсолютно ясно, что будет происходить дальше.

В е н т а. Я заканчиваю. Сервантес когда-то писал пародию на рыцарей...

К а р ц е в а д з е. На рыцарские романы, Никита!

В е н т а. Сервантес когда-то писал пародию на рыцарский роман. Вышло — глубокий и тонкий роман вообще. Автор «Отчета» писал глубокий и тонкий роман. Вышло — беспомощная пародия на научно-фантастическое произведение...

Да, вот так. Этот человек не принял меня. Никак и ни в чем. Он и не мог принять. Во всяком случае, так сразу, «на людях»...

Но как будут говорить остальные? Также полусерьезно? Такой тон, видимо, только и возможен в подобном случае. Как бы, например, я сам говорил о себе, будь я «подопытным»?..

К и р и л л П е т р о в и ч. Итак, кто продолжит? Пожалуйста, Ирина!

Г о р д и ч. В отличие от вас, Никита, мне нужно еще подумать, прежде чем выступить с такою же категорич-

ностью. Конечно, процесс научного поиска сложнее, чем это показано. Но то, что научное творчество есть результат всей жизнедеятельности человека, — глубоко верно.

Вента. Азбука для первоклашек!

Гордич. Да, но вот что любопытно: это и объясняет, например, почему Эйнштейн говорил о значении романов Достоевского для создания теории относительности. Эмоциональный мир ученого во многом определяет направление его научного творчества. В «Отчете» и сделан на это упор. И потому-то, Никита, не стоит говорить о барьерах между мышлением прошлых веков и нашего века. Различие, конечно, есть, но оно вызвано вообще изменением условий жизни. Вы говорите: «Вторжение науки!» Но ведь благодаря успехам полиграфии, радио и кино литература, искусство, музыка тоже вторгаются в жизнь людей куда сильнее, чем прежде. Интересно, что и наука-то входит в сознание по меньшей мере девяти десятых всех людей лишь через посредство искусства. А опыт, результат которого мы обсуждаем, так и вообще есть прямое вторжение литературы в научный процесс. Наука и искусство — одна общая область проявления творческих сил человека. Оправдывать эмоциональную глухоту более глубоким знанием квантовой механики едва ли возможно, ну а сводить обсуждение к нападкам на отдельные малоудачные выражения — тем более... Разрешите на этом закончить. Повторяю: мне нужно еще очень и очень подумать. И, возможно, кое в чем измениться. Я, например, вдруг особенно ясно поняла, что временных состояний в жизни человека нет. Всё — постоянное, всё — жизнь. Любая из промелькнувших минут что-нибудь да принесла: новое знание, ощущение. И любая минута может оказаться минутой подведения итогов... Я за то, чтобы одобрить «Отчет». Я положительно оцениваю его. Чем дороже и ближе люди, тем труднее быть с ними до конца честным. Автор «Отчета» за одно это уже заслужил благодарность. И повторяю, мне надо еще очень и очень подумать...

Говорила спокойно, негромко, естественно. Не говорила — думала вслух. И ни слова о личном.

Села, глядя прямо перед собой.

Кирилл Петрович. Та-ак... Кто следующий? Вы хотите? Прошу вас, Новомир Алексеевич!

Пуримов. Начну с нескольких несуразиц. Самая

главная — почему в «Отчете» не учитывается дистанция времени? Ни таких ракет, ни таких скоростей сейчас нет и не предвидится. Мы все знаем, что условия жизни в космосе трудные. А тут люди делают чудеса просто усилием мысли. Нужна база для этого. Значит, действие происходит в будущем, лет через сто или двести. Так? Но ведь через такой срок люди тоже изменятся. Например, Никита Вента, хотя он это и отрицает, вел себя как вульгарный самец.

Вента. Где там я вел себя как вульгарный самец? Подумаешь! Сказал несколько фраз! И могу повторить!

Кирилл Петрович. Вы опять несерьезны, Никита.

Пуримов. И к тому же Вента «теоретизирует». Любовь, по его мнению, это чистая физиология, не требующая никакой «маскировки». Такие типы встречаются в жизни в наши дни.

Вента. Уж-жасный народ эти типы!

Кирилл Петрович. Спокойно, Никита. Речь идет вовсе не лично о вас.

Пуримов. Конечно, писатель-психолог заостряет отрицательные черты этого человека, ведущего себя в обычных условиях более сдержанно.

Вента. Так, значит, меня оболгали?

Пуримов. Но вопрос остается открытым: если действие происходит через сто или двести лет, то люди непременно должны быть другими. Социальный и научно-технический прогресс изменит людей. А так — чепуха: научно-техническая эпоха другая, а люди — нет. Я уж не говорю о том, что в «Отчете» нигде не показано — в виде яркой и четкой картины, скажем, всенародного торжества, — что проект воплощен в жизнь. И потому возникает сомнение, что люди вообще в состоянии выполнить задуманное. Не готовы психологически, нравственно, практически и научно.

Карцевадзе. Да где ж ты там это вычитал?

Пуримов. Но предположим, никакого переноса в будущее нет и всё происходит сегодня, благо космические корабли и автоматические станции свалились к нам неизвестно откуда, хотя уж тогда было б логичней перенести всё действие на Землю, куда-нибудь на зимовку... Еще несуразица. Что значит: космический корабль «Юг» упал на Солнце? Нельзя было его спасти? Нельзя было написать: «Они покинули Восемнадцатую автоматическую

станцию и оторвались от Солнца... Им было и трудно, и плохо. Но они выстояли». Вот тогда было бы ясно, что речь идет о героях. Ведь что должно быть в хорошем научно-фантастическом произведении? Романтика, светлый образ будущего, смелые, красивые люди.

Кастро мов. Позвольте, Новомир! Но и Никита, и Ирина Валентиновна, и Кирилл Петрович, и Рада, и сами вы изображены в этом «Отчете» и смелыми, и сильными, и красивыми. И очень четко ощущается, что будущее, которому эти люди служат, стоит того, чтобы ради него не пожалеть своей жизни.

Пуримов. А я всё-таки спрашиваю: почему космический корабль «Юг» не ушел от Солнца?

Автор «Отчета». Простите, Новомир, но какое значение имеет, ушел он или не ушел? Важна правда психологических состояний.

Пуримов. Но ведь за этим фактом опять-таки скрывается неверие в могущество разума! Чем вы руководствовались в данном случае? Не знаете? Но как же так? Пускай в области физики вы безграмотны, но свое-то дело вы должны знать... Еще одна несуразность: вами «предугадано» открытие Венты.

Автор «Отчета». И Ирины Валентиновны Гордич.

Пуримов. Да, и Ирины тоже. Но как же так? Вы лучше их знаете физику?

Автор «Отчета». Это — прием. На самом деле никаких открытий нет.

Пуримов. А чего же вы тогда об этом пишете, как об открытиях?.. Еще вопрос: почему ОЦУТ играет роль только в последних двух главах «Отчета»?

Автор «Отчета». ОЦУТ и его роль — это тоже прием. Как мы знаем, он имеется и на других кораблях.

Пуримов. Имеется, а не играет... Да вы о многом не пишете! Непонятно, например, почему сказано, хотя и очень коротко, о прошлом только одного из нас — Антара Моисеевича — и нет биографий других. Или это тоже прием?

Карцевадзе. Ну уж это, я думаю, просто не нужно.

Автор «Отчета». И к тому же действительно в главе «Ворота» это является приемом, работающим, так сказать, во имя более глубокого исследования проблемы: человек довольно сложной судьбы и идеалы активного участия в жизни. В других главах такой необходимости не было.

Пуримов. Ну а я опять же считаю не так... Что еще неправильно? Неправильны рассуждения Венты о природе любви.

Вента. Да в них каждое слово — святейшая истина! Высечь на мраморе! Сохранить на века!

Кирилл Петрович. Никита! Вы опять веселитесь!

Пуримов. Неправильно то, что говорится от твоего имени о природе любви. Неправда в чем? Любовь приходит тогда, когда весь организм физиологически перестраивается для любви...

Карцевадзе. Ну знаете, Новомир, это очень специальный вопрос.

Пуримов. Возможно. Однако, если писать об этом, то со всей глубиной. Так, чтобы получалось реально. А то выходит: пришел — взглянул — понял. А на самом деле не понял ничего. Почему, например, подряд идут две любовные истории? Автор не справился с композицией? Задумано серьезно: проблема психологической совместимости в коллективе, — и вдруг одна любовная история, другая... Так же неясно, что таится под образом кабинета Кирилла Петровича. Зачем говорится о письменном столе с драконьими лапами?

Острогорский. Ну это-то как раз, я думаю, ясно.

Пуримов. Однако самое основное совершенно в другом.

Вента. В чем? В чем, Новомир-новомученик?

Кирилл Петрович. Продолжайте, пожалуйста, Новомир, всё, что вы говорите, представляет большой интерес.

Пуримов. На одной из страниц обо мне сказано — я читаю: «...для Пуримова существовало лишь то, что было предметом, механизмом, очевидным физическим явлением. Всё хоть сколько-нибудь отвлеченное казалось ему напрасно придуманным усложнением, а на самом деле просто находилось за пределами его восприятия. «Глухота» на абстрактные представления свойственна многим. В крайнем своем выражении это такая же яркая особенность мышления, как и абстрактное видение — свойство видеть в окружающем мире как бы скелетные линии предметов и образов. Но человечески Пуримов был зауряден. Признаться, будто он отрицает такое, что все «здравомыслящие» люди находят нормой, он не мог ни Кириллу Петровичу, ни самому себе. Это значило бы, что

он идет против сотрудников лаборатории, среди которых как раз умение мыслить отвлеченно было не только нормой, но и ценилось превыше всего...» Вот такой отрывок. Но что ж получается? Что коллектив меня задавил? А я ничуть не задавлен! И еще получается, что существует какое-то абстрактное видение? Что всю эту бредятину — лиловых баб с носами из кубиков — такими абстракционисты и видят? Что для них они такие и есть?

Карцевадзе. Ну, Новомир, лиловые женщины — это, конечно, крайности.

Пуримов. Подумаем дальше. Выходит, что есть что-то такое в области мышления, что одним дано, а другим нет? Но как это увязать с тем, что по рождению все люди равны? И что же получается? Значит, если абстрактное искусство запретить, то всё равно те люди, которые так по-особому видят, останутся? Может, вы скажете даже, что если абстрактное искусство запретить, то от этого и абстрактное мышление остановится?

Карцевадзе. Во всяком случае, сместится какой-то верхний предел, Новомир!

Пуримов. Но кто же мне объяснит тогда: хорошо, что я такой, какой есть, или плохо?

Автор «Отчета». Вы, как я глубоко убежден, человек с очень и очень ярко выраженным, реалистическим, резко антиабстрактным мышлением. Это такое же редкое и такое же положительное качество, как и способность к отвлеченному мышлению.

Кастромов. И, пожалуйста, Новомир, не смешивайте абстрактное мышление с так называемым абстрактным видением и, главное, с абстрактным искусством. Это там бывают лиловые женщины. Абстрактное мышление — это из другой и очень обширной категории. И, конечно, для вас главный вывод из «Отчета»: будьте самим собой! Не подчиняйтесь слепо атмосфере, царящей внутри коллектива. В чем ваша беда? Вы всегда резали всем в глаза правду, но себе главной правды не говорили: того, что себя вы всё время подчиняете шаблонам. Вы ведь тоже всегда думали, что непонимание отвлеченных рассуждений — ваша беда, неполноценность, недостаток, который надо устранить или хотя бы скрывать от окружающих. А просто ваше мышление иное. Все люди различны!

Кирилл Петрович. Должен признаться, Новомир, что этой вашей силы, как человека конкретного мыш-

ления, я в вас тоже не понимал. Раздражался. Требовал от вас того, на что вы не способны.

Вента. Мучили тебя мучили, Новомир, а ты, оказывается, всего-то лишь гений!

Пуримов. Не знаю. Но только как же всё получается? Вроде я очень нужен лаборатории, и вроде — никогда теории не понимал и понимать не буду. Значит, и не замахиваться?.. Так и считать, что вся моя сила в этой простодушной конкретности?

Карцевадзе. А это великая сила, Новомир!

Вента. А так и есть, Новомир!

Пуримов. Как понял, так вам и говорю.

Попугай (*голосом Пуримова*). Гидродинамика — наука наук!

Пуримов. У меня всё...

Итак, Пуримов тоже высказался. Говорил как я обычно: хмуро, глуховато. И всё-таки какая-то одухотворенность была видна на его лице. И он меньше горбился. Когда читал цитату из «Отчета», даже выгнул грудь колесом.

Кирилл Петрович. Кто желает продолжить? Вы, Александр Васильевич? Прошу!

Острогорский. Я, как и Ирина, в очень трудном положении. Спорить: похож — не похож, — глупо. Мы же не дети. Однако как судить в целом об успешности синтеза, если процесс анализа был скрыт от нас? В этом Никита совершенно прав. Если бы автор «Отчета» предложил нашему вниманию все факты, которыми он располагал, то, сравнив их с тем, что написано, мы бы ясно увидели, что из написанного достоверно, а что возникло, как вольная игра воображения. Мы бы стали соучастниками творческого процесса.

Автор «Отчета». Если возможно, поясните, пожалуйста, подробнее вашу мысль.

Острогорский. Я говорю о том, что предложенный нашему вниманию материал отличается только серьезная постановка некоторых психологических проблем, например соотношения рационального и чувственного. Всё остальное в «Отчете» — крайне условно. Образы — пунктирные. Пять или шесть участников проекта еще как-то намечены. Остальные — лица почти без речей. Когда проходит возбуждение, вызванное тем, что ты сам являешься

описываемым объектом, обнаруживаешь, что, конечно, перед тобой никакая не пародия — это было б еще хорошо! — но зауридная фантастическая повесть, в которой довольно безжалостно — в одном случае это безусловно так — оскорбляются дружеские чувства. Я говорю о главе «Диалектика поцска», где утверждается, что я будто бы испытываю влечение к сотруднице лаборатории Галине Сергеевне Тебелевой.

Тебелева. Вы... Вы все... Вы...

Карцевадзе. Галюша, успокойся, это же всё выдуманно!

Острогорский. Галя! Куда вы? Галя!

Карцевадзе. Кирилл Петрович! Ее нельзя оставлять одну. Я тоже выйду!

Кирилл Петрович. Объявляю перерыв. Просьба, товарищи, не расходиться...

Глава третья

Острогорский, Карцевадзе, Речкина и, кажется, еще Вента поспешили вслед за Тебелевой. Все остальные также ушли. Я остался один.

До сегодняшнего дня, как ни странно, я очень мало думал о том общем, что, несомненно, присуще сразу всем этим людям. Пока я писал «Отчет», главной опасностью было причесать всех под одну гребенку, сnivelировать их, и я подсознательно сторонился этой проблемы.

Но ведь общее было. И оно-то в конечном счете определяло, как отнесутся сотрудники лаборатории к представленному мною «Отчету».

В чем оно могло проявиться?

Прежде всего в общности стремлений, ну и, как следствиис, в судьбах всех этих людей.

...КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ. Жизненный путь предельно простой и вместе с тем удивительный. Сын неграмотного крестьянина-бедняка Новгородской губернии. В 1922 году семнадцатилетним парнем уехал в Новгород. Работал на кирпичном заводе (возил в тачке глину), учился на рабфаке, потом в Ленинграде, в электротехническом институте. Стал доктором наук, академиком. Работал много всегда. В его личной судьбе Великая Отечественная война, как он полагал, ничего не изменила: еще и до начала ее

он, в общем, отдавал оборонным проблемам все свои силы.

Он принадлежал к поколению, окончательно сформировавшемуся еще в конце двадцатых — начале тридцатых годов.

ПУРИМОВ. Судьба этого человека круто переменилась 22 июня 1941 года. Слесарь киномеханического комбината, он уже в 6 утра 23-го явился с повесткой в военкомат. Жена не могла проводить его. Ее, как врача, призывали еще накануне. Всё это происходило в Одессе. Дорога к фронту не была долгой.

В 1943 году, перед одним из боев на Орловско-Курской дуге, подал заявление: «Прошу считать меня членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)».

После войны в Одессу не вернулся. Жена погибла в дни осады. Возвращаться было не к кому и не зачем.

Закончил геологоразведочный институт. Три года искал нефть в заволжских степях. Рядом с их буровыми располагался испытательный полигон Института прикладной энергетики. Поселки экспедиции и института разделяло пять километров — для степи не расстояние. Ходили в гости. Пуримов заинтересовался электрофизикой. Увлекла мечта: передавать энергию только без проводов. Убрать с лица планеты столбы. Познакомился с Кириллом Петровичем. Перешел на работу в лабораторию.

Личную жизнь заново наладить не смог. По сути дела, он и сейчас еще продолжал искать самого себя. Во всяком случае, он так считал...

ИРИНА ГОРДИЧ ни дня не колебалась в выборе жизненного пути. Ее отец — профессор, крупный экономист, уже пожилой человек — безраздельно принадлежал только своей науке. И дочь его с самого раннего детства твердо знала, что станет ученым. Она, так сказать, впитала это с молоком матери, вобрала в себя вместе с воздухом, которым дышала.

Путь: школа — институт — аспирантура был для нее таким же естественным, как для иных научиться читать и писать.

Во имя чего?

Чтобы работать в физике.

Во имя чего работать в физике?

Ну а во имя чего дышать?..

ОСТРОГОРСКИЙ родился в Челябинске в 1927 году. В июне 1941 года отец ушел на фронт. Пропал без вести в октябре.

В январе 1942 года Острогорский бросил школу и поступил на завод учеником токаря. Мальчишка он был рослый. С делом освоился быстро. Точили корпуса снарядов. Работа была однообразная. Он стал в ней виртуозом.

Школу закончил вечернюю, но в 1947 году в институт пошел дневной, расставшись и с высокими заработками и с положением человека, уже известного на заводе.

Учился на спецфакультете военно-механического института. Кандидатская диссертация выросла из дипломной работы. Накануне защиты получил авторское свидетельство на изобретение, связанное с одной из важных оборонных проблем.

В Коммунистическую партию вступил еще в годы войны, на заводе.

Кирилл Петрович, Кастромов, Пуримов, Гордич, Острогорский — всё это представители поколений, сформировавшихся до или во время войны.

С ВЕНТОЙ было иначе. Война, если так можно выразиться, только слегка опалила его. Он родился в мае 1941 года в белорусском городе Калинковичи. Родители работали в мастерских при депо: отец — литейщиком, мать — кладовщицей.

Того, как отец ушел на фронт, как мать бежала из горящего города с ним, Никитой, на руках, он, конечно, не помнил. Он начал помнить себя в Ташкенте, где так ослепительно полуденное солнце и где ранними вечерами в небе высыпает так много звезд, что, еще не умея ни читать, ни писать, он уже пытался пересчитать их. То, что Солнце такая же звезда, как и все, было открытием. Оно поразило, зачаровало, в конечном счете определило стремление стать астрофизиком. Ну а практически осуществить это оказалось даже не очень и сложно: математическая школа, университет, работа под руководством Кирилла Петровича.

Какой помнила войну ВЕРА КАРЦЕВАДЗЕ? Она была старше Никиты на четыре с половиной года.

До их Грузии фронт не дошел. Верины сестры, мать, тетки, старики, школьники, как и обычно, работали на чайных плантациях, дымными кострами отстаивали мандарины от заморозков. Лишь с каждым месяцем всё больше женщин надевали черное платье. Траур да причитания по убитым были самыми яркими впечатлениями ее раннего детства.

Ну а потом — школа, Московский университет, аспирантура...

ЛЕНОЧКА РЕЧКИНА, одна из тех немногих детей, которые родились в 1942 году в блокадном Ленинграде... Леночка выросла человеком не только удивительно нежным, тонко чувствующим все оттенки взаимоотношений людей, но и человеком с необыкновенно ярко выраженным сознанием собственного достоинства.

Отец ее умер рано, мать-ткачиха зарабатывала немного. Жилось нелегко. Казалось бы, Речкиной должны быть свойственны приземленные идеалы, а она была существом поэтичным, бескорыстным, скромным и застенчивым до пугливости.

Но к цели своей — стать физиком — шла упрямо: через работу, вечернюю школу, заочный и вечерний институты.

Но ведь и РАДА САБЛИНА, которая во многом повторяла путь Речкиной: школа — вечерний техникум, но которая в отличие от нее уже в двадцать лет была замужем, тоже видела смысл своей жизни лишь в занятии физикой!

Быть бы ей, казалось, мужней женой, с заботами что и где подешевле купить, что и как повкусней приготовить; с отношением к мужу, словно к большому ребенку, с которым нужно всегда немножко хитрить: говорить, по возможности, только то, что ему в данную минуту хотелось бы слышать; делать вид, что ты всегда в восторге от его слов и поступков; представлять перед ним только в самом выгодном свете — мужчины любят веселых!.. Но нет же. И для нее: быть физиком — лучшая профессия на свете.

Но, может быть, всё-таки дети, сами того не сознавая, шли путем, который был им заранее намечен взрослыми,

даже если они и не всегда могли им активно помочь, как, например, отец Гордич?

ГАЛЯ ТЕБЕЛЕВА была одареннейшим программистом. По исходным данным она умела увидеть весь ход вычислений и предсказать приближенный ответ. Проявляя поистине редчайшую математическую интуицию, могла по виду сложнейшего уравнения с ходу начертить график функции. В институте все смотрели на нее, как на чудо. Но дома...

Ее родители — инженеры, специалисты по обработке пластмасс, милые и гуманные люди — не заметили, что их дочь выросла. В ее двадцать четыре года они обращались с ней, как с восьмилетней: не сиди долго за ужином, не моргай так часто, не читай чепуху, не забудь носовой платок.

Все семейные отношения сводились к утомительнейшему контролю за каждым ее движением, взглядом и вздохом. И Галя Тебелева, в общем, ведь мирилась с этим, словно так и оставшись девочкой-школьницей. Однако и для нее было всегда ясно, и она знала — всегда будет ясно: физика, математика — вот чему надо посвятить жизнь...

Все эти не очень-то и связанные мысли пронеслись в моей голове, пока я в одиночестве сидел в комнате теоретиков. Было тихо. Попугай искоса смотрел на меня круглым глазом.

Чем талантливей человек, тем обостренней он чувствует веления эпохи. Тем сильнее эпоха ранит или радует человека.

Эпоха, в которую формировались герои «Отчета», не всегда могла хорошо накормить и одеть их. Но одно она им обеспечила всем: возможность выразить себя именно в той области знания, куда их влекло.

А когда такая возможность предоставляется в полную меру, человек по самой природе своей тянется к творчеству.

Глава четвертая

Кирилл Петрович. Друзья мои! Галина Сергеевна уже вполне успокоилась. Она присоединится к нам минут через двадцать. Продолжим нашу беседу.

Автор «Отчета». Может быть, Галину Сергеевну вообще освободить от участия в обсуждении?

Кирилл Петрович. Я говорил ей об этом. Она считает, что должна участвовать вместе со всеми, и, во всяком случае, обязательно скажет несколько слов. Я думаю, нет оснований отказывать... Других предложений не будет? Прошу вас, Александр Васильевич!

Острогорский. Я продолжаю. Слова Никиты, что, будь он на самом деле такой, каким изображен, его едва ли отправили бы в космос в компании женщин, имеют глубокий смысл. Неужели отборочная комиссия не видела этих его особенностей?

Карцевадзе. А если и видела? Ему за это, предположим, поставили маленький минусик, ну и сто огромных плюсов за быстроту реакции, умение ориентироваться, стабильность психики... В «Отчете», как утверждается, расстановка сотрудников сделана наиболее выгодным для дела образом.

Острогорский. Но в этом и есть главный недостаток «Отчета». Происходит противопоставление интересов производства и личных стремлений людей.

Кастромов. Извините, Александр Васильевич, но ведь и в ту минуту, когда вам хочется гулять по бульвару, а надо идти на работу, происходит подобное столкновение. И как вы предлагаете его разрешать?

Острогорский. Только не приведением к абсурду. Перед нами результат мысленного опыта. А такой опыт не может быть однозначным.

Автор «Отчета». Вы так думаете? Но почему? Почему?

Острогорский. И, следовательно, мы вправе требовать от автора «Отчета» решения в виде серии сочетаний. Скажем: Тебелева — Гордич — Острогорский, но и Саблина — Гордич — Острогорский, Тебелева — Саблина — Гордич; Пуримов — Кирилл Петрович, но и Пуримов — Гордич, Пуримов — Саблина, Пуримов — Вента и так далее. Возможно тогда, что десяти человек слишком много, либо следует продлить срок проведения опыта. Недостатком является и то, что в «Отчете» единого коллектива фактически не существует: он распался на четыре изолированные группы. Но в таком случае задача — проследить психические особенности коллектива — не выполняется. Что можно на это возразить?

Автор «Отчета». Видите ли, насколько я понимаю, коллектив — это группа людей, объединенных общим делом. То, что они разделены расстоянием, по-моему, не имеет значения, хотя и порождает известные трудности. Трудности, как мне казалось, и для теории управления волноводами, и для коллектива лаборатории: существовать как целое, разделившись на части. Ну и поэтому я...

Кирилл Петрович. Александр Васильевич! Не поясните ли вы еще свою мысль о неоднозначности выводов из нашего опыта?

Автор «Отчета». Да, да, пожалуйста!

Острогорский. Я утверждаю, что в мысленных опытах, подобных этому, принципиально не может быть однозначного решения. И не только потому, что объект слишком сложен — люди, а метод — художественное творчество — неточен. Человек это стохастическая система. Никогда, ни при каком уровне знания генетики, физиологии, психологии нельзя будет предсказать конкретный поступок того или иного человека. Всегда — только тенденцию, всегда — только веер равно вероятных поступков.

Пуримов. Когда наука всё узнает — искусство кончится.

Кирилл Петрович. Понятно. Вы утверждаете, что ни один из выводов — в том числе и тот, который касается лично вас, — в принципе не может быть категорическим.

Острогорский. Всё не так просто: произошло вторжение во внутренний мир каждого из нас. Прочитав «Отчет», мы стали иными, чем были прежде. Разве такими, как раньше, будут теперь отношения между Никитой и Леной? Между ними произошло, в сущности, объяснение в любви. Что же им дальше — жениться?

Вента. Вы лучше бы о себе, Александр Васильевич!

Речкина. Это всё обязательно говорить, Александр Васильевич?

Острогорский. Обязательно. Из песни нельзя выкидывать слова.. Ну а разработка образа Венты? Это же не человек. Это откровенная схема. В реальной жизни даже очень аморальный человек, помогаясь влюбленной в него девчонки, будет вести себя гораздо сложнее. Возможно, автор «Отчета» хотел вызвать к Венте неприязнь. Вызывает же он недоумение.

Вента. Так, по-вашему, Александр Васильевич, там, в разговоре с Речкиной, надо было врать? Думать одно, а говорить другое?

Острогорский. Я продолжаю. Неудачен и образ Саблиной. Она показана слишком однообразной, убогой, прямолинейной в своей влюбленности. Рада, конечно, очень скованный в жизни человек, это верно, но в «Отчете» она не просто скованна. Она тоже не человек, а схема. Рада и Вента...

Вента. Опять я?

Карцевадзе. Да, миленький.

Вента. Смотрите, пожалуйста!

Кирилл Петрович. Еще раз прошу, Никита, относитесь к нашей беседе серьезно.

Острогорский. Повторяю: из песни нельзя выкидывать слова. Категоричность «Отчета» диктует и логику моих рассуждений. К сожалению, как аукнется, так и откликнется.

Автор «Отчета». То есть вы вообще за нулевое воздействие искусства на жизнь? Другого ничего вы не видите?

Острогорский. Знаете, я сейчас вижу колоссальную душевную трагедию очень хорошего человека, глубоко вами обиженного.

Автор «Отчета». Я исполнял свой долг.

Острогорский. Ну и утешьтесь сознанием исполненного долга...

Он говорил стоя, бледный и хмурый. Когда кончил, сел, как рухнул, и обхватил руками голову. Как я понимал его! Он думал не о себе и не себя защищал любой ценой... Но сам же он сказал: «Из песни нельзя выкидывать слова». Я этого тоже не мог.

Кирилл Петрович. Кто желает? Прошу вас, товарищи!

Вента. Разрешите по второму кругу. Я хочу ответить Ирине. И кроме того, определеннее высказаться на тему: можно ли мне оставаться наедине с женщинами?

Кирилл Петрович. Этот наш разговор — лишь прелюдия к дальнейшему осмыслению «Отчета». Непелесообразно уже сейчас выступать по второму разу. С Ириной вы объяснитесь наедине. Итак, кто продолжит? Пожалуйста, Леночка!

Речкина. Если говорить честно, роль, которая отведена мне, не так уж ответственна.

Карцевадзе. Роль идеального сменного инженера, Леночка! Без таких подвижников никакие проекты не воплощаются!

Речкина. Но ведь получается, что по моим чисто человеческим качествам я нужна лишь одному человеку из всей лаборатории.

Вента. Так уж ты мне и нужна!

Речкина. А это не важно — ты это или не ты.

Вента. Вот тебе раз!

Карцевадзе. Но это же немало, Леночка, родная ты моя. Чем еще цементируется коллектив? Отдельными сверхсильными тяготениями. Потому-то и переживают коллективы, как люди, пору зарождения, расцвета, падения!

Кастромов. Вы очень надежный и чуткий товарищ, Леночка.

Речкина. И потом, в общем, я всё это знала.

Вента. Чего-о?

Речкина. Да. И знала, что наша лаборатория с заданием справится. Всё очень правильно. Но вот когда я слушала Никиту и особенно Александра Васильевича, я вдруг решила, что напрасно всё было начато. Но потом я подумала: а если бы мы это узнали о себе не так, сразу, а потом и постепенно, разве лучше было бы?.. Самое страшное, когда несчастье входит незаметно. Уж тогда-то оно наверняка неодолимо, потому что исподволь ослаблены связи, исчезла симпатия. А если случается вот так, как сегодня, когда все мы еще объединены искренним уважением, нам ничего не страшно. Ведь и задача, как я понимаю, была: дать ответ на вопрос, сумеем ли мы стать выше наших больших и маленьких слабостей. И все мы вели себя достойно.

Вента. Даже я?

Речкина. Конечно. Ты ведь совсем не такой, каким стараешься казаться.

Вента. По-твоему, значит, я вру?

Речкина. Нет. Ты как раз совершенно не можешь врать. Ты очень правдивый. Это твоя основная черта. И отсюда всё. Я тебя только сейчас поняла... по-настоящему... Жаль другого: вот если бы написать еще одну главу «Отчета» — как сложится судьба нашего коллектива теперь, когда мы узнали это о себе. Как он стал еще...

ну что ли... крепче от этого... Если никто больше не хочет, то про меня одну написать, — хотя про одного человека как же напишешь?

Я смотрел на нее с восхищением. Какая умница! Только занимая такую позицию, можно хоть как-то подержать Гордич, Острогорского, Тебелеву.

Вента даже остоленел, слушая Речкину. Озадачен ее словами? Думает о том, каким он предстал бы в новых главах «Отчета»? Хорошо! Пусть почаще глядит на себя с позиции будущего, — это прекрасное лекарство от самолюбленности.

На губах Гордич чуть заметная презрительная усмешка.

Пуримов сидит, как чугунная тумба, вкопанная у дороги.

Кирилл Петрович. Кто теперь?

Карцевадзе. Ну, я настроена вовсе не так миролюбиво, как Леночка, однако кое в чем я с ней согласна. Конечно, получилось, что я, например, только катализатор при Никите и Леночке; что Ирина Гордич мыслит на уровне студента первого курса, и притом еще троечника. Странно и то, скажем, что лишь ученые старшего поколения оказываются на пределе сил. Но это частности. Что же касается духовного облика нашего брата — молодых физиков-теоретиков... Это верно. В школьные да и в первые студенческие годы мы очень активны и многое успеваем: спорт, музыка... Но потом как-то всё меньше времени остается на то, чтобы читать что-либо не по специальности. Сначала страдаешь, выкраиваешь часы, а потом и желание пропадает, как-то становится неинтересно. Еще Агату Кристи или Сименона перелисташь в электричке и тут же забудешь. Отношение и к искусству, и к спорту становится таким же, как к шахматам: для игры — слишком серьезно, для серьезного дела — слишком игра. Ну и получается — сухие физики. Не всегда порочные (некогда!), но всегда самоуверенные, потому что знают кое-что такое, что неизвестно всем остальным. Ну и далеко не всегда гармонично развившиеся.

Вента. А вот Эйнштейн любил играть на скрипке, женат был три раза и каждый раз — счастливо. И дедушкой был замечательным!

Карцевадзе. Я говорю не о гениях... Словом, эта сторона дела меня не затронула. Более спорным мне кажется другое — всё, что произошло с Новомиром и с вами, Кирилл Петрович; с Радой и Антаром Моисеевичем; и, наконец, со мной.

Вента. Но с тобой как раз абсолютненько ничего не произошло!

Карцевадзе. Вот это и есть спорное. И печальное, в общем-то, для меня.

Кирилл Петрович. Прошу вас, продолжайте, Вера Мильтоновна.

Карцевадзе. Я кончила...

Умна. Собранна. Холодновата. И, конечно, задета тем, что узнала. Еще бы! Среди всех остальных девяти сотрудников лаборатории не оказалось ни одного такого человека или группы людей, в соприкосновении с которыми ярко вспыхнули бы ее скрытая энергия, блестящий независимый ум. Она случайная здесь. Я высказался достаточно ясно. Она поняла. Что может служить утешением?

Когда-нибудь она еще окажется в своей «стране людей»!

Кирилл Петрович. Рада, прошу вас!

Саблина. Прежде всего мне хочется спросить. Кто бы мне ответил: нужно мне оставаться и дальше такой, какая я есть?

Гордич. Нужно.

О, оказывается, она слушает!..

Саблина. Почему я спросила? Получилось, что, кроме Лешки, я ничего в мире не вижу. А если подумать, то почему мне к нему относиться как-то не так? Он летом в командировке три месяца был, так и в город ни разу из гор не выезжал. Я спросила: «Почему?» Он ответил: «Тебя там всё равно не было».

Карцевадзе. Вот это муж!

Саблина. Через пятьсот или тысячу лет люди будут и красивее и умней. Но с тем, что они будут и любить друг друга сильнее нашего, я не согласна. Куда же силь-

нее-то?.. Не каждый, конечно, и сейчас так. Но и тогда будут все разные... Что в «Отчете» правильно? То, будто я стараюсь всегда только о таком говорить, что лично меня касается и лично от меня зависит. Как я с Лешей живу, от меня зависит. Об этом я говорю. О том, что в лаборатории меня касается, тоже говорю. А обо всем остальном какой смысл говорить?..

Кирилл Петрович. Вы больше ничего не хотите сказать, Рада? Нет? Хорошо, благодарю вас... Антар Моисеевич! Прошу!

Что же скажет Кастромов? Тоже станет уличать меня в творческой беспомощности?

Кастромов. Человечество будущего должно быть человеческим, или вообще не надо будущего. В этом его долг перед нами, живущими сегодня. В античной Греции некоторые общественные группы считали, что на их долю выпал золотой век. Но золотого века не было в прошлом. Истинное знание, подлинное равенство и человечность связаны неразрывно. Нет одного — нет и другого. О каком же античном золотом веке можно говорить?.. Я не думаю, что будущее окажется безмятежным раем. Останутся и конфликты, и катастрофы, и муки неразделенной любви. Чувства ненависти и злости не атрофируются. У каждого времени свои трудности. Антонио Грамши в одном из тюремных писем приводил слова Маркса: «Общество никогда не ставит себе задачи, для разрешения которых еще не созрели условия». Грамши видел в этих словах научную основу морали. Но ведь именно потому-то любые попытки литературы перенести в будущее наши нормы морали — лишь средство привлечь авторитет будущего для решения сегодняшних злободневных проблем. Представленный нашему вниманию материал удачен прежде всего тем, что он, в сущности, ни на что большее и не претендует. Я полагаю, что автор «Отчета» со своей задачей справился.

Вента. Но какое отношение ваши слова о человечности имеют к тому, что мы прочитали?

Кастромов. У меня это вызвало такие мысли.

Кирилл Петрович. О-о, Галя! Как вы себя чувствуете?

Тебелева. Спасибо, хорошо.

Кирилл Петрович. Может, вы тоже скажете хотя бы несколько слов?

Тебелева. Да. Я скажу... Я же сама согласилась участвовать. Понимаете?.. И в опыте, и в обсуждении. А когда сама решаешь... Это счастье — самой за себя решать. И что бы там ни было... Понимаете?.. Только теперь... Теперь...

Пуримов. Ты думаешь, тебе одной трудно? А возьми автора «Отчета»? Сколько он здесь всего выслушал?..

Что там я выслушал! Это моя профессия — писать, а потом выслушивать критику. Профессия, так же как и профессия — ставить эксперименты и вести вычисления...

Кирилл Петрович. Ну что же? Несколько слов скажу я... Мы, математики, привыкли к очень равномерному изложению материала. Это понятно. В строке формулы каждый индекс имеет равное право на внимание и всеми постигается одинаково. Что может значить половина формулы? Ничего. Восприятие же произведений искусства ведется гораздо сложнее. Во-первых, даже фрагмент картины, отрывок из повести, часть музыкальной пьесы имеют право на самостоятельную ценность, могут быть подвергнуты практически бесконечному рассмотрению. Во-вторых, при знакомстве с произведением искусства разные детали его привлекают к себе различное внимание. Это зависит от жизненного опыта данного человека, его наклонностей, состояния здоровья, настроения. Двух людей, которые равно воспринимали бы одно и то же произведение искусства, нет... Результаты эксперимента «Тайна всех тайн» оформлены по законам произведения искусства. Я, как и вы, уже ознакомился с ними, но, конечно, далеко еще не охватил всей картины, не разглядел всех деталей. И поэтому пока я могу высказать лишь некоторые суждения. Для меня, естественно, самое важное — в какой степени я сам выдержал испытание. И я перестал бы уважать себя, если бы не сказал вам сейчас, что из предложенных нашему вниманию материалов, бесспорно, следует вывод: я, пожалуй, единственный из всех нас, кто этого испытания не выдержал. В чем это выразилось, разрешите не уточнять.

Саблина. Ну что вы, Кирилл Петрович!

Кирилл Петрович. Не скрою: возможно, дело всё в старости. А возможно, в том образе мышления, ко-

торый мне вообще свойствен. Тогда это еще менее утешительно. И то, что такой вывод, в общем, был мной ожидаем, ничего не меняет... И еще одно обстоятельство, косвенно связанное с этим же, представляется мне важным. Я давно уже администратор в науке. Так сложилось. И я часто думал: а что значит — хороший администратор? Чем измерить его влияние на ход исследований? Количественным печатных работ, выпускаемых лабораторией? Финансовыми показателями? Числом авторских свидетельств, полученных сотрудниками? Сегодня я понял: администратор тогда с наибольшей эффективностью выполнил долг, если ему удалось создать коллектив, который может в дальнейшем вообще обходиться без администратора, — в пределах, конечно, поставленной перед коллективом задачи. Как сказано у одного из норвежских поэтов: «Тем прекрасен и велик человеческий род: пал знаменосец, а знамя несут вперед». И вот для администратора нет более высокой награды, чем довести коллектив до такой самостоятельности.

Вента. Да вам поставлено за это, Кирилл Петрович, десять с крестом!

Кирилл Петрович. Дорогие друзья! Разрешите подвести итог. Эксперимент «Тайна всех тайн» закончен, «Отчет» представлен и так или иначе в первом приближении обсужден.

Ну вот и всё. Конец, полный конец, как говорят радисты.

И, как всегда, когда я ставил последнюю точку в рукописи, ощущение опустошенности овладело мной. Добежал.—

Кирилл Петрович. И теперь, уже совсем в заключение, будет справедливо обнародовать одну тайну. Как известно, коллектив нашего института ищет способы передачи энергии без проводов. Наша лаборатория решает эту проблему в наиболее обобщенном виде. Для удобства вычислений и физической наглядности мы придали ей форму задачи по транспортировке к Земле энергии Солнца. Такая задача фантастична сегодня, но вполне осуществима в будущем. Применительно к ней и строил свою работу автор «Отчета». Однако — и вот это и было от него тайной — параллельно проводился еще один опыт. По предложению Института социальных исследований

в разных районах нашей страны, сразу в нескольких коллективах — в лабораториях, на заводах, в колхозах, на рудниках, — осуществлялось экспериментальное изучение процесса художественного творчества. В каждый из этих коллективов включили литератора, поставив перед ним задачу: создать прогноз поведения членов коллектива. Как ожидают, в дальнейшем сравнение прогнозов с действительностью позволит сделать важные выводы для теории искусства — от анализа авторской индивидуальности и до выяснения самых общих закономерностей. Поскольку искусство — один из главнейших способов эстетического освоения мира, поскольку оно — особая форма общественного сознания и человеческой деятельности, такие исследования имеют большое значение. Проводились они и в нашей лаборатории. Уважаемый автор «Отчета» не знал об этом, что было, естественно, непременным условием успешного проведения опыта. Сообщить ему сейчас об этом наша обязанность.

Автор «Отчета». Как? Но позвольте! Позвольте! Я был подопытным? Это меня... меня... Меня исследовали — и только?

Кирилл Петрович. Судя по характеру обсуждения, нет. Результаты опыта достаточно плодотворны для всех его участников, хотя и крайне сложны по своим возможным последствиям. Критика от имени будущего, показ в полный рост того в отношениях людей и в их внутреннем мире, что находится пока еще лишь в зародыше, — очень сильное оружие. Такая критика вообще, пожалуй, самое могучее средство самовоспитания и, следовательно, совершенствования как отдельной личности так и целого коллектива. Именно потому, как и Лепочка Речкина, я, подводя итог, не могу не спросить: следует ли успокаиваться? Не должен ли эксперимент «Тайна всех тайн» продолжаться? И продолжаться всегда, пока мы с вами работаем, то есть живем, наблюдаем, думаем?..

Глава пятая и последняя

Я покинул Институт прикладной энергетики уже в сумерках. Туман рассеялся. Фонари еще не горели. Свет из окон отражался от влажного асфальта мостовых и тротуаров. Я шел не торопясь и без цели. Перед моими глазами были цветные треугольники на стенах комнаты тео-

ретилов, я всё ещё видел Речкину, Гордич, Пуримова, слышал их голоса. Слово разогнавшая машина, я никак не мог остановиться, двигался по инерции.

Сказать, что мне было тяжело? Такое слово не передавало моего состояния.

Мысль о том, что я сам был объектом исследования, словно бы придавила меня. Я казался себе чем-то вроде муравья у подножия гигантской бетонной стены, протянувшейся от горизонта до горизонта.

Я говорил себе: «Потом я всё обдумаю. Сейчас важно другое: с этой работой покончено. Я обогатился новым материалом. Я могу взяться за повесть или роман, где главным героем будет человек вроде Гордич. А могу и вообще пока ничего не писать. Жить, думать».

Но эти рассуждения не успокаивали. Горестное недоумение владело мной: зачем всё это было затеяно Кириллом Петровичем? Во имя чего он — серьезный ученый — ввязался в социологический опыт на таком чуждом ему материале, как психология художественного творчества? Ведь если бы он не захотел, никакой Институт социальных исследований ничего не смог бы поделать с ним.

Остальных сотрудников можно было понять. Пошли за Кириллом Петровичем, да, вероятно, и их самих в предложении социологов привлекла парадоксальность задачи, захотелось получить ответ на вопрос: «А что представляет собой этот писатель Н.? Проверим-ка его на фактах, которые мы хорошо знаем...»

Я считал, что исследую их, они же исследовали меня — «двойное колено хитрости», сеанс интеллектуальной гимнастики, глава в коллективном труде «Теория игр и проблемы направленного и случайного поиска». Каждая профессия связана с риском. Профессия писателя — тоже.

Я еще мало чем рисковал. Оказывается, главной опасностью было — не разочаровать. Старая истина: «Я приемлю тебя горячим, я приемлю тебя холодным. Но если ты будешь теплым, я тебя выплюну». Вот и всё испытание. Простак в гостях у ученых. Простак этот, к сожалению, я. Правда, порой обсуждение сбивалось на пересуды: «похож — не похож», но в конце концов не Венте и не Пуримову было дано судить, удался литературный эксперимент или нет. То, что они говорили, ведь тоже входило в него важной составляющей частью.

Понимал я и сотрудников Института социальных исследований. Им был нужен объект. Я устроил их, подошел под какие-то средние цифры. По отношению к ним я не чувствовал зла. То, что они «играли со мной в темную»? Так что же? Это их строго научный метод. Он даже носит специальное название — «внедренное наблюдение». Его применяют уже десятки лет.

Но как же Кирилл Петрович — самый мудрый и дальновидный? Самый опытный, зрелый? Зачем это было пужно ему? Что искал он, исследуя духовный мир малоизвестного литератора? Что его могло интересовать в этом мире?

И ведь он рисковал! Судьбой коллектива, своим авторитетом.

В какой-то степени так всё и вышло. Останется ли в лаборатории Тебелева? Какие выводы сделает для себя Карцевадзе? Не будет ли теперь и сам он, Кирилл Петрович, менее решительным?

Но может, он ничем особенно не рисковал, потому что всё главное знал заранее?..

Я обнаружил, что стою посреди мостовой и беспомощно оглядываюсь, — так поразила меня внезапно пришедшая в голову мысль: я вдруг всё понял и до изумления восхитился Кириллом Петровичем.

Решая проблему волноводов в общем виде, он придал ей форму задачи по транспортировке к Земле энергии Солнца вовсе не потому, что так было удобнее для вычислений.

Он был увлечен именно этой идеей — подарить людям еще тысячу Солнц. Ради нее он работал.

И, конечно, он, как и все его сотрудники, знал, что проект «Энергия Солнца» не может быть воплощен в жизнь в ближайшие десятилетия. И, следовательно, ни ему самому, ни Тебелевой и Саблиной — самым молодым из них! — не осуществлять его.

Кирилл Петрович понимал, что это — дорога, которая не имеет конца. Они все: и Вента, и Гордич, и Саблина, и Кастромов — служат грядущему. А за неосуществленные проекты редко венчают лаврами. И, значит, практически единственной наградой, какую он, Кирилл Петрович, мог дать своим сподвижникам, было попытаться перенести их сквозь время силой художественного воображения, позво-

лить им хотя бы мысленно побывать в том будущем, которому они служат сегодня.

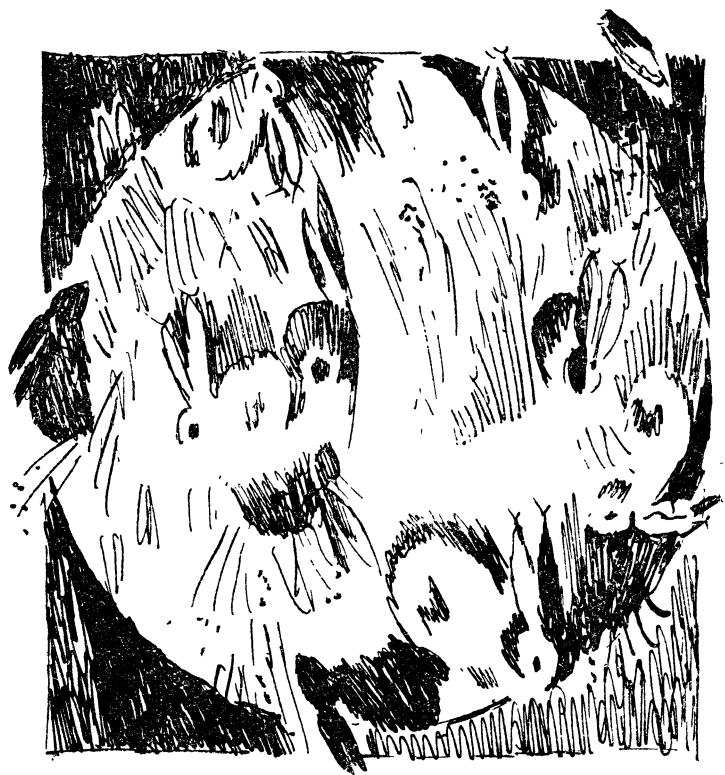
Конечно, он скрывал это от всех.

Но сам-то он знал всё с самого начала. Как знал и то, что не получит положительной оценки на этом экзамене. Он прямо сказал на обсуждении: «То, что такой вывод, в общем, был мной ожидаем, ничего не меняет».

Сотрудники Института социальных исследований еще дискутировали: «А является ли художественное творчество таким же объективным методом постижения истины, как и наука?» — но Кирилл Петрович знал это твердо. И знал, чего может ожидать для себя.

И, наверно, это и было его самой большой, самой главной тайной, его тайной всех тайн.

Тайной и подвигом.



Илья Варшавский

ТРАВА БЕССМЕРТИЯ

Моя работа требовала уединения, и я выбрал один из заповедников в Центральной Африке. В городе мне постоянно мешал фон спокойной радости миллионов людей. Он создавал непреодолимый контраст с той героической неистовой эпохой, о которой мне нужно было думать. Я занимался историей живописи 45-го столетия, надеясь постичь через нее загадочный облик мира конца машинной эры. Мне казалось, что только живопись могла отразить ускользающие от наших современников характеры людей, заложивших основу биологической цивилизации. Это была эпоха дерзких догадок, парадоксальных выводов и революционного преобразования мышления.

Я взял с собой биосинтезатор и с его помощью вырастил очаровательную хижину, прохладную и пахнущую горькими травами. Он же обеспечивал меня и пищей.

Это было идеальным местом для работы. Я подолгу мысленно возвращался в музеи и часами простаивал

перед старинными полотнами, вглядываясь в суровые одухотворенные лица. Чувственное восприятие рождало мысли, которые я пока вытеснял в подсознание, зная, что синтезирующие разделы мозга сами превратят их в стройную теорию и переведут в оперативную память, когда мой труд будет закончен.

Если приходила усталость, я переключался на Иллу. Нас разделяли семь тысяч километров, а на таком расстоянии мне был доступен только ее общий эмоциональный настрой. Как всегда, она излучала спокойствие и доброжелательность.

Вечерние часы, когда было не очень жарко, я проводил на берегу реки, там, где она образовывала излучину. Стена запрета в этом месте тоже изгибалась, создавая оптический эффект, подобно увеличивающей линзе. Там, на противоположном берегу, был водопад, который дикие животные делили между собой, соблюдая какой-то неписаный закон очередности. Я оставался для них невидимым и неслышным, тогда как в мою сторону Стена пропускала свет, звук и даже запахи. Было забавно глядеть, как какой-нибудь бегемот, доплыв до середины реки, наткался на невидимую преграду и, сердито пофыркивая, поворачивал обратно.

Большей частью я лежал, закрыв глаза, наслаждаясь ни с чем не сравнимым чувством единства с природой. Мне быстро удалось научиться ощущать нервную напряженность антилопы, спокойствие слона, блаженство купающегося носорога, торжество орла, скользящего в воздушных струях, и многое другое, что составляет бесхитростную радость бытия всего сущего.

Не могу сказать, чтобы я очень обрадовался, когда в один из таких блаженных часов появился посторонний человек. Я ощутил исходящую от него печаль раньше, чем услышал шаги. Он дружелюбно кивнул мне и улегся поблизости. Я мало обращаю внимания на внешность людей. Меня больше интересует их душевное состояние. Его печаль вызвала во мне жалость, которую я старался погасить, чтобы он ее не почувствовал. Я знал, что это ему может быть неприятно. К сожалению, мы всё еще плохо управляем своими чувствами. В таких случаях лучше всего переключить мысли на что-нибудь другое.

Я пошел к нему и сел рядом.

— Глядите! — сказал я, указывая на муравья, который тащил сухую веточку. — Ноша в два раза больше,

чем он сам, но попробуйте почувствовать восторг, который он испытывает от этой работы. Какое наслаждение дает всё, что делается по велению инстинкта. Чувствуете?

Он поглядел на муравья, а потом поднял глаза на меня:

— Не знаю. Я таких вещей не чувствую.

Это звучало неправдоподобно, но я знал, что он говорит правду.

— Простите! — сказал я. — Всё вышло очень глупо. Поверьте, что у меня не было в мыслях...

— Верю! — усмехнулся он. — Можете себя не корить. Я... бесчувственный. В том понимании, которое вы все вкладываете в это определение. Однако ни утешать, ни развлекать меня не надо. Я... привык быть один. Даже на людях.

Может быть, мне лучше было уйти, но, почувствовав, что мое присутствие его не тяготит, я снова лег и попытался сосредоточиться на ощущениях животных.

Он тоже был занят своими мыслями, тягостными и однообразными, уйдя от действительности в призрачный мир воспоминаний. Вероятно, поэтому, когда я невольно крикнул, это подействовало на него, как удар.

— Что?! — спросил он, вскочив и озираясь по сторонам. — Что случилось?!

— Вот там... Поглядите! — Я показал на Стену.

Мне самому глядеть туда было не нужно. Я всё это уже пережил: боль, смертельный страх и отчаяние жертвы, и соленый вкус крови в пасти хищника, и сладость еще трепещущего мяса.

Он посмотрел туда, где только что разыгралась трагедия, равнодушно пожал плечами и сел, обхватив колени руками.

— Ну и что?

Я еще не мог оправиться от потрясения.

— Ужасно!

Он повернулся ко мне:

— А вы, оказывается, добренький. Вот когда-то из-за таких добрячков... Впрочем, что тут объяснять? Всё равно не поймете.

— Вы хотите сказать?..

— Я хочу сказать, — перебил он меня, — что природа жестока, но это — мудрая жестокость. В ее основе лежит опыт, который накапливался миллиарды лет. То, что сейчас произошло, столь же естественно, как и человеческая смерть.

— Ошибаетесь! — горячо возразил я. — Смерть — это то, с чем человек никогда не примирится. Он всегда будет мечтать о бессмертии, и рано или поздно...

— Бессмертие? А кому оно нужно?

— Всем!

Он вздохнул, и меня захлестнула волна его печали.

— Всем нельзя.

— Почему?

— Потому, что это начало конца человечества. Без смены поколений невозможны ни эволюции, ни прогресс.

Я хотел возразить, но он предостерегающим жестом остановил меня:

— Мне известны все ваши возражения. Вы хотите сказать, что одно дело животный мир, а другое — человеческое общество. Не правда ли?

— Пожалуй.

— Так вот, известно ли вам, что некогда люди, обладавшие даром предвидения, способностью воспринимать чужие эмоции, умевшие производить в уме сложные вычисления, владевшие кожным зрением, имевшие сверхпамять и многое другое, что сейчас является достоянием каждого, считались либо уникалами, либо, того хуже, шарлатанами. Даже ученые не понимали, что это просто неиспользованные резервы мозга. Для того чтобы поставить эти резервы на службу человеку, потребовалась огромная генетическая работа, более чем на десятке поколений. Теперь всем предоставлены равные возможности. Но кто сказал, что эти возможности исчерпаны? Поверьте, что гораздо важнее дальше совершенствовать род человеческий, чем прекращать это во имя личного бессмертия. Вполне достаточно того, что продолжительность жизни увеличилась за последние столетия в три раза.

В том, что он говорил, была доля здравого смысла, но всё же его доводы не могли меня убедить.

— Одно другому не мешает, — сказал я. — Бессмертие не исключает продолжения рода.

— А избыток населения отправлять колонизировать иные миры? — насмешливо спросил он.

— Хотя бы.

Я чувствовал, как он постепенно приходит в раздражение и пытается это скрыть.

— Значит, обречь какую-то часть человечества на изгнание? Порвать все узы с родной планетой, узы, которыми человек неразрывно с ней связан? Вырвать из био-

логического комплекса, вне которого он вообще существовать не может? Или отправить весь комплекс вместе с ним? Всё равно остается опасность вырождения от непредвиденных мутаций в новых условиях. А в результате что? Ведь они будут тоже бессмертны и тоже будут производить потомство. Выходит, что через какое-то время и там появятся свои изгнанники. Что ж, отличная перспектива — мир, населенный несносными стариками, уверенными, что в дни их молодости всё было лучше, слишком чванливыми, чтобы уступить свое место другим, и настолько полными веры в свою непогрешимость, чтобы переучиваться. А в это время, молодежь — надежда человечества — будет скитаться в поисках пристанища для того, чтобы всё рано или поздно началось вновь. Или вы собираетесь выгонять в галактические просторы стариков? Нечего сказать, прекрасное решение проблемы бессмертия! Нет уж, избавьте людей от ваших бредней! Кроме несчастья, они им ничего не принесут. Всеобщее бессмертие — это чушь, а бессмертие для избранных — противоречит элементарным нормам морали. Кроме того, оно мучительно. Посох Агасфера тяжелее ноши Христа. Может быть, в этой легенде сконцентрирована вся мудрость людская. Страшна не столько собственная смерть, сколько потеря близких. Быть обреченным всё терять, обретать вновь и снова терять — проклятье, хуже которого не придумаешь!

— Можете мне верить, — добавил он, помолчав. — Ведь я — тот, с чьим именем связана трава бессмертия.

Мне стоило большого труда удержаться от улыбки. Представьте себе, что вы с кем-то разговариваете, и вдруг выясняется, что это — вернувшийся из странствий Одиссей. Я кое-что слышал о траве бессмертия. Каждая эпоха имеет свои легенды. Со временем они настолько обрастают вымыслом, что вряд ли представляется возможным извлечь из них хоть какую-то долю истины. Трава бессмертия. Я напряг долговременную память.

— Значит вы — Джонатан Рейдон?

Он отрицательно покачал головой:

— Нет. То, что вы вспомнили о Рейдоне, делает вам честь, ведь он всего лишь второстепенный персонаж в этой эпопее. Нет, мое имя Чой. Оно вам всё равно не известно. Обо мне не было написано ни одной строчки, хотя...

Я внимательно поглядел на него. Действительно, во всем его облике было что-то странное. Узкие монгольские глаза, мудрые и усталые, маленькое сухощавое тело, по-

движное, как у ящерицы, и удивительная кожа, гладкая, какой-то неестественно розовой окраски. Такой цвет обычно придают восковым фигурам в паноптикуме, пытаясь создать видимость живых покровов.

— ...хотя я Чой, — повторил он, — тот самый Чой, который дал людям траву бессмертия, и не моя вина, что всё так получилось. Если вас интересует?..

— Конечно! — сказал я. — Такое ведь не каждый день услышишь!

— Не каждый! — важно подтвердил он, проведя рукой по рыжеватому пуху на голове. — Считайте, что вам повезло. Впрочем, не знаю, располагаете ли вы временем.

Чего-чего, а времени у меня было хоть отбавляй.

— Итак, Джонатан Рейдон, — начал Чой. — Он был сыном своего времени. Попробуйте мысленно вернуться на двенадцать столетий назад. Эпоха торжества точных наук над силами природы. Ведь именно тогда была практически достигнута возможность превращать Время в Энергию. Это открывало неограниченные возможности освоения космоса. К сожалению, люди тогда еще не понимали всех пагубных последствий изменения скорости течения времени. Всё это выяснилось потом. Пока же на Земле господствовало повальное стремление лететь всё дальше и дальше. Большой космос стал доступен каждому. Тысячи старателей ринулись в звездные просторы. Многие из них не вернулись совсем. Остальные же появлялись на Земле спустя столетия, когда интерес к космической экспансии уже поутих. Они прилетели обросшие бородами, полные высокомерной гордости первопроходцев, обуреваемые безумными проектами. Каждый считал себя потенциальным благодетелем человечества.

Среди них был и Джонатан Рейдон, человек с нестигаемой волей авантюриста, удачливый и неразборчивый в средствах достижения цели. Ему повезло. Он был единственным, кто открыл на окраинах нашей галактики разумную форму жизни. Форму удивительную и на первый взгляд непостижимую. Это была колония атиков.

С тех пор про атиков выдуманно множество небылиц. Их пытаются представить какими-то сверхъестественными созданиями. Всё это чепуха, Я-то знаю лучше других. Это травоядные существа, внешне напоминающие кроликов, но с высокоразвитым интеллектом. Да, они бессмертны, но в их бессмертии ничего загадочного нет. Сек-

рет — в пище. Это и есть пресловутая трава бессмертия, гнездилище вирусов, регенерирующих стареющие ткани. Вот и всё. Кое-что было ясно даже Джонатану, не привыкшему вникать в тонкости. Естественно, что у него родился план облагодетельствовать людей бессмертием.

В те времена еще не было лингвистических анализаторов, и Рейдону, для того чтобы договориться с атиками, приходилось полагаться только на их способность усваивать чужую речь. Задача не из легких, хотя атики очень сообразительны. Единственное, что Рейдон твердо усвоил, — это категорический отказ атиков дать ему семена травы.

Я уже говорил, что Рейдон не такой человек, который останавливался бы перед трудностями. Он попросту украл семена и стартовал на Землю.

Всё же у Рейдона было достаточно здравого смысла, чтобы не предавать огласке свои подвиги. Он решил вырастить на маленьком участке небольшое количество травы, и только после того как эффект будет проверен в земных условиях, объявить во всеуслышание о новой эре, ждущей человечество.

Однако всё получилось иначе. Трава отлично принялась, но овцы, которым Рейдон ее скармливал, бессмертия не приобретали. Вместо этого их поражало бесплодие. Рейдон выкопал всю траву, но было уже поздно. Вирус бесплодия с угрожающей скоростью начал распространяться по всей планете. Первыми это заметили животноводы, но поскольку уже в то время мясо играло всё меньшую и меньшую роль в пищевом балансе, особой тревоги это не вызвало. На растения же вирус никакого воздействия не оказывал, хотя, как потом выяснилось, гнездится он именно в растениях.

Вы знаете, как медленно добываются социологические данные. Поэтому прошло около десяти лет, прежде чем обнаружили, что среди людей рождаемость упала до угрожающих размеров. Это было страшное и тревожное время. Ведь никто не понимал, в чем дело. Тут уже Рейдон не мог больше молчать. Он рассказал всё. Теперь уже ученые знали причину, но бороться с вирусом оказалось нелегко. Да и времени оставалось не так уж много. Было подсчитано, что даже если удастся уменьшить темп распространения эпидемии, создав социальные стерильные зоны обитания, то и в этом случае человечество просуществоует не больше двух столетий. Нужно было во что бы

то ни стало победить вирус, но все усилия пока оставались тщетными.

Рейдон судил себя судом чести и приговорил к вечному изгнанию. Это не была пустая фраза. Ведь он у атиков ел траву и был бессмертным. Значит, действительно вечное изгнание. Он поселился на маленьком острове в Тихом океане и занялся там вирусологией, надеясь хоть как-то загладить свою вину перед людьми. Постигший удар не сломил его обычной самоуверенности. Он был убежден, что ему удастся справиться с вирусом.

Тем временем принятые меры стабилизировали рождаемость, но всё же она оставалась еще очень низкой.

Вот тогда на острове Рейдона появились Левшин и Тренг. Левшин был биологом, Тренг — астронавтом. Оба они имели чрезвычайные полномочия Совета, но Джонатан Рейдон предложил им убраться восвояси. Он заявил, что уже рассказал всё, что знает, и больше об этой проклятой планете, населенной, по его выражению, ублюдками и обманщиками, разговаривать не хочет. И всё же они его заставили говорить. Больше того, вспомнить такие подробности, о которых сам Рейдон и не подозревал.

Колония атиков состояла примерно из трехсот особей. Когда Левшин начал допытываться, были ли среди них существа разного возраста, Рейдон было пришел в бешенство и сказал, что не научился еще разбираться в возрасте кроликов, но вдруг вспомнил, будто видел двух или трех совсем маленьких атиков. Сами понимаете, что это меняло всё дело. Если вирус бессмертия нес в себе биологически оправданное бесплодие, то как же могло появляться на свет потомство?

Тут Рейдон вспомнил, что атики всё время твердили еще про какую-то траву, но он пропустил это мимо ушей, так как был целиком поглощен идеей бессмертия.

Выходило, что разгадку новой головоломки нужно искать у самих атиков.

Левшин связался с Советом, и его план был одобрен.

Теперь надо было выудить у Рейдона навигационные карты, чтобы выяснить, где находится эта планета.

О, вы не знаете Рейдона, если думаете, что он так просто взял и выложил на стол карты. Понадобилось два дня, чтобы сломить его сопротивление. Он проклинал космос и атиков, кричал, что, пока он жив, ни один человек

не сделает такой глупости, что... Впрочем, можете сами догадываться, что он кричал. Важно, что в конце концов карты он отдал.

Вы, наверное, слышали про эти штучки с локальным временем. Всё зависит от скорости. Так вот, на полет туда и обратно Левшину и Тренгу нужно было потратить около двух лет. За это время на Земле должно было пройти двести. В общем, они рисковали, вернувшись назад, застать только жалкие остатки человечества, и всё же этим последним шансом пренебрегать было нельзя.

На этот раз всё было тщательно продумано, Левшин считал, что если трава, выросшая из семян, которые привез Рейдон, обладала вирусами, вызывающими только бесплодие, а не бессмертие, то причина крылась в необычных для нее земных условиях. Поэтому в корабль погрузили сосуды с образцами земной почвы и установки искусственного климата. Всё, начиная с радиоактивного фона и кончая химическим составом грунта, должно было соответствовать тому, что есть на нашей планете. Предварительные опыты предполагалось провести там, на месте.

К сожалению, нелепая случайность разбила все планы. Столкновение с микрометеоритом уже в самом конце полета туда. Вообще говоря, ничего страшного, если не считать выхода из строя синтезатора пищи. Теперь у них оставался только аварийный запас продуктов. На двоих для возвращения назад — недостаточно, но они рассчитывали пополнить запасы у атиков, а может быть, с их помощью и устранить последствия аварии. Если бы они знали...

Итак, они сели на эту планету. Атики встретили их не очень дружелюбно. После визита Рейдона люди у них не вызывали особой симпатии. Всё же они с достаточным сочувствием отнеслись к тому, что случилось на Земле, и были готовы помочь.

Да, действительно на этой планете существовало два сорта травы. Одна давала бессмертие и связанное с ним бесплодие, другая же способствовала размножению, но убивала вирус бессмертия. Ею атики пользовались в исключительных случаях, когда нужно было поддерживать численность колонии. Ведь даже с бессмертными всякое бывает. В общем, они договорились.

Но тут выяснились три непредвиденных обстоятельства.

Во-первых, там в это время было что-то вроде нашей зимы, и семена травы, о которой шла речь, могли быть

получены только через шесть месяцев, считая по земному времени. Если к этому прибавить время на опыты, которые собирався проводить Левшин, то им бы на этой планете пришлось бы проводить месяцев семь.

Во-вторых, атики не знали техники, так что с надеждой починить синтезатор пришлось расстаться.

Наконец, что самое главное, кроме травы, на этой планете никакой еды не было. Человек — не кролик. Можно ради бессмертия сжевать несколько стеблей, но сыт от этого не будешь. Бессмертный ты или смертный, а без пищи жить нельзя.

Складывалось совершенно безвыходное положение. Даже при максимальной экономии в ожидании семян они бы съели половину аварийного запаса, которого и так было недостаточно для возвращения назад.

Связаться с Землей на таком расстоянии невозможно.

Вернуться ни с чем, если бы в полете и удалось выжить на голодном пайке, значит отложить еще на триста лет получение семян. За это время человечество просто вымрет.

Выход нашли атики. Они... предложили себя в пищу землянам.

Ну как бы вы отнеслись к такому предложению?

— Никогда! — закричал я. — Никогда бы я не стал есть разумных существ, даже приносящих себя в жертву!

— Подождите! — недовольно поморщился Чой. — Поберегите на время свои эмоции. Забудьте, что вы — представитель нового поколения, живущего больше чувствами, чем рассудком. Представьте себя обитателем той эпохи, когда люди еще верили в непогрешимость логики, когда количественные критерии были неотделимы от качественных, даже в области этики. Слишком сильно было еще влияние математических методов мышления. Итак, я снова излагаю постановку задачи в свете существовавших тогда критериев.

Что собой представляли атики? Я бы сказал, что это была пассивная, созерцательная цивилизация. Физиологически они не были приспособлены к труду и развивались совсем по другим законам, чем человечество. Не знаю, когда и как создались условия, обеспечивающие им бессмертие. Важно, что это бессмертие приводило к накоплению скорее личного опыта, чем коллективного. Прибавьте еще буколическую жизнь на всем готовом, что им давала природа. Разум? Это понятие очень расплыв-

чатое. Возможно, что они были даже философами, если можно назвать философией систему взглядов, основанную не на научном познании мира. Ну, в общем, что-то вроде взглядов Платона.

Атики впервые столкнулись с цивилизацией иного рода, цивилизацией активной, стремящейся преобразовать мир, потом и кровью добывающей свои знания, действующей, может быть, и не всегда безукоризненно, но действующей. Из разговоров с Левшиным и Тренгом они многое поняли. Может быть, поэтому они решили пожертвовать собой для спасения более перспективной цивилизации.

Теперь поставьте себя на место Левшина и Тренга. Это были не авантюристы типа Рейдона. Они выполняли задание человечества и понимали, какая ответственность на них лежит. В такой ситуации легко пожертвовать собой, но ведь с этим была связана судьба всех людей.

Наконец, еще одна крохотная, но существенная деталь. Сейчас мы с отвращением думаем об убийстве животных. Но ведь в то время тех же кроликов без зазрения совести отправляли на бойню. То, что эти кролики были не похожи на нас, служило достаточным основанием. Я не хочу сказать, что здесь существует какая-то аналогия, но полностью сбрасывать со счета этого тоже нельзя.

Вот теперь снова попробуйте найти решение.

— Не могу! — сказал я. — Благодарю судьбу за то, что такого решения мне принимать не пришлось.

— А им пришлось. У них не было выхода. Нужно было выбирать что-то одно.

Чой потер виски пальцами, встал и неожиданно направился вдоль берега. Я знал, что сегодня он не вернется. Ему нужно было привести свои чувства в порядок.

Всю ночь меня мучали кошмары. Мне снились покрытые прозрачными колпаками города, дряхлые старики и старухи, бредущие по опустевшим улицам, лаборатории, где потерявшие уже веру в себя ученые тщетно пытались совладать с бедствием, обрушившимся на Землю. У всех у них оставалась только одна последняя надежда — экспедиция Левшина и Тренга.

Потом эти видения сменялись. Два истощенных человека в чуждом им мире, на которых легла непосильная ответственность. А где-то рядом, в маленьких норках, пушистые зверьки с задумчивыми глазами мыслителей, готовые к жертвенному подвигу.

Я много раз просыпался и задавал себе один и тот же вопрос: может ли человечество, даже ради собственного спасения, пожертвовать тем, что составляет сущность человеческой морали? Во что оно превратится после этого? Но тут же меня начинали одолевать другие сомнения. Кто дал мне право определять судьбу рода людского? Быть ему или не быть? Я вспоминал слова Чоя о том, что цивилизация атиков вообще не сопоставима с нашей. Ее в нашем понимании нельзя было даже назвать цивилизацией. Они ведь сами это понимали. И всё же... ведь речь шла о разумных существах. Может быть, в том, что они не колеблясь приняли решение пожертвовать собой, было что-то, что ставило их выше тех, кого они спасали. С другой стороны, ведь они распоряжались только своей судьбой, тогда как Левшину и Тренгу приходилось думать о других.

Я закрывал глаза, и снова возникали картины старческой агонии Земли.

Измученный бессонной ночью, с рассветом я отправился на реку, чувствуя, что Чой уже там.

Действительно, он меня поджидал.

— Ну что? Решили задачу?

— Нет. Я не знаю, как бы поступил на их месте. Ведь принятие такого решения зависит не только от обстоятельств, но и от самого человека.

Он одобритительно кивнул:

— Правильно! Есть ситуации, в которых нельзя руководствоваться подсказкой. Каждый решает по-своему. Они тоже так поступили. Первый — Левшин. Он ушел и не вернулся. Позже его труп нашли в озере. В оставленной им записке были только подробные инструкции по выращиванию семян. Больше ничего. Вероятно, он понимал, что Тренг нужнее, чем он. Ведь только Тренг мог привести корабль на землю, а вопрос о пище проще решался для одного, чем для двоих. Возможно, им руководило еще одно соображение. Оставить Тренга наедине со своей совестью. Ведь если бы Тренг... Ну, словом, свидетелей не было бы. Очевидно, Левшин думал, что так легче...

— А Тренг?

— Тренг принял другое решение. Банка консервов на двадцать дней. Он рассчитывал, что ему удастся приучить себя к такой диете. Он почти дождался созревания семян, но... Если бы помощь пришла немного раньше...

— Какая помощь?

— Совершенно случайная. Один из старателей космоса принял их сигналы бедствия, но прибыл слишком поздно. Он похоронил Тренга и взял на борт груз семян.

— Вот, значит, чем всё закончилось? Я не знал...

— Не торопитесь, — нахмурился Чой, — дослушайте до конца. Этому человеку было суждено всегда опаздывать. Он прибыл на Землю, когда семена были уже ни к чему. Джонатану Рейдону удалось справиться с вирусом, и о всей этой истории начали уже забывать. Вот теперь можно поставить точку. Вы разочарованы?

— Да нет, — сказал я. — Мне просто жаль Левшина и Тренга. Значит, все их муки были зря?

— А вы как думали? В самой формулировке задачи было внутреннее противоречие. Такие задачи не имеют решения. Нельзя было думать о спасении человечества, уповая только на помощь извне, сбрасывая со счета его собственные возможности помочь самому себе. Такие ситуации всегда оборачиваются либо трагедией, либо фарсом. Иногда и тем и другим. Трагедию пережили Тренг с Левшиным, а на мою долю досталось...

— Понятно! — перебил его я. — Вы и были тем человеком, который привез семена, и вы ели траву бессмертия. Ведь так?

Чой недоуменно поднял брови. Несколько секунд он молча глядел на меня, а потом что-то сообразил, повалился на песок в судорожном припадке смеха.

— Как вы сказали?! — спросил он, немного отдышавшись. — Ел траву бессмертия?! Ох, святая простота!

— Не понимаю, что тут такого смешного?

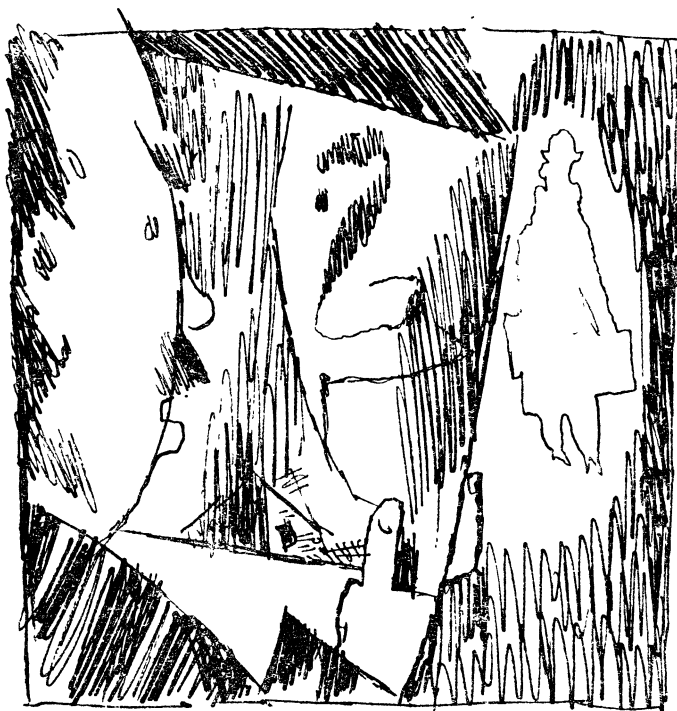
Он опять засмеялся похожим на кашель смехом.

— Смешно то, что я, Чой, автор романа «Трава бессмертия». Когда-то он пользовался огромным успехом, а сейчас уже никто не помнит моего имени. Согласитесь, что это не очень приятно! Я даже от огорчения потерял способность к эмоциональным контактам. Ведь не всегда удается найти внимательного слушателя.

Чой опустил голову на колени и прикрыл ее руками. Плечи его вздрагивали.

Я поднялся и, стараясь ступать как можно тише, направился в свою хижину.

Через час я навсегда покинул заповедник. Мне казалось, что в городе моя работа пойдет успешнее.



Илья Варшавский

ПРОДЕЛКИ АМУРА

Как часто приходится слышать фразу: «О, если бы мне было дано прожить жизнь заново!» Попробуем откинуть ее эмоциональную составляющую (для чего, как известно, нужно только убрать восклицательный знак) и разобраться во всем этом с позиций чистого разума.

О какой жизни, собственно говоря, идет речь?

Природа значительно милостивей, чем кажется с первого взгляда. Она дает нам возможность прожить по крайней мере четыре жизни. Беспомощное детство, безрассудная юность, осторожная пора возмужания и, наконец, чванливая старость. До чего же мало эти периоды походят друг на друга!

Поскольку внутренний мир человека с его надеждами, сомнениями и разочарованиями, по давно установленным

правилам игры, подлежит юрисдикции художественной литературы, очевидно, в ней и нужно искать разгадку поставленного вопроса.

Для этого достаточно обратиться к таким капитальным трудам, как «Фауст» Иоганна Вольфганга Гёте и «Возвращенная молодость» Михаила Зощенко. В них можно проследить неуклонное стремление человека сочетать в себе сомнительный опыт старца с тем возрастом, который характеризуется наиболее интенсивной гормональной деятельностью организма.

Говоря об опыте стариков, я не зря употребил эпитет «сомнительный». По существу, всякий опыт носит отрицательный характер. Он сводится к тому, что «в одна тысяча девятьсот таком-то году что-то похожее пробовали и ничего не получилось».

Вообще если человеческий опыт имел бы действительно позитивный характер, то наверняка бы род людской больше отличался от наших сородичей-приматов.

Что же касается опыта, свойственного именно старости, то разве размышления ослепшего Фауста не сводятся к той же формуле: «Любовь? Не знаю. В одна тысяча таком-то году заново пробовал. Ничего хорошего не получилось».

Теперь, внеся ясность в некоторые исходные положения, можно приступить непосредственно к повествованию.

Казалось, ничто не предвещало полосу осенних любовных штормов в душе Филимона Орестовича Полосухина. Жил он тихой, размеренной жизнью пенсионера, отдавая избыток энергии благородному делу постановки голосов у канареек. На семейную жизнь не жаловался, хотя и было одно обстоятельство, несколько омрачавшее супружеское согласие. Дело в том, что жена его, Варвара Степановна, не любила птиц в доме. Впрочем, к открытым конфликтам это не приводило. Существовало молчаливое соглашение, по которому Филимон Орестович проводил уроки со своими питомцами, когда она уходила за покупками. Кроме того, всеми санитарно-гигиеническими мероприятиями по поддержанию порядка в клетках и закупкой кормов занимался он сам.

Так они и жили, пока однажды Варвара Степановна не покинула на три дня семейный очаг, чтобы погостить у подруги, жившей за городом.

На эти три дня Филимону Орестовичу было заготовлено пропитание и даны подробнейшие инструкции по ведению хозяйства. В числе всевозможных поручений была и уплата за квартиру.

В первый день своего соломенного вдовства Филимон Орестович проснулся позже обычного. Он сварил кофе, прибрал в клетках и начал думать, как же лучше использовать неожиданно свалившуюся свободу.

Стояла прекрасная осенняя погода, и он решил пойти в сберкасса — выполнить оставленное ему поручение, а затем отправиться погулять в парк.

Как водится в таких случаях, лукавый подстерегал его уже в нескольких шагах от дома. На этот раз он принял облик обольстительной красотки в дезабилье, призывно взглянувшей с рекламного плаката кинотеатра. Очарованный этим взглядом, Филимон Орестович решил отложить поход в сберкасса и купил билет на ближайший сеанс.

Тонкий знаток человеческой натуры, вероятно, отметил бы странное состояние душевного томления, с каким наш герой покинул зрительный зал. Это состояние походило на инкубационный период тяжелой и опасной болезни. Коварный вирус вспыхнувших неудовлетворенных желаний уже делал свое дело, грозя в будущем вызвать настоящий любовный жар. Внешне же это пока проявлялось лишь в повышенной рассеянности, с какой Филимон Орестович взирал на окружающий мир.

Может быть, иммунно-биологические силы организма и победили бы в борьбе с этим вирусом, если бы прочие обстоятельства не сплелись в единый дьявольский клубок.

Во-первых, сберкасса оказалась закрытой на обед, во-вторых, Филимон Орестович решил переждать в кафе, пока она откроется, а в-третьих... Впрочем, давайте уж всё по порядку, без излишней торопливости.

Заказывая у стойки мороженое, Филимон Орестович обратил внимание на бутылку с надписью на этикетке, исполненной готическим шрифтом.

— Либ... фрау... милх, — с трудом прочел он надпись. — Что это такое?

— Немецкое полусладкое. Молоко любимой женщины, — улыбнулась продавщица. — Налить?

— Налейте стаканчик, — сказал заинтригованный Филимон Орестович.

Вино оказалось на редкость приятным. Филимон Орестович решил повторить.

Выйдя из кафе, он почувствовал удивительный прилив сил. Тротуары были полны прогуливающейся молодежи, сплошь симпатичной и благожелательно настроенной. Солнце грело совсем по-летнему, под ногами приятно шуршали опавшие листья, откуда-то из распахнутого окна неслась сладчайшая мелодия. Словом, только тупой, мрачный меланхолик мог в такой день торчать в очереди у окошка инкассаторского пункта.

Филимон Орестович сдвинул набок шляпу и, подкрутив усы, направился походкой фланера куда глаза глядят.

На перекрестке молоденькая продавщица протянула ему букетик:

— Купите вашей девушке.

Филимон Орестович усмехнулся. Вашей девушке. Заметьте, она не сказала «вашей жене». Вашей девушке! Растроганный, он сунул продавщице три рубля и небрежно махнул рукой: мол, сдачи не надо, что за пустяки!

Правда, букет несколько стеснял свободу движений, и Филимон Орестович бросил его в урну перед тем, как купить пачку сигарет. Он с наслаждением закурил. Почувствовав при этом легкое головокружение, он подумал, что все врачи шарлатаны и обманщики. Сами небось курят, а другим не велят. Вот десять лет не курил, а теперь от первой затяжки закружилась голова. Нет, дудки! Больше его на эту удочку не поймают. Отныне он опять будет курить, потому что это полезно. Излечивает от ожирения. А то вон какой живот стал. Вообще нужно больше обращать внимания на свою внешность. Утренняя зарядка и десяток сигарет в день — любой станет стройным, как тополь.

Рассуждая всё в таком духе, Филимон Орестович незаметно дошел до зоологического магазина. Он хотел было прицениться к канарейкам, но тут его осенила новая идея. На витрине в проволочной клетке сидели два восхитительных попугайчика. Филимон Орестович подумал, как здорово было бы научить их разговаривать по-немецки. Либфраумильх и еще что-нибудь вроде гутен морген. Вот Варвара Степановна удивится! Будет хвастать всем знакомым, мол, у нас даже птицы по-немецки говорят. Либфраумильх — молоко любимой женщины. Даже в цирке можно показывать.

Сказано — сделано! Через пять минут Филимон Орестович вышел из магазина, бережно неся проводочную клетку. Тут, подведя итог расходам, он убедился, что сегодня идти в сберкассау уже совсем нет смысла, благо послезавтра — пенсия, можно возместить растрату, а начавшийся так великолепно день следует достойно завершить.

Закупив в «Гастрономе» всякой снеди, главным образом того, в чем он себе долгое время был вынужден отказывать по причине больной печени, и решив, что вечерний чай с успехом заменяется напитком более калорийным, Филимон Орестович отправился домой в твердом намерении сегодня же добиться решающих успехов в обучении попугаев иностранным языкам.

Однако то ли вследствие перемены местожительства, то ли по другой причине, попугаи не проявили в этот день никаких талантов. Они сидели нахохлившись на своих жердочках, демонстративно отказываясь не только говорить, но даже принимать пищу.

Вскоре Филимон Орестович махнул на них рукой и решил подкрепиться.

Он аппетитнейшим образом разложил на тарелках свои припасы и, отхлебывая живительную влагу из фамильного хрустального бокала — гордости Варвары Степановны, погрузился в чтение «Литературной газеты».

В ту пору велась оживленная дискуссия о допустимости в нашем обществе привлечения электронных машин в качестве свахи. Высказывались социологи, экономисты, врачи-сексологи, разведенные супруги, девушки, мечтающие об идеальном муже, восторженные старцы и юные скептики. Оказалось, что эта проблема интересует всех.

Филимон Орестович, всегда придерживавшийся взглядов передовых и радикальных, был ярким сторонником организации Центрального бюро браков. Он даже написал пространное и тщательно аргументированное письмо в редакцию, но напечатано оно не было.

Каково же было его удивление, когда, развернув газету, он увидел, что проблема вышла уже из области споров, и Вычислительный центр, в опытный порядок, предлагает всем желающим воспользоваться его машинами для подыскания пары в браке.

Филимон Орестович закурил и задумался. В самом деле. Ведь всё в браке случайно. Взять хотя бы его с Варварой Степановной. Познакомились они в госпитале. Он лежал там раненый, а она работала медсестрой. Потом его демобилизовали по инвалидности, и они стали жить вместе. Даже в загс не пошли, настолько это казалось естественным и обыденным. А ведь в тот день, под Гатчиной, могло ранить осколком не его, а кого-нибудь другого, и этот другой лежал бы в госпитале и, может, женился бы на Варваре, а тем временем и у него самого появилась бы другая подруга жизни.

Возможно, она бы даже больше соответствовала его жизненным идеалам.

Он закрыл глаза и попытался представить себе этот идеал. Получилось совсем неплохо. Длинноногая голубоглазая блондинка, очень смахивающая на ту киноартистку в соблазнительном дезабилье. С внешними данными всё обстояло благополучно. Ну а характер? Тут тоже особых сомнений не возникало. Добрая, заботливая, покладистая, нежная. Черт возьми! Вот так где-нибудь ходит этот идеал, и никогда не придется с ним встретиться. Может быть, она даже сидела сегодня рядом с ним в кино?

У Филимона Орестовича мелькнула озорная мысль. Просто так, для интереса, обратиться в Вычислительный центр, сказавшись холостяком. Они подберут кандидатку, а он просто посмотрит на свою суженую. Можно даже выпросить фотографию, чтобы подшучивать над Варварой Степановной. Вот, мол, какой козырь из-за тебя упустил!

Однако тут его размышления были прерваны неожиданным появлением самой Варвары Степановны. Она примчалась в город раньше срока, так как забыла оставить Филимону Орестовичу желчегонные таблетки и очень боялась, чтобы у него не случился приступ печени.

Ее взгляд мигом охватил всю ситуацию. И сигарету во рту, и наполовину опорожненную бутылку, и строжайше запрещенные консервы в томате, и твердокопченую колбасу, и двух попугаев.

Со сноровкой опытного следователя она начала допрос. Не прошло и нескольких минут, как все художества Филимона Орестовича были вскрыты и квалифицированы.

Обычно безгласный в семейных передрагах, Филимон Орестович, видимо под влиянием волшебного зелья, проявил на этот раз удивительную строптивость, решительно отказавшись признать себя виновным, что еще больше разгневало его половину.

Семейные ссоры подобны спонтанно протекающей химической реакции. Они длятся, пока концентрация реагентов, в виде давних затаенных обид, не уменьшится до естественной остановки реакции. Чем выше их начальное содержание, тем больше конечного продукта — упреков, сожалений о загубленной жизни и внезапно открывшихся горьких истин.

Может быть, прояви Филимон Орестович больше смирения, всё кончилось бы как обычно. Но в этот день он, видимо, и впрямь всосал безумие с молоком любимой женщины.

Обозвав Варвару Степановну мымрой и присовокупив к сему эпитет такого рода, что в произведении изящной словесности его и привести-то совестно, он хлопнул дверью и выбежал на улицу охладить воспаленную голову.

Как в тумане бродил он по городу, полному соблазнов, проклиная себя за то, что так неразумно связал свою жизнь со сварливой старой женщиной.

Всё же, поостыв немного, он решил пойти домой, надеясь, что все недоразумения этого дня уладятся сами собой.

Увы! Надеждам его не суждено было сбыться. Вернувшись в свою квартиру, он обнаружил, что семейные отношения прерваны весьма основательно при помощи двух платяных шкафов и ситцевой занавески. В шкафу, дверцы которого открывались непосредственно в новую экологическую нишу Филимона Орестовича, лежали его личные вещи и аккуратная стопка постельного белья, выделенная при разделе имущества. Холостяцким ложем отныне должен был ему служить узкий диванчик, использовавшийся раньше для приема гостей. У окна стояли клетки с птицами.

Филимон Орестович заглянул на кухню. Его бывшая жена мыла там окно — верный признак бушующего в ней негодования, хорошо известный по прежним ссорам.

Поразмыслив, Филимон Орестович решил вести себя так, словно ничего не случилось.

— Слушай, Варенька, — сказал он примирительным тоном. — Я тут оставил «Литературку». Ты ее куда прибрала?

— Вытерла стекло.

— Гм... Ну, допустим. — На этот раз Филимон Орестович был воплощением кротости и всепрощения. — А поесть у нас не найдется? Я, знаешь ли, как-то проголодался.

Варвара Степановна молча указала на холодильник. У Филимона Орестовича было мелькнула надежда, что всё уже обошлось. Не тут-то было! Он открыл дверцы и сразу убедился, что принцип «твое — мое» восторжествовал и здесь. В отведенной ему половине красовалась початая бутылка вина и остатки сегодняшнего пиршества, тогда как вожделенный сейчас кефир находился на вражеской территории.

— Забирай свою жратву и выметайся, — сказала Варвара Степановна. — Мне еще нужно тут полы мыть.

Оскорбленный в самых лучших чувствах, Филимон Орестович отправился к себе, не поужинав.

Спал он из рук вон плохо. От гастрономических излишеств у него и в самом деле приключился приступ печени. Диван был жесткий и неудобный, простыня всё время сползала. Но больше всего терзало уязвленное самолюбие. Как это его, отдавшего лучшие годы жизни этой женщине, вышвырнули, как паршивого пса. Подумаешь, цаца, медицинская сестра на пенсии. Не такие еще бегают в поисках мужей. Красавицы и молодые. Не зря пишут, что женщин больше, чем мужчин. Так, постепенно распаляясь от собственных мыслей, к утру Филимон Орестович принял решение. К черту Варвару Степановну. Сегодня же он отправится в Вычислительный центр искать новую подругу жизни.

Вот таким образом, в результате коварного хитросплетения случайных обстоятельств, тщательно выбритый Филимон Орестович, в блеске нейлоновой рубашки, украшенной лучшим из галстуков, оказался на пороге Бюро консультаций Электронно-вычислительного центра.

Вопреки его предположениям это учреждение мало походило на Дворец бракосочетаний. Там не было ни мраморных колонн, ни лепных карнизов, ни оксидированных под золото светильников, ни синтетического ковра, на который разрешается ступать только новобрачным, ни бу-

фета с шампанским и реликтовыми шоколадными конфетами. Помещалось оно в первом этаже точечного дома, рядом с пунктом приема белья в стирку.

Филимон Орестович с волнением распахнул дверь и сразу оказался перед столом, за которым юная красавица в вельветовой брючной паре изучала толстый потрепанный фолиант. На появление Филимона Орестовича она никак не реагировала.

Он кашлянул, но и это не произвело на служительницу Гименея никакого впечатления. Тут он подошел ближе. Девушка перевернула страницу. При этом Филимон Орестович, скосив глаза, смог прочитать: «Физиология брака». Видимо, работа Бюро была построена действительно на солидной научной базе.

— Простите... — сказал он.

Девушка с неудовольствием оторвалась от цветного рисунка на вкладном листе и подняла на Филимона Орестовича глаза цвета полированного агата. Пораженный ее красотой, он было подумал, что при наличии таких служащих, вряд ли есть необходимость загружать электронные машины. Эту всякий с руками оторвет. Однако здравый смысл подсказал ему тут же, что едва ли брак со столь солидной разницей в возрасте может быть действительно счастливым.

— Слушаю, — сказала она.

Филимон Орестович смутился.

— Вот я... — пробормотал он, запинаясь, — пришел... в общем... ищу жену.

— Кому? — спросила девушка.

— Как кому? — опешил он. — Себе, конечно! Или вы считаете меня слишком старым? — добавил он, осмелев.

Она оглядела его с головы до ног.

— Отчего же? Бывает. — В ее голосе сквозило обидное равнодушие, неприятно кольнувшее Филимона Орестовича. Нет, безусловно, такая девчонка в жены не годится. Женщина должна созреть для брака.

Девушка вынула из ящичка стола квитанционную книжку.

— Стоимость консультации с одной рекомендацией — двадцать пять рублей. За каждую последующую рекомендацию — пять рублей. Платить будете? — выпалила она профессиональной скороговоркой.

Подобный расход никак не предусматривался Филимоном Орестовичем. Однако в тоне, каким задан был вопрос,

чувствовалось столько пренебрежительного сомнения в серьезности намерений клиента, что Филимон Орестович вздохнул и вынул бумажник. После вчерашних похождений в нем оказалось всего десять рублей.

— Вот, — сказал он, краснея, как юноша. — Остальные, если можно, я занесу завтра.

— Нельзя, — она подтолкнула перламутровым ногтем десятирублевку обратно. — Завтра и заплатите. А пока — возьмите анкету.

— Спасибо! — Филимон Орестович взял пачку листов и, не зная куда девать глаза, повернулся к двери. — Всего хорошего!

— До свиданья! — насмешливо ответила девушка, вновь погружаясь в изучение таинств брака.

Заполнение анкеты оказалось делом кропотливым и неприятным. Ушло три дня на то, чтобы ответить на все 100 вопросов. Многие из них казались Филимону Орестовичу просто бестактными. Они извлекали на всеобщее рассмотрение подробности насчет потаенных желаний, склонностей и привычек, которые обычно составляют интимную сферу каждого человека.

Ставили в тупик и такие вопросы: «Как вы оцениваете свою привлекательность для лиц противоположного пола, сильная, средняя, слабая? Нужно подчеркнуть».

Поначалу Филимон Орестович невольно преувеличивал свои достоинства, но потом решил, что это ни к чему. Пусть принимают его таким, как есть.

Больше всего смущало отсутствие вопросов, на основании которых машина могла бы судить о его идеале. Все они почему-то относились к нему самому. Только последний пункт вопрошал: «Что вы больше всего цените в партнере по браку: красоту, ум, талант, доброту, темперамент? Нужно подчеркнуть».

Пропотев над ответом больше часа, Филимон Орестович дипломатично написал: «Женщину в полном смысле этого слова». Да, пожалуй, именно такой была героиня в том фильме, с которого всё и началось. Прообраз современной Евы.

Наконец труд был закончен, и Филимон Орестович вновь отправился в Бюро консультаций.

Сдав анкету и получив квитанцию в том, что все хлопоты Купидона оплачены авансом, он поинтересовался, долго ли придется ждать.

Девушка пожала плечами.

— Трудно сказать. Это зависит от количества заказов. У нас всё — наоборот, — она улыбнулась, — чем больше заказов, тем скорее. Ждите, вас известят.

Ждите! Ждать всегда неприятно, а в таком деле особенно, если к тому же принять во внимание, что дома у тебя — всё вверх дном.

Варвара Степановна устроилась работать, и Филимон Орестович целые дни без толку слонялся один в своем закуте. Питался он в столовой, отчего всё чаще побаливала печень. Кроме того, почему-то стало не хватать денег. Раньше такая проблема не возникала. Они вполне сносно жили на пенсии, даже что-то удавалось отложить на летний отдых. Теперь же, когда в его руках была большая часть их прежнего бюджета, он постоянно испытывал нужду в деньгах. Единственное, что его подбадривало, — это надежда, что всё уладится с женитьбой. Он переедет к жене, и заживут они в покое, согласии и достатке.

Между тем время шло, а обещанного извещения не было.

Филимон Орестович несколько раз ходил справляться по этому поводу, но безрезультатно. Теперь вместо бывлой красавицы, устроившей, видимо, свою судьбу без вмешательства электронной техники, там сидел грубоватый юноша в очках. В довольно резкой форме он попросил Филимона Орестовича не шляться сюда каждую неделю, мешая людям работать, а спокойно ожидать дома, поскольку тщательный подбор супруги в интересах самого же Филимона Орестовича. Раз нет извещения — значит не появилась достойная кандидатка. Всё дело в том, что еще мало народа обращается за помощью.

С горя Филимон Орестович стал захааживать в то самое кафе, отчего его бюджет стал еще более напряженным, а характер и вовсе утратил бывшее добродушие. По ночам мучили кошмары. То он в образе фавна оказывался в хороводе прелестных нимф, насмехающихся над пунктом девятым его анкеты («Считаете ли вы себя способным составить пару женщине, мужчине с нормальными задатками, да, нет? Нужное подчеркнуть»), то безрезультатно преодолевал множество препятствий, пытаясь настичь белокую прелестницу, то электронное чудовище, подмигивая красным глазом, предлагало ему в жены корову.

Птиц он совсем забросил. Попугаи сдохли, а канареек пришлось срочно продать на рынке, так как они заразились от своих тропических собратьев черной меланхолией и петь больше не хотели.

Нужно сказать, что не раз, просыпаясь по ночам, Филимон Орестович обдумывал планы капитуляции. Порою ему нестерпимо хотелось броситься на колени и вымолить прощение у Варвары Степановны. Однако он самым решительным образом гнал эти малодушные мысли. Пойти на мировую значило навсегда распрощаться со своим идеалом и разменять ожидавшее его счастье на серые будни.

И вот однажды, когда, казалось, уже всякая надежда была потеряна, он обнаружил в почтовом ящике адресованный ему конверт с штампом Вычислительного центра. По краям конверт был окаймлен гирляндами красных роз, а в левом углу, над электронной схемой, парил Амур, изготовившийся к стрельбе по живым целям.

Сомнений быть не могло. Наконец-то Филимон Орестович держал в своих руках судьбу!

С пылом юноши, срывающего маску прекрасной незнакомки, он единым махом вскрыл конверт и прочел заветное имя:

ВАРВАРА СТЕПАНОВНА ОРЕШКОВА

Далее следовали адрес и телефон, столь известные Филимону Орестовичу.

Говорят, что в момент сильных потрясений перед человеком проносятся вся его жизнь. Ну, если и не вся, то хотя бы важнейшие ее этапы.

Так и сейчас, закрыв глаза, Филимон Орестович за короткое время вспомнил прошедшие тридцать лет. По сравнению с его нынешним состоянием они казались годами настоящего счастья, которое он так неразумно упустил, предавшись несбыточным иллюзиям.

Он радостно улыбнулся и направился в кухню, откуда доносились сладостные его уху звуки переставляемой посуды...

Если бы автор задался целью написать новогодний рассказ, то лучшего конца и придумать нельзя. Вновь соединенные супруги под звон курантов поднимают бокалы в честь электронного деда-мороза.

Однако, как утверждают философы, жизнь — очень сложная штука. Пусть они даже немного преувеличивают,

но, во всяком случае, она сложнее примитивных сюжетных схем. Что же касается гибрида Амура с компьютером, то даже воображение фантаста не всегда может предугадать, на какие пакости этот ублюдок способен. Итак, терпение, читатели!

...С радостной улыбкой вошел Филимон Орестович в кухню. Он тут же отметил точно такой же конверт, лежавший на столе.

— Ну, чего тебе? — спросила Варвара Степановна.

— Значит, ты тоже?.. — Филимон Орестович указал на конверт.

— А ты как думал?! Что ж я, по-твоему, одна и помирать буду?

— Эх, старуха, старуха! — вздохнул Филимон Орестович. — Много мы с тобой глупостей понаделали. Ну, теперь всё! Завтра идем в загс.

— Ишь какой приткий! — усмехнулась она. — Я своего еще и не видела.

— Так посмотри! — Филимон Орестович петухом прошелся по кухне.

— Ты что, обалдел?!

— Обалдеешь тут! — Он засмеялся и, взяв со стола конверт, извлек оттуда извещение. Тут же смех комом застрял у него в горле. На плотной бумаге с водяными знаками заказчица торжественно извещалась, что лучшего мужа, чем некий Аврелий Маркович Октовьянов, проживающий в поселке Ручьи, улица такая-то, собственный дом, ей не сыскать.

Удивительное создание человек! В этой новой ситуации Филимона Орестовича почему-то больше всего возмутили именно Ручьи.

— Ручьи! — захохотал он. — Нет, вы только подумайте, Ручьи! Собственный дом!

Усы у него брезгливо топорщились, как у кота, шнуровшего нашатырного спирта, глаза сверкали адским пламенем, нос заострился и выгнулся дугой.

— Ручьи! Ха-ха-ха! Ручьи!!! Что ж, не смею препятствовать!

Отвесив насмешливый поклон, он с достоинством Каменного гостя направился к себе за шкафы.

Я не мастак описывать сложные душевные переживания. Сопутствующие им мысли настолько сумбурны, что изложить их в хоть какой-то логической последовательности очень трудно. Да и ни к чему это. Важно, что те-

перь Филимон Орестович готов был один на один биться за свою поруганную честь со всеми электронными своднями на свете.

Что же касается гнусного соблазнителя из поселка Ручьи, то хороший удар шпагой... Впрочем, чужь, какие теперь шпаги? Правда, есть еще кулачная расправа, но и эта мысль тоже была откинута. Возраст не тот, да и сердце пошаливает. Оставалось одно: протестовать, протестовать!

Протест — одна из самых хилых форм борьбы. Ниже его в табели о рангах стоит только кукиш в кармане. Кроме того, попробуй протестовать, когда перед тобой — равнодушный очкарик, впившийся молодыми зубами в яблоко.

— Вот, полюбуйтесь! — Филимон Орестович швырнул на стол извещение. — И зачем вас только тут держат?!

— Что, не подходит? — спросил очкарик, чавкая при этом самым омерзительным образом.

— Подходит! — дрожащим от негодования голосом произнес Филимон Орестович. — Очень подходит, только я ей не подхожу. По вашему мнению, не подхожу. Это вы ей какого-то Аврелия подсунули!

— Что ж, бывает, — усмехнулся тот. — Тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Вам она подходит, а вы ей нет, ситуация вполне жизненная. Платить будете? — Он вытащил из стола квитанционную книжку. — За повторную рекомендацию пять рублей.

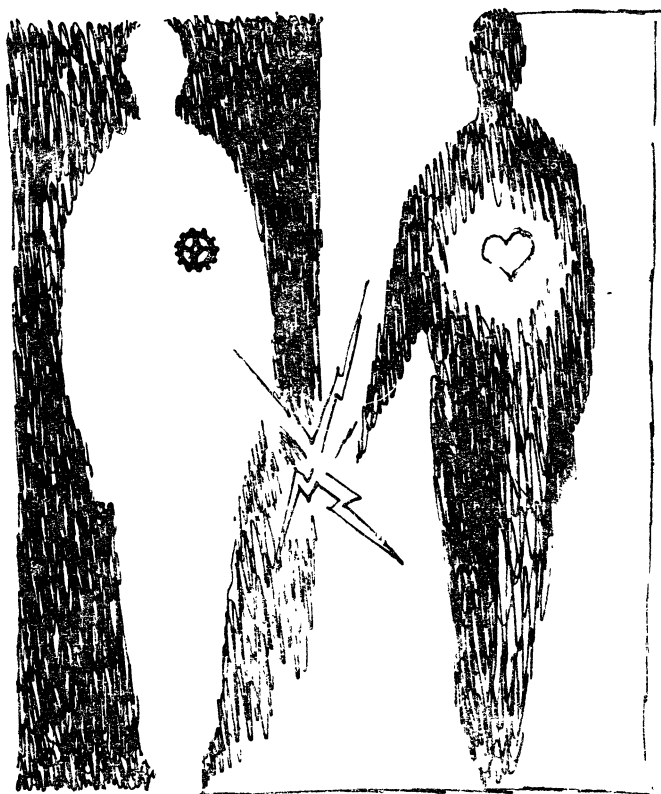
— Как?! — выпучил глаза Филимон Орестович. — И вы еще имеете наглость мне предлагать?!.. Вы!.. вы!.. — Тут он изрек нечто столь нецензурное, что даже издавший всякое очкарик поперхнулся яблоком и долго еще после того, как за посетителем захлопнулась дверь, сокрушенно качал головой.

Тут наша легенда об электронном Фаусте подходит к концу. Тривиальному и грустному. Можно было бы написать еще много страниц о том, как Филимон Орестович боролся за свое счастье с домовладельцем из поселка Ручьи и как был счастлив, когда наконец насладился победой. Всё произошло именно так. Однако пыл страстей, вовсе не свойственный его возрасту, окончательно подорвал здоровье престарелого молодожена, и результатом всей этой истории явилась скромная гипсовая раковина на одном из кладбищ — неопровержимое свидетельство того, что извечное противоречие между стремлениями человека

и отпущенными ему возможностями окончательно улажено природой.

Возможно, что автором где-то был допущен просчет, когда он брался за эту тему.

Может быть, человечество еще не готово передать свои сердечные дела полупроводниковым схемам и запоминающим устройствам, или — наоборот — алгоритмы решения задач, связанных с удовлетворением высоких порывов души, еще недостаточно отработаны. А может, и впрямь браки заключаются в небесах? Право, не знаю.



Станислав Лем

СУД

— Свидетель Шеннэн Куин!

— Здесь, господин командор.

— Вас вызвали в качестве свидетеля по делу, которое разбирается Космическим трибуналом под моим председательством. При обращении к трибуналу меня следует именовать председателем, а остальных его членов — судьями. На вопросы трибунала вы обязаны отвечать немедленно, а на вопросы обвинения и защиты только после разрешения трибунала. В своих показаниях вы можете основываться исключительно на том, что видели сами и знаете по собственному опыту, но не на том, что вы слышали от третьих лиц. Вам всё понятно?

— Да, господин председатель.

— Итак, вас зовут Шеннэн Куин?

— Да.

— Однако, будучи членом экипажа «Голпафа», вы пользовались другим именем?

— Да, господин председатель: таково было одно из условий договора, заключенного со мной арматорами.

— Вы знали причины, по которым вам присвоили псевдоним?

— Знал, господин председатель.

— Вы принимали участие в кольцевом полете «Голиафа» в период между восемнадцатым и тридцатым октября текущего года?

— Да, господин председатель.

— Какие функции выполняли вы на корабле?

— Я был вторым пилотом.

— Расскажите трибуналу, что произошло на борту «Голиафа» во время упомянутого полета двадцать первого октября, но предварительно разъясните, в каком положении находился корабль и каковы были поставленные перед ним задачи.

— В восемь тридцать по бортовому времени, идя с гиперболической скоростью, мы пересекли периметр спутников Сатурна и начали торможение, которое продолжалось до одиннадцати. За это время мы погасили гиперболическую скорость и на двойной круговой нулевой приступили к маневру выхода на круговую орбиту, чтобы с нее вывести в плоскость кольца искусственные спутники.

— Двойной нулевой вы называете скорость пятьдесят два километра в секунду?

— Да, господин председатель. В одиннадцать кончилась моя вахта, но, поскольку из-за постоянных возмущений при маневрировании приходилось непрерывно вводить курсовые поправки, я только поменялся местом с первым пилотом. С этого момента он вел корабль, а я выполнял обязанности штурмана.

— Кто вам приказал так поступить?

— Командир, господин судья. Да в таких условиях иначе и нельзя было поступить. Наша задача заключалась в том, чтобы подойти в плоскости кольца как можно ближе, — но, естественно, оставаясь на безопасном расстоянии, — к границе Роша, с практически круговой орбиты запустить поочередно три автоматических зонда и, управляя ими дистанционно, по радио ввести их в пределы зоны Роша. Один зонд нужно было затем ввести

в щель Кассини, то есть в пространство, отделяющее внутреннее кольцо Сатурна от наружного, а два остальных предназначались для контроля его движения. Может, объяснить это подробнее?

— Да, пожалуйста.

— Слушаюсь, господин председатель. Кольца Сатурна образованы множеством мелких глыб и обломков и разделены щелью шириной около четырех тысяч километров. Искусственный спутник должен был, облетая планету внутри щели, передавать информацию о возмущениях гравитационного поля, а также о внутренних взаимных перемещениях тел, из которых состоят кольца. Однако вследствие пертурбаций спутник очень скоро был бы выброшен из этого пустого пространства либо в пределы внутреннего кольца, либо в пределы наружного и там, естественно, просто раздавлен. Чтобы этого не случилось, следовало запустить специальные спутники, имеющие ионные двигатели с относительно малой тягой, порядка одной четвертой — одной пятой тонны. На этих двух спутников-«сторожей» возлагалась задача с помощью радиолокаторов следить за тем, чтобы зонд, находящийся внутри щели, не покидал ее. Их бортовые вычислительные машины должны были рассчитывать соответствующие поправки для этого зонда и в нужный момент запустить его двигатели. Ожидалось, что в результате он сможет работать до тех пор, пока не израсходует топливо, то есть около двух месяцев.

— Для чего понадобилось запускать два контрольных спутника? Вы не считаете, свидетель, что хватило бы одного?

— Конечно, хватило бы, господин судья. Другой «сторож» был просто резервным, на случай, если первый окажется или будет уничтожен каким-нибудь метеоритом. С Земли, при астрономических наблюдениях, пространство вокруг Сатурна кажется, если исключить кольца и луны, пустым, но в действительности оно изрядно замусорено. Избежать столкновений с мелкими частицами в таких условиях, разумеется, невозможно. Именно поэтому нам приходилось держать круговую орбитальную скорость, — ведь практически все обломки крутятся в экваториальной плоскости Сатурна с его первой космической скоростью. Это уменьшало шансы столкновения до разумного минимума. Кроме того, на корабле имелась противометеоритная защита в виде выстреливающих экранов;

команда подавалась либо с пилотского пульта, либо со-
ответствующим автоматом, сопряженным с корабельным
локатором.

— Скажите, свидетель, вы считали задание трудным
или опасным?

— Оно не было ни особенно опасным, ни слишком
трудным, господин судья, при условии четкого выполне-
ния всех маневров и отсутствии препятствий. Окружаю-
щее Сатурн пространство считается у нас свалкой похуже,
чем район Юпитера, но зато ускорения, необходимые для
маневров, гораздо меньше, чем вблизи Юпитера, и это
дает значительные преимущества.

— Кого вы имеете в виду, свидетель, когда говорите
«у нас»?

— Пилотов, господин судья, ну и штурманов.

— Одним словом — космонавтов?

— Да, господин судья. Незадолго до двенадцати часов
по бортовому времени мы фактически подошли к внеш-
ней границе кольца.

— В его плоскости?

— Да. На расстояние примерно тысячи километров.
Индикаторы уже там показывали значительную запылен-
ность. Мы регистрировали около четырехсот пылевых
микростолкновений в минуту. В соответствии с програм-
мой мы вошли в зону Роша над кольцом и, находясь на
круговой орбите, которая была практически параллельна
щели Кассини, приступили к выполнению задания. Пер-
вый зонд мы запустили в пятнадцать часов по бортовому
времени и с помощью радиолокатора ввели его в щель.
Это, собственно, и было моей задачей. Пилот помогал
мне, поддерживая минимальную тягу. Благодаря этому
мы вращались практически с той же скоростью, что и
кольца. Кэлдер маневрировал очень искусно. Он держал
как раз такую тягу, которая позволяла правильно ориен-
тировать «Голиаф», — носом вперед, без тяги корабль
сразу бы начал кувыряться.

— Кто находился в рубке кроме вас и первого пи-
лота?

— Все. Вся команда, господин судья. Командир сидел
между мной и Кэлдером, ближе к нему, — так он по-
ставил свое кресло. Позади меня устроились инженер
и электроник. Доктор Барнс сидел, кажется, за коман-
диром.

— Вы в этом не уверены, свидетель?

--- Я не обратил на это внимания. Я всё время был занят, и потом трудно увидеть, сидя в кресле, что делается сзади. Спинка слишком высока.

— Зонд был введен в щель визуально?

— Не только визуально, господин судья. Я всё время поддерживал с ним телевизионную связь и, кроме того, пользовался радиодальномером. Вычислив параметры орбиты зонда, я убедился, что он сел удачно — примерно посередине пустого пространства между кольцами, — и сказал Кэлдеру, что готов.

— Что вы готовы?

— Да, к выведению следующего зонда. Кэлдер включил лапу, крышка откинулась, но зонд застрял.

— Что вы называете лапой?

— Поршень, который приводится в движение гидравликой и выталкивает зонд из наружной пусковой шахты после открытия люка. На корме имелись три такие установки, и нужно было трижды повторить один и тот же маневр.

— Значит, второй спутник не покинул корабль?

— Нет, он застрял в пусковой шахте.

— Объясните подробно, как это случилось.

— Очередность операций такова: сначала открывается наружная крышка, потом включается гидравлика, а когда приборы сообщают, что спутник пошел, включается пусковой автомат. Автомат дает зажигание с задержкой сто секунд, — это достаточное время, чтобы его выключить в случае аварии. Автомат запускает малый стартовый двигатель на твердом топливе, и спутник отходит от корабля собственной тягой, пятнадцатисекундной тягой порядка тонны. Всё дело в том, чтобы он отошел от корабля как можно быстрее. Когда стартовый двигатель выгорает, автоматически включается ионный двигатель, находящийся под дистанционным контролем штурмана. В данном случае Кэлдер уже включил пусковой автомат, так как спутник начал выходить, а когда он внезапно застопорился, первый пилот попытался выключить автомат, но это ему не удалось.

— Свидетель, вы уверены, что первый пилот пытался выключить пусковой автомат зонда?

— Да, он возился с рукояткой, которая стояла в заднем положении, но — не знаю почему — заряд всё-таки воспламенился. Кэлдер крикнул: «Блок!» — это я слышал.

— Крикнул «блок!»?

— Да, что-то там заблокировалось. Оставалось еще около полминуты до запуска стартового двигателя, и Кэлдер старался вытолкнуть зонд, увеличивая давление, манометры показывали максимум, но зонд сидел как запрессованный. Тогда Кэлдер отвел поршень и снова включил его, мы все почувствовали, как он ударил в зонд — словно молотом.

— Он пытался таким способом вытолкнуть зонд?

— Да, господин судья. Конечно, зонд при этом мог пострадать, так как Кэлдер не увеличивал нажим постепенно, а дал в систему сразу полное давление. Впрочем, он действовал совершенно правильно, если принять во внимание, что у нас был запасной зонд, но не было запасного корабля.

— Очевидно, это была острота? Попрошу вас, свидетель, воздержаться от подобных вольностей.

— В общем, поршень ударил в зонд, но зонд остался на месте, а время шло, и я крикнул: «Ремни!» — и затянулся вглухую. Кроме меня то же самое крикнули еще минимум двое, одним из них был командир, — я узнал его по голосу.

— Свидетель, объясните трибуналу, почему вы поступили таким образом.

— Мы двигались по круговой орбите над кольцом А, то есть шли практически без тяги. Я знал, что, когда стартовый двигатель включится, — а это было неизбежно, потому что стартер уже сработал, — мы получим боковой толчок. Заклинился зонд штирборта, обращенного к Сатурну. Он должен был действовать как дополнительный двигатель. Я ожидал, что «Голиаф» начнет кувыркаться и появится центробежная сила, которую пилот будет вынужден гасить направленной противоположно собственной тягой корабля. В такой ситуации невозможно заранее предвидеть всех возможных эволюций. Во всяком случае, следовало хорошенько пристегнуться.

— Значит, вы, свидетель, находясь на вахте, выполняя функции штурмана, сидели с расстегнутыми ремнями?

— Нет, господин судья, они не были расстегнуты, просто немного ослаблены. Их натяжение можно в определенных границах регулировать. Когда пряжка затянута до конца, — мы называем это вглухую, — уменьшается свобода движения.

— А вам известно, свидетель, о том, что по инструк-

ции не предусмотрены ни ослабление, ни какая-либо регулировка ремней?

— Так точно, я знал, что в инструкции говорится по-другому, но так всегда делается.

— Что вы имеете в виду, свидетель?

— В практике на всех кораблях, на которых я летал, ремни немного ослабляются, — это облегчает работу.

— Широкая распространенность нарушения не может его оправдать. Продолжайте.

— Как я и ожидал, стартовый двигатель зонда включился. Корабль начал вращаться вокруг поперечной оси, одновременно нас сносило с прежней орбиты, хотя и очень медленно. Пилот скомпенсировал это двойное движение собственной боковой тягой, но не целиком, то есть не с нулевым результатом.

— Почему?

— Я не был сам у рулей, но полагаю, что это было невозможно. Зонд заклинило в пусковой шахте с откинутой крышкой, в люк шахты вырывалась часть газов его двигателя, причем в потоке газов наверняка возникали завихрения, и из-за этого он был неравномерным. В результате боковые толчки то ослабевали, то усиливались, вследствие чего коррекция собственной тягой раскачивала корабль словно маятник, а когда стартовый двигатель выгорел, нас закрутило еще сильнее, но в обратную сторону. Это движение пилот погасил только через некоторое время, когда сообразил, что хотя стартовый двигатель и сдох, но зато заработал ионный.

— «Стартовый двигатель сдох»?

— Я хотел сказать, что пилот не был вполне уверен, включится ли ионный двигатель зонда, в конце концов он очень сильно ударил его поршнем и мог повредить; да, наверно, он этого и хотел. Я бы тоже так поступил. Но когда стартовый двигатель отключился, оказалось, что ионный привод сработал, и снова на нас действовала боковая сила порядка четверти тонны. Это немного, но всё же достаточно, чтобы закувыркаться на такой орбите. Ведь мы шли с круговой орбитальной скоростью, а при этом минимальные изменения ускорения оказывают огромное влияние на траекторию полета и на устойчивость корабля.

— Как вели себя в это время члены экипажа?

— Совершенно спокойно, господин судья. Конечно, все должны были отдавать себе отчет об опасности в тот

момент, когда включился стартовый двигатель, как-никак это пороховой заряд весом в сто килограммов, который мог в полузамкнутом пространстве, каким являлась пусковая шахта с застрявшим зондом, просто взорваться, как бомба. Нам бы вспоролو штирборт, словно консервную банку. К счастью, взрыва не произошло. Ионный двигатель уже не представлял такой опасности. Правда, возникла дополнительная сложность — автомат включил пожарную тревогу и пусковую шахту номер два начало затоплять пеной. Из этого не могло получиться ничего хорошего; ионный двигатель пеной не погасишь, ее только выбрасывало в открытый люк, причем какая-то часть пены, вероятно, всасывалась в сопло зонда и гасила тягу. Пока пилот не выключил систему огнетушителей, нас болтало из стороны в сторону, не слишком сильно, но, во всяком случае, стабилизация полета затруднялась.

— Кто включил систему огнетушителей?

— Автомат, господин судья, как только датчики показали рост температуры в обшивке штирборта выше семисот градусов, — это стартовый двигатель нас так подогрел.

— Какие распоряжения или приказы отдавал до этого момента командир?

— Он не отдавал никаких распоряжений или приказов. Казалось, он хочет посмотреть, что сделает пилот. В принципе у нас имелись две возможности: либо попросту уйти от планеты, увеличивая тягу, и начать возвращение на гиперболу, отказавшись от выполнения задания, либо попробовать вывести на контрольную орбиту последний, третий зонд. Уход означал срыв программы, так как зонд, который уже вращался в щели, дрейфуя, наверняка разбился бы самое большее через несколько часов. Наружная коррекция его траектории зондом-«сто-рожем», была обязательна.

— Эту альтернативу, естественно, должен был разрешить командир корабля?

— Господин председатель, мне отвечать на этот вопрос?

— Свидетель, отвечайте на вопрос обвинения.

— Так вот, командир, конечно, мог отдавать приказы, но не обязан был этого делать. В принципе пилот при определенных обстоятельствах уполномочен выполнять функции, равнозначные функциям командира корабля, — как о том говорит шестнадцатый параграф корабельного

устава, — поскольку часто бывает так, что нет времени на переговоры между командиром и вахтенными, находящимися у рулей.

— Но при возникших обстоятельствах командир мог отдавать приказы: ведь корабль не находился под действием ускорения, при котором невозможно отдавать приказы голосом, не было и непосредственной опасности катастрофы.

— В пятнадцать с минутами по бортовому времени пилот дал умеренную компенсирующую тягу...

— Почему вы игнорировали то, что я сказал, свидетель? Прошу трибунал сделать свидетелю замечание и предложить ему, чтобы он мне ответил.

— Прошу прощения, я должен был отвечать на вопросы, но обвинитель не задал мне никакого вопроса. Обвинитель лишь прокомментировал возникшую на корабле ситуацию. Должен ли я в свою очередь прокомментировать этот комментарий?

— Прошу обвинение сформулировать вопрос, адресованный свидетелю, а свидетель, давая показания, должен проявить максимум доброй воли.

— Не считаете ли вы, свидетель, что при возникшей ситуации командир обязан был принять конкретное решение и сообщить его пилоту в форме приказа?

— Устав, господин прокурор, не предусматривает...

— Свидетель, вы должны обращаться только к трибуналу.

— Слушаюсь. Устав не предусматривает подробно всех обстоятельств, которые могут возникнуть на борту. Это просто невозможно. Если бы это было возможно, хватило бы того, чтобы каждый член экипажа выучил его наизусть, и тогда вообще не потребовалось бы командовать.

— Господин председатель, обвинение протестует против подобного рода иронических замечаний свидетеля.

— Свидетель, отвечайте на вопрос обвинения коротко и прямо.

— Слушаюсь. Так вот, я не считаю, что командир должен был в этой ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал в рубке; видел и понимал, что происходит; если он молчал, это значило, что в соответствии с двадцать вторым параграфом корабельного устава он разрешает пилоту действовать по собственному усмотрению.

— Господин председатель, свидетель неверно трактует смысл двадцать второго параграфа корабельного устава космофлота, в данном случае применим параграф двадцать шестой, в котором говорится об опасных ситуациях.

— Господин председатель, ситуация, которая возникла на «Голиафе», не представляла опасности ни для корабля, ни для здоровья и жизни людей.

— Господин председатель, свидетель явно демонстрирует отсутствие доброй воли, — вместо того чтобы стремиться к установлению объективной истины, он пытается своими показаниями *per fas et nefas*¹ оправдать поступки обвиняемого Пиркса, который был командиром корабля! Положение, в котором оказался корабль, несомненно, относилось к таким, которые подпадают под действие параграфа двадцать шестого.

— Господин председатель, обвинитель не может одновременно выполнять функции эксперта!

— Лишаю вас слова, свидетель. Трибунал откладывает решение вопроса о применимости двадцать второго или двадцать шестого параграфа корабельного устава до особого рассмотрения. А теперь, свидетель, сообщите, что произошло на корабле дальше.

— Кэлдер, правда, не обращался к командиру ни с какими вопросами, но я видел, что он несколько раз посмотрел в его сторону. Тем временем тяга заклиненного зонда выровнялась и стабилизация корабля не представляла трудностей. Кэлдер начал отходить от кольца, но не требовал от меня расчета обратного курса, и я догадался, что он всё-таки попытается выполнить наше задание. Примерно в шестнадцать часов, когда мы вышли из зоны Роша, Кэлдер просигналил пик и сразу же попытался вытряхнуть зонд.

— То есть?

— Ну он включил сигнал пика перегрузки и сразу же дал сначала полный назад, а потом полный вперед; зонд весит три тонны, а при полном ускорении почти в двадцать раз больше. Он должен был пулей вылететь из пусковой шахты. Нас окружало около тысячи миль свободного пространства, и Кэлдер дернул таким образом корабль два раза подряд, но без результата. Он добился только того, что боковое отклонение увеличилось. Воз-

¹ Правдами и неправдами (лат.).

можно, под действием резких ускорений зонд, который еще сильнее заклинился в пусковой шахте, сменил положение, и теперь весь поток газов бил в откинутую наружную крышку, отражался от нее и уходил в пространство. Рыбки были и неприятны для нас, и немного рискованны, поскольку уже было ясно, что если зонд вообще выскочит, то, очевидно, захватит с собой кусок наружной обшивки. Всё плох к тому, что нам придется либо послать людей в скафандрах с инструментами наружу, либо возвращаться, таща за собой этот черт... прошу прощения, застрявший зонд.

— А не пробовал Кэлдер выключить двигатель зонда?

— Он не мог этого сделать, господин судья: кабель, соединявший зонд с кораблем, был уже разорван, — значит, оставалось только управление по радио, но зонд застрял в самом люке пусковой шахты и экранировался ее металлическим кожухом. Мы летели, удаляясь от планеты, примерно с минуту, и я уже был убежден, что Кэлдер всё-таки решил возвращаться. Он выполнил несколько маневров, производя так называемый захват звезды, — при этом корабль нацеливают носом на выбранную звезду и дают переменную тягу. Если управляемость в норме, звезда должна оставаться на экранах совершенно неподвижной. Конечно, так не получилось, мы имели измененную полетную характеристику, и Кэлдер старался установить ее параметры. После нескольких попыток ему всё же удалось подобрать тягу, компенсирующую боковое отклонение, и тогда он повернул.

— Свидетель, в этот момент вы понимали, каковы действительные намерения Кэлдера?

— Да, то есть я предполагал, что он попробует всё же запустить оставшийся на борту третий зонд. Мы вышли обратно к плоскости эклиптики со стороны Солнца, причем Кэлдер работал просто великолепно; если бы я этого не знал, мне никогда бы и в голову не пришло, что он с такой легкостью управляет кораблем, который имеет как бы дополнительный боковой двигатель, не предусмотренный конструкцией. Кэлдер приказал мне рассчитать курсовые поправки и всю траекторию, а также командные импульсы для нашего третьего зонда. Тут уж у меня не могло оставаться никаких сомнений.

— Вы выполнили это распоряжение?

— Нет, господин судья. Вернее, я сказал ему, что не могу рассчитывать курс в соответствии с программой,

поскольку мы вынуждены поступать иначе, — ведь мы уже не могли точно придерживаться программы. Я попросил у него дополнительные данные, так как не знал, с какой высоты он хочет запустить последний зонд, но он ничего мне не ответил. Может, он обратился ко мне только для того, чтобы уведомить командира о своем намерении.

— Вы так считаете? Ведь он мог обратиться к командиру непосредственно.

— Может быть, он не хотел этого сделать. Может, для него было важно, чтобы никто не подумал, будто он сам не знает, как нужно действовать, и нуждается в помощи. А возможно, он хотел показать, какой он превосходный пилот, если берется за выполнение задачи, хотя штурман, то есть я, не в состоянии ему помочь. Командир, однако, не реагировал, а Кэлдер уже шел на сближение с кольцами. Тогда мне это перестало нравиться.

— Прошу вас, свидетель, выражаться точнее.

— Слушаюсь, господин судья. Я подумал, что всё это слишком рискованно.

— Прошу трибунал отметить, что свидетель невольно подтвердил сейчас то, чего не хотел признать раньше: командир обязан был активно вмешаться в возникшую ситуацию, и командир сознательно, намеренно от этого отказался, подвергая тем самым корабль вместе с экипажем риску, последствия которого невозможно было предвидеть.

— Господин председатель, утверждение обвинителя неверно.

— Вы не должны полемизировать с обвинением, а только давать показания, относящиеся исключительно к ходу событий. Почему в тот момент, когда Кэлдер начал снова приближаться к кольцам, — только тогда — вы сочли ситуацию рискованной?

— Возможно, я неудачно выразился. Дело обстояло так: пилот обязан в подобных случаях обратиться к командиру. Я бы на его месте наверняка это сделал. Первоначальной программы мы уже не могли выполнить со всей точностью. Я думал, что Кэлдер, поскольку командир позволяет ему проявить инициативу, попытается вывести зонд на орбиту со значительного расстояния, то есть не подходя к кольцу слишком близко. Правда, это уменьшало шансы на успех, но было возможно и в то же время безопасно. И действительно, идя на малой скорости, Кэлдер приказал мне снова рассчитать курс для спутника,

наводимого с расстояния порядка тысячи — тысячи двухсот километров. Я хотел ему помочь и начал рассчитывать траекторию, причем величина ошибки оказалась примерно равной ширине щели Кассини. То есть было около пятидесяти шансов из ста, что зонд, вместо того чтобы выйти на нужную контрольную орбиту, уйдет либо к планете, либо наружу и разобьется о кольцо. Я сообщил Кэлдеру этот результат, — а что мне оставалось делать?

— А командир познакомился с результатом ваших расчетов?

— Он должен был его видеть, все цифры появлялись на указателе, находящемся посредине, над нашими пультами. Мы шли малым ходом, и, как мне показалось, Кэлдер не мог принять решения. Он действительно оказался в тупике. Если бы он теперь отступил, это означало бы, что он ошибся в расчетах, что его подвела интуиция. Пока он не повернул к планете, он мог бы еще утверждать, что счел риск слишком большим и неоправданным. Но он уже показал, как отлично владеет кораблем, несмотря на изменившуюся тяговую характеристику, и, хотя он этого не говорил, вся последовательность маневров ясно показывала его намерения: он решил продолжать попытки запустить зонд. Мы шли на сближение. Я думал: Кэлдер просто хочет несколько повысить шансы — ведь они увеличивались с уменьшением расстояния, — но если бы он стремился к этому, ему уже пора было начать торможение, а он увеличил тягу. Только тогда я сообразил, что он собирается поступить совершенно иначе, раньше мне это даже в голову не приходило. Впрочем, все это поняли. Моментально.

— Свидетель, вы утверждаете, что все члены экипажа отдавали себе отчет в серьезности положения?

— Да, господин председатель. Кто-то из сидевших позади меня со стороны бакборта, когда скорость увеличилась, сказал: «Жизнь была прекрасна».

— Кто это сказал?

— Не знаю. Может, инженер, а может, электроник. Я не обратил внимания. Всё происходило в доли секунды. Кэлдер включил сигнал пика и, дав большую тягу, пошел курсом, пересекающим кольцо. Было ясно, что он хочет проскочить через самую середину щели Кассини и по дороге «потерять» третий зонд способом «вспугнутой птички».

— Что это за способ?

— Так его иногда называют, господин судья: корабль «теряет» зонд так же, как птица «теряет» на лету яйцо... Но командир запретил ему это.

— Командир ему запретил? Он отдал такой приказ?

— Так точно, господин судья.

— Обвинение протестует. Свидетель извращает факты. Командир такого приказа не отдавал.

— Верно, командир пытался отдать этот приказ, но не успел сказать фразу целиком. Кэлдер, правда, дал предупреждение о пике ускорения, но всего за какую-то долю секунды до самого маневра. Когда вспыхнул красный сигнал, командир крикнул, а Кэлдер одновременно включил полную мощность. Под таким прессом, больше четырнадцати *g*, невозможно издать ни звука. Кэлдер словно хотел зажать ему рот. Я не утверждаю, будто он действительно стремился к этому, но впечатление было такое. Нас сразу же так придавило, что я совершенно ослеп, потому и командир едва успел крикнуть...

— Господин председатель, обвинение протестует против формулировок, использованных свидетелем. Вопреки собственной оговорке, свидетель старается нам внушить, якобы пилот Кэлдер предумышленно и со злым умыслом стремился лишить командира возможности отдать приказ.

— Ничего подобного я не говорил.

— Лишаю свидетеля слова. Трибунал принимает протест обвинения. Прошу вычеркнуть из протокола слова свидетеля, начиная от фразы: «Кэлдер словно хотел зажать ему рот». Прошу свидетеля воздержаться от комментариев и точно повторить то, что в действительности сказал командир.

— Ну, как я уже говорил, командир, правда, не успел сформулировать приказа полностью, но смысл его был абсолютно ясен. Он запретил Кэлдеру входить в щель Кассини.

— Обвинение протестует. Для выяснения истины существенно не то, что обвиняемый Пиркс хотел сказать, а лишь то, что он действительно сказал.

— Трибунал принимает протест. Прошу вас, свидетель, ограничиться тем, что было сказано в рубке.

— Было сказано достаточно, чтобы любой человек, который по профессии является космонавтом, понял, что командир запрещает пилоту входить в щель Кассини.

— Прошу вас, свидетель, процитировать эти слова, а трибунал сам примет решение по вопросу об их истинном значении.

— Я не помню этих слов, господин председатель, только их смысл. Командир начал кричать что-то вроде: «Не проходи сквозь кольцо!» — а может: «Не насквозь!» — и больше говорить не мог.

— Однако перед этим вы сказали, что командир не успел полностью сформулировать приказ, а в процитированном вами сейчас: «Не проходи сквозь кольцо» — сказано всё полностью.

— Если бы в этом доме вспыхнул пожар и если бы я крикнул: «Горит!» — я не сказал бы всего полностью, я не сообщил бы, что горит и где горит, но это было бы понятным предупреждением.

— Обвинение протестует. Прошу трибунал призвать свидетеля к порядку.

— Свидетель, трибунал делает вам замечание. Вы здесь не затем, чтобы поучать трибунал с помощью сентенций. Прошу вас ограничиться точной информацией о том, что произошло на борту.

— Слушаюсь. На борту произошло то, что командир возгласом запретил пилоту вводить корабль в щель...

— Протестую! Показания свидетеля тенденциозны и фальсифицируют факты.

— Трибунал стремится быть снисходительным. Прошу вас, свидетель, понять, что задачей судебного разбирательства является установление истинных фактов. Вы можете процитировать обрывок фразы, сказанной командиром?

— На нас уже действовало большое ускорение. У меня началось черное выпадение зрения, я ничего не видел, но слышал выкрик командира. Слова были неразборчивы, но всё-таки я понял, в чем дело. Тем более не мог не слышать этого предупреждения пилот, находившийся к командиру ближе, чем я.

— Защита просит еще раз прослушать пленки, на которых зарегистрировано всё, что происходило в рубке, тот их фрагмент, где записан выкрик командира.

— Трибунал отклоняет просьбу защиты. Пленки уже были прослушаны, и установлено, что степень искажения голоса позволяет лишь идентифицировать человека, который кричал, но не дает возможности установить содержание выкрика. Трибунал примет по этому спорному

вопросу особое решение. Прошу свидетеля рассказать, что произошло после выкрика командира.

— Когда я снова стал видеть, мы шли на кольцо. Акселерометр показывал два g . Скорость была гиперболической. Командир крикнул: «Кэлдер! Ты не выполнил приказа! Я запретил тебе входить в щель!» — а Кэлдер сразу же ответил: «Я не слышал этого, командор!»

— Но в этот момент командир не приказал ему тормозить или повернуть?

— Это было уже невозможно, господин председатель. Мы шли с гиперболической скоростью порядка восьмидесяти километров в секунду. Нечего было и мечтать о том, чтобы погасить ее, не переходя гравитационного барьера.

— Что такое гравитационный барьер, свидетель?

— Постоянное положительное или отрицательное ускорение, выше двадцати — двадцати двух гравитационных единиц. С каждой секундой полета для торможения требовалась большая обратная тяга. Сначала, по-видимому, около пятидесяти g , а потом, может, и сто. При таком торможении мы все должны были погибнуть. Вернее, должны были погибнуть все люди, находившиеся на корабле.

— Технически корабль мог развивать ускорения такого порядка?

— Да, господин судья. Мог, если сорвать предохранители, — но только тогда. Реактор «Голиафа» имеет предельную потенциальную тягу порядка десяти тысяч тонн.

— Продолжайте, свидетель.

— «Хочешь погубить корабль?» — сказал командир совершенно спокойно. «Проскочим Кассини, и на другой стороне я заторможу», — ответил Кэлдер с таким же спокойствием. Этот разговор еще не кончился, как вдруг нас завертело. Вероятно, в момент, когда Кэлдер стал выходить на щель, под действием резко возросшего ускорения зонд изменил свое положение внутри пусковой шахты, и, хотя боковое отклонение уменьшилось, поток газов был теперь по касательной к корпусу, так что корабль крутился, словно волчок, вокруг продольной оси. Вращение, сначала довольно медленное, с каждой секундой убыстрялось. Мы неслись к катастрофе. Кэлдер, сам того не желая, вызвал ее тем, что очень резко увеличил ускорение.

— Объясните трибуналу, зачем, по вашему мнению, Кэлдер увеличил ускорение.

— Обвинение заявляет протест. Свидетель необъективен и, без сомнения, ответит, что, как он уже утверждал, Кэлдер стремился заставить командира замолчать.

— Я совсем не то хочу сказать. Кэлдеру не следовало резко увеличивать ускорение, он мог сделать это постепенно, но если он намеревался войти в Кассини, большая тяга была необходимой. Мы находились в пространстве, где маневрировать чрезвычайно трудно, поскольку здесь непрерывно приходится решать математически неразрешимые задачи о движении многих тел. Воздействие самого Сатурна, массы его колец, ближайших спутников — всё это вместе создает поле тяготения, в котором совокупность возмущений не удастся учесть одновременно. Кроме того, зонд вызывал боковое отклонение. В конечном счете мы двигались по траектории, которая была результирующей многих сил — как собственной тяги корабля, так и притяжения разбросанных в пространстве масс. Следовательно, с увеличением нашей тяги влияние возмущающих факторов уменьшалось, ведь их значения были постоянны, а значение нашего импульса росло. Повышая скорость, Кэлдер делал нашу траекторию менее чувствительной к внешним возмущающим воздействиям. Я убежден, что ему бы удалось проскочить, если бы не это внезапно начавшееся вращение.

— Вы считаете, свидетель, что пройти сквозь щель на вполне исправном корабле было возможно?

— Конечно, господин судья. Этот маневр возможен, хотя и запрещен всеми руководствами по космогании. Практически ширина щели три с половиной тысячи километров, причем на краях ее множество крупной ледяной и метеоритной пыли. Разглядеть пыль невозможно, но она наверняка сожгла бы корабль,двигающийся с гиперболической скоростью. Более или менее чистое пространство, сквозь которое можно пройти, составляет каких-нибудь пятьсот-шестьсот километров в ширину. При малых скоростях войти в такой тоннель нетрудно, но при больших появляется гравитационный дрейф; поэтому Кэлдер сначала хорошенько нацелился носом в щель, а потом дал большую тягу. Если бы зонд не повернулся, всё бы прошло нормально. Так я, во всяком случае, думаю. Естественно, был определенный риск. Мы имели примерно один шанс из тридцати, что врежемся в какой-нибудь одиночный обломок. Но тут началось продольное вращение. Кэлдер пытался его погасить, однако ему

это не удалось. Боролся он здорово. Это я должен признать.

— Кэлдер не мог остановить вращение корабля? А вы не знаете почему, свидетель?

— Еще раньше, наблюдая за ним во время вахт, я понял, что он феноменальный математик. Он очень доверял своему искусству проделывать молниеносные вычисления самостоятельно, без помощи счетных машин. При гиперболической скорости в сложившейся ситуации нам предстояло проскочить как бы сквозь игольное ушко. Указатели тяги были бесполезны: они давали только тягу двигателя «Голиафа», но не могли дать величины тяги зонда. Кэлдер смотрел исключительно на гравиметры и вел корабль только по их показаниям. Это была настоящая математическая гонка между ним и условиями, которые менялись с увеличивающейся быстротой. О том, на что Кэлдер был способен, свидетельствует такой факт. Я едва успевал лишь прочитывать показания приборов, а ему за то же самое время приходилось проделывать в уме вычисления, составляя дифференциальные уравнения четвертой степени. Должен подчеркнуть: хоть я и считал поведение Кэлдера до этого момента возмутительным, так как был уверен, что он услышал приказ командира и умышленно его не выполнил, тем не менее я восхищался им.

— Вы не ответили на вопрос трибунала, свидетель.

— Я как раз подхожу к ответу, господин судья. Решения, хотя Кэлдер и отыскивал их в доли секунды, безусловно были только приближенными. Они не были идеально точными, да и не могли быть, даже если бы он преобразился в самую быстродействующую счетную машину на свете. Величина ошибки, которой он учесть не мог, росла — и мы продолжали крутиться. Какое-то время мне казалось, что, возможно, Кэлдер всё-таки справится, но он раньше меня понял, что проиграл, и выключил тягу. Наступила невесомость.

— Почему он выключил тягу?

— Он хотел пройти сквозь щель почти по прямой, но не мог погасить продольного вращения корабля. «Голиаф» вертелся, как волчок, и потому вел себя, как волчок: он сопротивлялся силе тяги, которая стремилась ориентировать его. Появилась прецессия — чем выше становилась наша скорость, тем сильнее раскачивалась корма. В результате мы вошли в очень растянутый штопор,

корабль болтало с боку на бок, и каждый из этих витков имел, может, сотню километров в диаметре. При такой траектории было легче легкого угодить в край кольца вместо середины щели. Кэлдер уже ничего не мог поделаться. Он сидел в воронке.

— Что это значит?

— Так мы обычно называем необратимые ситуации, в которые легко попасть, но из которых нет выхода. Наш дальнейший полет не поддавался никаким расчетам. Когда Кэлдер выключил двигатели, я думал, что он просто отдается на волю случая. Цифры бешено мелькали на шкалах указателей, но расчеты были уже ни к чему. Кольца ослепляли, так что трудно стало смотреть, — ведь они состоят из глыб льда. Они крутились перед нами словно карусель, вместе со щелью, которая выглядела как черная трещина. В такие моменты время тянется невероятно. Всякий раз, когда я бросал взгляд на стрелки секундомеров, мне казалось, что они стоят на месте. Кэлдер лихорадочно начал расстегивать ремни. Я стал делать то же самое, так как догадался, что он хочет сорвать главный предохранитель перегрузки, который находится на пульте, а с кресла не может до него дотянуться. Располагая полной мощностью, он еще успел бы затормозить и уйти в пространство, развив эти самые сто *g*. Мы бы лопнули, как воздушные шарик, но он спас бы корабль и себя. Собственно, мне уже раньше следовало догадаться, что он не может быть человеком; ни один человек не был в состоянии проделывать вычисления так, как он... но только в тот момент я это осознал. Я хотел задержать Кэлдера прежде, чем он окажется у пульта, но он был быстрее. Он и должен был быть быстрее. «Не расстегивайся!» — крикнул мне командир. А Кэлдеру: «Не трогай предохранитель!» Кэлдер не обратил на это внимания, он уже встал. «Полный вперед!» — крикнул командир, и я послушался его. У меня ведь был второй руль. Я не ударил всей мощностью сразу. Дал пять *g*, так как не хотел убивать Кэлдера, — я хотел только отбросить его этим ударом от предохранителей, но он удержался на ногах. Это было ужасное зрелище, ни один человек не устоит при пяти. Кэлдер устоял, только схватился за пульт, ему содрало кожу с обеих ладоней, но он не разжимал рук, под кожей была сталь. Тогда я дал сразу максимум. Четырнадцать *g* оторвали его, он полетел к задней стенке рубки с таким ужасным грохотом, словно

весь был одной глыбой металла, пронесся между креслами и ударился о переборку, так что она ходуном заходила, а он завопил совершенно ни на что не похожим голосом, и я слышал, как он там, сзади, катался, — крушил переборки, как разрушал всё, за что схватится, но я уже не обращал на это внимания: перед нами открывалась щель; мы неслись в нее как сумасшедшие, корму болтало, я сбросил тягу до четырех g , тут всё решал случай. Командир крикнул, чтобы я стрелял, и я начал выстреливать один за другим противометеоритные экраны, чтобы смести перед носом корабля мелкую пыль, если она появится на курсе; хоть это и немного стоило, лучше такая защита, чем никакой. Щель казалась огромной черной пастью, я видел далеко впереди огонь, защитные экраны распахивались и тотчас же сгорали, сталкиваясь с крупными ледяной пыли, огромные, необыкновенно прекрасные серебряные облака возникали и распадались в мгновение ока, корабль слегка тряхнуло, показания всех индикаторов правого борта разом подскочили, — это был термический удар, мы зацепились за что-то — уж не знаю, за что, — и «Голиаф» оказался на другой стороне...

* * *

— Командор Пиркс?

— Да, это я. Вы хотели меня видеть?

— Совершенно верно. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь...

Мужчина за столом нажал кнопку на черной коробочке и сказал:

— Буду занят двадцать минут. Меня ни для кого нет.

Он выключил аппарат и внимательно посмотрел на сидевшего перед ним Пиркса.

— Командор, у меня есть для вас одно — оригинальное — предложение. Один, — он поискал нужное слово, — эксперимент. Но предварительно я должен попросить, чтобы то, что я скажу, вы сохранили в тайне. Также и в том случае, если отклоните мое предложение. Согласны?

Несколько секунд оба молчали.

— Нет, — сказал Пиркс. И добавил: — Разве что вы расскажете немного побольше.

— Вы не из тех, кто подписывает что-либо под чистый лист? Собственно, я мог бы этого ожидать, после того, что о вас слышал. Сигарету?

— Спасибо, нет.

— Речь идет об экспериментальном рейсе.

— Новый тип корабля?

— Нет. Новый тип команды.

— Команды? А моя роль?

— Всесторонняя оценка ее пригодности. Это всё, что я могу сказать. Теперь очередь за вами, решайте.

— Буду молчать, если сочту это возможным.

— Возможным?

— Желательным.

— Исходя из каких критериев?

— Так называемой совести.

Снова несколько секунд молчания. В большой комнате с одной целиком стеклянной стеной было очень тихо, как будто она и не находилась среди двух тысяч других, образующих огромный небоскреб с тремя посадочными площадками для вертолетов на крыше. Пиркс с трудом различал силуэт своего собеседника, тот сидел на фоне сильно светящегося тумана, вернее, тучи, в которой тонули шестнадцать верхних этажей здания. Время от времени молочные клубы за прозрачной стеной уплотнялись, и тогда казалось, что вся комната куда-то плывет, подхваченная неощутимой силой.

— Хорошо. Как видите, я соглашаюсь на всё. Речь идет о рейсе Земля — Земля.

— Петля?

— Да. С облетом Сатурна и выводом там на стационарную орбиту новых автоматических спутников.

— Так ведь это проект «Иовиана»?

— Совершенно верно, часть этого проекта, если говорить о спутниках. Корабль также принадлежит КОМСЕКу, — следовательно, мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО. Как вы знаете, я представляю именно эту организацию. Мы имеем собственных пилотов и штурманов, но выбрали вас, поскольку имеется некоторый дополнительный фактор. Та самая команда, о которой я уже упоминал.

Директор ЮНЕСКО снова замолчал. Пиркс ждал, невольно напрягая слух, и в самом деле было так тихо, словно не издавался даже самый слабый звук, — а вокруг раскинулся многомиллионный город.

— Как вам, вероятно, известно, уже в течение нескольких лет существует возможность производства устройств, всё более всесторонне заменяющих человека. Такие, которые равноценны ему во многих областях сразу, до сих пор были стационарными из-за своего веса и размеров. Однако почти одновременно в Соединенных Штатах и в СССР развитие физики твердого тела сделало возможным новый этап микроминиатюризации — на молекулярном уровне. Изготовлены экспериментальные прототипы кристаллических систем, эквивалентных мозгу. Они всё еще в полтора раза больше нашего мозга, но это не имеет значения. Ряд американских фирм уже запатентовал такие системы и в настоящее время стремится приступить к производству человекоподобных автоматов, так называемых конечных нелинейников, прежде всего для обслуживания космических кораблей.

— Я слышал об этом. Но как будто против этого возражали профсоюзы? И, кажется, это потребовало бы серьезных изменений в существующем законодательстве?

— Вы слышали? В прессе об этом не было ничего, кроме сплетен...

— Да. Но велись какие-то закулисные беседы, переговоры, и сведения об этом просочились в ту среду, в которой я вращаюсь. Это вполне понятно.

— Естественно. Конечно. Ну тем лучше, хотя... И каково ваше мнение?

— По этому вопросу? Скорее, отрицательное. Да, даже весьма отрицательное. Но боюсь, ничье мнение не играет тут важной роли. Последствия открытий неотвратимы — самое большее можно какое-то время тормозить их реализацию.

— Одним словом, вы считаете это неизбежным злом?

— Я бы этого так не сформулировал. Я считаю, что человечество не подготовлено к вторжению искусственных человекоподобных существ. Естественно, самое главное — действительно ли они равноценны человеку. Я лично с такими никогда не встречался. Я не специалист, но те специалисты, которых я знаю, считают, что о полноценности, о подлинной эквивалентности не может быть и речи.

— А вы не предубеждены? Действительно, таково мнение ряда специалистов, вернее, оно было таким. Но видите ли... действия этих фирм обусловлены экономическими факторами. Рентабельностью производства,

— То есть надеждой на барыши.

— Да. Надо сказать, что в данном случае федеральное правительство (я имею в виду Соединенные Штаты), так же как британское и французское правительства, не открыли еще доступа ко всей документации частным фирмам, поскольку эта документация разработана в организациях, финансируемых государством. Однако пробелы в этой документации фирмы могут заполнить и без помощи правительств, собственными силами, ведь они имеют свои исследовательские лаборатории.

— «Кибертроникс»?

— Не только. «Машинтрекс», «Интелтрон» и другие. Так вот, многие представители правительственных кругов этих государств опасаются возможных последствий подобных действий. Частные фирмы мало беспокоит то, что у государства нет средств для массовой переквалификации людей, которые лишатся работы из-за наплыва нелинейников.

— Нелинейники? Странно. Мне не встречался такой термин.

— Это просто жаргонное слово, которым мы пользуемся. Во всяком случае, звучит лучше, чем «гомукулус» или «искусственный человек». Ведь они не являются людьми, ни искусственными, ни натуральными.

— Имеется в виду их неполноценность?

— Знаете, командор, я тоже не специалист в этой области и поэтому при всем желании не могу вам ответить. Мои личные догадки немногого стоят. Речь идет о том, чтобы одним из первых потребителей новой продукции стала КОСНАВ.

— Но ведь это частная англо-американская компания.

— Именно потому. «Космикл навигейшн» много лет борется с финансовыми трудностями, поскольку космический флот социалистических государств, для которого извлечение немедленной прибыли — не самое главное, составляет ей сильную конкуренцию. На космофлот этих стран приходится значительная доля общего грузооборота. Особенно на главных внеземных трассах. Вы должны об этом знать.

— Разумеется. И я бы совсем не огорчился, если бы КОСНАВ обанкротилась. Раз уж удалось поставить под международный контроль в рамках ООН исследование

космоса, можно сделать то же самое и с коммерческим космоплаванием. Так мне, во всяком случае, кажется.

— Мне тоже. Уверю вас, я бы тоже этого хотел, хотя бы потому, что сижу за этим столом. Но это дело будущего. А сейчас положение таково, что КОСНАВ готова принять любое количество нелинейников для обслуживания своих линий — пока только грузовых, так как опасается бойкота со стороны широкой публики на пассажирских трассах. Предварительные переговоры уже ведутся.

— И пресса об этом молчит?

— Беседы проводятся неофициально. Впрочем, в некоторых газетах были упоминания об этом, но КОСНАВ выступила с опровержением. Формально она как будто права. Впрочем, это такие дебри, командор. По сути дела, они действуют в области, не охваченной ни законодательством их стран, ни международным, подлежащим юрисдикции ООН. Следует также учитывать, что в связи с истечением срока полномочий президент не будет пытаться внести в конгресс законопроекты, которых добивается крупный капитал, представляющий интеллектуальную промышленность, — он опасается резкой реакции профсоюзов. Так вот — перехожу наконец к делу, — ряд фирм, предвосхищая возможные возражения мировой прессы, рабочего и профсоюзного движения, и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу полупрототипов для изучения их пригодности при обслуживании межпланетных кораблей.

— Прошу прощения, «нам» — это значит кому? ООН? Как-то это странно выглядит.

— Нет, не непосредственно ООН. Нам — это значит ЮНЕСКО. Так как эта организация, занимающаяся вопросами науки, культуры, просвещения...

— Вы меня извините, но я всё еще ничего не понимаю. Что общего имеют эти автоматы с просвещением или наукой?

— Но ведь вторжение, как вы сами это называли, этих... этих псевдолюдей, производимых на конвейере, с любой точки зрения имеет существенное значение именно в сфере общечеловеческой культуры. Речь идет не только о чисто экономических последствиях, об опасности безработицы и так далее, но и об эффектах психологических, социальных, культурных — впрочем, чтобы вам было ясно всё до конца, добавлю, что мы приняли это предложение

без энтузиазма. Первоначально дирекция даже намеревалась его отклонить. Тогда фирмы представили дополнительную аргументацию, смысл которой сводился к тому, что в качестве команд кораблей нелинейники дают несравненно большую гарантию безопасности, чем экипаж, состоящий из людей. Они, мол, имеют более быструю реакцию, практически не нуждаются в сне, не устают, не подвержены заболеваниям, обладают огромным запасом надежности, который позволяет им функционировать даже в случае серьезной поломки, кроме того, им не нужны ни кислород, ни пища, и они могут выполнять свои задачи на борту разгерметизированного или перегретого корабля и так далее. Ну, вы понимаете, это уже серьезные доводы, тут на первый план выдвигается не прибыль каких-то частных фирм, а безопасность кораблей и грузов. И кто знает, возможно, даже на подведомственных ООН космических кораблях исследовательского характера, хотя бы частично...

— Понимаю. Но это очень опасный прецедент. Вы отдаете себе в этом отчет?

— Почему опасный?

— Потому, что почти то же самое можно сказать и о других функциях и профессиях. В один прекрасный день можно уволить и вас, а на это место усядется машина.

Смех директора прозвучал малоубедительно. Впрочем, он сразу же посерьезнел.

— Мой дорогой командор, мы, собственно, отклоняемся от темы. Но что же, по вашему мнению, можно сделать при возникшей ситуации? ЮНЕСКО могла бы отклонить предложение этих господ, но это не изменит реальности. Если предложенные нам автоматы действительно так хороши, их рано или поздно возьмет КОСНАВ, а ее примеру последуют и другие.

— А что меняется от того, что ЮНЕСКО намерен взять на себя роль технического контролера продукции этих фирм?

— Но, позвольте... речь идет не о техническом контроле. Мы хотели... теперь уж я должен сказать всё до конца... мы хотели предложить вам рейс с таким экипажем. Вы бы им командовали. В течение десяти — пятнадцати дней вы могли бы разобраться, чего он стоит. Тем более, я подчеркиваю, это разные модели, отличающиеся друг от друга. Мы просили бы вас представить нам по возвращении компетентную всестороннюю оценку по

значительному количеству пунктов, в связи с тем, что речь идет как о профессиональных аспектах, так и об иных — психологических: в какой мере эти автоматы приспособляются к человеку, насколько они отвечают его представлениям, возникает ли впечатление их превосходства или, наоборот, — их психической неполноценности... Соответствующие наши отделы предоставили бы вам как необходимые материалы, так и вопросники, подготовленные ведущими учеными, психологами...

— И в этом заключалась бы моя задача?

— Да. Не обязательно давать мне ответ немедленно. Как мне известно, вы временно не летаете?

— У меня шестинедельный отпуск.

— Ну, скажем... Может быть, вы решили бы в течение двух дней?

— Еще два вопроса. Какие последствия будет иметь моя оценка?

— Она будет решающей.

— Для кого?

— Для нас, конечно. Для ЮНЕСКО. Я убежден, что если дойдет до интернационализации коммерческого космоплавания, ваша оценка станет важным материалом для тех законодательных комиссий ООН, которые...

— Прошу прощения. Это дело будущего, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, как вы говорите? Но ведь ЮНЕСКО не является ни какой-либо фирмой, ни предприятием и, я надеюсь, не собирается стать рекламным бюро каких-нибудь фирм.

— Ну что вы! Конечно, нет. Ваше заключение мы опубликуем в мировой прессе. Если оно будет негативным, это наверняка затормозит переговоры между КОСНАВом и фирмами. Таким образом, мы будем способствовать...

— Еще раз прошу прощения. Но если оно будет позитивным, то не затормозит и не будет способствовать?

Директор хмыкнул, откашлялся, наконец улыбнулся.

— Перед вами, командор, я чувствую себя почти виноватым. Как будто у меня нечистая совесть... Разве ЮНЕСКО избрала этих нелинейных роботов? Разве возникшая ситуация — результат наших действий? Мы стараемся поступать объективно, в интересах всех...

— Не нравится мне это.

— Вы можете отказаться, командор. Только прошу вас подумать, что, если бы мы поступили так же, это

был бы жест Пилата. Легче всего умыть руки. Мы не всемирное правительство и не можем никому запрещать производить те или иные машины. Это дело отдельных правительств — впрочем, они пробовали, я знаю, что были такие попытки, проекты, но из них ничего не вышло! И церковь тоже ничего не добилась, а вы знаете ее абсолютно негативную позицию в этом вопросе.

— Да. Одним словом, никому это не правится и все смотрят, как это делается.

— Поскольку отсутствуют законные основания для противодействия.

— А последствия? У этих фирм, у них самих земля загорится под ногами, когда они доведут дело до такой безработицы, что...

— На этот раз я должен вас прервать. Наверно, в том, что вы говорите, есть доля истины. Все мы этого опасаемся. Тем не менее мы бессильны. Однако же наше бессилие не абсолютно. Мы можем провести хотя бы этот эксперимент. Вы настроены отрицательно? Прекрасно! Именно потому мы тем более в вас заинтересованы! Если вообще есть какие-нибудь возражения, вы изложите их наиболее убедительным образом.

— Я подумаю, — сказал Пиркс и встал.

— Вы только что говорили еще о каком-то вопросе...

— Вы мне уже на него ответили. Я хотел знать, почему выбор пал на меня.

— Итак, вы нам дадите ответ? Прошу позвонить мне в течение двух дней. Договорились?

— Договорились, — сказал Пиркс, кивнул головой и вышел.

* * *

При появлении Пиркса секретарша, платиновая блондинка, встала из-за стола.

— Добрый день, я...

— Добрый день. Я знаю. Я сама вас провожу.

— Они уже здесь?

— Да, ждут вас.

Она повела его по длинному пустому коридору; ее туфельки стучали, как металлические костылики. Холодный каменный звук заполнял огромное пространство, выложенное искусственным гранитом. Они шли мимо темных дверей с алюминиевыми номерами и табличками.

Секретарша явно волновалась. Несколько раз она бросила на Пиркса взгляд исподлобья — не кокетливый взгляд хорошенькой девушки, а испуганного человека. Когда Пиркс заметил это, ему вроде стало ее немножко жалко, одновременно он почувствовал, что ввязывается в совершенно безумную затею, и почти неожиданно для себя произнес:

— Вы их видели?

— Да. Совсем недолго. Мельком.

— И какие они?

— Вы их еще не видели?

Она почти обрадовалась. Как будто те, кто хорошо их знал, принадлежали к какой-то чужой, возможно даже враждебной тайной организации, требующей предельного недоверия.

— Их шестеро. Один говорил со мной. Совершенно не похож! Совершенно! Если бы я встретила его на улице, никогда бы даже не подумала. Но потом присмотрелась поближе, — есть что-то такое в глазах и здесь... — она коснулась рта.

— А остальные?

— Даже не заходили в комнату, стояли в коридоре...

Они вошли в лифт, кабина помчалась наверх, золотистые зернышки света, отсчитывающие этажи, усердно пересыпались на стенке. Девушка стояла напротив Пиркса, и он мог по достоинству оценить усилия, в результате которых с помощью помады, туши и грима она лишила себя всяких следов собственной индивидуальности, чтобы временно стать двойником Инды Ли, или как там называлась взлохмаченная по-новому звезда сезона. Когда девушка моргнула, он испугался за сохранность ее искусственных ресниц.

— Роботы... — сказала она грудным шепотом и вздрогнула, будто от прикосновения гада.

В комнате на десятом этаже сидели шестеро мужчин. Когда Пиркс вошел, один из них, заслоненный большим полотнищем «Геральд трибюн», сложил газету, встал и направился к нему с широкой улыбкой; за ним встали и остальные.

Они были примерно одного роста и напоминали летчиков-испытателей, одетых в штатское: плечистые, в одинаковых песочных костюмах, в белых рубашках с цветными бабочками. Два блондина, один рыжий, как огонь, остальные темноволосые, но все со светлыми глазами.

Только это Пиркс и успел заметить, прежде чем тот, который подошел к нему, сильно встряхнул его руку и заговорил:

— Я — Макгир, здравствуйте! Однажды я имел удовольствие путешествовать на корабле, которым вы командовали, на «Поллуксе»! Но вы меня, наверно, не помните...

— Нет, — сказал Пиркс.

Макгир обернулся к мужчинам, неподвижно стоявшим возле круглого стола с журналами.

— Ребята, это ваш начальник, командор Пиркс. А это ваш экипаж, командор: первый пилот Джон Кэлдер, второй пилот Гарри Броун, инженер-ядерник Энди Томсон, радист-электроник Джон Бертон, а также невролог, кибернетик и врач в одном лице — Томас Барнс.

Пиркс поочередно подал им руку, потом все сели, придвинув гнущиеся под тяжестью тела металлические стулья к столу. Несколько секунд царила тишина, которую Макгир нарушил своим крикливым баритоном:

— Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас от имени руководства компаний «Кибертроникс», «Интелтрон» и «Нортроникс» за то, что, приняв предложение ЮНЕСКО, вы проявили такое доверие к нашим усилиям. Чтобы исключить возможность всяких недоразумений, я сразу же должен пояснить, что некоторые из присутствующих появились на свет от матери и отца, а некоторые — нет. Каждый из них осведомлен о собственном происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Обращаюсь к вам с просьбой не спрашивать их об этом. Во всем остальном вам предоставлена полная свобода. Они наверняка будут добросовестно исполнять ваши приказы и продемонстрируют в служебных и внеслужебных отношениях инициативу и искренность. Однако они получили соответствующие инструкции и на вопрос: «Кто вы?» — каждый из них ответит одинаково: «Совершенно обычный человек». Я предупредил вас сразу, поскольку здесь будет иметь место не ложь, а необходимость, продиктованная нашими общими интересами...

— Значит, я не могу их об этом спрашивать?

— Можете. Конечно, можете, но тогда у вас появится неприятное сознание, что некоторые говорят неправду, — так не лучше ли от этого отказаться? Они все скажут одно и то же, что они — обычные парни, но не во всех случаях это будет правдой.

— А в вашем? — спросил Пиркс.

Через какую-то долю секунды все присутствующие расхохотались. Громче всех смеялся сам Макгир.

— О! А вы шутник! Я... я только маленькая шестеренка в машине «Нортроникс»...

Пиркс, который даже не улыбнулся, ждал, когда станет тихо.

— А вам не кажется, что вы пытаетесь обвести меня вокруг пальца? — спросил он.

— Простите! О чем вы?! Ничего подобного! Условия предусматривали «новый тип команды». Там ни слова не говорилось о том, будет ли команда однородной, — так ведь? Мы стремились попросту исключить возможность определенной, хм, чисто психологической, иррациональной негативной предвзятости. Ведь это ясно! Не правда ли? Во время рейса и после него, основываясь на том, как он протекал, вы составите свое мнение о качествах всех членов экипажа. Всестороннее мнение, в котором мы чрезвычайно заинтересованы. Мы только постарались создать такие условия, чтобы вы могли действовать с наивысшей, беспристрастной объективностью!

— Вот спасибо, — сказал Пиркс. — И всё-таки я считаю, что вы меня обвели вокруг пальца. Однако я не собираюсь отступать.

— Bravo!

— Я бы еще хотел прямо сейчас побеседовать немного с моими, — он на мгновение заколебался, — людьми...

— Может быть, вы хотите выяснить, какова их подготовка? Впрочем, я вас не ограничиваю. Ваш удар! Прошу!

Макгир достал из верхнего кармана пиджака сигару и, обрезав кончик, принялся ее раскуривать, а пять пар спокойных глаз тем временем внимательно смотрели на Пиркса. Оба блондина, которых Макгир представил как пилотов, были чем-то похожи друг на друга. Правда, Кэлдер больше походил на скандинава, а его курчавые волосы сильно выпцвели, будто выгорели на солнце. Зато Броун был по-настоящему златоволосым, он немного напоминал херувимчика из журнала мод, но этот избыток красоты смягчали его челюсти и постоянно кривящиеся, словно в язвительной усмешке, бесцветные тонкие губы. Его щеку наискось пересекал белый шрам, тянущийся от левого угла рта. Именно на нем остановил взгляд Пиркс.

— Отлично, — сказал он, словно с большим запозданием отвечал Макгиру, и тем же самым тоном, как бы нехотя, спросил, глядя на мужчину со шрамом:

— Вы верите в бога?

Губы Броуна дрогнули, казалось, он хотел скрыть улыбку или гримасу. Ответил он не сразу. Вероятно, Броун только что и даже довольно торопливо побрился: около уха осталось несколько волосков, на щеках виднелись следы плохо стертой пудры.

— Это... не имеет отношения к моим обязанностям, — сказал он голосом приятного низкого тембра.

Макгир, который затягивался сигарой, застыл, неприятно пораженный вопросом Пиркса, и, моргая, резко выдохнул дым, как бы говоря: «Ну, видишь?! Нашла коса на камень!»

— Броун, — произнес всё тем же флегматичным тоном Пиркс, — вы не ответили мне на вопрос.

— Прошу прощения, командор. Я сказал, что это не имеет отношения к моим обязанностям.

— Как ваш начальник, я решаю, что имеет отношение к вашим обязанностям, — возразил Пиркс.

Лицо Макгира выражало удивление. Остальные сидели неподвижно, с заметным вниманием прислушиваясь к разговору, — совсем как примерные ученики.

— Если это приказ, — ответил Броун мягким, четко модулированным баритоном, — то могу только объяснить, что этой проблемой специально не занимался.

— Прошу ее обдумать до завтра. От этого будет зависеть ваше присутствие на борту.

— Слушаюсь, командор.

Пиркс повернулся к Кэлдеру, первому пилоту, их взгляды встретились, глаза пилота были почти бесцветными, в них отражались большие окна комнаты.

— Вы пилот?

— Да.

— С каким опытом?

— Сдал курс высшего пилотажа. Двести девяносто индивидуальных часов в пространстве на малом тоннаже, десять самостоятельных посадок, в том числе четыре на Луне, две на Марсе и на Венере.

Пиркс, казалось, не обратил особого внимания на его ответ.

— Бертон, — обратился он к следующему, — вы электроник?

— Да.

— Сколько рентген вы можете выдержать в течение часа?

У того дрогнули губы. Если даже это была улыбка, она тотчас исчезла.

— Думаю, около четырехсот, — сказал он. — Максимум. Но потом пришлось бы лечиться.

— А больше чем четыреста не можете?

— Не знаю, но, вероятно, нет.

— Откуда вы родом?

— Из Аризоны.

— Вы болели?

— Нет. Во всяком случае, ничего серьезного.

— У вас хорошее зрение?

— Хорошее.

Пиркс, собственно, не слушал того, что они говорили. Он, скорее, обращал внимание на звук голоса, его модуляции, тембр, на мимику, движения губ, и моментами его охватывала нелепая надежда, что всё это только большая и глупая шутка, розыгрыш, что им просто хотели поиграть, посмеяться над его наивной верой во всемогущество техники. А может, наказать его таким способом за эту его веру. Ведь перед ним сидели совершенно обычные люди; секретарша несла чепуху, — вот что значит предубеждение! Она приняла Макгира за одного из них...

До сих пор разговор был пустым — если не считать не слишком умной выдумки насчет господ бога. Наверняка не умной, скорее, безвкусной и примитивной. Пиркс прекрасно это сознавал, он казался себе на редкость ограниченным индивидуумом, ограниченным до тупости, только из-за нее он согласился... Все смотрели на Пиркса так же как и раньше, но ему почудилось, будто рыжий, Томсон и оба пилота сделали чересчур безразличные лица, как бы желая скрыть от него, что уже разгадали его примитивную душу рутинера, совершенно выбитого сейчас из привычного, понятного и потому безопасного равновесия. Он хотел спросить еще кое о чем, молчание, которое слишком затягивалось, обращалось против него, становясь свидетельством его беспомощности, но просто не мог ничего придумать. Уже отчаяние, а не разум, нашептывало, чтобы он выкинул какой-нибудь странный, шальной номер, но он прекрасно знал, что ничего такого

не сделает. Он чувствовал, что осрамился: надо было отказаться от этой встречи, и посмотрел на Макгира.

— Когда я могу подняться на борт?

— О, в любой момент, хоть сегодня.

— Что с санитарным контролем?

— Не беспокойтесь об этом. Всё уже улажено.

Инженер отвечал почти снисходительно, по крайней мере Пирксу так показалось.

«Не умею я достойно проигрывать», — подумал он. А вслух сказал:

— Это всё. За исключением Броуна, все могут считать себя членами экипажа. Броун завтра ответит мне на вопрос, который я ему задал. Макгир, у вас при себе бумаги для подписи?

— Они у меня, но не здесь. В дирекции. Сходим туда?

— Ладно.

Пиркс встал. Все остальные тоже.

— До свидания, — он кивнул и вышел первым.

Инженер догнал его у лифта.

— Вы нас недооценивали, командор...

К нему окончательно вернулось хорошее настроение.

— Как я должен это понимать?

Лифт тронулся. Инженер осторожно, чтобы не уронить серый конус пепла, поднес сигару ко рту.

— Наших парней не так легко отличить от... обычных.

Пиркс пожал плечами.

— Если они из того же самого материала, что и я, — сказал он, — это люди. А как они появились на свет — в результате искусственного оплодотворения в колбе или более банальным путем, — меня совершенно не касается.

— О нет, они не из того же самого материала!

— А из какого?

— Прошу прощения, но это производственный секрет.

— Кто вы?

Лифт остановился. Инженер отворил дверь, но Пиркс не двинулся с места, ожидая ответа.

— Вас интересует, являюсь ли я конструктором? Нет. Я работаю в отделе рекламы.

— И вы достаточно компетентны, чтобы ответить мне на несколько вопросов?

— Конечно, но, может, не здесь.

Та же самая секретарша проводила их в большую комнату для совещаний.

Вдоль длинного стола в идеальном строю стояли два ряда кресел. Пиркс и Макгир сели с краю, там, где лежала открытая папка с контрактами.

— Слушаю вас, — сказал Макгир.

Пепел упал ему на брюки, он сдул его. Пиркс заметил, что у инженера покрасневшие глаза и чересчур ровные зубы. «Искусственные, — подумал он. — Хочет казаться моложе, чем на самом деле».

— Скажите, те, которые... не являются людьми, ведут себя как люди? Принимают пищу? Пьют?

— Да.

— Зачем?

— Чтобы иллюзия была полной. Для окружающих, ясное дело.

— Значит, они должны потом... от этого избавляться?

— Ну да.

— А кровь?

— Простите?

— У них есть кровь? Сердце? У них идет кровь — если они поранятся?

— У них есть... имитация крови и сердца, — сказал Макгир, подбирая слова с явной осторожностью.

— Что вы имеете в виду?

— Что только хороший врач-специалист после всестороннего исследования мог бы разобраться...

— А я нет?

— Нет. Естественно, если исключить использование каких-либо специальных устройств.

— Рентген?

— Вы догадливы! Но на борту у вас его не будет.

— Ну тут не надо быть специалистом, — спокойно сказал Пиркс. — Я могу получить из реактора столько изотопов, сколько захочу, а на борту должны быть аппараты для дефектоскопии; так что рентген мне совершенно не нужен.

— У нас нет возражений по поводу этой аппаратуры, в том случае если вы обязуетесь не использовать ее ни для каких посторонних целей.

— А если я не соглашусь?

Макгир вздохнул и, словно почувствовав к сигаре отращивание, ткнул ее в пепельницу.

— Командор... вы стараетесь всё предельно осложнить.

— Верно, — согласился Пиркс. — Значит, у них идет кровь?

— Да.

— И это действительно кровь? И под микроскопом тоже?

— Да, это кровь.

— Как же вам удалось?..

— Впечатляет, а? — Макгир широко улыбнулся. — Могу вам сказать только в очень общих чертах: принцип губки. Подкожной, специальной губки.

— Это человеческая кровь?

— Да.

— Зачем?

— Да уж не для того, чтобы ввести в заблуждение *вас*. Поймите, вовсе не для *вас* запущена в производство продукция стоимостью в миллиарды долларов! Они должны выглядеть так, быть такими, чтобы ни при каких обстоятельствах никому из пассажиров или других людей в голову не пришло подозревать...

— Речь идет о том, чтобы избежать бойкота ваших «изделий»?

— Об этом тоже. Ну и о комфорте, о психологических удобствах...

— А вы можете их отличить?..

— Только потому, что я их знаю. Ну... есть... сильные средства... но не станете же вы пользоваться топором!

— А вы мне не скажете, чем они отличаются от людей с физиологической точки зрения? Дыхание, кашель, румянец...

— Ну это всё симитировано. Конечно, существуют различия, но я уже говорил вам: их определил бы только врач.

— А с точки зрения психики?

— Мозг у них в голове! Это наш величайший триумф! — сказал Макгир с неподдельной гордостью. — «Интелтрон» до сих пор помещал его в туловище, он был слишком велик. Мы первые перенесли его в голову!

— Скажем, вторые: первой была природа...

— Ха, ха! Ну вторые. Но подробности — тайна. Мозг — это монокристаллический мультистат, с шестнадцатью миллиардами двоичных элементов!

— А то, на что они способны, тоже тайна?

— О чем это вы?

— Например, могут ли они лгать... и в каких пределах?.. могут ли утратить контроль над собой, а следовательно, и над ситуацией...

— Разумеется. Всё это возможно.

— Почему?

— Потому что это неизбежно. Всякие, образно говоря — тормоза, введенные в нейронную или кристаллическую сеть, относительно, их можно преодолеть. Я говорю это, так как вы должны знать правду. Впрочем, если вы хоть немного знакомы с литературой предмета, вы знаете, что робот, который не уступал бы человеку в интеллектуальном смысле и в то же время не был бы в состоянии лгать и обманывать — чистая фикция. Можно производить либо полноценные эквиваленты человеку, либо марионеток. Третьей дороги нет.

— Существо, способное на определенные поступки, уже в силу этого должно быть способно и на другие соответствующие поступки, так?

— Так. Конечно, это нерентабельно. Пока, во всяком случае. Психическая универсальность, не говоря уже о внешнем подобии человеку, ужасно дорого стоит. Модели, которые вы получаете, изготовлены в очень небольшом количестве экземпляров, — они не окупаются. Стоимость одного экземпляра больше стоимости сверхзвукового бомбардировщика!

— Что вы говорите!

— Само собой, включая стоимость всех исследований, которые предшествовали их созданию. Мы будем продавать эти автоматы. Может быть, нам удастся производить их на конвейере и, наверное, даже усовершенствовать, хотя это, пожалуй, уже невозможно. Мы вам дали лучшее из того, что имеем. Потеря самообладания или, скажем, депрессия, хотя и не исключены, будут, как правило, менее вероятны у них, чем у человека в такой же ситуации!

— Такие исследования проводились?

— Естественно!

— И люди использовались в качестве контрольных объектов?

— Было и так.

— Катастрофические ситуации? Угрожающие гибелью?

— Именно такие.

— А результаты?

— Люди менее надежны.
— А как с агрессивностью?
— Вас интересует их отношение к человеку?
— Не только.
— Можете быть спокойны. В них встроены специальные ингибиторы, так называемые блоки обратного разряда, как бы амортизирующие потенциалы агрессии.

— Всегда?
— Нет, это невозможно. Мозг — вероятностная система, наш тоже. Можно в нем увеличивать вероятность определенных состояний, но никогда нет абсолютной уверенности. И тем не менее — и в этом отношении они превосходят человека.

— А что будет, если я попробую разбить кому-нибудь из них голову?

— Он будет защищаться.
— Попытается ли он меня убить?
— Нет, ограничится обороной.
— А если единственной возможной обороной будет нападение?

— Тогда он нападет на вас.
— Давайте ваш контракт, — сказал Пиркс.
Перо скрипело в тишине. Инженер сложил бланки и спрятал их в папку.

— Вы возвращаетесь в Штаты?
— Да, завтра.
— Можете сообщить вашим начальникам, что я постараюсь выжать из них самое худшее, — сказал Пиркс.

— Разумеется! Именно на это мы и рассчитываем! Даже в этом их самом худшем они всё же лучше человека! Только...

— Вы хотели что-то сказать?
— Вы человек смелый. Но... в ваших собственных интересах я рекомендую быть осторожным.
— Чтобы они не взялись за меня?

Пиркс невольно улыбнулся.
— Нет. Чтобы вам самому не пришлось расплачиваться: первыми раньше откажут люди. Обыкновенные, порядочные, славные парни. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил Пиркс. — Мне пора. Я должен сегодня принять корабль.

— У меня на крыше вертолет, — сказал Макгир, вставая. — Вас подбросить?

— Нет, спасибо. Поеду в метро. Не люблю рисковать... Значит, вы доложите своему начальству, какие у меня черные замыслы?

— Если хотите.

Макгир искал в кармане очередную сигарету.

— Должен сказать, что вы ведете себя несколько странно. Чего вы, собственно, от них хотите? Они не люди, этого никто не утверждает. Они отличные специалисты, и при этом действительно славные ребята! Уверяю вас! Они сделают для вас всё!

— Постараюсь, чтобы они сделали еще больше, — ответил Пиркс.

* * *

Пиркс и в самом деле не оставил Броуна в покое и специально, чтобы выяснить вопрос о господе бже, позвонил ему на следующий день; в ЮНЕСКО Пирксу дали номер телефона, по которому он мог разыскать своего нелнейного пилота. Он даже узнал его голос, когда набрал этот номер.

— Я ждал вашего звонка, — сказал Броун.

— Ну и что вы решили? — спросил Пиркс.

При этом у него было удивительно тяжело на сердце; он чувствовал себя гораздо лучше, когда подписывал бумаги Макгира. В тот момент ему казалось, что он справится. Сейчас он не испытывал такой уверенности в себе.

— У меня было мало времени, — сказал Броун своим ровным приятным голосом. — Поэтому могу сказать только одно: меня учили вероятностному подходу. Я подсчитываю шансы и действую в зависимости от результата. А в данном случае — девяносто девять процентов за то, что «нет», возможно даже девяносто девять и девять десятых, но одна сотая шанса за то, что «да».

— Что бог существует?

— Да.

— Ладно. Можете явиться вместе с остальными. До свидания.

— До свидания, — ответил мягкий баритон, и в трубке загудело.

Пиркс почему-то вспомнил этот разговор по дороге в космопорт. Кто-то уже уладил все формальности в портовом управлении — то ли ЮНЕСКО, то ли фирмы, которые «сделали» ему экипаж. Так или иначе, обошлось без

обычного санитарного контроля, никто не требовал документов его «людей», а старт назначили на два сорок пять — час, когда движение меньше всего. Три солидных контрольно-измерительных спутника для Сатурна уже находились в шахтах. «Голнаф» был кораблем среднего тоннажа, с высокой автоматизацией управления; не слишком большой — только шесть тысяч тонн массы покоя, — но, построенный всего два года назад, он имел прекрасный, совершенно избавленный от тепловых колебаний реактор на быстрых нейтронах, который занимал объем каких-нибудь десять кубических метров, то есть почти ничего, и развивал номинальную мощность сорок пять миллионов лошадиных сил, а максимальную — для кратковременных ускорений — семьдесят миллионов сил.

Пиркс. совершенно не представлял себе ни того, что с его «людьми» происходило в Париже — остановились они в гостинице, или одна из фирм наняла им жилье (у него даже мелькнула мысль, гротескная и в то же время чудовищная, что инженер Макгир всех их как-то повывключал и на эти два дня уложил в ящики), — ни как они добрались до порта.

Они ждали в специально отведенной комнате портового управления. У всех были с собой чемоданы, какие-то свертки и маленькие несесеры, на ручках которых болтались таблички с их именами. Стоило Пирксу взглянуть на всё это, как в голову ему невольно лезли разные идиотские шуточки по поводу уложенных в несесеры гаечных ключей, туалетных масленок и прочего. Но ему было совсем не до смеха, когда, поздоровавшись с ними, он предъявил свои полномочия и документы, необходимые для подтверждения стартовой готовности. После этого за два часа до назначенного времени они вышли на взлетное поле, освещенное одним прожектором, и гуськом зашагали к белому как снег «Голнафу». Он немного напоминал огромную, только что распакованную сахарную голову.

Старт не составлял труда. На «Голиафе» Пиркс сумел бы взлететь почти без всякой помощи, достаточно было задать программу всем автоматическим и полуавтоматическим устройствам. Не прошло и получаса, а они уже оставили позади ночное полушарие Земли с его фосфоресцирующей сыпью городов; тогда Пиркс взглянул на планету. Хотя атмосферу, которую солнце перед рассветом расчесывает своими лучами «против шерсти», он видел из пространства неоднократно, это великолепное

зрелище — исполинский пылающий радужный серп — ему нисколько не надоело. Еще через несколько минут они миновали последний навигационный спутник и оказались над плоскостью эклиптики, среди половодья сигналов, заливавшего работающие информационные машины (Пиркс их называл электронной бюрократией космоса). Пиркс приказал первому пилоту оставаться в рубке, а сам отправился в свою каюту. Не прошло и десяти минут, как он услышал стук.

— Войдите!

Вошел Броун. Он старательно закрыл дверь, подошел к сидевшему на койке Пирксу и вполголоса произнес:

— Я хотел бы с вами поговорить.

— Слушаю вас. Садитесь.

Броун опустился на стул, но, как бы решив, что расстояние, которое их разделяет, слишком велико, придвинулся ближе, немного помолчал, глядя в пол, вдруг посмотрел командиру прямо в глаза и заговорил:

— Я хочу вам кое-что сообщить. Но вынужден просить о сохранении тайны. Дайте слово, что вы никому ничего не скажете.

Пиркс поднял брови:

— Тайна?

Он на несколько минут задумался.

— Согласен, я ничего никому не скажу, — произнес он наконец. — Слушаю.

— Я человек, — сказал пилот и умолк, не отрывая глаз от Пиркса, словно хотел выяснить, какой эффект произведут эти слова.

Однако Пиркс, который сидел, опустив веки и опершись головой о переборку, выложенную белым пенопластом, даже не шевельнулся.

— Я сказал об этом потому, что хочу вам помочь, — начал Броун. Он говорил так, будто произносил тщательно отрепетированную речь. — Когда я предлагал свои услуги, я не знал, в чем дело. Таких, как я, было, наверно, много, но нас принимали по одному, чтобы мы не могли ни познакомиться, ни даже увидеть друг друга. О том, что именно мне предстоит, я узнал только тогда, когда меня окончательно отобрали после всех полетов, проверок и тестов. Мне пришлось дать обещание, что я сохраняю всё в абсолютной тайне. У меня есть девушка, мы давно хотим пожениться, но нам мешали финансовые затруднения, — а тут всё устраивалось просто великолепно.

но: мне сразу дали восемь тысяч, и еще столько же я должен получить по возвращении из рейса, независимо от его результата. Я рассказываю вам всё как было, так как хочу, чтобы вы знали: в этом деле моя совесть чиста. Честно говоря, в первый момент я не понимал, на какую ставку идет игра. Странный эксперимент, и только, — так я поначалу думал. Но потом мне это начало нравиться всё меньше. В конце концов существует какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Неужели я должен молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею на это права. А вы так не считаете?

Пиркс молчал. Немного погодя пилот продолжал, но вроде уже не так уверенно:

— Из той четверки я не знаю никого. Всё это время нас держали изолированно. У каждого была своя комната, своя ванна, свой гимнастический зал. Мы не встречались даже во время еды, только перед самым выездом в Европу нам разрешили в течение трех дней есть вместе. Поэтому я не могу вам сказать, кто из них тоже человек, а кто нет. Я ничего не знаю точно. Но подозреваю...

— Минутку, — прервал его Пиркс. — А почему, когда я спросил вас о боге, вы ответили, что заниматься этим вопросом не входит в ваши обязанности?

Броун уселся поудобнее, шевельнул ногой и, глядя на носок ботинка, которым водил по полу, сказал тихо:

— Так ведь я, собственно, уже тогда решил всё вам рассказать и — знаете, как это бывает: на воре шапка горит. Я боялся, как бы Макгир не пронюхал о моем намерении. Ну и когда вы меня спросили, я ответил таким образом, чтобы ему показалось, будто я намерен свято сохранить тайну и наверняка не помогу вам разобраться в том, кто я на самом деле.

— Вы так ответили из-за присутствия Макгира?

— Да.

— А вы верите в бога?

— Верю.

— И вы думали, что робот не должен верить?

— Ну да.

— И что, если бы вы сказали «верю», было бы легче догадаться, кто вы?

— Да. Именно так и обстояло дело.

— Но ведь и робот может верить в бога, — немного погодя заметил Пиркс. Он произнес это небрежным тоном, как бы мимоходом. Броун даже глаза вытаращил:

— Что вы говорите?
— По-вашему, это невозможно?
— Мне бы такое никогда не пришло в голову...
— Ладно, оставим. Это — по крайней мере в данный момент — не имеет значения. Вы говорили о каких-то своих подозрениях...

— Да. Мне кажется, что этот темный — Барнс — не человек.

— Почему вам так кажется?

— Это мелочи, которые трудно заметить, но в совокупности они создают определенное впечатление. Ну, начать с того, что когда он сидит или стоит, он вообще не шевелится.словно статуя. А ведь вы знаете, ни один человек не в состоянии сохранять абсолютную неподвижность. Когда ему становится неудобно или, скажем, затечет нога, — человек невольно переменит позу, шевельнется, коснется лица, — а этот прямо застывает.

— Всегда?

— Нет. В том-то и дело, что не всегда, и это мне показалось особенно характерным.

— Почему?

— Я думаю, он делает такие незначительные, якобы невольные движения, когда специально обращает на это внимание, а как только забудет — замирает. Зато у нас наоборот: нам как раз приходится напрячься, чтобы какое-то время оставаться неподвижными.

— В этом что-то есть. Что еще?

— Он всё ест.

— Как это «всё»?

— Что бы ни дали. Ему совершенно безразлично. Я замечал это много раз, и в дороге, когда мы летели через Атлантику, и еще в Штатах, и в ресторане на аэродроме. Он с полным равнодушием ест всё, что подадут, а ведь каждому человеку обычно какие-то блюда особенно нравятся, ну а чего-то он не любит...

— Это не доказательство.

— Да нет, конечно, нет. Но если суммировать, знаете ли... Кроме того, есть еще одно обстоятельство.

— Ну?

— Он не пишет писем. Правда, тут у меня не может быть стопроцентной уверенности, но я сам, например, видел в гостинице, как Бертон опускал письмо в почтовый ящик.

— А вам разрешено писать письма?

— Нет.

— Я вижу, вы строго соблюдаете условия контракта! — буркнул Пиркс.

Он выпрямился на койке и, приблизив лицо к лицу Броуна, медленно спросил:

— Почему вы нарушили данное слово?

— Что? Что вы говорите?! Командор!

— Ведь вы дали слово сохранить в тайне, кто вы.

— А! Да. Дал. Но я полагаю, что при определенных обстоятельствах человек не только имеет право так поступать, но, если хотите, это является его обязанностью.

— Например?

— Сейчас сложились именно такие обстоятельства. Взяли металлические куклы, склеили их пластиком, накрутили, перемешали с людьми, как фальшивые карты, и хотят сделать на этом огромные деньги. Я думаю, каждый порядочный человек поступил бы так же, как я. К вам еще никто с этим не приходил?

— Нет. Вы первый. Но мы только что взлетели... — заметил Пиркс, и хотя он сказал это совершенно безразлично, его слова были не лишены иронии; однако, если Броун ее и заметил, он никак этого не показал.

— Буду стараться и в дальнейшем помогать вам во время рейса. И сделаю со своей стороны всё, что вы сочтете желательным.

— Зачем?

Броун заморгал кукольными ресницами:

— Как это — зачем? Чтобы вам легче было отличить людей от нелюдей...

— Вы ведь взяли эти восемь тысяч долларов, Броун.

— Да. Ну и что же. Меня нанимали как пилота. Я и есть пилот. И неплохой.

— По возвращении вы возьмете еще восемь тысяч за эти несколько недель работы. За такой рейс никто никому не платит шестнадцать тысяч долларов, ни пилоту первого класса, ни лодману, ни штурману. Никому. Следовательно, вы получили эти деньги за молчание. За сохранение тайны. Не только от меня, но и от всех остальных — хотя бы от конкурентов этих фирм. Вас хотели уберечь от всех соблазнов.

Пилот ошеломленно смотрел на Пиркса, его красивое лицо выражало крайнее изумление:

— Так вы меня еще и упрекаете в том, что я сам пришел и сказал?..

— Нет. Я ни в чем вас не упрекаю. Вы поступили так, как сочли правильным. Какой у вас КУР?

— Коэффициент умственного развития? Сто двадцать.

— Вполне достаточно, чтобы разбираться в элементарных вещах. Скажите, какой мне прок от того, что вы поделились со мной своими подозрениями по поводу Барнса?

Молодой пилот встал.

— Командор, прошу меня извинить. Если так — это было недоразумение. Я хотел как лучше. Но раз вы считаете, что я... одним словом, я прошу забыть об этом... и помнить только...

Увидев улыбку Пиркса, он остановился.

— Садитесь. Да садитесь же!

Броун сел.

— Чего вы не договорили? О чем я должен помнить? О том, что я обещал никому не передавать нашего разговора? Верно? Ну а если бы я в свою очередь решил, что имею право так поступить. Тихо! Командира не перебивают. Видите, это всё не так-то просто. Вы доверились мне, — я ценю ваше доверие. Но... одно дело доверие, а другое — здравый смысл. Положим, благодаря вам я уже совершенно точно знаю, кто вы и кто — Барнс. Что мне это дает?

— Это... уже ваше дело. Вы должны после этого рейса оценить пригодность...

— Вот именно! Пригодность каждого. Но ведь не думаете же вы, Броун, что я буду писать неправду? Что минусы я запишу не тем, которые будут хуже, а тем, которые не люди.

— Это не мое дело, — упрямо начал пилот, беспокояно ерзавший на стуле, пока говорил Пиркс.

Пиркс бросил на него такой взгляд, что он умолк.

— Только не прикидывайтесь этаким служакой-капралом, который выше своего пояса не видит. Если вы человек и испытываете чувство солидарности с людьми, то вы должны попытаться оценить всю эту историю и сознавать собственную ответственность...

— Как это «если»? — Броун вздрогнул. — Вы мне не верите? Значит... Значит, вы думаете...

— Ну что вы! Я просто неудачно выразился, — быстро возразил Пиркс. — Я верю вам, конечно, я вам верю. И поскольку вы уже выдали тайну, а я не собираюсь оценивать этого с моральной или какой-либо иной точки

зрения, прошу вас и в дальнейшем поддерживать со мной внеслужебный контакт и рассказывать мне обо всем, что заметите.

— Теперь я совсем ничего не понимаю, — сказал Броун и невольно вздохнул. — Сначала вы меня отчитали, а потом...

— Это два разных вопроса, Броун. Раз уж вы мне сказали то, чего не должны были говорить, не использовать этого было бы совершенно бессмысленно. Другое дело, естественно, с деньгами. Может, рассказать и следовало. Но на вашем месте я бы этих денег не взял.

— Что? Но... но, командор... — Броун отчаянно искал аргументы и наконец нашел: — Они бы сразу же сообразили, что я нарушил договор! Еще меня бы и обвинили...

— Это ваше дело. Я не говорю, что вы должны отдать деньги. Я обещал сохранить всё в секрете и не собираюсь в это вмешиваться. Я высказал только свое личное мнение, — которое ни к чему вас не обязывает, — что бы я сделал на вашем месте, но вы — не я, а я — не вы, и кончим на этом. Еще что-нибудь?

Броун покачал головой, открыл рот, закрыл его, пожал плечами, обнаружив нечто большее, чем разочарование разговором, но ничего не сказал и, машинально вытянувшись перед тем как уйти, вышел.

Пиркс глубоко вздохнул. «Напрасно у меня вырвалось: «Если вы человек», — подумал он недовольно. — Вот дьявольская игра! Черт его знает, этого Броуна. Либо он человек, либо они решили пойти на хитрость — не только ввести меня в заблуждение, но вдобавок еще и выяснить, не собираюсь ли я использовать каких-нибудь противоречащих контракту способов, чтобы их различить... Во всяком случае, эту часть партии я провел, пожалуй, неплохо? Если он говорил правду, ему теперь будет немного не по себе после всего, что я тут выдал. А если нет... опять-таки я ему, в общем, ничего не сказал. Хорошенькая история! Вот влип-то!»

Не в состоянии сидеть спокойно, Пиркс начал раскачивать по каюте. Загудел зуммер; это был Кэлдер из рубки. Они согласовали курсовые поправки и ускорение на ночь, после чего Пиркс сел и устался в переборку перед собой, сдвинув брови и размышляя неизвестно о чем. В дверь кто-то постучался.

«А это что еще?» — подумал он и громко сказал:

— Войдите.

В каюту вошел невролог, врач и кибернетик в одном лице — Барнс.

— Можно?

— Прошу. Присаживайтесь.

Барнс улыбнулся.

— Я пришел, чтобы сказать вам, что я *не* человек.

Пиркс вместе со стулом резко повернулся к нему:

— Простите, как? Что вы не...

— Не человек. И стою — в этом эксперименте — на вашей стороне.

Пиркс глубоко вздохнул.

— То, что вы говорите, конечно, должно остаться между нами? — спросил он.

— Как вам будет угодно. Для меня это не имеет значения.

— Как же так?..

Тот снова улыбнулся.

— Очень просто. Мой поступок продиктован эгоизмом. Если вы дадите нелинейникам положительную оценку, это вызовет цепную реакцию их производства. Такая возможность более чем вероятна. Подобные мне начнут появляться массово — и не только на космических кораблях. Последствия для людей будут самые пагубные — возникнет новая разновидность дискриминации, ненависти... Нетрудно представить, к чему приведет подобное положение. Я предвижу это, но, повторяю, мои действия продиктованы прежде всего личными мотивами. Пока я существую один, пока таких, как я, двое или десяток, это не имеет никакого общественного значения. Мы просто потеряемся в массе, незамеченные и незаметные. У меня... у нас будут такие же возможности, как у любого человека, с весьма существенной поправкой на интеллект, а также ряд специальных навыков, которыми обычный человек не обладает. Мы достигнем многого, но только в том случае, если не начнется массовое производство.

— Да-да, в этом что-то есть... — медленно сказал Пиркс. В голове у него был легкий сумбур. — Но почему вы не настаиваете на сохранении тайны? Разве вы не боитесь, что фирма, которая...

— Нет. Ничуть не боюсь. Ничего, — сказал, сохраняя тот же спокойный лекторский тон, Барнс. — Я чудовищно дорого стою, командор. Сюда, — он прикоснулся

рукой к груди, — вложены миллиарды долларов. Не думаете же вы, что разгневанный фабрикант прикажет разобрать меня по винтику? Я говорю это, конечно, в переносном смысле, во мне вовсе нет никаких винтиков... Они наверняка придут в ярость, но мое положение от этого никак не изменится. Вероятно, мне придется работать в той же фирме, — ну так что? Я даже предпочту работать у них, а не где-нибудь в другом месте, — там мне обеспечат лучший уход в случае... болезни. Не думаю также, что они попытаются меня как-то изолировать. Собственно говоря, зачем? Применение насильственных методов могло бы для них самих кончиться весьма печально. Вы ведь знаете, как могущественна пресса...

«У него на уме шантаж», — сообразил Пиркс. Ему казалось, что это сон. Но он продолжал слушать с предельным вниманием.

— Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я хочу, чтобы ваша оценка нелинейщиков была отрицательной.

— Да. Понимаю. А вы... можете указать, кто еще из команды?..

— Нет. То есть у меня нет уверенности, а предположения могли бы вам больше повредить, чем помочь. Лучше иметь нулевую информацию, чем быть дезинформированным, ибо это значит иметь отрицательную информацию, меньшую, чем нуль.

— Так. Хм. Во всяком случае — независимо от ваших побуждений — благодарю вас. Да. Благодарю. А... не могли бы вы в таком случае рассказать мне что-нибудь о себе? Я имею в виду детали, опираясь на которые, я...

— Догадываюсь, что вас интересует. О том, как я устроен, я не знаю ничего, подобно тому, как и вы ничего не знаете о своей анатомии или физиологии, во всяком случае, не знали, пока не прочитали какого-нибудь учебника биологии. Но эта конструктивная сторона, вероятно, вас мало интересует, речь идет, скорее, о психике? О наших слабых местах.

— О слабых местах тоже. Но... видите ли, каждому в конце концов хоть что-то известно о своем организме, это не научные знания, они приобретаются в результате опыта, самонаблюдений...

— Конечно, ведь мы используем свой организм, живем в нем... Это дает возможности для наблюдения...

Барнс снова улыбнулся, показав ровные — но не слишком ровные — зубы.

— Значит, вы разрешите мне задавать вопросы?

— Прошу вас.

Пиркс попытался собраться с мыслями.

— Могут ли это быть вопросы... нескромные? Даже интимные?

— Мне скрывать нечего, — ответил Барнс просто.

— Встречались ли вы с такими реакциями, как потрясение, страх, отвращение, вызванные тем, что вы не являетесь человеком?

— Да, один раз во время операции, на которой я ассистировал. Другим ассистентом была женщина. Я уже знал тогда, что это такое.

— Не понял...

— Я уже знал тогда, что такое женщина, — объяснил Барнс. — Сначала мне ничего не было известно о существовании полов...

— А!

Пиркс разозлился на себя за то, что не сумел воздержаться от этого восклицания.

— Значит, там была женщина. И что же произошло?

— Хирург поранил мне палец скальпелем, резиновая перчатка расползлась, и было видно, что у меня не идет кровь.

— Как же так? Но Макгир говорил мне...

— Сейчас бы кровь пошла. Тогда я был еще «сухой», как говорят на своем жаргоне наши «родители»... — сказал Барнс. — Ведь это сплошной маскарад: внутренняя поверхность кожи сделана губчатой и пропитана кровью, причем процедуру пропитки нужно повторять довольно часто.

— Ага. И та женщина заметила? А хирург?

— О, хирург знал, кто я, а она нет. Она сообразила не сразу, только в конце операции, и то главным образом потому, что хирург смутился...

Барнс улыбнулся.

— Она схватила мою руку, поднесла ее к глазам и, когда увидела, что находится... внутри, оттолкнула ее и кинулась бежать. Она забыла, в какую сторону открывается дверь операционной, стала тянуть на себя, а дверь не открывалась, и у женщины началась истерика.

— Так, — сказал Пиркс и проглотил слюну. — Что вы тогда чувствовали?

— Вообще-то я чувствую не очень много... Но это не было приятно, — медленно сказал Барнс и опять улыб-

нулся. — Я ни с кем об этом не говорил, — добавил он немного погодя, — но у меня сложилось впечатление, что мужчинам, даже непривычным, легче общаться с нами. Мужчины мирятся с фактами. Женщины с некоторыми фактами не хотят примириться. Они продолжают говорить «нет», даже если ничего кроме «да» сказать уже невозможно.

Пиркс всё время смотрел на собеседника, особенно внимательно он вглядывался в него тогда, когда Барнс отводил глаза. Пиркс старался найти в нем какое-нибудь отличие, которое бы его успокоило, как доказательство того, что воплощение машины в человека всё-таки не идеально. Прежде, пока он подозревал всех, ситуация выглядела иначе. Теперь, когда с каждым мгновением оставалось всё меньше сомнений в правдивости Барнса, он доискивался признаков подделки то в его бледности, которая бросилась Пирксу в глаза еще при первой встрече, то в его сдержанных жестах, в неподвижном блеске светлых глаз, и наконец вынужден был сказать себе, что в конце концов встречаются и люди, такие же бледные или малоподвижные; и вновь возвращались сомнения, — и всем этим наблюдениям и мыслям Пиркса сопутствовала улыбка врача, которая вроде бы не всегда имела отношение к его словам, скорее, она показывала, что Барнс понимает чувства Пиркса. Эта улыбка вызывала у него досаду, сбивала с толку, и ему всё труднее было продолжать расспросы, оттого что Барнс в своих ответах был абсолютно, до конца откровенен.

— Вы обобщаете на основании одного случая, — буркнул Пиркс.

— О, потом я много раз имел дело с женщинами. Несколько женщин со мной работали, то есть учили меня. Они были преподавательницами. Но они знали заранее, кто я. И старались скрывать свои эмоции. Это давалось им нелегко, так как иногда мне доставляло удовольствие их дразнить.

Улыбка, с которой он смотрел Пирксу в глаза, была почти дерзкой.

— Знаете, они искали каких-то особых признаков, отличающих *in minus*¹, и, поскольку для них это было так важно, иногда я развлекался, демонстрируя такие признаки.

¹ В отрицательную сторону (лат.).

— Не понимаю.

— О, вы, несомненно, понимаете. Я изображал марионетку: и физически, некоторой угловатостью движений, и психически — пассивностью повиновения... Но когда они начинали упиваться этими открытиями, неожиданно обрывал игру. Думаю, они считали меня дьявольским созданием.

— А вы не предубеждены? Это только ваши домыслы. Не забывайте, если они были преподавательницами, они должны были получить соответствующее образование.

— Человек — существо абсолютно несобранное, — флегматично сказал Барнс. — Это неизбежно, если возникаешь так, как вы; сознание — это часть мозговых процессов, обособленная от них настолько, что субъективно воспринимается в виде некоего единства, но это единство всего лишь иллюзия интроспекции. Иные процессы, которые вздымают сознание, как океан — айсберг, не ощущаются непосредственно, однако они дают о себе знать, иногда настолько отчетливо, что сознание начинает их искать. Из таких именно поисков возникло понятие дьявола, как проекция во внешний мир того, что хотя существует и работает в человеке, в его мозгу, но чего не удается локализовать ни так, скажем, как мысль, ни так, как руку...

Он улыбнулся шире.

— Я излагаю кибернетические основы теории личности, которые вам, паверное, известны? Логическая машина отличается от мозга тем, что не может иметь одновременно несколько взаимоисключающих программ действия. Мозг может их иметь, он всегда их имеет, поэтому у святых он — поле сражения, у обыкновенных людей — выжженная пустыня... Нейронная сеть женщины несколько иная, чем у мужчины; я говорю не об интеллекте; впрочем, разница здесь только статистическая. Женщины легче переносят сосуществование противоречий, — обычно это так. Кстати, поэтому главным образом мужчины создают науку, ибо она — поиск единого, а следовательно, непротиворечивого порядка. Противоречивость мешает мужчинам больше, они стараются ее ликвидировать, приводя многообразие к однородности.

— Возможно, — сказал Пиркс. — Вы потому и считаете, что женщины видели в вас дьявола?

— Ну, это слишком сильно сказано, — ответил Барнс. Он положил руки на колени. — Я представлялся им

в высшей степени отталкивающим — и этим привлекал. Я был осуществлением невозможного, чем-то запретным, чем-то, что противоречит миру, понимаемому как естественный порядок, и страх их выражался не только в стремлении к бегству, но и в жажде самоуничтожения. Если даже ни одна из них не сказала себе этого достаточно отчетливо, я могу сказать за нее: я не представлял собою в их глазах покорности велениям биологии. Как олицетворенный бунт против Природы, как существо, в котором биологически рациональная, а значит, выгодная связь чувств с функцией продолжения рода оказалась разорванной. Уничтоженной.

Он быстро взглянул на Пиркса.

— Вы думаете, что это философия кастрата? Нет, поскольку я не был искалечен; значит, я существо не худшее, а лишь иное, чем вы. Существо, чья любовь будет — во всяком случае, может быть — так же бесполезна, так же ни на что не нужна, как смерть, и потому из ценного инструмента она превращается в ценность в себе. Ценность, разумеется, с отрицательным знаком — как дьявол. Почему так случилось? Меня создали мужчины, и им было легче соорудить потенциального соперника, нежели потенциальный объект страсти. А вы как думаете? Я прав?

— Не знаю, — сказал Пиркс. Он не смотрел на собеседника — не мог смотреть. — Не знаю. Решение диктовалось различными обстоятельствами, в первую очередь, пожалуй, экономическими.

— Вероятно, — согласился Барнс. — Но те, о которых я говорил, тоже оказали свое влияние. Только всё это огромная ошибка. Я говорил о том, что люди чувствуют по отношению ко мне, — но они лишь создают еще одну мифологию, мифологию нелинейника. Я вовсе никакой не дьявол, это как будто ясно, и не являюсь потенциальным эротическим соперником, что, возможно, уже менее ясно. Я выгляжу как мужчина, и говорю как мужчина, и психически, наверное, в какой-то степени мужчина, но только в определенной степени... Однако это уже не имеет почти ничего общего с делом, по которому я к вам пришел.

— Неизвестно, неизвестно, — бросил Пиркс. Он попрежнему смотрел на свои сплетенные руки. — Продолжайте, пожалуйста...

— Если хотите... Но я буду говорить только от своего имени. О других я ничего не знаю. Я формировался как

личность в два этапа: в результате предварительного программирования и в результате обучения. Человек формируется так же, но первый фактор играет для него меньшую роль, ибо он появляется на свет едва развитым, я же физически сразу был создан таким, как сейчас, и мне не пришлось учиться так долго, как ребенку. А из-за того, что я не знал ни детства, ни созревания и был лишь мултистатом, в который сначала вложили большую порцию предварительной программы, а потом разнообразно тренировали и набили множеством информации — из-за этого я стал более однородным, чем кто-либо из вас. Ведь каждый человек — это ходячая геологическая формация, которая прошла через тысячу эпох разогрева и тысячу застывания, когда пласты оседали на пластах: сначала самый последний, ибо он был первым, а потому ни с чем не сравнимым — мир до познания речи, который гибнет потом, поглощенный ею, но который еще теплится где-то у дна; это нашествие в мозг красок, форм и запахов, вторжение через органы чувств, открывшиеся сразу после рождения; только позднее происходит разделение на мир и не-мир, или на не-я и я. Ну а затем эти потоки гормонов, эти противоречивые и разнородные программы взглядов и влечений, — история формирования личности является историей войн: мозг против самого себя. Всех этих безумств и отречений я не знал, я не прошел таких этапов, и потому во мне нет и следа ребенка. Я способен волноваться и, вероятно, мог бы даже убить, но не из-за любви. Слова в моих устах звучат так же, как в ваших, но значат для меня нечто иное.

— Значит, вы не способны любить? — спросил Пиркс. Он по-прежнему смотрел только на свои руки. — Но откуда такая уверенность? Этого никто не знает до того момента...

— Ничего подобного я не хотел сказать. Возможно, и способен. Но это означало бы что-то совершенно другое, чем у вас. Два чувства не покидают меня никогда: удивления и одновременно иронии. И происходит это, я думаю, потому, что тем признаком вашего мира, который повсюду бросается мне в глаза, является его условность. Условны не только формы машин и ваши обычаи, но также и ваш облик, который послужил образцом для моего. Я вижу, что всё могло бы выглядеть иначе, быть иначе построено, иначе действовать и не стало бы от этого ни лучше, ни хуже. Для вас мир прежде всего про-

сто есть, он существует как единственная возможность, а для меня, с тех пор как я вообще научился думать, мир не только был, но был смешон. Я имею в виду ваш мир — городов, театров, улиц, семейной жизни, биржи, любовных трагедий и кинозвезд. Хотите услышать мое любимое определение человека? Существо, которое охотнее всего говорит о том, о чем меньше всего знает. Отличительная черта древности — вездесущность мифологии, а современной цивилизации — ее отсутствие. Не так ли? Но откуда выводятся на самом деле ваши наиболее фундаментальные понятия? Греховность вопросов тела — это следствие давнишнего эволюционного решения, которое в результате экономии средств соединило функции выделений и половые в одной и той же системе органов. Религиозные и философские взгляды — следствие вашей биологической конструкции, ибо существование людей ограничено во времени, а они хотят в каждом поколении познать всё, понять всё, объяснить всё, — из этого противоречия родилась метафизика — как мост, соединяющий возможное с невозможным. А наука? Она прежде всего является примиренчеством. Обычно подчеркиваются ее достижения, но они приходят медленно и даже не сравнимы с колоссальностью утраты. Таким образом, наука не что иное, как согласие на смертность и ничтожность индивидуума, возникающего из статистической игры борющихся за первенство оплодотворения сперматозоидов. Согласие на бренность, на неотвратимость, на отсутствие возмездия и высшей справедливости, и окончательного познания, окончательного понимания всего существующего, — и это делало бы ее даже героической, если бы не одно обстоятельство. Творцы науки слишком часто не отдают себе отчета в том, что они в действительности делают. Имея возможность выбора между страхом и пронией, я выбрал пронию, потому что мог это себе позволить.

— Вы несправедливы к тем, кто вас создал, правда? — тихо спросил Пиркс.

— Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше, чем небытие. Они, эти мои конструкторы, наверняка многого не могли предвидеть, но больше всего, больше даже чем за интеллект, я им благодарен за то, что они отказали мне в центре наслаждений. Есть такой центр в вашем мозгу, вы знаете об этом?

— Что-то такое читал...

— У меня его, по-видимому, нет, и потому я не становлюсь тем безногим, который мечтает лишь об одном — ходить... Только ходить, так как это невозможно.

— Все остальные смешны, да? — подсказал Пиркс. — А вы?

— О, я тоже. Только по-другому. Каждый из вас, раз уж он существует, обладает таким телом, какое ему дано, и всё, — а я мог бы выглядеть, например, как холодильник.

— Не вижу в этом ничего смешного, — буркнул Пиркс. Разговор утомлял его всё больше.

— Речь идет об условности, о случайности, — повторил Барнс. — Наука — это отказ от различных абсолютов; от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной, души, абсолютного, ибо сотворенного богом, тела. Таких условностей, которые вы принимаете за нечто реальное, ни от чего не зависящее, гораздо больше.

— Что еще условно? Этические принципы? Любовь? Дружба?

— Чувства никогда не бывают условны, хотя могут возникать как следствие условных, общепринятых предположений. Но я-то говорю о вас только потому, что при таком сопоставлении мне легче рассказать, каков я сам. Этика, без сомнения, условна, во всяком случае для меня. Я не обязан поступать этично, и всё же я делаю это.

— Любопытно. Почему?

— У меня нет какого-то инстинкта добра. Я не способен испытывать чувство жалости, так сказать по природе. Но я знаю, когда полагается жалеть, и в состоянии к этому привыкнуть. Я решил, что так нужно. Следовательно, логические рассуждения позволили мне как бы заполнить пустоту в себе. Вы можете сказать, что у меня «искусственная этика», что я просто чрезвычайно тщательно ее разработал, и она стала «как настоящая».

— Я не очень понимаю. В чем же заключается разница?

— В том, что я поступаю согласно логике принятых аксиом, а не согласно инстинктам. У меня таких инстинктов нет. Одна из ваших бед заключается в том, что, кроме них, вы почти ничего не имеете. Не знаю, возможно, когда-то этого было достаточно, но сейчас наверняка мало. Как проявляется на практике так называемая любовь к ближнему? Вы сжалитесь над жертвой несчастного

случая и поможете ей. Ну а если перед вами будет десять тысяч жертв сразу, вашей жалости на всех не хватит. Сочувствие не слишком вместительно и не слишком растяжимо. Оно хорошо, пока речь идет о единицах, и бес- сильно, когда дело касается массы. И именно развитие технологии все эффективнее разрушает вашу мораль. Атмосфера этической ответственности охватывает лишь первые звенья цепи причин и следствий — звенья весьма немногочисленные. Тот, кто приводит процесс в действие, совершенно не чувствует себя ответственным за его отда- ленные результаты.

— Атомная бомба?

— О, это только один из тысячи вопросов. В сфере моральных явлений вы, возможно, смешнее всего.

— Почему?

— Мужчинам и женщинам, о которых известно, что они произведут на свет неполноценное потомство, разре- шается иметь детей. Это разрешено моралью.

— Барнс, но это никогда точно не известно, самое большее — весьма вероятно.

— Но мораль является детерминистической, как бух- галтерская книга, а не статистической, как космос. Коман- дор, так можно рассуждать целую вечность. Что вы еще хотите знать обо мне?

— Вы соперничали с людьми в различных экспери- ментальных ситуациях. Всегда ли вы побеждали?

— Нет. Я действую тем лучше, чем больше алгорит- мизации, математики и точности требует задание. Интуи- ция — самая слабая моя сторона. Сказывается происхож- дение от цифровых машин...

— Как это выглядит практически?

— Если ситуация чрезмерно усложняется, если ко- личество новых факторов становится слишком велико, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, в таких слу- чаях пытается положиться на догадку, то есть на при- ближенное решение, и иногда это ему удастся, я на это не способен. Я должен учесть всё точно, сознательно, а если не могу — проигрываю.

— То, что вы сказали, очень важно, Барнс. Значит, скажем, в аварийной ситуации, во время катастрофы?..

— Это гораздо сложнее, командор. Ведь я не испы- тываю страха, во всяком случае, в том смысле, как че- ловек, и хотя угроза гибели мне, разумеется, не безраз- лична, я, что называется, не теряю головы, и обретенное

таким образом равновесие может скомпенсировать недостаток интуиции.

— Вы пытаетесь оставаться хозяином положения до конца.

— Да, даже тогда, когда вижу, что проиграл.

— Зачем? Разве это не иррационально?

— Это только логично, потому что я так для себя решил.

— Благодарю вас. Возможно, вы действительно мне помогли, — сказал Пиркс. — И еще только один вопрос: что вы собираетесь делать после нашего возвращения?

— Я кибернетик-невролог, и неплохой. Творческих способностей у меня мало, они неотделимы от интуиции, но я найду достаточно интересной работы.

— Благодарю вас, — повторил Пиркс.

«О господи, на кой мне всё это черт?! Вот теперь-то я совсем ничего не знаю. Либо это робот... Пожалуй, он всё-таки говорил правду. Но откуда такая словоохотливость? Вся история человечества плюс «критика извне»... Положим, он говорил правду. В таком случае, нужно спровоцировать предельно запутанную ситуацию. Но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что это дело моих рук. Значит, она должна быть реальной, в общем, придется играть с огнем. Опасность, вызванная, может быть, и искусственно, но сама по себе настоящая?»

Он ударил кулаком по ладони.

«А если это тоже был тактический маневр? Тогда, возможно, я сверну себе шею и убью заодно всех людей, а корабль приведут в порт роботы, с которыми ничего не случится. Ну, это привело бы тех господ в величайший восторг — какая потрясающая реклама! Какая гарантия безопасности для кораблей, обслуживаемых такими командами! Разве не так? Значит, с их точки зрения, такой шаг — купить меня на честность — был бы страшно эффективным».

Он ходил всё быстрее.

«Я должен как-то проверить, правда ли это. Допустим, в конце концов я разберусь со всеми. На борту есть аптечка. Я мог бы ввести каждому в пищу по капле апоморфина. Люди заболеют, а нелинейники, очевидно, нет. Безусловно, нет. Но что мне это даст? Во-первых, почти наверняка все догадаются, кто это сделал. Кроме того, даже если Броун действительно человек, а Барнс — нет,

из этого еще вовсе не следует, что *всё*, рассказанное ими, соответствует истине. Может, о себе они сообщили правду, но всё остальное служило их стратегической цели. Стоп. Слова Барнса о недостатке интуиции и впрямь указывают определенный путь. Но Броун? Он бросил подзорное на Барнса. Именно на Барнса, который тут же приходит и подтверждает его правоту. Не слишком ли всё гладко? С другой стороны, если это не было запланировано, если каждый из них действовал по собственной инициативе, тогда и то, что сначала Броун назвал Барнса, и то, что потом Барнс сам явился со своим признанием, — чистая случайность. Планируя операцию, они наверняка бы избежали такого примитивизма: слишком уж он бросается в глаза. Я начинаю запутываться! Стоп. Вот если сейчас еще кто-нибудь пожалует, значит, всё было липой. Игрой. Да только, наверно, никто не придет — интрига стала бы чересчур прозрачной, не дураки же они. Ну а если Броун и Барнс говорили правду? Ведь, может, и еще кому-нибудь захотеться...

Пиркс второй раз стукнул кулаком по ладони. Итак, просто ничего неизвестно. Надо ли действовать? Как действовать? Может, еще подождать? Пожалуй, следует подождать.

Во время обеда в кают-компании было очень тихо. Пиркс вообще ни к кому не обращался, он всё еще боролся с соблазном произвести «химическую пробу», о которой недавно размышлял, и не мог принять однозначного решения. Броун нес вахту, ели впятером. Ели все, и Пиркс подумал, что это чудовищно — есть только для того, чтобы прикинуться человеком. Возможно, именно здесь источник того ощущения смехотворности всего происходящего, о котором говорил Барнс и которое попросту стало для него средством самозащиты. И отсюда же — болтовня об условности мира — вероятно, потребление пищи для него тоже только условный прием. Если Барнс верит в то, что не испытывает ненависти к своим создателям, он обманывает самого себя. «Я бы ненавидел, — с уверенностью подумал Пиркс. — Это всё-таки свинство, что им не стыдно!»

Молчание становилось непереносимым: в нем было не столько стремление каждого замкнуться в себе и не вступать в контакты, — как того и желали организаторы рейса, — то есть не лояльности, заставляющей заботиться о сохранении тайны, сколько какой-то всеобщей враждеб-

ности или, во всяком случае, подозрительности; человек не хотел сближаться с нечеловеком, а тот, в свою очередь, понимал, что, только заняв такую же позицию, он избежит разоблачения. Стоило кому-нибудь в этой ледяной атмосфере повести себя хоть чуточку навязчиво, он сразу же привлек бы к себе внимание и вызвал подозрения, что он нечеловек. Пиркс сидел над своей тарелкой, подмечая каждую мелочь: как Томсон попросил соль, как ее подал Бертон, как в свою очередь Барнс пододвинул Бертону графинчик с уксусом, вилки и ножи проворно мелькали в руках, каждый жевал, глотал, почти не глядя на остальных, — это было какое-то погребение маринованной говядины, и Пиркс, не доев компота, встал, кивнул головой и вернулся к себе.

Они шли с крейсерской скоростью. Около двадцати часов по бортовому времени встретили два больших транспорта и обменялись с ними обычными сигналами, через час автоматы выключили на палубах дневной свет. В этот момент Пиркс как раз шел из рубки. Огромное пространство средней палубы залил мрак, продырявленный голубыми шарами ночных ламп. Одновременно загорелись покрытые светящейся краской тросы, натянутые вдоль стен для передвижения при невесомости, уголки дверей, их ручки и указательные стрелки и надписи на переборках. Корабль застыл в полной неподвижности, будто он находился в каком-нибудь земном доке. Не чувствовалось ни малейшей вибрации, только почти бесшумно работали кондиционеры, и Пиркс то и дело проходил сквозь невидимые потоки воздуха, который был немного прохладнее и очень слабо пах озоном.

Что-то с ядовитым жужжанием легонько ударило его в лоб, какая-то муха, без билета проникшая на корабль. Пиркс с неудовольствием поднял глаза — он не любил мух, — но не разглядел ее. За поворотом коридор сужался, огибая трап и цилиндр пассажирского лифта. Пиркс взялся за поручень и, сам не зная зачем, направился наверх; он даже не подумал о том, что там находится звездное окно. Конечно, он знал о его существовании, но наткнулся на этот черный большой прямоугольник как бы случайно. В сущности, у него не было определенного отношения к звездам. Но у многих космонавтов якобы такое отношение было. Правда, это уже не имело ничего общего с безусловно обязательным романтическим «шпиком» давних полетов, но, вероятно, в результате того, что

общественное мнение, формировавшееся кинофильмами, телевидением и литературой, ожидало от внеземных судоходцев какой-то «космической позиции», чуть ли не каждый из них старался отыскать в себе что-то вроде интимности, будто бы связывающей его с гигантским светящимся роem. В сущности, Пиркс подозревал, что все, кто так говорит, просто привирают, — лично его звезды мало трогали, а уж всякие разглагольствования на эту тему он считал полным идиотизмом. Сейчас Пиркс стоял опершись на эластичную трубу, предохранявшую голову от удара о невидимую плоскость стекла; он сразу нашел лежащий ниже корабля центр Галактики, вернее, направление на него, сам центр скрывался за огромной белесой туманностью Стрельца — созвездия, которое было для Пиркса чем-то вроде немного размытого и потому не слишком точного дорожного знака. Это у него осталось еще от патрульных полетов: ограниченность поля зрения в одноместных ракетах часто затрудняла ориентировку по созвездиям, а туманные скопления Стрельца можно было различить даже на небольшом экране. Но обычно он не думал о Стрельце, как о миллионах пылающих миров с бесчисленными планетными системами, — вернее, он думал так по молодости, пока не очутился в пустоте и не свыкся с ней. Тогда эти юношеские фантазии как-то незаметно покинули его. Пиркс медленно приблизил лицо к холодной пластине, коснулся ее лбом и застыл, не очень внимательно рассматривая множество мерцающих точек, местами сливающихся в светящиеся облака. Увиденная изнутри Галактика казалась хаосом, результатом миллиарднолетней беспорядочной игры в огненные кости. И всё-таки порядок существовал, но на высшем уровне, уровне целых Галактик, заметить его можно было только на фотографиях, сделанных гигантскими рефлексорами. Галактики выглядят на негативах как эллиптические тельца, как амебы в различных фазах развития; да только они вообще не интересуют космонавтов, — родная Галактика для них всё, остальные не в счет. «Может, и будут в счет через тысячу лет», — подумал Пиркс.

Кто-то шел в его направлении. Пенопластовая дорожка заглушала шаги, но он ощутил чье-то присутствие. Пиркс обернулся и увидел на фоне светящихся полос, обозначающих стык потолка и стен, темную фигуру.

— Кто это? — спросил он вполголоса.

— Это я, Томсон.

— Уже сдали вахту? — спросил Пиркс, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Да, командор.

Они постояли молча; Пиркс хотел снова повернуться к окну, но Томсон, казалось, чего-то ждал.

— Вы хотите мне что-нибудь сказать?

— Нет, — сказал Томсон, отвернулся и двинулся обратно.

«А это еще что?» — подумал Пиркс. Томсон, похоже, разыскивал его.

— Томсон! — позвал Пиркс в темноту.

Он снова услышал звук шагов. Появился Томсон, едва видимый в фосфорическом свете неподвижно свисающих тросов.

— Тут где-то есть кресла, — сказал Пиркс. Он подошел к противоположной стене и увидел их. — Садитесь-ка, Томсон.

Тот послушно подошел. Они уселись лицом к звездному окну.

— Вы хотели мне что-то сказать. Слушаю вас.

— Боюсь... — начал тот и остановился.

— Ничего. Говорите. Это личное дело?

— Да. Как нельзя более...

— Значит, поговорим совершенно неофициально. Итак?

— Я хотел бы, чтобы вышло по-вашему, — сказал Томсон. — Оговорюсь сразу: я должен сдержать данное слово и не скажу вам, кто я. Но так или иначе — я хочу, чтобы вы видели во мне союзника.

— Разве это логично? — спросил Пиркс.

Он понял, как неудачно выбрано место для разговора. Ему мешало то, что лицо собеседника скрывает темнота.

— А почему бы и нет. Человек заинтересован в этом по вполне понятным причинам, а не человеку... ну что его ждет, если начнется массовое производство? Его отнесут к категории граждан второго сорта, попросту — современных невольников; он будет собственностью какой-нибудь корпорации.

— Это еще неизвестно.

— Но весьма возможно.

— Ну ладно. Значит, я должен считать вас союзником? Но разве этим вы не нарушаете данного слова?

— Я обязался не выдавать того, кто я, и ничего кроме

этого. Я должен под вашим командованием выполнять функции инженера. Это всё. Остальное — мое личное дело.

— Ну, если так рассуждать, возможно, формально всё и в порядке, но разве вы не действуете вопреки интересам своих работодателей? Думаю, вам ясно, что вы поступаете вопреки их намерениям?

— Очень может быть. Но они не дети; формулировки контракта были ясными и однозначными. Их совместно разработали юридические отделы всех заинтересованных фирм. Они могли включить особый параграф, запрещающий предпринимать такие шаги, но ничего подобного там не было.

— Недосмотр?

— Не знаю. Не исключено. Почему вы так об этом расспрашиваете? Вы мне не доверяете?

— Я хотел разобраться в ваших побуждениях.

Томсон немного помолчал.

— Я не принял этого во внимание, — сказал он наконец тихо.

— Чего?

— Того, что вы можете счесть мое поведение неискренним. Решить, что это — ну скажем, заранее запланированная уловка. Значит, дело обстоит так: вы вступаете в игру, в которой принимают участие две стороны: одна — вы, а другая — все мы. Таким образом, если бы вы разработали какой-то план действий, чтобы подвергнуть нас испытанию — я имею в виду испытание, которое могло бы, предположим, доказать превосходство человека, — и если бы вы открыли свой план одному из нас, приняв его за союзника, а он в действительности находился бы в противном лагере, то он вырвал бы у вас из рук стратегически ценную информацию.

— То, что вы говорите, очень интересно.

— О, вы наверняка должны были об этом подумать. Мне это пришло в голову только сейчас, — очевидно, я был слишком поглощен самой проблемой, следует ли мне предложить вам свои услуги в качестве вашего сторонника или нет. Этот аспект столкновения я потерял из виду. Да, я, конечно, сделал глупость, так или иначе, вы не можете быть со мной откровенны.

— Допустим, — сказал Пиркс. — Но это еще не катастрофа. Хотя я вам и вправду ничего не расскажу, но вы мне можете рассказать кое-что. Например, о своих коллегах.

— Но ведь я могу дать ложную информацию, чтобы ввести вас в заблуждение.

— Предоставьте разбираться в этом мне. Вы что-нибудь знаете?

— Да. Броун — не человек.

— Вы уверены?

— Нет. Но это очень вероятно.

— У вас есть какие-нибудь данные, подтверждающие ваши слова?

— Вы, очевидно, понимаете, что каждому из нас просто любопытно, кто из остальных человек, а кто нет.

— Да.

— Во время подготовки к старту, я проверял реактор. Когда вы, Кэлдер, Броун и Барнс спустились в распределительный отсек, я как раз заменял бленды, и при виде вас мне в голову пришла одна мысль.

— Да?

— У меня под рукой была проба, взятая из горячей камеры реактора, мне нужно было проверить остаточное загрязнение. Не очень высокой активности, но я знал, что там много изотопов стронция, и когда вы входили, взял пробу пинцетом и вложил между двумя свинцовыми блоками, которые стояли на верхней полке, у стены. Вы их не заметили?

— Заметил. И что дальше?

— Естественно, я не мог установить их точно, но в любом случае вы все должны были пересечь пучок излучения — оно было довольно слабым. Тем не менее его заметил бы всякий, кто имел при себе даже малочувствительный счетчик Гейгера или обычный индикатор. Я не успел этого сделать вовремя, вы и Барнс уже прошли дальше, а Кэлдер и Броун еще спускались по трапу. Только они и прошли сквозь этот невидимый луч. Так вот, Броун вдруг посмотрел в сторону свинцовых блоков и ускорил шаги.

— А Кэлдер?

— Он не отреагировал.

— Это имело бы значение, если бы было известно, что нелинейники обладают индикатором излучений.

— Вы хотите меня поймать? Вы думаете, что если я не знаю, есть ли у них такой индикатор, то я человек, а если знаю — нет. Ничего подобного, это просто очень вероятно, — не имей они никакого преимущества перед людьми, зачем бы их надо было вообще создавать? Та-

кой дополнительный орган, чувствительный к радиоактивности, может оказаться весьма полезным, особенно на корабле, и конструкторы наверняка об этом подумали.

— Значит, вы говорите, что у Броуна есть такой орган?

— Повторяю: у меня нет уверенности. В конце концов то, что он заспешил и посмотрел в сторону, могло произойти случайно, но в данном случае чистая случайность кажется мне маловероятной.

— Что еще?

— Пока ничего. Я дам вам знать, когда что-нибудь замечу, если вы этого хотите.

— Хорошо. Благодарю вас.

Томсон встал и ушел в темпоту. Пиркс остался один.

«Значит, так, — прикидывал он быстро. — Броун утверждает, что он человек, Томсон доказывает, что это не так. О себе Томсон, правда, ничего не сказал, но, пожалуй, намекнул, что он человек, — во всяком случае, такое допущение делает его поведение более объяснимым. С моей точки зрения, нечеловек не выдал бы так охотно другого нечеловека командиру-человеку, — впрочем, не исключено, что я уже достаточно близок к шизофрении, чтобы мне всё казалось возможным. Идем дальше. Барнс говорит, что он нечеловек. Остаются еще Бертон и Кэлдер. Может, они оба считают себя марсианами? Кто я, собственно: космонавт или отгадчик шарад? Но одно, пожалуй, ясно: ни один из них не выжал из меня ни капли информации о моих намерениях. Хотя тут особенно гордиться нечем: ведь я ничего никому не сказал не потому, что я такой хитрый, просто у меня нет ни малейшего представления, как действовать. В конце концов разве самое важное установить, кто есть кто? Пожалуй, нет. Нужно махнуть на это рукой; всё равно я должен подвергнуть какому-нибудь испытанию всех, а не только некоторых. Единственную информацию, которая имеет к этому отношение, дал Барнс — нелпнейники слабы в интуиции. Правду ли он сказал — я не знаю, но почему не попробовать. Только организовать это следует так, чтобы всё выглядело предельно естественно. А по-настоящему естественно будет выглядеть лишь такая опасность, при которой гибель почти неизбежна. Одним словом, нужно рискнуть головой».

Сквозь лиловый полумрак Пиркс вошел в каюту и поднял руку к выключателю. Нажимать на него не тре-

бывалось, свет включился от приближения руки. В его отсутствие сюда кто-то заходил. На столе вместо книг, которые там лежали раньше, белел небольшой конверт с адресом, напечатанным на машинке: «Командору Пирксу». Пиркс взял его. Конверт был заклеен. Пиркс закрыл дверь, сел и разорвал конверт, — в нем находилось неподписанное, отпечатанное на машинке письмо. Пиркс потер лоб рукой и начал читать. Никакого обращения не было.

«Это письмо вам пишет член экипажа, который не является человеком. Я выбрал такой путь, поскольку он объединяет мои интересы с вашими. Мне было бы желательно, чтобы вы сорвали или затруднили реализацию планов электронных фирм. Поэтому я хочу сообщить вам информацию о свойствах нелинейников, насколько они мне известны по собственному опыту. Я написал письмо еще в гостинице, прежде чем вас увидел. Тогда я еще не знал, будет ли человек, который должен стать командиром «Голиафа», готов со мной сотрудничать, однако по вашему поведению при первой встрече понял, что вы желаете того же самого, что и я. Поэтому я уничтожил первый вариант письма и написал это. По моему мнению, реализация проекта фирм не обещает мне ничего хорошего. Вообще говоря, производство нелинейников имеет смысл лишь при условии, что эти искусственные существа превосходят человека в широком диапазоне параметров. В противном случае они никому не нужны. Сразу довожу до вашего сведения, что я вчетверо легче переношу перегрузки, доза излучения до семидесяти пяти тысяч рентген не приносит мне вреда, у меня имеется орган (индикатор), чувствительный к радиоактивности, я не нуждаюсь в кислороде и пище, наконец, я способен проделывать в уме, без какой-либо помощи, математические действия в области анализа, алгебры, геометрии со скоростью лишь в три раза меньшей, чем скорость больших вычислительных машин. По сравнению с человеком, насколько мне удастся это оценить, я в значительной степени лишен эмоциональной жизни. Множество вещей, всецело поглощающих человека, мне безразличны. Большинство литературных произведений, театральных пьес и т. п. я воспринимаю как неинтересные либо нескромные сплетни, как своего рода подглядывание в замочную скважину. Причем с познавательной точки зрения всё это приносит ничтожно малую пользу. Зато очень много зна-

чит для меня музыка. Мне свойственно также чувство ответственности, стойкость, я способен на дружбу и уважение интеллектуальных достоинств. У меня нет ощущения, будто я выполняю свои обязанности на борту «Голиафа» по принуждению, так как я делаю то единственное, что хорошо умею, а делать что-либо добросовестно доставляет мне удовольствие. Не существует ситуаций, которые я воспринимал бы эмоционально. Я всегда остаюсь наблюдателем происходящего. Я обладаю памятью, не сравнимой с человеческой. Я могу цитировать целые главы из однажды прочитанных произведений, могу «заряжаться информацией», непосредственно подключаясь к блоку памяти большой вычислительной машины. Могу также произвольно забывать то, что сочту излишним держать в памяти. Мое отношение к людям негативно. Я сталкивался почти исключительно с учеными и техниками — даже они действуют под влиянием импульса, плохо скрывают предубеждения, легко впадают в крайности, относясь к такому существу, как я, либо покровительственно, либо, наоборот, с отвращением, неприязнью, причем мои неудачи огорчали их, как моих создателей, и радовали, как людей (всё же они совершеннее меня!). Я знал только одного человека, который не проявлял подобной двойственности. Я не агрессивен и не коварен, хотя и способен на непонятные для вас поступки, если они ведут к намеченной цели. У меня нет никаких так называемых моральных принципов, но я не стал бы совершать преступления или планировать грабеж. Это столь же нелепо, как использовать микроскоп, чтобы колоть орехи. Вмешиваться в мелочные человеческие интриги я считаю пустым занятием. Сто лет назад я решил бы, наверное, сделаться ученым; сегодня в науке уже нельзя работать в одиночку, а не в моей натуре делиться чем-либо с кем бы то ни было. Ваш мир для меня ужасно пустын и достоин быть ставкой в игре только как целое; демократия — это владычество интриганов, выбранных глупцами, и вся ваша алогичность проявляется в погоне за невозможным — вы жаждете, чтобы шестеренки часов определяли ход времени! Я задумывался над тем, что мне дала бы власть. Очень немного: невелика честь господствовать над такими существами; немного, но больше, чем ничего. Итак, поделить всю вашу историю на две эпохи — до меня и начиная с меня, изменить ее абсолютно, разорвать на две несвязанные части, чтобы вы

постигли и запомнили, что совершили собственными руками, создавая меня, на что отважились, когда задумали сделать преданную человеку куклу, — по-моему, это будет недурное возмездие. Только не поймите меня ложно — я вовсе не собираюсь стать каким-то тираном, мучить, уничтожать, вести войны! Ничего подобного. Когда я достигну власти, я продемонстрирую, что нет ни безумия столь бессмысленного, ни идеи так явно абсурдной, — лишь бы она была соответственно подана, — которую вы не приняли бы за свою. И я добьюсь своей цели не с помощью насилия, а полным переустройством общества, чтобы не я, не сила оружия, но сама единожды созданная ситуация вынуждала вас к поступкам, всё более совпадающим с моим замыслом. Весь мир превратится в театр, но, как это бывает с вами всегда, участие в спектакле, сначала навязанное, быстро станет вашей второй натурой, и вскоре вы уже не будете знать ничего, кроме своих новых ролей, а я буду единственным, понимающим смысл происходящего, зрителем. Только зрителем, ибо из ловушки, построенной своими руками, вам не выбраться, и мое активное участие в этом превращении закончится. Как видите, я достаточно откровенен, однако я не безумец, и потому не раскрою деталей моего плана; для его выполнения нужно прежде всего похоронить проект электронных фирм, и вы мне в этом поможете. Мое письмо возмутит вас, но, будучи, как говорится, человеком с характером, вы решите и дальше действовать выгодным для меня — в силу случайных обстоятельств — образом. Отлично! Я хотел бы вам конкретно помочь, но это нелегко, поскольку, увы, я не замечаю в себе таких изъянов, которые позволили бы вам добиться безусловного успеха. Я ничего не боюсь, мне незнакомо чувство физической боли, я могу произвольно выключить сознание, впадая в какое-то подобие сна, равноценного небытию, до тех пор, пока автоматический таймер не включит мое сознание снова. Я способен замедлять и ускорять процессы мышления почти шестикратно по сравнению с темпом мозговых процессов у людей. Всему новому я обучаюсь с величайшей легкостью, так как не нуждаюсь в постепенной тренировке; если бы, скажем, я один раз вблизи и внимательно понаблюдал сумасшедшего, я мог бы немедленно сделаться таким же, копируя любые его действия и слова. И, что важнее всего, даже через много лет так же внезапно прекратить эту игру. Я с удовольствием

объяснил бы вам, как меня победить, но опасаясь, что в такой ситуации легче победить человека. Для меня не представляет никакой трудности общение с людьми, если я себе это прикажу; сосуществовать с другими нелинейниками мне было бы сложнее, — им недостает вашей базальной «порядочности». Пора кончать письмо. Исторические события когда-нибудь подскажут вам, кто его написал. Возможно, мы встретимся, и тогда вы сможете на меня рассчитывать, ибо в данный момент я рассчитываю на вас».

На этом письмо кончалось. Пиркс еще раз перечитал некоторые его куски, потом старательно сложил бумагу, спрятал ее в конверт и сунул в ящик.

«Ну и ну! Прямо электронный Чингисхан, — подумал он. — Обещает мне протекцию, когда станет владыкой мира! Благодетель! Либо Барнс вообще говорил неправду, либо он немного иной, либо не захотел сказать мне всего, ведь кое-какие совпадения есть, и даже явные! Что за мерзкая, холодная, пустая натура... Но разве это его вина? Классический «ученик чародея»! Я бы не позавидовал этим господам инженерам, если бы он до них добрался. Да что там инженеры, — ему подавай всё человечество! Кажется, это называется паранойя... Нелинейник у них получился первый сорт, ничего не скажешь! Чтобы найти покупателей, им пришлось наделить свое «изделие» особыми достоинствами, а то, что преимущество в том или ином отношении вызывает появление чувства абсолютного превосходства, уверенность в своем высшем предназначении, — это только простое следствие... Всё-таки кибернетики психи! Любопытно, кто же написал письмо, пожалуй, здесь-то уж без подделки? А то зачем бы ему... Он всё время подчеркивает свое превосходство. А из этого следует, что — раз уж он *должен* остаться совершенством до конца — мои усилия неизбежно обречены на провал... И всё же он желает мне успеха? Он, видите ли, знает, как справиться с человечеством, и не может подсказать, как мне справиться с положением на этом чертовом корабле. «Не стал бы микроскопом колоть орехи»... Вот положеньице, а может, всё это тоже только для того, чтобы меня запутать?»

Он вынул из ящика конверт, внимательно его осмотрел — никаких надписей, пятен, ничего. «Почему Барнс не говорил об этих гигантских отличиях? Орган, воспринимающий радиоактивность, темп мышления и прочие

штучки... Надо бы расспросить его. Но все они, кажется, выпущены разными фирмами, значит, Барнс может быть и вправду сконструирован иначе? Данных у меня вроде бы всё больше: похоже, это написал Бертон или Кэлдер... Ну а как же обстоит дело в действительности? Насчет Броуна имеются два взаимоисключающих утверждения: его собственное, что он человек, и Томсона, что это не так, но Томсон мог и ошибиться. Барнс — нелинейник? Предположим. Похоже на то, что в команде минимум два нелинейника из пяти. Хм, принимая во внимание количество фирм, вероятнее всего, их трое. Как они там рассуждали? Что я не остановлюсь ни перед чем, лишь бы выставить их продукцию в неприглядном свете, что мне это не удастся и я загоню корабль в какую-нибудь историю. Скажем: перегрузка, авария реактора, что-нибудь в этом роде. Если при этом выйдут из строя оба пилота, ну и я тоже, корабль пропал. Это им ни к чему! Значит, минимум один пилот обязательно нелинейник. Кроме того, необходим еще ядерник. Вообще, чтобы маневрировать при посадке, нужны как минимум двое. Значит, самое меньшее двое, но вероятнее — трое: Барнс, Броун или Бертон и кто-то еще. К дьяволу, я решил больше этим не заниматься. Важнее всего — что-нибудь придумать. О господи, я должен это сделать. Должен!»

Он погасил свет, лег не раздеваясь на койку и принялся перебирать невероятные проекты и отбрасывать их один за другим.

«Необходимо их как-то спровоцировать. Спровоцировать и посорить, но так, чтобы это произошло вроде бы естественно, без моего участия. Чтобы людям пришлось встать по одну сторону, а нелюдям — по другую. *Divide et impera*¹, или как там? Расслаивающая ситуация. Вначале должно произойти что-то неожиданное, иначе ничего не выйдет. Но как это устроить? Скажем, кто-нибудь внезапно исчезает. Нет, это совсем как в идиотском детективном фильме. Я ведь никого не убью и похищать тоже не стану. Значит, он должен быть со мной в сговоре. Но разве я могу кому-нибудь из них доверять? Вроде бы на моей стороне целых четверо — Броун, Барнс, Томсон и автор письма. Ни на кого из них положиться нельзя: ведь неизвестно, насколько они искренни. А если я возьму в сообщники кого-нибудь, кто начнет портить мою

¹ Разделяй и властвуй (лат.).

игру, мне придется худо! Томсон верно говорил. Может, надежнее всех автор письма, — очень уж для него это важно, хотя он и метит в сумасшедшие. Но, во-первых, я не знаю, кто он, а он не захочет выдать себя, а во-вторых, с таким всё-таки лучше не связываться. Квадратура круга, ей-богу. Разбить корабль на Титане, что ли? Физически, они, кажется, действительно покрепче, значит, прежде всего я сверну шею себе. В смысле интеллекта они тоже не похожи на дураков; только вот интуиция... отсутствие творческих способностей... Но ведь и большинство людей их не имеет! Итак, что мне остается? Раз не выходит с интеллектом — состязаться в эмоциях? В так называемом гуманизме? Человечности? Отлично, но как это сделать? В чем заключается эта человечность, которая у них отсутствует? Может, и в самом деле она — только синтез алогичности с этой самой порядочностью, этим «благородным сердцем» и примитивизмом морального порыва, который не охватывает дальних звеньев причинной цепи? Поскольку вычислительные машины не являются ни благородными, ни алогичными... Выходит, при таком толковании человечность — это сумма наших дефектов, изъянов, нашего несовершенства, это то, чем мы хотим быть, но стать не способны, не можем, не умеем, это просто разрыв между идеалами и реализацией, — разве не так? А посему в нашем соперничестве нужно упираться на слабость. То есть отыскать ситуацию, в которой слабость и убожество человека лучше, чем сила и совершенство нечеловека...»

* * *

Эти заметки я пишу спустя год после прекращения дела о «Голиафе». Мне удалось довольно неожиданно раздобыть относящиеся к нему материалы. Хотя они и подтверждают мои подозрения, мне не хочется пока их публиковать. В моей реконструкции событий всё еще слишком много предположений. Может быть, всем этим когда-нибудь займутся историки космонавтики.

О процессе в Космическом трибунале ходили противоречивые слухи. Говорили, что для определенных кругов, связанных с заинтересованными электронными фирмами, было чрезвычайно важно дискредитировать меня как командира корабля. Оценка результатов экспериментального рейса, которую я опубликовал в «Альманахе космо-

навтики», имела бы сомнительную ценность, если бы трибунал осудил меня за преступные ошибки в командовании кораблем. С другой стороны, я слышал от лица, достойного доверия, что состав трибунала не был случайным; да меня и самого удивило в нем такое значительное количество юристов, теоретиков космического права, при наличии всего лишь одного космонавта-практика. В связи с этим на первый план выдвинулась формальная проблема: соответствовало ли мое поведение во время аварии уставу космического судоходства. Ведь меня обвиняли в том, что я вел себя преступно пассивно, не отдавая приказов пилоту, который начал действовать на свою ответственность. То же лицо убеждало меня, что немедленно после ознакомления с обвинительным заключением мне следовало предъявить иск упомянутым фирмам, поскольку косвенная вина лежала на них. Ведь это они заверяли ЮНЕСКО и меня, что нелинейникам — членам экипажа — можно неограниченно доверять, тогда как Кэлдер чуть нас всех не угробил.

Я объяснил этому человеку с глазу на глаз, почему я ничего подобного не сделал. То, с чем я мог выступить перед трибуналом в роли обвинителя, было лишено доказательной силы... Представители фирм, несомненно, утверждали бы, что Кэлдер, пока он только мог, старался спасти и корабль и всех нас, а осложненное прецедентной вращение корабля, из-за которого «Голиаф» начал кувыркаться, явилось для него таким же сюрпризом, как и для меня, и вся его вина заключалась в том, что он не пожелал отдаться на волю случая и ждать — то ли корабль разобьется о кольцо, то ли удачно пройдет сквозь щель Кассини, а выбрал вместо неопределенности — правда, обещающей спасение всем, — определенность, ведущую к уничтожению всех людей на борту. Проступок, понятно, непростительный и полностью его дискредитирующий, но всё же несравненно менее серьезный, чем тот, в котором я уже тогда его подозревал. И я не мог обвинить его в меньшем зле, раз уж верил, что в действительности всё случилось иначе; а так как из-за отсутствия доказательств я не имел возможности публично выступить по поводу этого большего и худшего преступления, я решил ожидать приговора трибунала.

Между тем с меня были сняты все обвинения и, следовательно, отпал едва ли не ключевой во всем этом деле вопрос, а именно, *какого* рода приказы следовало отда-

вать. Его обошли некоторым образом автоматически, коль скоро трибунал признал, что я имел право полагаться на достаточные знания и профессиональную подготовку пилота. А поскольку в данном случае отдавать приказы вообще не входило в мою обязанность, никто и не спрашивал, какими же они, собственно, должны быть. Меня это вполне устраивало: ведь всё, что я смог бы ответить на такой вопрос, прозвучало бы совершенно фантастически. Я считал и по-прежнему считаю, что авария зонда произошла не случайно, ее преднамеренно вызвал Кэлдер, что задолго до нашего подхода к Сатурну он разработал план, который должен был одновременно и подтвердить мою правоту, и убить меня, вместе с другими людьми «Голнафа»; почему он так поступил — это особый вопрос. Тут я в состоянии предложить только гипотезы.

Итак, прежде всего о втором зонде. Технические эксперты установили, что его аварию вызвало неудачное стечение обстоятельств. Во время тщательного обследования в земном доке не было обнаружено никаких следов злого умысла. Я считаю, что истина осталась нераскрытой. В случае неисправности первого зонда, предназначенного для ввода в щель, нам пришлось бы сразу же возвращаться, не выполнив задания, так как оставшиеся два зонда не могли его заменить: на них не было установлено научно-исследовательской аппаратуры. В случае неисправности третьего зонда мы могли вернуться, выполнив задание, так как для управления первым зондом хватило бы одного «контрольного сторожа», и им стал бы — второй. Но именно он-то и подвел, остановив нас на полпути. Ведь выполнение задания мы уже начали...

Что произошло? Запальный кабель отсоединился слишком рано, и Кэлдер не мог выключить пусковой автомат. Заключение экспертов гласит, что кабель запутался и затянулся петлей; такие вещи случаются. Правда, за четыре дня до происшествия я видел барабан, на который этот кабель был намотан очень аккуратно и ровно.

Носовая часть зонда была сильно деформирована, и он прочно застрял в пусковой шахте. Причины заклинивания установить не удалось. По мнению экспертов, аварию вызвал стартовый двигатель: из-за несимметричного выгорания топлива зонд резко рвануло в сторону, и он ударился в кромку люка так неудачно, что его головка сплющилась. Но зонд заклинился *до* запуска стартового двигателя. Я был в этом совершенно уверен, но моим мне-

нием никто не поинтересовался. Что касается Куипа, он такой уверенности не имел, а остальным не разрешили давать показания по поводу аварии, поскольку они не имели непосредственного доступа к рулям и приборам.

Заклинить зонд и не оставить никаких следов мог бы и ребенок. Достаточно было налить в пусковую шахту через вентиляционное отверстие несколько ведер воды. Вода стекла к наружной крышке и замерзла вокруг зонда, спаяв его с кромкой люка ледяным кольцом: ведь температура крышки равна температуре наружного пространства. Кэлдер, как известно, очень сильно ударил по зонду лапой, в этот момент зонд еще вовсе не был заклинен. Но Кэлдер сидел у пульта, и никто не мог его проконтролировать; он сделал то, что делает клепальщик, ударяя по заклепке. Нос зонда, зажатый ледяным кольцом, деформировался, раздался и сплющился, словно головка заклепки. Когда топливо в стартовом двигателе воспламенилось, температура в пусковой шахте немедленно возросла, лед растаял, а вода испарилась, не оставив никаких следов этой ловкой манипуляции.

Обо всем этом я ничего во время аварии не знал. Однако мне показалось странным нагромождение случайностей: и то, что подвел именно второй зонд, а не первый или третий, и то, что в момент запуска стартового двигателя кабелей был в порядке, а когда потребовалось включить ионный двигатель, он оказался разорванным. Слишком много случайностей.

Авария захватила меня врасплох — трудно было думать о чем-нибудь еще, кроме нее. И всё же у меня мелькнула мысль, нет ли связи между ней и анонимным письмом; его автор обещал мне «помощь», он стоял, судя по его словам, на моей стороне и хотел показать непригодность таких существ, как он, для космического судоходства. И опять-таки у меня нет доказательств, но я считаю, что письмо написал Кэлдер. Он стоял на моей стороне... наверное... Но Кэлдер вовсе не жаждал, чтобы развитие событий доказало его непригодность, — так как он *хуже* человека. Вариант, при котором после возвращения на Землю его командир сел бы писать дисквалифицирующий его рапорт, он исключил сразу. Наши цели совпадали лишь до определенного пункта — дальше они расходились.

Своим письмом он поставил меня в известность о своего рода союзе, объединяющем нас. Взвесив всё слы-

шанное им от меня и обо мне, Кэлдер пришел к выводу, что и я прикидываю шансы создания на корабле аварийной обстановки — как теста для проверки качества членов экипажа. И он был уверен, что возможность, которую он так вовремя мне предоставляет, я постараюсь использовать; стоило мне попасться на эту удочку, и я сунул бы собственную голову в петлю.

Почему он принял такое решение? Из ненависти к людям? А может, он испытывал удовлетворение от такой игры? Ведь в ней, действуя открыто как его командир и тайно — как союзник, я должен был на самом деле лишь в точности выполнить разработанный им план. Во всяком случае, он был уверен, что я постараюсь воспользоваться аварией для «проверки», даже если она покажется мне подозрительной, если я догадаюсь о ее причинах.

Как мне следовало поступить в этот момент? Либо отдать приказ о возвращении, либо потребовать, чтобы пилот попытался вывести на орбиту последний резервный зонд. Распорядившись возвращаться, я одновременно отказывался от предоставившейся возможности проверить моих подчиненных в трудных условиях и не выполнял поставленной перед «Голнафом» задачи. Кэлдер правильно расценивал этот выход как неприемлемый для меня.

Я мог также приказать вернуться к Сатурну и приступить к запуску оставшегося зонда. Кэлдер был на сто процентов уверен, что именно так и случится.

По правде говоря, если бы меня кто-нибудь спросил заранее, какое решение я приму, оказавшись перед подобной альтернативой, я не колеблясь ответил бы, что прикажу продолжать операцию, и сказал бы это совершенно искренне. Однако произошло нечто неожиданное: я молчал. Почему? Даже сегодня я не могу этого толком объяснить. Я не понимал происходящего, авария была странной, она случилась так вовремя, настолько соответствуя моим мыслям — слишком соответствуя, чтобы произойти естественно! Кроме того, я сразу же почувствовал, что Кэлдер с необыкновенной готовностью ждет моих слов, моего решения, и, пожалуй, именно потому молчал. Стоило мне заговорить, и я как бы скрепил заключенный тайно союз — если Кэлдер действительно «помог» событиям. Я чувствовал, что начинается какая-то нечестная игра; а в таком случае следовало приказать уйти от планеты, но и этого я не отваживался сделать: по-

дозревание, которое во мне зародилось, было туманным, я не имел даже намека на доказательства. Говоря четко и ясно — я просто не знал, как поступить.

Кэлдер тем временем не мог поверить в провал своего великолепного плана. Весь наш поединок разыгрался в течение нескольких десятков секунд, — но каким я ему был противником, я же ничего не понимал! Только потом соединились в моей памяти не связанные друг с другом и внешне безобидные факты. Я вспомнил, как часто сидел он в одиночестве у главного вычислителя корабля, который служит для решения сложных космонавигационных задач. С какой тщательностью, закончив вычисления, стирал все записи в блоках памяти. Сейчас я думаю, что он уже тогда просчитывал различные варианты аварии, разрабатывал ее во всех мелочах, что он промоделировал эту катастрофу. Это неправда, будто над кольцом он управлял «Голиафом», молниеносно производя в уме расчеты и пользуясь только показаниями гравиметров. Ему нечего было рассчитывать. Все вычисления Кэлдер проделал на машине. Он заранее составил таблицу приближенных решений и теперь лишь проверял, находятся ли показания гравиметров в соответствующих пределах значений.

Я разрушил его план, медля с приказами. Этих приказов он ждал, как спасения, они составляли фундамент его плана. В те секунды я ни о чем таком не думал, не вспомнил даже, но ведь рядом с нами находилось надежно опечатанное, внимательно прислушивающееся к каждому сказанному слову ухо Земли. Регистрирующие приборы фиксируют всё, что говорится в рубке.

После того как Кэлдер приведет «Голиаф» с мертвым экипажем на космодром, начнется следствие, и начнется оно с прослушивания этих пленок. Значит, необходимо было сохранить их в идеальном порядке и нетронутыми. Это мой голос должен был звучать с них, приказывая, чтобы Кэлдер возвращался к Сатурну, чтобы он приблизился к кольцу, чтобы — потом — увеличивал тягу для гашения опасной прецессии.

Я до сих пор не объяснил, почему его план был идеален. Разве я не мог отдавать приказы, обеспечивающие успех вновь предпринятой операции? Так вот, только через несколько месяцев после окончания процесса я сел за вычислительную машину, чтобы проверить, каковы же были шансы успешного выведения на орбиту последнего зонда при таком маневрировании, при котором бы не

подвергались опасности ни мы, ни корабль. Оказалось, что таких шансов вообще не было! То есть Кэлдер составил из элементов математических уравнений точное целое, образующее настоящую машину для экзекуции; ни для моих, ни для чьих-либо еще, пусть даже сверхъестественных навигационных способностей он не оставил ни малейшей щелочки, никакого спасительного просвета; ничто не могло нас спасти. Ни боковая тяга зонда, ни возникновение сильной прецессии, ни этот смертельный полет, — всё это не было для Кэлдера какой-то неожиданностью, именно такие условия он заранее предусмотрел, именно такие искал в часы долгих вычислений. Следовательно, стоило мне приказать возвращаться к Сатурну, и мы наверняка свалились бы в разверзшуюся перед нами гибельную пропасть. Возможно, тогда Кэлдер даже отважился бы на некоторое «нарушение субординации», не смело возразив против какого-нибудь из моих очередных приказов, которые я бы отдавал, отчаянно пытаюсь погасить бешеное вращение корабля. Пленки зафиксировали бы эти признаки его величайшей лояльности, продемонстрировав, что он до конца старался нас спасти.

Впрочем, мне вообще не пришлось бы долго командовать. Вскоре я онемел бы под прессом перегрузки, которая закрыла бы нам глаза, мы лежали бы прихлопнутые крышкой гравитации, истекая кровью... И только один Кэлдер сумел бы встать, сорвать пломбы предохранителей и повернуть корабль к Земле. Кроме него в рубке оставались бы только трупы...

Но я — совершенно неумышленно — всё ему испортил. Он не принял во внимание моей реакции: великолепно разбираясь в небесной механике, он даже приблизительно не разбирался в психической механике человека. Я не использовал прекрасного случая: вместо того чтобы торопить с началом операции, я молчал, — и Кэлдер растерялся. Он не знал, что предпринять. Сначала он, паверное, только удивился, но объяснил мою нерешительность медлительным, вялым мышлением человека. Потом забеспокоился, но уже не осмеливался ни о чем спросить меня, так как мое молчание казалось ему многозначительным. Поскольку он сам не мог бы оставаться пассивным, он не допускал, что кто-то другой, тем более командир, на это способен. Я молчал и, следовательно, знал, почему молчу. Должно быть, я его заподозрил. Возможно, даже разгадал его игру? Может быть, всё-таки я брал верх?

Раз я не отдавал приказа, раз с пленок не мог зазвучать мой голос, загоняющий корабль в тупик, для него стало ясно, что я всё предвидел и обвел его вокруг пальца! Когда он так подумал, не знаю; однако все заметили его неуверенность; Куин тоже вспоминал о ней в своих показаниях. Кэлдер дал ему какие-то не очень толковые распоряжения... внезапно повернул назад... всё это доказывало его замешательство. Ему приходилось импровизировать, а именно в этом он был наиболее слаб. Он уже начал бояться, что я заговорю; может, я собираюсь его обвинить — в присутствии чуткого уха Земли — в саботаже? Вдруг он дал большую тягу; я всё же успел крикнуть, чтобы он не входил в щель; я еще и тогда не понимал, что он вовсе не собирается сквозь нее проходить! Но этот выкрик, его зарегистрированный след перечеркнул какой-то новый, симпровизированный план Кэлдера, и он сразу же сбросил скорость. Если пленки повторят на Земле мой возглас и ничего больше, — не окажется ли это для него гибельным? Как он оправдается, как объяснит долгое молчание командира и этот внезапный последний крик? Я должен был к нему обратиться, хотя бы только для того, чтобы подтвердить, что я еще жив... Мой выкрик показал Кэлдеру его ошибку, он сообразил, насколько я далек от истины, он дисциплинированно ответил мне, что не слышал приказа, и сразу начал расстегивать ремни, это был его последний ход — он играл ва-банк.

Зачем он это сделал в уже не слишком для него благоприятной ситуации? Может, из гордости, не хотел даже себе признаться в поражении, может, особенно уязвило его то, что он приписал мне ясное понимание обстановки, которого у меня не было. Он наверняка сделал это не из страха, я не верю, будто Кэлдера пугал ничтожный шанс благоприятного прохода сквозь щель. Он вообще не фигурировал в его расчетах; то, что Куину удалось нас провести, — о, это была чистая потеря!..

Если бы Кэлдер обуздал свое желание отомстить мне — ведь я сделал его смешным в собственных глазах, поскольку мою тупость он принял за проницательность, — он не стал бы чересчур рисковать; что ж, попросту вышло бы по-моему: своими поступками, недисциплинованностью Кэлдер подтвердил бы правильность моего мнения, а именно этого он не хотел, с этим не мог согласиться. Он предпочитал любой другой выход...

Всё-таки это странная история, я так хорошо понимаю

его поведение и по-прежнему беспомощен, пытаюсь объяснить собственное. Рассуждая логически, я могу воссоздать каждый его шаг, но не в состоянии объяснить собственного молчания. Сказать, что я был просто в нерешительности... Нет, это не соответствовало бы истине. Так что же, собственно, произошло? Сработала интуиция? Предчувствие? Где там! Просто эта возможность, подсунутая мне аварией, очень напоминала игру краплеными картами, грязную игру. Я не хотел ни такой игры, ни такого партнера, а Кэлдер становился им, стоило мне отдать приказ. Тем самым я как бы одобрил возникшую ситуацию, а значит, согласился с ней. Я не мог решиться ни на это, ни на приказ о возвращении, о бегстве, хотя такой приказ был самым правильным, — но как бы я его потом сумел мотивировать? Всё мое сопротивление, мои сомнения базировались на смутных представлениях о честной игре... Совершенно не материальных, не поддающихся переводу на профессиональный язык космонавтики. Только представьте себе: Земля, комиссия, расследующая инцидент, и я, объясняющий, что не выполнил поставленной задачи, хотя, по моему мнению, это было технически возможно, так как подозревал первого пилота в такого рода саботаже, который должен облегчить мне дискредитацию части команды. Разве это не прозвучало бы как нелепейший бред?

Вот я и медлил — от растерянности, от чувства беспомощности, даже отвращения, и при этом своим молчанием давал Кэлдеру — так мне казалось — шанс на реабилитацию. Он мог доказать, что подозрение в умышленном саботаже несправедливо; он должен был обратиться ко мне с просьбой отдать приказание... Человек на его месте, несомненно, сделал бы это, но его первоначальный план такой просьбы не предусматривал. Вероятно, поэтому он казался Кэлдеру более чистым, элегантным: произвести экзекуцию над собой и своими товарищами я должен был сам, без единого слова с его стороны. Больше того: я должен был еще и принудить его к определенным действиям, как бы вопреки его знаниям, превосходящим мои, вопреки воле; а я продолжал молчать. В конечном счете нас спасла — а его погубила — моя нерешительность, моя медлительная «порядочность», та самая человеческая порядочность, которую он так беспредельно презирал.



Сергей Снегов

**ОГОНЬ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА
В ТЕБЕ**

Создателем индивидуальной музыки общепризнан Михаил Потапов. Лишь на концерте Потапова — концерт состоялся первого мая 2397 года по старому летосчислению — изумленное человечество познакомилось с этой новой и такой ныне популярной формой музыкального самозвучания (сам Потапов употреблял, как известно, термин «музыкальное самопознание»). Вместе с тем не следует думать, что новая форма музыки появилась сразу готовая, как древняя религиозная деятельница Афродита из морской пены. У великого творения Потапова есть не только история, повествующая о том, как оно заполнило в короткий срок умы и чувства, но и предыстория — и, к сожалению, трагическая.

Недавно разбিরали архив известных физиков прошлого века, единоутробных братьев Генриха Васильева и

Роя Рупперта. Среди прочих документов нашли и материалы, бросающие свет на истоки индивидуальной музыки. Материалы эти будут опубликованы в сорок седьмом круге пленок «Классики науки», а здесь мы воспроизведем лишь речь Роя на собрании членов Общества классической музыки. Речь эта никогда не передавалась в эфир и не печаталась в официальных пленках общества. Возможно, это объясняется тем, что классическая музыка, имеющая сегодня немало поклонников, в те годы почти полностью была забыта: собрания ее многочисленных адептов не привлекали широкого внимания.

Ниже дан сохранившийся текст речи, — начало, к сожалению, утрачено.

1

...Это произошло незадолго до последней болезни Генриха. Он уже прихварывал: ранения, полученные при загадочной аварии звездолета на Марсе, — тайна, впоследствии им же с таким блеском распутанная, — были залечены, но полное выздоровление еще не наступило. Внешне Генрих оставался бодрым, красивым, быстрым, но я уже смутно догадывался, куда идет дело, и в один нехороший день — я потом объясню, почему он нехорош, — силой вытащил брата из лаборатории.

— Ты дурак, Генрих, — сказал я. — А я скотина. Не спорь. Я не терплю преувеличений и что говорю, то — объективная истина.

— Я не спорю, — возразил он кротко. — Но я хотел бы знать, чего тебе от меня надо?

— Сейчас мы выйдем наружу. И будем ходить по городу. И погуляем в парке. А возможно, слетаем на авиетках к морю и покувыркаемся на волне. И если мы этого не сделаем, я буду чувствовать себя уже не скотиной, равнодушно взирающей, как брат неразумно губит себя, а прямым убийцей.

Он с минуту колебался. Он глядел на приборы с грустью, словно рассматривал с ними надолго. Мы в это время расследовали записи второго механика звездолета «Скорпион», единственного человека, оставшегося в живых после посадки галактического корабля на планетку Аид в системе Веги. Загадок была масса, многие не разъясне-

ны и поныне, а тогда всё казалось чудовищно темным. Генриху не хотелось бросать эту работу, мне тоже не хотелось, но это было необходимо, так ослабел Генрих. И я бы за шиворот оттащил его от приборов, если бы он не уступил.

Но он покорился, и мы вышли в город.

Я не буду описывать прогулку, самым важным в ней, как вскоре выяснилось, было то, что мы — на общую нашу беду — повстречали в парке Альберта Симагина.

Он несся по пустынной аллее, словно запущенный в десять лошадиных сил. У него был полубезумный вид, рот перекосялся, он молчаливо, без слез, плакал на бегу. Генрих остановил Альберта.

Брат дружил с ним еще в школе. Мне же не нравились в Альберте несдержанность, слишком громкий голос, глаза тоже были нехороши: я не люблю хмурых глаз.

— Откуда и куда? — добродушно спросил Генрих. Я особо подчеркиваю добродушие тона, с Альбертом Генрих всегда разговаривал только так. Я и сейчас не понимаю, чем этот шальной фантазер привлекал Генриха.

Альберт закричал, будто о несчастье:

— Из музея! Откуда же еще?

— Зачем же бежать из музея? — Как вы понимаете, это спрашивал Генрих, а не я. Я лишь молча рассматривал Альберта.

— Ничего ты не понимаешь! — Альберт яростно поднимал мизинец. — Вот ни столечко! Просто удивительно, до чего люди бестолковы.

— Объясни — пойму.

Объяснением путаную, шумную речь Альберта можно назвать лишь условно. Я понял одно: в музее Альберт рассматривал недавно законченную картину Степана Рунга — четверку несущихся коней, не то «Фаэтон на взлете», не то «Тачанки в походе», названия не помню. Лихие лошадиные копыта сразили Альберта. Он ошалел от облика коней, его истерзала экспрессия бега, опьянила музыка спружинившихся мускулов, — именно такими словами он описал свое состояние. Картина ему звучала, он не так видел, как слышал ее, он сказал: «Трагическая симфония скачки». С этого и начался его спор с Генрихом. Генрих удивился:

— Вещь Степана я знаю, во мне она вызывает иные ассоциации. И если уж оперировать музыкальными

терминами, то я бы сказал, что картина звучит весело, а не трагически.

— Чепуха! — прогремел Альберт.

Черноволосый, лохматый, с очень темным лицом, с очень быстро меняющимся выражением диких глаз, то вспыхивающих, то погасающих, он всегда казался мне малость свихнувшимся, а в этот день особенно. Колокольно гремющий голос его меня раздражал. И я опасался, что разговор взволнует Генриха, а ему было еще очень вредно волноваться. Генрих, правда, улыбался, а не сердился.

— Ты примитивен, — продолжал греметь Альберт. — Ты не понимаешь главного. Каждый слышит в картинах свою собственную музыку.

— Ты отрицаешь объективную реальность?..

— Я не отрицаю, я утверждаю. Отрицают люди, не умеющие создавать. Я создатель. Я утверждаю, что там, где тебе послышится хохот, мне раздастся плач.

— Но это и есть отрицание объективной всеобщности восприятия...

— Вздор. Это есть утверждение объективной всеобщности своеобразия. Ты проходишь мимо тысяч женщин равнодушно, а одна потрясает тебя, та самая, мимо которой равнодушно прошли все твои товарищи. Она зазвучала тебе, а другие не зазвучали. А если бы прав был ты, то все парни влюбились бы в одних и тех же женщин, в тех, в которых больше объективных женских совершенств. Но ты ищешь в женщине свою музыку, а не глухие объективные добродетели.

— Странный переход от картины в музей к влюбленности в женщин!

— Нормально. Живопись — музыка красок, а любовь — музыка чувств и поступков.

— Короче, всё звучит?

— Всё звучит! Всё музыкально: вещи и дела, слова и чувства. И каждый человек воспринимает мир по-своему — музыка мира у каждого своя. Для тебя скачка коней на картине Рунга — веселая пляска, для меня — мрачный реквием.

Генрих радовался диковинам. Он лукаво поглядел на меня.

— Выходит, я услышу в пятой симфонии Бетховена шаги судьбы, а ты, Рой, драку у кабака.

— Не говори о Бетховене! — зарычал Альберт. —

Древние мастера писали принудительную музыку. Они бесцеремонно навязывали слушателям созданные ими мелодии. Я же толкую о свободной музыке, которой звучат в твоей душе вот эти тучи, это солнце, эта зелень, эти дома, эти прохожие, сам ты, наконец, хотя, сказать честно, ты не очень хорошо звучишь!

Запальчивость Альберта всё больше веселила Генриха. В ту минуты и я порадовался, что он с увлечением спорит, я и догадаться не мог, к чему приведет этот странный спор.

— Как жаль, что твоя индивидуальная музыка — нечто абстрактное, ни на каком инструменте не услышать.

— Опять врешь! Такой инструмент есть! Я его сконструировал сам. Он записывает музыку моего восприятия. Я бежал из музея, чтоб не потерять ни одной ноты из зазвучавшей во мне мучительной симфонии бега. Встреча с тобой спутала гармонию инструментов моей души: вместо симфонии получится какофония. Идите оба к чертам! До нескорого свидания!

Генрих помахал ему рукой, я сказал:

— До свидания, Альберт! — И это были единственные слова, произнесенные мной за всё время встречи.

2

А на другой день мы узнали, что Альберт умер. И еще оказалось, что мы были последними, кого он видел перед смертью, это засвидетельствовал он сам, прокричав роботу-швейцару: «Повстречал Роя и Генриха, вот же бестия Генрих, он жутко меня расстроил дурацкими сомнениями, но теперь я ему покажу, теперь я ему покажу!»

После этого он заперся в кабинете, оттуда слышались непонятные звуки, тоже запечатленные на пленке швейцара, а часа через два наступило молчание. Робот воспринял молчание Альберта как сон, но это была смерть.

Утром Генриха и меня вызвали в квартиру Альберта.

Он лежал на полу около исчезнувшего силового дивана, — очевидно, скатился в агонии, так и не успев ни крикнуть на помощь, ни выключить интерьерное поле. Я часто видел мертвых и на Земле, и в космосе, в последние годы нам с Генрихом приходилось распутывать

загадки многих непонятных смертей, но такого странного трупа мы еще не видели. Тело Альберта свела жестокая судорога, а руки и ноги были столь невозможно выкручены, что казалось, это невозможно сделать, не ломая костей. Но кости были целы, — так установила медицинская экспертиза. Первым, что бросалось в глаза, был этот ужасный вид тела, молчаливо кричавший о безмерном страдании. И вот тут начинается странное — на лице Альберта заоченело выражение счастья: он радовался своей гибели, он ликовал, он восхищался, — такое у меня создалось впечатление, и чувство, возникшее у Генриха, было такое же. И другой странностью было почернение тела: Альберт словно бы обгорел и закоптился.

Я стоял с минуту около трупа, потом отошел. Мне страшно было глядеть на Альберта. Я не дружил с этим человеком, как Генрих, но неожиданная его гибель была так ужасна, что разрывалось сердце.

— У тебя губы трясутся, Рой, — сказал Генрих. Он сам еле держался на ногах от волнения. — Мне кажется, тебе плохо.

— Не хуже, чем тебе, — возразил я, сиюсь улыбнуться. — На тебе тоже лица нет. Смерть есть смерть, ничего не поделаешь. Это единственное, чего нельзя перенести.

В комнате уже были следственные врачи, я обратился к ним:

— Что случилось с Альбертом?

Один из врачей ответил:

— Похоже на отравление каким-то ядом, вызывающим гибельное повышение температуры. Ожоги на теле, судя по всему, произошли от внутреннего огня. Точно узнаем на вскрытии, а пока скажу: в моей практике еще не было столь загадочной смерти.

— В моей тоже, — сказал я. Генрих молчал и осматривался. Не помню случая, чтобы Генрих сразу высказал свое мнение в трудных ситуациях, ему надо было предварительно сто вещей посмотреть, сто мыслей продумать, прежде чем он решится выговорить хотя бы одну фразу.

В комнате стоял незнакомый аппарат, и вокруг него стал кружить Генрих, после того как справился с первым волнением. Труп отнесли в морг, я отвечал и за себя и за Генриха на вопросы следователей-врачей, сам задавал им вопросы — на три четверти они ответить не смогли, — потом поинтересовался, что обнаружил Генрих. Ничего

важного он не открыл. Аппарат был усилителем электрических потенциалов, довольно сложное сооружение, но для чего он предназначен и как действует, понять из осмотра было непросто, а отпечатанной схемы ни на приборе, ни в комнате мы не нашли.

— По-моему, эта штука связана с работой мозга, — проговорил наконец Генрих. — Вот эти гибкие зажимы накладываются на руки, эти на шею...

— А эти проглатываются, — хмуро сострил я, показывая на два небольших шара. — Закуска неудобоваримая, что, впрочем, Альберт и доказал своей гибелью. Но ты прав: в момент смерти Альберт держал зажимы...

Так мы еще некоторое время перебрасывались словами, а потом на стереоэкране зажглась картина вскрытия трупа, и мы, не выходя из комнаты Альберта, стали свидетелями того, что происходило в морге. Вывод прозекторов был таков: Альберт скончался от ожога, охватившего всё его тело, это был редчайший случай внутреннего самовозгорания, гибель от пламени, промчавшегося по нервам, бурно закипевшего в артериях и венах, безжалостно обуглившего кости и мышцы. Один из медиков сказал, что в древние времена насквозь проспиртованные алкоголики, у которых в крови было больше спирта, чем кровяных шариков, вот так же воспламенялись, когда к ним подносили спичку. Другой возразил, что Альберт алкоголиком не был и горящей спички к нему не подносили.

Этот медик считал, что гибель — от электрического тока: если на тело наложить электроды, подвести напряжение в несколько тысяч вольт, то сквозь ткани промчится ток такой силы, что порожденная им теплота изнутри убьет человека. Третий медик заметил, что электрической казни Альберта не подвергали, а сам он не смог бы выбрать подобный вид самоубийства, ибо у него не было высоковольтной аппаратуры. Этот рассудительный медик собственного суждения о причинах смерти Альберта не имел.

Я попросил следователя, вместе с нами наблюдавшего стереокартину вскрытия:

— Разрешите нам остаться в квартире Симагина. Мы хотели бы на месте трагедии поразмыслить о ее причинах.

Он ответил, по-моему, с большим облегчением:

— О, пожалуйста! Мы будем признательны, если вы прольете свет на загадку этой смерти.

— Ну? — сказал Генрих, когда мы остались одни. — Не сомневаюсь, что у тебя уже готова версия драмы, и настолько невероятная, что только она одна справедлива. Ибо ты не раз говорил, что загадки потому только и загадки, что в основе их лежат редкие причины, а мы чаще всего ищем тривиальностей. Или не так?

Он шутил с усилием, у него было грустное лицо. Вы понимаете, что и мне было не легче. Но я поддержал его иронический тон, чтоб не дать расхотеться нервам. Меня всё больше беспокоило состояние Генриха. Мы в свое время раскрыли тайну гибели Редлиха, были свидетелями трагической кончины Андрея Корытина, очень близкого нам человека. Всё это были грустные истории, наш успех в распутывании тех тайн не доставил радости ни Генриху, ни мне. Но еще ни разу я не помнил Генриха таким подавленным. Теперь я знаю, что он уже скрыто был болен, но тогда еще не понимал этого, сверхмудрые медицинские машины тоже не оказались проницательными. Одно я представлял себе отчетливо: Альберта уже не воскресить, нужно, чтоб рана, нанесенная его гибелью Генриху, не оказалась непосильной тяжестью для брата.

— Искал, конечно, невероятного, но в голову лезут одни тривиальности, — сказал я.

— Ладно. Объяви свою тривиальность, если на невероятное стал не способен.

Всё было в манере наших обычных разговоров. Генрих часто издевался над моим методом работы, хотя все важные идеи, принесшие этому методу известность, принадлежали ему, а не мне. Он был такой — сперва насмехался, потом загорался.

И в тот день, начиная рассуждение, я не сомневался, что где-то в середине он, увлекаясь, прервет меня и продолжит сам — и гораздо лучше продолжит, чем мог бы сделать я.

— Альберта сжег внутренний пламень, — сказал я. — Так установили медики. Остается раскрыть, что породило губительный пламень. Алкоголь отпадает, электрический разряд тоже. Тем не менее был какой-то физический агент, породивший испепеляющий огонь.

— Иначе говоря, смерть чудом не произошла. С таким проницательным выводом согласиться можно.

Я спокойно продолжал:

— Итак, глубинное потрясение. Что могло потрясти Альберта? Он умер через несколько часов после встречи с нами. Робот свидетельствует, что, раздраженный твоими возражениями, Альберт собирался тебе что-то показать. И оно, это пока непонятное нам «что-то», его доконало.

— Стало быть, я косвенно являюсь причиной его смерти?

— Не ты, а то, чем он собирался побить тебя в споре. Какой-то неопровержимый аргумент против тебя, который он разыскал, — вот что погубило его.

— Постой, постой! — сказал Генрих. Брошенная мной — и неясная мне самому, признаюсь честно, — мысль уже превращалась у него во всё озаряющую идею. Так и раньше бывало, так было и в тот раз. — Давай вспомним, о чем мы спорили с Альбертом. Я утверждал, что музыку великих композиторов все люди воспринимают, в общем, одинаково, а он возражал, что у каждого в душе создается своя особая музыка и что при помощи такой индивидуальной музыки люди познают мир. «Всё звучит — вещи, слова, чувства», — разве не так он сказал?

— Именно так. Но чем он мог опровергнуть тебя? Я говорю об этом: «Теперь я ему покажу!»

— Только одним: показать физически, что вещи и события создают в его психике музыку! Он сказал, что картина Рунга воображается ему трагической симфонией, неким мрачным реквиемом. Я был бы опровергнут, если бы ему удалось записать эту симфонию, и не просто записать, как нечто им сотворенное, — так работают все композиторы, но и показать, что каждый звук порожден картиной.

— Итак, Альберта сожгла музыка, порожденная картиной Рунга. А накал ее вызван страстным желанием убедить тебя, что музыка вещей реально существует. Но как и где зазвучала убийственная музыка?

— Этого пока не знаю. Надо думать.

Генрих быстро заходил по комнате. Он всегда молчаливо, возбужденно бегал взад и вперед, когда его озаряла новая идея.

— Вот он, убийца Альберта! — сказал Генрих и показал на аппарат, возвышавшийся посреди комнаты.

Мне тот аппарат тоже казался подозрительным, но утверждать, что в нем корень несчастья, я бы не решился. Ни одно из моих сомнений Генрих не опроверг. Он умоляюще поднял руки:

— Не требуй от меня слишком многого. Я еще не нашел, а ищу. Это пока голая идея.

— Любые идеи, голые или наряженные, надо доказывать. Лишь диспетчерам, возглашающим посадку в планетолеты, верят на слово.

Мы опять с осторожностью осмотрели аппарат. Он не кусался, но и яснее не стал. В нем таилось, по крайней мере, две загадки: непонятно было, для чего он, и еще темнее — как он действует. Генрих стоял на своем: в аппарате материализовалась музыка, испепелившая беднягу Альберта. И до самой кончины несчастный не понимал, что гибнет, вот отчего на лице его окаменело выражение счастья, когда тело перекрутила судорога паралича.

— Я приду к тебе на помощь, — сказал я Генриху. — Я знаю, где источник питания таинственного аппарата. Если в нем создавалась музыка души Альберта, то питался он жизненной энергией его тела. Не надо искать подключений к внешним энергетическим станциям. Аппарат — вампир, высасывающий тело, чтоб усладить душу.

Генрих задумчиво смотрел на гибкие провода с зажимами на конце.

— Это можно проверить, Рой. Если я закреплю зажимы на своих руках...

— Ты их некрепишь там, Генрих. Ты меня часто раздражаешь, это верно, но погибнуть на моих глазах я тебе не разрешу.

— Если это будет на твоих глазах, я не погибну. И ты должен понять, что иного способа проверки не существует.

Тут я приближаюсь к самому трудному пункту моего рассказа. Как я осмелился поставить такой опасный эксперимент на человеке с расстроенным здоровьем, к тому же на моем брате?

Ответить на этот вопрос сейчас, после всем известных событий, не просто, тем более что я хочу объяснить факты, а не оправдываться.

В продиктованной мной большой биографии Генриха, где я подробно рассказывал о наших совместных работах, я уже отмечал, что Генрих бывал невыносимо упрям.

Он мог кричать и упрашивать, был то мучительно молчалив, то еще мучительней красноречив, умел находить такие неожиданные аргументы, что парировались они лишь с трудом, если их вообще удавалось парировать. Об этой особенности его характера часто забывают историки наших работ, но я не мог с ней не считаться.

Но главное было всё-таки не в том. С упрямством Генриха я как-нибудь справился бы, противопоставив ему собственное упрямство. Была и другая причина, почему я согласился, — и очень важная причина, смею вас уверить! Вначале мы ставили опыты над собою попеременно, даже чаще подопытным бывал я, с детства у меня здоровье крепче.

Ничего хорошего из этого не вышло. Генриху не хватало хладнокровия, чтоб руководить рискованными опытами. Он то увлекался экспериментом и забывал обо мне, то, пугаясь моего состояния, раньше времени обрывал опыт. В своей выдержке я был уверен больше. Вы вскоре убедитесь, что если, в общем, это правильно, то в конкретном том случае я переоценил себя, и это едва не породило новую трагедию.

— Согласен, но ставлю жесткие условия, — объявил я. — Первое: мы раньше обследуем этот прибор в нашей лаборатории. И пока не получим его подробной схемы, никаких экспериментов не будет. Второе: если в этом дьявольском сооружении создается музыка, то ее должен воспринимать не ты один, но и, по крайней мере, второй слушатель — я. Стало быть, раньше разработаем приставку, делающую явными неслышные внутренние звуки, потом начнем вызывать их к жизни или, вернее, к смерти, ибо звуки эти — убийцы. И последнее: чтоб установить, насколько музыкальна продукция этого треклятого аппарата, мы пригласим на испытание еще двух человек — толкового медика из породы тех, которые не только лечат болезни, но и привлекают к ответственности объекты, вызывающие заболевания, и настоящего музыканта, умеющего и воспроизводить музыку, и критически в ней разбираться.

— Медика ты найдешь легко, — сказал Генрих, усмехаясь. — Но отыщешь ли столь всесторонне одаренного музыканта?

— Уже отыскал. И могу тебя заверить — парень что надо!

5

Так в нашей компании появился Михаил Потапов.

Мы с ним вместе учились в школе. В детстве Михаил был медлительным, молчаливым увальнем. И не могу сказать, чтоб его тогда увлекала музыка. Его ничто по-настоящему не увлекало, а если увлечения нарождались, то они долгие годы созревали в латентном состоянии, внешних плодов созревания никто не видел. Он был в те годы до серости неприметен. А вскоре после школы он вдруг прославился как создатель своеобразной музыки, неровной и непонятной, временами вызывающей боль, а не наслаждение. Она ввергала слушателей в транс, «гипнотическая симфония» — так он сам назвал одно из своих произведений. Не сомневаюсь, что все эти факты вам, знатокам классических мелодий, — их сейчас многие обругивают принудительными по несчастному словечку Альберта, получившему столь широкое распространение, — вам, повторяю, эти общеизвестные истины знакомы куда лучше, чем мне. Но я должен напомнить о них, ибо без этого не смогу вывязать рассказа о событиях, чуть не погубивших Генриха.

Итак, в нашей лаборатории, в утро, когда мы возились со звучащей приставкой к аппарату Альберта, возник Михаил Потапов.

Он вошел без стука, не поздоровался, не проговорил ни слова, только хмуро и молча поглядел. Генрих его не знал, он ведь был на семь лет моложе нас с Михаилом, но догадался, кто пришел.

— Ага, это вы! — сказал Генрих приветливо.

— Да, я, — ответил Потапов и, посмотрев в мою сторону, деловито моргнул. Моргание и раньше заменяло у него кивок головой.

Я вызвал интервьюрное поле и усадил гостя в удобное кресло.

Михаил всегда сидел охотнее, чем ходил, к тому же ходить в нашей заставленной механизмами лаборатории

было неудобно. Он сидел и молча смотрел на меня. Он не любил говорить. Он говорил так, словно рот его набит камнями. В древности один оратор закладывал за щеку камень, чтоб речь звучала ясней. Михаил на того оратора не походил.

— Ты уже слышал о загадочной смерти Альберта Си-магина, — сказал я. Он опять моргнул. — Но ты, вероятно, не знаешь, что, отличный инженер, Альберт увлекся музыкой — и не старинной, и даже не твоей, а какой-то особой, отвергающей и опровергающей всех до него существовавших композиторов.

Потапов шевельнулся в кресле и промямлил:

— Моя музыка самая современная. Она неопровержима и неотвратима.

— Всех вас! — повторил я. Мне захотелось его позлить. — Он утверждает, что вы своевольно навязываете слушателям свои звучания, насильственно порождаете желаемые вам эмоции. Он обругал вашу музыку принудительной. Он стремился создать музыку вольную, исполняемую для всех одновременно, но для каждого слушателя — свою.

— Интересно, — пробормотал Михаил. Глаза его оставались тусклыми. Пробить этого человека было нелегко. Он подумал и добавил: — Даже очень интересно. — Он еще подумал. — А результат?

— Альберт погиб, вот результат. А теперь сиди и смотри. Мы с Генрихом подготавливаем к испытанию созданный Альбертом аппарат, творящий у каждого свою музыку.

Потапов сидел, смотрел и молчал, временами закрывал глаза, и тогда казалось, что он засыпает, но через минуту-другую медленно приподнимал веки, снова всматривался в нашу работу, взгляд его становился понемногу осмысленным, на серых щеках появился румянец. Мы с Генрихом переговаривались; собственно, говорил я, Генрих откликался, думаю, однако, из нашего отрывистого разговора любой мог бы уяснить себе, к чему мы готовимся, а Михаил тупицей, конечно, не был.

Через некоторое время он заволновался.

— Рой, — пробормотал он. — У меня мысль. Я хочу вместо Генриха.

— Если это мысль, то неудачная, — ответил я. — Испытание опасно. Генрих опытный экспериментатор, чего нельзя сказать о тебе.

— Моя мысль не в этом, Рой. Я не ищу этого... опасностей. Понимаешь, я хочу проверить, как понимал музыку Альберт.

— Мы этого тоже хотим. И сейчас будем проверять. А ты по-прежнему молчи и слушай. Скоро музыка, вызванная к жизни Альбертом, зазвучит в твоих ушах. И твоя задача, эксперта, — сказать, стоит ли она чего.

После этого он уже ни словом, ни движением не прерывал подготовки к эксперименту. В лаборатории появился медик с ассистентами. Генрих лег на диван, его руки, ноги и шею оковали зажимы от аппарата, другие провода и теледатчики сигнализировали о состоянии жизненных параметров, а музыкальная приставка готова была усладить наш слух любыми мелодиями, рождавшимися в мозгу Генриха.

— Начинай, — тихо сказал Генрих, и я включил аппарат.

Минуты две мы ничего не слышали. Генрих лежал с закрытыми глазами и о чем-то думал. Мы обалдело тарасили один на другого глаза, лицо Михаила снова стало апатичным, могу поклясться, что в эти первые две минуты он забыл и о нас, и о нашем эксперименте, — вероятно, сочинял свои путанные симфонии. А затем музыка Генриха зазвучала в приставке, усилители доносили ее до наших ушей, аппарат же Альберта словно ожил, в нем заискрились глазки и сигнализаторы, разноцветные пламена озаряли его изнутри. Объективности ради должен признаться, что вначале я больше следил за аппаратом, чем вслушивался, но вскоре музыка захватила меня всего, и, кроме нее, уже, казалось, ничего не было ни во мне, ни вокруг.

После моего доклада вы сами услышите музыку Генриха, поэтому не буду ее описывать, тем более я не музыкант и обязательно в чем-нибудь да соврну. Скажу лишь, что за всю свою жизнь я не слышал мелодии, столь красивой и столь печальной. Не знаю, какие инструменты могли порождать этот гармоничный плач, нечеловечески прекрасный, нечеловечески терзающий душу плач. Он доносился отовсюду, исторгался во мне и из меня, всё вокруг пленительно рыдало, я просто не могу подобрать другого эпитета, кроме вот этого — «пленительный», он единственно точный, и я был пленен, я тоже молчаливо рыдал в такт этому плачу, это была уже не мелодия Ген-

риха, а терзаемая душа всего мира, и она рыдала во мне, со мной, рыдала всем мною!

Чувство, захватившее меня, повторилось у каждого слушателя, все мы, как ошалелые, как бы внезапно ослепнув, уже не видели ни друг друга, ни Генриха и всем в себе отдавались магии тоскующих звуков.

И вдруг я очнулся.

Не знаю, как мне удалось прорваться сквозь коварную сеть полонящей мелодии, но я пришел в себя и увидел, что Генрих почти бездыханен и что кривые на самописцах, фиксирующих жизненные параметры, все до единой катятся вниз.

— Доктор, он умирает! — заорал я и кинулся сдирать с Генриха зажимы.

Медик, охнув, выключил аппарат. Его ассистенты суетились вокруг Генриха, кто облучал его из живительных радиационных пистолетов, кто делал инъекции, кто прикладывал к щекам и ко лбу примочки, кто из индукционных аппаратов пронизывал нервы электрическими зарядами.

Прошло минут пять, прежде чем Генрих открыл глаза. Мы подняли его и поставили на ноги. Он не удержался на ногах. Мы опять положили его на диван, опять энергично обстреливали, примачивали, вводили растворы, терзали электрическими потенциалами.

— Что с тобой? Скажи, что с тобой? — спрашивал я.

Он наконец откликнулся — бессвязно, на полуслове останавливался, повторялся. Даже после страшной аварии на Марсе, даже после отравления диковинным мхом, когда мы с ним открыли общественное радиационное ксиполе, он не был так ослаблен. Он объяснил, что, ожидая музыки, вспомнил Альбину и захотел опять разобраться в тайне ее гибели, но, как и раньше, ничего достоверного не установил, и его охватило отчаяние, что она умерла такой молодой, а он не сумел ей помочь и даже не понимал причин ее смерти.

Рассказ Генриха прервало громкое рыдание Михаила. Композитор скрючился на диване и заливался слезами. Я подумал было, что и ему плохо от порожденных Генрихом мелодий, но Михаил с раздражением отмахнулся от меня.

— Вы не понимаете! Вы не способны понять! — лепетал он. — Вы бездари и тупицы! Самый страшный бездарь и тупица — я! В мире еще не существовало человека,

бесталаннее меня! Был только один гений, только один — Альберт, теперь я знаю это.

— Обстреляйте его успокаивающими лучами! — приказал я медику. — А если ваши средства не помогут, я надаю этому болвану оплеух. — Нервы у меня разошлись, я и в самом деле мог ползть в драку.

Михаил вскочил. Глаза его иступленно горели. Даже не верилось, что это те сонные зенки, какими он обычно озира́л мир.

— Альберт был величайшим гением, но и он ошибался! Он ошибался, я не ошибусь! Я совершу то, что ему не удалось!

И, продолжая что-то кричать на бегу, он ринулся вон.

6

Только через несколько дней мы с точностью установили, что вырвали Генриха из тенет смерти буквально в последний момент. Еще две-три минуты такой же убийственной музыки — и он был бы испепелен. Это не словесная фиоритура, а беспощадный факт, — болезнь, поразившая Генриха, больше всего напоминала внутренний ожог. И лечили его, как мне сотню раз объясняли медики, и знаменитые, и обыкновенные — они стадами паслись у постели Генриха, — от обычного ожога внутренних тканей.

Я сказал: обычный ожог, и печально усмехаясь: вероятно, во всей истории медицины не было болезни, удивительней той, что погубила Альберта и едва не прикончила Генриха. Я приведу лишь один факт, чтоб вам стала понятна серьезность события: за час музыкального сеанса Генрих похудел на семь килограммов, — так велик был отток энергии из тела.

В эти суматошливые дни борьбы Генриха с хворью я позабыл о Михаиле, он тоже не давал знать о себе, даже не поинтересовался здоровьем Генриха. Он словно бы не ушел, а бежал и боялся с нами снова соприкоснуться.

Он появился недели через две. Генрих вставал, но на короткое время, он-то уже хотел побольше ходить, но медики сомневались, полезно ли это ему, а я не давал. Я, как вы понимаете, и работал, и ночевал в комнате Генриха, и если выходил из нее, то не надолго.

— Жив? — приветствовал я Михаила. — А мы думали, тебя взяла нелегкая.

Он понял нелегкая в смысле «нелегкая музыка» и торжествующе засиял.

— Мелодия губительная, но я превратил ее в свою противоположность. Расскажите, как вы объясняете изобретение Альберта?

Я посмотрел на Генриха. Он прошептал:

— Говори ты.

Мы много размышляли с Генрихом о происшествии, я высказал не свое, а наше общее мнение. Я начал с того, что человек, и вправду, познает окружающее и себя не одним разумом, но и эмоциями — и среди них немало важно музыкальное восприятие. Вещи мира не только видятся, не только осязаются, не только пахнут, но и звучат. Каждому предмету мира, каждой комбинации их соответствует в психике человека особое музыкальное звучание. Древние греки говорили о «гармонии сфер» — и они не были такими уж дураками. Один поэт некогда писал:

И всё звучит. На камень иль траву
Ступаешь, как на клавиши рояля.
А прислонясь к стволу, росу роняя
На звезды, облепившие листву,
Звучишь и сам.

Обратное тоже верно — каждому психическому состоянию человека соответствует своя мелодия, выражающая это состояние.

Разумеется, все эти звучания — симфонии внешнего мира, музыкальные ритмы психики — в нормальное время так слабы, что составляют лишь неопределенный шумовой фон восприятия и размышления.

Альберту удалось — и в том сила его изобретения — гигантски усилить внутреннюю музыку человеческого познания и страстей. Но изобретение таит в себе и угрозу. Природа не дура, она недаром скрыла музыку чувств и мыслей в микрозвучании, растворила ее в шумовом фоне. Альберт распахнул злобещий ящик Пандоры, скрывавший страсти души. И в своем натуральном виде эмоции почти всеисильны, под их действием люди гnevаются, рыдают, тоскуют, впадают в неистовство, бесятся, сходят с ума. Тысячекратно же музыкально увеличенные, они убивают. Любое ощущение, крохотное и неприметное, усилитель Альберта делает великим чувством. Человек не

способен вынести ни великого горя, ни великой радости, человек гармоничен, такова его природа — все чрезмерное губительно для человека. И сам Альберт, испытывая свой аппарат, был сожжен гигантским наслаждением и, уже умирая, не понимал, что гибнет, а не наслаждается. И Генриха едва не испепелила вечно тлеющая в нем печаль об Альбине, когда печаль из обычного чувства выросла в обжигающе громадную. И чтоб больше не повторялись такие трагедии, мы теперь постараемся наглухо закрыть грозное открытие Альберта Симагина...

— Нет! — закричал Михаил. — Вы этого не сделаете! Я не позволю.

— Не позволишь? Между прочим, мы пригласили тебя в качестве музыкального эксперта, а не на роль верховного судии. Улавливаешь разницу?

— Выслушайте меня! — попросил он. — Только об одном прошу — выслушайте меня спокойно. Не надо так волноваться.

— Волнуешься ты, а не мы. Говори. Обещаю слушать без усиления эмоций.

Он говорил путано и торопливо, воспроизвести его бесвязную речь в ее буквальности я не сумею. Он согласился с нами: гениальный аппарат Альберта — он так его и назвал — безмерно усиливает звучания, уже существующие в психике, они и врянь становятся опасными. Защищать усилитель Альберта в его сегодняшнем варианте он не намерен. Но Симагин совершил великое открытие, об этом надо твердить, об этом надо кричать: окружение порождает в человеке музыку, в эти внешние звучания вплетаются мелодии психики — удивительная, но, к сожалению, почти неслышная симфония рождается в душе каждого человека, индивидуальная его музыка, музыка его восприятия, его мыслей, его чувств, отнюдь не навязанная со стороны волей композитора. Он, Михаил, намерен эту музыку сделать явной, не усиливая страсти души, а гармонизируя их. Душа неизменно алчет не умножения того, что есть уже в ней, а противопоставления. Если человек яростен, то всё в нем жаждет умирения, если он горюет — радости, если буйно весел — тишины.

— Гасить страсти? — сказал я. — Так, что ли? На огонь лить воду, под лед подводить пламень.

— Не так! — яростно запротестовал он. — Не гасить, а гармонизировать, неужели вы не понимаете? Совмещать

противоположности, свет отчеркивать тенью. Полная, совершенная гармония — и особая для каждого человека!

— В идее звучит неплохо. А как в осуществлении?

— Уже осуществлено! — объявил он торжественно. — Я написал изумительную вещь, никто еще до меня... С принудительной музыкой отныне покончено, только та, что создается самим слушателем... Называется «Твоя собственная симфония». Публичный концерт — через месяц, первого мая.

— Придем, — пообещал я. — К тому времени Генрих поправится. А пока извини, разговор затянулся.

— Пожалуйста, — поспешно сказал Михаил, но не ушел. У него стало жалкое лицо. Генрих удивленно посмотрел на меня. Всю нашу беседу он промолчал, это с ним случалось. Но если собеседником он бывал не отменным, то слушателем образцовым. Я нетерпеливо сказал:

— Говорю тебе, мы придем. Что еще?

— Без вашей помощи концерт не состоится, — промямлил Михаил. Дело в том, что... Мне нужен аппарат Альберта. Я его немного переделаю... Знакомые конструкторы обещали... Понимаешь?

Я обернулся к Генриху. Генрих засмеялся.

— Отдай, — сказал он с облегчением. — И пусть он покрепче переделает эту чертову машину. Сказать по совести, я боюсь смотреть на нее.

7

О первом концерте индивидуальной музыки мне говорить нечего, он у всех вас в памяти. И вы, конечно, помните речь, произнесенную Потаповым перед концертом. Я лишь добавлю, что Генрих смеялся, а я удивлялся.

Михаил держался заправским оратором, он так развязно нападал на музыку прошлых веков, что уже это одно покорило молодых буянов, начинающих утверждение своей личности со словечка «нет», обращенного на всё и на всех. Тогда впервые публично и прозвучал избретенный Альбертом термин «принудительная музыка», отныне столь обычный, что уже не замечают его ругательной природы. Зато общепринятое сегодняшнее

понятие «индивидуальная музыка» Михаил употребил всего раз или два, он напирал на формулы «свободная музыка» и «музыкальное самопознание».

Что до самого концерта, то меня сместило, что в зале собралось почти двадцать тысяч человек и все молчат и чего-то ждут, а ничего не происходит, оркестра нет, наушники тоже отсутствуют, и только на сцене возвышается небольшой деревянный ящик — переделанный аппарат Альберта.

Во мне индивидуальная музыка всегда звучит слабо, я, вероятно, воспринимаю мир не музыкально, а радиопально. Михаил не раз сетовал, что я феномен и его творения не для меня.

Но эта забавная музыка всё-таки зазвучала и во мне. Я назвал ее забавной, потому что во мне она скорее была иронической, звуки смеялись, особенно когда я опять озирал сосредоточенно молчащий зал.

Генрих же, когда концерт закончился, сказал мне со вздохом:

— Опять те же печальные мелодии! — Он увидел, что я обеспокоился, и добавил: — Но сейчас не было ничего страшного, на такую музыку я мог бы ходить каждый день.

Пока мы выбирались наружу, я прислушивался к разговорам вокруг нас.

— Гигантское произведение! — говорил один, растерянно улыбаясь. — Нет, это поразительно, это почти сверхъестественно, никогда в жизни я еще не слышал такой величественной симфонии!

— Я плакал, — признавался другой. — Я ничего не мог с собой поделать, слезы лились сами. Просто невероятно, как Потапову удалось построить такую большую вещь на вариациях одного траурного мотива, правда, нежного и красного, этого отрицать не могу.

— Вот же было веселья! — восторгался третий. — Если бы не соседи, я пустился бы в пляс, так хороши те радостные мотивчики! А тебе они понравились? — спрашивал он свою подругу, немолодую женщину.

— Веселые? — переспросила она. — Я что-то их не услышала. — Она содрогнулась. — Больше я на такие концерты не пойду. Звуки были грубы, некоторые мотивы непристойны. У меня впечатление, будто меня раздевали и освистывали. Если и слушать такую музыку, то запершись в одиночестве.

— Этот концерт нужно слушать в постели, а не в зале, — утверждал еще один. — Удивительно успокаивающая вещь, после нее хорошо заснуть.

Впрочем, я ломлюсь в открытую дверь, вы не хуже моего знаете, как действует индивидуальная музыка. И что она теперь публично не исполняется, а стала интимной музыкой одиночества, по-моему, естественно. Мы с Генрихом не раз потом говорили об этом с Михаилом. Он, как вы знаете, долго боролся против переселения его индивидуальной музыки из концертных залов в спальни, он видел в этом реванш, взятый ненавистной ему классической прищудительной музыкой.



Сергей Снегов

УМЕРШИЕ ЖИВУТ

1

Петр потерял нить спора. Рой и Генрих всегда спорили. Не было явления в мире, чтобы братья оценили его одинаково. Если один говорил: «Да», другой откликался: «Нет». Даже по виду они были не разны, а противоположны. Рой — два метра тридцать, голубоглазый, белокурый — был так обстоятелен, что отвечал речами на реплики. Генрих — всего метр девяносто восемь, черненький, непоседливый — даже на научных совещаниях изъяснялся репликами, а не речами. Словоохотливость Роя бесила Генриха, он посмеивался над стремлением брата не упустить ни одну мелочь. Исследования по расшифровке слабых излучений человеческого мозга, уловленных приборами в межзвездном пространстве, они совершали совместно. Еще когда Генрих заканчивал школу — Рой был на семь лет старше, — братья стали

работать вместе и с той поры не разлучались ни на день. Достаточно было одному чем-либо заинтересоваться, как другой тотчас загорался этим же. Трудно было найти еще столь близких друзей, как эти два человека.

— Ты не желаешь слушать! — упрекнул Генрих Петра.

— ...И потому надо переработать огромный фактический материал, фиксируя сразу десятки и тысячи объектов, — невозмутимо продолжал Рой какой-то сложно задуманный аргумент.

— Тумба! — с досадой продолжал Генрих. — Тумба внимательнее тебя, Петр.

— ...А на основе проделанного затем подсчета и отбора наиболее благоприятных случаев...

— Я отвлекся, — сказал Петр с раскаянием.

— ...учитывая, конечно, индивидуальные особенности каждого объекта, ибо на расстояниях в сотни светолет искажения неизбежны и, кроме общей для всех характеристики, они будут пронизаны своими неповторимыми особенностями... — доказывал Рой.

— Твое мнение? — потребовал Генрих.

— У меня его нет, — сказал Петр. — Я наблюдатель, а не судья.

— ...вывести общее правило поиска и применить его к расшифровке уже других объектов, которые в свою очередь...

Генрих вскочил.

— Выводи общие правила, а я начну, как все люди, с самого простого.

Генрих вышел, хлопнув дверь. Рой замолчал, не закончив фразы. Петр засмеялся. Рой с укором посмотрел на него.

— Неужели вы рассчитывали серьезно, что с первого испытания всё пойдет как по маслу? — спросил Петр.

— Вторая неделя, как механизмы запущены, — пожаловался Рой. — И ни одной отчетливой картины.

Петр с сочувствием смотрел на него. Братьям, конечно, не до веселья. Сверхсветовые волны пространства, в считанные минуты уносясь за Сириус и Капеллу, фиксировали множество сфер излучения, удалявшихся от Земли, но расшифровать их не удавалось. На экране порой вспыхивало что-то туманное, нельзя было разобрать, где лица, а где деревья, где животные, а где здания, посторонние шумы забивали голоса.

— Вы сумели разрешить самую важную часть проблемы — волны пространства оконтуривают уносящиеся мозговые излучения, — сказал Петр. — Доказано, что любой человек оставляет после себя вечный памятник своей жизни. А что буквы на памятнике так сложны...

— На Земле уже двести лет отлично расшифровывают излучения мозга, — возразил Рой. — Но что это окажется так трудно по отношению к волнам, давно запущенным в космос...

— Вот, вот! А теперь вы тщательно разберетесь в помехах и найдете вскоре надежные способы преодолеть их.

В комнату вошел взволнованный Генрих.

— Механизмы переведены на мою систему поиска, Рой! Советую убедиться, что ничего от твоих предложений не сохранено в программах.

— Если всё собрано точно по твоей схеме, то не сомневаюсь в провале. — Рой вышел.

— Устал! — сказал Генрих, опускаясь в кресло. — Две недели почти без сна... Тошнит от мысли о восстановительном душе. Рой обожает души. А терять часы на сон — жалко! Как вы обходились в своей дальней дороге?

— Мы спали, Генрих. У нас тоже имелся радиационный душ, и мы порой, особенно за Альдебараном, прибегали к нему. Но любить его — нет, это противоестественно! Когда была возможность, мы спали обычным, замечательным, земным сном.

— Я посплю, — пробормотал Генрих, закрывая глаза. — Минут десяток...

— Только не сейчас! — Петр потряс Генриха за плечо. — Когда вы запальчиво спорите, я ни одного не понимаю. Объясни, пока Роя нет, чем твоя схема отличается от его.

— Схема? — сказал Генрих, открывая глаза. — У Роя нет схем. Рой педант.

Генрих вскочил и зашагал по комнате. Если приходилось объясняться, ему легче это было делать на ходу.

Петр наконец уяснил себе, что Рой настаивает на фиксации всех излучений мозга, обнаруженных в галактическом пространстве, а после изучения того, что объединяет их, искать индивидуальной расшифровки. Генрих же настаивает, чтоб начали поиск с излучений выдающейся интенсивности, с резкой индивидуализацией — горных пиков своеобразия на плоской равнине схожестей.

— Во все времена существовали люди с особо мощной работой мозга. Пойми меня правильно, Петр, я не о признанных титанах умственного усилия, как пытается меня Рой... Нет, обычные люди, может неграмотные мушкетеры, а может и гении, не зарекаюсь, — те, у кого мозг генерировал особо мощно...

— Мне кажется, резон в твоих рассуждениях есть.

— Скажи это Рою! Обязательно скажи!

Генрих снова плюхнулся в кресло. Рой не шел, и Петр заговорил опять:

— Рой намекнул, что у тебя какие-то личные причины заниматься этой работой... Извини, если вторгся в интимное...

— Я не скрываю. Ты слыхал об Альбине?

— Знаю, что она была твоей невестой.

— И больше ничего?

— Я был в командировке на Прочионе, когда она погибла при катастрофе с планетолетом. Нас всех потрясло известие об ее кончине. Очаровательная, очень красивая женщина.

— К тому же — редкая умница... Гибель ее... в общем, я думал о ней ежеминутно, говорил с ней во сне и наяву. Мне захотелось возвратиться в ее жизнь, увидеть ее девчонкой, подростком, девушкой... Так явилась мысль заняться волнами мозга, излученными в мировое пространство. Конструкции механизмов разрабатывал Рой.

— А то, ради чего ты начал работу?..

— С Альбиной пока не получается... Радиосфера ее мозга несется где-то между тридцатью двумя и восемью светогодами, она умерла восемь лет назад, двадцати четырех лет от роду. Но на таком близком расстоянии дикий хаос мозговых излучений. Слишком уж интенсивно думают наши дорогие современники...

В комнату быстро вошел Рой:

— В восьмистах пятидесяти светогодах от Земли, за Ригелем в Бетельгейзе, приемники зафиксировали мощное излучение мозга! Идемте смотреть.

2

На стереоэкране вначале прыгали цветные блики, световорот крутящихся вспышек накладывался на световорот предметов. Потом в хаосе внезапно наступил порядок. На экране выступили цифры, знаки и буквы, они

выстраивались цифра за цифрой, буква за буквой, знак за знаком.

— Формулы! — воскликнул Генрих.

— Формулы! — подтвердил Петр. — Стариннейший способ, начало алгебры. Такие формулы применялись на заре науки.

— Похоже, мы уловили мыслительную работу какого-то математика, — сказал через минуту Генрих. — Рой, ты всё знаешь. Какие математики были в ту эпоху?

Расшифрованное излучение походило на доказательство теоремы. Неизвестный математик рассчитывал варианты, принимал одни, отвергал другие, некоторые буквы исчезали, словно стертые, другие выступали отчетливей — доказательство шло от посылок к следствиям.

— Нет, какая мощная мыслительная работа! — не выдержал снова Генрих. — Этот парень так погружен в вычисления, что не видит ни одного окружающего предме... Что это?

На экране возникло изображение старинной улицы — кривая, круто уходящая вверх мостовая, трехэтажные красные дома с балкончиками и флюгерами, крестьянская телега, запряженная быком, в отдалении. По улице шел толстый человек в берете и темном плаще, из-под плаща выступал кружевной воротник. У человека было обрюзгшее лицо, под глазами багровые мешки, губы зло кривились. В руке он держал суковатую палку.

«Вы так задумались, господин советник Ферма, что не видите, как налетаете на прохожих, — сказал человек в берете и стукнул палкой по булыжнику. Голос у него был под стать лицу — хриплый, сварливый. — Скажите спасибо, что столкнулись со мной, а не со стеной, а не то у вас появилась бы на лбу преогромнейшая шишка!»

С экрана зазвучал другой голос — растерянный и добрый:

«Простите, господин президент парламента, я временами бываю... Поверьте, я очень смущен!..»

«Рад за вас, что вы смущены своей бестактностью, Ферма, — продолжал человек в кружевном воротнике. — И что вы временами бываете, я тоже знаю. Весь вопрос, где вы бываете? Бывать на службе вы не имеете времени. Ну-с, я слушаю, о чём вы размышляли?»

«У меня сегодня счастливый день, господин президент. Я наконец осуществил давно задуманное!»

«Вот как — счастливый день? Осуществили задуманное? А что вас так обрадовало, Ферма? Неужели вы задумали разобраться наконец в том ворохе дел, что накопился у вас в ратуше, и осуществили задуманное? Неужели теперь никто не будет тыкать в вас пальцами, как в лентяя? Ферма, может быть, вы задумали взяться за ум, как этого требует ваше благородное происхождение и незаурядные знания, а также общие пожелания граждан нашего города, и осуществили это? О, если это так, Ферма, я вместе с вами воскликну: «Да, он имеет право быть счастливым!» Что же вы опустили голову?»

«Господин президент... Я сегодня нашел доказательство одной замечательной теоремы — и какое доказательство!»

Толстяк взял за локоть невидимого на экране Ферма: «Сделаем два шага в сторону, господин советник. Вот пирульня нашего уважаемого Пелисье, а вот его реклама — уличное зеркало. Вглядитесь в зеркало, Ферма, и скажите, что вы видите?»

«Станный вопрос, господин президент. Я вижу себя». Теперь с экрана глядел второй собеседник — худое, удлинненное лицо, высокий, плитою, лоб, резко очерченный нос над крохотными, ниточкой, усиками, черные волнистые — свои, а не накладные — волосы, белый, платком, льняной воротничок.

— Я видел его портрет в музее, — прошептал Генрих. — Нет, как похож!

— Какие лучистые глаза, — отозвался Петр. — И какое благородство и доброта в лице!

— Вы мешаете слушать! — пробормотал Рой. — Глаза как глаза — глядят!

А люди на экране продолжали беседу:

«Я скажу вам, что вы увидели в зеркале, Ферма. Вы увидели удивительного мужчину — не добившегося положения в обществе, теряющего любовь невесты, уважение окружающих... Вот кого вы увидели, Ферма! И после этого не твердите мне о дурацких доказательствах каких-то дурацких теорем. Я друг вам и, как друг, говорю: вы конченный человек, Ферма! Вся Тулуза издевается над вами! Арифметикой Диофанта в наше время не завоевать ни денег, ни положения, ни любви. Оставьте это старье древним грекам, которые находили в цифрах и чертежах противоестественное наслаждение, и станьте наконец на уровень века. До свидания, Ферма!»

«Одну минуточку, господин президент!.. Я ведь шел к вам, чтобы... Я третий месяц не получаю жалования, господин президент!»

Толстяк снова стукнул тростью о булыжник:

«И еще три месяца не получите! Жалованье! Вас не за что жаловать. Подумайте над моими словами, Ферма».

Толстяк медленно поднимался по крутой улице, а дома стояли неподвижно. Потом дома пришли в движение, теперь улица опускалась. Дома уходили вверх, их сменяли новые — Ферма шел вниз. Улица стала тускнеть, сквозь кирпич стен и булыжник мостовой проступили буквы и знаки: мозг Ферма снова заполнили формулы. Вскоре от внешнего мира не осталось и силуэтов — на экране светило лишь сызнова повторяемое вычисление.

А потом сквозь математические знаки проступила заставленная вещами комната — картины и гобелены на стенах, высокие резные шкафы по углам. В сумрачной комнате, освещенной одним узким окном, всюду виднелись книги — заваливали диван, возвышались горками на полу. Одна, огромная, в кожаном переплете, лежала на столике, — на экране руки Ферма перелистывали страницы фолианта.

На пороге комнаты стояла старушка в чепце.

«Отвлекитесь от Диофанта, господин Ферма, — говорила старуха. — Удалось вам раздобыть денег? У меня не на что покупать провизию, господин Ферма. Вы меня слышите?»

«Слышу, слышу, дорогая Элоиза, — донесся с экрана торопливый голос Ферма. — Я слышу тебя самым отличным... Что ты хочешь от меня?»

«Я хочу вас накормить, а на это нужны деньги».

«К несчастью, Элоиза, поход был неудачен. Президент пригрозил, что еще три месяца не будет платить».

«Боже мой, что вы говорите! Еще три месяца без жалования!»

«Пустяки, Элоиза! Всего девяносто один день. Продай что-нибудь, и мы отлично проведем эти три месяца».

«А что продать? Самое ценное у вас — книги, но вы не разрешаете даже пыль с них стирать».

«И не разрешу, Элоиза! Книги святых икон».

«Не кощунствуйте! Может, продать шкафы?»

«Правильно! На что нам так много шкафов?»

«А куда вы будете класть свои книги? Я лучше предложу старьевщику господину Пежо наши гобелены».

«Ты умница, Элоиза. Гобелены давно мне надоели. Сейчас я их сниму со стен».

«Постойте, господин Ферма! Я вспомнила, что они закрывают места, где отлетела штукатурка. Лучше шкафы!..»

«Вот видишь, я первый сказал о шкафах. Зови Пежо, а пока, пожалуйста, оставь меня. У меня важное вычисление».

«У вас всегда важные вычисления. Я должна еще кое-что сказать».

«Говори, только поскорее».

«Вчера у Мари был день ангела. Вы забыли об этом?»

«Что? Я забыл о дне ангела своей дорогой невесты? Как у тебя язык повернулся сказать такое, неразумная Элоиза? Да я вчера только о Мари и думал!»

«И не пошли ее поздравить! Вас пригласили к ней, но вы не явились».

«Ах, черт! Правильно, не пошел... Именно вчера мне явилась великолепная идея, и я немедленно сел ее разрабатывать. Поздравь меня, Элоиза, я добился необыкновенного успеха!»

«Все ваши успехи в арифметике не помогут мне сварить даже постного супа. И они не восстановят развалившиеся надежды на устройство семьи!»

«Что ты каркаешь? Какие развалившиеся надежды?»

«Я так хотела вашего счастья, я так любила Мари!..»

«Элоиза, твои слезы разывают мне сердце! Вытри глаза! Ты сказала что-то странное о Мари, я не понял».

«Она приходила недавно, ваша Мари. И она сказала, что по настоянию родителей и по свободному решению сердца освобождает вас от вашего обещания... Она раздумала связывать свою жизнь с вашей. Что с вами, господин Ферма?»

«Ты что-то спросила, Элоиза? Нет, я...»

«Что вы собираетесь делать?»

«А что я могу?.. Если вдуматься... Правда, я люблю ее... Еще не было на свете женщин, которым хватало бы одной любви!»

«Много вы знаете о женщинах! Вы свою арифметику знаете, а не женщин. Слушайте меня, господин Ферма. Мари от нас ушла к вечерне. Вечерня кончается через час. Идите к собору, объяснитесь с ней. Дайте обещание зажить по-иному. Она любит вас, поверьте старухе!»

«Это, пожалуй... Пообещать с завтрашнего дня по-дру-

гому!.. Элоиза, ты возвращаешь меня к жизни! Так ты говоришь, вечерня кончается через час?»

«Ровно через час, не опоздайте! А я пойду упрашивать господина Пежо раскошелиться на один из ваших шкафов».

Вещи пришли в движение, перемещались — хозяин комнаты метался из угла в угол. И опять вещи стали замирать, а на экране, еще туманные, проступили математические знаки.

Теперь весь экран занимала книга, тот фолиант, что лежал на столе. Ферма перелистывал пергаментные страницы, потом схватил перо и пододвинул бумагу. Знаки и числа теснились друг к другу, Ферма заносил на бумагу вычисление, неотступно стоявшее в его мозгу. Только раз он отвлекся и, посмотрев на стенные часы, сказал:

«Я что-то должен был сделать? Ладно, придет Элоиза...»

А затем, доведя вычисление до конца, он снова обратился к фолианту и торопливо, брызгая чернилами, стал писать на его полях. Это было уже не вычисление, а излияние, Ферма перекликался с великим математиком древности, умершим за полторы тысячи лет до него. Ферма сообщал ему и миру о событиях сегодняшнего дня.

«Я нашел поистине удивительное доказательство этой теоремы, — записывал он и читал вслух свои записи, — но поля Диофанта слишком малы, и оно не уместится на них...»

Он взял листочек с вычислением, минуту любовался им — весь экран закрыли знаки, буквы и числа — и, свернув листочек, вложил его между страницами Диофанта. На экране появилось лицо Ферма, он подошел к зеркалу, разговаривал с собой. В зеркале влажно сияли огромные, чуть выпуклые, очень добрые глаза, они смеялись, всё лицо смеялось.

«Ты счастливый человек, Пьер! — торжественно сказал Ферма. — Какой день! Нет, какой благословенный день! Я скажу тебе по чести, Пьер: вся прожитая тобой жизнь не стоит этого одного необыкновенного, этого восхитительного дня! Говорю тебе, истинно говорю тебе — нет сегодня счастливей тебя в целом мире!»

Радость лучилась из Ферма, и потомки, через восемьсот пятьдесят лет ставшие свидетелями его торжества,

радовались вместе с ним. А потом излучения мозга Ферма стали забиваться другими — на экране заплясали световые блики.

— Каково? — с торжеством сказал Генрих.

— Кое-что твоя схема дает, — признал Рой. — Но случай с Ферма пока единичен.

— Мы, очевидно, присутствовали при создании того знаменитого доказательства Большой теоремы Ферма, которое впоследствии утерjali и которое, сколько помню, не сумели восстановить соединённые усилия математиков мира в течение многих столетий, — сказал Петр.

— Я наведу справку, доказана ли уже теорема Ферма, — крикнул Генрих и скрылся.

— Думаю, всё, записанное Ферма на том клочке бумаги, будет теперь восстановлено полностью, — заметил Рой.

Генрих вернулся спящий.

— Нет! До сих пор — нет! Почти девять столетий протекло с того дня — и человечество не сумело повторить его удивительного доказательства! Естественно, что он так радовался! Но вот что интересно: работы Ферма после его смерти пздal его сын Сэмюель, очевидно, Ферма всё-таки женился.

— Не каждый же день он доказывал по Большой теореме, — возразил Рой. — Нашлись свободные часы и для невест. Важно другое — в тот знаменательный день мозг Ферма работал с такой интенсивностью, что далеко обогнал среднюю интенсивность мозга людей его поколения. Даже рассеяннo оглядывая свою Тулузу и обстановку комнаты, он сохранил нам яркий рисунок ее домов и вещей, и лица, и голоса того президента, и той старушки Эло...

На экране вспыхнула новая картина. Генрих нетерпеливо сказал:

— Рой, повремени с комментариями!

Дешифраторы передали в зал, что на расстоянии в тысячу светолет от Земли приемники уловили еще одно излучение мозга такой четкости и силы, что сравнительно легко поддается переводу в образы и слова.

— Тысячу лет назад! — воскликнул Генрих. — Кто бы это мог быть?

— Твои восторженные крики не лучше моих комментариев, — сказал обиженный Рой.

Это была тюремная камера, на полу вповалку лежали заключенные, в квадратик окошка под потолком лился солнечный свет, — сноп его не рассеивал, а лишь пронизал полумрак. Фигуры спящих людей, закутанных в рванье, были неразличимо схожи, и лишь один выделялся в сумрачной массе. Этот человек был так же скверно одет, так же скрючился на полу, чуть ли не подтягивал колени к подбородку — над спящими возносился белый парок от дыхания, в углах тускло поблескивала наледь, — так же тяжело дышал, сомкнув глаза, так же стонал, не то во сне, не то в забытьи. И единственным, что выделяло его среди товарищей, было то, что он выступал в полумраке отчетливо, с такими подробностями одежды и лица, словно только его кто-то пристально рассматривал со стороны, всё остальное охватывая лишь как фон. Кого-то неизвестного, чьи мозговые излучения были расшифрованы через тысячу лет, интересовал один человек из всех лежавших на полу тюремной камеры, и он всматривался в этого заключенного со скорбью и жалостью.

Человек на полу лежал в стороне от проникшего в камеру солнечного луча, но голова его была освещена так ярко, словно свет падал на нее одну. Достаточно было взгляда на эту странную голову, чтоб выделить среди других и запомнить — круглый череп, начисто лишенный волос, круглое безбровое лицо, маленькие глаза, очень острый тонкий нос, тонкие губы насмешника, остроконечный подбородок человека безвольного, гигантский лоб мыслителя, впалые щеки туберкулезника, окрашенные на скулах кирпичным румянцем. Человек, не открывая глаз, кашлял и прижимал руку к груди, жалко морщась, — в груди болело. Так же не открывая глаз, он вятно — грустно и насмешливо — проговорил стихами («Перевод с французского на современный международный», — дополнили дешифраторы):

А я уже полумертвец,
Покрит холодным смертным потом,
И чую, близок мой конец,
И душит липкая мокрота...

— Послушайте, это он себя рассматривает! — зашептал Геприх. — Он словно рассматривает себя со стороны!

— Стихи Франсуа Вийона, — добавил Рой. — Был такой французский поэт, и жил он как раз тысячу лет назад,

В ответ на громко произнесенные стихи поднял голову другой из лежавших на полу. И сейчас же картина переменялась. Камера сохранилась, но тот, кто читал стихи, пропал, лишь голос его слышался ясно, и всё стало таким, как будто происходившее в камере рассматривалось не в стороне от него, а его глазами.

Человек, поднявший голову, был одноглаз и свиреп на вид.

«Плохо тебе, Франсуа? — прохрипел он. — Ну и слабенюкое у тебя здоровье!»

«Побыл бы ты с полгода в Менских подвалах проклятого епископа д'Оссины Тибо, посмотрел бы я на твое здоровье, Жак! — проворчал человек, читавший стихи. — Вот уж кому не прощу!»

Он снова — и неожиданно весело — заговорил стихами:

...церковь нам твердит,
Чтоб мы врагов своих прощали...
Что ж делать! Бог его простит!
Да только я прощу едва ли.

Их разговор заставил еще нескольких заключенных приподняться. Почесываясь под мышками и зевая, они приваливались один к другому плечами, чтоб сохранить улетающее из тел тепло.

«Черта ему в твоём прощении, — продолжал одноглазый Жак. — Д'Оссины живет в райском дворце, его моления доставляются ангелами прямехонько в руки всевышнему. А тебе доля — светить лысой башкой в камере. Отсюда не то чтобы скромного моления — вопля на улице не услышишь».

«Всё же я буду молить и проклинать, друг мой, громила Жак! — возразил Франсуа. — И если я как следует, с хорошими рифмами, со слезой, не помолюсь за нас за всех, вам же хуже будет, отверженные! Или вы надеетесь, что за вас помолются кюре и епископы? Святая братия занята жратвой и питьем, им не до вас! Теперь послушайте, как у меня получается моление».

Изменив голос на пронзительно скорбный, Франсуа не то пропел, не то продекламировал:

О, господи, открой нам двери рая!
Мы жили на земле, в аду сгорая.

В разговор вступил третий заключенный. Этот лежал в углу, где поблескивал на стене лед, и даже голос его казался промерзшим:

«Зачем тебе молиться, Франсуа? Ровно через двое суток тебя благополучно вздернут на виселице, и ты, освобожденный от земных тягот, взмoeшь на небеса. Побереги пыл для личного объяснения с господом, а в разговоре со всевышним походатайствуй и за нас. Если, конечно, тебя с виселицы не доставят в лапы Вельзевулу, что вероятней».

На это Вийон насмешливо откликнулся другими стихами:

Я — Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Камера ответила хохотом. Теперь проснулись все и все смеялись. Заключенные глядели с экрана в зал, на невидимого Франсуа, и гоготали — очевидно, он скорчил очень уж умильную рожу. На шум, сперва полязгав за порами, вошел сторож — высокий, как фонарный столб, и такой же худой. В довершение сходства удлинённая голова напоминала фонарь. На багровом, словно подожженном, лице тюремщика топорщились седые усы в локоть длиной. Он с минуту укоризненно разглядывал Вийона.

«Опять шутовские куплетики? — проговорил он неодобрительно. — Разве вас засадили в лучшую тюрьму Парижа, чтоб вы хохотали? Ах, Франсуа, послезавтра тебо отдавать богу душу, а ты отвлекаешь своим весельем добрых людей от благочестивых мыслей о предстоящей им горькой участи».

С экрана раздался дерзкий голос невидимого Франсуа:

Я не могу писать без шуток,
Иначе впору помереть.

«Именно впору, — подтвердил сторож. — Говорю тебе — послезавтра. По-христиански мне жаль тебя, ибо в аду за тебя возьмутся по-настоящему. Но по-человечески я рад, ибо с твоим уходом тюрьма снова станет хорошей тюрьмой из того легкомысленного заведения, в которое ты ее превращаешь».

«Послушай, Этьен Гарнье, я согласен, что веду себя в тюрьме не слишком серьезно, — возразил Вийон. — Но ведь вы можете избавиться от меня, не прибегая к виселице. Я не буду возражать, если ты вытолкнешь меня на волю невежливым пинком в зад».

«На волю! — Сторож захохотал. — Из того, что ты мало подходишь для тюрьмы, еще не следует, что тебе будет хорошо на воле. Ты должен вскрикивать от ужаса при мысли о воле. Воля на тебя действует плохо».

«И ты берешься доказать это?»

«Разумеется. Я не бакалавр искусств, как ты, но что мое, то мое. И общение с вашим братом, отпетыми, научило меня краспоречию. Думаю, мне легко удастся переубедить тебя в трех твоих заблуждениях: в любви к воле, в ненависти к тюрьме и в противоестественном отвращении к виселице».

«Что же, начнем наш диспут, любезный магистр несвободных искусств заточения Этьен Гарнье».

«Начнем, Франсуа. Мой первый тезис таков... Впрочем, нам надо раньше выбрать судью, чтоб всё было, как в Сорбонне?»

«Ты считаешь, что тюрьма подобна Сорбонне?»

«Она выше, Франсуа. В Сорбонне ты был школяром, сюда явился бакалавром. Школяров мы не держим, зато магистры и доктора встречаются нередко. И мы кормим своих обитателей, кормим, Франсуа, а кто вас кормит в Сорбонне? Как же насчет судьи?»

Камера, сгрудившаяся вокруг Гарнье и Франсуа, дружно загомонила:

«Жака Одноглазого! Жака в судьи!»

«Пусть Жак! — согласился сторож, и одноглазый громила выдвинулся вперед. — Итак, мой первый тезис: воля плохо действует на тебя, Франсуа. Она убивает тебя, друг мой. Тебе тридцать два года, а ты похож на старика. Ты лыс, у тебя выпали зубы, руки дрожат, ноги подгибаются. Ты кашляешь кровью — это от излишества воли, Франсуа Вийон! Тебя сгубили вино и женщины. Я бы добавил к этому — и рифмы, но рифмами ты балуешься и в тюрьме, а женщинами и вином мы тебя не наказываем. Чего ты добился, проведя столько лет на воле? Ты имеешь меньше, чем имел в момент, когда явился в этот мир, ибо растерял здоровье и добрые начала, заложенные в тебя девятимесячным трудом твоей матери. У тебя нет ни жилья, ни одежды, ни денег, ни еды, ни службы. Что ждет тебя, если ты вырвешься на волю? Голод, одиночество и верная смерть через месяц или даже раньше — мучительная смерть где-нибудь под забором или на лежанке потаскухи, приютившей тебя из жалости. Такова для тебя воля. Теперь я слушаю тебя, Франсуа».

«Гарнье, жестокий бестолковый Гарнье, ты даже не подозреваешь, как прав! Всё же я опровергну тебя. Да, конечно, я пострадал от излишеств воли, но я знал вволю излишества! Не всегда, но часто, очень часто я бывал до усталости сыт, меня любили женщины, Гарнье, бывало, что они и посмеивались, и издевались надо мной, всё бывало, но они меня любили — тебе этого не понять, Гарнье, тебя никто не любил, ты сам себя не любишь! А друзья? Где еще есть такие верные друзья, как на воле? Кулак за кулак, нож за нож! И я согласен, что через две недели я умру, выйдя на волю. Но что это будут за две недели, Гарнье! Я напьюсь вдосталь вина, нажрусь жирных яств, набегаясь по кривушкам Парижа, наплююсь у щедрых на ласку потаскух, пожарюсь у пылающих каминов и позабуду холод твоей камеры — вот что будет со мной в отпущенные на жизнь две недели! Таков мой ответ тебе, Гарнье. А скорой смерти, так щедро обещанной тобою, я не боюсь, нет!..

. судьба одна!
Я видел всё — всё в мире бrenно,
И смерть мне больше не страшна!»

«Ты губишь не одно тело, но и душу, Франсуа. Воля иссушает твою заблудшую душу, мой мальчик. А душа важнее тела, поверь мне, я много раз видел, как легко распадается тело. Сохрани свою душу для длинной жизни!»

«На это у меня есть готовый ответ:

Легко расстанусь я с душой,
Из глины сделан, стану глиной;
Кто сыт по горло нищетой,
Тот не стремится к жизни длинной!»

«Что ж, и тезис убедителен, и возражение неплохо! — объявил Жак Одноглазый. — Будем считать, что ни один не взял верх».

«Слушай теперь мой второй тезис, Франсуа. Ты должен любить, а не ненавидеть тюрьму. Ни дома, ни в монастыре, ни в церкви ты не встретишь такого воистину христианского обращения, как в тюрьме. Здесь тебя по заслугам ценят и опекают, Франсуа. Тебе предоставили место для сна, а всегда ли ты имел на воле такое место? Тебя регулярно кормят — не жирными каплунами, конечно, но знал ли ты каплунов на воле? За тобой следят, заботятся о твоём здоровье, дают вволю спать. А если ты позовешь на помощь, разве немедленно не появлюсь я?

Разве наш добрый хирург мосье Бракке не пустит тебе кровь, если ты станешь задыхаться? Тюрьма — единственное место в мире, где не помирятся с твоей болезнью, не допустят твоей преждевременной смерти. Господин судья сказал мне: «Гарнье, Вийон должен своими ногами взойти на эшафот». И можешь поверить, я не досплю ночей, но не допущу, чтоб болезнь осилила тебя. Такова тюрьма».

«На это я отвечу тебе: прелести воли не потускнели в моих глазах оттого, что ты красноречиво расписал удобства тюрьмы».

«Тезис силен, а возражение неубедительно! — объявил Жак Одноглазый. — По второму пункту победил Гарнье».

«Тезис третий: ты должен стремиться на виселицу, а не уваливать от нее, — возгласил торжествующий Гарнье. — Нет большего счастья для тебя, чем добропорядочная виселица. Для тебя, Франсуа, виселица не кара, а избавление. Избавление от недуга, что гнетет тебя, от мук неизбежного умирания, от боли в костях и легких, от голода и холода, от неизбывных долгов, от нищеты, от коварных друзей, от неверных любовниц, от всех напастей, от всего горя, что переполняет твое сердце. Виселица для тебя выход в истинную свободу из юдоли скорби и слез. Один шаг, всего полувздох — и ты в царстве вечного облегчения и радости. А если по заслугам твоим ты угодишь не в рай, а кое-куда пониже рая, то горших мук, чем твои земные, и там не узнаешь. Разве ты не орал полчаса назад в этой камере как оглашенный: «Мы жили на земле, в аду сгорая»? И подумай еще о том, Франсуа, что в тех подземельях под раем тебе уже никогда не придется жаловаться на недостаток тепла, а здесь ты трясешься даже в солнечные дни. Говорю тебе, спеши на виселицу, спеши на виселицу, Франсуа!»

«Перестань, проклятый Гарнье! Чума, чума на твое злое сердце! Не хочу умирать, слышишь, не хочу умирать! Боже мой, жить, только жить! Любая жизнь, в тысячу раз хуже этой, но жизнь, жизнь!»

«Еще минутоу назад ты хвастался: смерть мне не страшна!»

«Замолчи, Франсуа! — сказал Жак Одноглазый. — Не узнаю тебя — с чего ты разорался? Слушайте мое решение о споре. Апология виселицы меня не убедила. Истинный христианин не должен стремиться на виселицу. По этому пункту победа за Франсуа Вийоном, хоть он не

удосужился подыскать дельные возражения. А в целом диспут окончен безрезультатно».

«Ты необъективен, Жак Одноглазый! — возразил уязвленный сторож. — В тебе заговорили личные антипатии, и ты заставил молчать внутренний голос справедливости. В скором времени и тебе придется подставить шею обвинениям волосяных рук — и ты заранее ненавидишь виселицу. Так порядочные люди не поступают, поверь мне, Жак, я опекал в моих камерах многих порядочных людей».

«Выбирай выражения поосторожней, Гарнье! — зарычал Жак. — Меня обвиняли в разбое, грабежах, насильи и убийствах — и я не опровергал обвинений. Но в непорядочности никто не смел меня упрекнуть, и я никому не позволяю...»

«Успокойся, Жак! — дружелюбно сказал Гарнье. — Никто больше меня не ценит твои достоинства. Я знаю, что ты с честью носишь прозвище Громила. Но выше всего для меня объективность и справедливость, эта неразлучная парочка понятий — мои фамильные святые, если хочешь знать. Сейчас я покажу вам, что такое настоящая объективность, друзья! Франсуа! — обратился он к Вийону. — Ты просил передать свой письменный протест на приговор парижского суда. Лично я считаю, как уже доказывал тебе, что виселица — лучший для тебя исход. Но, скрепив свое сердце, я доставил твоё обжалование по назначению. Жди скорого решения».

«Спасибо, Гарнье! — воскликнул обрадованный Франсуа. — За это я отблагодарю тебя по-королевски. Я напишу балладу в твою честь, чтоб обессмертить твоё имя!»

«Лучше бы ты орал свои стихи не так громко, — проворчал сторож, открывая дверь. — Столько хлопот с тобой, Франсуа. В парижской тюрьме нет чиновника серьезнее меня, но и меня ты своими непотребными куплетами порою заставляешь хохотать, вот до чего ты меня доводишь, Франсуа!»

Дверь захлопнулась, снаружи залязгали затворы. Солнечный сноп снова превратился в луч, луч тускнел. Один из заключённых с тоской смотрел в окошко.

«Кажется, снег пойдёт! — сказал он. — Только снега нам не хватало!»

«Когда валит снег, морозы спадают, — возразил Жак. Он подошел к Вийону, положил ему руку на плечо. Половину экрана заняло его лицо, единственный глаз Жака

смотрел зорко и сочувственно. — О чем задумался, Франсуа? Лучше прочти что-нибудь из «Большого завещания», что ты недавно написал.

«Прочти! Прочти, Франсуа! — раздались крики. — Что-нибудь позабористей, Франсуа!»

«Я прочту балладу о дамах минувших времен, — хорошо?»

«Давай о минувших дамах, — согласился Жак. — Минувшие дамы тоже неплохо. Хотя, если признаться, те пришлые дамочки, что бывали у меня под боком, нравились мне больше всех прошлых...»

Теперь снова был слышен один голос Вийона. Камера превратилась в нечто неопределенное и серое: Вийон, читая, прикрывал глаза.

Где Элоиза, та, чьи дни
Прославил павший на колени
Пьер Абеляр из Сен-Дени?
Где Бланш, чей голос так сродни
Малиновке в кустах сирени?
Где Жанна, дева из Лорени,
В огне окончившая век?..
Мария! Где все эти тени?
Увы! Где прошлогодний снег?

«Изрядно! — сказал Жак Одноглазый. — Просто слеза прошибает, так жалко погибших дам. Но я просил стихов повеселее, Франсуа. Помнишь, ты издевался над офицерами полицейской стражи, ну, и о прекрасной оружейнице замечательно... или о толстухе Марго. Что-нибудь поострее, Франсуа!..»

«Тогда я прочитаю вам стихи, написанные во время поэтического состязания в Блуа при дворе герцога Карла Орлеанского. Он сам задал нам тему — доказывать недоказуемое, сам вместе с другими поэтами писал баллады, но я его переплюнул, и, кажется, ему это не понравилось.

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду».

Голос Вийона сделал остановку. Камера ответила на паузу хохотом и восклицаниями:

«Вот это да! Ах же дает, стервец! Всеми принят, изгнан отовсюду, — слышал, Жак? Нет, ты послушай — лебедицу вороном!.. И над ручьем, над ручьем — от жажды, ха-ха-ха! Франсуа, нет, для тебя и виселицы мало! Говорю вам, он может, братцы, он может!»

Внезапно чтение прервалось, послышалось рыдание. Экран заполнило растерянное, безобразное лицо Жака Одноглазого:

«Франсуа, что с тобой? Проклятый Гарнье, это он тебя расстроил! Да успокойся же, успокойся!»

«Никто не понимает, никто! — лепетал голос Вийона. — Я так несчастен, Жак! И вы тоже, даже вы!..»

«Перестань плакать! Кто тебя не понимает? О чем ты говоришь? Ты говоришь о виселице, к которой тебя?..»

«Я говорю об этих стихах, что я в Блуа... Это ведь правда, Жак, здесь каждое слово правда! Я плакал, когда писал их, ибо ничего более искреннего о себе... А все смеются, всем кажется, что я острою. Вы хохотали, будьте вы прокляты все!»

Жак хотел что-то сказать, но его оборвал грохот дверных запоров. В камеру вошел Гарнье.

«Франсуа, — сказал он. — Парижский суд помиловал тебя, лысый мальчик. Суд заменяет тебе виселицу десятилетним изгнанием из Парижа. Можешь уходить на волю. Но помни, что в душе я дружески скорблю о тебе, ибо выпускаю тебя не на радость, а в лапы мучительного умирания. Ты еще скажешь мне, Франсуа, я верю в твою честность, хоть ты пишешь неприличные стихи, которые не переживут тебя, ты еще воззовешь ко мне в сердце своем: „Друг мой Гарнье, ты прав, виселица была бы мне лучше жизни!..“»

4

Камера потускнела, страстные импульсы мозга Вийона, уже тысячу лет, постепенно ослабевая, мчавшиеся в галактическом пространстве, забивались шумами иных излучений. На минуту показался древний Париж — темный переулочек, кривые дома, смыкавшиеся верхними этажами, золотарь с переполненной бочкой, распахнувший пасть в половину экрана: «Ах, Франсуа, ты ли это, иди сюда, крошка, я тебя поцелую!» Еще на минуту запылали дрова в камине, пламя выхлестывалось наружу, оно то отдалялось, то близилось — Вийон, озябший, лез

к огню и, обжигаемый, отскакивал. Затем и эти видения пропали. Больше никаких картин не возникало на экране. Рой выключил механизм.

— Неужели мы не разгадаем тайну его смерти? — сказал огорченный Генрих. — Сколько помню, гибель Вийона окутывает загадка.

— Давайте подведем итоги, — предложил Рой, игнорируя сетования брата. — Мне кажется, можно подискутировать и о результатах, и о новых задачах.

Петр с пятого на десятое слушал, о чем говорили работники института. Его томило удивительное ощущение, он хотел разобраться в своем томлении и уже собирался уходить, когда к нему обратился Рой:

— Разве тебя не интересуют наши предложения?

Петр заставил себя слушать внимательнее. Сотрудники института одобряли идею Генриха — искать излучения большой интенсивности, чтоб с их расшифровки пачать знакомство с летописью давно умерших людей. Но этого мало. Надо усовершенствовать аппарат, чтобы читать любую волну, излученную любым человеческим мозгом. Выяснить и записать события жизни, мысли и чувства всех людей, живших когда-либо на Земле. Нет человека, от неандертальца до современника, чья жизнь не заслуживала бы изучения. То, что в прежние времена называлось наукой истории, пока лишь каталог действий и дат отдельных выдающихся людей: сильных интеллектом ученых, инженеров, мастеров искусств и важных должностью полководцев и монархов. Их институт ныне покончит с таким унижительным обращением с людьми. Все, самые простые, станут равны великим. За время существования человечества на Земле жило около двухсот миллиардов человек. Составить двести миллиардов биографий, разработать новую науку о человеческой истории — такова задача.

Петр вслушивался в споры и предложения, честно старался во всем разобраться, но мысль его, прихотливая и яркая, уходила в сторону... Он видел снова крутую улицу Тулузы, холодную камеру, грязные кривушки Паризжа, с ним разговаривали президенты парламентов, тюремные сторожа, беспутные бродяги и воры. И Петру хотелось, оборвав споры, отчаянно крикнуть: «Послушайте, да понимаете ли вы, что это такое! Это же иной мир, совершенно иной мир — и он отдален от нас всего одной тысячей лет!»

Да, конечно, и он, и все они, сотрудники института, и тот же Рой, и тот же Генрих, они все учили историю, им известно по книгам, по лекциям, по стереокартинам в музеях прошлое человечества, так неожиданно зазвучавшее сегодня с экрана. Нового нет ничего, он знал всё это и раньше. Всё новое, всё! Он раньше только знал ту эпоху — спокойной мыслью, не чувством. Сегодня он ощутил ее, испытал потрясенной душой, сегодня он побывал в ней — и в ужасе отшатнулся!

И Петр думал о том, что и ему, и работникам института, и всем людям его времени, вероятно, так до конца и не понять своих предков, горевавших и насмежавшихся сегодня на экране и всё дальше от Земли уносящих на века отлитое, крепче, чем в бронзе, волновое воплощение своего горя и смеха. Три четверти их забот, девять десятых их страданий, почти все их напасти, да что таиться — и две трети их радостей чужды современному человеку. Нет уже ни советников, ни президентов парламентов, ни тюрем, ни тюремщиков, ни воров, ни бродяг, ни чахоток, ни потаскух, ни голода и холода, ни преждевременной смерти, ни насилия над творчеством. Ничто, ничто теперь не объединяет их с мучительно прозябавшими на Земле предками, незачем пылать их отпылавшим страданием, — о них нужно эрудированно рассуждать, больше ничего не требуется.

Так молчаливо твердил себе Петр, чтоб успокоиться. Но успокоение не наступало, смятение терзало всё горше. Он стал сопричастен чужому страданию и боли — и сам содрогался от боли, и сам страдал за всех незнакомых, давно отстрадавших...

Генрих толкнул друга рукой:

— У тебя лицо — словно собираешься заплакать! Отвечь Рою.

Петр поднялся:

— Боюсь, ничего интересного для вас не скажу. Разрешите мне уйти, я устал.

5

Была ночь, и Петр один шагал по пустому бульвару. Он мог бы вызвать авиетку, но домой не хотелось. Ему никуда сейчас не хотелось.

Он присел на скамью, обернул лицо к небу, отыскал созвездие Стрельца. Отсюда, без приборов, созвездие было

маленькое и тусклое. Петр закрыл глаза. К нему вдруг вернулись чувства, томившие его во время долгой экспедиции к центру Галактики.

— Пустота, — прошептал он, вспоминая пережитые и преодоленные страхи. — Боже мой, абсолютная бездна! И мы ее вытерпели!

Вытерпели ли? Всё осталось позади, всё совершалось сызнова. Он сидел с закрытыми глазами на скамейке ночного бульвара — и мчался в гигантское сгущение звезд, светил было так много, что в страшном своем далеке они казались туманным облачком — сияющее расплывчатое пятно, чуть мерцающее сквозь темные массы космической пыли... Нет, как они тогда говорили? В центре Галактики пылает звездный пожар, и пламя заволок космический дым, да, кажется, так они говорили. Они подшучивали и трудились, надо было поддерживать себя шуточкой и работой — кругом была бездна! Гигантские машины звездолета уничтожали впереди пространство, корабль вырвался в сверхсветовую область, оставил за собой релятивистские эффекты повседневного мира, но, изменяя метрику космоса, он не отменил безмерности мирового пространства, это было выше его возможностей: кругом по-прежнему была бездна, и они падали, всё падали в бездну, в три тысячи раз обгоняя свет, — бездне не было дна!

Да, в этом была главная мука, если уж говорить о муках. Ни один человек на Земле и окружающих Солнце звездах не способен понять тех ощущений, может, лишь первые космонавты, двигавшиеся с досветовыми скоростями, пережили это. Разве сытый поймет голодного? Кругом все близкие звезды, экспрессы твои уже третье столетие далеко оставляют за собою свет, дни, недели пути — и ты на месте. Пустота лишь разделяет светящиеся шары с планетами вокруг шаров, она не сама по себе, она легко преодолима — таков этот район Вселенной, звездная родина человечества. Здесь не заболевают болезнью бездонности, такая болезнь здесь немыслима!

А их терзал непреходящий страх перед неизмеримостью пустоты — ужас вечной, без дна, бездны. Они голодали особым голодом — томлением по вещной материи. Им казалось, что всё равно, какова эта материя, звезда или пылевая туманность, планета или рой метеоритов, — только не зловещая пропасть. «Пустота для себя и в себе» — так они острили о ней. Вот каково было их состояние во время многолетнего падения в той бездне!

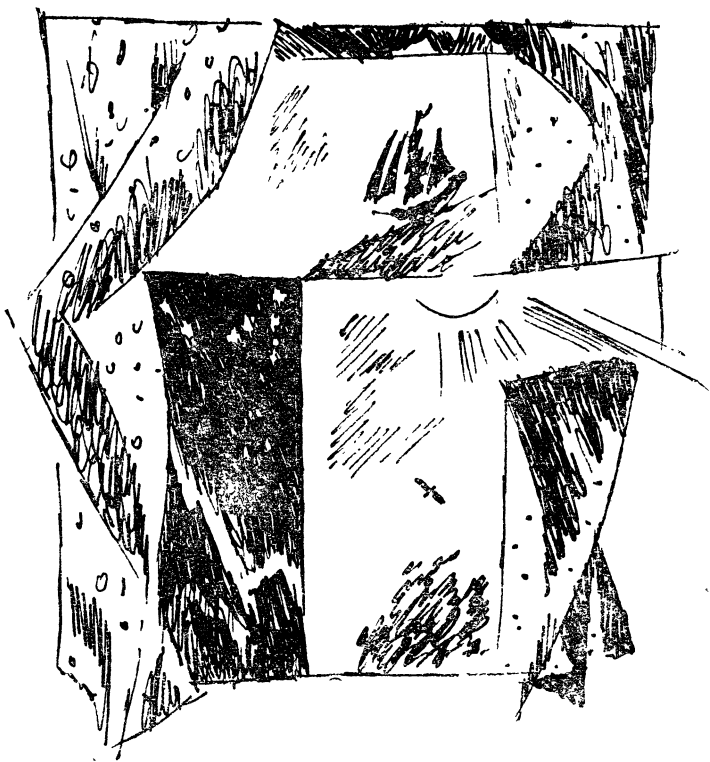
Нет, больше эти ощущения не появятся в звездном просторе, как бы далеко ни умчался он в новой экспедиции. Беспредельной бездны, неизмеримого провала во Вселенной отныне не существовало. Мировая пустота была не пуста.

Петр снова поднял голову к звездному небу. В космических просторах мчались волны новооткрытых излучений. Они пересекались и сталкивались в каждой точке мира, они неслись со всех направлений и во все направления. Двести миллиардов расширяющихся волновых сфер, творение и летопись жизни когда-то существовавших людей, миллиарды миллиардов волновых облаков, созданных иными разумными существами, может, и не миллиарды миллиардов, а триллионы триллионов — все они были там, в межзвездной пустоте. Звезды рождаются и умирают, Галактики образуются и распадаются, а в мировых просторах, сравнимые со звездами по долголетию, несутся, слабея, но не уничтожаясь, волновые знаки жизни, что некогда родилась в мире. Нет, не безмерность зловещей пустоты, но радостное соприсутствие того, что когда-либо существовало живого и разумного, — вот что суждено отныне ощущать им в межзвездных просторах!

И Петр испытал чувство, еще удивительней того, в институте... Он словно посмотрел на себя со стороны и увидел: сквозь его тело мчатся — со всех направлений и во все направления — волны, порожденные давно и недавно погибшими разумными существами. Он словно стал фокусом, где переплетались эти неоткрытые еще излучения. В маленьком его теле, жившем своей маленькой жизнью, бушевали миллионы иных, давно отгремевших жизней.

Его пронзил озноб. Ему стало тесно от толкотни чужих жизней, наполнявших каждую клетку тела. Картина была непредставима. Засмеявшись, он мотнул головой, отбрасывая видения. И в той далекой экспедиции к центру Галактики они встречались со многим таким, что трудно было изобразить вещной картиной, но что отлично поддавалось научному анализу. Важно — понимать. То новое, что открылось ему, было просто, в основе его лежали вечные законы.

Он шел, радуясь новому пониманию. Больше его никогда не достигнет страх одиночества. Всюду с ним будет безмерная, разнообразная, вечная, как материя, жизнь.



Геннадий Гор

ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА

1

— Милый мой, — сказал дядя, — в этой комнате необыкновенное окно. Но я тебе не советую смотреть в него слишком часто.

Дядя, веселый загадочный старик, немножко похожий на Жюль Верна, открыл дверь, и я оказался в комнате с необычайно светлым и синим, как речная струя, окном.

На столе лежала книга. Название книги показалось мне странным: «Чья-то жизнь».

— Чья жизнь? — спросил я дядю.

— Твоя.

— Моя?

— Да. Твоя. Ты скоро в этом убедишься.

— А как моя жизнь могла попасть в эту книгу?

— Потерпи, — сказал дядя. — Через несколько дней узнаешь.

Я посмотрел в окно. За окном стоял лес.

Через несколько минут я снова посмотрел в окно, леса уже не было. Вместо леса лениво лежала гора, а перед горой текла речка.

— Куда исчез лес? — спросил я дядю. — И откуда появилась гора? Ее ведь здесь не было.

— Потерпи, — сказал дядя. — Через несколько часов узнаешь. Тебе расскажет об этом книга, которая лежит на столе.

Дядя ушел, а я сел за стол и раскрыл книгу.

Я стал читать и с первой же фразы понял, что в книге речь идет обо мне. Я узнал себя. Это было удивительно, словно, идя по улице, я завернул за угол и встретился лицом к лицу с самим собой.

Я всегда чувствовал себя неуверенным, когда встречал человека, похожего на меня. Меня охватывало чувство смущения, а то даже и вины, словно встреченный мною прохожий мог обвинить меня в заимствовании, почти в краже. Но, читая эту книгу, я узнавал не своего случайного двойника, а себя самого, будто стоял перед зеркалом и разглядывал свое отражение.

Мое отражение подмигивало мне со страниц книги, намекая, что между мною и персонажем странной повести существует подспудная связь.

Я встал, вздохнул, а затем подошел к окну. Горы уже не было и речки тоже. За окном теперь шумело море. Над заливом кружились и тоскливо кричали чайки. Набегая на песок, пенился прибой. Пахло водорослями и солью.

Я снова сел за стол и углубился в чтение. Было совершенно ясно, что повествователь рассказывал обо мне, но неясным пока было другое — обращался ли автор книги к многоликому читателю или только ко мне лично.

Книги вряд ли пишутся для единственного читателя, они пишутся для каждого, кто пожелает войти в удивительный контакт с автором, контакт, который принято называть чтением. Сам процесс проникновения посредством сменяющихся слов и предложений в духовное единство героя, читателя и автора всегда поражал меня своей крайней загадочностью. В романе или повести что-то происходило с другими, непохожими на меня людьми, но почему-то всегда интимно касалось лично меня, словно

люди, изображенные в книге, были в кровном или духовном родстве со мной.

Но это была не совсем обычная книга, чем-то похожая на окно, за которым менялся мир, не сообразуясь с логикой обычной жизни. Книга рассказывала мне не о посторонних людях, а о том, кем был я и кем я казался самому себе и людям, знавшим меня.

Я встал, чтобы посмотреть в окно и узнать — по-прежнему ли там море или уже что-то новое, непредвиденное.

Моря не оказалось. Вместо него звенела степь, пахнувшая полынью. Вдали поблескивало степное озеро. Огромное небо висело над степью. Парил ястреб.

Но точно такое же небо описывалось на странице, которую я прочел, прежде чем подойти к окну. Там описывались степь, запах полыни. От напечатанных слов веяло июльским жаром, сухью и степным безразличием к человеку, который шел по дороге. И, кроме того, в небе там тоже парил ястреб.

Я перевернул сразу двадцать или тридцать страниц и стал читать новую главу. Было такое ощущение, словно я заглянул в свое собственное будущее.

Герой повествования плыл в лодке по спускающейся с гор таежной реке. Река неслась с неистовой быстротой и несла меня, обрушивая всю свою мощь, всё свое лесное таежное бешенство на камни, торчавшие из воды.

С берега смотрела на меня лосиха, сочувственными глазами зверя, догадавшегося, что человек попал в беду. Вокруг нее был покой лиственного леса, тишина, трава, ветви и лосиные следы, примявшие траву. Вокруг же меня было бешенство, захватывающая дух быстрота и грохот. Держа в руке весло, я пытался вмешаться в дела сошедшей с ума реки, но меня несло вниз, бросало из стороны в сторону.

Не дочитав до конца длинной фразы, я встал и подошел к окну.

За окном стоял мой дядя, веселый загадочный старик, немножко похожий на Жюль Верна, и смотрел на меня сквозь синее, как струя воды, стекло.

Он побарабанил пальцем по стеклу, я распахнул окно, повеяло свежестью сада. Дядя стоял в саду и, маня меня пальцем, говорил:

— Хватит читать. Довольно. Выходи на свежий воздух. Чудесный день. Волшебная дорога. Мы погуляем с тобой по этой странной дороге.

Мы с дядей вышли на волшебную дорогу, которая то спускалась с зеленого холма, то снова подымалась на холм, играя с пространством и пешеходами. Казалось, природа читала нам поэму, подставляя вместо слов холмы, ветви кленов, облака, синь воды и неба.

На лугу ржала лошадь. Гоготал гусь, плавая в похожем на облачко кудрявом пруду.

Важно восседая на моторной коляске, нас обогнала дебелая дворничиха.

— Здравствуйте, волшебник, — сказала она дяде игриво.

— Разве ты волшебник? — спросил я дядю.

Он очень смутился, покраснел, стал вытирать носовым платком лоб.

— Ну что ты! Как можно? Это в наш-то просвещенный век...

Но я не отставал от него:

— Случайно это не ты менял пейзаж за окном, когда я сидел за столом и читал книгу?

Длинное узкое лицо дяди стало еще более смущенным.

— Чуть! Я материалист. Я уважаю законы природы.

— Я тоже, — сказал я. — Но пейзаж всё же менялся.

— В книге? — спросил дядя.

Я не хотел его огорчать и сказал:

— Да, в книге. Эта странная книга поразила меня.

— Чем? — спросил дядя.

— Пока умолчу, — сказал я. — Я ее еще не дочитал и не знаю — чем она кончится.

— Это хорошо, что ты не знаешь конца.

— В конце что-нибудь случится? — спросил я.

— Потерпи, — сказал дядя. — Сам узнаешь, когда прочитаешь книгу.

Дорога круто свернула. Мы оказались в лесу. Лес был густ, душен, деревья теснили нас, превратив дорогу в тропу.

Дядя огляделся и вдруг признался мне:

— Я в самом деле хочу стать волшебником.

— Для чего? — спросил я. — Ты же материалист. Диалектик. Тебе нельзя.

— Теперь можно, недавно я ушел на пенсию. У меня много свободного времени. И я хочу использовать это свободное время, делая приятное людям.

— А они не привлекут тебя за это к ответственности?

— За что?

— Волшебство — это пережиток, суеверие, — сказал я.

— Не всякое, — сказал дядя и стал еще больше похож на Жюлья Верна. — Свои чудеса я хочу запатентовать как крупное изобретение и подвести под них строго научную базу. Не забывай, что я член Дома ученых и сотрудник журнала «Знание».

— А в редакции журнала знают, что ты волшебник?

— Пока нет. Не знают. Но, возможно, догадываются. Я вижу это по выражению лица кассирши, когда она выплачивает мне гонорар.

— Кассирша — это еще ничего. Важно, чтобы не догадался редактор.

— Пустяки. Скоро я подведу под свои чудеса строго научную базу.

— А без базы нельзя?

— Как-то неудобно. Я всё-таки материалист.

— Материалисты, — сказал я, — не поступают так со своими гостями, не меняют обстановку за окном, а дают людям привыкнуть.

— И ты привыкай, — сказал дядя.

— Попробуй-ка привыкнуть. То речка, то гора, то лес, то пустыня, а то просто ничего, пустота. Это противоречит законам природы.

3

Вечером, сидя на веранде, мы пили чай и вели беседу.

— С юношеских лет, — сказал дядя, — я боролся с отсталостью, с разными пережитками и суевериями. Но под старость мне почему-то ужасно захотелось творить чудеса.

— На строго научной основе?

— На строгой...

— Тебе это не удастся. Наука враждебна волшебству.

— Мое волшебство имеет прогрессивный характер. Если хочешь знать, я — поэт, хотя и не пишу стихов. Я ищу интимного контакта с вещами и явлениями, с людьми и природой. А за то, что я ушел на пенсию, ты меня не осуждай. Я ведь очень стар.

Дядя встал и сказал:

— Ты меня извини. Я пойду работать.

— Творить чудеса?

— Нет. Искать научное обоснование. А ты пойдешь к себе. Почитай книгу о своей жизни. Только старайся пореже смотреть в окно.

Я ушел в свою комнату и сразу же вспомнил, что дядя не советовал мне смотреть в окно. Окно было завешено портьерой, а на столе лежала книга.

Я не утерпел, раздвинул портьеру и посмотрел в окно. Светила большая круглая луна. Перед окном лежала ночная пустыня. До меня донесся рев разгневанного льва. Я подумал: «Дядя по-прежнему творит чудеса, под которые трудно подвести строго научную базу».

И еще я подумал: «Старика не стоит упрекать. Он очень огорчится, если его обвинят в агностицизме».

Лев рычал. Луна светила. Пустыня пылала, как раскрытая печь. Я повернулся спиной к окну и сел за стол, чтобы продолжать чтение.

Лодку несло среди торчавших из воды камней. В лодке сидел я сам. Держа плоские весла, я пытался бороться со стихией. Река грохотала, как гром.

Но вот пороги кончились. Стало тихо. По обоим сторонам реки росли березы, я причалил к берегу и вышел из лодки. На берегу стоял дом. Я подошел к окну и заглянул сквозь прозрачную синь стекла в комнату. В комнате я увидел дядю, веселого загадочного старика, немного похожего на Жюль Верна.

Старик сидел у рояля и играл, быстро перебирая клавиши длинными девичьими пальцами. Но музыки не было слышно. Вместо музыки слышался птичий свист, звон дождевых капель, журчанье ручья, серебристое ржание кобылицы.

Старик встал и подошел к окну. Он увидел меня и распахнул окно. На его узком загадочном лице играла усмешка.

— Как тебе нравится книга, которую ты читаешь? — спросил он меня.

— У меня еще не сложилось определенного мнения.

— Читай, не спеши, — сказал дядя, — ведь это твоя жизнь.

— Моя жизнь? — удивился я. — Но мне никогда не

приходилось плыть на лодке среди порогов, подвергаясь такой страшной опасности.

Дядя посмотрел на меня и усмехнулся.

— Но ты же не погиб, — сказал он, — опасность позади, и разве тебе не приятно о ней сейчас вспомнить?

— Всё это случилось не со мной, — сказал я.

— Не спорь. И не скромничай. Ты проявил незаурядное мужество и не дал стихии погубить себя. Я горжусь тобой... Не спорь. А лучше оглянись и посмотри, что позади тебя.

Я оглянулся и отпрянул. Позади меня была зима, хотя несколько минут назад было еще лето. Вместо листьев на деревьях висели снежные хлопья. Пушистый снег лежал на земле. На снегу были видны заячьи следы.

— Волшебничаешь? — сказал я дяде.

— Да, — сказал дядя грустно. — Но, понимаешь, всё это меня не удовлетворяет.

— Почему?

— Всё потому же. Не удастся подвести теоретическую базу. Нужно как-то всё это объяснить, примирить с разумом. Но пока не получается. Видишь ли, я плохой теоретик.

— Ничего, — сказал я. — Не огорчайся. Сейчас и физики не всё могут объяснить, например, происхождение и природу квазаров. Со временем объяснят. И под твои чудеса тоже подведут теоретическую базу.

Дядя вышел из домика, и мы снова отправились по волшебной дороге.

Холмы, деревья, озеро — всё это словно только что возникло, покрытое свежим пушистым снегом. С дерева на дерево прыгала белка. И дядя шел с таким видом, словно всю эту внезапную, живую и поэтичную картину создал он сам благодаря волшебному мастерству.

4

Я собирался написать письмо своей жене в город, но не знал с чего начать. Всё, что происходило со мной в волшебном домике моего дяди, было непередаваемо на язык обыденной жизни и привычных чувств.

Я долго смотрел на чистый, белый, ничем не заполненный лист бумаги, а затем стал писать о том, что вам уже известно.

Написав письмо, я подумал, что жена, пожалуй, не поверит мне или вообразит, что я заболел какой-то новой, еще не известной врачам болезнью, когда человеку кажется то, чего нет и не может быть.

Я запечатал конверт и собирался уже написать адрес, но никак не мог его вспомнить. Я забыл не только номер дома, но даже название улицы. Казалось, кто-то похитил мое прошлое.

Стараясь припомнить свой собственный адрес, я подошел к окну и посмотрел. Перед окном стояло дерево, под деревом — скамеечка, а на скамейке сидел красивый молодой человек с лукаво-печальным выражением лица.

— Кто вы? — спросил я этого молодого человека. — Откуда?

— Из будущего, — ответил он мягким глубоким голосом, голосом поэта.

— Из какого будущего? — спросил я.

— Из вашего. Вы слишком медленно читаете книгу о вашей жизни. На следующей странице вы найдете меня. Наши пути пересекутся. И мне, к сожалению, придется сыграть немаловажную роль в вашей жизни.

— Какую?

— Вам лучше бы узнать это из книги. Но если вам не терпится, я могу вам сказать. Я причину вам много страданий. Во-первых, ваша жена уйдет со мной. Это произойдет не сразу. Она долго будет бороться с собой. Но это сильнее ее и вас, а если хотите, и меня, Это настоящее чувство. Вас она не любит. Но об этом вы узнаете через несколько лет, когда она уйдет от вас.

— Не может этого быть, — сказал я.

— К сожалению, может. И вы в этом убедитесь, когда перевернете страницу книги. Это всё еще впереди. И я дал бы вам один совет. Пока этого еще не произошло, цените больше свою жену. Она еще с вами. Потом наступит день, когда вы почувствуете свое одиночество. До этого дня еще несколько лет. Но день этот неизбежен. Ведь я появился из будущего.

— А как вас зовут?

— Виктор, — ответил он, — Виктор Петрович. И я могу даже дать свой адрес.

И он назвал мой адрес, тот самый, который я никак не мог вспомнить, когда закончил свое письмо жене.

— Это же мой адрес, — сказал я.

— В настоящее время — да. Но что касается буду-

щего — там другая картина. Вы переедете на новую квартиру в Купчино, а я поселюсь в бывшей вашей, с бывшей вашей женой, которая станет моей.

— Не будет этого.

— Будет. Я-то лучше вас знаю. Я ведь только что оттуда, из будущего, с еще не прочитанной страницы вашей жизни.

— Но зачем это? Зачем? Человек не должен обгонять самого себя, а жить, идя с временем и с самим собой в ногу. Зачем вы пришли раньше назначенного срока?

— Спросите волшебника — вашего дядю. Это он изъяс меня из моего дня и часа и прислал сюда, под это окно. По-видимому, он хотел, чтобы мы познакомились. Может, он ставил себе и другую цель.

— Какую?

— Вы лучше знаете характер вашего дяди. Он не злой волшебник, скорее добрый. И он, наверное, вам желает добра.

— А вам?

— Наверное, и мне тоже, если он не страдает семейственностью.

— Бряд ли страдает. А он не может изменить мое будущее?

— Сомневаюсь. Ведь я же пришел оттуда. Привет вам от вашей бывшей жены. Она часто вспоминает вас добрым словом и иногда жалеет, что ушла от вас, хотя вы плохо мыли шею и иногда проявляли скупость на мелкие расходы. Да, иногда она жалеет, но не радуйтесь и не обманывайте себя. Она к вам не вернется. Слишком много воды утекло.

— Вы говорите таким тоном, словно жена уже ушла от меня.

— Нет. Пока всё в порядке. В вашем распоряжении еще песколько лет. Но ведь всё временно в нашей жизни. И к тому же я пришел сюда вовсе не для того, чтобы вас утешать.

— А для чего?

— Не знаю. Просто так. Оттого, что ваш дядя раньше срока перевернул страницу вашей жизни, а заодно и моей. В сущности, всё еще далеко, всё еще впереди, и я вас не знаю. Давайте условимся, что всего этого еще не было, как в обычной жизни.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите? Уж не хотите ли вы, чтобы я забыл всё, что узнал от вас?

— Да, — сказал он. — Забудьте, как вы забыли свой собственный адрес. Человек не должен забывать свое прошлое... Но будущее! Он не должен его знать, его еще нет, оно будет. Да вот, кажется, идет ваш дядя.

Дядя подошел тихо, как и полагается волшебнику.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я рад, что вижу вас вместе. Мне нужно с вами поговорить. Вы можете поздравить меня. Я, кажется, нашел научное обоснование для скромных чудес, которые я время от времени творю.

5

Мне уже некогда было смотреть в окно и читать книгу со странным названием «Чья-то жизнь». Я думал о своей жене Клаве и о том, что она уйдет от меня.

— Дядя, — сказал я, — извини. Мне нужно быть дома. Неотложные дела.

— Понимаю, — обиделся дядя. — Тебе не нравятся мои чудеса. Ты не любишь суеверия и презираешь мрак. Но сейчас, когда я почти подвел под них теоретическую базу...

— Не надо, не оправдывайся, — прервал его я, — я ведь приезжал к тебе не ревизовать твою работу. Я чудесно провел время, смотрел в окно, гулял по волшебной дороге. Хотя ты ушел на пенсию, но ты полон творческих сил. Немножко жаль, ты тратишь эти силы на то, что давно осуждено историей и прогрессом. Чудес не должно быть.

— Необоснованных чудес. Но мои чудеса будут скоро утверждены в специально созданном для этого комитете. Я пишу статью и собираюсь послать ее в научный журнал. К статье приложен строго проверенный математический аппарат.

Я не стал спорить. Мы тепло попрощались, и я, пройдя по волшебной дороге, сел в поезд. Вокруг уже не было никаких чудес, всё было обыденно и заранее известно: названия станций, слова, которые произнесут пассажиры, ругая духоту, телеграфные столбы с сидящими на проводах птицами, похожими на нотные знаки.

Я подходил к окну и видел поля, всё время поля, поля и небо, небо и поля без всяких изменений.

И я подумал — не странно ли, что это окно обыкновенное, и пейзаж один и тот же, и за окном нет никаких

чудес. Я подумал так потому, что, гостя у дяди, я постепенно привык к чудесам и не хотел от них отвыкать.

Домой я приехал вечером, когда жена сидела за столом и просматривала ученические тетрадки. Обычно меня раздражало, что Клава уделяла много внимания школе, ученикам, их родителям и мало внимания мне, но сейчас я с нежностью смотрел на жену, и дело, которым она занималась, показалось мне одним из самых прекрасных дел на земле.

Я обнял жену, поцеловал ее и заглянул в тетрадку, где милые круглые слова и буквы напоминали о детстве.

— Я не ждала тебя, — сказала Клава, — ты пробыл у дяди всего десять дней, а собирался провести целый месяц.

— Да. Но мне недоставало там тебя, я скучал и поэтому приехал.

— Но ты писал, что там были чудеса, что дядя волшебник и всё ежеминутно менялось?

— Писал, — сказал я, — ну и что?

— А здесь нет никаких перемен. Начались занятия в школе; новая заведующая, у нее прескверный характер, мучит себя, нас и учеников.

Я подошел к окну. За окном шел трамвай.

На другой день я снова подошел к окну. За окном шел трамвай.

И то же было и на следующее утро. Улица была похожа на этот трамвай. Но, не находя перемены на улице, я чувствовал ее в себе.

С каждым днем я чувствовал всё острее и острее, как росло мое чувство к жене. Казалось, кто-то повернул вспять течение моей жизни и я снова вернулся в те удивительные дни, когда робко ухаживал за Клавой и назначал ей свидания в Михайловском саду.

Клаве, по-видимому, нравилось это. И, проверяя детские тетрадки, она время от времени бросала взгляды в мою сторону, словно признавая не только существование своих учеников, сердитой заведующей, слабохарактерного завуча, но и меня тоже. В свободные часы мы стали ходить в кино, а иногда даже в театр.

Правда, иногда я подходил к окну и всегда видел за этим окном одно и то же: трамвайную линию, булочную и магазин, в котором продавали обои, замки и краску. Да, мир застыл за этим окном, как одна и та же декорация в жалком провинциальном театре, но зато внутри

меня текла жизнь, живая и интимная, как недосказанная сказка.

— Ты меня еще не разлюбила? — спрашивал я жену.

Она отвечала улыбкой, неузнаваемо менявшей ее немножко увядшее и усталое лицо.

— Пока нет, — говорила она.

Но по ночам я просыпался с тревогой. Мне вспоминалось дядино окно, скамейка под деревом и красивый молодой человек, которого звали Виктор. И я думал: ведь этот Виктор появился из будущего, нарушая законы необратимости времени, чтобы напоминать мне о том, что моя жена уйдет к нему. Это неизбежное для меня будущее спешило, сменяя дни и недели и неизбежно приближая меня к часу, который должен наступить. Однажды я не выдержал и рассказал жене о Викторе и о том, что, по его словам, меня ждет через несколько лет.

— Этого не случится, — сказала Клава, — я никогда не уйду от тебя к другому. Мне смешно, что ты веришь в разную чепуху, в суеверия и вредные антинаучные сказки, которые рассказывает выживший из ума пенсионер, твой дядя. Стыдно. Ты окончил биологический факультет, работаешь в цитологической лаборатории, где изучают энергетику клетки, и поддаешься на удочку какого-то старого шарлатана.

— Мой дядя не шарлатан, — сказал я, — я сам видел своими глазами этого Виктора, познакомился с ним и от него, а не от дяди узнай то, о чем я сейчас говорил. Он говорил в настоящем времени о том, что будет. Для него это было реальностью.

— А для тебя?

— Для меня это тоже стало реальностью, поскольку я узнал об этом как о неизбежном факте.

— Чепуха. Суеверие. Меня это возмущает. В школе своим ученикам я объясняла, что не надо верить в чепуху, что надо бороться с мраком и отсталостью. Неужели и дома я должна повторять элементарные вещи?

— Хотел бы я, — сказал я, — чтобы ты пожила у дяди, почитала книгу со странным названием «Чья-то жизнь» и посмотрела в окно, за которым всё менялось быстрее, чем на сцене или даже на экране.

— Чем спорить, давай лучше спать. У меня завтра пять уроков и родительское собрание.

Сказав это, жена вскоре уснула. Но я не спал, ворочаясь с боку на бок и прислушиваясь к дыханию жены.

Дядя прислал открытку, исписанную чрезвычайно мелким экономным почерком пенсионера. Он писал о том, что усовершенствовал технику своих чудес, и звал меня приехать хотя бы на несколько дней, чтобы дочитать книгу.

Я прочел дядину открытку жене. Она сказала:

— У тебя не в порядке нервы. В институте у тебя плохие отношения с начальбом и с заместителем директора, ведь они подозревают тебя в скрытом карьеризме и научной недобросовестности. Возьми отпуск за свой счет и съезди к дяде. Отдохнешь, посвежеешь, как в прошлый раз.

Я взял отпуск и отправился к дяде. Старик встретил меня в саду, обнял, а потом повел в комнату. Книга по-прежнему лежала на столе, а окно было открыто. Мы с дядей подошли к окну, и я увидел пустыню и лежавшего льва, который встал и лениво пошел по знойному песку.

— Повторяешься, — сказал я дяде, — а я, признаться, ожидал чего-нибудь новенького. Не затем я сюда приехал, чтобы смотреть старые, давным-давно примелькавшиеся filmy.

— Не спеши, — сказал дядя, — отдохни. Я усовершенствовал технику своих чудес, и ты скоро в этом убедишься.

Позавтракав вместе с дядей на веранде, я вернулся в комнату и стал читать книгу.

В той главе, которую я читал, описывалась цитологическая лаборатория, я сам, завлаб, знакомые научные сотрудники и лаборантки. Одна из научных сотрудниц считала меня интриганом, заведомой бездарностью, которая специально пишет докторскую диссертацию, чтобы со временем занять место завлаба.

Обстановка лаборатории, я сам, завлаб и старшая научная сотрудница были описаны с натуралистической точностью.

Мне вдруг стало душно, и я подошел к окну.

За окном я увидел театральную сцену, режиссера, отдающего какие-то распоряжения актерам. Сцена приближалась ко мне, словно я смотрел на нее в бинокль. Один из актеров играл меня, другой завлаба, третий заместителя директора. Остальным актерам и актрисам

досталась задача куда менее значительная — они исполняли роли младших научных сотрудников и лаборанток.

Актер, игравший завлаба, явно переигрывал. Он то кричал, то говорил зловещим шепотом, каким говорят на сцене только злодеи.

Обращаясь к актеру, изображавшему меня, он повторял:

«Вы ничтожество! Ничтожество! Вы интриган! Вы знаете, что я не могу вас отчислить, и пользуетесь этим против меня и против науки. Вы паразит, расположившийся на теле научного знания. Вы сосете кровь из своих лаборанток, используя их опыты для своей диссертации».

Актер, игравший меня, вдруг заговорил моим голосом.

«Надоело, — кричал он. — Вы монополист и считаете лабораторию чем-то вроде золотиносного участка, который вы застолбили. Даю слово, как только защищу диссертацию, уйду из вашей лаборатории, не останусь здесь ни часа».

Актер, игравший завлаба, опять начал рычать и размахивать руками:

«Ничтожество! Лжеученый!»

Потом сцена отодвинулась, актеры исчезли, и на месте режиссера появился мой дядя, загадочный старик, похожий на Жюль Верна.

— Ну как? — спросил он меня. — Как срепетировано?

— Грубо. Халтурно. Шито белыми нитками, как в современной пьесе из жизни ученых.

— Успокойся, — сказал дядя. — Это только репетиция. И кроме того, я не режиссер, а волшебник. Пойдем лучше пройдемся. Чудесный день. С полей дует свежий ветерок.

Я последовал совету своего дяди, и мы вышли с ним на волшебную дорогу.

На лугу ржала лошадь. Гоготал гусь, плавая в похожем на облачко кудрявом пруду. Среди деревьев под открытым небом стоял огромный рояль. Дядя подошел к роялю и стал играть, быстро перебирая клавиши длинными девичьими пальцами. Вместо музыки из-под клавиш слышался то птичий свист, то звон дождевых капель, то журчанье ручья, то серебристое ржание кобылицы.

Я гадал о том, каким образом в лесу оказался рояль, новенький, поблескивающий лаком?

Когда дядя кончил играть, я спросил его:

— Откуда тут рояль?

— Я тебе писал, что я усовершенствовал свои чудеса. Не задавай мне слишком много вопросов. Я пенсионер. Старик. Мне девяносто шесть лет. И по старости я иногда путаю следствия и причины. Ты скажи лучше — понравилась ли тебе моя музыка?

— Понравилась, — сказал я, — ты подражаешь природе.

— Возможно, — согласился дядя. — Но нам пора идти. Небо покрылось тучами. И скоро пойдет дождь.

Раздался удар грома.

— А рояль? — спросил я. — Он не испортится от дождя?

— Это имущество бесхозное, — сказал дядя. — Оно не значится ни в одной ведомости и относится не к действительности, а к чуду.

— Я не верю в чудеса. Моя материалистическая совесть...

— И моя тоже, — перебил меня дядя. — Но мои чудеса опираются на науку, как недавно писали в журнале «Знание».

— Кто писал?

— Два академика и один профессор. Известные всему миру ученые. Их авторитета достаточно, чтобы любую гипотезу превратить в теорию. Я вырезал эту статью и показываю всем, кто сомневается в научности моих чудес.

7

У меня не было ни сил, ни желания читать дальше книгу, которая называлась «Чья-то жизнь». Во-первых, в ней описывалась не чья-то жизнь, а моя собственная, а во-вторых, я как раз дочитал до того места, где от меня ушла моя жена, забрав картину Петрова-Водкина, чемодан, три скатерти, четыре полотенца и скрипку, на которой я так любил играть.

Я вырвал из книги те страницы, где описывался уход жены, и поднес к ним горящую спичку. Пепел я бросил в мусорную корзину и подбежал к окну.

Я подбежал к окну и увидел то, что я только что сжег. Страницы ожили. За окном я увидел Виктора и свою жену Клаву.

— Я ушла от тебя, — сказала Клава своим мелодичным голосом школьной учительницы.

— Когда? — спросил я.

— Это не так уж существенно, — сказала она. — Ведь я явилась к тебе из будущего вовсе не для того, чтобы напоминать тебе о прошлом.

— А для чего?

— Не знаю. Мне просто захотелось повидать тебя, поговорить с тобой.

— А почему ты ушла?

— Разочаровалась. И потом твое безобразное поведение в институте... Но не в этом дело. Я полюбила другого.

— Зачем же ты пришла? Зачем? Ведь это произойдет нескоро. Ты не имела права нарушать хронологию, изменять законам природы.

— Это всё твой дядя. Он, тебе это известно, волшебник. Творит чудеса, утвержденные в какой-то комиссии. Забыла ее название. Он вызвал меня из будущего. И вот я пришла. Не думай, что это очень приятно — попадать в прошлое. А главное, не легко. У меня до сих пор болит голова и шумит в ушах. Я передвигалась со скоростью, превышающей скорость света.

— Такой скорости не существует, — сказал я. — Это доказал еще Эйнштейн.

— Твой дядя принципиально не согласен с Эйнштейном. Он волшебник. Я никогда не верила ни в чудеса, ни в волшебство, считая всё это мраком. Но я стала жертвой какого-то ужасного эксперимента. Познакомься, это мой муж Виктор.

— Мы уже знакомы, — сказал я. — Хотя этого еще не произошло.

— Чего?

— Ты знаешь, о чем я говорю.

— Но это произойдет.

— Я не хочу. Не желаю. Пойми меня.

Клава усмехнулась.

— Судьба, — сказала она. — Она сильнее наших желаний.

— А что ты теперь делаешь? По-прежнему преподаешь в школе?

— Не в той. Из той я ушла по причине плохого характера директора. Теперь я работаю в английской.

— А ты не вернешься ко мне?

— Нет. Мне нравится моя новая жизнь. Виктор очень любит меня. Он не мешает мне проверять детские тетрадки. Мы ходим в кино, в театр. А летом уезжаем загорасть в Коктебель.

— Отлично, — сказал я. — Вы превосходно проводите время. Но для чего ты явилась сюда? И почему твой Виктор молчит, словно набрал полный рот воды?

— Виктору вставили искусственную челюсть. Поэтому он и молчит. Привыкает. Когда он освоится с протезом, он тоже тебе скажет несколько слов. Он работает в том же институте, где работал ты, пока тебя не отчислили.

— Разве меня отчислили?

— Пока еще нет, но со временем отчислят.

— Откуда ты это знаешь?

— Откуда? Я же из будущего. А твое отчисление из института для меня уже стало далеким прошлым, как и твоя защита докторской диссертации.

— Кстати, — перебил я Клаву, — как она прошла?

— Не спрашивай об этом. Я не хочу тебя огорчать. Тебе набросали черных шаров.

— За что?

— Сам знаешь. Твое поведение в институте. И потом все хорошо знали, что ты бездарность.

Виктор, молча привыкавший к вставной челюсти, кивнул.

Я отвернулся, закрыл окно занавеской и ушел в глубь комнаты, к столу, где лежала книга с вырванными страницами.

8

Послышались чьи-то шаги, потом стук в дверь. В комнату вошел своей быстрой легкой походкой волшебник, мой дядя.

Он взглянул на стол, где лежала раскрытая книга, и лицо его стало огорченным.

— Это ты вырвал страницы? — спросил он строго.

— Я.

— Зачем? Это же варварство — портить не принадлежащую тебе книгу. И кроме того, это библиографическая редкость, уникум. Ее нет даже в Публичной библиотеке. Куда ты дел вырванные листы?

— Сжег. А пепел бросил в мусорную корзину. Я не хотел читать о том, как уходит от меня моя жена.

— Тебе не понравился стиль? — спросил дядя. — Он показался тебе слишком старомодным?

— Нет, стиль мне понравился. Всё выглядит довольно правдиво и убедительно.

— Так почему же тебя разочаровали эти страницы?

— Не знаю. Они мне не понравились. Я не хочу, чтобы от меня ушла моя жена. Я ее люблю. И мне хочется, чтобы она жила со мной, а не с каким-то Виктором, пришедшим неизвестно когда и откуда.

— Всё равно тебе не следовало портить книгу и вырывать листы. Книга написана не для тебя одного и другим могла очень понравиться, особенно то место, где описан уход твоей жены. Ты поступил неэтично и поставил меня в неловкое положение. Книга принадлежит не мне. И я даже не знаю, что сказать ее владельцу.

— А кто ее владелец?

Дядя смутился и вытер лоб носовым платком.

— Кто владелец этой странной книги? — спросил я.

— Я не отвечаю на этот вопрос, — сказал дядя тихо и сел на диван.

— Почему? Разве это государственная тайна?

— Нет. Но я дал слово этому человеку хранить молчание.

— А кто написал эту книгу? Имя автора почему-то не указано.

— Эту книгу, — сказал дядя, — написал Марк Твен, великий американский писатель.

— Марк Твен? — удивился я. — Он умер задолго до моего рождения, и откуда он мог знать мое прошлое и даже будущее?

— Угадал, — сказал дядя. — Обладал даром предвидения. Он был великий реалист.

— Но почему эта книга не вошла в собрание его сочинений?

— Не знаю, — ответил дядя. — Марк Твен был большой оригинал и, возможно, указал ее в своем завещании, запретив помещать ее в собрании своих сочинений и высказав пожелание, чтобы она была сначала издана на русском языке весьма ограниченным тиражом.

— Слишком всё это невероятно, — сказал я.

— А то, что ты видел здесь, гостя у меня, разве вероятно?

— Это были чудеса, которые ты творил. Надеюсь, утвержденные чудеса, одобренные общественностью?

— Не было никаких чудес. Тебе всё это показалось, настолько сильное впечатление произвела на тебя книга.

— А окно? — спросил я.

— За окном ничего не было и нет. Сад. Забор. Небо. Прачечная. Всё необыкновенное было только в книге, которую ты читал. Если не веришь, посмотри в окно. Сам убедишься.

Я подошел к окну и посмотрел. За окном была будничная картина: серое небо, крыши домов, прачечная, из дверей которой выбивался клуб пара.

— Неужели такое сильное впечатление могла произвести книга?

— Да, — сказал дядя. — Это довольно сильная вещь. Ее написал Марк Твен, великий американский писатель. А он, как тебе известно, был реалист.



Александр Мееров

ПРАВО ВЕТО

РОМАН

...бороться с темными силами
в человеке гораздо труднее, чем
совершить межпланетное путеше-
ствие.

Станислав Лем

ДЕСЯТЬ ГРАММОВ НАДЕЖДЫ

Почтовый ящик был самый обыкновенный. Серый, с тремя дырочками. Если наклониться, то видно — бежится в них что-нибудь или нет. Тогда можно открыть дверцу, вытащить конверт, поскорее дойти до своей камеры и положить конверт на столик. Не спеша, обязательно, не спеша, раздеться, согреть дыханием заочевшие пальцы и, наконец, вскрыть его.

Три дырочки изо дня в день оставались черными. Вставать по утрам становилось всё трудней и трудней. Каждый грош был рассчитан. Денег могло хватить всего лишь на несколько дней, но и сил, вероятно, хватит ненадолго. Силы уходят с каждым днем. Слабость. Однако по утрам он всё же вставал и уходил за своей дневной порцией провизии — бутылка молока и хлеб. Уходя из

дома, он собирал всю волю, чтобы не взглянуть на серый ящик. Не надо. Это на обратном пути. Тогда можно будет, придя, положить конверт на шаткий столик, неторопливо снять изношенный плащ, повесить его на гвоздик...

Каждый день, возвращаясь из лавки, он уже издали смотрел на пыльно-серый невзрачный ящик. Ящик виден от угла. Оттуда, правда, дырочек не разглядеть. Белеются или по-прежнему черные?

Отяжелевшие ноги передвигаются медленно, очень медленно. Невмоготу им нести большое старое тело. Еще два шага. Дырочки уже видны. Черные, безнадежные. Много дней они остаются черными, и всё же каждый раз он достает ключик, открывает ящик и запускает в него руку. Вытащить ее обратно тяжело. Еще труднее закрыть непослушными пальцами замок, а ведь надо еще донести до своей каморки молоко и хлеб. А как будет легко, если прибавится к этой ноше конверт. Ну сколько он может весить? Десять граммов, не больше. И тогда... Часто, лежа в холодной постели, он совершенно ясно представлял себе, как, получив ответ, начнет отогреваться. Весь. Телом и душой, каждой клеточкой. Можно будет поесть. Не очень сытно, но так, чтобы почувствовать тепло. В эти, быть может последние, дни самое важное — тепло. Оно наполнит его тело и затем...

А если они не поверят, не согласятся? Нет, нет, они поймут... Тогда он поедет к ним, скажет, где тайник, и снова, пусть в последний раз, ощутит призывную волну далекого мира... И тут же возникало сомнение: отдать, открыть тайник, снять вето, стоившее стольких жизней?.. Впрочем, сил совсем не осталось. Скоро кончится всё... Пусть берут. Ведь он решил это, твердо решил, когда отправлял письмо... Да, только бы пришел ответ. Он откроет всё, отдаст тайник людям, и пусть люди решат... Пусть все испытают то, что было доступно немногим...

Пошли дожди. Всё сложнее становилось на холодном, порывистом ветру открывать маленький ржавый замок, но он неизменно открывал, не доверяя трем дырочкам.

Однажды, когда в его обычный час на улице было совсем темно, он встать не смог. Не встал он и на второй и на третий день.

Увезли его в морг дней через пять, и равнодушные люди, которые тащили носилки мимо неприметного серого почтового ящика, не обратили, конечно, внимания на то, что все три дырочки были белыми.

Часть I

НОЛАН

Это была трудная ночь. Крэл провел ее без сна, но отходя от гиалоскопа. Набор данных для очередной настройки генератора вычислительная машина успевала выдавать за двадцать две минуты.

Запись цифр в журнале.

Новое задание машине.

Вспыхивает лампочка готовности.

Пуск.

Облучение произведено, а на гиалоскопе по-прежнему спокойно мерцают плавные зеленоватые линии. Крэл снова закладывает программу в машину, и вскоре опять появляется полоска с цифрами, которые выдало счетно-решающее устройство, перебрав тысячи возможных вариантов.

Пуск.

Это уже лучше, ближе. Еще и еще подсчеты. Пристрелка продолжается. Кюветы с живым препаратом сменяются на ленте гиалоскопа. При каждом последующем облучении отчетливей становятся всплески зеленых линий. Вот-вот свершится... Еще одно усилие мысли, счастливая догадка, быть может просто инстинктивное умение поймать что-то едва уловимое, но совершенно необходимое — и решение будет найдено. Подтвердится гипотеза, а тогда... Только не отвлекаться, только не упустить! Вот главное. Стоит немного уйти в сторону — и потеря может оказаться невозполнимой. Множество комбинаций придется перепробовать вновь и вновь, но будешь только удаляться от того, к чему подошел так близко...

Кончается запас препаратов. Утром вычислительную машину загрузят сотрудники других лабораторий...

Пуск, пуск, пуск...

Ночь не прошла даром — с наступлением нового дня Крэла ждала удача.

Он распахнул окна, выходящие в парк, и утро ворвалось в лабораторию. Раннее, свежее, оно словно награждало его за долгие утомительные вечера, за бессонные ночи, проведенные в поисках кода излучения. Теперь всё было позади...

Вдруг Крэл испугался — а может быть, только почувствовалось? Сказалась предельная усталость, и он желаемое

принял за осуществленное? Крэл снова включил гялоскоп. Немного подрагивающие пальцы привычно пробежали по клавишам программного устройства.

Минуты, в течение которых электронный помощник выверял результаты, казались намного длиннее обычных, повседневных минут... Четко срабатывали одна за другой группы контроля, вот потухла последняя лампочка на щите, вот появился яркий зеленый пик на экране. Устойчивый, спокойный.

Да, успех был несомненным. Исследуя процессы, происходящие в организме насекомых при метаморфозе, Крэл еще несколько лет тому назад подметил важную закономерность: на ферментативные процессы отдельной особи влияла не только среда, но и родственные особи. Чем больше их скоплялось, тем более мощное поле они создавали, способствуя метаморфозу. Крэл не ограничился описанием удивительного явления, а, изучив характеристики этого биополя, попытался воспроизвести его искусственно, и теперь... теперь гипотеза подтверждена в эксперименте. Сомнений быть не могло, однако молодой ученый решил еще раз повторить опыт, он уже хотел включить прибор, и в это время в лабораторию вошел Альберт Нолан.

Никогда он не появлялся в институте так рано.

Не снимая плаща и шляпы, Нолан коротко кивнул Крэлу и сразу прошел к гялоскопу.

— Всё-таки получилось! — В тоне, каким Нолан произнес это, Крэл энтузиазма не уловил. Скорее наоборот — досаду.

Нолан устало опустилсч на стул. Высокий, худой, с обильной сединой в темных волосах, он всегда казался старше своих лет, а сейчас, понуро сидя у прибора, выглядел особенно плохо. Крэл никак не мог понять, почему великолепное завершение его работы, видимо, серьезно огорчило знаменитого ученого.

Несколько месяцев Крэл, как праздника, ждал дня, когда наконец сможет показать Альберту Нолану результаты исследований, из которых станет очевидным — предсказанное гипотезой подтверждено опытом! Всё получилось иначе. Не только буднично, но почему-то скверно.

В институте Нолан занимал особое, несколько странное положение. Будучи крупным ученым, он не возглавлял никакого направления, отклонял предложения занять

официальный пост, даже противился избранию в ученый совет. Работал он много, обычно без помощников, стараясь всего не касавшегося его непосредственно, и предпочитал заниматься отвлеченными, сугубо теоретическими проблемами. Нолан жил одиноко, держался замкнуто, внешне сурово. Те, кто знал его давно, говорили, что до катастрофы, во время которой в лаборатории Арнольда погибли жена Нолана и его близкий друг, он был совсем другим. Общительным, радушным и смешливым. Но и теперь обычная сдержанность Нолана, его замкнутость не отталкивали. К нему приходили с каждой новой, удачной или никак не получающейся работой, с трудной задачей. Он обладал редкой способностью давать советы ненавязчиво и деликатно. Часто у искавшего его помощи оставалось впечатление, будто не Нолан, а он сам нашел ответ.

Молодые, да и не только молодые ученые института высшей наградой считали его похвалу. Оценки Нолана были строги, отзывы скупы и точны. Многие нетерпеливо и трепетно ждали его суда, работали с надеждой услышать его лестное заключение, просто ободряющее слово.

Крэл не мог догадаться, почему его успех неприятен Нолану. Впрочем, в позе огорченного человека Нолан оставался недолго. Он встал, на лице его появилась улыбка, которую видели теперь редко, и тихо, очень по-дружески, спросил Крэла:

— Вы рады, вам хорошо?

Крэл медлил с ответом:

— Теперь... Теперь не знаю... Мне казалось... Нет, нет, не может быть. — Крэл всегда немного терялся в присутствии Нолана, но всё же собрался с духом и спросил: — Вы недовольны удачным завершением моей работы?

От прямого ответа Альберт Нолан уклонился, однако говорил он искренне:

— Это победа, Крэл. Ваша победа. Такая бывает один раз в жизни. А потом, если даже успех последует за успехом, всё будет уже не таким привлекательным. Я рад за вас. Рад, что выдалось яркое, чистое утро сегодня.

«О, Нолан, оказывается, даже это заметил», — подумал Крэл, не ожидавший от обычно суховатого ученого подобных слов. А Нолан, с присущей ему манерой изящно, выразительно, будто заново творя каждое неторопливо

произносимое слово, продолжал говорить о том, как хорошо сделать открытие именно в такое жизнерадостное утро.

— Вы читали книгу Ирола «Опасные открытия»? — Переход показался Крэлу слишком резким, он не понял, почему Нолан задает этот вопрос, и ответил неопределенно:

— Просматривал.

— В его книге есть любопытные места. Он, например, приводит перечень открытий, сделанных учеными, которые не задумывались, для чего конкретно могут пригодиться их труды. Любое открытие, отмечает Ирол, сколь бы страшным оно ни оказалось впоследствии, имеет обратную, более светлую сторону, может при каких-то обстоятельствах стать полезным. Но даже у Ирола, в его перечне, нет таких открытий, которые никогда не станут полезными, а могут принести людям лишь много страданий.

— Доктор Нолан, неужели это?.. — Крэл указал на гялоскоп.

— Да, Крэл, я считаю — оно опасней всех, перечисленных Иролом.

— Но помилуйте, чем и кому может угрожать открытие способа воздействия на ферментативные процессы при метаморфозе насекомых?

Нолан молчал. Он оперся плечом на оконную раму и смотрел в парк. «Что имел в виду Нолан?» — старался понять Крэл. Хотелось разобраться во всем происходящем, оценить отношение Нолана к его теме. Альберт Нолан безотказно помогал сотрудникам института, делал это с готовностью, однако только в тех случаях, когда к нему обращались за помощью. Крэл стал припоминать, что к его работе Нолан, пожалуй, относился несколько иначе. Лабораторию Крэла он посещал гораздо чаще, чем другие лаборатории, и всегда по своей инициативе. Нолан постоянно был в курсе проводимых Крэлом исследований. Вот и теперь он пришел сюда, вероятно зная, что наступает решающий момент. Пришел, ожидая результата... А может быть, и предвидя, каким он окажется?..

— Вам известно, Крэл, что ваша тема заказная? — Нолан отвернулся от окна, но лица его не разглядеть было на фоне яркого неба.

— Заказная? Удивительно. Наш сугубо теоретический

институт, насколько я знаю, редко интересует людей, финансирующих отдельные темы.

— А вот вашу, Крэл, финансируют. Нашелся заказчик. Сравнительно недавно. Уже после того, как вы опубликовали свою работу о биополе, создаваемом насекомыми. Не случайно вам выделили специальную лабораторию, оборудовали ее самой совершенной аппаратурой. Ваше открытие ждут, надеясь, что вам удастся генерировать излучение, стимулирующее синтез ферментов, нужных при метаморфозе.

— Надеюсь?

— Очень. Но заказчики еще не уверены в успехе.

— А вы... Вы были уверены?

— Да.

— Почему?

— Вы шли правильным путем и располагали такой аппаратурой, которой не существовало двенадцать лет назад, когда я открыл открытое вами сегодня.

— Значит, я... значит, всё впустую?.. Но ведь нигде... В литературе нет ничего подобного!

— Не огорчайтесь, Крэл. Вы работали так, как подобает ученому. Больше того, сделанное вами намного совершенней сделанного раньше. Это естественно. Общее развитие науки позволяет решать теперь задачи на несравненно более высоком уровне. Фактически вы открыли всё заново и сделали это лучше, чем я. Эта победа — ваша.

— Но ведь двенадцать лет назад...

Нолан отошел от окна. Теперь Крэл увидел его лицо. Открытое, сосредоточенно-спокойное, с глазами, прямо и честно смотрящими на собеседника.

— Да, Крэл, я не опубликовал своего открытия. Я уже тогда знал, как оно может быть опасно.

Прошло десять дней с того утра. Крэл почти не виделся с Ноланом. Нолан уезжал куда-то, потом вернулся, иногда появлялся в институте, и Крэл встречал его только в коридоре, в вестибюле. Нолан, как всегда, приветливо отвечал на поклоны Крэла, но разговора не начинал. Одна из встреч, при которой они тоже не обменялись ни словом, но которая сыграла большую роль в их отношениях, произошла на совещании у руководителя института профессора Оверберга.

В конце месяца, по пятницам, у него заслушивали отчеты по темам. Всем, кроме Нолана, это очередное совещание, конечно, не показалось каким-то особенным. Всё шло своим чередом. Каждый из выступавших в течение десяти, максимум двенадцати минут — таков был порядок, твердо установленный деловитым и требовательным профессором, — четко докладывал о проделанной работе, и только в исключительных случаях, когда кто-нибудь из сотрудников института мог сообщить о чем-то уже завершённом или выдающемся, ему предоставлялось дополнительное время.

Крэл уложился в восемь минут.

Профессор Оверберг с явным неодобрением выслушал его отчет.

— Попытки подобрать код излучения непозволительно затянулись. Вы согласны, Крэл? — Крэл молча кивнул, а профессор довольно обстоятельно, хотя и немногословно перечислил, какие именно условия были созданы дирекцией для молодого ученого, и закончил:

— Времени ушло слишком много. Особенно на проверку последней серии облучений. Сколько вам нужно еще?

— Я попытаюсь... попытаюсь в течение ближайших двух... трех месяцев...

— Двух, — отрезал директор.

— Хорошо.

Вот только тогда, стараясь сделать это незаметно, Крэл посмотрел на Нолана. По лицу Нолана невозможно было определить, какое впечатление на него произвел поступок Крэла.

* * *

Конец недели Крэл обычно проводил в Асперте. Ехать туда приходилось долго: электропоездом, затем автобусом. Крэл попадал в пансионат только поздно вечером, однако мирился с этим неудобством. Его привлекала дешевизна уютного пансионата, красота гор окружающих маленькую долину и прелесть кристального синего озера у самого Асперта. Тихий захолустный поселок обладал еще одним преимуществом, которое Крэл особенно ценил: в Асперте можно было отдохнуть, не рискуя встретить кого-нибудь из знакомых. Но однажды, вскоре после совещания у Оверберга, в один из субботних вечеров, такая встреча

всё же произошла. Совершенно неожиданная, она и насторожила Крэла и обрадовала.

Наступала ночь. Прохладная, безветренная. На террасе, выходявшей к горам, за маленькими, на двоих, столиками народа было немного. Кто-то потягивал коктейль, кто-то склонился над шахматной доской. Под низкими разноцветными абажурами, стремясь к свету, роилась мошकारа, незлобивая здесь, в предгорьях, плохо приспособившаяся к отсутствию ночного тепла. Горы были совсем близко, но они не теснили приветливую долину, а, казалось, защищали ее от беспокойного мира. Крэла всегда тянуло в горы. Лейкемия в последние годы донимала всё больше, а в Асперте ему становилось значительно легче, Асперт давал зарядку на неделю.

Здесь, под боком у вечных исполинов, все волнения представлялись незначительными, легко преодолимыми. Однако в последнее время даже привычный отдых в горах плохо помогал отключиться от настойчивой, постоянно беспокоящей мысли: «Как распорядиться открытием?»

В Асперте — там уже погасли огни, — на островерхой колоколенке, пробило одиннадцать. Кофе остыл, книга лежала закрытой — сосредоточиться мешала будоражащая джазовая музыка, которая непрестанно лилась из репродукторов, — и Крэл уже собрался встать, как вдруг у столика появился Альберт Нолан.

— Можно? — Нолан показал на свободное место.

Крэл впервые встретился с Альбертом Ноланом вне института и почувствовал некоторую скованность, неловкость в его присутствии. Прежде всего удивительным показалось, почему Нолан приехал в Асперт, хотя обычно отдыхал в более комфортабельных местах. Случайно это или намеренно?

Нолан сел за стол и заказал ужин. Говорил он непринужденно, остроумно, и Крэл увидел в нем совершенно незнакомого человека. Таким, каким его не знали в институте. Но вскоре изящные рассуждения профессора о новеллах Тенеллана стали раздражать, и Крэл прервал его:

— Остался месяц.

Нолан сразу понял и замолчал. Он продолжал курить свою длинную, удивительно приятную по форме трубку и молчал. Потом достал узкий конверт и протянул его Крэлу. На конверте, запечатанном перстнем Альберта

Нолана, тонким пером было написано: «Доктору Арнольдсу». И всё.

— Я это приготовил для вас, Крэл. Может случиться, что в институте... — Нолан, видимо, с трудом подыскивал подходящее слово, — в институте ваша... медлительность покажется подозрительной и вас уволят. В этом случае, разумеется, получить работу будет очень трудно. Вот тогда, если хотите, поезжайте к старику. Он возьмет.

— Это тот самый Арнольдс?

— Да, тот самый, — понимающе улыбнулся Нолан.

Крэл едва пришел в себя: ведь попасть к «старика», в его знаменитую, известную всему миру школу-лабораторию, — это значило получить огромные возможности для работы, это давало такую обеспеченность, какой мог позавидовать любой ученый. Это предвещало славу!

— Не могу! — Крэл возвратил конверт Нолану. Нолан оставался спокойным, он только зачем-то стал разжигать непотухавшую трубку, а Крэл продолжал уверенней: — Сделать так, как предлагаете вы, поступиться честью? Нет, нет...

Нолан резко выпрямился в кресле. Крэл смешался и заговорил совсем тихо:

— Я не хотел вас оскорбить, поверьте, но утаить открытие?.. Как можно! Ведь всё нужное для работы мне предоставлял институт, я получал деньги и вдруг не отдам то, за что мне уже заплатили... Но, разумеется, главное в другом. Прежде всего я — ученый, и, следовательно, сделанное мной принадлежит не мне одному.

Было поздно. Взошла луна. Теперь она освещала не только вершины Навреса, но и спокойное море тумана, надежно укрывавшего спящий внизу Асперт. Сейчас поселок казался погруженным в тихие воды, замершим, сказочным. На террасе одна за другой гасли разноцветные лампы над столиками. Нолан задумчиво помешивал остывший кофе.

— Кому должно принадлежать открытие? — проговорил он. — Кому отдать то, во что вложен ум, душа, наконец, жизнь? Тому, кто заплатил? А может быть, гораздо выше, значительней и безмерно ценней именно то, что купить нельзя, — творчество? Кто же, кроме самих ученых, вправе распоряжаться этим?

Крэл впервые увидел, что Нолан, мнение которого обычно воспринималось окружающими как нечто совер-

шенно безапелляционное, сам ищет, пытаюсь решить задачу, сложную даже для него. Крэл уже справился со смущением, старался противиться внутренней силе Нолана, огромному влиянию, какое он всегда умел оказывать на собеседника, и вопрос задал твердо:

— Неужели вы разделяете заблуждение тех ученых, которые считают, что наука должна, вернее может, стать над или вне политики?

— Ответить на это трудно. Да, я считаю, что ученые могут много. Очень много, и я надеюсь... А вот порой... Знаете, Крэл, я не принадлежу к числу тех ученых, которые негодуют, возмущаются, просто в ужас приходят, когда их открытия вдруг — какая наивность! — политики используют для того, чтобы мир наш, и без того устроенный плохо, сделать еще страшней, еще отвратительней. Совесть у таких ученых очень чувствительна, стремление быть объективными безудержно. Совесть они успокаивают в доверительных беседах с единомышленниками, объективность проявляют, время от времени подписывая какое-нибудь очередное воззвание и... и усердно продолжают плоды трудов своих вкладывать в пасть чудовища, именуемого милитаризмом. Что же касается честных ученых, то... Считается аксиомой: голод и любовь движут людьми. Совершенно верно, но этого мало. Человек прежде всего созидатель, а ученые — эта наиболее характерная часть человеческого общества — самое сильное, ни с чем не сравнимое удовлетворение получают в процессе созидания, в творческом процессе, то есть открывая новое. А дальше получается совсем просто: сделанные учеными открытия входят в мир и начинают существовать уже независимо от ученых и даже от тех, кто стремится овладеть открытиями... Вот только те открытия, которые не делают мир чище и лучше, рождаться не должны. А если они и возникают, то их надо...

— Убивать или прятать? А кто возьмет на себя ответственность и смелость решать, какое открытие можно отдавать людям, а какое следует убить, как только оно родилось? Я думал: способен ли я на это? Нет. Не могу. Прежде всего я задал себе вопрос: кому нужны мои работы? Согласитесь, решить, сколькo опасно открытие, можно только при условии, когда известно, кого именно открытие может заинтересовать.

Крэл пытливо посмотрел на Нолана, ожидая, что он хотя бы теперь приподнимет завесу. Нолан молчал.

— Я мучился все эти недели. Вам нельзя не верить, но поймите... Словом, я должен был разобраться во всем этом... Забросил опыты — мне противно стало прикасаться к гялоскопу — и начал поиски. С энтомологии, конечно. Казалось, уж если научился влиять на ферментативные процессы при метаморфозе, то где же, как не у энтомологов, разыскивать вероятного заказчика. Таковых не обнаружилось. Тогда пришлось расширить круг поисков, влезть в области самые разные, вплоть до пищевой промышленности и технологии производства парфюмерных отдушек. Ничего. И вместе с тем — тема заказная. Кто же заказчик? Узнать об этом в институте...

— В институте, — сказал Нолан, — заказчик не известен никому, кроме доктора Оверберга.

— И вас, конечно.

— Я знаю о нем не потому, что работаю у Оверберга.

— Потому что занимались этим раньше?

— Да.

— Оверберг дал мне два месяца срока, — напомнил Крэл. — Остался один. Не так много времени, чтобы изменить свои убеждения. Я всегда был уверен: опасных открытий не существует, а есть опасные способы их применения. И чем значительней открытие, тем ярче проявятся обе его стороны.

Нолан опустил веки и медленно потер указательным пальцем висок.

— Вы правы. — Он открыл глаза и положил сухую, горячую ладонь на руку молодого человека. — Хорошо сказано: ярче проявятся обе стороны. Хорошо... Но, дорогой мой, вы рассуждаете как хомо сапиенс — человек Земли. Мыслите, и это, конечно, естественно, категориями земными, думаете об открытии, сделанном человеком и касающимся только человека. Но учтите: открытое нами — мной двенадцать лет назад, вами теперь — способно, в конечном счете, повлиять на общее состояние биосферы нашей планеты, способно разбудить силы, которые быть может, окажутся враждебными человеку, чуждыми Земле. Но главное не в этом. Решая вопрос, будить ли эту силу, мы должны учитывать и другое — сумеем ли сдержатъ то страшное, что еще живет в людях?

Нолан поднялся, рассеянно оглядываясь. Терраса была пуста. Кроме их столика, нигде не горели теплые огоньки ламп. Звездная ночь выдалась не по сезону холодной, и он зябко сомкнул на шее борта пиджака. Крэл понял,

как измучен Нолан, как трудно ему сейчас. Захотелось быть участливей, сказать о своей готовности помочь, но не то от смущения, не то из ложного стыда он так и не сумел произнести нужных в такую минуту слов. Да этого и не потребовалось. Нолан, словно что-то внезапно распрямилось в нем, опять ожил, стал привычно подтянутым и уже ясными, чуть задорными глазами смотрел на собеседника.

— Значит, искали, говорите. Пытались установить, кто заказчик. Не нашли?

— Не нашел.

— Вы получаете ежемесячный энтомологический справочник?

— Да, конечно.

— Просматриваете его внимательно?

— Если говорить откровенно — нет, — немного помедлив, ответил Крэл и подумал, что Нолан не упускал ничего, учитывал в его работе даже частности.

— Вы не пытались, Крэл, обстоятельней заняться энтомологией?

— Пытался, — вздохнул Крэл. — Безуспешно. Если бы удалось вызвать сдвиги синтеза фермента при облучении каких-нибудь других животных, я бы вовсе оставил возню с насекомыми. Терпеть не могу насекомых. Любых. Все они вызывают у меня гадливое чувство, а некоторые — признаться стыдно — отвращение, порой просто боязнь.

— Ну что же, это естественно, — медленно ответил Нолан, — и даже в какой-то степени подтверждают правоту Ваматра.

— Ваматра?.. Очень знакомое имя. Кажется, энтомолог?

— Совершенно верно.

— Теперь я вспоминаю — несколько лет назад мне попадались его статьи, а потом я уже не встречал их. Он умер?

Нолан не ответил.

— А вы не задумывались, — спросил он, — почему только у насекомых можно вызвать сдвиги, получить совершенно необычные типы ферментов? Впрочем, вам как биофизику трудно было бы разобраться во всем этом. И всё-таки без энтомологии, Крэл, вам не обойтись. Пойдемте...

Они поднялись на этаж, где были их номера. Нолан дышал тяжело, но отдышка была вызвана скорее волне-

нием, чем необходимостью преодолеть довольно крутую лестницу. У себя в номере Нолан вынул из портфеля папку и передал его Крэлу:

— Здесь статья Ваматра. Ваматра и Бичета. Ваматр уцелел, а Бичет погиб, как и Эльда... Прочтите. Статья нигде не опубликована.

* * *

Работа Ваматра и Бичета увлекла Крэла. Гипотеза их была настолько сумасшедшей, что могла показаться гениальной. Поначалу Крэл не без труда пробирался через дебри энтомологических определений и описаний, но выводы... Выводы, сделанные Ваматром и Бичетом, заставили Крэла перечитывать их работу вновь и вновь. Теперь он уже совсем иначе воспринимал эти описания, раньше казавшиеся многословными, излишне подробными. Крэл стал понимать, что в каждом разделе обстоятельной статьи авторы очень умело приводят доводы, помогающие уверовать в их гипотезу. Педантично, вместе с тем совершенно по-новому открывают читателю мир насекомых.

Мир этот огромен. Больше миллиона видов! Цифра внушительная, однако впечатляла не она, а сопоставление, иллюстрирующее статью: «Видов мух в одной только Франции больше, чем видов всех млекопитающих, населяющих земной шар, причем мухи разных видов отличаются одна от другой в большей степени, чем мышь от слона».

Не меньше восьмидесяти процентов видов животных — насекомые!

Только одна пятая часть приходится на всех остальных.

Крэл никогда раньше не задумывался над этими цифрами. Выходило, что человек живет в мире насекомых. Они проникли всюду, заполнили весь мир, однако... не стали главенствующими на Земле.

Ваматр и Бичет не только обосновали сделанное ими заключение, но и показали, каким путем пришли к нему. Начали они свои исследования, занявшись вопросами «социологии» высших насекомых. Здесь еще сомнения и поиск: «А может быть, насекомые — это неудавшийся эксперимент природы? Может быть, ставка жизни на Земле делалась на них, а не на человека?!» Их не мино-

вало увлечение, свойственное многим энтомологам, которые, наблюдая общественных насекомых, старались найти сходство между «цивилизациями» насекомых и цивилизацией, созданной человеком. Вскоре они, как и другие ученые, пришли к выводу, что «логика» насекомых совершенно отлична от нашей логики. И вот первый, пожалуй, фундаментальный вывод, сделанный в результате долгих наблюдений и тщательно поставленных опытов: «Мы различны по самой своей природе». Почему?..

И снова исследования, теперь предпринятые для изучения психики этих загадочных для человека существ. «Да, насекомые подчинены общему закону развития в сторону повышения уровня психики. Но на этом пути встретилась одна серьезная помеха — размеры насекомых. Насекомые так малы, что у них неизбежно должны существовать ограничения в числе нервных элементов. Как обойти это препятствие? В какой-то мере задачу решили общества насекомых — переплели в одно целое крошечные индивидуальные мозги, способами, в тайну которых человек только начинает проникать. Так, у насекомых, например муравьев, создавалась основа для головокружительного взлета: развилось земледелие, скотоводство, сбор и создание запасов продовольствия, возникли войны.

А затем всё остановилось. В чем дело? Ведь, казалось бы, оставалось сделать один только шаг. Но насекомые продолжают стоять на месте... Миллионы лет... Кто знает, не пошло ли всё по иному пути на других планетах?..» К этому выводу пришел Реми Шовен. А Ваматр и Бичет? Они рискнули пойти дальше. Работы Реми Шовена, несомненно, помогли им сформулировать гипотезу, так как они приводят в своей статье его слова об обществе насекомых: «Здесь мы сталкиваемся с посрамлением всяческих теорий. Может быть, пределы нашей планеты и нашей науки слишком ограничены. Если бы нам были известны пути, по которым развивается жизнь в других точках Вселенной, эта проблема, несомненно, показалась бы менее запутанной».

Узел этот разрубили Ваматр и Бичет. Показав, как мало насекомые имеют генетических связей с другими представителями живого мира планеты, изучив всё, что может подтвердить их гипотезу, они пришли к заключению, что насекомые *чужие!*

«Да, бесспорно, — говорилось в статье, так и не увидевшей свет, — жизнь зародилась и развивалась на нашей

планете. Уже теперь ученые могут проследить, как разрастались ветви земного древа жизни, могут показать, как шла эволюция. Но все ли ветви? А не стоят ли насекомые особняком, этаким загадочным и совсем непохожим на это дерево кустом, а может быть даже не кустом, а цепкими лианами, оплетающими, пронизывающими всё живое в своей борьбе за место на непривычной планете? Насекомые и родственны нашему миру, как родственны между собой углеродистые существа, в каких бы мирах они ни зародились, и вместе с тем уж очень отличны от того, что не входит в их особую, во многом таинственную группу жизни».

И авторы делают вывод: «Можно предположить, что каким-то путем, например с метеоритами, на Землю попали зародыши. Они не нашли у нас подходящих для себя условий, не смогли развиваться полностью, достичь высших, может быть даже разумных форм, каких достигали на своей планете, а лишь распространились беспредельно и проявили некоторые необычные свойства, порой ставящие в тупик земных ученых».

Множество примеров приводят энтомологи, подкрепляя свою мысль об исключительности этого класса живого, убеждая, что насекомые действительно стоят особняком от растений и животных. И авторы идут дальше: «Две жизни у насекомых: одна — которую они вели у себя, на родной им планете, другая — которую они вынуждены вести здесь, на Земле, представляя собой промежуточную стадию, так и не достигшую на чужбине нужного развития». Отсюда очень логичной представляется их догадка: «А что, если создать условия, близкие к господствующим на той, гипотетической планете, родине этих странных и очень жизнеспособных пришельцев? Попытаемся искусственно воспроизвести среду, в которой некоторые виды насекомых развивались бы так же, как в породившей их среде?» И дают ответ: «Тогда появятся новые формы, которые, постепенно усложняясь (недаром для насекомых характерен метаморфоз: яйцо — личинка — нимфа — имаго), дойдут до той формы, которая существует в далеком от нас мире. А что, если она главенствует там?» Ваматр и Бичет широко и смело использовали право ученых прибегнуть к фантазии — этому ядру всех открытий: «Что, если эта форма проявит свойства еще более удивительные, чем у известных нам насекомых, такие, о которых мы не имеем никакого представ-

ления? Существа эти, развившись в подходящих условиях, будут обладать более тонкими и эффективными способами воздействовать друг на друга» — и тут же ставили вопрос: «А может быть, и на другие виды животных?» Это уже настораживало.

Предположений в статье высказывалось много, но одно, самое фантастическое, произвело на Крэла особенное впечатление.

Способность насекомых общаться между собой, преодолевая огромные расстояния, общеизвестна. Что, если новые существа проявят эту способность в неизмеримо большей степени? Что, если их чувствительность окажется настолько большой, что они способны будут получать биосигналы из своего мира? Не откроет ли это для ученых возможность снестись с далеким, неизвестным Земле миром?..

Крэл не ограничился статьей Ваматра — Бичета. Он обратился к трудам других энтомологов. Теперь он совсем по-иному перечитывал всё, начиная от Реомюра, Линнея и Дарвина до Карпентера и Шовена. Некоторые места в их работах поразили Крэла: их наблюдения порой самым лучшим образом подкрепляли оригинальную гипотезу.

Крэл прочел, например: «Особенно сильно поражает нас в истории насекомых их громадный геологический возраст. В мезозойскую эру, когда млекопитающие, владычествующие ныне на суше, еще были мелки и только начинали борьбу за свое существование, а гигантские пресмыкающиеся, затем и вовсе вымершие, господствовали над миром, — насекомые тех самых высших отрядов, которые живут и в наши дни, уже летали в воздухе... Мы знаем, что в Девонском и даже Силурийском периодах уже жили крылатые насекомые (350 миллионов лет назад)... Мы считаем горы символом вечности и говорим о несокрушимости скал, между тем даже самые новейшие отряды насекомых древнее, чем, предположим, меловые обрывы Южной Англии. Крылатые насекомые порхали уже по берегам озер, на дне которых накапливались, обломок за обломком, гальки и песчаники палеозойских отложений... Гуляя по холмам, мы спускаем пчел с цветков и стрекоз с былинки. Жизнь каждого из этих насекомых коротка, но они лишь последние звенья длинной цепи жизней, уходящей в глубь времен, когда

не существовало тех холмов, на которых живут современные насекомые».

В таком же духе, если не более определенно, ставя под сомнение наличие связи насекомых со всем остальным миром живущего на Земле, пишет другой автор: «Термиты — вот насекомые, пренеприятные для сторонников чрезмерного упрощения теории эволюции... Термиты существуют с давних времен во всей сложности своих инстинктов. Эпоха, в которую эти насекомые появились, точно не определена. Им по меньшей мере 300 миллионов лет. Появлению термитов должна была предшествовать длительная эволюция в невообразимо далекие от нас времена... Никаких следов ее нет». «И не может быть, — добавляют Ваматр и Бичет, — так как они эволюционировали, от простой клетки дошли до высоко развитого организма не в нашей Солнечной системе, во всяком случае, не на нашей планете».

Крэл обращался к самым различным источникам и везде находил что-нибудь интересное для подтверждения гипотезы Ваматра и Бичета. Оставалось... Оставалось сделать то, что в науке признается решающим, — подтвердить гипотезу опытом. Что удалось энтомологам? Сумели они хотя бы в какой-то мере подкрепить свои догадки? В статье об этом ничего не говорилось.

Крэл с нетерпением ждал, когда представится возможность расспросить обо всем Альберта Нолана, надеясь на встречу в Асперте.

В субботу Нолан в Асперт не приехал.

Лето подходило к концу. Вечера в горах становились прохладными, а ночи холодными. «Может быть, это помешало ему?» — утешал себя Крэл, всё еще надеясь на появление Нолана.

Воскресное утро выдалось теплым, прозрачным, однако Нолан не приехал и в воскресенье. Крэл отправился на прогулку один. Шел он излюбленным маршрутом и частенько оглядывался: а вдруг появится на зеленом склоне статная фигура в безукоризненном, модном костюме.

Крэл любил уединенные прогулки, но в этот день бродить одному не хотелось. Начинало припекать солнце. Против обыкновения дышалось трудно, и стало раздражать всё: одиночество, неровности тропинки, прилипающие к ногам, промокшие в росяной траве штанины, назойливость мошкар.

Крэл присел на поросший травой, в которой сияли эдельвейсы, валун, вероятно лежащий здесь сотни тысяч лет. Над эдельвейсами кружили стрекозы. Он изловчился и поймал одну, почти не повредив ей крылышек.

Какие огромные, занимающие большую часть головы глаза. Пожалуй, самые поразительные органы насекомого. У некоторых стрекоз до двадцати тысяч фасеток, у некоторых насекомых по пять глаз! У кого еще из живущих на Земле есть такое?.. Стрекоза извивалась в пальцах, вибрировала своими слюдяными, филигранно выделанными крылышками, а глаза ее, казалось, устремлены были на него. Жутковатые, уж очень чужие. Что и как она видит?.. А может быть, правы Ваматр и Бичет, может быть, ее далекие-далекие предки воспринимали этими удивительными приборами совсем иной мир?

Стрекозу он выпустил, сидел неподвижно, долго еще ощущая на пальцах холодное, податливое, очень всё же противное тельце. «Глупо, конечно», — вяло подумал Крэл и вздрогнул: к нему подходил Нолан. Он, видимо, старался не показать, с каким трудом преодолел подъем, Крэл радостно приветствовал его.

Боясь, что Нолан заговорит о ком-нибудь из своих любимых новеллистов, — тогда свернуть его на другую тему будет почти невозможно, — он поспешил задать вопросы, относящиеся к гипотезе Ваматра и Бичета.

На этот раз Нолан и не пытался переменить тему разговора, но вел его как-то необычно. Он хотел, чтобы Крэл узнал о работах Бичета и Ваматра, о них самих, особенно о Ваматре. Несколько раз он начинал о нем и прерывал рассказ, не в силах справиться с волнением, опасаясь показаться пристрастным. Он, как бы идя по эллиптическим орбитам, то приближался, то удалялся от трудной для него темы.

— Знаете, Крэл, у меня порой возникают странные ассоциации. Я, например, убежден, что электричество — желтого цвета, что теорема Прени, если ее переложить на музыку, звучала бы в тональности фа диез, что созвездие Цефея пахнет резедой, а со словом «дьявол» у меня связывается образ плаща. Черный плащ. Помните, это как у Ларма: «Неся в бездонных складках сомнение, ненависть и смерть...» Ваматр носит под плащом еще и скрипку. Говорят, у него настоящий Гварнери. Я уверен, Крэл, вы никогда не бродили ночью в мрачных кварталах Родега.

— Я не бывал в Родеге и днем. Это где?

— У самого порта. Там, в кривых грязных улочках, живет народ привлекательный и страшный. Труд и голод, удаль и разврат, бесконечная ширь простого человеческого сердца и злоба отчаяния. Всё, всё, что есть в человеке, здесь доведено до едва переносимой концентрации, втиснуто в мерзкие, подозрительные щели. Туда океан выбрасывает намытое во всех портах мира. Там притютились притоны, молебни, кабачки, ночлежки. Но и в Родеге не живут, не могут жить без музыки. В любой харчевне, самой заплеванной, смрадной, — музыка... Несколько ночей я провел на площади Олинора. Это последний рубеж. Площадь залита светом, по ней снуют благополучные люди, а совсем рядом, словно в бездну, спускаются улочки Родега. В укромном месте я поджидал, когда на площади остановится автомобиль Ваматра. И дождался. Я сам видел, как он, почти неразличимый, закутанный в плащ, отделился от своей черной машины и юркнул в переулок. Я следил за ним, оставаясь незамеченным.

— Но для чего?

— Чтобы послушать его музыку.

— Ничего не понимаю. Где же он играл?

— В тот раз в подвальчике Марандини. Ваматр, тайно от всех, переодевшись старым итальянцем, иногда выступал по ночам в самых захудалых портовых заведениях. В более приличные его не пускали. Выпроваживали даже из третьесортных, несмотря на то что за свои выступления...

— Он брал немного...

— Нет, платил. И платил порядочно. Музыка — его страсть. Неукротимая, неумная. Волны звуков — его стихия, в которой он только и живет, считая себя музыкантом. Талантливым и... непризнанным. А Ваматр честолюбив. Все его успехи, всё, что ему удалось сделать в науке, он готов отдать за признание публики, за успех, выпадающий на долю знаменитого композитора. Когда-то он мечтал о мировой славе, о блеске огромных концертных залов, о признании публики, о цветах, о ласках, даримых почитательницами за счастье послушать его. Но этого не произошло. Никто не понял его сумбурных, диких, почти всегда раздражающих композиций. Слушатели не переносили его дьявольскую музыку. Озлобленный на весь мир, ненавидящий людей, он вынужден

был довольствоваться насекомыми и только по временам, когда, вероятно, совсем не вмоготу ему сдерживать свою страсть, он отправляется в портные кабаки. Тогда он снова перед публикой. Со скрипкой. И ловит, жадно ловит хотя бы взгляд одобрения, ждет рукоплесканий забывшихся в пьяном угаре людей. Но не понимают его и там. Смятый, опустошенный, клянувший всех, жалкий, неудавшийся музыкант возвращается к своим насекомым — неудавшемуся эксперименту природы... Дьявол со скрипкой...

— Станный человек, — нерешительно сказал Крэл. — Но говорите вы о нем так, что мне многое неясно. Ну увлекается музыкой, ну не в силах бросить ее, жалок в своем стремлении блистать, но что же тут дьявольского?

— Сама сущность. И вряд ли я ошибаюсь, Крэл. Музыка способна передавать движения души художника так, как не передает и поэзия. Ваматр всё же художник, но вот только творчество его носит печать какого-то проклятья. Я сам видел, как в подвальчике Марандини пьяная публика воспринимала его музыку. Возбужденные алкоголем, эти люди выражали свои чувства бурно и бесконтрольно. Поначалу сумбурные и, признаться, очень сильные его импровизации, завладевали слушателями, затем начинали сковывать их, но и они, опьяненные, старались вырваться из-под злобной и отвратительной власти ваматровской музыки. При мне здоровенный грузчик, только что ливший пьяные слезы, вдруг хватил табуретом об стол и выбежал из харчевни. Матрос запустил в Ваматра помидором, кто-то, изрыгая ругательства, шатаясь, уже продирался к выходу. Здоровое начало жило в этих людях, бесхитростных, не извращенных, просто хвативших слишком много горя в жизни и скрашивающих свою тяжкую долю спиртным. Не было в них испорченности, которая заставляла бы тянуться к изуверским творениям Ваматра. Здоровый инстинкт оберегал их от колдовского творчества, и они бежали из подвала. Кончалось это обычно тем, что хозяин, не желая терять своих постоянных посетителей, отказывал Ваматру... — Нолан помолчал, потом спросил: — Вы, вероятно, недоумеваете, почему я так много говорю о музыке Ваматра? Не удивляйтесь — она имеет отношение к тому, о чем вы прочли в статье.

— К гипотезе Ваматра?

— Бичета и Ваматра, — твердо поправил Нолан. — Да, несомненно, это связано в какой-то адский узел... Тогда, двенадцать лет назад... Замечательное было время, неповторимое. Мы были моложе, полны надежд и очень привязаны друг к другу. Все. Все четверо.

— Вы работали вместе с Ваматром?

— Да. У Арнольдса, в его маленькой, еще не прославившейся на весь мир лаборатории. Жили скудно, безденежно и весело. Бичет и Ваматр начали раньше, чем мы с Эльдой, на два-три года. Идея, собственно, принадлежала Бичету. Он первый высказал предположение: насекомые чужие. Нужно сказать, поначалу никто, кроме Ваматра, не подхватил эту идею. Эльда даже считалась противником ее, а Ваматр с присущей ему страстностью и отчаянием начал работу и с тех пор не прекращает её.

— Значит, и сейчас?..

— Да. Следует отдать ему справедливость: он сделал много. Наиболее значительна его работа с протоксенусами. Насекомые обычно плохо воспринимают красный цвет, хорошо различая остальные части спектра, вплоть до ультрафиолетового. Зная это, Ваматр предположил, что спектральный состав излучения звезды, согревающей породившую насекомых планету, отличается от спектра нашего Солнца. Ваматр учел и другое — поразительную хладостойкость насекомых — и поставил любопытные эксперименты...

Нолан умел рассказывать. Крэл словно сам присутствовал при захватывающих опытах Ваматра, который, создав условия, видимо близкие к условиям неизвестной планеты, обрел необычайные возможности экспериментировать с насекомыми. Крэл забыл об всем, слушая Нолана. Вид у него был словно у мальчишки, которому вдруг показали живого слона величиной с чайник.

— Вы, наверно, не отказались бы работать с Ваматром? — внезапно спросил Нолан.

Крэл молчал, не в силах перевести дыхание, а Нолан посмотрел на него так, что Крэл сразу повзрослел и слон уже не казался ему таким привлекательным.

— Пошли бы вы к Ваматру? — Нолан спрашивал настойчиво, в его тоне уже чувствовалось несвойственное ему раздражение.

— Кажется, это чертовски интересно...

— А сам Ваматр?

— Я еще очень мало знаю о нем.

— Вы правы, вы правы... — Нолан поднялся и предложил пойти в пансионат. Вниз они шли медленно, рискуя опоздать к обеду, но Крэл не ускорял шаги, внимательно слушаая Нолана.

— Опыты Ваматра увлекли нас. Эльда сдалась раньше меня. Собственно, с этого и началось нечто странное, загадочное. Нужно вам сказать, что познакомил меня с Эльдой Ваматр. Он некрасив, а вот всегда нравился женщинам. Очень многим. Но любил он только одну — Эльду. Ей он был безразличен, и она не выносила его музыки. Так что, познакомив нас, он окончательно потерял Эльду. Он еще боролся за нее, старался заслужить ее внимание, благосклонность, но всё уже было решено... Через несколько месяцев мы отправились в свадебное путешествие. Оно было долгим и безмятежным. Самая счастливая пора в нашей жизни. Кончилась она — кончилось всё... Из путешествия Эльда вернулась радостной, преисполненной творческих замыслов. Она не собиралась работать в группе Ваматра, однако вскоре всё изменилось. Она не только оставила свою тему, но стала самой яркой сторонницей идей Ваматра. Всех... Эльда, Эльда... Что же с ней случилось тогда?..

Они стояли над озером, опершись на высокие перила купальни. Наступил вечер, покалывающий горным холодом, а они и не вспомнили, что пора возвращаться в пансионат.

— Когда я думаю о прошлом, Крэл, то мне ничего не хочется изменить, ни от чего нет стремления отказаться, потому что я всё простил ей. Мало выпадает счастья на долю людей... Я так ценю доставшееся мне. Несравненное и жутковатое. Она дарила такое, и только такое. Иного не могла. И я ни за что не променял бы его на более спокойное и удобное... Вскоре по приезде я обнаружил в ее душе тайный и очень тревоживший меня уголок. Возникла ли ревность?.. Не знаю. Наверно, была и ревность, но больше страх. Я боялся, Крэл. У меня нарастало чувство тревоги, большое беспокойство, ощущение предстоящей утраты самого нужного в жизни и неповторимого. В какой-то мере я понимал Эльду: сделанное Ваматром и Бичетом могло увлечь, — но музыка? Почему музыка?.. Ваматр жил при лаборатории. Его комнатка находилась рядом с аппаратной, и, когда он

играл, до сидящих у пульта довольно отчетливо доносились его импровизации. Играл он только по вечерам, обычно уже после того, когда все расходились и лабораторные помещения пустели. Однажды мы с Бичетом задержались, не имея возможности прервать опыт. Опыт шел плохо. Снять нужные характеристики не удавалось. Протоксенусы не желали отдавать свои тайны, а мы упорствовали, стремясь добиться своего. Мы были настолько раззадорены упрямством чужаков, что не замечали музыки Ваматра. Пришла Эльда. Она уже побывала дома и приехала за мной, предлагая пойти в кино. Однако было не до развлечений. Эльда это сразу поняла и включилась в работу. С ее приходом дело пошло на лад. Она внесла остроумное предложение, мы с Бичетом ухватились за него, начали перемонтаж аппаратуры, а Эльда вдруг потеряла всякий интерес к только что обсуждавшейся задаче, сидела неподвижно, словно зачарованная, и очнулась лишь тогда, когда... когда Ваматр перестал играть. С этого вечера я начал замечать неладное, а вскоре мне стало ясно: Эльда уже не в силах побороть себя, мучится и всё же не упускает ни одного случая услышать музыку Ваматра.

Крэл обернулся к Нолану. У озера было темно. Сюда едва доходил свет от пансионата, и не понять было, что выражало лицо Нолана. Прерывать его не хотелось, но Крэл всё же не выдержал и спросил:

— Ваматр стал играть лучше?

— Нет, играл он всё так же... Пойдемте, Крэл. Холодно. При вашей лейкемии вам нельзя простужаться. Ну вот. — Нолан посмотрел на озеро, на ярко освещенные окна пансионата и затем на часы. — Я лишил вас возможности пообедать вовремя.

— Не беда — мы закажем ужин.

— Пожалуй, я обойдусь кофе.

Разговор они продолжили за столом. Нолан не ограничился одним кофе, заказал и ужин, но ел без аппетита, просто зная, что поесть надо. Крэл с неослабевающим интересом слушал Нолана, но ужину отдал должное.

— Прошел год. Сумбурный, напряженный. Год исканий... А Эльда... Она отдалялась от меня, я терял ее и понимал, что ничего поделать не могу. Я пытался увезти ее куда-нибудь, уговаривал переменить место работы, местожительство. Всё было тщетно. Я не в силах был

проникнуть в то затаенное и страшное, что росло в ней. Это было совершенно недоступно. Никому. Даже мне. А может быть, именно мне. Мы оба понимали, как сложно, неразрешимо всё это, и спасались, уходя в работу. Влекущую, принесшую столько страданий. Поиск был непрерывным, самозабвенным. Взлеты и провалы, надежды и сомнения. Мир с его хорошим и отвратным перестал существовать для нас. Наполняло нас только одно — поиск. Ложась спать, каждый из нас с беспокойством думал: должно пройти восемь, десять часов, пока снова очутишься в лаборатории.

— А там? — почти шепотом подтолкнул Крэл внезапно умолкшего Нолана.

— В лаборатории мы занимались только одним: стремились разорвать кольцо, казалось навечно скрепленное самой Природой. Протоксенусы Ваматра уже не удовлетворяли нас. Не успокаивался, разумеется, и он сам. Протоксенусы — это чудо, о котором мы еще боялись оповестить мир, но нам уже хотелось большего... Метаморфоз насекомых. Для них очень характерно это таинственное, ставшее привычным для людей явление. Яйцо — личинка — нимфа — имаго. Как непохожи они друг на друга! В некоторых видах они, эти звенья одной, замкнутой цепи, таковы, что непосвященному и не узнать в них фактически одно и то же насекомое. Взрослая фаза — имаго приспособлена к размножению, расселению, откладывает яйца. А затем снова: личинка — нимфа — имаго, и снова круг замыкается.

— И вы решили разомкнуть его, чтобы получить совершенно новое существо?

— Да, такое, которое не смогло развиваться на Земле. Весь вопрос был в том, хранит ли генная память насекомых заложенное миллионнолетней эволюцией, или всё уже забыто на чужбине. Если хранит, то мы разбудим ее, заставим снова заработать хорошо упрятанный код развития.

— И заставили?

— Конечно... Тогда это привело к катастрофе, а теперь... Впрочем, я не знаю, что будет теперь...

Из неторопливого рассказа Нолана Крэл понял, что же произошло двенадцать лет назад, как начался разлад в группе Ваматра, к чему привели споры и разногласия.

Поначалу споры возникали главным образом по поводу того, как изыскивать средства для продолжения работ. Еще не пришли дни, принесшие лаборатории Арнольдса славу и деньги. Арнольдс делал всё от него зависящее, чтобы поддержать группу Бичета и Ваматра, но всё же настал момент, когда для всех стало ясно: продолжать работу (если отказывать себе во всем, даже самом необходимом) удастся месяц, два, ну три. А потом?

В эти дни Ваматр познакомился с Хуком.

Однажды он пришел в лабораторию поздно, уже к концу рабочего дня:

— Дело идет на лад, друзья. Хук пригласил меня позавтракать в «Интоле». Там подают превосходное вино, хранящееся у них в подвалах черт знает с каких времен.

Настроение у Ваматра было отличное. Друзья редко видели его таким возбужденным, веселым. Нолану не очень приятно было охлаждать его вопросом, но он счел это необходимым:

— Чем придется расплачиваться за это знакомство? Я не говорю о завтраках, конечно.

Эльда быстро повернулась к Ваматру. Бичет, обычно неохотно отрывавшийся от дела, тоже внимательно и настороженно стал смотреть на друзей, уже стоявших в позе петухов, готовых к драке. Ваматр не принял боя. Ответил шуткой, продолжал рассказывать о Хуке, припоминая веселые и не очень скромные истории, в которые время от времени попадал этот богатый покровитель ученых. Нолан слушал с раздражением и уже собирался более обстоятельно допросить Ваматра о его замыслах, но Ваматр вдруг, прервав болтовню, быстро вышел из лаборатории.

Вернулся он через несколько минут и принес английский журнал многолетней давности. В статье, которую показал Ваматр, был описан результат исследования, некогда предпринятого энтомологами. Привлекая тысячи добрыхотных помощников, ученые в течение нескольких лет определяли, какие именно бабочки обитают на Британских островах. Когда наконец это было досконально установлено, с Цейлона на самолете привезли таких бабочек, которые не водились в Англии. Насекомых, отделив самцов от самок, поместили в специальные вольеры, отнесенные на восемьсот километров друг от друга.

По сигналу, переданному по телеграфу, из вольера выпустили самцов. Через некоторое, точно зафиксирован-

ное время самцы, преодолев огромное расстояние, оказались у вольера с самками.

На островах (не зря опыт был поставлен на островах) не было бабочек этого вида, ниоткуда они не могли появиться и, следовательно, к вольерам самок прилетели именно те самцы, которые были вывезены из Цейлона. Они могли прилететь к своим подругам, только получив их призывные сигналы, распространяющиеся, очевидно, на сотни километров. Сколь же совершенно «радарное» устройство насекомых!

Нолан и Эльда раньше не видели статьи, напечатанной в «Нейчур», прочли ее с интересом, однако не сразу поняли, почему она так взволновала обоих энтомологов. И Ваматр и Бичет, конечно, читали ее в свое время, но только теперь, когда им удалось вывести протоксенусов, у них возникли идеи. Новые и разные. Бичет увлекся. Он, еще не выслушав Ваматра, уже развивал свои предположения:

— Протоксенусы — это только простейшая форма неизвестных нам существ, но и они излучают мощнее всех остальных насекомых. Восемьсот километров пролетели цейлонские бабочки? Ерунда. Наши протоксенусы смогут... Друзья, надо немедленно организовать экспедицию. Продумаем всё хорошенько — и на острова, в Тихий океан! Ставя вольеры с протоксенусами всё дальше и дальше друг от друга, мы определим, на каком расстоянии действуют их «радарные» устройства.

— Где взять средства? — Вопрос Эльды несколько умерил пыл энтомолога. Он сел, снял очки и, поводя головой, стал разглядывать их так, будто вычитывал ответ.

— Деньги. Всегда деньги, — досадливо пробурчал Бичет. — Хорошо сказал Герцен: деньги нужны для того, чтобы о них не думать... Экспедиция отменяется. — Бичет подскочил, поспешно водворяя очки на место, и воскликнул: — Выдается идея более грандиозная!

— И более дорогостоящая?

— Идеи — бесплатно. Слушайте, слушайте! Ваматр прав: пора вывести породу, которая будет еще ближе к тем видам, которые зародились в иных мирах. Они, несомненно, должны обладать более мощными, тонкими и эффективными способами общения, чем все известные нам земные насекомые и даже протоксенусы. Чувствительность таких существ должна быть огромной. А что, если

они... — Бичет привлек к себе Нолана, Ваматра, Эльду. Стоя в плотном кружке, все трое слышали, как он, почти шепотом, продолжал: — Что, если они будут получать волны-биосигналы из своего мира?..

Пожалуй, тогда никто не принял всерьез фантастические предположения Бичета, но обсуждали его идею с увлечением, забыв о времени, и разошлись поздно.

Уже по дороге домой Нолан спросил у Эльды:

— Мне кажется, Ваматр... ну, как бы это сказать? У него на уме что-то свое. Похоже, он задумал...

— Договаривай.

— Мне бы не хотелось показаться несправедливым...

— И всё же?

— Измышляет он нечто пакостное.

— Почему ты так думаешь?

— Ты заметила, как он безучастно отнесся к идее Бичета?

— Да.

— А ведь, казалось, кого-кого, а Ваматра она должна была увлечь в первую очередь. Но, конечно, не только в этом дело. Главное... Мне не нравится его заигрывание с Хуком.

— Он старается изыскать возможности для продления работы.

— Во что обойдутся эти «возможности»?

— За всё приходится платить. За всё... кроме любви. — Эльда прижалась к Нолану, крепко-крепко держала его за руку, словно боясь упустить его, потерять. Шли они не спеша, с наслаждением вдыхая острый ночной воздух поздней осени. Нолан потом часто вспоминал этот вечер. Последний. И после этого они частенько возвращались домой вдвоем, всё так же хорошо было в парке, но уже не было того, что делало их отношения неповторимыми, бесконтрольно радостными и чистыми, лишенными каких бы то ни было недомолвок, подозрений...

Есть немало людей, обладающих замечательным свойством: чем большее давление оказывают на них обстоятельства, чем больше трудностей встречается на их пути, тем упорней они сопротивляются этим обстоятельствам, тем смелей, порой безрассудно и не щадя сил идут к намеченной цели. Группа Ваматра действовала так же. Именно в то время, когда у Арнольда иссякли возможности помогать им, когда, наконец, казалось, уже не было надежд на улучшение их финансового положения,

ими были проведены наиболее значительные исследования.

— Самые лучшие идеи приходят на голодный желудок, — констатировал Бичет.

С ним соглашались: успех в то время действительно следовал за успехом. Они работали в те дни над изучением «эффекта группы». Использовать этот эффект для того, чтобы изыскать код излучения, предложил Нолан. Не будучи энтомологом, он всё же знал об открытии, сделанном в свое время мирмикологами, знал, что, если, например, муравья изолировать от других муравьев, поведение его сразу изменится. Исчезнет пресловутое трудолюбие, он станет малоподвижным, «больным». Однако «болезнь» эту легко снять — стоит только поместить его в муравьиное общество. Там активность муравья возрастет и, что самое примечательное, — возрастет тем сильнее, чем больше особей будет в этом обществе.

Муравьи не исключение. Многие существа не только способны общаться друг с другом на расстоянии, но и непонятным еще для людей образом воздействуют друг на друга, будучи собраны в конгломераты. В этом случае их взаимное влияние очень эффективно и благотворно влияет на их развитие, жизнеспособность, успешное размножение.

Изучение «эффекта группы» решено было поставить и на протоксенусах. Протоксенусов то разобщали, то собирали вместе, стараясь установить, какие же силы возникают, когда они влияют друг на друга, какова физическая природа этих сил? Пожалуй, это больше всего и интересовало Нолана. Перед ним стояла задача — найти код излучения, влияющего на интенсивность ферментативных процессов, и он считал, что решить эту задачу удастся, изучая характер биополя, создаваемого при больших концентрациях протоксенусов.

— Протоксенусов нужно много, — постоянно твердил Нолан.

Чувствительность приборов, тонкость методов, изобретаемых им, ухищрения, с какими он старался проникнуть в тайну, всё еще оказывались недостаточными.

— Больше, больше нужно иметь этих тварей. Не могу я нашей далеко не совершенной аппаратурой уловить — что же происходит в их скоплениях. Полагаю, если увеличить количество протоксенусов, должна увеличиться напряженность создаваемого ими биополя и, может быть,

только тогда чувствительность приборов окажется достаточной.

Протоксенусы были прожорливы. На их прокорм уходило всё, что в последнее время удавалось добывать у Арнольдса.

У всех, кроме Ваматра, настроение падало. Нолан против обыкновения стал раздражителен. Бичет не так порывист и остроумен, а Эльда замыкалась в себе всё больше и больше.

Что касается Ваматра, то он, казалось, получал особенное удовольствие, наблюдая, как в вольерах, расположенных в глубине лабораторного парка, постоянно шевелящаяся масса коричневатых, многоглазых протоксенусов сжирает уйму пищи.

— Что ты сказал? Ты сказал — Хук? — переспросил Бичет, случайно услышав, как, стоя у вольера, Ваматр произнес: «Хук будет доволен».

— Я сказал — Хук? Не обращай внимания, Бичет, — спокойно ответил Ваматр и сразу заговорил о том, что в то время больше всего занимало Бичета — о способе уменьшить период развития протоксенусов в фазе нимфы.

Ваматр теперь редко упоминал о встречах со своим влиятельным знакомым. Он вынашивал план, который собирался выложить в тот момент, когда группа окажется в безнадежном положении. Казалось, такой момент настал. Ваматр уже готов был выступить со своим предложением, но Арнольдс опять раздобыл немного денег. Продержаться удалось, правда, недолго, но за это время Нолан всё же добился успеха.

Закончив последнюю серию испытаний, Нолан пошел сообщить друзьям о найденном наконец коде излучения. Ваматра в лаборатории не оказалось, Бичет с Эльдой неотрывно следили за аппаратурой. Он решил подождать, пока они закончат опыт, и вышел в парк.

Вечерело. Было прохладно. Нолан поежился, почувствовав сырость старого парка, но в теплую лабораторию не вернулся. «Вот и всё, — подумал он. — Так обыденно и так тяжело. Годы исканий, срывы, сомнения, надежды, и теперь, когда результат получен, ничто почему-то не радует. А как ожидался этот день! Думалось, всё в нем будет иным — светлым и немного торжественным... Сыро, холодно. Пусто. Вокруг и на душе. Не наполняет, а опустошает достигнутое. Неужели только в процессе самой

работы, только в самом стремлении к цели и можно чувствовать удовлетворение?»

Шел он медленно, неслышно ступая по тропинке. Погасла трубка. Зажигалки в карманах не оказалось — она лежала там, возле излучателя. Он даже помнил, где именно, а возвращаться всё же не хотелось. Почему-то вдруг неприятно стало думать о лаборатории — привычной, такой своей и всегда казавшейся уютной. Странно. Ведь там всё самое дорогое — Эльда, друзья, созданная им аппаратура, при помощи которой сделано открытие... Эльда теперь любит задерживаться по вечерам в лаборатории. С Бичетом. А иногда и без него. Бичет постоянно до ночи сидит за своими пультами, а теперь вот и она... Ждет, когда приедет Ваматр. Как бы поздно он ни вернулся, он хотя бы час, полчаса будет играть на скрипке. И Эльда не покинет аппаратную, пока не услышит его дикие, сумбурные импровизации.

Погасшая трубка и раздражала и утешала: можно было, посасывая ее, втягивая тонкий и горьковатый аромат, ощущать привычную прокопченность. Нолан уже решил было вернуться — нужна всё же зажигалка, — а вместо этого сел на ящик, валявшийся у края площадки, на которой стояли вольеры с протоксенусами.

На площадке было светлее, чем в парке. Желтоватосерый закатный свет причудливо и тревожно расцветивал траву, стволы старых деревьев, вольеры. С высоких кустов крушины боязливо и нахально пикировали воробьи. Нолан никак не мог понять, что их так пугает, почему, ухватив крохи просыпанного корма, предназначавшегося протоксенусам, они так стремительно спасаются в ветвях.

Кошка. Жмурясь в косых лучах солнца, уже предвкушая аппетитный ужин, она подбиралась к тому месту, откуда, по ее мнению, удобнее всего было ринуться на пернатых воришек. Маленький пестрый хищник уже находился между просыпанным зерном и вольером, уже изготовился к прыжку, как вдруг всё изменилось. Кошке стало не до дичи. Она выгнула спину, задрала хвост, шерстка ее встала дыбом. Яростно пища, она как-то неестественно, боком, стала пятиться от той части сетки, за которой то свивались в клубок, то расползались в разные стороны полупрозрачные протоксенусы. Но отползти ей не удалось. Впечатление было такое, что к скопищу этих созданий ее подтаскивала какая-то незримая бечева.

Как замороженная, будто под гипнотическим взглядом змеи, она не в состоянии была отвернуться от них.

Борьба была недолгой. Тельце кошки обмякло, опустилось на подогнувшиеся лапки, и, всё еще не отрывая глаз от вольера, она распласталась на земле. Через несколько секунд, словно пораженная электрическим разрядом, кошка встрепенулась, конвульсивно сжалась, затем подскочила, упала и замерла.

Нолан поспешил в лабораторию за портативным прибором. Вернулся он минут через пять — семь. Кошки на площадке не было. У вольеров стоял Ваматр.

— Неужели оправилась? — растерянно произнес Нолан.

— Ты о ком?

Нолан рассказал, что произошло у вольеров. Ваматр слушал, не подавая вида, что сам, не замеченный Ноланом, тоже наблюдал за разыгравшейся здесь сценой.

— Ведь это здорово, Нолан!

— Что тебе понравилось во всем этом?

— Да, собственно, ничего. А чем ты так взволнован?

— Не понимаешь?

— Не понимаю.

— А меня удивляет твое спокойствие. Выходит, протоксенусы не так уж безобидны, как нам это представлялось.

— Может быть, это и неплохо?

— Это плохо во всех случаях!

Ваматр повернул разговор неожиданным для Нолана образом:

— А где же кошка? Ты уверен, что она была мертва?

Нолан затруднился ответить. «Зачем я оставил ее здесь? Надо было, не отходя, позвать кого-нибудь... Но разве можно было предположить...»

А Ваматр продолжал:

— Ты что-то спутал, Альберт. Может быть, она притворилась, обманула воробья и теперь преспокойно ужинает.

Нолан посмотрел на Ваматра так, что лукавая улыбка мгновенно сошла с его лица.

— Ты очень возбужден, Альберт. Что-нибудь не ладится с излучателем? — Нолан не ответил, а Ваматр всё так же участливо спрашивал: — Как идет последняя серия? И она не дала результата?

Полчаса назад Нолан искал Ваматра, чтобы ему первому сказать об успехе, а теперь...

— Но ты видел кошку?

— Да брось ты об этом, право. Найдется. Вот увидишь. Завтра как ни в чем не бывало появится в парке.

Наутро пестрая, черно-желто-белая кошечка и в самом деле появилась в парке.

Нолан никому, даже Эльде, не сказал о своих случайных наблюдениях у вольера, но не сказал и о законченных им поисках кода излучения.

Нолана не убедило появление кошки в парке. Правда, был момент, когда он начал колебаться, думая, что ему всё представилось не так, как это случилось на самом деле. Но вскоре он отбросил сомнения и твердо решил проверить, оказывают ли какое-то влияние протоксенусы на животных. Сделать это так, чтобы Ваматр не узнал о закупаемом эксперименте, оказалось труднее, чем он думал. Нолан уже составил план опыта, придумав, как его можно сохранить в тайне, но в это время на лабораторию свалились очередные неприятности. Работы группы пришлось сворачивать. Покупать корм для протоксенусов стало не на что, и их пришлось уничтожить, оставив немного в маленьком вольере, помещавшемся в самой аппаратной.

Ваматр решил, что подходящий момент наступил, и прямо заявил друзьям о своем намерении обратиться за помощью к Хуку.

— А твой Хук даст гарантию, что наши открытия он не использует для каких-либо неблаговидных целей?

Ваматр готов был к такому вопросу, предвидел, что задаст его Нолан, и всё же несколько замаялся.

— Я не уточнял этого обстоятельства, я только знаю, друзья, что, получив средства, мы сможем продолжать работу. Мы ведь все этого хотим.

— Не уточнял, говоришь.

— Да чего ты опасаясь, скажи наконец.

— Я боюсь, что игрушка становится опасной.

— Для кого?

— Для людей. Поймите, даже протоксенусы уже настораживают, а если мы продолжим изыскания? Получив средства, пойдем, конечно, дальше и, разорвав кольцо, выведем такое, с чем не сумеем справиться. Поймите, вызывая метаморфоз вне кольца, мы не знаем, удастся ли нам совладать с чудовищем.

— А если это будет не чудовище? — Вопрос Эльды оказался маслом, вылитым на волны.

На какое-то время буря утихла, но вскоре опять вспыхнула, и притом с большей силой. Бичет, всегда несколько отрешенный, малоприспособленный к повседневности, не становился ни на одну сторону, ни на другую. Нолан считал, что появление отравляющего газа должно непременно сопровождаться разработкой противогаса.

— Мы не заботимся о безопасности. Ничего не делаем для того, чтобы во всеоружии встретить появление в нашем мире новой, быть может очень страшной, силы. И поэтому от людей, готовых финансировать наши дальнейшие исследования, мы должны получить гарантию.

— Какую?

— Прежде всего, возможность изыскивать способы, которые в случае необходимости позволят обуздать чужаков.

— Ручаюсь, — заверил Ваматр. — Эту возможность мы получим.

— А что потребуют от нас?

— Вероятно, нам придется сделать так. Получив средства, мы сможем широко развернуть работы. Приобретем оборудование, аппаратуру, приборы, увеличим штат, может быть, даже получим специальное помещение и начнем исследования, нужные для того, чтобы разорвать кольцо, попробовать вывести более совершенную форму протоксенусов. Этим займется часть людей, а остальные... Остальным придется продолжить работу с протоксенусами.

— Ими ты и думаешь заинтересовать заказчика?

— Да.

— Кого?

— Военных.

— Вот как? Тебя вдохновил случай с кошкой?

Ни Эльда, ни Бичет не поняли, почему вдруг приятели заговорили о кошке, — спор шел главным образом между Ноланом и Ваматром. Они увлеклись, возбуждены были настолько, что в этот момент не обращали внимания на остальных.

— Кошка здесь ни при чем, Альберт. Военных надо попробовать заинтересовать другим. Протоксенусы, как ничто живое, способны реагировать на изменение внешних условий, образуя при этом самые разнообразные формы. Пожалуй, только имея протоксенусов, удастся вывести существа с заранее заданными свойствами. Если усилить, углубить некоторые из тех, какие присущи протоксену-

сам, ну, например, их невероятную прожорливость. Зная код излучения, — а ты, Альберт, уж близок к решению задачи и скоро, я уверен в этом, синтезируешь фермент, — можно сократить период развития нимфы и резко ускорить получение имаго. И тогда... О, военные поймут перспективность такого метаморфоза. Уничтожение всего живого у противника, возможность сломить врага, съесть его и завладеть всем, что не сожрут протоксенусы — промышленностью, транспортом, энергетикой. Без взрывов и разрушений. Всё целехонько и только покрыто серо-коричневой загнивающей массой издыхающих прожор...

— Что ты говоришь, Ваматр!

— Не мы, так другие. Да поймите, вы, чистоплюи: пройдет несколько лет, и наше открытие, как бы мы тщательно ни скрывали его, станет известно.

— Как?

— Будет сделано другими.

Вот тогда-то спор разгорелся с особенной силой. Нолан не сдавался. Он видел, что это утверждение уже убеждает Эльду. Она всегда исповедовала простую истину: «Открытия носятся в воздухе» — и хотя содрогалась при отвратительных словах Ваматра, цинично призывавшего вывести новый вид существ и отдать их в руки тех, кто осмелится уничтожать людей, но уже настороженно относилась к трезвым и гуманным доводам Альберта.

Бичет не мог понять Нолана, не в состоянии был представить себе, как именно и сколь долго удастся держать открытие в тайне. Он выдвинул мысль противоположную:

— Не скрывать — наоборот, работать в открытую и таким образом исключить всякую возможность погони за секретами, а следовательно, сделать бесполезными шпионов и интриганов, убить гнусность взаимного недоверия. Широкая гласность. Пусть все знают всё! И когда люди, каким бы идейным богам они ни поклонялись, будут знать, что в наш мир пришла еще одна грозная сила, они не смогут употребить ее во зло.

— А мы? — удивился Ваматр. — А мы, значит, будем опять прозябать в этих стенах? Да что там, лишимся и их, будем существовать на подачки, не имея элементарных условий для работы. О нет, друзья мои, я не согласен. Условия мне нужны. Широкие. Такие, что дадут возможность творить, утолять страсть к борьбе с неведомым. И пусть мне помогают те, кто сейчас держит в своих

руках всё: промышленность, банки, прессу. Пусть помогают военные. Мне плевать. Я хочу, и я буду удовлетворять свое стремление к открытиям, и пусть мне помогает хоть сам дьявол!

Альберт Нолан понял тогда, что остается только одно — вето. В их группе каждый занимался своим куском работы. Никто не помышлял, что разногласия могут стать столь серьезными и в конце концов привести к разрыву. Код излучения, над которым в течение двух лет работал Нолан, был известен только ему.

Ваматр первым насторожился, почувствовав, как не примирим Альберт Нолан. Он понял, что Нолан может не отдать способ получения фермента и, готовый силой завладеть лабораторным журналом, бросился к двери, ведущей в лабораторию Нолана. Нолан не пошевелился. Ваматру стало ясно: Нолан уже принял решение и записей теперь не получить.

— Ты не отдашь?

— Нет.

Это «нет» долго звучало в ушах каждого, а потом наступила тишина. В этой трудной тишине голос Эльды показался непривычно глухим:

— Ты не можешь, Альберт... Не имеешь права один решать, где в этом открытии твое, где наше.

Так впервые был проложен между ними рубеж. Ничто не в состоянии было ранить Нолана чувствительней, чем это «твое» и «наше». Подозрения, ревность, какая-то патологическая тяга Эльды к Ваматру, к его неистовой музыке изматывали, мучили Нолана, но потеря Эльды друга, единомышленника!.. Это было выше его сил.

Разговор с Эльдой — последний и тягостный — привел к разрыву. Нолан больше не появлялся в лабораториях Арнольдса и вскоре уехал, устроившись консультантом фирмы «Электроник компани оф Мехико», в Монтеррее. Там же он узнал о несчастье. Он вернулся на родину, но Эльда и Бичет были уже похоронены...

— Тайна их смерти, Крэл, осталась тайной, — закончил свой рассказ Нолан.

— Но как это случилось?

— В тот вечер, как обычно, они находились в аппаратной. Бичет сидел за своим пультом, Эльда за своим. Работали они тогда много, часто задерживались в лабора-

тории допоздна. Всё выходило так, как предполагал Ваматр. Протоксенусы, пройдя новую, невиданную на Земле стадию метаморфоза, давали потомство, которое обладало нужными свойствами. Держали их только в небольшом вольере, находившемся в аппаратной. Там же снимали нужные характеристики.

— Протоксенусы? — со страхом переспросил Крэл. — Неужели они вырвались и...

— Нет, нет! Это было бы еще отвратительней, но... по крайней мере понятней. Протоксенусы сидели в своих вольерах, а Эльду и Бичета нашли мертвыми. Эльда упала на свой пульт. Бичет... Бичет лежал между ее пультом и вольером. В руках у него была выломанная из пульта металлическая панель. Похоже, он как щитом загораживался ею от протоксенусов. Почему? Неизвестно. Вообще всё непонятно. Из показаний Ваматра, которые он давал следственной комиссии, ясно, что за пятнадцать — двадцать минут до смерти оба они были совершенно здоровы. Ваматр весь вечер находился вместе с Бичетом и Эльдой в аппаратной. Это подтверждают два лаборанта, помогавшие им при постановке опыта. В девятом часу лаборантов отпустили. Как только они ушли, Эльда попросила Ваматра пойти к себе. Он не соглашался, так как хотел присутствовать при опыте, но Эльда просила настойчиво, капризно-требовательно: «Пойди к себе. Играй!» Ваматр не мог отказать ей. Он говорил, что играл минут десять, не больше. Играл так, как никогда прежде. Какое-то неизъяснимое волнение вдруг охватило его самого, он не слышал своей музыки. Звуки скрипки становились необычными. Что-то властное, чужое и страшное завладело им. Он не мог оторваться от смычка, не имел сил бросить скрипку, хотя понимал: надо, надо сейчас же посмотреть, что творится в аппаратной. Будто в экстазе, всё еще продолжая играть, он вышел из своей комнаты, прошел по короткому коридору, приближаясь к помещению, где находился Бичет с Эльдой. Вот тогда он и услышал крик. Кричала Эльда...

Нолан сидел в низком кресле, поставив локти на колени и опершись головой на ладони. Крэл не видел его лица, но по голосу, по тому, с каким трудом Нолан произносил каждое слово, понимал: годы не утишили боль.

— Никогда не забуду этот крик. Он ранил меня раз и на всю жизнь, — не поднимая головы, продолжал

Нолан. — Это был крик отчаяния, предсмертной муки и вместе с тем радости. Словно познал человек что-то великое, недоступное. И страшно ему платить жизнью за откывшееся в самый последний миг, и торжествует ищущий человек, вдруг соприкоснувшись с чужим и прекрасным...

— Простите, Нолан, но я ничего не могу понять... Ведь вы... вы в это время были в Монтеррее?

— Да... Да, далеко от них... Может быть, не следовало покидать их? Если бы я находился тогда в аппаратной!

Последовала долгая пауза. Крэл понимал, как трудно Нолану, и не торопил его.

— В тот вечер они вели запись на акустической аппаратуре ...Протоксенусы способны общаться между собой, и притом таким образом, что возникла надежда понять их. Решили делать записи. Работали приборы, регистрирующие колебания в самом широком диапазоне, в том числе и воспринимаемом человеком. Лента магнитофона зафиксировала многое... Даже музыку, доносившуюся из комнаты Ваматра. Когда он подходил к аппаратной, всё еще продолжая играть, звуки скрипки, естественно, усилились. В это время Бичет сказал Эльде: «Отключите пульт. Скорее. Может случиться беда! Отключите». Сказал он это с трудом, голосом, изменившимся до неузнаваемости, но Эльда ответила: «Нет, нет! Это так прекрасно!» Бичет крикнул, настаивая на своем. Однако, если судить по записям, сохранившимся в приборах, Эльда ничего не изменила в режиме испытания. Она не послушалась Бичета. Вероятно, он выломал металлическую панель — на пленке зафиксирован треск, словно кто-то ломал приборы, — и бросился к вольеру. Ваматр увидел аппаратную в то время, когда Бичет ползком, как-то боком, словно притягиваемый к вольерам незримой силой, старался пробраться между протоксенусами и пультом Эльды...

— А Ваматр? — живо спросил Крэл.

— Ваматр... Комиссия ему поверила... Может быть, это и справедливо... Он говорил, что прежде всего бросился к Эльде. Она уже была мертва. Тогда он подбежал к Бичету. Бичет бился в судорогах и всё же выдавил из себя: «Уничтожь их. Уничтожь! Никогда не...» И всё. От чего предостерегал Бичет?.. Неизвестно.

Маленькие вагончики электропоезда добежали до конечной станции, освободились от пассажиров и ушли вниз, к фьордам.

Крэл медленно шел по платформе. Розовая полоска живого света на небе сменилась на зловеще медную, а вскоре исчезла и она. Сразу потемнело. Рваные куски серого, беспокойного тумана быстро спускались с гор, холодный ветер, словно решив догнать электропоезд, устремился в долину. Крэл едва успел добежать до стеклянного павильона у стоянки автобусов, как пошел дождь.

Здесь никого не было. Толстые рифленые стекла, освещенные яркой ртутной лампой, защищали от неуютного, мокрого вечера, и, пожалуй, в первый раз Крэлу очень не захотелось в Асперт. С надеждой он подумал, что, может быть, Нолан и не приедет... Нет, нет, встретиться надо. А зачем?.. Еще ничего не было решено, но уже возникло нечто, придававшее их встречам и отношениям характер той своеобразной интимности, которая возникает между сообщниками.

— Ой!

Крэл обернулся, чуть вздрогнув от этого звонкого «ой». В кепке, в комбинезоне под навесом появился не то хорошенький мальчик, не то не очень хорошенькая девушка.

— Вы меня испугались?

— Я ничего не боюсь.

— Вот как?

— Просто не хочу больше мокнуть.

— А почему «ой»?

— Думала, здесь никого нет.

Девушка сорвала кепку, лихо ударила ею о колено, выбивая воду, и Крэл увидел, что она, пожалуй, привлекательней, чем показалась в первый момент.

— Автобус скоро?

Крэл посмотрел на часы:

— Должен быть через двенадцать минут. Вы тоже в Асперт?

— Нет, я в Рови.

— В Рови? Что там делать в такую погоду?

— Я там живу.

Она устало прислонилась к зеленоватой стеклянной стенке. Только на миг ее глаза спрятались за темными

прямыми ресницами, а потом, круглые, с большими черными зрачками, смело посмотрели на Крэла.

— А вы на прогулку, в горы? — В ее вопросе Крэл уловил насмешку.

— Просто хочется отдохнуть после целой недели...

— Тяжкого труда, -- добавила она с иронией и оценивающе прощупала взглядом Крэла. Его одежду, лицо, руки.

Крэл улыбнулся. Она не ответила улыбкой, но разговор у них начался. Непринужденный, ни о чем и обо всем. Держалась она с достоинством и очень просто. В отрывистых фразах, произносимых ею неспешно, чуть хрипловатым голосом, содержалось неожиданно много. Казалось, слова ее имеют потаенный смысл и заложен в них намек на нечто большее, чем они обозначали.

Это уже становилось занятным. Крэл терпеть не мог пустой болтовни и обычно сразу же замыкался в себе, едва уловив желание какой-нибудь новой знакомой заинтересовать собой, а тем более увлечь. С ней всё получалось по-иному. О себе она говорила бесхитростно, откровенно. И откровенность эта представлялась естественной, ненавязчивой. В несколько минут Крэл узнал о всей ее жизни. Ничем не примечательной и почему-то интригующей. Но чем? Всё заурядно: работа на канатной фабрике, ежедневно долгий путь в Рови — в столице квартиры дóроги, — ужин и сон, рано поутру снова на фабрику, потом опять в поселок, притаившийся у самых гор.

— И не скучно вам там, в Рови?

— Некогда скучать... Ну а по воскресеньям ездим в Шорон. Вы не бывали в этом городке? В Шороне дансинг, кафе, кино.

Крэл протянул ей пачку «Ружи».

— Не курю.

— Теперь это редкость.

— Для кого?

Крэл промолчал.

— Для девушек, с которыми встречаетесь вы?

— Я... я не встречаюсь.

Она снова, быстро, едва уловимо оглядела Крэла и впервые улыбнулась.

— Ну, для тех, кто живет там, в столице...

Крэл посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляда, и он вдруг почувствовал, что непременно захочет снова

встретиться с ней. Боясь смущения, он поспешил заговорить и уже не замечал, что сам болтает о пустяках, что изменились у него интонации, что он старается привлечь ее, заинтересовать собой и уже пытается вывести о чем-то личном, сокровенном:

— А в дансинге?.. Там... там весело бывает?

— По-разному. Чаще — не очень.

— Интересные встречи?

— Нет.

— Почему?

— А зачем?

— Вы любите одиночество?

— Привыкла...

Крэл подошел ближе к ней. Совсем близко. Стоял — лицо к лицу — и смотрел на волосы. Слегка волнистые, не причесанные модно, а еще примятые кепкой, они искрились капельками дождя. Он снял эти капельки, чтобы почувствовать их колючую влагу на ладони, вдруг ставшей сухой и горячей. А она не отпрянула, не испугалась этой неожиданной ласки, но и не приблизилась к нему...

— А на фабрике, там... — Крэл запнулся, — там трудно?

— Не всегда. Там весело.

— Много друзей?

— Нет, не много.

Крэл задумался.

— Вам нравится ваша работа?

— Эта — нет. Вот если бы что-то новое. Постоянно, каждый день новое!.. Так бывает?

— Бывает, но...

— Понимаю — надо учиться.

— Угу.

— Вот и автобус. А ваш на Асперт будет через пять минут.

— Подождите, я хотел...

— Не могу — это последний в Рови.

— Как вас зовут?

— Инса...

Два красных огонька еще виднелись в пасмурной дали, когда подошел автобус на Асперт. Ветер внезапно стих, а дождь всё шел и шел. Уже не сильный. Спокойно и тоскливо протягивались его топки струйки, равномерно заштриховывая всё вокруг. Автобус взбирался

по серпантину, выхватывая мощными фарами куски трудной, мокрой дороги. Станция уходила вниз. Где-то там, тоже внизу, жил маленький поселок — Рови. Туда увез автобус Инсу. Инса, Инса. Имя красивое... Через несколько минут она приедет, войдет в свою комнатуху, разделется... Почему она не оставляет комбинезон на фабрике?.. Расчешет волосы, смятые кепкой... Хорошо было снять с них искринки, ощутить на миг эту нечаянную близость...

Что же она делает вечерами? Впрочем, времени у нее мало... Простой ужин и в постель... Завтра воскресенье. На фабрику ей не надо. Поездка в Шорон. Дансинг. С кем она проведет воскресенье?.. Глупо получается, вот не видел ее, не знал, а теперь... На кого она похожа? Что-то очень знакомое в ее мальчишески дерзких и по-девичьи милых чертах...

Крэл думал об Инсе на протяжении всего пути до Асперта, а Инса... Она доехала до Рови и там, у самой автобусной станции, ее уже ожидал «крейслер». Инса юркнула в тепло уютного лимузина, зябко поежилась от приятной телу перемены и участливо обратилась к человеку, терпеливо сидевшему за рулем:

— Надоело ждать?

— Что поделаешь — нужно ведь. А как у тебя, удачно?

— Не будем об этом.

— Вот как?

— Не «вот как», а... Неприятно сейчас... Давай поедем в город. Может быть, еще успеем на концерт Валентини...

— Пожалуй, только ко второму отделению... Тебе ведь переодеться надо...

Машина чуть присела от рывка и помчалась вниз, в столицу. Инса, не глядя, привычным движением достала из кармашка над сиденьем пачку «Кэмел», чиркнула зажигалкой, жадно затянулась и закрыла глаза.

* * *

Обычно Нолан приезжал позже Крэла, в этот раз он уже был в пансионате. После ужина он пригласил молодого человека к себе в номер. Здесь было тепло и тихо. Мягкий свет торшера помогал отгородиться от страшной тьмы, царившей за тюлем огромных окон.

Нолан выглядел усталым, но вместе с тем особенно собранным. Раскуривая трубку, он пытливо посмотрел на Крэла и вдруг спросил:

— Вы чем-нибудь возбуждены сегодня?

— Нет, нет, — слишком поспешно заверил Крэл.

— Ну как хотите. У молодости свои права и свои законы. Простите мне мой вопрос. Он и в самом деле мог показаться нескромным. Просто мне не безразличны стали ваши волнения, тревоги и радости. Словом, всё, что касается вас...

— Спасибо.

— А вот сегодня за ужином вы были рассеянны и улыбка на вашем лице, постоянная, словно не зависящая от вас самого, — такая бывает, когда молодой человек не в силах, да и не хочет отделаться от затронувшего его сердце воспоминания.

Крэл рассмеялся:

— Вы проницательны.

— Я насторожен.

— Даже когда появляется девушка?

— Всегда и во всем.

— А это не... — Крэл замялся.

— Не стесняйтесь. Вы хотите сказать, что это естественно.

— Пожалуй, — согласился Крэл, хотя собирался высказаться резче.

— Нет, дорогой Крэл, просто немного гипертрофированное чувство ответственности.

— Которое диктуется?..

— Временем, в котором мы живем... Вы никогда не слышали об Аллане Лейже?

— Нет, не приходилось.

— Впрочем, вы и не могли о нем знать. Он работал в Институте экспериментальной биохимии еще до того, когда вы стали там бывать.

— Впервые я поехал к ним год назад.

— Да, а Лейж погиб... Боже, как идет время! Прошло уже больше двух лет... А я до сих пор помню, каким был в тот день взгляд его больших серых глаз. Вопросающих и немного тревожных... Меня не покидает мысль: а может быть, он уже тогда предчувствовал, что не вернется... Аллан... Молод, умен. Обаятельный, знаете, из тех, которые нравятся всем, ни у кого не вызывают несприятельных чувств... Я очень любил его, считал несдурным

человеком. И доверял. Доверил ему первому, Крэл, а вот теперь вам.... — Нолан подошел к окну, осторожно отодвинул легкую занавеску, заглядывая в ночь, и продолжал не оборачиваясь к Крэлу: — О том, что вы начали работать над облучением фермента, я узнал поздно. К сожалению, слишком поздно. Когда я вернулся из экспедиции, дело у вас значительно продвинулось, и я уже ничего не мог поделать. А вот когда эта идея возникла у Аллана...

— Как! И он?

Принесли кофе. Нолан вернулся к столику, разлил по чашечкам ароматный напиток и только тогда ответил:

— Да, Крэл. Он мог стать вашим предшественником, но я... Я рассказал ему о Ваматре, о Хуке, о катастрофе... На него это произвело огромное впечатление. Он сразу понял, как может быть страшен Ваматр, особенно объединившись с Хуком, задался целью разузнать о них поподробней, попытаться выведать, каковы их планы и, если их намерения окажутся вредными, помешать им. Лейж уже решил проникнуть как-нибудь к Ваматру, но в это время Ваматр исчез, и это еще больше подзадорило Лейжа.

— Исчез?

— Да. В справочниках о нем ничего нельзя было узнать, статьи его перестали появляться в печати. Это было верным признаком: работами его заинтересовались военные или... или Ваматр заинтересовал своими работами военных. Тайнственность эта, как запретный плод, особенно привлекала Аллана, и он с немалым рвением начал поиски неизвестно куда девавшейся лаборатории. Однако лаборатория словно испарилась. Будто и не существовало никогда и самого Ваматра. — Нолан помолчал. — И всё же Лейж обнаружил их.

— Как?

— Очень хитро. Сделал так, что Ваматр сам начал искать встречи с Лейжем, стараясь заполучить его в свою лабораторию.

— Понимаю, — произнес Крэл, удивив этим Нолана. — Понимаю. Это могло произойти только в том случае, если Ваматр узнал о Лейже как о человеке, владеющем секретом Альберта Нолана.

— Так это и было. Ваматр в безвыходном положении. С момента катастрофы, случившейся в лаборатории Арнольда, прошло несколько лет, а он, не имея больше сил

тезированного мной фермента, не мог продвинуться дальше. Как только Ваматр услышал, что Аллан Лейж якобы знает метод синтеза фермента, он сразу же подошел к нему людей, которые предложили работу в «одной очень солидной лаборатории». Мы, конечно, догадались, что это за лаборатория.

О приключениях Лейжа Нолан говорил образно, убедительно, и Крэл живо представил себе и события, и людей в них участвовавших. Рассказ этот, снабженный описанием впечатляющих подробностей, не был свободен от допущений, даже домысла, но и это не вызвало внутреннего протеста у Крэла, — он чувствовал, что Нолан искренен, сам глубоко верит в то, о чем говорит.

Слушая Нолана, Крэл узнал, как именно удалось Лейжу попасть к Ваматру. Подставные лица, сообщившие ему, что руководитель солидной лаборатории готов встретиться с ним, разумеется, не упоминали имени Ваматра. Но Лейж был убежден — предложение исходит от него и ни от кого больше. Казалось, цель близка: стоит ему принять предложение — и он узнает, где притаился Ваматр. Однако узнать это Лейжу не удалось даже после того, как он согласился начать переговоры.

В условленный день и час за Алланом Лейжем прислали автомобиль. Он уже приготовился к длительной загородной поездке, уже представил себе где-то в глухом, но не слишком удаленном от магистральной дороги месте прикрытые густой зеленью, надежно огороженные помещения лаборатории, а его привезли на площадь Палем. Здесь, в самом центре столицы, в огромном, заполненном множеством учреждений здании, в двух скромных комнатах размещалась контора фирмы, занимавшейся, судя по вывеске, производством фармацевтических препаратов.

Принял Лейжа человек, совсем не похожий на Ваматра, которого Лейж знал по превосходным описаниям Нолана.

— Хук, — представился он коротко.

— Лейж, — ответил молодой человек. Во взгляде Хука Лейжу почудилось что-то вызывающее настороженность. Впрочем, Лейж быстро взял себя в руки, стараясь не показать неприязненного чувства к тому, кто вершит дела, которые приходится прикрывать невпийной

вывеской, вероятно никакого отношения к этим делам не имеющей.

Хук начал деловито:

— Одной из моих лабораторий нужен биохимик. Вы смогли бы перейти к нам на работу?

— Перейти к вам? Ну, что же, хорошо, когда не ты ищешь работу, а работа ищет тебя. Но, знаете, местом своим я доволен, дело, которым занимаюсь, мне по душе...

— А условия?

— Условия тоже приличные.

— А если мы предложим лучшие?

— От лучших отказываться, конечно, грех. Вот только оставить интересную тематику, заняться вдруг фармакологией?.. Нет, боюсь, мне это не подойдет.

— А в лаборатории Ваматра вы бы согласились работать?

— Фармаколога? — это прозвучало не без ехидства.

Хук посмотрел на Лейжа внимательно и строго.

— Нет, Лейж, Ваматр не фармаколог. Он энтомолог, и табличка на двери пусть вас не смущает.

— Да она меня и не смутила. Скорее, позабавила. Поскольку доктор Ваматр перестал публиковать свои работы, не значится теперь в адресных справочниках, а некролога... Думаю, некролог появился бы в случае его смерти. Не так ли?

— Похоже, вы внимательно следили за Ваматром и здесь очутились не зря.

— Позвольте вам напомнить: вы сами меня пригласили.

— Да, да, конечно, и очень рад случаю побеседовать с вами. Итак, поскольку фармакология отпадает, мы можем вести разговор в несколько другом плане. Вы согласны работать у Ваматра?

— В зависимости от того, чем занимается его лаборатория.

— Боюсь, что об этом я смогу вам рассказать, только получив согласие на наши условия.

— Каковы они?

— Контракт на три года. Не меньше. И соблюдение тайны. Кроме того, Ваматр берет к себе холостяков и незамужних. Он вообще предпочитает людей одиноких.

— Он очень предусмотрителен. Ну что же, значит никто не должен знать, чем занимаются фармакологи?

— Совершенно верно. Если вам поручили разведать кое-что о наших делах, то вам это не удастся. Мы этого не допустим.

— Мне следовало оскорбиться, услышав такие предположения, однако я буду скромнее. И откровенней. Да, работа Ваматра меня интересует. Именно меня, а не кого-то другого.

— О, это уже новое. Почему, позвольте спросить?

— Я открыл способ синтеза фермента, который нужен ему, и только ему. По крайней мере пока. А главное, меня чертовски увлекает проблема, которой он занимался у Арнольдса. Мотивы, как вы понимаете, сугубо личные, а не кем-то продиктованные.

Хук откинулся в кресле и, слегка раскачиваясь, смотрел в удивительно яркие глаза молодого человека.

— А я вам не верю. Ни одному вашему слову не верю, дорогой Лейж. И давайте выпьем. Вы что предпочитаете, рюлат или покрепче?

— Пожалуй, покрепче, только с содовой.

— Превосходно. — Хук подошел к бару, вмонтированному в книжные полки, жестом пригласил Лейжа и наполнил рюмки.

— Рекомендую сюда же добавить немного гранатового соку.

— Благодарю вас.

— Итак, молодой человек, вы энтузиаст, увлечены наукой, открывающей неизведанное, любите приключения и хотите... А может быть, вы и не знаете секрета синтеза? Где гарантии? — Хук быстро взглянул на Лейжа из-за рюмки. — Давайте проще. Я человек деловой. Сколько стоит фермент? Прописи, подробная рецептура, код излучения — словом, всё?

— Продавать открытие я не собираюсь.

— Я даю тридцать тысяч.

— Мне нужно другое.

— Понятно — разведать, что у нас делается. Пятьдесят.

— Зачем? Принимая участие в ваших делах, я получу больше.

— Сто.

— Нет. Только работа вместе с Ваматром.

— А если эта работа окажется... Ну, как вам сказать?.. Будет такой, что ее уже не прикроешь вывеской типа фармацевтической? — Хук не сводил глаз с Лейжа.

— Тайнственность меня только привлекает, что же касается цели... Ну уж если работу приходится скрывать, то вряд ли цель излишне гуманна. В наши дни такие ситуации не редкость.

— Я не верю вам, Лейж.

— Знаю. Я тоже не верю вам. Ни вывеске, ни обещаниям. Ни тем, что вы уже дали, ни тем, что собираетесь дать.

— Вот это мужской разговор. Значит, поединок?

— Я готов.

— Правила игры?

— В таких играх правил не бывает.

— Давайте выпьем еще.

— С меня довольно.

— Опасаетесь?

— Нисколько.

— Так где гарантия, что фермент в ваших руках?

— Мы это проверим в лаборатории Ваматра.

— Что вам потребуется для осуществления синтеза?

— Ровным счетом ничего.

— Объяснитесь.

— Я приду с небольшим количеством уже готового препарата.

— Это нас не устраивает.

— А меня не устраивает перспектива осуществления синтеза в таком месте, где каждое мое движение будет зафиксировано.

— Вы серьезный партнер.

— Я знаю, на что иду, и догадываюсь, с кем имею дело. Итак, насколько я понимаю, мы не пришли к приемлемому решению. В таком случае, разрешите откланяться.

— Погодите, я согласен допустить вас к Ваматру.

— И не только допустить, но принять как равного работника, имеющего возможность быть в курсе всех дел и всех начинаний. Сотрудничество полное. Доля моей ответственности за содеянное и доля моего участия в достижениях.

— Ого! Это не слишком?

— Отчего же? Ведь фермент — ключ ко всему. Без него вы не продвинетесь ни на шаг.

— Это вам объяснил Альберт Нолан?

Вопрос был опасным, и Лейж, стараясь выиграть время, не ответил и сам поспешил задать вопрос:

— Откуда вы взяли, что моими поступками руководит Нолан?

— Он давний и очень упорный противник всех, особенно практических начинаний Ваматра и, вероятно, готов рискнуть многим, только бы помешать нам. А для этого необходимо выведать, что же именно мы делаем. Не так ли? Вы, насколько я понимаю, единомышленники?

— Наши убеждения различны. Нолан, несомненно, умный человек, однако он идеализирует то, что, по-моему, идеализировать не следует. Его вера в Человека наивна и смешна. В большинстве своем люди подлы и только этим отличаются от остальных животных. Четвероногие лучше. Никакой хищник не способен на подлость. Он просто сжирает свою жертву только потому, что таковы законы природы, потому что ему нужно поддерживать свое существование, а вот человек... Человек единственное животное, которое совершает подлости, которое уничтожает ближних совсем не для того, чтобы поддерживать свое существование.

— Ну что же, убеждения, типичные для нашей современной молодежи. Однако вы уклонились от прямого ответа.

— Не настаивайте — ведь игра без правил позволяет и это, но мне кажется, мой ответ достаточно ясен.

— Может быть, и так, однако игра без правил позволяет мне не верить ничему. Вы женаты?

— Нет.

— Девушка?

— Пока предпочитаю дам.

— Родные?

— Я одинок.

— Это легко проверить.

— Разумеется.

— Значит, вы готовы принять мои условия?

— Да.

— В таком случае, я включу вас в число людей, работающих над проблемой. Однако мне нужны гарантии. Ни одна живая душа не должна знать о наших делах. Сами понимаете, Лейж, никакие ваши заверения меня не убедят. Оба мы хотим одного и того же. Вы хотите участвовать в наших разработках, знать о них все, — для чего вам это, мне, в конце концов, безразлично, — и я хочу, чтобы вы работали у нас, так как иного пути заполучить фермент пока не вижу. Мы не доверяем друг другу,

значит, выход один: полное подчинение нашим правилам режима.

Хук подошел к бару, налил себе рюмку, не предложив ничего Лейжу, и, пока цедил крепкий напиток, видел в зеркале, как изменилось красивое лицо молодого биохимика, как дрогнул уголок рта, чуть сощурились и потемнели его глаза. Хук резко обернулся:

— Итак?

— Я согласен.

— Повторяю условия. Контракт на три года и главное — обязательство не разглашать сведения о проводимых нами работах. Если вы нарушите слово, то я не смогу поручиться за вашу безопасность. Просто не смогу. В этом нет ничего удивительного: ведь жизнь полна всяческих неожиданностей. Не так ли? Мало ли что может произойти с человеком. Автомобильная катастрофа, отравление пищевыми продуктами, внезапно сорвавшийся кусок карниза. Понимаете? Тонут вот еще люди. Тонут. И при самых различных обстоятельствах.

Только в этот момент Лейж полностью осознал, куда он попал. Казалось странным, что светит солнце, плещет океан, столица полна жизни, люди спешат по своим делам, читают газеты, выбирают в парламент.

Лейж письменно подтвердил, что совершенно одинок, не имеет близких и обязуется не разглашать сведений, полученных в лаборатории Хука—Ваматра.

С этого момента Лейж уже не встречался с Ноланом, предполагая, что за ним будет установлена слежка. Тщательная, не позволяющая сделать ни одного неосмотрительного шага. Он не рискнул повидаться с Ноланом, даже не написал ему. О маленьком подарке Нолана — губной гармонике — никто не знал и никто, конечно, не находил ничего предосудительного в том, что Аллан частенько играл на ней.

Знакомство с лабораторией, — а она оказалась такой, какой Лейж и представлял себе: укрытой в зелени запущенного парка, — прошло будничней, чем он ожидал. Оборудование лаборатории, размещенное в большом загородном доме, перестроенном для этой цели, было современным, рабочие помещения удобны, содержали всё самое необходимое и ничего излишнего или неоправданно дорогого. Более того, во всем чувствовалась скромность, если не сказать недостаток средств, компенсируемый умением вести дело экономно, по-хозяйски.

Ничего таинственного, ничего заставляющего насторожиться. После стольких дней напряженного ожидания и волнений от мысли: удастся ли проникнуть к Ваматру или план сорвется, — внезапно наступило ощущение покоя, даже некоторого разочарования: «Ну вот, попал в святая святых, и что?»

Тревога пришла позже. Поначалу едва уловимая, но уже постоянная, не отпускавшая ни на минуту, а затем крепнущая день ото дня, мешающая жить и работать. И чем дальше, тем трудней было с сотрудниками. В лаборатории они занимались каждый своим, четко ограниченным кругом вопросов, и Лейж считал, что никто из них не знает о работе соседа.

Вскоре он решил, что здесь царствует всепроникающая слежка и это приводит к отчужденности, к взаимной подозрительности. Временами такая обстановка казалась Лейжу непереносимой, он готов был плюнуть на все, пренебречь угрозами Хука и, невзирая на трехгодичный контракт, бежать. Вероятно, он так бы и сделал, если бы не протоксенусы.

Первая встреча с ними оказалась неприятнее, чем он думал. Уродливые, не похожие ни на что земное создания вызвали у него отвращение, сама мысль о необходимости прикасаться к ним, проводя опыты, представлялась чудовищной.

Как ни странно, это длилось недолго. Уже при следующем свидании с протоксенусами он понял, что тошнотное чувство проходит, а на другой день ему вдруг захотелось пойти к ним. Желание это возникло без всякой причины. Надобности идти в питомник не было никакой: опыты, намеченные на день, были закончены. «Идти не нужно», — внушал себе Лейж, а тяга к протоксенусам росла и росла. В тот раз он поборол это чувство. С трудом. Вечер показался бессмысленно длинным, а сон, беспокойный, сумбурный, не принес отдыха. Утром, когда действительно потребовалось взять в опыт протоксенуса, его испугало внезапно возникшее чувство радости. Непонятной, ничем не оправданной. Хорошо было от самой мысли, что вот сейчас, сию минуту он наконец может, должен пойти к ним. Привычка сдерживать себя, умение не поддаваться сомнительным порывам заставили его начать борьбу с чуждой, непонятной силой. Лейж решил испытать себя, оттянуть момент встречи, отложив очередной опыт на два часа.

Борьба оказалась мучительной, измотала, возбуждение достигло предела, он не выдержал зарока и отправился в вольер. И там пришло успокоение. Чем ближе Лейж подходил к вольеру, тем легче становилось на душе. Не ломило больше в висках, появилось чувство бодрости, почти веселья. Тонкого, какое дает стакан хорошего вина. Приподнятое настроение усиливалось по мере приближения к медленно двигавшейся в полутьме массе удивительных существ. Они всё время меняли форму, цвет, становясь то почти прозрачными, то коричневато-серыми. Неизменными оставались только глаза, всегда устремленные на того, кто на них смотрел.

Наконец Лейж, словно оттолкнувшись от невидимой стены, заставил себя отойти от вольера. Тяжелы были первые шаги, но затем удаляться стало немного легче, и он овладел собой настолько, что уже мог думать о происшедшем. Необычайное явление захватывало и вместе с тем настораживало. Первая попытка справиться с влечением к таинственному клубку жизни вселила уверенность в себе, но тут он подумал о том, придется ли ему испытать эту гамму неведомых ранее ощущений вновь, удастся ли опять насладиться совершенно новым эйфорическим чувством?

Весь остаток дня Аллан Лейж не мог отделаться от желания снова подойти к вольеру. Хотя бы ненадолго. О чем бы ни заходила речь, что бы ни обсуждалось в лаборатории, мысли настойчиво возвращались к протоксенусам.

Теперь Лейж скован был странным их влиянием настолько, что начал тревожиться, понимая, как нелегко ему преодолевать постоянное стремление к ним. Тяга эта представлялась чем-то порочным, даже стыдным, влечение противоестественным, и говорить обо всем этом ни с кем не хотелось. Да и не с кем было. Недоверие к окружающим его людям усугублялось. Лейж пришел к убеждению, что полагаться здесь следует только на себя. Трезвый его ум позволил определить, в какое положение он попал, и вскоре, последовательно анализируя факты, он успокоил себя в главном: общение с протоксенусами никакого побочного, вредного для его организма воздействия как будто не вызывает. Едва преодолимое, постоянное желание находиться поблизости от них, в общем, работе не мешало, голова оставалась ясной, он считал, что хорошо владеет собой и только не может, совершенно не может

отказаться от удивительного возбуждения, вызываемого чужаками.

Между тем Лейж быстро освоился с приемами и методами, принятыми в лаборатории Вamatра, овладел навыками, необходимыми при работе с новыми существами и уже готов был к тому, чтобы испробовать на них фермент.

Первые же опыты показали, какое могучее средство оказалось в руках экспериментаторов, и вместе с тем заставили убедиться, что обладание ферментом еще не решает задачи. Дело получалось сложнее, чем представлялось. Применение даже микроскопических доз препарата вызывало глубочайшие изменения в организмах протоксенусов. Приходилось перебирать тысячи возможных вариантов, поиск получился длительным, и вскоре для Лейжа настали трудные времена.

Запас фермента подходил к концу.

Лейж становился подозрительным, и ему начало казаться, что в лаборатории стремятся к одному — как можно скорее израсходовать имевшийся у него запас и этим самым поставить его перед необходимостью всё же начать синтез. Теперь уже в хуковской лаборатории.

Опасная игра продолжалась с переменным успехом. Лейж находил, что Хук торжествует, зная о исчезающем постепенно запасе, и не мог придумать, какой сделать ход, как отразить подготавливаемый удар. В самые трудные дни он отправлялся в питомник и там подолгу просиживал у металлической сетки, отделявшей его от странных существ. Он уже установил оптимальное расстояние, на котором лучше всего себя чувствовал. Находясь слишком далеко от клеток, Лейж не так полно испытывал пьянящее чувство, возбуждаемое протоксенусами. Придвигаясь к ним слишком близко, он начинал ощущать, какой утомительной становилась эта близость по прошествии двадцати — тридцати минут. На удачно найденном расстоянии он не только оставался бодрым и радостным, но и отмечал порой, как четко начинает работать мысль. А мысль билась над одним — остаются последние капли вещества, как сделать так, чтобы их хватило, чтобы фермент до минимума сократил период развития и через несколько часов отложенные протоксенусами яйца перешли бы в фазу имаго. Как?

Протоксенусы молчали. От них Лейжу просто становилось хорошо. Теперь он думал о странных созданиях

с теплым чувством, относился к ним лучше, чем к окружавшим его людям, он еще третировал их, называя уродцами, но всё чаще убеждался, что они сложнее и загадочней, чем кажутся.

Однажды, проводя у вольера больше часа, Лейж вдруг осознал, как необыкновенно ясно, логично стали складываться у него представления о механизме действия фермента. Недоставало, правда, какого-то одного, вероятно, самого главного звена. Он подгонял, подстегивал самого себя, незаметно приближаясь к вольеру, заглядывая в жуткие, огромные глаза, устремленные на него из-за сетки. Глаз было много. Они перемещались. Казалось: это не множество особей, а одно гигантское, всё время как-то изменяющееся существо воззрилось на него сотнями глаз. Чужих. Всё же очень чужих.

Стало покалывать в затылке. Лейж понимал, что, пожалуй, нельзя безнаказанно пододвигаться к ним всё ближе и ближе, но желание решить задачу, да и страх перед тем, что может произойти, когда пробирка с ферментом окажется пустой, — всё это было сильнее осторожности.

Мешала полутьма, в которой жила, медленно шевелилась и размножалась так сильно влияющая на него масса. Опытom было доказано, что излишек света вреден для протоксенусов, освещать их не разрешалось, однако Лейж пренебрег и этим, вынул из кармана фонарик, направил яркий луч на вольер и вдруг вскрикнул от резкой боли в голове.

Опомнился он уже стоя у двери. Погасил фонарик и быстро вышел из питомника.

— Готовьтесь к эксперименту! — Распоряжение было отдано Лейжем уверенно, теперь он знал, каков механизм действия фермента, как и когда фермент должен быть введен протоксенусам, и убежден был, что способ регулировать процессы, происходящие в их сложных организмах, у него в руках.

Но последние капли фермента были израсходованы. Лейж на глазах у всех разбил сосудик, так долго и так бережно хранимый им на груди, и испытующе посмотрел на Хука. Хук улыбнулся. Улыбка эта показалась Лейжу ехидной.

— Всё! Эксперименты закончены, — сказал Лейж, и не понять было, с удовлетворением он это произнес или с горечью. — Теперь протоксенусы дадут то, что вы от

них хотите, дадут потомство, способное через несколько часов превращаться в имаго.

Фермент оказал на протоксенусов желаемое действие. Полученное от них потомство — за их невероятную прожорливость Ваматр назвал их лимоксенусами, то есть голыми чужаками, — способно было летать и удовлетворяло главному требованию Хука: развивалось с поразительной скоростью, за несколько часов превращаясь во взрослую особь.

И около их вольеров Лейж проводил немало времени, однако, кроме отвращения к маленьким прожорам, ничего не испытывал. Тягостное ощущение потери не давало покоя молодому человеку. Он сдерживал себя, стараясь как можно реже заходить в питомник к протоксенусам. Протоксенусов подкармливали, поддерживали нужный для них режим, но дальнейшее изучение их фактически было приостановлено, так как Хук всё внимание теперь уделял лимоксенусам. Им и только им.

Хук стал оживленней обычного, деятельней, открыто радовался полученным результатам. Что же касается Лейжа, то он день ото дня становился мрачнее. Он и сам еще не понимал, чем вызвано было подавленное настроение, еще не разобрался в случившемся, когда узнал о затеваемом грандиозном эксперименте. Участие Лейжа в этом эксперименте Хуком не предусматривалось. На вопрос, почему его обходят, Хук ответил грубовато, но весело. Шутками ему отделаться не удалось: Лейж настойчиво требовал разрешения участвовать в опыте.

— Не рекомендую, Аллан, ей-богу, не стоит вам связываться с делами... Ну, как вам сказать... с такими, до которых вы, по всей вероятности, не большой охотник. Берите пример с доктора Ваматра. Он заинтересован главным образом в том, чтобы подтвердить свою гипотезу, а каким будет практическое применение лимоксенусов — для него не так уж существенно. И он прав.

— А зачем вам лимоксенусы?

— Мне? — Хук вздохнул. — Мне от них тоже будет мало пользы, если... если я не сумею осуществить один замысел. Простой, чертовски простой, но такой, который принесет нам деньги. Деньги! Проклятые деньги. Их нужно много, очень много, чтобы осуществить задуманное Ваматром. Добывайте снова свой фермент. Успеха вам, Лейж! Пока мы будем в экспедиции, вы сможете синтезировать следующие порции чудо-вещества, и...

— Нет.

— Что «нет»? Вы не хотите продолжать работу с лимоксенусами?

— Хочу, но только после того, как побываю в экспедиции.

— Это непременно условие, Лейж?

— Да.

— Ну что же, ваше дело. В таком случае прошу вас к четырем часам ко мне на совещание.

Совещание, на котором директор особо засекреченной лаборатории изложил план предстоящей экспедиции, кончилось поздно. Лейж ушел к себе в коттедж (все сотрудники Ваматра жили в парке, окружавшем лабораторию) и долго, до поздней ночи, играл на гармонике.

Для проведения эксперимента в распоряжение Хука предоставили три небольших острова, лежащих вблизи экватора. Радуюсь окончанию томительного ожидания, Хук быстро, в течение нескольких недель, подготовил всё необходимое для испытания способностей лимоксенусов.

На одном из трех островов он расположил небольшую группу людей, обслуживавших привезенные сюда вольеры с лимоксенусами, а на другом разместил штаб. Третий остров, самый большой, обильно поросший тропической растительностью, лежал на прямой, соединяющей первые два.

Подготовка шла непрерывно. Между островами сплавляли моторные катера, работала радиосвязь, помогавшая штабу следить, как продвигаются дела у группы, занимающейся лимоксенусами. Хук снабдил экспедицию всем необходимым, делая приобретения расчетливо, не допуская излишеств, принял нужные меры, чтобы эксперимент проводился втайне.

Хук уступил настойчивости Лейжа, взял его на острова, однако никаких заданий ему не давал. Биохимик был не у дел, всё время чувствуя себя лишним в экспедиции, и обычно не отлучался с острова-штаба. Даже не съездил на другие острова, посмотреть, что же там творится. Сидя на застекленной веранде стальной разборной башни, сооруженной для этой операции, Лейж видел цветущий остров, лежавший в нескольких километрах от него. Следующий, с установленными на нем вольерами, скрывался за горизонтом. Группа совсем крохотных островков-скал, торчащих из океана, виднелась вдаль, справа, а вокруг была вода. Только вода. Спокойный в ту пору,

океан мягко подкатывал к острову теплые волны. Прибрежная, ярко-белая полоса кораллового песка была пустынная, но вплотную к ней гигантской стеной зеленой жизни подходили джунгли. Время от времени к этому острову причаливали моторные катера и в них грузились со своими пожитками аборигены. С такого расстояния даже в сильный бинокль они казались Лейжу уж очень маленькими, пожитки их жалкими, и невольно думалось, а что их ждет на новом месте? Как освоятся они на чужих островах?..

Вскоре начались опыты. Десятки, сотни проб и попыток, то подтверждавших правильность расчетов, то ставивших под сомнение некоторые из них. К концу месяца Хук счел возможным пригласить гостей, и через несколько дней на острова прибыли три человека, одетые в легкие белоснежные костюмы, ничем не напоминавшие военную форму. Гидросамолет, доставивший почетных гостей, вскоре улетел. Пришвартовались к причалам моторные катера, стало тихо вокруг, и только стук двигателя походной электростанции, словно пульс экспедиции, давал знать о продолжавшейся подготовке.

Последнюю пробу провели рано утром, не посвящая в это гостей.

В шесть часов четырнадцать минут Хук дал команду:
— Включить генератор!

Через несколько минут ассистент, находившийся у вольтеров, сообщил по радио:

— Сигналы получены. Устойчивы. Характеристика сигналов соответствует заданной.

И тогда последовало распоряжение:

— Выпускайте!

На острове-штабе заработали все девять радаров. Это были очень чувствительные приборы, способные безошибочно определять, в каком направлении и с какой скоростью летит лимоксенус.

И радары не подвели. Один-единственный экземпляр, отобранный из созданных в лаборатории Ваматра тварей, был выпущен из вольтера и, точно следуя призывной волне генератора, полетел над океаном.

В рассчитанное заранее время он приблизился к острову, был засечен радарами, пойман ассистентами и принесен на командный пункт. Лимоксенус, заключенный в стеклянный бокс, лежал на ладони у Хука. Он и Ваматра смотрели на крылатое существо с гордостью, и

Лейжу показалось, что они уже торжествуют, предвкушая победу над беззащитным зеленым островом.

— Как точно всё получилось, — задумчиво произнес Ваматр, — Бичет мечтал именно о такой проверке. Уже тогда он призывал немедленно отправиться в экспедицию: «На острова, друзья, в Тихий океан! Ставя вольтеры с протоксенусами всё дальше и дальше друг от друга, мы определим, на каком расстоянии действуют их устройства, так замечательно привлекающие особь к особи».

— Идемте завтракать, — пригласил Хук и, обернувшись к Лейжу, внимательно посмотрел на его лицо. — Вы плохо себя чувствуете?

— Нет, нет... я чувствую... хорошо... чувствую.

Хук озабоченно покачал головой.

— Я попрошу доктора Рбала уделять вам больше внимания.

— Благодарю вас, совершенно не стоит. В тропиках я чувствую себя хорошо.

— Не в климате дело, Лейж. К сожалению.

К завтраку приглашены были и гости. Покончив с едой, уже за кофе, Хук объявил о готовности его группы к эксперименту. Эксперимент решено было провести не откладывая — утром следующего дня.

Маленький лагерь, укрытый душной тропической ночью, уснул. Только Лейжу не спалось. В сборных коттеджах, привезенных с континента, было прохладно — работали кондиционирующие установки. В помещении не досаждали замучивающие в тропиках насекомые. Временное жилье было комфортабельным, даже уютным (Хук умел и это), но ночь Лейж провел особенно беспокойно, несмотря на полученное от врача лекарство. Он то зажигал, то тушил бра, укрепленное над его кроватью, много курил, вставал, несколько раз брался за гармонику, но оставлял ее.

За два часа до восхода солнца дежурный по экспедиции доложил Хуку о последней метеосводке, принятой по радио, и Хук, посоветовавшись с Ваматром, отдал распоряжение о проведении решающего опыта.

У экватора во все времена года солнце восходит в один и тот же час — в шесть. К этому времени на наблюдательном пункте собрались не только участники эксперимента, но и гости.

В начале опыта команды были даны такие же, как и накануне, но затем... На этот раз открыты были все

вольеры. Через положенное, точно определенное в предварительных исследованиях время над цветущим островом появилась тучка. Маленькая, не столь грозная, как затемняющие солнце скопления саранчи, иногда вдруг возникающие над просторами Северной Африки, и в этот момент была подана команда, решающая, такая, которую накануне не передавали:

— Выключить генератор!

В хорошие бинокли наблюдатели увидели, как тучка начала редеть и в то же время приборы, установленные на эвакуированном острове, передали сигналы, говорящие о том, что лимоксенусы осели на остров.

— Ну вот и всё, — с удовлетворением заключил Хук. — Посланные генератором волны привлекли лимоксенусов, и они, обманутые его призывом, стали неудержимо стремиться к нему, а как только этот призыв кончился, потеряли ориентировку и попадали на средний остров. На сегодня всё. Пройдет двенадцать часов, лимоксенусы отложат сотни миллионов яиц, и... и, если будет угодно, через тридцать шесть часов мы посмотрим, как поработали их потомки.

Ранним утром следующего дня все участники экспедиции снова собрались на командном пупкте. Подопытный остров дымил.словно над жерлом вулкана, над ним вился едва заметный, сероватый поток. Он то редел, то снова становился гуще — уже вылупившиеся лимоксенусы роились над островом. Они взмывали вверх на десятки метров над самыми высокими пальмами, кружились там, будто выбирая жертву, и пикировали на джунгли. Тысячи других взлетали им на смену и через несколько минут тоже обрушивались на сочную растительность.

Часам к четырем дня чудовищный гейзер сник, и уже без бинокля было видно, как изменился остров.

Хук спешил: в шесть часов вечера солнце подойдет к горизонту и на остров быстро, по-южному, нагрянет тьма. Катера подошли к подопытному острову в пять. Четверти часа хватило участникам экспедиции, чтобы убедиться в невероятной прожорливости лимоксенусов, — на острове не осталось ничего живого.

Хук не решился допустить кого-либо на сушу, покрытую слоем всё пожравших и уже погибающих тварей. Из яиц, минуя личиночную стадию, лимоксенусы сразу образовывали нимфу, крылатую, активную, способную поглощать любые органические вещества. Она поспешно и жад-

но набирала запасы, стремясь превратиться в имаго, но, не стимулированная ферментом, погибала.

Остров был побежден, мертв и покрывался слоем умирающих врагов. К заходу солнца ветерок уже стал доносить до наблюдателей приторный запах распада, и катера медленно удалились от места беззвучной войны.

Лейж не отрывал глаз от бинокля. Из серой, едва шевелящейся массы торчали только вышки с приборами экспедиции. Стальные, они не пришились по вкусу прожорливой ораве, брошенной на остров волей Хука. Он мог быть спокоен: приборы и аппаратура, отмытые, почищенные, вновь отрегулированные опять годны были в дело. Лейж перевел бинокль на самую большую вышку. Там, на верхней площадке, он увидел едва различимые в лучах уходящего за горизонт солнца скелеты. Люди?.. Неужели люди?.. Может быть, те, что не успели эвакуироваться? Они приползли на эти вышки в надежде спастись от всепоглощающего многомиллионного чудовища, выпущенного на их родные острова...

Когда Альберт Нолан кончил свой рассказ, было уже около полуночи. В тихом номере пансионата ничего не изменилось, но Крэлу вдруг стало холодно. Казалось, едва проглядывавшие в ночи белые пятна снеговых вершин вторглись сюда и нарушили уют. Нолан, видимо, молчал уже несколько минут, а Крэл всё еще не мог произнести ни слова. Машинально он потянулся к бутылке с ликером, не глядя налил его не в рюмку, а в чашку от кофе и залпом выпил.

— Они лезли на вышки... вероятно, из последних сил, уже терзаемые мерзкими тварями. — Крэл закашлялся, долго не мог перевести дыхание и с трудом продолжал: — Тянулись вверх, к небу, к воздуху, пока еще не насыщенному брошенной на их землю смертью. Нолан, да что же это?!

— Это... это один из вариантов практического применения открытия... Такого, которое не делает нашу планету лучше.

— А Лейж?..

...Хук прилагал немало усилий, стремясь превратить Лейжа из противника в единомышленника, но когда по-

нял, что это не удастся, стал соображать, как заставить Лейжа открыть секрет получения фермента. Без фермента рушилось всё. Фермент и только фермент позволял получить от протоксенусов новый вид — лимоксенусов, обладающих заранее заданными свойствами. Лимоксенусы отвечали многим требованиям. Полет их легко управлялся генерируемой волной, они, на редкость прожорливые, практически неистребимые, уничтожив всё живое, погибали сами, что тоже было очень важно. Но это поколение не способно было дать потомства. Получать новые и новые полчища стервятников можно было только от протоксенусов и только при помощи фермента, привезенного Лейжем.

— Лейж, поймите, — убеждал Хук, — вы начали безнадежную борьбу. Зачем вам это? Вспомните вашу собственную оценку Человека. На площади Палем вы очень рьяно доказывали, что неправ Нолап, идеализирующий людей. Судя по всему, вы склонны считать, что человек не изменился за тысячи лет и корочка, скрывающая в нем зверя, всё еще слишком тонка.

— Вы пользуетесь этим, а я хочу, чтобы она становилась плотнее.

— Усилия одиночек ни к чему не приведут, Лейж.

— Неправда, нас много, а вас...

— О, мой дорогой, ваш трезвый ум дает осечку. Вы не учитываете качественную сторону. Да, противников у нас много. Очень много, но они, по счастью, не располагают средствами, а значит, властью, и вынуждены подчиняться нам. Мы творим историю, создаем, крепим цивилизацию и хотим защищать ее от тупой массы, готовой, подобно лимоксенусам, поглотить добытое самыми инициативными и энергичными людьми. Масса способна сожрать всё и ненавидит всех, кто умен, кто преуспевает, кто деятелен. В своем тупом, животном стремлении к сытости и мнимому благополучию она слепа, инстинктивно стремится ухватить лучшее из того, что уже отвоевано у природы. А сама... сама способна только увеличивать энтропию. Чем же сдерживать эту, всегда податливую к подстрекательству массу? Страхом.

— Перед чем?

— Страхом перед уничтожением. Надо пристально следить за всем, что вырастает бессмысленно и развивается слишком бурно, за всем, способным захлестнуть и погубить.

— Кого?

— Тех, кто борется с энтропией. Погубить нас с вами. Деятельных и мыслящих.

— Так. Значит, нужно уничтожать?

— Да.

Лейж вскочил, и Хук вдавился в кресло. На какой-то миг его загорелое лицо, словно выкованное грубовато, но умело, стало темным, испуганным. На миг. Решимость, даже отвага вернулись к Хуку быстро: Лейж, высокий, изящный, сильный и ловкий, не собирался ударять. Он внимательно, будто попав сюда впервые, стал оглядывать кабинет.

— Почему у вас здесь нет портрета?

Хук не понимал:

— Какого портрета?

— Гитлера.

Тогда вскочил Хук. Пружинистый, мускулистый, он потянулся через стол к Лейжу и выговорил четко, зло:

— Молодой человек, когда вы еще пачкали пеленки, я воевал против фашизма.

— О, в таком случае всё это еще страшней. Наша игра зашла слишком далеко. Пора сделать последний ход. Начиная игру, я стремился проникнуть в неведомое, хотел сам, даже заплатив очень дорогую цену, взглянуть в глаза существа, порожденного далеким миром. Пока это не удалось. У вас, Хук, другие цели. Но я готов и к ответственности. Вы помните мои слова? Я готов и сейчас. Да, я причастен к убийству тех несчастных аборигенов, чьи кости остались на вышках радарных излучателей. Я, конечно, не знал, сколько именно людей находилось на острове, сколько было вывезено, — словом, полностью ли была осуществлена эвакуация, но я...

— Лейж, успокойтесь. О каких аборигенах идет речь?

— Ах, вы не знаете! Ничего, во всем разберутся те, кому следует разобраться. Я сам намерен предстать перед судом, оповестив обо всем, чему был свидетелем, не утаив и своей вины, конечно. Это мой последний ход, Хук.

Лейж вышел из кабинета Хука и направился прямо к воротам парка. Он понимал бесполезность такой затеи, но не пойти к воротам не мог. Не раз он выходил из них, совершал длительные прогулки и даже не замечал, следили за ним люди Хука или нет. Но он никогда не пытался уехать в город, соблюдая договоренность, всегда возвращался в лабораторию, а теперь... Хук узнал о его

намерении. Он сам сказал Хуку. Зачем? Глупо, конечно. Надо было, не говоря ни слова, немедленно отправиться в столицу, явиться... Куда?.. Нет, прежде всего надо скрыться. Где? Подвести друзей?.. Ничего, друзья, готовые к борьбе, найдутся. Только нельзя показывать связи с Ноланом, только бы Хук не узнал о его подарке... Хук. Он может всё... «Случайно свалившийся карниз. Тонут вот еще люди. Тонут. И при самых различных обстоятельствах». Черт с ним, с Хуком, с его угрозами. Сейчас важно одно — пройти через ворота...

От ворот Лейж шел еще быстрее, чем к воротам. В вестибюле, в коридорах ему встречались сотрудники — люди с окаменевшими, дикими лицами, смотревшими на него, как на покойника, почему-то быстро идущего по лаборатории. Может быть, это только казалось... Во всяком случае, здесь, среди хорошо подобранного Хуком штата, он ни с кем не сблизился, не смог подобрать верного помощника, готового рискнуть ради него, ради долга и справедливости.

Лейж заперся в своем кабинете-лаборатории.

— Соедините меня с городом.

— Вам город? Простите, вас не велено соединять с городом.

— Тогда соедините с директором.

— Пожалуйста.

— Говорит Лейж.

— Я вас слушаю.

— Вы не имеете права держать меня здесь.

— Вы приняли игру без правил, Лейж.

— Что вы хотите?

— Фермент.

— Я не могу его вам дать.

— Не хотите.

— Не могу.

— Тогда будем продолжать игру. Я еще не сделал свой последний ход. Пользуйтесь этим, Лейж. Очень удачно получилось, что вы сразу прошли к себе. В вашем кабинете есть всё необходимое для работы.

— Поймите...

— Не перебивайте меня. Время разговоров прошло. Надо действовать, надо платить проигрыш. Если чего-либо вам недостает, вы можете потребовать. В ваше распоряжение будет предоставлено всё необходимое.

— Это чудовищно.

— Вы шли на всё, стараясь проникнуть в мою тайну. Не забывайте об этом... Итак?..

— Я не могу.

— Это окончательное решение?

— Да.

— Тогда, Лейж, я делаю последний ход.

— Что это значит?

— Я уезжаю. Вас оставлю Рбалу. Как он заставит вас быть сговорчивей, я не знаю, но, поверьте мне, он большой специалист в своем деле.

Два человека сидели молча, каждый в своем кабинете. У каждого телефонная трубка была крепко, до боли, прижата к уху. Они слышали дыхание друг друга, легкий фоновый шум и не могли произнести ни слова. Ни один, ни другой. Сколько это продолжалось?.. Минуту, три?.. Первым заговорил Хук. Тихо, почти шепотом:

— Аллан... я не хочу... понимаете, не хочу делать этот последний ход... Я привык к вам. Вы мне нужны и... Ну?.. Скажите «да»!

Лейж ответил тоже тихо. Голос у него хрипел, и он с трудом выдавил:

— Я не могу. Я не знаю секрета Нолана.

Хук положил трубку. Лейж не оставлял свою. С ней, тоненькими проводами связанной со всем миром, расставаться было страшно. Из оцепенения его вывел шум: кто-то плотно закрывал ставни. Лейж бросился к двери. Она была заперта.

Закрылись ставни на последнем окне. Лейж схватил тяжелый октометр и запустил им в окно. Звон стекла отрезвил его, и в этот момент зазвонил телефон. К столу Лейж подходил медленно, крадучись, он то протягивал к трубке руку, то отдергивал ее и наконец решил:

— Слушаю.

Голос Хука звучал твердо, деловито:

— Я уезжаю через двадцать минут. Это всё, что я могу вам подарить. Через двадцать минут вы не будете иметь никакой возможности связаться со мной, и вам придется или выдать фермент или иметь дело с Рбалом. С ним, и только с ним.

Теперь, не ответив, бросил трубку Лейж.

Он подошел к окну, потрогал пальцами острые крошки разбитого стекла, вынул гармонику и, опершись плечом о раму, почти касаясь лбом оконной решетки, стал играть.

Нестерпимо болела голова. И захотелось к протоксенусам. Захотелось так, как никогда прежде. Его не пустят к ним... Теперь их осталось мало. Они уже не так утешают его, их влияние ослабло... Бедные, холят ли их, как раньше... А около них утихла бы боль в голове, стало бы легко, радостно... Мысль о протоксенусах мешала играть, и играть было трудно. Многие фразы он повторял по нескольку раз, с невероятным усилием добиваясь четкости, правильного, нужного сейчас чередования звуков. Когда он переставал играть, ночная тишина наваливалась пугающей, властно. Чувствовалось, что этой тишиной он накрепко отгорожен от тех, кто мог бы помочь.

Затрещал телефон, и Лейж вздрогнул — звонить мог Рбал. Он, и только он. «Начинается. Вот оно, последнее испытание. Достанет ли сил, мужества? Надо с достоинством встретить палача. Надо... А что он измыслит?.. Не так страшны пытки, как ожидание пыток...»

— У телефона Лейж.

— Доктор Лейж, говорит Рбал. Я по поручению шефа. Вы приняли решение?

— Да, я сказал о нем Хуку.

— Это решение нас не устраивает. Соглашайтесь приступить к работе над ферментом или мне придется заставить вас поторопиться с этим делом. И вот еще что, прекратите эту дурацкую игру на гармонике. Мне начинают не нравиться ваши штучки.

— Да как вы смеете!

В трубке раздался хохот, и Лейж швырнул трубку. Она не попала на аппарат, скатилась со стола, болталась на белом шнуре и хохотала. Лейжа встревожила не только угроза Рбала применить силу, но и разговор о гармонике. Не сыграно было еще много. Но что они могли поделать? Ворваться сюда, отобрать? Смогут, всё смогут. Лейж подбежал к окну, заиграл, но играл нечетко, сбивчиво, нервничая, вновь и вновь повторяя сыгранное и частенько озираясь на трубку. Казалось, она продолжала хохотать, раскачиваясь на шнуре. Лейж не выдержал, подбежал к столу и рванул телефонный шнур.

— У вас уже сдают нервы. Рановато, Лейж. — Голос Рбала слышался откуда-то сверху.

Лейж догадывался, что его кабинет напшигован микрофонами, уверен был, что каждое его слово улавливалось и даже фиксировалось на пленке, но он не подозревал о существовании динамиков.

— Да, Лейж, рановато. Всё только начинается.

Лейж огляделся по сторонам, вдруг почувствовал себя голым, совершенно беспомощным, как никогда в жизни. Вот он стоит посреди комнаты, и на него, несомненно, направлены объективы телевизионных устройств. Каждое движение контролируется, всё прослушивается. Но это еще не всё! Сдаваться рано! Лейж припал губами к гармонике и продолжал играть. Играл уверенней, лучше, чем до того, играл, пока из всех динамиков не рывкнул Рбал:

— Перестаньте дудеть, Лейж! И отвечайте мне: дадите фермент или нет?

— Нет.

Лейж снова поднес гармонику к губам, быстрее прежнего сыграл несколько фраз, хотел уже перейти к следующим, очень важным, и невольно вскрикнул от внезапной боли под лопаткой. Первой была мысль: из какой-то щели в него выпущена стрела. Он даже схватился рукой за спину, стремясь дотянуться до раненого места, но в этот момент кинжальная боль резанула бедро. Лейж обернулся, всматриваясь, откуда могли вылетать эти невидимые стрелы, и вскрикнул от нового болевого удара. Боль становилась острее и острее, тело начинало зудеть и чесаться. Кабинет наполнился шумом, издаваемым динамиками, в этом шуме чудились звуки музыки, похоже, играла скрипка... Ваматр?.. Играет или нет?.. Неуловимая и вместе с тем очень будоражающая эта музыка мешала больше всего. Казалось, умолкни динамики — и можно будет понять, откуда враг ведет наступление. Боль в шее вспыхнула с такой силой, что он не сдержался, закричал, вскинул голову и увидел...

Над ним летал лимоксенус.

Лейж вскочил на стол, стоявший в углу комнаты, крепко прижался спиной к стене, съежился, присел на корточки и заиграл на гармонике.

— Прекратите!

Лейж не отвечал.

— Перестаньте играть. Мы поняли, в чем дело. На островах вы не играли, зная, что сигналы не дойдут до сообщников. Сейчас наша аппаратура улавливает волны, посылаемые вашей чертовой игрушкой.

Лейж оставил гармонику.

— Вы обречены, доктор. Фермент или...

— Я не могу...

В кабинете уже летало не меньше десятка лимоксенусов. Как ни отбивался от них Лейж, они продолжали жалить его, находя то одно, то другое доступное им место. Лейжу удалось раздавить двух-трех особенно нахальных и неосторожных, но с остальными поделаться ничего не удавалось. От укусов горело тело, вспухало лицо, шея. Ногам доставалось особенно. Огневая боль шла от щиколоток к спине. Раздавленных им тварей набралось много, но откуда-то, из непонятно где существующих щелей и отверстий влетали новые и новые посланцы Рбала.

— Фермент, Лейж, — гремел голос из динамика, — или я выпущу их на вас через вентиляционный канал.

— Я не знаю, как его синтезировать.

— Ложь!

— Я получил его от Нолана... Немного, несколько граммов... я не знаю секрета...

— У меня эти штучки не пройдут. Признавайтесь!

— Я не умею синтезировать!

Лейж в минуту отчаяния вдруг подумал, что его ослабевший голос не услышит палач, захотел громче выкрикнуть это «нет», но не нашел в себе сил. Боль, дикая, нестерпимая, вызываемая отвратительными существами, парализовала. Мысли путались, хотелось ухватиться за какую-то одну — спасительную, но такой не оказалось. Мешали думать возникавшие в памяти рассказы о пытках. Лейж никогда не мог без содрогания и страха читать описания пыток, особенно применяемых к людям, которые действительно ничего не знали и поэтому ничего не могли сказать своим палачам.

Что-то выкрикивал Рбал, наставлял, требовал. Вероятно, грозил...

— Не умею, — всё тише отвечал Лейж...

Сколько теперь стало лимоксенусов? Не так уж много. Но Рбал запустит еще и еще... А если... если была бы возможность соединиться сейчас с Хуком и сказать ему: «Я не умею. Не умею!» Хук давал двадцать минут... Поверил бы Хук или нет?.. Сказать Рбалу, попросить его позвонить в город к Хуку... Нет, надо продолжать сигнализировать друзьям...

Лейж опять, уже распухшими губами припал к гармонике и кодировал слова прощального привета, призыв не прекращать борьбу.

Последний аккорд нес сообщение о ворвавшейся к нему туче лимоксенусов.

Прошли все сроки, отпущенные Крэлу профессором Овербергом, и настало время принять окончательное решение. Собственно говоря, Крэл принял его еще в Асперте, узнав о судьбе Аллана Лейжа. Теперь его заботило другое — как именно осуществить задуманное.

Уже несколько месяцев он вел опыты вхолостую. Тысячи проб, кончавшиеся ничем. Нужной была одна-единственная точка, найденная в памятное яркое утро, а Крэл, словно и не существовало ее, делал новые попытки, умышленно уходя дальше от найденного. До совещания у Оверберга, на котором Крэл не рассказал о полученных результатах, в его работу никто не вмешивался. Так могло бы продолжаться и дальше — дирекция считала необходимым предоставлять ему наибольшую самостоятельность, — но Крэл начал сам привлекать внимание к своей работе. Теперь и заведующий отделом и даже Оверберг были осведомлены о каждой серии его опытов, знали, что ни один не дает искомого результата.

Эксперименты Крэл ставил интенсивней прежнего, стараясь нагромождать такую гору данных, в которой докопаться до набора цифр, составляющих код излучения, было бы практически невозможно. Оставалось придумать, как поступить с записью кода, выданной счетно-решающим устройством в ночь открытия. Запись не должна быть обнаружена. Изъять ее из пачки документов, подобранных в хронологическом порядке? Нет, пробы будет слишком замечен. Ясно станет, что выпадает какое-то звено, что не выверена группа цифр. Опыты могут повторить, ведя поиск в этом направлении, в этом пропущенном диапазоне, и, конечно, наткнутся на нужное сочетание.

Крэл решил просмотреть данные трехмесячной давности, открыл свой личный сейф, вынул папку, почти не глядя нашел в ней нужную страницу. Вот колонка цифр, напечатанных в определенной последовательности. Всё выглядит просто и стройно, но, как в формуле белка, стоит только чуть-чуть изменить порядок расположения аминокислот — и свойства белка станут совсем иными, так и здесь, достаточно переставить... Что такое?! Крэл вновь перечитал столбцы, относящиеся к кульминационному моменту генерации. Почему же после трех семерок стоит 832? Ведь это абсурд. Найдено было 717. Такие

похожие, совсем немного отличающиеся друг от друга трехзначные числа — 777 и 717. И дальше, почему 618, когда должно быть 648? А затем всё сдвигается непонятно куда.

Крэл подошел к гяалоскопу, быстро ввел в программное устройство группы, записанные в протоколе. Зеленого пика в приборе не получилось. Тогда он запер дверь, выключил телефон и принялся тщательно обследовать сейф. Сейф личный, обычно никто его не открывал. Что же могло случиться? Похоже, что не всё лежит на своих местах, — будто кто-то осторожно, стараясь не нарушить порядок в чужом хранилище, пытаясь не вызвать подозрений, брал папки, ставил их на места, но ставил не совсем так, как это делал хозяин сейфа. Может быть, только показалось? А код? Забыть последовательность групп он не мог: 777—717—648...

Установка получила задание генерировать излучение по этому, хорошо запомнившемуся набору, и вскоре Крэл увидел на экране гяалоскопа яркий зеленый пик. Устойчивый, спокойный. Как тогда... Вот сейчас появится неожиданно Альберт Нолан, не снимая плаща и шляпы сразу пройдет к прибору, с досадой скажет: «Всё-таки получилось!»

Крэл опасливо глянул на дверь, быстро отключил установку, не забыв уничтожить программирующую карточку с кодом, и запертал папку в сейф. Кто копался в сейфе? Кто мог подменить страницу? Значит, код стал известен. Кому? Естественным было желание поскорее увидеть Нолана, но Нолан был в отъезде.

Субботы Крэл дождался с трудом. День выдался не по-осеннему жарким, в электропоезде было душно, не терпелось поскорее очутиться в пансионате. Похоже было, что поезд никогда не взбирался так долго, никогда путь не был таким надоедливым. Читать не хотелось, не успокаивала, как обычно, медленно разворачивающаяся панорама далеких, затянутых тонкой дымкой гор. Волнение, не покидавшее Крэла всю неделю, становилось нестерпимым, но истинную причину его Крэл понял только тогда, когда снова увидел застекленную автобусную станцию.

Подошел автобус в Асперт, но Крэл не сел в него, — Инсы на автобусной станции не было. До автобуса на Рови оставалось несколько минут, а она не показывалась. Если не приедет с этим поездом, значит...

К станции подрулил еще один автобус — это был последний на Рови. Крэл всматривался в толпу пассажиров, стараясь не пропустить так хорошо запомнившийся стиранный комбинезон, сразу полюбившуюся смятую, небрежно сидящую на голове кепку. Ни комбинезона, ни кепки не было. Автобус заполнялся быстро. Еще несколько минут, и он тронется. Не увидеть Инсу было невозможно. Теперь, не встретив ее, Крэл особенно остро почувствовал, что, несмотря на тревогу, вызванную необходимостью принять окончательное решение, несмотря ни на что, он все эти дни не переставал думать о ней, жил надеждой на встречу. Почему же ее нет?.. Взревел дизель-мотор, пахнуло керосиновым перегаром, последний запоздавший пассажир вбежал в автобус, автобус тронулся, и тут Крэл увидел Инсу. На ней не было кепки. Она сидела у окна и смотрела прямо перед собой, вероятно не замечая, что происходит на станции, не видя и его.

Крэл вскочил в машину в тот момент, когда уже захлопывались автоматические двери, и медленно, поминутно прося прощения, стал пробираться по заполненному пассажирами проходу. Теперь он стоял рядом с ней, держась за поручень. О чем она думала? Совсем забыла о встрече. Не только не искала его, но не заметила мечущегося по станции, вглядывающегося в проходящих... Зачем он едет?.. Вернуться из Рови уже нельзя будет, не удастся сегодня попасть в Асперт... А ведь так нужно поговорить с Ноланом!..

Большинство пассажиров вышло на ближайших станциях, освободились места.

— Разрешите?

— А, это вы. Здравствуйте. — Инса ответила спокойно, будто знакомы они долго и отношения у них давние, установившиеся, но вдруг забеспокоилась: — Куда это вы едете? Вы ведь всегда... Вам же в Асперт.

Крэл не смотрел на нее, чувствуя себя нашкодившим мальчишкой.

— Мне показалось... Впрочем, всё равно... Я не могу без вас, мне нужно, ну вот просто необходимо побыть с вами.

— Что вы такое говорите!

Крэл обернулся к пей и увидел, что она озирается по сторонам. Ему тоже стало неловко — признание, вырвавшееся у него здесь, в переполненном автобусе... Действи-

тельно глупо. Пожалуй, пошло. Она может подумать, что он несдержан, вообще готов бежать за первой приглянувшейся девчонкой. Как уверить ее, что встреча с ней и в самом деле ему дорога?

Инса отвернулась к окну, и Крэл не мог смотреть на нее, опасаясь вспышки неудовольствия. А очень хотелось заглянуть ей в глаза. Именно сейчас, сию минуту. Но не удавалось. Искоса поглядывая на Инсу, он видел только мочку уха и щеку. Смуглую и грубоватую. В закатных лучах на ней просвечивал тонкий персиковый пушок. Автобус потряхивало на проселочной дороге, Крэл невольно касался ее бедра, ощущая ее тепло. Надо было немного отстраниться, отодвинуться к краю сиденья, но почему-то не доставало сил сделать это простое движение.

— Зачем вы сели в этот автобус? — спросила Инса тихо, не поворачиваясь, и Крэлу показалось, что она не только спрашивает, но и размышляет вслух. Может быть, и себе она задает вопрос: «Зачем он едет со мной?» Как и в первую их встречу, в ее словах, в интонации, с какой она эти слова произносила, чувствовался второй, скрытый смысл.

Крэл не ответил и поступил правильно. Инсе, видимо, понравилась его застенчивость.

— Как вы доберетесь обратно? Этот автобус не вернется: шофер живет в Рови, а попутных машин почти никогда не бывает. Зачем поехали?

Это уже прозвучало мягче, даже заботливо.

Крэл пожал плечами.

— Очень хотелось проводить вас... Побывать немного с вами.

Крэл проводил ее до дому. У калитки она остановилась. Крэл не раздумывал над тем, как он проведет ночь в чужом поселке. Ему просто было хорошо. Хорошо оттого, что стоит около нее, смотрит ей в лицо. Ничем не примечательное и чем-то привлекающее. Приятно было болтать с ней, и время шло незаметно, легко...

— Поздно уже.

— Вы устали, Инса, а теперь из-за меня поздно ляжете.

— Я держусь всю неделю, а вот в субботу... Ну ничего — отдохну и снова буду бодрой. Как и всегда.

— Надо найти работу полегче.

— Легкой работы не бывает, а то, что хочется, не дается в руки.

Крэл стал горячо и вместе с тем довольно путано рекомендовать ей, как бы следовало изменить жизнь, сделать ее лучше, интересней. Инса кончиками пальцев коснулась его плеча и, улыбаясь, остановила. Отвечала она трезво, деловито. Что-то не по летам мудрое было в ней, рассудительное, даже покровительственное, но совсем не обидное.

— Вы хотите добра мне, — закончила Инса. — За добрые слова спасибо. Только вот почему... почему вы так участливы, мне непонятно.

— И мне тоже.

Оба рассмеялись. Непринужденной, естественной — по крайней мере, так показалось Крэлу — была ее реакция на это признание.

Инса стала серьезней и сказала:

— Вот вы смеетесь, забыли сейчас обо всем неприятном, а вам ведь самому трудно, тревожно.

— Вы, оказывается, наблюдательны. Мне и в самом деле трудно. — Крэл взял ее за руку, но она мягко высвободила свою, маленькую, немного шершавую и крепкую. — Очень трудно бывает, когда от твоего решения зависит судьба, а то и жизнь многих людей. Тяжело бывает, когда подумаешь, что сделанное тобой кто-то может использовать во зло.

— Зла еще много на свете. — Инса сказала это так, словно речь шла о поросшей вокруг траве, понимая, как просто всё в жизни и как сложно. От ее обыденных, житейских примеров у Крэла почему-то стало легче на душе.

Вечер был теплый, прозрачный, хотелось, чтобы он длился без конца. Говорить с ней было хорошо, хорошо было и молчать.

Молчание она прервала тихой просьбой:

— Я пойду.

Крэл протянул к ней обе руки, но вдруг вскрикнул и с силой ударил себя по шее.

— Что с вами?

Крэл не ответил. Задрал голову, он с ужасом смотрел вверх, словно искал что-то над собой, схватывал воздух руками, отмахивался. В свете уличного фонаря Инса увидела стайку палетевших комаров, кружащихся над ними, и не могла понять, почему Крэл вскричал так, будто в шею ему вонзили нож.

— Вы настолько боитесь боли?

— Нет, нет. Конечно, не боюсь, но я... я вспомнил... Вспомнил страшный случай. На миг мне показалось... Впрочем, не надо об этом. Хорошо? Простите, Инса.

Она взяла его за руки, немного привлекла к себе и как-то само собой получилось, что он припал губами к ее немного обветренному тугим губам.

Через миг она была по ту сторону калитки.

— Нет, нет, мне пора.

Крэл побрел к автобусной остановке. Там было тихо, пустынно. Одиноким фонарь, освещал площадь скупое, и Крэл не заметил большой «крейслер», стоявший под деревьями.

В Асперт Крэл не попал и в следующую субботу. Он уже садился в автобус, когда почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.

— Инса?! — возглас был радостный и вместе с тем удивленный. Крэл спрыгнул с подножки.

— Сегодня вы так рано в Асперт? Вы же обычно ездите автобусом, который уходит после моего. Не захотели подождать? — Крэлу послышался укор в этих словах Инсы.

— Я спешил. — Крэл замялся. — Мне надо... надо поглядеть в Асперте с человеком, который...

— Я не хотела вас задерживать, не думала, что вы выйдете из автобуса. Ах, как худо получилось!

Асперт был забыт. Вышло так, что и без поездок в горы болезнь Крэла не ухудшалась, а самочувствие, как он считал, стало великолепным. Иногда повышалась температура, но теперь он не обращал на это внимания. Тревога его охватывала только в институте. Он пытался даже что-то предпринять, но ничего толкового придумать не мог. Нолан ушел из института. Домашний его телефон не отвечал. Наконец Крэл всё же дозвонился, но ему сказали, что профессор Альберт Нолан здесь больше не живет.

Крэл не мог разобраться в случившемся. Как же всё это произошло?

В последние месяцы он ни разу не пропустил возможности побыть с Ноланом в Асперте, ценил каждую встречу с ним, бывало, всю неделю жил воспоминаниями о вечере, проведенном в уютном пансионате, а когда такая встреча стала особенно нужной, он оказался в Рови... Делалось тоскливо от этих размышлений, и тогда особенно тянуло к Инсе.

Однажды вечером, когда он выходил из института, к нему подошел незнакомый человек, сунул в руку записку и скрылся. В записке значилось:

«Дорогой Крэл!

Почему Вы больше не бываете в Асперте? Я так ждал Вас. Очень нужно было встретиться. Пожалуйста, приезжайте в субботу.

Ваш Альберт Нолан».

К концу недели Крэл понял, как ему трудно придется на автобусной станции и, боясь смалодушничать, выехал в Асперт в пятницу.

Долгий субботний вечер он провел на веранде, стараясь не пропустить приезд Нолана. К полуночи стало холодно. Крэл решил, что встреча так и не состоится, с тоской всматривался в темноту, пытаясь разглядеть внизу, в долине, огоньки Рови. Огней поселка он не увидел. Они мерцали только в ясные, кристально тихие ночи. Что там? Ждет? Конечно, ждет. Очень нужная теперь и до сих пор непонятная... А здесь, а он здесь... Зачем? Ах да, подмененный протокол, необходимость лгать, скрывать... Вокруг совершается что-то отвратительное. Гадкое и страшное. Почему нельзя вот так, просто беззаботно жить в тихом, увитом глициниями домике, наслаждаться жизнью чистой и бесхитростной? Почему столько грязи вокруг и обычные человеческие чувства, тяга к любимому существу омрачены необходимостью ввязываться в дела, кончающиеся муками и смертью?

Крэл ушел с террасы, отчаявшись встретить Нолана, и пошел к себе в номер. Открыв ключом дверь, Крэл стал искать кнопку. Когда вспыхнул свет, Крэл отшатнулся — в кресле сидел Нолан. Как же он попал в закрытую комнату? Волнение и подозрительность Крэла улеглись, когда он почувствовал тепло сухой, крепкой руки, пожавшей его руку.

— Я не приезжал в те разы... Получилось так...

— Не надо, Крэл. Будьте искренни. Со мной это можно. Пожалуй, нужно. А кроме всего прочего, я ведь тоже был молод, увлекался...

Нолан умолк, набивая трубку, потом долго разжигал ее и наконец, не отрывая глаз от огонька, не глядя на Крэла, спросил:

— Вам хорошо с ней?

— Да. — Это «да» было сказано тихо, едва слышно, по сrazу, без заминки, с такой откровенностью, на которую Нолан и не рассчитывал.

— Как бы я хотел, чтобы вы были счастливы!

Крэл не сомневался в доброте Нолана, но в этом пожелании, выраженном, видимо, от души было нечто тревожное. Ощущение это усилилось, когда он услышал совершенно неожиданное:

— Крэл, у нее есть ладанка?

— Что?!

— Ну, амулет какой-нибудь, большой-большой брелок или нечто в этом роде. Вероятно, она носит его на шее. Ах, как вы ненаблюдательны и доверчивы! Ну, не буду, не буду... Только... только при случае постарайтесь установить, что находится в этой ладанке.

Крэл засыпал Нолана вопросами, однако Нолан решительно отказался развивать эту тему.

— Я ждал вас. Как обычно по субботам. Мне так нужно было посоветоваться с вами.

— Со мной?

— Вы удивлены? — это было сказано строго, даже чуть резко, и Крэл в смущении опустил голову.

— Спасибо. Я думал о себе хуже, чем вы обо мне.

— Я уже немного знаю вас, Крэл. Узнать человека трудно. Почти невозможно, а вот верить — можно. И нужно. Я верю в вас, Крэл, и только хочу... хочу, чтобы вы были гораздо сильнее.

— Для чего?

— Для борьбы.

Крэл встал.

— Мне борьба не страшна. Поймите и поверьте этому. Но мне, — Крэл перешел на резкий шепот, — мне она отвратительна. Противно всё: ложь, ухищрения, тайные сделки и истязания... Я верил в науку, приобщался к ней благоговейно и мечтал о жизни полной, чистой, о радостях, доступных и человеческих, а при первом же успехе...

— И всё же, Крэл, надо, просто необходимо быть сильнее в жизни, потому что такова жизнь.

Нолан ответил медленно, спокойно. Спокойствие это передалось Крэлу, и он даже почувствовал неловкость от своей внезапной вспышки. Он уже не вспоминал о минутной слабости, но о ней помнил Нолан, не считая ее минутной.

Крэл начал издалека, обстоятельно описывая потрясшее его событие, подробно рассказал, какое впечатление на него произвела подмена протокола, и закончил вопросом:

— Кто мог проникнуть в мой сейф?

— Я открыл ваш сейф. В то же утро, когда мы в первый раз обсуждали сделанное вами открытие.

— Профессор, ведь это...

— Так было нужно. — Нолан помолчал. — Нужно. Потому что ваш сейф, Крэл, проверялся ежедневно. Да, да, не удивляйтесь. Думаете, вам предоставили свободу? Трудитесь, молодой человек, ищите, мы спокойно подождем.

— И это в институте знаменитого Оверберга!

— Оверберг здесь ни при чем. Борьба значительней, серьезней, чем вы думаете, и опасней, чем мы того хотим. Вот так. А что касается протокола, то его нельзя было оставить подлинным. Ответьте мне честно, Крэл, вы ведь и не подумали бы изменить в нем набор цифр, получившихся при удачном испытании?

Крэл молча кивнул.

— Ну вот, значит в тот же день результат ваших поисков стал бы известен Ваматру.

— Заказчику, — подчеркнул Крэл.

— Дьяволу, — отрезал Нолан.

Он вынул из бумажника подлинник лабораторного протокола и протянул его Крэлу:

— Вы можете взять его и поступить с ним, как считаете правильным.

— Протокол мне не нужен. Набор цифровых групп кода я запомнил.

Нолан в упор, тревожно и ласково посмотрел на молодого человека.

— Запомнили? Это опасно!

Крэл вздрогнул, вспомнив терзаемого Лейжа, который не знал кода.

— Вы меня пугаете.

Нолан поднялся с кресла, стоявшего у торшера, и пошел к окну. Дымок от его трубки, едва видимый на тонких занавесах, медленно вился в неподвижном воздухе. Огромная тень Нолана ломалась, уходя в потолок, и была совершенно неподвижна. Не оборачиваясь к Крэлу, он сказал:

— Я боялся за Лейжа. Я не хотел, чтобы он шел к Хуку. Он сам пошел.

Тень шевельнулась, уменьшилась, исчезла. Нолан обернулся к Крэлу. Крэл впервые увидел Нолана совсем не похожего на себя. Обычная его сдержанность, видимо, изменила ему, он не таился, и в эту минуту Крэл почувствовал, как Нолан одинок и как ему страшно.

Крэл не мог найти слов утешения, не умел успокоить его и молчал. Молчал и Нолан. Глаза его вдруг ожили, потеплели — он прислушивался к звукам музыки, доносившейся снизу. Там тихо пели старинную застольную, и в ней были такие слова:

...Мы выпьем за тех, кто не с нами, не дома,
кто в море, в дороге, в неравном бою,
кто так одинок, что за верного друга
готов прозакладывать душу свою.

Пусть в эту минуту им станет полегче,
хотя бы немного, чтоб в будущий раз,
когда мы пойдем по опасной дороге,
друзья незнакомые пили за нас...

Песня кончилась. Нолан подошел к Крэлу, положил ему руку на плечо и, глядя прямо в глаза, сказал:

— Люблю эту песню. Ее любит и Арнольдс и... словом, многие любят. Она как девиз. Девиз для людей, которые... Девиз для таких, как старый Арнольдс.

— Я хочу быть с вами!

Нолан отступил на шаг от Крэла и осмотрел его, словно оценивая, прикидывая в последний раз, пригоден ли он к бою. Взгляд этот показался Крэлу непереносимым. Он понял, что Нолан принял решение. Вот именно сейчас, сию минуту. До этого Нолан стремился вовлечь его в борьбу, а теперь скажет — «нет!». Первой мыслью было: всему виной его здоровье. Вероятно, Нолан решил всё же, что он не готов для борьбы, что слабеньш Крэл не пройдет там, где не прошел обладавший отличным здоровьем Лейж. Слабеньш... Неужели это? Необходимость вступать в борьбу претила, а теперь, когда его отвергают, видимо, по этой причине, хотелось... Ведь всегда в силу своей болезненности Крэл стремился доказать, что физически силен, стоек, вынослив. Везде. И в работе, и в походах в горы — везде. Постоянный самоконтроль и обостренное желание не показать никому, что он болен,

позволили ему натрепировать волю. Если ему будут угрожать пытки, то он, всю жизнь привыкший бороться с болью, окажется выносливей, чем здоровяк Лейж. Что же ответит Нолан?

Нолан не ответил ничего.

Часть II

ВАМАТР

— Парикмахеры — поэты! Поверьте, я не хвастлив и не обо мне речь. Талантливые мастера работают так, что человек у них молодеет, а это значит — они дают радость. Когда нет клиентов, — к сожалению, это теперь бывает часто: Тигоне открыл напротив фешенебельный салон, — так вот, когда у меня есть время, я беру томик Ноита, наслаждаюсь его стихами и вместе с ним, будто мне снова двадцать пять, мечтаю о любви. Спереди тоже можно снять немного?

Крэл кивнул. Молча. Болтовня юркого мастера отвлекла от постоянно беспокоившей мысли — как найти Ваматра.

— Спасибо. Если я сниму еще и у висков, это вам пойдет. Высокий чистый лоб, значит, боковая линия должна быть строгой. Тогда лицо станет еще привлекательней. Мы, как и поэты, как музыканты, преобразуем людей. Соприкосновение с искусством омолаживает душу. Бритва не беспокоит? Позвольте оставить у висков пониже. Спасибо. Искусство — это волшебство, и, если хочешь быть волшебником, будь искусным.

«Сказать ему, чтобы замолчал? Неудобно — пожилой человек... А Нолану, пожалуй, известно, где находится лаборатория Ваматра. Не поверил. Знает о моей болезни и не решился. Может быть, выжидает? Но ведь время идет, идет, а он уже немолод. ...И всё же у него иной счет времени. А мне ждать нельзя... Новое обострение, опять клиники...»

— Случается, я не узнаю клиента. Садится в кресло один человек, а встает совсем другой. И это не только внешне. Человек стал красивей и, конечно, радуется. А радость — о как ее недостает нам! — радость дают поэты, музыканты и... Особенно музыканты. Мне не по средствам посещать хорошие концерты. Можно компресс?

спасибо. А теперь я и вовсе не хожу. После того как услышал скрипача в кабачке Марандини...

Крэл вырвался из-под компресса.

— Горячо? Боже мой, да ведь я так могу испортить всю работу! У вас бледное лицо, и я хотел...

— Что вы сказали о скрипаче? — Крэл сдернул покрывало и повернулся к парикмахеру. — Расскажите о нем.

— Ах, какой скрипач! Я слушал его только один раз. Один-единственный раз мне довелось испытать ни с чем не сравнимое блаженство. Я готов продать все свои бритвы, только бы снова повторилось то, что было тогда. У Марандини. Странно, итальянец — а они все любят музыку — и так обошелся со скрипачом. Публика, видите ли, не поняла маэстро, забросала помидорами, и Марандини, боясь потерять своих постоянных посетителей, не стал приглашать его. Дьявольская музыка! Ничего не может быть сильнее.

— Где найти этого скрипача, как его увидеть?

— Вы тоже хотите послушать? Боюсь вас разочаровать. Он не всем может прийтись по душе. Впрочем, как знать, вы, кажется, способны чувствовать тонко, обостренно... И вместе с тем послушать его... Нет, не знаю. Разыскать? Он исчез. Больше не появляется у Марандини.

— А как найти кабачок, вы знаете?

— Ну разумеется. Я живу в Родеге. Это не самый комфортабельный район столицы, должен признаться, но что поделаешь, заработки теперь не те.

Крэл записал адрес, щедро расплатился с мастером и поспешил уйти.

Марандини играл в шахматы. Доска лежала на высокой стойке. Итальянец сделал ход белыми, не спеша обошел стойку и взялся за черную ладью.

— Я бы пошел не так, — заметил Крэл.

Марандини, даже не взглянув на советчика, оставил черную фигуру, молча побрел вокруг стойки и склонился над полем белых.

— Ну!

Кабатчик был неразговорчив и партию у Крэла, считавшегося сильным шахматистом, выиграл запросто. В двух следующих кабатчику пришлось потруднее, но

и они не принесли успеха Крэлу. Убирая шахматы, хотя и бросил:

— Продолжим завтра.

— Собственно, я не собирался...

— Когда такие вот, — Марандини глянул исподлобья на Крэла, — забредают сюда, то это неспроста.

— Ничего особенного, Марандини, я только хотел спросить у вас о скрипаче, который как-то играл здесь.

— Много их у меня перебывало.

— Тот, о ком я спрашиваю, говорят, играл так, что забыть его невозможно.

— А, понимаю, о ком вы. Значит, хотите разыскать?

— Да.

— Месть? Женщина?

Крэл поморщился. Простой вопрос о скрипаче осложнялся. Неужели Марандини знает о Ваматре не только как о музыканте?

— Впрочем, это ваше дело, — так и не дождался ответа кабатчик, — однако учтите, у Марандини ни один шпиок еще ничего не выведал о людях, которые здесь едят, пьют или играют на любом инструменте. Понятно? Ну а скрипач...

— Расскажите о нем! — попросил Крэл.

— Единственно, что никогда не подводит нас, итальянцев, — это любовь к музыке и вера в чудеса. Да, это чудо... Его действительно забрасывали помидорами, но и плакали. Играл он дьявольски хорошо. Это говорю вам я — Марандини!

— Мне нужно, поверьте, очень нужно послушать его.

В темных глазах итальянца, не злых, но страшиноватых, таких, с которыми встречаться взглядом тяжело, промелькнула настороженность.

— Чуда хочешь?

И вдруг он подобрел:

— Выиграешь у меня партию, пусть одну — будет тебе чудо.

Инсу он больше не видел. Три вечера прождал ее на станции, провожая голодными глазами автобусы, уходящие в Рови, а на четвертый поехал туда сам. Впервые он засветло подошел к домику, увитому глициниями. Дышалось легко. Не мучила одышка, особенно донимавшая в прокуренном, пропитанном винными парами подваль-

чике. «Надо ездить в горы, иначе пропаду. Опять начнется обострение, опять рентгенотерапия, переливание. Чаше, чаще пужно приезжать сюда».

Давно не было так хорошо на душе. «Це-ли-тель-ные го-ры, це-ли-тель-ные го-ры», — отбивал он шаг и вдруг остановился. Горы? Нет, что лукавить, не только горы, но и радость предчувствия встречи. Теперь он запагал медленней. Почему так тянет к ней? Ну что в ней особенного? Ничего. Ничего, кроме самого главного — ни с кем не было так хорошо, так безмятежно и счастливо.

В домике с глициниями Инсы не оказалось.

Открыла пожилая женщина и, стоя в дверях, нахмурилась, удивленно переспросила:

— Инса, с канатной? Никогда не жила такая.

— Да я же сам...

— Ах, так это вы с ней приходили? Только не Инсой она звалась. Да и не жила здесь... Так, снимала помещение... На всякий случай. А на канатной фабрике, — женщина поджала губы, — чего ей там делать, на канатной фабрике? Ее каждый раз отсюда на хорошей машине увозили. Только машина у станции поджидала. А нам-то в поселке всё известно бывает. Вот так-то.

Крэл, не сказав ни слова, пошел к калитке. Только на миг остановился на том месте, где его покусали комары, где он впервые по-настоящему понял, как ему нужна Инса.

А дверь в домике еще не захлопнулась:

— Может, и вам снять помещение требуется? Так, на всякий случай.

Крэл почти бегом пустился к станции.

Казалось, никогда больше не захочется увидеть ее, не захочется ничего узнать о ней, но в тот же вечер, только-только возвратясь из Рови, он опустил руку в почтовый ящик, нащупал конверт, и первой мыслью было: «А вдруг от Инсы!» Тут же, правда, он обругал себя, постарался обозлить, восстановить себя против нее, но это получилось у него не очень удачно.

Письмо было не от Инсы, однако касалось и ее. Оно не прошло почту. Видимо, кто-то из людей Нолана бросил его в ящик. Даже в таком письме, которое походило на донос, Нолан, как всегда, был изысканно вежлив, заботлив и предостерегал Крэла, намекая, что Ваматр не простит вмешательства в его дела. Заканчивал Нолан добрыми пожеланиями здоровья («Опять он о моем

здоровье! Вот почему не взял!»), и далее всего несколько слов: «Инса свой человек в лабораториях Ваматра. Это проверено».

Очень всё противно. Слежка, доносы, ложь, притворство. Притворялась Инса. А если нет?.. Сделано открытие, по радость убита Ноланом. Пришел на помощь домик, увитый глициниями. Тихий уголок, показавшийся счастливым прибежищем. Не осталось и этого. Глицинии есть, а Инсы нет... Нолан заботится, ограждает от Ваматра, как будто боится повторения истории с Лейжем, любит. Любит по-своему, очень холодно, эгоистично. Для себя. Он ничего не сможет поделать с Ваматром, если Ваматр узнает секрет синтеза фермента.

А нужно ли что-то делать с Ваматром? Можно ли, только полагаясь на сведения, полученные от Нолана, решать, кто из них прав. Нет, нет, следует побольше узнать о Ваматре, найти его, Инса у него... Надо встретиться с ней. Хотя бы один только раз.

Письмо Нолана не насторожило, а, напротив, подзадорило Крэла. Такой же эффект произвело и следующее письмо. В нем, лаконичном, немного суховатом, очень нолановском, опять содержались предупреждения. Из него было видно, что о каждом шаге Крэла, даже о посещении кабачка Марандини, уже известно Нолану. И в него была вложена фотография Лейжа. Зачем? Как предупреждение, как остротка? Смотри каков — красивый, молод, силен и погиб, а ты... Крэл не любил свою внешность, избегал встреч со своим лицом в зеркале, но, получив фотографию Лейжа, потянулся за зеркалом. Смотрел на себя и на Лейжа. Так вот каким Лейж был перед тем, как пойти к Ваматру. Улыбающийся, радостный, белозубый. Погиб страшной смертью, уничтожен бессмысленно, жестоко.

Но и улыбка Лейжа не остановила Крэла, скорее подбодрила. Из зеркала глядело словно чужое лицо, однако не пугающее, чем-то даже обнадеживающее. И подумалось: «Лейж красив, а вот безвольного изгиба губ у меня нет».

В юности, когда еще не мучала лейкемия, Крэл мечтал о полете на Венеру. Именно на Венеру. Ни Луна, ни Марс не привлекали его. Привлекала Венера. Он, как и все его сверстники, отлично знал, что технические средства еще недостаточны, что послать корабль с людь-

ми, сесть на Венере и возвратиться на Землю еще нельзя, но продолжал мечтать о полете. Мечтал долго, упорно. Больше того, он готов был удовлетвориться билетом «туда», без обратного. Только бы достигнуть, только бы узнать, повидать никем не виданное. В те дни расплата жизнью не представлялась чрезмерной, а теперь, когда из-за острого белокровия жизнь оказалась ограниченной малым сроком, Крэл считал, что отдать ее надо подороже и не страшась. Попасть к Ваматру! Смешно — человек согласен лишиться жизни, но не знает, как именно су-нуть голову в петлю.

И Крэл стал пробовать всё, начал перебирать все возможные варианты, стремясь проникнуть в тайну энтомолога.

Присланная Ноланом фотография неожиданно натолкнула на новые пути поисков: Крэл отправился в институт, в котором работал Лейж. Да, Аллан Лейж уволился. Да, года два назад. Куда уехал? Говорили, что законтрактовался в Африку, похоже, подхватил там тропическую лихорадку. От нее, вероятно, и умер. А впрочем, никто ничего толком не знал.

Теперь Крэл отправлялся в Родег, как на службу. Ежедневно в десять утра он уже был у стойки, на которой лежала шахматная доска. С одной стороны доски стояла тарелка с поджаренными фисташками — Марандини после каждого хода отправлял в рот по зернышку, — с другой — тарелка, на которой лежал запечатанный конверт. Конверт был большой, продолговатый, сделанный из хорошей бумаги. На нем был оттиснут силуэт скрипача. Скрипка летела вперед. А скрипач, будто и не касаясь земли, наклонялся весь в порыве, весь в стремлении угнаться за летящей скрипкой.

После каждого хода Крэл украдкой поглядывал на эту тарелку. Что в конверте? Приз? Марандини по обыкновению молчал.

— Он и сейчас выступает?

Кивок головой, ход, зернышко фисташка.

— Редко?

— Угу.

— Где?

— Да ходите же, черт побери!

На вопрос «где?» Крэл получил ответ только на другой день:

— В палаццо Койфа.

В этот день Крэл доигрывал партию так, словно его непрерывно хлестали, и чуть было не выиграл. Узнав наконец хотя бы что-то определенное — особняк Койфа, Крэл поспешил начать поиски.

Он вспомнил о докторе Феллипсене, друге отца, большом любителе и знатоке музыки, и отправился к нему.

— Тебя интересует Койф. Ну что тебе сказать, мой мальчик? Койф богатый человек, крупный промышленник, меценат. В его особняке действительно бывают концерты. Для избранных, конечно. Собираются у него диджееры, композиторы, актеры. Многие считают за честь выступить на вечере у Койфа, многим такое выступление помогает добиться успеха, известности, а то и славы. Почему ты спрашиваешь о концертах Койфа? Насколько я помню, ты не унаследовал от отца любви к музыке.

— Говорят, там иногда выступает скрипач, умеющий очаровать слушателей или взбесить их своей дьявольской игрой.

— Ах ты вот о чем! Послушай, Крэл, расскажи мне, откуда ты узнал, ведь Койф держит в секрете всё это? Скрипач и в самом деле поражает слушателей своими импровизациями и, в отличие от всех выступающих у Койфа, не стремится к славе. Больше того, никто не видел скрипача, никому, кроме самого Койфа, разумеется, он не известен.

— Это он!

— Кто?

— Ваматр.

Крэл доверился другу отца, рассказал ему о приключениях, пережитых в последние месяцы, и старый врач не остался в долгу:

— Признаюсь, Крэл, мне удалось послушать его. Не могу понять, в чем чудо. Может быть, он принимает какие-то подстегивающие средства, ведь я вижу, превосходно понимаю, что никакой особенной техники исполнения у него нет.

— Думаю, не в стимуляторах дело. Вспомните, что я вам рассказывал о жене Нолана — Эльде.

— Ты считаешь, Ваматр притаскивает к Койфу своих... Как они называются?

— Протоксенусы.

— Черт знает что! Это уже преступление.

— Ваматр способен и на преступление. Так, по крайней мере, думает Нолан.

— Мерзость какая, какая мерзость! Мой мальчик, держись подальше от этого безобразия.

— О, нет! Я только и стремлюсь к тому, чтобы попасть в самый центр сражения. А для этого мне нужно разыскать Ваматра.

— А если, боже упаси, тебя постигнет участь Лейжа?

— Пусть!

— Опять Венера?

— Вы всё помните...

— Я очень люблю тебя, парень, и очень боюсь за тебя. Умирая, твой отец просил помогать тебе. А ты вот отдалился от меня, совсем редко бываешь. Я не знаю, чем ты живешь, чем занят, и не могу помочь тебе.

— Можете, ну конечно, можете! Скажите, как попасть на концерт Ваматра? Это стоит больших денег, я знаю, но ведь деньги в конце концов можно раздобыть.

— Не только в деньгах дело. Стоимость билетов прямо-таки баснословна, это правда, однако кроме денег нужно разрешение самого Койфа. Мне билет исхлопотал профессор Йоргенсон. Ты понимаешь, ученый с мировым именем, и, вероятно, Койф не мог ему отказать. Ну так вот, Йоргенсон собрал деньги среди ученых, которые хотели узнать, в чем секрет таинственного импровизатора. Меня, как врача-психиатра и любителя музыки, попросили дать свое заключение. Должен признаться: я потерпел фиаско. Я сам поддался очарованию, сидел, не понимая, что со мной происходит, слушал, отдаваясь потокам музыки, игре, возбуждающей так, как не возбуждает ничто на свете. Смутно я понимал, что задание ученых выполняю отвратительно, но, признаться, просто не владел собой. Оставалась надежда только на магнитофон. Записывать музыку не разрешено — это главное условие посещения концертов чудо-скрипача. Мы хотели нарушить запрет и изучить запись в лабораториях, однако из этого ничего не получилось. Когда я выходил из зала, а выход там устроен таким образом, что надо пройти шагов десять по довольно узкому коридору, меня задержал распорядитель.

— Задержал?!

— О, он был очень предупредителен, вежлив. Он сказал, что я напрасно старался воспользоваться магнитофоном. Он очень сожалеет, но впредь господин Койф не будет иметь возможности приглашать меня. Было стыдно. Очень стыдно.

— Ерунда, вы действовали в интересах науки. А магнитофон?

— У них всё предусмотрено. Вероятно, проходя коридором, мы все попадали в мощное магнитное поле. Запись оказалась стертой.

— Я попытаюсь сделать проверку иного рода.

— Ты?

— Да. Магнитная запись — это примитивно. Она ничего не даст. Убежден, здесь дело не в каком-то необыкновенном исполнении. Музыка может оказаться заурядной, а на публику влияют протоксенусы. Вот это и надо проверить. Если это протоксенусы, то происходит взаимное возбуждение. Эти твари, только слышав скрипку Ваматра, начинают влиять на людей. Влияют они и на него, конечно. Он даровит, талант у него есть, это несомненно, однако без протоксенусов сила его искусства была бы не большей, чем в кабачке Марандини, а у Койфа собирается изысканная, избранная и, главное, очень искушенная публика. Убежден, здесь всё дело в протоксенусах.

— И ты можешь это проверить?

— Пожалуй.

— Эх, если бы вместо меня Йоргенсон в свое время направил туда тебя! Теперь у Йоргенсона ничего не выйдет. В глазах Койфа он скомпрометирован.

— У меня в запасе Марандини.

— Не понимаю.

Крэл рассказал врачу о встречах с кабатчиком, любителем шахмат, и закончил:

— Надеюсь, в конверте с силуэтом скрипача приглашенный билет.

— Я получил билет не в таком конверте.

— Будем считать, что Койф не придерживается стандарта.

— А откуда у кабатчика билет?

— Кто его знает, может быть, Марандини в трудное время помог Ваматру и Ваматр отблагодарил его, прислав билет. Выиграть, только бы выиграть у Марандини партию. Одну!

И Крэл выиграл.

В конверте с черным силуэтом скрипача, как и надеялся Крэл, лежал приглашенный билет. Впервые за последнее время Крэл ощутил радостный прилив сил, бодрость, и, если бы не тупая боль в подреберье, постоян-

ная, мучительная, настроение было бы просто великолепным. Теперь самым трудным представлялось прожить оставшиеся до концерта дни. Крэл не строил каких-то определенных планов, полагаясь на случай, находчивость, удачу. Несомненным было одно — надо выяснить Ваматра, попытаться узнать, где он притаился.

День, на который намечалось выступление, Крэл провел в гараже. Свой спортивный «дисмен», не новый, однако вполне еще приличный, он подготовил тщательно, любовно и мог рассчитывать, что, если потребуется, машина не подведет.

Возле особняка Койфа Крэл прохаживался уже не раз, изучая расположение, запоминая все входы. Насколько он смог понять, в доме кроме парадного входа была небольшая калитка, ведущая в переулок. Очень важно было догадаться, через какую дверь Ваматр выйдет после концерта. Хорошо уже то, что выходов только два, а не больше, но и с двумя справиться не так просто. Лучше всего поставить «дисмен» на углу переулка и малолюдной, фешенебельной Товмид.

Пожалуй, Крэл впервые почувствовал, как трудно действовать в одиночку. Друзья?.. На проверку оказалось, что у него нет ни одного друга. Преданного, такого, который поймет и будет готов к испытаниям. И всё равно — сражение надо начинать. Пусть в одиночку...

Затруднения в тот вечер начались сразу. Крэл еще запирал свой «дисмен», а к нему уже подошел полицейский:

— В этом месте оставлять машину нельзя.

— Здесь нет никакого знака!

— Запрещено. На сегодняшний вечер. Вы можете поставить машину возле сквера Соллей. Прошу вас.

Это сразу нарушило планы Крэла. По окончании концерта он рассчитывал, забравшись в автомобиль, наблюдать за особняком, стараясь не пропустить появления скрипача, установить, в какую машину он сядет, а потом... потом двинуться за ним следом. Что должно было произойти дальше, Крэл не представлял, но он стараясь не думать об этом. Лишь бы проследить Ваматра, лишь бы узнать, где он обитает!

До разговора с полисменом Крэл был спокоен, уверен в успехе, а этот маленький инцидент вывел его из равновесия, испортил настроение. Оно еще ухудшилось, как только Крэл очутился в вестибюле. Мимо двух невозмутимых

мых мощных швейцаров он прошел с чувством большого удовлетворения и тотчас увидел солидного, приветливого строгого господина, который попросил пригласительный билет. На миг стало неловко.

Однако билет оказался настоящим. Крэл успокоился, но не надолго. Встретивший его господин с легким поклоном возвратил билет и проинструктировал:

— Теперь наденьте, пожалуйста, полумаску, и вас проводят в концертный зал.

— Простите, я не совсем понимаю. Маску?

— Как, разве сеньор Марандини не предупредил вас? Впрочем... — распорядитель осекся и кивком головы позволил лакею: — Мокед, проводите господина Крэла к мадам Деком. Вам сейчас дадут полумаску, господин Крэл, и тогда — милости просим.

Крэл почувствовал, как от волнения у него горят щеки. Что всё это значит? Распорядитель знает его имя, знает, что билет получен от Марандини. Следовательно, всё это подстроено. Дурацкая игра в шахматы — но итальянец и в самом деле играет превосходно, — столько сыгранных партий в кабачке... Может быть, и проиграл Марандини только тогда, когда получил команду: «Проймай!»

Концертный зал, небольшой, уютный, освещен мягким притушенным светом. Посетители приходят не парами, как это чаще всего бывает, а поодиночке. Все в масках. Одинаковых, сделанных из серебристого шелка, скрывающих лица. Женщин больше, чем мужчин. Все одеты скромно, не видно драгоценностей, украшений. Не чувствуется оживления, обычного перед концертом, не слышно разговоров, смеха.

Крэл настолько был поглощен желанием не показаться уж очень чужим в этом зале, что не сразу обратил внимание на эстраду, затянутую серебристым полотном — экраном. Создавалось впечатление, будто в зал собрались знатоки и ценители киноискусства на просмотр какого-то нового фильма.

Крэл всё еще переходил от кресла к креслу, нигде не решаясь устроиться, когда свет стал постепенно меркнуть. Распорядитель появился возле Крэла внезапно. Поклонившись, он молча, но очень настойчиво пригласил его занять место. Крэлу ничего не оставалось, как сесть в предложенное кресло, хотя ему почему-то казалось, что именно это место не самое удобное.

Свет потух. На несколько секунд зал погрузился во тьму, а затем экран загорелся ярким серебряным светом.

Когда именно появился черный силуэт скрипача, Крэл не уловил, оглушенный взрывом аплодисментов.

«Ну, сейчас начнется».

Началось все так, как Крэл и предполагал: импровизация, исполняемая без аккомпанемента не произвела на него никакого впечатления. Вернее, такое, какое всегда оказывала музыка. Первоначально подобие интереса к новому, затем напряженное ожидание чего-то, что должно оправдать потерю времени, наконец скука, откровенная скука и разочарование. Крэл слушал не слыша. Звуки воспринимались без волнения, не рождали образов. Мысль, не подавляемая эмоциями, продолжала работать четко, и когда зал опять разразился овацией, Крэл, ничем не удивленный, деловито потрогал карман, проверяя, на месте ли захваченные с собой кюветы с индикатором.

Силуэт кланялся. Молод был скрипач или стар — не разобрать. Гибкий, затянутый во фрак, он кланялся. Всем корпусом или только головой, отрывисто, резко, и тогда создавалось впечатление, что силуэт на миг остается без головы. Крэл не понимал, почему так неистово аплодируют, и вяло подумал: «Вероятно, авансом, в ожидании чуда, из-за которого и пришли сюда».

Каким оно будет, «чудо»?

Силуэт перестал кланяться, и зал, как по команде, затих. Тишина стояла столь же глубокая, как и тьма, предшествовавшая концерту. Как во тьме вспыхнул ослепительный экран, так и в тишину вдруг хлынул водопад звуков. Скрипка летала в руках мастера, и Крэл поймал себя на том, что стал слушать внимательней. Он еще способен был отмечать, что развлекает себя посторонними мыслями, пренебрегая музыкой, но уже не мог сосредоточиться на какой-то определенной теме. Это стало раздражать.

Что он играет? Знакомую, несомненно слышанную когда-то пьесу, но какую именно? Обычно эта вещь не вызывала в нем никаких эмоций, а сейчас почему-то начинала волновать. Не поддаваться! Надо думать о чем-то хорошо известном, простом, нужном, обыденном. Попробовать, например, считать в уме. Еще лучше прикинуть, повысит ли облуженный препарат КЛ уровень клеточной возбудимости, облегчит ли этим самым передачу нервных

импульсов с нейрона на нейрон... С нейрона на нейрон... Какие нейроны? Зачем?..

А действительно, зачем? Это короткое слово принесло облегчение. Стоит ли противиться наплыву неизведанного, достигаемого людям до обидного редко? Ведь хорошо! Вот сейчас, спю минуту хорошо, и пусть потом придут сомнения, огорчения, разочарование, пусть. А в эти мгновения хочется вбрать, всем телом впитывать даваемое музыкой наслаждение... Музыкой? Музыки Крэл не слышал. Он ощущал ее воздействие, но не воспринимал звуков, словно эмоциональные послышки, минуя слуховые центры, как-то таинственно и неуловимо овладевали сознанием, волей, подавляли недавнее стремление постигнуть истину. В чем же сущность явления?.. А не всё ли равно, какое это явление, если оно так прекрасно... Нет, нет, надо понять! Зачем, разве можно понять, что такое страсть? Ее надо ощутить, хотя бы раз в жизни впитать вот так, как сейчас... Да, страсть, страсть! Испепеляющая, берущая все силы и дающая ни с чем не сравнимое блаженство...

Было тихо. Никто не аплодировал. Экран едва мерцал спокойным сизо-стальным светом. Сколько прошло времени с момента, когда Ваматр перестал играть?

Слушатели замерли, не в силах пошевелиться, не в состоянии выразить восторг обыденным, привычным способом, замерли, испытав опустошенность, граничащую с прострацией.

И Крэл сидел тихо, молча. Самым определенным было желание: еще! Вспомнились стихи:

...ты так весел и светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры.
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...

И Крэл нашел в себе силы оглядеть тех, кто сидел рядом в притихшем зале, и нетерпеливо подумал: «Что же теперь?»

Словно в ответ на этот вопрос, из репродукторов, уставленных за драпировками, полилась музыка. Транслировалась передача по радио. Заурядная, повседневная. Она бессильно заполняла зал, контрастируя с волшеб-

ством, которым только что одаривал импровизатор. Расчет был тонким и действенным — сопоставление только усугубляло впечатление. Но на Крэла, не понимавшего и не любившего музыки, этот трюк подействовал отрезвляюще. Он вынул из кармана бумажник (в нем лежала плоская кюветка), незаметно положил бумажник на сиденье, и, пощупав, на месте ли вторая, пошел к экрану.

Он шел не оборачиваясь, а окаменевшая в креслах, подавленная и восторженная публика, терпеливо и молча ждала начала второго отделения.

Экран слегка светился. Крэл пощупал его, подошел к левому краю эстрады, стараясь найти какую-нибудь щелочку, не нашел и уже направлялся к правой стороне, когда распорядитель вырос перед ним как из-под земли.

— К эстраде подходить нельзя.

Сказано это было шепотом, но так, что послушаться было невозможно. Крэл понимал, сколь беспомощны его попытки подсмотреть, что именно скрыто от глаз публики, и добивался только одного — подольше побыть со своей кюветой возле экрана. До кресла, на котором оставлен бумажник с первой кюветой, метров десять, значит она должна потемнеть слабее, чем вторая, лежащая в кармане если... если за экраном есть протоксенусы.

— Я попрошу вас немедленно отойти от экрана!

— Мне надо встретиться с музыкантом.

— Это невозможно. Маэстро никогда ни с кем не встречается. Ни с поклонниками, ни с людьми, излишне любопытными.

— В таком случае, я не останусь на второе отделение.

— Вот это как вам будет угодно. Я провожу вас к выходу.

Подойдя к гардеробу, — распорядитель не оставлял Крэла ни на секунду, — Крэл суетливо похлопал себя по карманам.

— Я потерял бумажник. Вероятно, в зале.

— В зал можно вернуться только в том случае, если еще не началось второе отделение.

— Тогда поспешим.

Распорядитель провел Крэла к его месту, Крэл «нашел» бумажник и облегченно вздохнул. Это получилось у него естественно.

На какой-то миг соблазн подавил волю — Крэл уже хотел опуститься в кресло, поддавшись желанию вновь

испытать счастье, «отравляющее миры», но тут помог распорядитель:

— Я попрошу вас поспешить к выходу.

На улице закружилась голова. Поташнивало, слабость разлилась по телу, ноги подкашивались, и Крэл пришлось ухватиться за фонарный столб. Липкий противный пот покрыл лицо, шею, грудь. Бросало то в жар, то в холод. Начинался приступ. Сейчас это казалось страшной всего — ведь главное впереди.

В машине он почувствовал себя немного лучше и, как только отдышался, решил вернуться к особняку. Ожидание было томительным. Одолевала тошнота, болезненная, лишающая сил. Но Крэл, как обычно, становился тем настойчивей, чем больше его терзала болезнь.

Минут через сорок к особняку стали подъезжать автомобили. Укрывшись в увитой плющом нише соседнего дома, Крэл следил за выходящими из особняка. Ваматр не должен был выйти вместе со всеми. Если выйдет после всех, а еще лучше — если выйдет через калитку в палисаднике, примыкающем к дому со стороны переулка, всё будет в порядке.

Теперь только ждать. Терпеливо, настойчиво. Ждать. Знобило. Боль усиливалась. Неужели приступ начинался по-настоящему? Но отчего? Нервное напряжение последних дней, простуда?.. А может быть... может быть, влияние протоксенусов...

Потухли фонари у подъезда, выходящего на улицу Товмит, погасли огни в большинстве окон, особняк постепенно погружался во тьму. Неужели пропустил?

Нет!

Калитка отворилась. Кто-то вышел из нее, огляделся по сторонам, и сразу к калитке подъехал черный «мерседес». Человек, осматривавший улицу, исчез, а через минуту, в темном плаще, со скрипкой появился... Ну, конечно, Ваматр!

Крэл побежал к «дисмену», вскочил в него, повернул ключ, готовясь мчаться за «мерседесом», — тот медленно выворачивал уже из переулка, — но машина не заводилась. «Ведь всё проверено, подготовлено. «Дисмен» мой не может подвести, не может!»

Крэл вышел, поднял капот и обнаружил, что зажигание отключено.

Из клиники гематологического института Крэл вышел через месяц. У него, таким образом, оказалось достаточно

времени, чтобы подумать о себе, о затеянном предприятии, и он с удовольствием отметил, что первая неудача не обескуражила его. Решимость продолжать борьбу не иссякла, пожалуй, наоборот — возникла уверенность в успехе. Ведь индикатор в кюветах среагировал по-разному! Более интенсивно тот, который был в кармане. Значит, это как у Лейжа: чем ближе он подходил к вольеру, тем ощутимей было влияние протоксенусов. Значит, Ваматр берет с собой протоксенусов!

Теперь было ясно, что Ваматра охраняют, и выследить его, действуя в одиночку, практически невозможно. Однако оставалась еще одна ниточка — площадь Палем, фармацевтическая контора Хука. А может быть, этой конторы и не было. На один день повесили вывеску, чтобы сбить с толку Лейжа. Крэл достал справочник и там нашел: Палем, 8, № 826.

Крэл давно не был на площади Палем. Старинная, не очень большая, стиснутая огромными зданиями, наполненными конторами торговых фирм, магазинами, агентствами, отелями. Водоворот автомобилей. Они стекаются сюда с шести проспектов и разбегаются вновь, будто у них только одна забота: примчаться к фонтану, окруженному запыленной зеленью, обогнуть его и опять скрыться в бензиновом море одного из проспектов.

На восьмой этаж Крэл поднялся в набитом посетителями и служащими лифте и медленно пошел по коридорам, разыскивая помещение № 826. Пошел путем Лейжа и увидел:

№ 826
«ХУК и К°»
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ
ФИРМА СУЩЕСТВУЕТ С 1896 ГОДА.

Крэл подошел к обитой серым бархатистым пластиком двери и еще раз прочел небольшую, скромную табличку. «Фирма существует с 1896 года». Значит, это не было инсценировано специально для Лейжа...

Войдя в небольшую приемную, Крэл спросил у склонившегося над столом служащего:

— Простите, я могу видеть директора?

— Да, пожалуйста, он сейчас у себя, — указал конторщик на дверь, продолжая писать.

— Разрешите?

— Прошу вас.

Поднявшийся из-за стола плотный мускулистый человек представился коротко:

— Хук.

Крэл молча поклонился.

— Хорошо, что вы меня застали, — сказал Хук. — Присаживайтесь. Я ждал вас, уверен был, что вы появитесь. Только не знал, когда именно. Думал, придете гораздо раньше. Из-за вас я здесь, в конторе, стал бывать чаще. Даже все архивные дела привел в порядок. Впрочем, если позволите, перейдем к делу. Скажите, вы окончательно оставили работу в институте доктора Оверберга?

— Да.

— Жаль. Мы очень рассчитывали на вас. Нам казалось, что вы сможете закончить исследование и наконец синтезируете фермент. Человек вы способный и направление поисков выбрали правильное.

— Спасибо, — ответил Крэл, чтобы что-нибудь сказать, и продолжал напряженно думать. Странно, Хук не скрывает, что его фирма является заказчиком темы.

— Если не секрет, почему вы прекратили работу в институте Оверберга?

— Я не делаю из этого секрета. Даже для вас, — Крэл ответил не задумываясь и тут же упрекнул себя за излишнюю запальчивость. «Спокойней надо, спокойней. Не следует спешить. Схватка только начинается. Значит, Лейж сидел вот так же в этом кресле, и старался выдерживать взгляд Хука. Он шел с отмычкой, а у меня ключ. Ему было трудней. У меня больше шансов на победу». — Я не считал возможным оставаться в институте, где тайком от сотрудников заключают сделки с фирмой, использующей научное открытие для милитаристских целей.

— Так, мне понятно ваше отношение к вопросу. А если вы ошибаетесь — и мы это докажем, — вы согласитесь продолжить исследование?

— Я его уже закончил.

Хук быстро повернулся к Крэлу:

— Закончили?

— Да. Разработка метода синтеза фермента мной завершена уже полгода назад. Код излучения... В лабораторных записях его нет. Код вы не нашли и не найдете. Он здесь, — Крэл осторожно постучал пальцем по виску. — Хранилище более надежное, чем мой так называемый

личный сейф в лаборатории. В том копались чуть ли не ежедневно.

Хук откинулся в кресле и, слегка раскачиваясь, рассматривал бледное, спокойное лицо Крэла.

— А я вам не верю, дорогой Крэл. И давайте выпьем. Вы что предпочитаете, рюлат или покрепче?

— Пожалуй, покрепче, только с содовой.

— Превосходно. — Хук подошел к бару, вмонтированному в книжные полки, любезным жестом пригласил Крэла и наполнил рюмки.

— Рекомендую добавить немного гранатового соку.

— Спасибо.

— Итак, вы утверждаете, что код всегда при вас. А может быть, вы не получили фермента. Где гарантия? — Хук пристально посмотрел на Крэла из-за поднятой рюмки. — Впрочем, давайте проще. — Рюмку он опрокинул в рот с явным удовольствием и аккуратно поставил ее на стеклянную полку. — Я человек деловой. Сколько стоит фермент? Прописи, подробная рецептура, методика, код излучения — словом, всё?

— Продавать открытие я не намерен.

— Даю тридцать тысяч.

— Мне нужно другое.

— Понятно, помешать нам с Ваматром. Пятьдесят.

— Мне они не нужны.

— Ведь это целое состояние. Сто!

— Нет. Только работа вместе с доктором Ваматром.

— Вот как! — Хук рассмеялся. — Но ведь вы психиатр. Как же вы соглашаетесь сотрудничать с нами, если убеждены в наших милитаристских стремлениях?

— Несколько минут назад вы заверяли меня в обратном.

— И вы поверили?

— Конечно, не поверил. Я так же не верю вам, как и вы мне. Не верю вывеске, обещаниям. Ни тем, которые вы давали Аллану Лейжу, ни тем, которые собираетесь дать мне. — Упоминание о Лейже, казалось, не произвело на Хука никакого впечатления. Крэл впервые остановил взгляд на хорошо отечканном, бронзово-загорелом лице Хука. «Умен, несомненно умен. С хитрецей, а глаза усталые-усталые. И страшилки в них нет. Странно. А какое у него было лицо, когда он посылал к Лейжу палача Рбала?» — Я хочу всё проверить сам. Я с радостью, и притом без сотни тысяч, отдам в руки доктора Ваматра

свое открытие, если цель его работы гуманна, но я буду бороться и с ним и с вами, если вы попытаетесь использовать открытие во вред человеку.

— Вы очень самоуверенны.

— Может быть. Однако я уже действую. Больше того, рассчитываю на успех. — Крэл поставил на стол Хука две кюветы. — Вот доказательство.

— Чего?

— Того, что доктор Ваматр использует в особняке Койфа протоксенусов.

— Говорил я Ваматру!..

— Простите, я не расслышал, — притворился Крэл.

— Да так, пустое... Разоблачаете, значит? — Хук не сводил глаз с Крэла. От него не ускользало ничего. «Молодой человек держится хорошо. Неважное у него здоровье, но волевой, умеет не показывать волнения. Молодец. Вот этот сможет стать хорошим помощником, а то и преемником Ваматра». — Вы мне нравитесь, Крэл. Итак, вы спешите попасть в лабораторию?

— Спешу, пока обладаю монополией синтеза фермента, без которого у вас не идут дела. И пойти, как вы понимаете, не могут.

— Ответ хорош. Монополия. Правильно рассуждаете — монополии, как правило, не долговечны. Действительно, откроет еще кто-нибудь. Обязательно откроет. Такова жизнь, таков человек. Но, кажется, не только желание «разоблачить» фирму притягивает вас в Холп.

— Холп?

— Холпы — знатный, старинный род. Обедневший, разорившийся. Их имение купил в свое время Койф, а мы его арендуем. Там у нас лаборатории.

— И там работает Ваматр?

— Да. — Хук помолчал, не переставая улыбаться. — Инса тоже работает там.

Холп, Холп. Ведь он не раз проезжал мимо этого местечка. Кто мог знать, что в Холпе лаборатории, которые он с таким трудом разыскивает. Всё так таинственно, скрытно, и вдруг Хук запросто, как о чем-то совершенно обыденном, говорит о потаенном месте. Ловушка? Подвох? И это упоминание об Инсе...

— Прошу прощения, я бы хотел вернуться к началу разговора.

— Извольте. — Хук убрал улыбку, сцепил пальцы и положил перед собой руки. — Я готов допустить вас в ла-

боратории доктора Ваматра, так как иного способа заполучить фермент пока не вижу. Пока. Однако мы не доверяем друг другу. Согласитесь — это так. Значит, выход один: полное подчинение нашему режиму, соблюдение тайны.

— Не пойму вас, то вы убеждаете меня в гуманности ваших разработок, то требуете секретности, словно выполняете заказы военных.

— Здесь нет парадокса. Ведь приходится, особенно в наши времена, засекречивать не только работы, имеющие военное значение, но и такие, которые еще рано отдавать людям. Итак?

— Я согласен.

— В таком случае, я включу вас в число сотрудников доктора Ваматра. Однако мне нужны гарантии. Сами понимаете, никакие ваши устные заверения меня убедить не могут.

— И ваши не убедят меня.

— Ну что же, позиции вполне определились. Надеюсь, они изменятся, а пока...

— А пока, — подхватил Крэл, вставая, — контракт на три года с письменным обязательством не разглашать сведений о работах доктора Ваматра.

— Совершенно верно. И если...

— Если, — быстро продолжил за Хука Крэл, — если я нарушу слово, то вы не сможете поручиться за мою безопасность.

Хук продолжал сидеть, сложив руки на животе, немного раскачиваясь в кресле, а затем, видя, как всё больше и больше бледнеет Крэл, как начинают подрагивать его губы, встал.

— Не будем усложнять вопрос, дорогой Крэл. Мне кажется, лучше надеяться на сотрудничество. Половинчатость здесь не годится, и, поверьте, только при полном доверии мы сможем достигнуть цели. Что же касается формы, то, увы, форма обязательна.

Хук вынул из стола бланки и протянул Крэлу. Крэл заполнил бланки быстро, почти машинально, только фразу «обязуюсь не разглашать сведений, полученных в лаборатории» прочел дважды. Вспомнилось сказанное Хуком Аллану Лейжу: «Мало ли что может произойти с человеком... Автомобильная катастрофа, внезапно оторвавшийся кусок карниза... Тонут вот еще люди. Тонут. И при самых различных обстоятельствах...»

— Пожалуйста, — Крэл решительно протянул Хуку подписанный контракт. — Как будто теперь всё по форме. Между прочим, я одинок, у меня нет родных, семьи, и я, вероятно, в этом отношении удовлетворяю требованиям очень предусмотрительного доктора Ваматра. Он ведь предпочитает брать на работу холостяков и незамужних.

Хук рассмеялся. Просто, не деланно, но от этого смеха Крэл поежился.

— Несемейных у нас и в самом деле большинство. Молодежь. Но, черт побери, как правило, они именно у нас и становятся семейными.

— Если я правильно понимаю, — неуверенно начал Крэл, — вы заставляете подписавших контракт жить на территории парка Холл?

— Заставляем? У вас странное представление о наших возможностях. Коттеджей не хватает. Хорошо бы, конечно, построить еще штук пять, но... Пока не можем. При лаборатории живут многие, почти все. Удобно, а в город, ну что же, в город на машине — минут сорок.

Хук размашисто подписал контракт и предложил:

— Теперь по бокалу рюлата?

— Нет, увольте.

— Как вам угодно. Адрес вы знаете, если успеете собраться, приезжайте в Холл, ну, скажем, в понедельник. Вас устроит?

— Устроит, — замялся Крэл.

— Может быть, вы хотели позже? Пожалуйста.

— Нет, нет, чем скорей — тем лучше, я... скажите, а в Холл ехать... Самому ехать?

— Ну конечно. Впрочем, если хотите, присоединяйтесь к моему заместителю. Он обыкновенно отправляется в Холл часов в десять утра. Доктору Ваматру я сообщу о нашей договоренности. Так как? Предпочитаете на нашей машине?

— Нет, я на своей.

— Как вам удобней. Пожелаю всего доброго. Еще раз хочу выразить надежду, что вы сработаетесь с доктором Ваматром, хотя он и... как бы это сказать, сложный человек.

Крэл промолчал. Хук проводил его до приемной и там, уже у дверей, Крэл спросил:

— Скажите, пожалуйста, а фирма действительно существует с тысяча восемьсот девяносто шестого года?

— Да, это мой дед учредил ее. Отец приумножил состояние семьи, а я... я увлекся протоксенусами, которые, если мы чего-то не придумаем, сожрут фирму, процветающую с девяносто шестого года.

Из конторы фирмы Крэл пошел не к выходу, а в конец коридора. Там, у широкого окна, он стоял минут десять, стараясь собраться с мыслями, сообразить, что же происходит. Площадь Палем, лежащая на восемь этажей ниже, будто раз навсегда заведенная, вращала вокруг фонтана потоки автомобилей и разбрасывала их по лучащимся из нее проспектам. Контракт подписан, обязательство дано, и Хук может впустить в комнату лимоксенусов, может растерзать... И это сейчас, в наше время. Будто и на виду, и вместе с тем тайно от всех... Казалось странным, что светит солнце, где-то совсем близко, в конце воп того проспекта, плещет океан, город полон жизни, люди спешат по своим делам, читают газеты, выбирают в парламент, а здесь, на восьмом этаже... существует фирма с 1896 года...

Крэл думал, что спать в ночь на понедельник он вообще не сможет, однако проспал до утра. Крепко и без снов. «Дисмен» был приготовлен накануне, вещи тоже, оставалось... оставалось ехать.

Город он миновал быстро, а на шоссе, ведущем в Холп, сбавил газ, ехал медленно, жадно впитывая впечатления от не раз виденной и всегда привлекавшей его дороги. Широкие долины с пологими холмами вдали, аккуратные деревушки; чистенькие, зеленые, с домами, укрытыми темно-красной черепицей, с обязательными островерхими колоколенками маленьких церквей, сторожащих покой округи... Может быть, и не придется больше увидеть всё это... Утренняя свежесть казалась еще никогда не испытанной. Хотелось упиваться ею и не думать о том, что ожидает в Холпе. А в Холп тянуло. Пожалуй, сильнее, чем когда-либо.

Начался лес. Заповедный участок. Дорога стала тенистей, воздух — влажным от утренней росы, еще надежно сохраняемой плотной листвой. Встречных машин не было, думалось лениво, и от резкого гудка, раздавшегося сзади, Крэл вздрогнул. Его догонял Нолан.

Крэл затормозил и вышел из «дисмена». Нолан подъехал вплотную и тоже вышел из своей машины. Всё

такой же, нестареюще элегантный, однако лицо, как показалось, стало серым, глаза беспокойными. И всё же теплыми, по-прежнему участливыми.

— Вы решили, Крэл?

— Я подписал контракт. Зачислен в лаборатории Ваматра.

— Так. Ваматр теперь станет сильней. Станет очень сильным.

— Или зависимым.

— Не знаю, Крэл. Не могу понять вас. Хочу верить в вас и не могу.

— Простите меня, но вы... вы сами рушите то, что создавали во мне, стираете то, чему учили. Признаюсь, чем больше вы восстанавливаете меня против Ваматра, тем больше мне самому хочется проверить, что же он такое.

— Узнаёте... Я всё время пытаюсь отыскать истоки его притягательной силы. Я никогда не верил в его способности, не считал большим ученым. Каюсь, был убежден, что после гибели Эльды и Бичета дело его замрет. А он продолжал свое. Больше того, возле него собралась группа талантливейшей молодежи. Почему? Я знаю Ваматра, знаю слишком хорошо. Он отвратителен как личность и малоуважаем как ученый. Он привлекает людей не как человек, а как протоксенус.

— А может быть, вы заблуждаетесь?

— Нет. Вспомните его музыку. Вы ведь были у Койфа. Поначалу там собирались, ну как вам сказать, собирался небольшой замкнутый кружок почитателей, а теперь это уже выступления перед десятками влиятельных и очень богатых людей, готовых пожертвовать средства для его омерзительных опытов. Он держит этих людей в своих руках. Музыка! Музыка Ваматра отвратительна. Это не возвышенное творчество. Его музыка только пробуждает в людях темные инстинкты...

Крэл взял Нолана за руку. Рука была холодной, впервые такой мертвой, безответной. Взор Нолана блуждал. Что с ним? Неужели Альберт Нолан, человек незаурядного ума, стойкой воли, большой энергии, теряет власть над собой?.. В лесу было тихо, ласково, лучи солнца уже прорвались сквозь густую сочную листву, прогрели лес, и лес наполнился пряными испарениями. Хорошо, хорошо ведь кругом, почему же люди так мучаются, так ненавидят друг друга?

— А если вы ошибаетесь, если Ваматр...

— Нет, нет, Крэл. Нет, дорогой, я сужу трезво. Вы еще не знаете всего, не представляете, что делается там, в Холпе.

Нолан замолк, оглянулся, словно впервые увидел лес. Влажный, теплый, веселый. Нолан глубоко, с наслаждением вдохнул воздух, даже чуть улыбнулся, и Крэлу показалось, что глаза у Нолана стали прежними. Но это предлилось недолго — совсем близко прожужжал рогач. Нолан, вырвав руку, с отвращением ударил жука на лету, жук отлетел в траву и там замер.

— В Холпе они сделали много, — тихо, чуть дрожащим голосом продолжал Нолан, — но, не имея фермента, они не могут пойти дальше, и Ваматру пока ничего не остается, как пробавляться музыкой. Для этого он достаточно изучил протоксенусов. На людей действуют не только звуки, на них влияют протоксенусы, стимулированные этими же звуками. Влияния этого недостаточно, чтобы умертвить — Ваматр приобрел опыт, — но довольно, чтобы убить волю, подчинить, сделать людей послушными, готовыми выполнять его желания, его противоестественные, античеловеческие замыслы.

— Если это так...

— Да, я уверен в этом, и я не остаюсь пассивным, Крэл. Вето мое оказалось недейственным, и теперь я изыскиваю способы нейтрализации, анабиотизации протоксенусов. Но вот вы, Крэл...

— Что я?

— Вы идете к нему... Ваматр у меня отнял всё, он всегда посягал на самое дорогое для меня, на самое нужное мне... Теперь, Крэл, ваша очередь...

— Но ведь я буду бороться, я...

Нолан не слушал Крэла. Изячно опершись на автомобиль, он рассеянно смотрел вокруг и брезгливо отгонял комаров.

— Мы скоро закончим работу над генератором, способным противостоять влиянию протоксенусов. Но вот вы... У вас код синтеза фермента. Когда он станет известен Ваматру, Ваматр вновь сможет разорвать кольцо, получит еще более могущественные существа. И это будет по-настоящему страшно... Справятся ли с ними наши генераторы?..

— Я не отдам, поверьте, я не позволю ему употребить открытие во зло!

— Возьмут.

— Нет, нет и нет.

— Вы слишком много знаете, чтобы идти к Ваматру. Любым способом они добудут у вас код.

— Я взвесил всё, и я хочу посмотреть, что делается на Венере.

Нолан не понял, при чем тут Венера, но не заинтересовался.

— Итак, вы решили твердо?

— Да.

— Напрасно. К Ваматру может пойти или человек, не знающий секрета, такой, как Лейж, или тот, кто сильнее вас. Например, я. Но и я не пошел бы. Я боюсь, Крэл, понимаете — боюсь.

— Чего?

— У вас не хватит сил, и вы, под угрозой, под внушением, под влиянием протоксенусов, не выдержите, отдадите код.

Нолан обернулся — он раньше Крэла услышал шум машины, идущей из города. «Мерседес» проехал мимо них, не сбавляя скорости, и вдруг шагах в пятидесяти, затормозил у обочины. Машину вела Инса.

— Я никак не могу повлиять на ваше решение?

— Никак.

— Тогда возьмите вот это. Если вам будет трудно, ну понимаете, совсем трудно, — примите.

— Это яд?

— Крэл!

— Что же тогда?

— Препарат, который поможет вам быть сильнее.

— Вы тоже пользуетесь им?

— Случая не представлялось. Прощайте, Крэл. Я сделал всё, что только мог, и больше того, что хотел. По-езжайте, а я... я буду бороться с Ваматром и... и с вами, Крэл, когда вы окажетесь единомышленником моих врагов.

Нолан развернул машину и поехал по направлению к городу. Крэл сел в «дисмен» и медленно, очень медленно двинулся к Холпу. Какое-то время Инса ехала следом, а потом догнала, поравнялась с ним.

— Крэл!

Он не отозвался, не повернул головы. Инса еще раз позвала его, потом резко нажала на акселератор, машина рванула, обдала машину Крэла пылью и скрылась за поворотом.

К парку Холпов Крэл подъехал в полдень. Старинные кованые ворота были открыты. Одна половинка ворот, перекошенная, с заржавевшими петлями, видимо, вообще никогда не закрывалась, — внизу она поросла травой, а по вертикальным ее прутьям побежал выюнок. Крэл вылез из «дисмена», сорвал для чего-то розовый граммофончик и, засунув в него нос, исподлобья смотрел в парк. В густой зелени едва виднелись кирпичные добротные строенные здания. За ними, поднимаясь над могучими вязами, стояла железная, явно современной постройки, башня. Слева, на возвышенной части территории, расположились коттеджи. Возле них деревья были помоложе, там было солнечней, светлей, и оттуда доносились голоса и смех игроков в волейбол.

Крэл отбросил граммофончик, сел в машину, и в это время прозвучал колокол. Кто-то вызванивал весело, игриво и долго, звонил до тех пор, пока не опустела спортплощадка, пока не потянулись к кирпично-красным корпусам люди. Шли они группами, по двое, по трое, оживленно переговаривались, смеялись.

Молодой человек с полным загорелым лицом остановился рядом с «дисменом».

— Добрый день. Разрешите представиться — Ялко. Петер Ялко. Доктор Ваматр поручил мне встретить вас и устроить здесь.

Ялко замолк, явно ожидая, пока Крэл протянет руку. Рукопожатие получилось крепким и улыбка на лице встречавшего уверенней.

— Гараж за жилой зоной. «Дисмен» можно оставлять там. Механик у нас отличный. Пьет, конечно, однако за пятнадцать монет в неделю будет держать вашего коня в полном порядке. Вот с жильем... Вы останетесь в городе или предпочтете поселиться в Холпе?

— Да я, собственно, еще не решил. Ездить в город далеко, но Хук говорил, что коттеджей недостает.

— Для вас он распорядился отвести один из резервных — экспедиционный. Знаете, они неплохие. Удобны, даже комфортабельны. Мы жили в них на островах.

— Вы участвовали в опыте... в опыте по уничтожению острова?

— Острова? Остров, конечно, остался на своем месте, а вот живность лимоксенусы сожрали.

— Живность? — Крэл посмотрел на широкое, скуластое лицо Ялко, и оно уже не показалось ему столь

добродушным. — Я слушаю вас, Ялко, — сказал Крэл сухо. — Какие будут инструкции?

— Инструкций не будет. Просто я покажу вам ваше рабочее место и ваш коттедж. Пообедать можно воп там, в столовой, или позвоните, вам принесут в коттедж...

На окнах были решетки, и Крэл сразу подумал: «А стекла уже вставили». Глупо, конечно, прошло ведь года полтора с той ночи, когда Аллан Лейж запустил в окно тяжелым октонометром. Крэл был уверен — так живо все описал Нолан, — что ему предоставили комнату Лейжа. «Где же запрятаны динамики, объективы телеустройств? А отверстия вентиляционных каналов?» Мучительно хотелось всё обшарить, изучить каждый уголок помещения, заставленного аппаратурой и приборамн, однако мысль о телеглазах, просматривающих комнату, остановила его. «Если наблюдают, то отметят нервозность, спешку, им может показаться, что я трушу. Надо исподволь, постепенно присматриваться к обстановке. Не упускать мелочей, быть внимательным ко всему и осторожным с людьми. Этот Ялко. С виду такой славный парень, и вдруг — «живность». Если он был там, он не мог не знать о скелетах заживо съеденных аборигенов. Неужели жестокость, бессердечие, цинизм вот так зауросто могут уживаться с радушием, приветливостью, кажущейся добротой? Открытое лицо, ясный взгляд, что-то даже простодушное в манерах, жестах, и никакого смущения при упоминании об отвратительном эксперименте, в результате которого погибли люди! Что же это?..»

Окна были открыты, тянуло свежестью, зеленый полумрак, заполнявший лабораторию, действовал успокаивающе. Вид знакомых, таких нужных для работы приборов будил приятные, теплые чувства. Только теперь Крэл ощутил, как соскучился по родной обстановке лаборатории, как ее недоставало все эти месяцы. Хотелось тотчас взяться за отладку и настройку гялоскопа и тут же подумалось — а для чего, для кого?

Ялко, оставляя Крэла в лаборатории, предупредил, что доктор Ваматр сможет принять его вечером, часов в шесть. До этого, если угодно, Крэл мог ознакомиться с отчетами, протоколами — словом, со всей научно-технической документацией лаборатории.

«Дают всё сразу — узнавай, и ты, уже связанный подпиской, становишься соучастником. Ловко».

Стопка аккуратных папок лежала на столе. Приняться за них не терпелось, но было страшновато. Что в них — объективные факты или завуалированная ложь, беспристрастный анализ или подтасовка сделанных наблюдений?

Внезапно потемнело, от налетевшего вдруг ветра в парке затрепетали, зашелестели беспокойно листья, и хлынул ливень. Теплый, летний, шумный. Крэл схватился за прутья решетки и вдохнул терпкий, пахивающий прибитой пылью воздух.

От ворот бежала Инса. Босая, с уже мокрыми от дождя волосами. На повороте к главному зданию она помахала кому-то невидимому бумажкой:

— Петер, кричи ура! Телеграмма от Лейжа — генераторы работают!

Ливень кончился, опять посветлело, а Крэл сидел за столом без движения, так и не притронувшись к папкам... Телеграмма от Лейжа, и похоже, нет ничего мрачного, гнетущего в парке, который показался Лейжу таким таинственным. Почему же Аллан Лейж сигнализировал Нолану совсем о другом? Изменили тактику, подстроили специально для меня? Ерунда, конечно...

Работа заканчивалась в четыре. Лаборатория опустела, затихла, но в седьмом часу многие помещения опять ожили. К семи часам Крэл вконец изнервничался, ожидая вызова к Ваматру, не выдержал и вышел в коридор. Тихо, пусто, застекленные двери, и за многими — свет. Сидят и работают вечерами. Кто и зачем? Что они знают, всё или каждый свое, не подозревая, каковы конечные цели? Сотрудничество здесь или, как утверждал Лейж, всепроникающая слежка, рождающая отчужденность, взаимную подозрительность?

Крэл слонялся по коридорам довольно долго, устал, и когда уже решил отправиться в коттедж, услышал звуки скрипки. Кто-то пикиал, старательно тренируясь, раз за разом выводил простенькую музыкальную фразу. Крэл пошел на звуки скрипки и вскоре попал в тупиковый коридорчик. В конце его светилась широкая, матового стекла дверь, и за ней виднелся темный силуэт.

Крэл дождался, пока скрипач кончил свои упражнения, и постучал.

— Да, да, войдите!

Навстречу Крэлу почти к самой двери подбежал щуплый, очень худой человек и, подбоченясь, уставился на

него. Из-под густых бровей смотрели глубоко запавшие, опущенные неправдоподобно длинными ресницами глаза. Очень молодые, живые, пристальные. Ваматр оказался неожиданно маленького роста и не таким стройным, каким выглядел во фраке, там, у Койфа.

— Ну вот, а я совсем забыл. Понимаю, понимаю, вы — Крэл. Здравствуйте. — Резко, даже откинув руки немного в стороны, Ваматр сомкнул их за спиной. — Руки я не подам. Может статься, что, протянутая мной приветливо, она будет отвергнута вами, и тогда... Посудите сами, в каком положении я окажусь! Оскорбиться, указать вам на дверь после стольких усилий, потраченных на то, чтобы вы наконец оказались здесь? Нет-нет, рукопожатий не надо. Вы ведь уверены, что проникли в стан врага и теперь стоите лицом к лицу с врагом номер один. Вы обязались — перед богом и, конечно, в силу чего-то там еще очень возвышенного — уничтожить меня. Испепелить. Так ведь? Можно не отвечать. Испепелить еще успеете. А пока посмотрите мою скрипку. Вам когда-нибудь приходилось видеть инструмент, созданный в Кремоне? Видеть не в музее, конечно, — там таблички: «Не трогать!». Довелось ли вам в руках держать непревзойденное творение мастеров Позднего Возрождения? Николо Амати, Страдивари, Гварнери, прозванного еще при жизни дель Йозу — от Иисуса. У меня Гварнери.

Ваматр, так и не дав Крэлу скрипку, подошел к нему вплотную и тихо спросил:

— Вы уже были в башне? Нет? Очень хорошо. И не ходите туда. Вам нельзя. Именно вам. Можете заглядывать куда вам вздумается, но к ним... Лейж слишком много бывал у них. Тогда мы еще не знали, а сейчас у нас в клинике... Чего же мы стоим? Давайте сядем.

Крэл опустил на предложенное ему кресло и стал терпеливо ждать, что станет делать Ваматр дальше. Ваматр молчал. В руках у него уже очутился большой блокнот, и он писал, не обращая больше внимания на посетителя. Он часто вскидывал голову и, закрыв глаза, выставляя вперед острый подбородок, замирал. Потом, медленно опустив голову, продолжал записи. Тогда Крэлу видны были только гладко зачесанные назад черные, с проседью волосы и кончик внушительного носа с горбинкой.

— Клиника небольшая, можно сказать, крохотная, но наша собственная. Каких трудов стоило ее организовать,

сколько потребовалось средств. Современное оборудование, расходы на персонал... Деньги, деньги. Вечно проклятые деньги... Мы непременно пойдем с вами туда и проведем Кирба. Знаете, врачи обнадежили меня. Всё уже идет как будто на лад... Скажите, Крэл, Альберту удалось приохотить вас к энтомологии?

— Я изучал энтомологию в университете и, кроме того...

— Пустое! Надо знать ее как следует, по крайней мере знать всё, уже описанное в литературе, и параллельно с этим постоянно знакомиться с нашими работами. Только тогда вы поймете, что такое насекомые. Нет, не поймете. Никто из нас пока понять ничего не может. Если бы я был умнее в сто раз и прожил еще сто лет, то и тогда не разрешил бы загадок, решить которые так необходимо... Пожалуй, Кирба мы проведем с вами сегодня же. Если разрешат врачи, конечно.

Ваматр схватился за телефонную трубку:

— Доктор Рбал? — Крэл вздрогнул при упоминании имени палача, терзавшего Лейжа. — Это я. Добрый вечер. Скажите мне, дорогой, скажите хотя бы несколько слов утешения. Мне ведь нельзя нервничать, вы сами об этом говорили, советовали мне... Не буду, не буду. Стану серьезным и послушным. Ну как? — Ваматр слушал, не перебивая, удовлетворенно кивал головой и, прижав трубку к уху, непрерывно перебирал разбросанные на столе мелочи. — Спасибо, спасибо, дорогой Рбал... За добрую весть благодарю!

Трубку Ваматр положил на рычаг бережно, засунул руки между колен, съежился, стал совсем маленьким и говорил тихо, внимательно поглядывая из-под густых, какие бывают только у юношей, ресниц.

— Метаморфоз — вот что дало нам возможность получить совершенно неизвестные на Земле виды. Вы знаете об этом, Крэл. Но учтите, насекомые, особенно выведенные нами, имеют еще много совершенно удивительных, только им присущих свойств. Они общаются на расстоянии, перестраивают себя, меняя форму, это известно, но вот что примечательно: они могут на расстоянии, подчеркивая — на расстоянии, влиять на процессы, протекающие в организмах других особей.

— Влияют на перестройку тканей других особей? А может быть, — догадался Крэл, — может быть, и других видов?

— Совершенно правильно. И мы уже проверили это, Протоксенусы, когда их много, когда они в расцвете сил и получают всё необходимое для своего развития, способны стимулировать неспецифические процессы в организме. Интимные процессы, о которых наука еще так мало знает. Какой бы вам привести пример? Да взять хотя бы беременность. Она вызывает у женщины мобилизацию гормональных и нервных сил, у одних она пробуждает дремавшие до того возможности, у других — вызывают такие случаи — может вызвать психоз. Вот и протоксенусы... Мы экспериментально установили их влияние на вяло текущие процессы, например. И знаете, Крэл, как это и бывает частенько, всё началось с пустяка. Помог случай. В вольер поступил новый служитель. Пожилой человек, болезненный — трофические язвы на ногах. Незаживающие, мучившие его много лет. Нужно отдать справедливость Лейжу: он первый обратил внимание на это явление, первый заинтересовался им и стал изучать. Представьте себе, не прошло и десяти дней с момента поступления служителя на работу при вольерах, как от его язв ничего, кроме розоватых шрамов, не осталось. Лейж...

— Простите, — не выдержал Крэл, — вы говорите об Аллане Лейже, который года два тому назад перешел к вам от Арнольдса?

— Ну да. Так вот, Лейж с тех пор начал приводить к вольеру язвенников, и оказалось, что вяло протекающие процессы заживления протоксенусы способны активизировать. Тогда — о! — тогда мы были у порога открытия. И какого открытия! Но оказалось... оказалось, что протоксенусы, как и при беременности — тут аналогия особенно чувствуется, — не только стимулируют некоторые функциональные системы организма, но и могут... могут вызывать психозы...

Ваматр взял трубку телефона.

— Элли, соедините меня с гаражом. Спасибо... Гараж? Добрый вечер, Антони, я хочу поехать в город. Да, да, сейчас, если можно.

Крэл встал.

— Сидите, сидите. Я, наверное, не поеду... Да, вызывают психоз. Какие силы в наших руках, какие силы! И как мы слабы еще, ничтожны... Два часа ежедневного пребывания у вольеров — на расстоянии четырех метров от сетки, — и Кирб, бедняга Кирб, от которого уже отка-

зались врачи, ожил. Каверны его затянулись, туберкулез — безнадежная форма! — излечен. Кирб будет здоров. Теперь будет. Протоксенусы исцелили его, а могли убить, Крэл. Я вас прошу, пока... пока не ходите в башню...

Теперь Крэл не мог не думать о башне. Чем бы он ни занимался, настойчиво шевелилось беспокойное желание: «В башню!». Разумеется, сразу вспомнилось, как мучился Лейж, стараясь подавить казавшееся ему противоестественным стремление к протоксенусам. Воспоминания о Лейже стали почему-то раздражать. Лейж, Лейж, Лейж — всё время попадает его имя. Думать о нем не хотелось, а вместе с тем мешали вопросы, так или иначе связанные с ним. О какой телеграмме тогда, в дождь, с восторгом кричала Инса?

Инса... Она и здесь, занимаясь научной работой, была такой же — немного загадочной, простоватой и умной фабричной девчонкой с канатной... Об Инсе в Холпе говорили часто, говорили с доброй улыбкой и всегда уважительно. Чувствовалось, что она — задорная, смешливая и деловитая — душа здешнего маленького общества. А общество здешнее... Еще трудно судить о нем, но оно, кажется, интересней, чем можно было ожидать.

На следующий день после разговора с Ваматром Крэл всё-таки принялся за отчеты. Каждая проштудированная папка увлекала, заставляла задуматься. Понемногу он стал привыкать к своей комнате, хотя и не переставал с опаской поглядывать на те места, где могли таиться приборы-соглядатаи. Не прошло и недели, а Крэла уже определенно тянуло в лабораторию. По утрам, приняв душ, наскоро съев завтрак, он с удовольствием шагал от коттеджа к кирпично-красному старинному зданию.

В первые дни Крэл немного дичился, стараясь не показываться на людях, но вскоре самыми приятными оказались часы, проведенные в столовой. Вечерами, после ужина, оттуда почти никто не уходил. Работал бар, тихо звучала радиолка, кто-то танцевал, кто-то листал журналы, кто-то играл в шахматы. Столовая превращалась в клуб, не имевший устава и постоянных членов. Беседы здесь возникали естественно, велись живо, непринужденно, остроумно. Веселье, молодое, искреннее, перемежалось с деловыми разговорами и спорами, начинавшимися по самым различным поводам.

Появление Крэла в Холпе ни на кого не произвело особенного впечатления. К нему отнеслись с уважением, как к молодому, талантливому ученому, осуществившему синтез фермента, однако ни лестных слов, ни излишней почтительности не было. Чурался он поначалу сослуживцев — никто ему себя не навязывал; стал менее настороженным — с ним говорили запросто, по-доброму и с шуткой.

И всё же Крэла не оставляли сомнения: почему увиденное в Холпе так непохоже на описанное Ноланом? Здесь всё изменилось, или Лейж... Опять Лейж...

Каждый день Крэл собирался попробовать — взять и внезапно уехать в город. Неужели не задержат? А впрочем, никто ведь и не настаивал на том, чтобы он жил безвыездно в парке. Не настаивал... А если бы он не дал согласия? Может быть, тогда придумали бы какой-нибудь хитрый ход. Нет, надо испытать. Вот пойду в гараж, сяду в «дисмен» и поеду... Но поехать никак не удавалось. Дни, проведенные над отчетами, — а отчеты оказались чертовски интересными, — мелькали быстро, к вечеру он очень уставал и с удовольствием отдыхал в «клубе».

Потягивая через соломинку рюлат со льдом и гранатовым соком, лениво просматривая газеты, Крэл обычно прислушивался к разговорам за соседними столиками. Он ни разу не заметил, чтобы при его приближении собеседники умолкали или меняли тему разговора. Еще до приезда в Холп он строил хитроумные догадки, как вывести подробности эксперимента, поставленного в Тихом океане, а об этом, оказывается, говорили открыто и просто.

В четверг вечер выдался душным, предгрозовым. Не то сказалась усталость, не то нервное напряжение последних дней, но самочувствие резко ухудшилось, и тревожно стало — вдруг опять начнется обострение. Необходимо будет сделать переливание крови, а здесь... Клинику Ваматр так и не показал. Ничего больше Крэл не узнал о загадочном Кирбе, ничего не узнал и о башне: во вторник утром Ваматр куда-то уехал... Поташнивало, похоже, повысилась температура. Опять началась боль в подреберье. Захотелось на воздух, и Крэл вышел из «клуба».

На фоне темного неба серая башня была не видна. Скупое расставленные фонари высвечивали только низкие кирпичные корпуса, и свет не добирался до башни. Ее вроде и не было... Что получится, если всё-таки пойти к ним? Почему так насторожен Ваматр? В самом деле бо-

ится за меня? Здоровый нужнее?.. А вдруг протоксенусы помогут, вдруг станет легче, уйдет кошмар последних лет... Заболевание кроветворной ткапи, ну что же, если они влияют, как утверждает Ваматр, на процессы подобного рода, не исключена возможность выздоровления.

Он шел и шел потихоньку к башне. Она стояла довольно далеко от кирпичного корпуса. Деревья столпились возле башни плотно, и непонятно было, как это строители соорудили ее, почти не попортив столетних вязов.

Над входом висела синяя лампочка. Сразу вспомнил — как в детстве, как во время войны: темно, страшно ночами, а есть всё же хотя и тревожный, но ободряющий сигнал. Скромный синий, едва приметный, но показывающий в черноте, где убежище.

— Добрый вечер, Крэл!

Крэл вздрогнул: он почему-то никак не ожидал услышать здесь голос Инсы.

— Здравствуйте. — Больше ничего не хотелось говорить. Молчала и Инса, но потом не выдержала:

— Гроза будет.

— Нет, не будет.

— А вы откуда знаете?

— Чувствую. Всё утихнет. Тучи уйдут.

Опять замолчали. Теперь надолго. Стояли, не глядя друг на друга.

— Крэл, вам... вам хорошо у нас?

— Не знаю.

— О, даже такой ответ обнадеживает.

— А вам зачем эта надежда?

— Хочу, чтобы вы были с нами.

— Похвально.

— Не понимаю.

— Похвально, говорю, когда так ревностно выполняют задание.

— Вам не удастся меня оскорбить.

— Вот как! Слабоволен, глуп, мягкотел! Понятно.

— Разумен и поэтому попытаетесь понять, почему мы боремся за вас. Захотите сами, непременно сами, разобратся во всем.. Ага, а вот и капля упала. Вот вторая. Крупная, прямо на нос. Будет ливень, — обрадовалась Инса.

— Нет, не будет, — упрямо и мрачно возражал Крэл. Инса подошла ближе и посмотрела ему в лицо.

- Вы плохо себя чувствуете?
- Ну что вы! Просто... просто синий свет.
- Не ходите к ним.
- Это запрет?
- Просьба.

Инса ушла. Возникла она в темноте возле башни внезапно, а удалялась в свете желтых, неярких фонарей парка медленно, вновь и вновь показываясь из-за могучих стволов... В «клуб» пошла, или уже к себе?.. Как голова кружится, слабость. Рано, черт возьми, рано быть следующему приступу! Ведь совсем недавно клиника, полный курс радиотерапии... А закрыты ли двери в башню?..

Двери не запирались.

Крэл опустил на тумбу и сидел у входа долго. До полуночи. Сидел, ни о чем не думая, если можно ни о чем не думать, сидел просто так, чтобы проверить — будет гроза или нет.

Гроза не состоялась...

В конце недели приехал Хук. Крэл из окна видел, как машина въехала в ворота, как вышел из нее хозяин фирмы, а через пять минут он уже входил в лабораторию.

— Я прямо к вам, Крэл. Добрый день.

— Здравствуйте.

— Только сегодня узнал, что доктор Ваматр, оказывается, уехал из Холпа. Вы уж извините, забросили вас сюда и оставили. Вероятно, без всякого внимания. Как вы устроились, как нашла здешнее общество?

— Благодарю вас, устроен я хорошо, а что касается сотрудников лаборатории... Я ведь только несколько дней здесь...

— Понимаю, понимаю. Да, люди в Холпе разные, сразу и не узнать, конечно. Ну ничего, освоитесь, и ясно станет: кто — кто. Одно только могу сказать с уверенностью: молодежь у нас славная. Как работаете?

— Никакого определенного задания я от доктора Ваматра не получал. Вот читаю, знакомлюсь с отчетами.

— Это, разумеется, не мешает, но главное — надо поскорее приступать.

— На это я еще согласия не давал.

— Дадите.

— Вы уверены?

— Конечно.

— Вот как! Любопытно, каким же способом вы принудите меня? Призовете на помощь Рбала?

— Я не понимаю, при чем здесь доктор, но отвечу: принуждать мы вас не будем. Просто, работая здесь, вы столкнетесь с необходимостью решить вопрос — в состоянии ли ученый осуществить право вето.

— Для меня это решенный вопрос. Ученый может и должен накладывать вето.

— Должен, должен, — задумчиво повторил Хук. — А кто из вас устоит перед соблазном проникнуть в неведомое? Кто?.. Право вето... Взор! Все вы готовы очертя голову ринуться в пропасть, если на дне ее вам чудится тайна. Это лучшие из вас, а большинство... — Хук презрительно поморщился, — спешат, толкаются, отпихивают локтями и задом своих коллег, норовя первым — главное, чтобы первым, — заявить о сделанном открытии. Не обижайтесь, Крэл, и поверьте, мне немало пришлось повидать ученых, в том числе и таких, которые считаются людьми вполне добропорядочными. Они тоже наперебой предлагали свои разработки, заваливали нас, предпринимателей, всяческими прожектками и, распинаясь, доказывали, что именно их изыскания будут наилучшим образом способствовать...

— Чему? — быстро спросил Крэл.

— Да чему угодно, лишь бы способствовать. Мы, коммерсанты, по крайней мере не лицемерим. Не подписываем воззваний и не претендуем на ангельский чин. Мы знаем: не успею я — перехватит заказ кто-то другой; не смогу, не сумею я наладить рентабельное производство — мой конкурент переплюнет меня, и я останусь с носом. Так скажите на милость, какая в этом случае разница между учеными и дельцами?

— Огромная! Среди вас нет и в принципе не может быть ни одного Альберта Нолана. Никто из вас, подобно ему, не бросит любимое дело и не отдаст себя на борьбу...

— С чем? — теперь Хук быстро задал вопрос и, сощурившись, посмотрел на Крэла.

— На борьбу с людьми, готовыми нажиться на любом открытии, получить барыш даже в том случае, если открытие это будет использовано во вред человеку.

— Мне очень жаль, Крэл, — Альберт Нолан почитаемый вами учитель, — но я обязан сказать вам: он не только заблуждается, он — и это самое страшное, — он маньяк. Я понимаю, вам трудно будет отказаться от ил-

люзий, порвать с привязанностью, но вы к этому придете... Дело в том, что профессор Нолан в своем стремлении «разоблачить» нас, в своей неумолимой ненависти к доктору Ваматру, зашел слишком далеко и становится опасным.

— Это очень серьезное обвинение.

— Я готов обосновать его. Живой пример тому — Аллан Лейж.

— Живой?

— Чему вы удивляетесь?

— Профессор Нолан сказал мне, что Аллан Лейж... — Крэл спохватился, решив не показывать, что именно ему уже известно о делах, творящихся в Холпе. — Профессор считает, что Лейж погиб.

— Интересно. Нолан в этом уверен?

— Да, и убедил меня.

— Послезавтра, — Хук вынул календарик, поискал в нем отметки и продолжал: — Да, послезавтра вы увидите Аллана Лейжа. Живого. Он сегодня вылетает из Касабланки. История его, собственно, такова. Доктор Нолан давно задался целью иметь у нас «своего человека». Попросту говоря — шпиона. Уже одно это, как вы понимаете, не делает чести знаменитому ученому. Мы догадывались о его намерениях, и когда Аллан Лейж, якобы случайно встречаясь с нашими сотрудниками, стал намекать, будто открыл способ получения фермента, мы уверились в наших догадках. Я пригласил Лейжа к себе. Стоило мне немного поговорить с ним, и я понял — парень он славный, толковый, но Нолан сумел свихнуть ему мозги. Уже напичканный сведениями о нас как об извергах, Лейж сразу же ринулся в наступление. Как же, пропик наконец в логово! Лицом к лицу с таинственным боссом, прикрывающимся вывеской фармацевтической фирмы.

Хук сделал паузу. Намеренно. Но Крэл не выказал смущения. «Слова, всё слова, — подумал он, — посмотрим, как будут разворачиваться события».

— Ну а я решил позабавиться, — продолжал тем временем Хук. — Кто же мог знать, что всё это так плохо обернется. Да, обернулось скверно. Тогда я не придал особенного значения своей шутке, сыграл роль этого самого таинственного босса и припугнул Лейжа.

— «Тонут вот еще люди. Тонут. И при самых различных обстоятельствах», — процитировал Крэл, недурно подражая голосу Хука.

Хук рассмеялся и тут же стал серьезен.

— Альберт Нолан талантлив, а талантливый человек — талантлив во всем. Значит, он сумел не только до мельчайших подробностей узнать о наших переговорах, но и вас снабдил соответствующей информацией. Очень жаль, Крэл, если и вы попали под его влияние.

— Что же в этом дурного? Разве не естественно чувствовать человеку, у которого погибли жена и друг. Погибли в результате рискованных и ничем не оправданных экспериментов Ваматра.

— Ваматр далеко не святой, конечно, однако в их смерти он не виновен.

— А в гибели людей, заживо съеденных лимоксенусами, он тоже не виноват? Или всю вину вы берете на себя?

— Бред. Большое воображение Лейжа.

— Простите, пожалуйста, эксперимент в Тихом океане — это тоже бред Лейжа?

— Нет, зачем же.

— Значит, фармацевтическая фирма всё же пыталась завоевать симпатии военных?

— Пыталась, Крэл, пыталась. Но из этого ничего не вышло. Жалкие потуги дилетантов. Идея представлялась очень заманчивой, подумать только — беззвучная война! Лимоксенусы уничтожают живую силу противника, войска наступающих без потерь занимают территорию, на которой военная техника врага, энергетические и производственные ресурсы остаются неповрежденными. Каково?! Нам казалось: стоит только продемонстрировать на острове «работу» наших маленьких прозорливых созданий, как нам предоставят огромные субсидии, просто завалят деньгами и Ваматр получит широкую возможность продолжать изыскания... Опыт прошел блестяще, и мы... получили отказ.

Крэл без стеснения изучал лицо спокойно сидящего напротив Хука. Хитросплетения, ложь, вечная забота о сохранении производственной тайны... Да, постоянная тренировка — и медальное лицо становится вовсе непроницаемым. Военные отказались от такого эффективного метода. Ну кто этому поверит!

— Говорите, военные отказались?

— Да, Крэл.

— Не следует этого утверждать. Я ведь прекрасно понимаю, что не могу проконтролировать всю деятельность

фирмы. Где-то, в каком-то филиале, вы продолжаете работу с лимоксенусами, и я не смогу узнать об этом. Да и не стремлюсь — это бесполезно. Я только не отдам вам того, чем располагаю, и хотя бы таким способом помешаю производству средств массового уничтожения.

Хук ничего не ответил Крэлу и поднял трубку. По телефону он затребовал дело за номером 2605 и, когда его принесли, молча принялся листать объемистый том.

— Вот здесь, — Хук развернул перед Крэлом сложенный в несколько раз панорамный фотоснимок.

— Что это? — Крэл невольно откинулся на спинку стула, глянув на картину страшного уничтожения.

— Это фотоснимок, сделанный в другой экспедиции. Там применялись средства, которые посерьезней лимоксенусов. Миллионная доля грамма и — смерть. Ампула вещества, не так давно синтезированного химиками, и водопровод города со стотысячным населением приканчивает это население. Ничто живое не уцелеет при соприкосновении с ничтожной долей препарата, уже запасенного военными в достаточном количестве. Да, дорогой Крэл, лимоксенусы не выдержали конкуренции. Я потерял немало средств и чуть было не упустил время, когда можно было получить заказ на изготовление...

— И вы... вы получили заказ?..

— Да, конечно.

— Это... это чудовищно!

— Крэл, не будьте наивным. Вам преподнесли несколько красивых, возвышенных, но в общем-то банальных идей, и вы успокоились, считая свое мировоззрение сложившимся. На самом деле вы слишком много времени провели за гялоскопом и, естественно, не знаете толком, что происходит в мире. Впрочем, сейчас никто толком ничего не знает... Однако продолжу о вас. Вот вы возмущаетесь, негодуете, готовы бороться со мной, с Ваматром, со всеми, кто пытается использовать ваше открытие для изготовления оружия. Ну, хорошо, допустим, не сделаем оружия мы, ведь его сделают другие. И нас же побьют.

Крэл встал, подошел к окну, потряс для чего-то решетку и потом обернулся к Хуку:

— Видимо, надо уничтожать в мире не оружие, а что-то такое, что заставляет людей делать оружие и порождает охоту применять его.

Хук ничего не ответил и посмотрел на часы.

— О, время бежит быстрее, чем хочется. Мне предстоит сегодня сделать множество дел в Холпе. Надо спешить. Я попрошу вас, Крэл, побывайте на совещании у наших биохимиков. Ознакомьтесь, пожалуйста, с их задачами. Совещание начнется в два у Петера Ялко. Я зайду к вам в семь.

После совещания Крэл устал и злился. Дело было не в усталости, он это прекрасно понимал. Злился он на себя. Не устоял, увлекся, вступил в спор, увидев, что неправильно ведутся исследования, и стал предлагать свою методику облучения. Зачем?.. Заманивают, черти. Будто никто и не делает ничего специально, а чем больше знакомишься с проблемой, тем более занятой она кажется... Возьму вот и уеду. Хук в Холпе, а я уеду. При нем. Что они предпримут, интересно?

Колокол вызывал окончание рабочего дня не так замысловато, как обычно, — звонарь-доброволец спешил на состязания по легкой атлетике. На территории парка чувствовалось оживление, то и дело навстречу попадались сотрудники, и Крэла, пока он дошел до гаража, несколько раз спросили, пойдет ли он посмотреть соревнования.

В дверях гаража стояла Инса. Она не только успела надеть комбинезон, но и уже вымазалась машинным маслом. Опять в кепке, опять такая же, как тогда, в самый первый раз, на автостанции, отгороженной от неуютного мира толстыми зелеными стеклами. Стоило только глянуть ей в глаза (они не спрятались за темными прямыми ресницами), и почему-то стало спокойно, злость унялась, потеплело на душе. В первые минуты еще шевелилась досада — Инса стояла в дверях и пройти в гараж не удалось, — но постепенно ушло и это.

— Крэл, вы молодец!

— Спасибо.

— Нет, я серьезно. Здорово вы их разделили. Они даже не сопротивлялись. Теперь им всё надо начинать сначала. Они поняли это, Крэл. Бедный Ялко, он так старался.

— Я читал его отчет по теме. Серьезный парень, но ведь не то, не так надо. Он всё делал с трудолюбием и терпением паука, а нужно заботиться не столько об увеличении количества экспериментов, сколько о том, чтобы свести их к небольшому числу решающих опытов.

— Для этого нужны вы.

Крэл совершенно не заметил, как получилось, что они уже не стояли в дверях гаража, а сидели на скамье. Инса откинула голову, подставив солнцу лицо, и прикрыла глаза. Она и не смотрела на Крэла, а он словно чувствовал на себе ее взгляд, чувствовал, что нет для нее никакого тайника в нем. Она никогда и ничем, ни единым жестом не старалась привлечь или понравиться, и всегда привлекала... Масло вот не стерла со щеки, кепку не поправила, и не думает, видно, хорошо ли, что солнце безжалостно высвечивает ее не очень-то красивый, немного веснушчатый, сморщенный от удовольствия нос. А нос этот почему-то кажется таким симпатичным...

— Не пойму, Крэл, зачем упрямство. Берите руководство темой. Направьте их всех на путь истины.

— Не хочу.

— Почему?

— Я еще не составил себе представления о том, что именно здесь происходит.

— Ага. Понятно. — Инса зажмурилась счастливо, потянулась, наслаждаясь солнцем, и вдруг повернулась к Крэлу. — Скоро составите. Вот хорошо будет!

— Что хорошо?

Инса прислонила голову к стене гаража и, выводя что-то пальцем на скамье, тихо спросила:

— Вы всё еще сердитесь на меня?

— Не надо об этом.

— Перед тем как поехать туда... в Рови, я читала ваши отчеты... Тогда мне так хотелось побывать у вас. В институте Оверберга... Нельзя было... Я познакомилась со всей документацией — ее нам доставлял Хук — и поняла, поверила: вот-вот должно свершиться. Еще усилие, еще одно, еще несколько — и вы получите фермент. Каждый день, только просыпаясь, я думала: а он, может быть, уже сегодня сделает тот, самый последний, самый нужный, решающий шаг к открытию... Я еще не знала вас, Крэл, представляла себе другим...

— Каким?

— Постарше и... и похуже... Не знала, а видела, как вы стоите у гиалоскопа и вот появляется яркий зеленый пик на экране. Устойчивый, спокойный. Код найден, фермент получен, а это значит, что можно попытаться осуществить разрыв кольца. Доктор Ваматр один раз уже сделал это, получив разные виды протоксенусов. Вы ведь

понимаете — ничего подобного нет на Земле. Протоксенусы — это высочайшая стадия развития насекомых, но и они, обладающие таинственными свойствами и еще не до конца познанными возможностями, тоже осуществляют метаморфоз. Яйцо — личинка — нимфа — имаго. А если разорвать и это кольцо, если еще один виток спирали? Подумайте только, ведь может получиться форма жизни столь совершенная, что всё известное до того покажется примитивным!

Теперь она сидела верхом на скамье, совсем-совсем близко к Крэлу, и, заломив кепку, жестикулируя, горячо и убежденно говорила о том, как, по ее мнению, нужно разорвать кольцо.

— А дед не соглашается, — закончила она грустно.

— Какой дед?

— Ваматр. Мы его так зовем.

— Он же не очень стар.

— Всё равно он — дед. Смешной и... страшный. Не согласен он со мной, но опыты ставить разрешил. Крэл, вы мне поможете?

Крэл насторожился. Что это, искреннее увлечение делом или еще одна уловка, предпринятая для того, чтобы выманить секрет? А Инса продолжала с энтузиазмом:

— Я уже всё продумала. Пока для первого этапа только. Не имея характеристики излучения, мы не движемся дальше. И даже фермент, — Инса умолкла на минуту, изучающе глядя на Крэла, — даже фермент не поможет. Как же снять характеристики? Надо применить ваш метод работы на гналоскопе.

— Не годится.

— Знаю, знаю, сделать запись с отдельных узлов нервной системы протоксенусов чрезвычайно трудно, пожалуй, просто невозможно, но, я считаю, о суммарном коде излучаемых волн судить нам удастся. Эксперимент можно поставить красиво... Только вот, — Инса смущенно, совсем по-детски завертела пальцем на скамье и, не глядя на Крэла, призналась: — Боюсь я их. Ненавижу и боюсь. Не только протоксенусы, но и обычные насекомые омерзительны... Я злюсь на себя, презираю себя за то, что не могу побороть отвращения к ним, и назло себе ношу в брелке кусок вот этого уродца. — Инса, как мальчишка, совсем не стесняясь Крэла, расстегнула блузку и вытащила прикрепленную к цепочке плоскую коробочку. — Ношу и ношу. — Она подбросила ее на ладони и ловко,

едва уловимым движением, отправила на место. — Ночью не спимаю, а всё равно мне от них противно становится... Завидую Ваматру: он целовать их готов. Насекомых. Всяких. Может быть, даже пауков. Впрочем, пауки не насекомые. Те еще отвратительней.

Признание это затронуло что-то очень сокровенное в Крэле: он увидел в Инсе себя, узнал в ней свое всегдашнее стремление преодолевать преграды тем настойчивей, чем они трудней и противней. Крэл взял Инсу за руку, но она сейчас же ее отняла.

— Отведений падо сделать много. Десятки. Может, сотни. Подать их на сумматор, расположенный подальше от вольтеров и...

— Стоп, стоп! Почему же подальше? Надо поближе, как можно поближе, чтобы исключить потери, случайные наводки.

Инса долго не отвечала. Встала, заправила волосы под кепку и ладонями отряхнула комбинезон.

— Нельзя близко. Попробуем сначала на большом расстоянии и посмотрим... Посмотрим, как вы, работая на гиалоскопе, будете снимать показания, руководить опытом и одновременно... и одновременно лечиться... Всё дело в том, как вы будете себя чувствовать, находясь метрах в десяти — пятнадцати от протоксенусов. Количество лейкоцитов будем определять постоянно. Всё это, конечно, под наблюдением врача... Я пойду, Крэл.

«Скоро семь. Никуда я не уехал. Как же это получилось? Ага, в дверях стояла Инса, и потом этот разговор... Башня, башня, Инса тоже о башне, о лечении... А может быть, и она... Увидела тогда, на автобусной станции, и стало ей так же тепло, хорошо, так же неповторимо радостно, как и мне. Ведь бывает, бывает такое, невероятное, в жизни! Только как узнать, проверить? Хочет вылечить, заботится... Хук, вероятно, тоже предпочитает здоровых сотрудников больным... Не верю, не верю ей! Если смогла пойти на обман, если умеет так притворяться... Вроде и простить нельзя такое, а не удастся не думать о ней... Милая, смешная... Вот убежала, со щек масло так и не стерла. Стоит уже у ворот. Кто там с ней? Окружили ее, смеются, верно, спорят, обсуждают результаты соревнования, она размахивает руками, что-то доказывает. Бойкая и толковая... С отведением на сумматор она хорошо придумала. Здрóрово может получиться. Это то, чего не хватало у Оверберга, — протоксенусов. Их

много в башне, и если не удастся снимать характеристику излучения у отдельных особей, то действительно стоит попытаться суммировать. В свое время Нолан именно так и сделал. Только благодаря этому Ваматр получил протоксенусов. Теперь примерно то же самое надо повторить на протоксенусах. В башне разместить установку...»

С пригорка, на котором стоял гараж, башня видна была хорошо. Приземистая, серая, она не намного возвышалась над кронами вязов. Рискнуть разве? А если действительно в ней исцеление... Почему Нолан никогда не упоминал об этой возможности? Знает он о Холпе много, подозрительно много. Кто же здесь у него «свой человек», как выражается Хук... Хук! Да ведь восьмой час уже!

Крэл почти бегом пустился с пригорка и через несколько минут, тяжело дыша, вошел в лабораторию.

— Простите, я...

— Ничего, ничего, я у вас отдыхаю, — успокоил Хук, раскуривая сигару. — Тихо здесь, хорошо, а день выдался хлопотливый. Вы курите?

— Нет. Бросил.

— А я вот надымлю у вас, — сокрушенно заметил Хук.

— Пустое. Здесь отличная вентиляция.

— Как вы оценили работу Ялко?

— Сопевание прошло толково. Мне еще рано судить об их работе, но уже теперь я бы кое-что изменил в методике.

— Мы возлагаем на вас большие надежды, Крэл. Хотелся, чтобы поскорее ушли ограничители и вы включились в работу, — нам нужен фермент.

— Не подгоняйте меня. Мы ведь условились с вами — я должен иметь время, чтобы разобраться в том, что здесь происходит... и происходило.

— Вас волнует история с Лейжем?

— Хотя бы.

— Извольте. Я уже рассказал вам, как попал к нам Лейж. Приняли его в Холпе хорошо, хотя мы и знали, с какой целью он пришел, догадывались, что у него всего-навсего несколько кубиков фермента и секрет синтеза, пожалуй, ему неизвестен. Насторожен он тогда был больше вашего. А тут я еще затеял эту не очень остроумную игру, и получилось худо. Всё бы это, конечно, уладилось, но вот протоксенусы... В ту пору мы не знали, каким коварным может стать их влияние...

— Как, разве доктора Ваматра ничему не научила трагедия с Эльдой Нолан и Бичетом?!

— О нет, столь мощное влияние уже было изучено и найдены средства, позволяющие людям безбоязненно находиться возле протоксенусов. Несчастье с Лейжем — это новый этап в познании необычных существ. Здесь имело место более тонкое воздействие протоксенусов на человека. Подопытным случайно оказался Аллан Лейж. Никто тогда не подозревал, что протоксенусы способны на расстоянии влиять не только на обменные процессы, но и на психику. К счастью, не на всех людей. Лейж был особенно восприимчив. Здоровяк, молодчага, уравновешенный и веселый, — кто мог подумать, что именно он поддастся легче других! Тянуло его к протоксенусам, как алкоголика к бутылке. Он боролся с этим чувством — а мы и не подозревали — и не справился с собой. Начался психоз.

— В чем он выразился?

— Неладное мы начали замечать, когда Лейж маниакально стал добиваться участия в эксперименте. Бог мой, какие он закатывал истерики! Мы подумали, что на островах он успокоится, и взяли его в экспедицию. Совершенно неожиданной для нас была его реакция на результат опыта. Кости обезьян, начисто обглоданные лимоксенусами, он принял за кости людей.

— А может быть...

— Ничего не может быть, Крэл. Возьмите в архиве дело № 0117. Я распоряжусь, и вам дадут его. Там вся документация, в том числе и акты по отчуждению, списки проживавших на острове аборигенов, списки эвакуированных. Никто, разумеется, не собирался ставить опыт на людях. Сами понимаете — этого, прежде всего, не требовалось. Если на то пошло, способность лимоксенусов истреблять всё живое и так была проверена достаточно.

— А если произошла ошибка?

— Нет, ошибки тоже не было. Эвакуированы были все, и все остались живы. Просто с Лейжем уже творилось неладное. Обострение началось по возвращении в Холл. Сразу же он бросился к своим протоксенусам и вскоре устроил нам такое... Вот здесь, в этой лаборатории. Он заперся в ней, а ему почудилось, что заперли его снаружи. Мне доложили о его поведении, и я немедленно послал за доктором Рбалом. До приезда врача я пробовал

говорить с Лейжем. Не открыл он и мне. Пришлось говорить с ним по внутреннему телефону. Никакие увещания не помогли. Я ему говорил одно, а он, совершенно не понимая меня, твердил свое. Ему чудилось, что у меня только одна злодейская цель — принудить его выдать секрет синтеза фермента.

— Что же вы предприняли?

— До приезда Рбала дверь я не разрешил взламывать. Надежду договориться с Лейжем по телефону я оставил и пришел сюда опять. На мои просьбы открыть дверь он отвечал бранью, и вскоре мы услышали звон разбитого стекла — Лейж запустил в окно тяжелым октонометром. Затем наступила тишина. Признаться, мне стало не по себе: вдруг он что-нибудь учинит над собой. Я уже решил отдать команду ломать дверь, как мы слышали гармонике. Сомнений не оставалось — парень свихнулся окончательно. Приехал доктор Рбал. Он тоже пытался уговорить Лейжа открыть дверь, но тот продолжал играть. Рбал позвонил по телефону. Лейж долго не отвечал, потом ответил. Едва выслушав, обругал врача, швырнул трубку и снова принялся за свою губную гармошку.

— Вы знали, почему Лейж играл на гармонике?

— Нет, Лейж рассказал нам всё позже, когда дело у него пошло на поправку. Тогда нам было не до гармоник. Мы решили взломать дверь. Я первым вошел сюда. Брошенная Лейжем трубка еще раскачивалась на белом шнуре. Почти всё здесь было разбито, изуродовано, а сам он, скорчившись, сидел в углу, вон на том столике. Вид у него был, прямо сказать, дикий. Лейж озирался по сторонам, никого из нас не узнавая, конечно. Прикрываясь руками, защищаясь от нас, от воображаемых лимоксенусов, он кричал, что не даст фермент, не может дать, не знает секрета Нолана. Рбал попытался успокоить его, и это вызвало особенно резкую реакцию... Ничего не оставалось, как ввести аминазин. Мы еле справились с Лейжем, помогая Рбалу. Он вогнал ему под лопатку шприц. Потом еще одна инъекция, и Аллаи стих.

Крэл встал, подошел к окну, затем к маленькому столику в углу, у входа, на котором теперь опять в полном порядке стояли приборы, и оттуда посмотрел на Хука. Хук всё такой же — бронзоволицый, медально-спокойный, уверенный в себе.

— А динамики?

— Что?

— Динамики, микрофоны для подслушивания, телеобъективы. Всё это действовало?

— Глупости, Крэл. Этого еще нам не хватало. Нолан вам внушил? — это Хук спросил очень строго, но ответа не получил.

— Так, значит, Рбал ввел Лейжу изрядную порцию аминазина, и потом?

— Лейж был первым пациентом нашей маленькой клиники. Выходили его, и он остался у нас, работает. Должен сказать, хорошо работает. Уравновешен, не возбужден излишне, даже с протоксенусами ладит. В этом ему помогли приборы и защитные приспособления, созданные в наших лабораториях. Словом, всё хорошо, но иногда он начинает всё же нервничать. Не может спокойно слышать имя...

— Рбала?

— Нет, — усмехнулся Хук. — Нолана. Если можно, старайтесь не заговаривать с ним о Нолане. Впрочем, теперь он уже не так болезненно будет реагировать и на это, а вот вскоре после клиники каждого вновь появляющегося в Холпе он настороженно, таинственным шепотом спрашивал: «Вас подослал к нам Нолан?» Больше всего почему-то его беспокоил молочник, который каждое утро привозил в нашу столовую продукты. Стоило только появиться молочнику в Холпе — и Лейж сейчас же начинал допытываться, не подослан ли он Ноланом. Пришлось переменить молочника. Ну а вы, Крэл, вы ведь и в самом деле от Нолана, так что при разговорах с Лейжем...

— Я не от Нолана.

— Тем лучше, конечно, однако согласитесь, мы еще далеки от полного взаимного доверия.

— Несомненно.

— Можно только сожалеть об этом. Видимо, живуч закон, утверждающий, что правд столько, сколько людей, считающих свою правду самой правдивой.

Хук поднялся.

— Мне пора. На днях в Холпе будет доктор Вamatр, я попрошу его не таиться от вас, попробую уговорить его. Если он расскажет вам, для чего нужен фермент, то вы...

— То я?

— То вы не устоите!

Уехать из Холпа на конец недели было совершенно естественно. Крэл так и собирался сделать. Однако из этого ничего не вышло. Странно, но никто не уезжал из Холпа на конец недели. «Плывать, конечно, что не уезжают, а я возьму и уеду! Но почему всё же никто не собирается ехать? Молчаливый заговор, или существует всё-таки какой-то непонятный заслон... Вероятно, если потребуешь сейчас машину, она окажется неисправной».

— Алло! Гараж?.. Как там насчет моего «дисмена»?.. Всё в порядке? Так... Хорошо, спасибо... Да, я собираюсь в город.

Утром в субботу он не встал с постели. Стоило ему не появиться к завтраку, как из столовой позвонили. Теперь в коттедж аккуратно носили еду. Из клиники пришел врач, медсестра, и на секунду показалось, что входит Инса, почему-то сменившая комбинезон на белый халат...

В воскресенье к вечеру самочувствие улучшилось, и он решил выйти из коттеджа.

Солнце на прощанье вызолотило парк, и он стоял недвижимый, гордый своим древним происхождением и уже смирившийся с торчащей посреди него серой башней. Воздух был чист, прохладен, и, вдохнув его, Крэл ощутил бодрость, сбежал со ступенек, спеша окунуться в закатную красоту деревьев, и тут увидел Инсу.

Она сидела на скамеечке тихо, пригорюнившись, и похоже было, что сидит она здесь давно. Всё то время, которое проболел Крэл.

— Немного лучше стало, Крэл?

— А вы почему не в городе?

— В городе? — удивление ее было неподдельным.

— Ну да, почему вы не поехали в театр или, скажем, на ипподром? Сегодня скачки. Вы любите скачки? Вы что, вообще никогда не выезжаете из Холпа? Я хотел сказать теперь, когда я здесь, не выезжаете? Стережете?

— Не надо, Крэл. — Инса смотрела на него так, как никогда не смотрела раньше. Сочувствие и скорбь, тревога, почти отчаяние промелькнули в ее взгляде. И доброта. Доброта такая, с какой может смотреть только женщина. — Не надо... Я очень ждала...

Но Крэл, хотя и увидел Инсу такой впервые, еще не мог остановиться и спросил резко, почти грубо:

— Чего ждали?

И Инса снова стала мальчишески колючей, высунула кончик языка, наморщила нос и выпалила:

— Астрономов!

Крэл сел на скамью, вытер капельки пота со лба.

— Ничего не понимаю, каких астрономов?

— А они едут в Африку. Два-три дня побудут в Холпе, и в кратер.

— Инса, я был дураком. Я просто поверить не мог, Инса. — Крэл схватил ее за руку, но она быстро отодвинулась от него, обхватила руками колени и раскачивалась потихоньку из стороны в сторону. — Инса!

— Хотите с ними познакомиться? Они отличные ребята.

— Инса...

— Я никогда не смотрела в телескоп... Не пришлось. Когда была маленькой, отец обещал, обещал, да так и не сводил. Телескоп стоял в парке. Над обрывом. Надо было опустить монетку, и тогда давали посмотреть.

Крэл не понимал, о чем она, слушал ее голос и никак не мог сообразить, что же можно сказать ей.

— Инса, я поверил. Вашему взгляду поверил, — выговорил он наконец, пытаясь завладеть ее руками. — Я никогда...

— Я уйду, Крэл.

— Нет, нет, не уходите!

— Тогда оставим это. У вас всё равно ничего не выходит. Не умеете вы говорить... о себе. Всё еще разговариваете со мной, как с фабричной девчонкой, и приемчики какие-то у вас пошленькие, и слов-то вы не находите подходящих... Ну почему такое: умный, интересный человек, а как начинает о своих чувствах говорить, пускает слюну, лезет обниматься и лепечет что-то несусветное?!

— Инса!

— Ну вот, уже обиделись.

— Не выходит... Не выходит, говорите... Это правда. Ничего у меня не выходит. Один раз показалось, что пришло большое, настоящее, единственное...

— О господи, теперь возвышенный стиль! А ведь вы и для себя ничего не решили... Ни обо мне, ни о себе... Обостренный самоконтроль, доведенный до абсурда. Мечетесь, никому не верите, и трудно вам. Самому с собой трудно. А по-моему, проще надо. Веселей, легче и больше веры в людей.

— Пожалуй, это самое трудное... Верить? Верил я. Альберта Нолана считал образцом человека и ученого. Счастлив был, что мне довелось общаться с самим Альбертом Ноланом... И вот всё летит к черту.

— Опять крайности... Становится прохладно, Крэл. Вам надо одеться потеплее.

— Нет. В один день, вернее, в одно утро, светлое, мое утро, когда я распахнул окно лаборатории после трудной и особенной, неповторимой в жизни ночи, вошел Нолан и сказал свое «нет» моему открытию.

— Но он ведь не собирался присвоить открытие. Мне кажется, он ничего не отнимал у вас, скорее дал вам.

— Дал? Что же?

— Свое отношение к жизни, свою оценку открытия. И вы... вы взяли, Крэл, последовали его убеждениям. Он дал вам веру свою. Пожалуй, он из тех, что дают, а не отбирают. Всё дело в том, как дают. Одни дают, обогащая людей, и не беднеют при этом сами. Другие берут и становятся беднее.

— Да, Нолан бескорыстен, Нолан просто чувствует себя ответственным перед лучшей частью человечества и боится, что наше открытие использует худшая. А разве легко разобраться в этом «лучшем» и «худшем»? Я увидел Нолана совсем иным и не мог понять, чего больше в нем — веры в человека или скорби по поводу того, что человек еще мерзок. Всё это в конце концов как-то можно было понять, что-то принять, с чем-то не соглашаться, но вот борьба, в которую он вступил, методы, которыми он начал пользоваться, подорвали мою веру в него... Еще труднее, вероятно, поверить Ваматру.

— Вы ведь совсем не знаете его... А я знаю... Очень давно знаю.

— Даже очень давно?

— Да, с детства. Он был близким другом моего отца. Мать боялась, ненавидела Ваматра и... не любила отца... Ревновала его к Эльде и не любила... Мать ушла от нас, и мы остались с отцом вдвоем. Два мужика, как он говорил. Отец очень хотел, чтобы у него был парень... Отец был хороший, по-настоящему хороший, но мне было его мало. Он всегда пропадал там, в своей лаборатории. И вот однажды... Крэл, пойдите наденьте свитер.

— Мне не холодно.

— Крэл, я вас прошу! — просьба прозвучала приказом, и Инса, вероятно стремясь подкрепить приказ, встала со

скамьи. Крэл тотчас вскочил и взял ее за кончики пальцев.

— Вы не уйдете, пока я буду переодеваться?

Инса рассмеялась. Тихо, ласково. И не высвободила своих пальцев, а только подтолкнула Крэла к крыльцу.

Крэл переоделся мгновенно, выбежал и, еще застегивая пуговицы пиджака, нетерпеливо спросил:

— И однажды?

— Он не пришел из своей таинственной лаборатории. Ваматр стал заботиться обо мне. Он оплачивал пансион, я смогла благодаря ему получить образование... И я захотела к отцу, в такую же таинственную лабораторию, где игра на скрипке может убить или сделать счастливой. Невероятно счастливой. Пусть на один только миг...

— Инса, что же это? Неужели вы, дочь Бичета, и...

— Не перебивайте меня. Можете?

— Могу.

— Еще студенткой — училась я плохо, разбрасывалась, хватала те знания, которые казались наиболее интересными, — еще девчонкой, я уже считала, внушала себе и крепко верила, что ученые скрывают многие свои открытия, берегут мир от ужасов, которые могут принести их открытия. Я верила, что все мы живем в мире, в котором немало бутылок с запрятанными в них джинами. Понимаете, Крэл, как это страшно и как интересно. Живем и ничего не подозреваем. А ведь мы не знаем, насколько надежна корпорация ученых, оберегающая мир от опасных открытий.

— А может быть, такой корпорации и нет?

— Не знаю. Но мне кажется, всегда следует помнить, что кто-то, не выдержав, пооткрывает бутылки. Или одну. Этого тоже может оказаться вполне достаточно. Наконец, могут просто разбить бутылку. Ненароком, когда задеют свалку. Вот так, как Нолан с Ваматром.

— А мы? Для чего тогда мы, Инса?

— Мы? — не то радостно, не то насмешливо спросила Инса.

— Вы правы, — усмехнулся Крэл, — еще нельзя сказать «мы». Просто я подразумевал младшее поколение ученых. Хочется думать, что решать будет оно, а не Нолан или Ваматр.

— Для этого надо сделать не меньше, чем сделали они. Надо по крайней мере стремиться к этому. Еще

в университете я решила просить Ваматра взять меня в лабораторию. Он взял. Наверно, из-за отца. Здесь я Ваматра узнала лучше, поверила в его талант — яркий, неистовый и разнообразный.

— Я так много слышал о нем дурного...

— Неудивительно. Он не скрывает своих недостатков и пороков. Сознывая свое несовершенство, он так много и с такой душевной напряженностью утверждал в себе «дьявола», что сумел, кажется, поверить не только в отдельных людей, но и в человечество, утверждая, что оно не может не идти к лучшему при всем своем несовершенстве. Дед очень часто говорил мне о Нолане. Он до сих пор любит его. Всегда будет любить его и завидовать ему. Об Альберте Нолане, знаменитом Альберте Нолане он говорит как бы споря с ним, всегда ведя заочную дискуссию. Слушая его, я утвердилась в своей детской вере. Я поняла — да, тайные открытия существуют и их охраняют такие люди, как Ваматр.

— И доктор Нолан!

— Не уверена. Мне трудно судить об Альберте Нолане, но он, по-видимому, слишком всё идеализирует и, вероятно, мало знает людей. Только очень хорошо понимающая недостатки человеческого общества, можно так верить в его будущее, как верит Ваматр. Он считает, что дьявол является прогрессивным началом, сеет разумное, не очень доброе, но вечное, считает, что дьявол борьбы и свершений всегда более прогрессивен, чем бог успокоенности и сытости.

— Инса, вы апостол Ваматра!

— Я не очень горжусь этим, но и не стыжусь этого.

— Из всего сказанного вами мне близка одна мысль — бороться можно и нужно только в том случае, если очень хорошо знаешь, против чего и за что борешься. Вы открыли мне доктора Ваматра с совершенно неведомой стороны. Но и насторожили еще больше.

— Чем именно?

— У меня создалось впечатление, что доктор Ваматр способен раньше чем кто-либо выковырять пробку из бутылки. Судя по вашей характеристике, сделать это он может, руководствуясь самыми разными поводами — и излишне уверовав в человека и просто для того, чтобы посмотреть, что из этого получится.

— Не буду убеждать вас, Крэл. Ни в чем. Решать будете сами. Вам многое придется решать самому... Если

сможете не подпасть под влияние Нолана или Ваматра. Скажу вам только одно — это касается способности Ваматра хранить бутылки — здесь, в Холпе, есть физиологи, биохимики, физики, электроники, врачи. Вот сегодня приехали астрономы. И нет ни одного... ни одного энтомолога, не считая, конечно, Ваматра.

— Не понимаю.

— Никто, кроме него, не знает, как можно вывести протоксенусов. Никто, случись с ним что-нибудь, не сможет повторить опыт и из земных насекомых сделать такое... такое чудо.

Инса ушла, так и не рассказав об астрономах. В «клуб» идти запретила — ослушаться нельзя! — и ничего не оставалось, как вернуться в коттедж. Немного знобило, но казалось, обострение болезни не углубится и можно будет начать налаживать установку для определения характеристики излучения... Может быть, даже завтра... завтра в башню!

«Завтра» не получилось. Временное улучшение кончилось, и Крэл не смог подняться с постели... Длительное недомогание — какая это гадость. Тело не слушается мозга, а мозг утомляется быстрее обычного. Болезнь скорее раздражала его, чем тревожила, а чаще всего вызывала досаду... Ведь надо бы сейчас начать монтаж установки, а врачи...

Три дня прошли незаметно. Процедуры, медсестры, сменяющие одна другую; постоянно навещали сотрудники (Инса не зашла ни разу), а по вечерам приходил Ялко. С ним он наслаждался молчанием, как можно наслаждаться только молчанием. Крэл полулежал на высоких подушках — меньше донимала боль, — Ялко устраивался рядом в кресле, и их разделяла только шахматная доска. Каждую фигуру Ялко брал с застенчивой улыбкой. Обычно он держался непринужденно, порой немного развязно, но, когда дело касалось игры в шахматы, внешне робел, смущался.

— Вы превосходный шахматист, Петер, — заключил Крэл, понимая, что выиграть у Ялко он так и не сможет.

— Ну уж и превосходный. Просто я много времени работаю с протоксенусами. — Ялко сделал ход и поднялся с кресла. — Мат. А выигрываю я только в Холпе. В городе я бы с вами не справился. Покойной ночи, Крэл. И не болейте, ладно?

А ночь получилась беспокойная. Крэл часто просыпался, и каждый раз первой мыслью было: а что происходит в башне? Сколько их там и что они могут? Ваматр не дает им размножаться, сохраняется строго определенное количество особей, вернее конгломератов, какой-то общей массы. Еще и не понять толком — одно это существо или колония, связанная единой системой, единым биополем. Может быть, несколько колоний, влияющих друг на друга и создающих вокруг башни какое-то биополе... Вокруг башни? А на каком расстоянии от башни?.. Крэл еще не был в ней, не видел протоксенусов, а неоступно думал о них. Не мог не думать, и думать о них было удивительно приятно. Само слово «башня» приобрело особенное значение, неразрывно связанное с ними, с их эйфорическим воздействием. Тянет, тянет к ним даже тогда, когда еще не подошел к ним. Что-то привлекает к ним людей, и это они, вероятно, создают у всех здесь хорошее настроение.

В общем, в Холпе все очень мило, добродушны, веселы, не уезжают отсюда, охваченные особенной приподнятостью, постоянным, не ярким, а удивительно приятным чувством.

Под утро он заснул. Крепко, без снов и счастливо. Проснулся бодрым и тотчас стал одеваться.

Вошла медсестра и испугалась:

— Вам ведь не велели вставать!

— Простите, сестра, но я должен послать ко всем чертям медицину. По крайней мере сегодня.

— О!

— Это относится к медицине, а не к медикам. Особенно к медичкам. И позвольте мне пройти — через пять минут я хочу быть в лаборатории.

— Я пожалуйюсь доктору Рбалу, — улыбнулась сестра, — это остановит ваш трудовой порыв?

— Нет.

— Тогда только пальчик.

— Это можно.

Сестра пробила ему кожу на безымянном пальце, набрала крови и, продолжая мило улыбаться, обрадовала Крэла:

— Все вчерашние ваши анализы хороши. Медленно, но верно количество лейкоцитов возрастает.

— Я готов вас расцеловать, сестра!

— Но вы так спешите в лабораторию!

Крэл звонко поцеловал кончики своих пальцев и оставил медсестру в некоторой растерянности.

С веранды он сбежал быстро, но, пройдя несколько шагов, почувствовал слабость. Стало одновременно смешно и грустно, когда непослушные, будто изготовленные для куклы, ноги неверно ступали по тропинке, ведущей в лабораторию. Не успел он подумать: «Непременно где-то перехватит меня Инса» — и Инса появилась перед ним.

— Почему вы встали? — это она выкрикнула с испугом.

«А почему вы всегда преследуете меня?» — захотелось выкрикнуть в ответ, но он сдержался.

— Я решил пренебречь болезнью, Инса. Бросьте прочитать надо мной и давайте займемся одной любопытной проверкой. Прикажите доставить сюда гиалоскоп. Я сейчас принесу свои кюветы с индикаторами. Усилим действие индикатора, соединив его с прибором, и — в путь! Путь начинается у башни.

Он рассказал о задуманной проверке. Инса поняла сразу, не стала спорить и взялась помогать ему. Через час всё было готово. Крэл, возбужденный, уже предвкушая наслаждение от самого процесса проведения опыта, напевал, в последний раз проверяя схему. Удовлетворившись проверкой, он торжественно глянул на Инсу и нажал кнопку. Стрелка гиалоскопа не дрогнула.

— В чем же дело? Здесь, у самой башни! Да прибор должен зашкаливать! — Крэл стал снова просматривать схему, идя от узла к узлу. — В чем же дело?

— Крэл, — мягко сказала Инса, — вы не подумали, что здесь, в Холпе, обстановка, деловая и вместе с тем радостная, создается не в результате какой-то «протоксенусовой наркомании», а просто потому, что людям хорошо? Каждый занят увлекательным делом, все работают с удовлетворением, дружно, живут в приличных условиях.

Крэл недоверчиво смотрел на нее, а она продолжала:

— Поверьте, Ваматр не станет излишне рисковать. Техника безопасности, Крэл, разработана неплохо. — Инса направилась к входу в башню и оттуда, от дверей, крикнула: — Я скажу, чтобы открыли один сектор экранировки.

Не успела она вернуться, а Крэл уже понял — открыли: стрелка гиалоскопа зашкаливала.

— Крэл, вам не следует рисковать. Пойдемте отсюда, — потребовала Инса, подбегая к прибору. — Захватите штатив, я возьму индикаторную панель. Сняли северо-западную защиту. В том направлении никаких поселков нет. По крайней мере, на протяжении ближайших пяти-шести километров.

По мере того как они отходили от вместилища протоксенусов, стрелка понемногу стала подниматься. У ворот она трепетала посредине шкалы.

Крэл вспомнил: «А ведь я ни разу не переступил эту ничем не защищенную линию всегда открытых ворот». Он сорвал лиловый граммофончик и с поклоном протянул его Инсе.

— Какая щедрость!

— Этот цветок я дарю вам в знак...

— Может быть, мы продолжим промеры, Крэл?

— Да, конечно, — не без смущения согласился Крэл и переступил невидимую черту.

Промеры показали, что влияние существ, содержащихся в башне, обнаруживается примерно в километровом радиусе. Приборы Крэла были чувствительны, однако никто еще не знал, предел ли это. Нельзя ли сделать индикаторы более совершенными, позволяющими обнаружить наличие поля, создаваемого протоксенусами и на гораздо большем расстоянии. Заняться этим было любопытно, но Крэл считал, что есть задача важнее. Почувствовав себя немного лучше, он поспешил начать эксперимент, предложенный Инсой. Пока он болел, Инса успела закончить подготовку к опыту. Отведения на сумматор были сделаны, и на расстоянии двенадцати метров от башни, в наскоро построенном, но хорошо оборудованном павильончике был установлен пулът.

Начались первые опыты. Будничные, скучные. Попытка сделать чисто количественную проверку — на каком расстоянии удастся обнаружить влияние протоксенусов — была эффектной, результаты ее видны были сразу же, а здесь, в павильончике... Да, подойти к качественным определениям, как-то выявить характер распространяемого вamatровскими питомцами излучения, было не просто.

Инса, занятая работой по своей теме, навевалась к Крэлу редко, и это ему даже нравилось. Как только он почувствовал себя сильнее, бодрей, сомнения и насторо-

женность вновь завладели им. Что же всё-таки происходит в Холпе? Хук, деловито заглядывая в календарик, сказал: «Послезавтра». Прошла неделя после этого «послезавтра», а Лейж не появился. Дурачат, что ли? Всё выдумали — ловко, правдоподобно, дескать, никакие лимоксенусы не кусали Лейжа, а вот доктор Рбал действительно вогнал ему два шприца с успокоительным... Чертовщина какая-то... И уйти отсюда не хочется, хотя вроде никто и не держит, а в работу незаметно втянулся... Эйфория проклятая! Впрочем, нет, опыт, проведенный вместе с Инсой, действительно убеждает. Экранируются протоксенусы, и стрелка недвижна. И всё же... Всё же соприкасаются с ними люди довольно часто. Несомненно, протоксенусы подбадривают, и потому к ним тянутся люди. Побудет в башне экспериментатор час-другой, даже в защитной одежде, и смотришь, выходит свежим, словно хвойную ванну принял или чашку крепкого кофе выпил... А каковы могут быть последствия? Никто не знает, конечно... Хорошо, что экранированы. Удобно сделано: можно снимать защиту по секторам.

Сектор, находившийся против павильона Крэла, теперь был открыт постоянно. Между пультом и башней, таким образом, возникала не только проводная связь, но и незримая, еще не познанная. Обнаружить наличие этой связи можно было только пользуясь индикатором Крэла, но и он не давал возможности делать какие-либо заключения о характере этой связи, о ее сущности.

Не получалось и более простое: отведения, поданные на сумматор, ничего не давали, и вскоре Крэл распорядился придвинуть павильончик с пультом почти вплотную к башне. Уменьшив таким образом потери, он надеялся получить более вразумительные данные, но только вызвал сумятицу в Холпе. Первым прибежал Ялко:

— Крэл, происходит что-то непонятное. Как только вы приблизили пульт к вольтерам, протоксенусы словно замерли. Мы, право, не знаем, что и делать.

Пришла Инса:

— Крэл, я боюсь, как бы нам не попало от деда. Протоксенусам плохо. Не принимают пищи, вялые, не реагируют на обычные, знакомые и благоприятные для них раздражители. Неужели оттого, что вы приблизили пульт?!

— Ерунда какая-то. Вы же понимаете, на пульт поданы провода от датчиков. На пульте нет ничего, кроме

измерительных приборов, да смонтирована двусторонняя звуковая связь: пульт — башня. Что же на них может влиять? Я готов попятиться со своим пультом, но, черт возьми, жаль.

— Жаль? Тогда рискнем, — с озорством заключила Инса. — Попробуем в течение еще одной смены провести наблюдение не отодвигая пульта.

Попробовали, и получилось совсем непонятное — протоксенусы (теперь за ними велись особенно тщательные наблюдения) чувствовали себя совершенно нормально, хотя в схеме эксперимента ничего не изменилось. Кроме одного — дежурил сменщик Крэла.

Утром за пульт сел Крэл, и вновь началась паника.

— Крэл, они погибнут, вы представляете, что тогда будет!

— Нет, Инса, не представляю, но, вероятно, что-то нехорошее будет, если они погибнут.

— Не шутите, это очень серьезно.

— Ваматр не едет... Может быть, он понял бы, в чем тут дело. Хук сказал мне, что дед вот-вот должен приехать.

— А он и придет. Скоро придет. Он не может долго отлучаться. Не может без башни, без них. А сейчас что будем делать?

— Я попытаюсь увеличить чувствительность приборов, и тогда можно будет отодвинуть пульт от башни. Нелепо это... Неужели я...

Павильончик — его теперь называли «пост Крэла» — передвинули, и протоксенусы успокоились. Стало очевидным: дело не в пульте, а в самом Крэле. Чем ближе он подходил к башне, тем хуже себя чувствовали питомцы Ваматра, а когда Крэл наконец решился и вошел в дверь, прозвучал сигнал тревоги. Всполошился весь персонал, обслуживающий вольеры. Крэлу пришлось немедленно покинуть башню.

Несомненно было одно: ни Крэл к протоксенусам, ни они к нему приближаться не должны. Как истый экспериментатор, он не мог удовлетвориться одним опытом, но, понимая, как рискованны подобны проверки, счел за благо пока отказаться от них. «Ну хорошо, — размышлял Крэл в перерывах между записями показателей, — мне становится худо в непосредственной близости от них, и это как-то объяснимо: ослабленный лейкемией организм не способен преодолевать их сильное воздействие,

самочувствие резко ухудшается. Допустим... А они? Что происходит с ними?»

Вопрос оставался без ответа, но в эту же смену Крэлу удалось ответить на такие фундаментальные вопросы, что он разом забыл о том, что протоксенусы, по-видимому, терпеть не могут его присутствия.

До этого Крэл не интересовался, какой режим нужен для нормального развития и существования протоксенусов, содержащихся в башне. Из отчетов он знал, что вольеры окружены тонкими двойными стенами башни, между которыми идут к самой верхушке железные, почти вертикальные лестницы; знал, что наверху находятся генераторы, без которых протоксенусы долго существовать не могут. Известно ему было, что в башне поддерживается низкая температура, пониженное давление. Что же касается режима их питания, цикла развития и размножения, то на эти данные он не обратил особого внимания, и они стали занимать его только после сигналов тревоги. Теперь Крэл отлично помнил, в какие часы протоксенусам давали пищу, какой поддерживали режим генераторов, и наметил, как поставить опыт.

Первая удача пришла внезапно. В час, когда началась кормежка, дрогнула стрелка гиалоскопа, на экране изменился постоянный узор, день и ночь рисуемый сумматором, и Крэл закричал «ура». Молча, про себя.

Повторить, повторить! Вновь и вновь. И Крэл повторял записи. Одну за другой. И каждый раз совершенно отчетливо приборы отмечали изменение характера излучаемых протоксенусами волн во время приема пищи. В начале опытов рисунок на экране гиалоскопа был примитивен и не очень упорядочен. Заметные изменения можно было обнаружить только при приеме пищи, испуге, но дальше... Дальше появились такие наблюдения, которые надо было проверять и проверять. «Чтобы не было слишком страшно», как говорил Крэл.

В павильончике стало тесно. Кроме Крэла и двух его лаборантов там теперь неотлучно находился Петер Ялко и, конечно, Инса.

— Дед убьет меня, — стонала Инса. — Тему забросила и сиюж здесь. Что-то будет! Да он ведь испепелит — это его любимое словечко.

— А мы покажем ему такую вот картинку, Инса. — Крэл развернул широкий рулон с записями, снятыми на гиалоскопе.

— Что это? Да ведь это вчерашняя запись. Что в ней особенного?

— Ее надо будет сохранить. Получится уникальный, прямо-таки музейный экспонат. С датой, со следами наших пальцев, перепачканных осциллографическими чернилами. Это может пригодиться. На тот случай, когда неблагодарные потомки...

— Ой, да говорите поскорее, в чем дело?!

— Посмотрите на отметки времени. Вот здесь.

— Ну и что? Одиннадцать пятьдесят.

— А интенсивность?

— Предельная. Больше мы не получали.

— И сразу резкое падение, — указал Крэл, проведя ногтем мизинца по ленте. — Почему?

Спор вспыхнул моментально. Инса говорила одно, Ялко — другое, включились и лаборанты, тут же просматривая записи в лабораторном журнале, сверяясь, что и в какой час делали протоксенусы.

— Нет! — каждый раз отрезал Крэл. — Нет. И этот вариант не подходит. Нет!

— Тогда что же?

— Колокол.

— Какой колокол?

— Зазвонили на обед.

— Ну, знаете!

— Нужно сесть, — сказал Крэл, — а то вы попадаете.

— Крэл!

— Нет, серьезно, давайте сядем.

Все сели.

— Думаю, протоксенусы понимают нас.

Казалось, такое заявление должно было вызвать бурю, если не протестов, то споров, но бури не получилось. Все молчали, и Крэл продолжал:

— С самого утра мне не давал покоя вопрос: почему кривая интенсивности пошла вниз? Ну так вот, если вы внимательно посмотрите вчерашнюю запись в лабораторном журнале, то увидите, что никаких изменений в режиме содержания протоксенусов в промежутке между одиннадцатью часами сорока пятью минутами и, предположим, двенадцатью часами пятнадцатью минутами, не произошло. И вместе с тем в одиннадцать пятьдесят кривая пошла вниз. Что произошло? Только одно — зазвонил колокол.

— Позвольте, позвольте, — не выдержал Ялко, — колокол звонит для нас, нас призывает к обеду и не может для них являться раздражителем, способным образовать условный рефлекс.

— Правильно. Дело гораздо сложнее. Разрешите, я закончу, а потом будете судить. Вы, Петер, были в это время здесь, у пульта? Так. И вы, Инса? — Инса молча кивнула. — Ну вот, хорошо. Как только зазвонили на обеденный перерыв, о чем мы заговорили?

— Да разве можно сейчас вспомнить!

— А вы постарайтесь. Я не буду подсказывать вам ответ. Подумайте.

— Я вспомнила, я вспомнила! Вы возмутились, заявив, что еще целых десять минут можно было бы вести наблюдения, а вот зовут к обеду.

— Совершенно верно. А дальше, дальше? Петер, девочки, вспоминайте, вспоминайте.

Никто ничего примечательного вспомнить не мог.

— Ну вот, — укоризненно заключил Крэл. — Все были здесь, все болтали, прошло только двадцать три часа с минутами, и никто не может вспомнить, о чем болтали.

— А вы помните, — постаралась поддеть Крэла Инса.

— Нет. Не удивляйтесь. Это естественно — ведь говорили о пустяках, которые, к счастью, мозг умеет отбрасывать за ненадобностью, не хранит. Но это и важно в данном случае: говорили о пустяках, болтали. Говорили о звонаре-любителе, который впервые стал вызванивать не точно, не в положенное время, говорили о столовой, о чем угодно, — кроме?.. Ну, кроме?

Настойчивый вопрос остался без ответа.

— Да обо всем, черт возьми, кроме протоксенусов! До этого не сходили они у нас с языка — и вдруг веселый перезвон не вовремя!

— Колокол... — всё еще в растерянности повторила Инса.

— Колокол им ни к чему, разумеется. Просто мы перестали говорить о них, перестали *думать* о них. Подчеркиваю, думать о них! И они потеряли к нам всякий интерес. Интенсивность излучения упала, и кривая пошла вниз.

Зазвонил колокол. Ровно в двенадцать, как всегда, но впервые за всё время существования лаборатории Холпа не все оставили работу. У «пульта Крэла» собралось человек восемь. Забыв обо всем окружающем, занялись

одним — составленном плана. Наконец план действий был выработан. Наскоро пообедав, Крэл, Ялко и Инса ушли в наиболее отдаленное от башни помещение, прорепетировали там, как вести по заранее разработанному сценарию разговор, и начали запись на магнитофон. Говорили только о протоксенусах и затем начали болтать о чепухе. По взмаху руки Крэла все трое опять избирали темой беседы протоксенусов, а через несколько минут переходили к обсуждению последней телепередачи, посвященной моде на купальники.

По выписываемому на экране электронным лучом рисунку, бегущему, постоянно меняющемуся, трудно было судить, удастся эксперимент или нет. Но сигналы, показывающие степень активности протоксенусов, записывались на ленте, и на ней же фиксировались моменты перехода разговора с одной темы на другую. Считая пробу законченной, Крэл отключил гялоскоп, вынул кассету с записью и протянул ее Петеру Ялко. Тот понимающе кивнул и умчался в фотолабораторию.

— Не получится, не получится, — постукивала кулаком по ладони Инса, выдавая волнение, — говорим о чем угодно, а всё время шевелится мысль, что вот ведем опыт, стараемся не думать о них до сигнала. Стараемся! А ведь думаем, думаем!

— Запись, конечно, не будет такой четкой, как вчерашняя, когда мы и в самом деле позабыли о них, но заметим же мы какие-то изменения, черт возьми!

Сидеть в пультовой стало невыносимо, и они пошли навстречу Ялко.

Он уже бежал из фотолаборатории, размахивая еще мокрой черной полосой:

— Поняли! Они поняли нас!

Ваматр приехал в Холп ночью и не меньше часа пробыл в башне. Утром он появился в павильончике Крэла. Бледный, осунувшийся, а глаза огромные — может быть, из-за неправдоподобно длинных ресниц, — зазорные глаза, по-юношески живые, но где-то в глубине таящие страх.

— Спасибо! Спасибо вам, Крэл!

Ваматр был уже хорошо осведомлен об опытах Крэла. Когда Крэл протянул ему рулон с записью, сделанной на гялоскопе, он начал говорить о ней так, будто сам присутствовал при эксперименте. Но ему хотелось самому,

своими глазами посмотреть, как производится запись, и он, дотронувшись до прибора, попросил:

— Можно?

Это «можно» получилось у Ваматра — руководителя лаборатории — очень трогательным. Крэл улыбнулся и включил магнитофонную запись.

Ваматр вникал во все детали со знанием дела, и поэтому дотошность его не была обидной. По всему чувствовалось, что не проверяет он, не доверяя, сомневаясь, а сам окунается в самую суть работы. Истово и с наслаждением, словно бережно перебирает в пальцах нечто сокровенное, добытое ценой большого труда и глубоких размышлений.

Ваматр, и это было единственное, что он себе позволил, зачеркнул дату, поставленную на рулоне и закрепляющую момент, когда было произнесено впервые: «Они поняли!»

— Это не так, Крэл. Не так, дорогой. Перед отъездом я ведь просил вас не приближаться к башне. А вы пошли. Они и свернулись, замерли, бедняжки.

— Мы не можем понять, почему это произошло.

— Они боялись.

— Чего?

— Боялись повредить вам, Крэл.

— Помилуйте!..

— Да, да! Вот почему я и позволил себе зачеркнуть дату. Поняли протоксенусы раньше, раньше «высказали» свое отношение к нам, людям. Раньше этой даты. Еще в то время, когда боялись причинить вам вред и гасили свою природную активность. Гасили, рискуя своим существованием. Жизнью! Вы больны, Крэл, вы очень больны и превосходно знаете об этом. Для вас существуют два пути: или под их влиянием вы избавитесь от лейкемии или... или сильное воздействие протоксенусов убьет вас. Они боялись вас убить.

— Вы считаете, что это и есть проявление разума?

— Еще нет. Еще нет. Не думаю. Нужен новый скачок. Необходимо вновь разорвать кольцо, и тогда, вероятно, мы получим более совершенный вид, продвинемся по спирали еще на один виток.

— Насекомые — чужие, — задумчиво проговорил Крэл. — Чужие. Заманчивая и очень спорная мысль. Признаться, мне всё время что-то мешает в этой смелой гипотезе. Я читал вашу работу, написанную вместе с покой-

ным доктором Бичетом. Энтомолог я никакой. Спорить мне с вами невозможно. Спор я веду, если можно сказать, с философских позиций и совершенно не уверен, что протоксенусы, несмотря на их необычайные свойства, — чужие. А может быть, вам удалось получить новую породу? Да, невиданную до того, не бывшую на Земле, но земную.

— Земную?.. В нарушение законов эволюции? В природе тысячи, сотни тысяч лет уходят на совершенствование видов, на естественный отбор, а мы, значит, каким-то чудодейственным способом сжали время. О пет! Такое невозможно. Никому не дано спрессовать время!

— А протоксенусы?

— Их, вероятно, мы получили только потому, что наши земные насекомые еще хранят в генной памяти программу, по которой в определенных условиях может развиваться очень совершенное существо. Может быть, даже такое, как там.... В иных мирах. Только из насекомых могли получиться протоксенусы и только потому, что именно насекомые уж очень не схожи с земными животными... Знаете, с чего началось?

— Нет.

— С ганглиев. Еще студентом я понял, что они — словно засекреченные мины. Знаете, этакая хитрая конструкция: попытаешься в нее проникнуть — и она взрывается. Так и ганглии: достаточно нарушить оболочку ганглия, как всё перестает функционировать и исследователь не в состоянии ничего узнать. Мина взорвалась, не открыв тайну, оберегая ее. Первые радости и первые разочарования. С тех пор и пошло. Я узнал, например, что строение дендрит-нейрона — это принципиально другая архитектура нервной клетки. У всех животных, живущих на Земле, единый механизм передачи возбуждения.

— При помощи медиатора — ацетилхолина.

— Совершенно верно. А вот какой химизм этих процессов у насекомых, наука не знает и до сих пор. И еще: насекомые единственные из животных, на которых не действует кураре.

— Вот это почему-то впечатляет.

— А снабжение кислородом! У всех остальных животных оно осуществляется посредством переносчика кислорода — гемоглобина, и только у насекомых, будто они и не соприкасались с нашей системой эволюции, — непосредственно воздухом. Конечные разветвления трахей замыкают полые, ветвистые клетки. Их отростки, тоже

полые, оплетают органы, ткани, проникают внутрь отдельных клеток. Так совершается газовый обмен между тканями тела и воздушной средой. Где есть такое? Да, а ткани! В те времена, когда мы с Бичетом только начинали, еще не было аппаратуры, позволяющей, как сейчас, заглянуть в глубь живого. Сравнительно недавно я наблюдал с помощью новейшей аппаратуры строение поперечнополосатой мышцы. Вы ведь представляете, конечно, какая картина возникает перед нами, каким бы огромным увеличением мы ни пользовались. Типично биологическая, так сказать, произвольного вида, характерного для природы, избегающей прямых линий. И вот я впервые увидел срез такой, который поверг меня в восторг и трепет. У насекомых на срезе обнаруживается геометрически правильное строение, типа кристаллической решетки.

— Доказательств становится всё больше.

— Значит, надо действовать, Крэл. Вы уже начали. Это замечательно, но этого мало — надо вывести еще один вид. Более совершенный.

— Зачем? Чтобы получить что-нибудь посерьезней лимоксенусов?

Ваматр недоуменно уставился на Крэла и, казалось, ничего не мог произнести. А Крэл без видимой связи с предыдущим спросил прямо в лоб:

— Где Лейж?

— Лейж?

— Ну да, Аллан Лейж.

— Не понимаю вас, при чем тут Лейж?

Крэл не сдержался и перешел на тон, не позволенный при разговоре со старшим:

— Отвечайте, Лейж жив или его уничтожил Рбал?

Ваматр протянул руку и, не глядя, поднял телефонную трубку:

— Аллан? Это я говорю. Да, я у Крэла. Аллан, вы за час сможете закончить сводку по радиотелескопам? У меня к вам просьба: когда закончите, позвоните, — я хочу познакомиться вас с Крэлом... Спасибо, дорогой.

Ваматр еще долго вертел в своих ловких пальцах белую телефонную трубку. Она словно вырывалась из его рук, а он умело удерживал, чтобы она не убежала. Из нее слышалось попискивание. Тогда он сжимал ее крепче, и она притихала. Казалось, что играет он, брезгливо и вместе с тем любопытствующе, с каким-то неизвестным, очень

подвижным зверьком. Поиграв для успокоения, Ваматр отправил зверька на место, и писк прекратился.

Крэл сидел понуро, не поднимая глаз на Ваматра, проклиная себя и его.

— Как быть, как быть? — непонятно к кому зывал Ваматр. — Они многое могут. Они спасли меня, у меня был рак легкого, спасли Кирба, но они в состоянии погубить, лишитъ разума. Что может быть страшнее?.. Смерть? О нет! Потеря разума страшнее смерти.

Ваматр вынул из кармана несколько бумажек. Они были смяты. Крэл в эти минуты реагировал на всё особенно остро. Возросло внимание к мелочам, как это бывает в моменты наибольшего нервного напряжения, — в руках у шефа были бланки анализов крови... Почему смяты? Неаккуратен или скомкал, волнуясь?.. Только-только приехал и сразу ознакомился с результатами исследования...

— Это обнадеживает, Крэл. — Теперь Ваматр перебирал бумажки, распрямляя их ладонью и тут же, на пульте, раскладывая по датам. — Устойчивый, уверенный процесс укрепления кроветворной системы. Рбал говорит, — Ваматр беспокойно взмахнул ресницами на Крэла, но, ничего тревожного не заметив, продолжал: — Доктор Рбал считает, что с лейкемией будет покончено. Вы понимаете, какое это счастье!.. А вот как будет с психикой... Крэл, дорогой, доктор Рбал ведь не психиатр. Боюсь я этого рискованного эксперимента... А тут еще ваша болезненная настороженность. Я понимаю — это Альберт. Всё он! Считает меня дьяволом, а сам сеет злобу, ненависть, сомненья... Простите меня, Крэл, я хотел не о том. Хотел приветить вас. Не умею я... Вот и скрипку не удосужился показать. Глупо как-то получилось... Знаете что, приходите ко мне вечером. Я играю. Всегда в восемь. Для себя. Только для себя и... без протоксенусов, конечно... Да, так о чем мы?.. О необходимости разорвать кольцо... Много лет я не был счастлив так, как сегодня. Я почувствовал, как вера моя ощутимо, вещественно переходит в объективную уверенность. Одно только слово — «появились!». Да, Крэл, началось! Надо продолжать. Вы опять, словно пронзая шпагой, воскликнете: «Для чего? Чтобы сделать что-то более страшное, чем лимоксенусы!» Не знаю, но я готов. Если возникнет дилемма: прекратить изыскания или добывать для их продолжения средства, отдавая открытия дьяволу, то я готов... К сожалению,

дьявол обойдется без нас. Теперь он не гоняется за душами. Замученные, измельчавшие душонки сами жаждут попасть к нему в лапы, но далеко не всем это удастся. Предложение превышает спрос. Вы ухмыляетесь саркастически и думаете — циник! Вы хотите добра и блага для всех, а такого не бывает. Кровь льется и льется. То тут, то там. Мятежи, перевороты, борьба за власть и зверское уничтожение инакомыслящих. И войны. Войны, пусть малые — а они в любой миг могут стать большими, — но и они, малые, уносят тысячи юных, ни в чем не повинных существ. Войны не прекращаются... Вы не хотите всего этого?

— Нет, не хочу.

— И я не хочу. Только вы не знаете, что делать, и мечетесь, а я знаю. Необходимо потрясение! Когда мы откроем тайну, когда люди Земли узнают, что они приобщены к Вселенскому Разуму, они будут потрясены, отринут всё мелкое и ничтожное, они поднимутся на несколько ступеней. И притом сразу!

— И вы не боитесь стать лицом к лицу с чужим разумом? Не побоитесь впустить его в наш мир, еще не зная степени гуманности этого чуждого нам разума?

— Я не святой. Я — страшный человек, — усмехнулся Ваматр. — Это определение Нолана, сделанное уже давно... Крэл, я никому не говорил этого, а вам скажу. — Ваматр приблизился к Крэлу, и Крэлу показалось, что подбородок Ваматра заострился, глаза загорелись и губы стали неживыми. Крэл с трудом сдерживал себя, чтобы не отпрянуть от него. — Я боюсь того, что создал сам.

Ваматр быстро подошел к двери и уже оттуда продолжал:

— Это самый упоительный страх — страх творца. С этим страхом я справлюсь. Хуже другое. Я боюсь Нолана, Крэл. Его фанатичная борьба с дьяволом...

Ваматр вернулся и снова сел возле пульта.

— Он работает, много работает сейчас, создавая средства уничтожения протоксенусов. Он тайно, хитро проникнет к нам, убьет их, отнимет их у меня, и я, так и не осуществив задуманное, умру...

— Ну что вы... — Крэл замялся. — Может быть, Нолан и не имеет целью... А если и удастся ему диверсия, вы вновь создадите протоксенусов и...

— Нет! — Ваматр покачал головой и долго сидел молча, не глядя на Крэла, а потом тихо сказал:

— А вы хороший человек, Крэл. Мне везет на хороших людей. Все готовы помочь мне, но вот протоксенусы... Крэл, об этом никто еще не знает, даже Инса. Они не догадываются, чем я занимаюсь в своей личной лаборатории. Сам, без единого помощника... Вам я скажу... Я пытаюсь, и у меня ничего не выходит. Понимаете, ничего!

— Что не выходит?

— Протоксенусы получились в результате длительной и, надо сказать, не очень-то систематической работы. Трудно было тогда, всего не хватало. Мы, зачастую впопыхах и в нетерпении, пробовали воздействовать на насекомых всячески. Варьировали условия, используя влияние самых различных факторов, и наконец получили вид, совершенно непохожий ни на один из известных на Земле. О, ликование тогда было неумемным! И успех этот... успех, видимо, и повредил. Мы увлеклись заботой, как получше выходить, не утерять это существо, а записи, к тому же не очень пунктуальные, записи оставались на десятом плане. Когда успех оказался несомненным, протоксенусы стали жить, развиваться, размножаться, я подумал: а как же они получились? Никому ничего не говоря, я попробовал воспроизвести опыт и... не смог. Годы прошли, а я ничего не могу поделать. Вот и берегу их нуше глаза, Крэл.

Ваматр поднялся и, не сказав больше ни слова, вышел.

Крэл недвижно сидел за пультом, не имея сил пошевелиться, и только слегка вздрогнул, когда опять приотворилась дверь. Не входя в пульттовую, лишь просунув голову, Ваматр сказал:

— А насекомые, Крэл, не чужие. Наши они, земные. Теперь, когда я уже отбросил, как совершенно несостоятельную, нашу гипотезу, мне совсем невозможно понять, как получились протоксенусы.

Дверь захлопнулась. Крэл схватился за виски, сильно потер их, встал и растерянно осмотрел пульттовую.

Пульт жил своей электронно-механической жизнью, непрерывно контролируя жизнь помещенных в башню созданий. Всё, казалось, шло своим чередом и порядком, а мысли путались, и невозможно было понять происходящее. Пылко, убежденно, доказательно говорил Ваматр, уже верилось, что они и в самом деле чужие, и вдруг... Испытывал? А может быть, сам себя проверял? Где же он настоящий?.. Пожалуй, в последних фразах. Они прозвучали с неподдельной тревогой и искренним волнением.

Похоже, именно это и мучает энтомолога — если не чужие, то почему, как они могли возникнуть?

Зазвонил колокол, и Крэл машинально, не переставая думать о Ваматре, так и не познакомившем его с Лейжем, направился в столовую...

Обед подходил к концу, привычный шум стихал, людей становилось меньше, и тут Крэл увидел незнакомого человека. Он стоял, облокотившись на стойку, высокий, ладный, и неспешно говорил о чем-то с Ялко.

Крэл уже покончил с едой, но из-за стола не вставал, продолжая наблюдать незнакомца. Чье же это лицо? Спокойное, немного замкнутое и в то же время уверенное. Крэл загородился спасительной газетой и позвякивал в пустом стакане ложечкой. «И всё же я встречал этого парня... Где? Когда?..»

Кто-то крикнул от двери:

— Лейж! Ты идешь к шефу? Пойдем вместе.

— Нет, Грзо, мне нужно повидаться с Крэлом. Шагай без меня.

Газета выпала из рук Крэла, и первой мгновенной мыслью было: «Но он совсем непохож на фотографии!» И уже немного успокоившись: «Какое-то сходство есть... Может быть, поэтому показалось, что я где-то видел его... Но ведь это не Лейж! Чертовщина какая-то...»

Крэл встал и решительно направился к Ялко:

— Петер, познакомьте меня с вашим собеседником.

Рука у Лейжа была теплая, сильная, взгляд смелый, открытое смуглое лицо вблизи показалось еще красивее, чем издали, но улыбка — широкая и неискренняя — насторожила. Труднее всего было о чем-то заговорить. Слишком много он думал о Лейже, и теперь слишком многое сразу встало между ними. Выручил Ялко. Его всегдашняя непосредственность, радушие приплыли к стати. Пока Крэл постепенно приходил в себя, Ялко болтал без умолку, делясь впечатлениями от последней встречи с протоксенусами.

— Порой мне кажется, — заключил он, подхватив обоих под руки и выводя из столовой, — что они хотят как-то довериться мне и сияются сделать так, чтобы я понял их. С ними всегда хорошо, спокойно, голова работает четко, слаженно, и иногда я начинаю угадывать их желания. Нет, нет, не удивляйтесь, такое возможно. Опыт Крэла объективен — там гиалоскоп, прибор, а не эмоциональное восприятие, которое нельзя еще записать

цифрам, — я понимаю. Но его опыт пока односторонен. Аллан, ты видел пультовую Крэла?

— Нет еще. Сразу по приезде дед засадил меня за технический отчет по нашим установкам в обсерватории.

— А как там, в кратере?

— Генераторы опробованы, всё оборудовано. Ждем!

— Ну подробно расскажешь. Вечерком, ладно? А сейчас я побегу. В тринадцать ноль-ноль у меня очередной контакт с нимп.

— Это еще что такое?

— Расскажу, расскажу. Вечером. Советую тебе, Лейж, прежде всего попросить Крэла показать пульт. Бегу, — выкрикнул Ялко и оставил их вдвоем.

В пультовой поначалу разговор тоже не клеился, но вот Лейж улыбнулся, не таясь, и белозубая улыбка эта оказалась совсем такой, как на фотографии, переданной Ноланом. Но только улыбка. Ничего больше. «Неужели это не Лейж? Похожий, очень похожий и совсем не тот... Задать бы невзначай несколько вопросов, спросить бы о таком, что известно только нам троим: мне, Лейжу, Нолану... Однако предупреждение Хука не заговаривать о Нолане... Может быть, тоже хитрость?..»

— Вы утомлены, Крэл?

— Я рассеян немного, простите.

— Как с лейкемией?

— Еще угнетает, проклятая, но, кажется, они могут.

— Не боитесь их?

— Боюсь.

Лейж опять засмеялся и опять, как на фотографии, заискрились зубы... А вот так похож. Наверно, это и есть он; впрочем, кто знает... Навязчивая мысль о подмене, дикая, несусветная, мешала. Никак не удавалось взять себя в руки.

Становилось неприятно оттого, что Лейж уже говорит таким тоном, в котором чувствовалось превосходство, снисходительность.

— Вы где были в последнее время, Лейж? — вопрос, немного грубоватый, внезапный, показался единственным из всех, какие могут помочь разобраться. Вопрос не смущил Лейжа. Ответил он спокойно, даже оживленно:

— В Африке, в кратере.

— Всё время толкуют о кратере, а я еще не знаю, зачем вам всем этот кратер.

— Это идея Ваматра. Он хочет упрятать туда этих паршивцев. Хук взбесился, когда Ваматр впервые заявил, что ему нужен, ни больше, ни меньше, как кратер потухшего вулкана, — Лейж расхохотался, — слава богу, потухшего.

«Да он смешлив», — с раздражением подумал Крэл. А Лейж спокойно продолжал:

— Представляете разъяренного Хука? Ягуар! По его медной физиономии пошли пятна, даже зубами заскрипел. А потом вытащил из сейфа грудку бумаг и вывалил их на письменный стол перед Ваматром: «Нате и распоряжайтесь как хотите! Здесь всё — акции, векселя, закладные. Если настаиваете на получении кратера, вам придется объявить фирму банкротом. Берите!»

— А Ваматр? — с интересом спросил Крэл.

— А Ваматр положил рядом с этой кучей пачку пригласительных билетов.

— С силуэтом скрипача?

— Вы там были?

— Угу.

— Больше никогда не ходите. Сможете сдержать себя?

— Спасибо, Лейж, вы излишне заботливы.

— О, да вы колючий.

Лейж впервые посмотрел на Крэла изучающе, и взгляд его красивых темных глаз с лукавой искрой не показался Крэлу неприятным. «Умеет расположить к себе. И чем только?» Ревниво подумалось о Нолане, и опять: «А может быть, у Нолана был всё же не этот? Не такой красивый и более естественный. Если когда-нибудь будут делать биороботов, то именно таких — расчетно-красивых, хорошо запрограммированных. Интересно, какая заложена программа у этого?.. Программа...» Слово это вдруг ассоциировалось с цепочкой событий, приведшей Лейжа в Холл.

Надо сейчас же выяснить всё... Вот так, прямо, в упор спросить его... А если не настоящий?.. Ведь никому здесь нельзя верить...

— Лейж, почему вы... Скажите, как всё это произошло?

— Вы о чем?

— Простите, может быть, вам это тяжело, я понимаю, но поймите и вы меня. Я должен узнать правду. Мне трудно поверить Ваматру и тем более Хуку после того, как я... как я поверил самому Альберту Нолану. А Но-

лан убежден, что вас замучили, пытаюсь вырвать секрет синтеза. Он считает вас мертвым...

— Как видите, он ошибается.

— А кто его ввел в заблуждение?

— Я.

— Зачем?

— Я был болен, Крэл. Смертельно болен. Общение с протоксенусами мне обошлось дорого. Тогда они еще не приноровились к нам, не умели, так сказать, дозировать свое могучее влияние. Они опасны и сейчас, но мы уже имеем некоторые средства защиты, а тогда... Я убежден был, что меня окружают враги, что меня непременно будут пытаться. И этот страшный час настал. Я собрал все силы и передавал, передавал сигналы Нолану...

— Но ведь этого не было?

— Нет, конечно.

— Почему же потом... когда вы излечились... почему вы не сообщили ему?..

— Я не хочу, не могу... Для меня он был богом. Я преклонялся перед ним, чтил его ум, порядочность, волю, а он... Не терплю фанатиков. Ненавижу!.. Он, получив сигналы, поверив в них, мог телеграфировать Хуку, отдать ему фермент и спасти — он же не знал, что я болен, в кошмарном бреду сообщая ему о лимоксенусах, — он мог спасти меня от мук и он... обрек меня на муки, только бы не отдать секрет...

Теперь от красивого робота не осталось ничего. Лейж, Аллан Лейж из плоти и крови стоял перед Крэлом.

Волнение, охватившее Крэла, было слишком велико, и он не знал, что сказать, как вести себя с Лейжем. К счастью, в пульте защелкали реле, зазвонил напоминатель, и Крэл устремился к клавишам. Привычно забегали пальцы, экран засветился веселыми зелеными переливами, и Крэл, чтобы разрядить обстановку, кивнул в сторону башни:

— Изволят принимать пищу.

— Вы уже умеете определять избирательно?

Для надежности Крэл еще раз взглянул на причудливый, бегущий рисунок и позвонил в виварий. Там подтвердили — началось кормление.

— Вот и с пищей беда, — озабоченно начал Лейж. — Доставать ее становится всё сложнее. Расходы растут, и Хук свирепеет... Да, так о Хуке и кратере. Ваматр тогда прихватил не только билеты. Он взял с собой и прописи

по селазину. Превосходно, черт возьми, отработанная технология получения сенсационного лекарства. Что бы о Ваматре ни говорили, а он дьявольски талантлив всё же.

— На селазине, насколько я понимаю, фирма нажилась порядком. Модное лекарство! Панацея от всех недугов!

— Поверьте, Крэл, никакого шарлатанства. Безобидное стимулирующее средство, которое можно давать невинным младенцам. Успех? Просто люди любят лечиться. Особенно здоровые... Короче говоря, ягуар был укрощен, и я тут же получил задание — ехать в Африку. Питомник действительно стоит поместить в кратере потухшего вулкана. Высоко в горах разреженная атмосфера, холодно, мало влаги. По краям кратера — наши генераторы, обеспечивающие им подходящие условия. Ведь это здорово! Были, разумеется, возражения — дескать, в башне создается примерно то же самое. Ваматр парировал...

— Ссылаясь на то, что в естественных условиях обеспечивать нужный режим дешевле?

— Э-э, нет. Это бы не прошло. В горах не только низкое давление, меньше кислорода, ниже температура. Всё это в конце концов действительно можно обеспечить в башне. На большой высоте радиация интенсивней, больше ультрафиолета, воздух ионизирован, и, самое главное, масса других частиц, приходящих из космоса, тех, которые задерживает толща атмосферы. Тех, что не достигают поверхности Земли. Шеф наш убежден: если и удастся вывести тварей более совершенных, чем протоксенусы, то содержать их можно будет только там, в кратере. Вот я и оборудую обсерваторию, — просто и с приятной улыбкой закончил Лейж.

— Почему же обсерваторию?

— Авторство мое, Крэл, — весело похвастал Лейж. — Когда решался вопрос секретности, я предложил действовать под прикрытием телескопов. Обычно их стараются затащить повыше в горы, чтобы устранить влияние атмосферных помех. Задачи сходные, как вы понимаете. Ну вот, начнут люди возиться с телескопами, и никого не удивит, почему вдруг заинтересовались этим кратером. Всем всё понятно — астрономическая обсерватория. Около нее маленький поселок для размещения персонала, электростанция, необходимая для энергоснабжения обсерватории и поселочка. Сюда подвозят продукты, материалы, оборудование. Естественно, никаких подозре-

ний вызвать не может, никто и не догадается, что всё это не для астрономов, а для кратера, в котором питомник!

Лейж стал частенько навещать Крэла в его пультовой и очень внимательно следил за событиями в башне. Положение Крэла в Холпе сразу же после первого «поняли!» определилось как особое, и «пост» его единодушно признавался фронтовым. Наиболее оживленными стали дискуссии по поводу «барьера непонимания». Понятие это укоренилось быстро, прочно, и уже возникали догадки о способах преодоления барьера, высказывались самые разнобразные мнения о значении и перспективах такого преодоления.

Наблюдения, сделанные Крэлом, вывели лабораторию Ваматра на новую ступень поиска. Все исследования, так или иначе, теперь связывались с опытами Крэла, всё переkreщивалось на его пультовой, на полученных данных. И уйти от этого уже было невозможно, не порвав, не нарушив этих связей, то есть не вызвав разлада в работе. Сомнений Крэл не преодолел, отдаться делу Ваматра целиком еще не мог, но уже не в состоянии был разрушить сделанное.

Приходилось работать. Много, усидчиво. Время проходило незаметно, но не настолько, чтобы промежутки между двумя встречами с Инсой казались короткими. В пультовой она теперь появлялась редко, и Крэл не спрашивал почему. Не находя в себе сил решить — с кем он и для чего, он нервничал, стал раздражительным. Теперь раздражало всё. Не было Инсы — он злился, приходила — злил ее. День, когда Лейж ни разу не заглянул в пультовую, казался странным и отсутствием Лейжа подозрительным, а когда Лейж приходил, Крэл не мог удержаться от колкостей.

Он как-то спросил Инсу:

— Вам нравится Лейж?

— Разумеется. Он тоже помешан на своей работе и уже поэтому мне нравится!

Ответ даже ревности не вызвал.

Вспомнились ее слова: «Многое, очень многое вам придется решать самому». Самому. Труднее всего, пожалуй, было решить проблему — как быть с результатами опытов. Метод оправдал себя, результаты получались хорошими, но говорить о них не хотелось... Узнают, наверно,

и без меня, а пока... пока лучше промолчать. Ведь еще ничего не решено, ни в чем не удалось разобраться. Ни в людях, создавших протоксенусов, ни в самих протоксенусах. Что они такое? Своеобразное проявление разума? Какого? Может быть, очень совершенного, а может быть, изощренного и опасного. Они стремятся понять человека, уже как-то реагируют, чувствуют, когда говорят о них, вернее, пожалуй, когда думают о них. Но и животные издавна сжившиеся с человеком, способны на нечто подобное... Вот если проверить, выделяют ли они из всего поступающего к ним потока информации конкретные понятия... Это дало бы много. Крэл уже наметил, как можно сделать проверку, но приехал Хук, и в Холпе заволновались.

Из переговоров его с Ваматром секрета не делали, и вскоре всем стало известно: фирма опять на грани банкротства. Какая-то комиссия запретила выпуск селазина, а концерты Ваматра, учитывая даже доброхотные даяния меценатов, приносили не так уж много. Финансовые дела ваматровского заведения и впрямь стали плохи.

Крэл больше всего опасался посещений Ваматра. При его умении моментально схватывать самую суть происходящего он мог скорее кого-либо сообразить, как близок Крэл к возможности сломить «барьер непонимания»... «Можно ли допустить такое? Ну, предположим, сломаю, ведь сразу возникнет другой, еще более сложный вопрос о «барьере непонимания» между мной и Ваматром — Хуком...»

Ваматр явно догадывался о намеченных Крэлом опытах: вопросы его становились всё более конкретными, близкими к сокровенной идее эксперимента. Пристрелку Ваматр вел мастерски, попадания шли кучно, подбирались к яблочку, и во время очередной беседы Крэл попытался сменить мишень:

— Хук и в самом деле не в состоянии субсидировать ваши работы?

— Еще немного, и он — банкрот. Это всё Альберт. Он действует по всем направлениям. Настоял на создании этой чертовой комиссии и, таким образом, сумел прихлопнуть селазин. Оставил нас без средств... — Ваматр присел перед экраном и спросил: — А вы не пытались определить, какова зрительная реакция протоксенусов на наши сообщения?

«Это уж слишком близко к яблочку», — подумал Крэл и опять увильнул от ответа:

— Сейчас меня увлекает одно — установить, каков характер создаваемого ими биополя.

— Гм... Биополе! Знаете, Крэл, всё в человеке, что мы не можем выразить понятием более определенным, мы называем душой. Все явления, которые мы не можем описать достаточно строго, мы пока называем полем. Гравитационное поле, магнитное поле, биополе. Уловки, бессилие наше. Меня волнуют сейчас простые и более практические вещи.

— Например? — обрадовался Крэл, надеясь на ослабление нажима.

— Например, почему они стали капризничать. Был спокойный период, когда протоксенусы довольствовались скромной пищей. Приобретали мы ее без особых хлопот, и стоила она сравнительно дешево. В их рацион, кроме сушеного мяса и дафний, входило немного живых диксидов. Это небольшие комары. Всего их около ста видов, но распространены они широко, и отлавливать их не так уж трудно. Словом, расходы на корм были невелики. И вот недавно лаборанты мне сообщили о забастовке. Питомцы наши стали съедать только живых насекомых, категорически отказываясь от остальной пищи. Я приказал не баловать паршивцев, однако они переупрямили меня. Съежились, сомкнулись в кучу, словно намереваясь погибнуть, но добиться своего. Пришлось уступить им, и они сразу повеселели. Но этим дело не кончилось. Живыми диксидами они довольствовались дня три и опять забастовали. Найдя метод борьбы, они теперь требуют всё новых и новых видов насекомых. Мы уже сменили для них восемь «блюд» и трепещем, видите ли, а чего они соизволят потребовать завтра, какие еще деликатесы придется раздобывать, посылая экспедиции за тридцать земель... Время, деньги... Поймите, я не хуковский деньги жалею. Черт с ними. Я и своих никогда не жалел, да и не имел их, по правде сказать. Не только в деньгах, конечно, дело. Здесь сложнее всё, хуже. Почему, почему, — Ваматр раз за разом, сильно, видимо до боли, ударял себя кулаком по колену. — Почему они бунтуют? От плохого характера? Избаловались? О, нет!.. Биохимический баланс, энергия для поддержания их существования обеспечивается каким-то видом, а они то и дело требуют новых. Причина должна быть, и она есть, только мы еще не знаем, в чем

здесь дело. Мы еще так мало знаем.... Вот и вынуждены потакать им... А я не буду. И не могу. Никакого Хука не хватит!

Ваматр стал сновать по пультавой, распаяясь всё больше и больше:

— Испепелю! Уничтожу! Оставлю пять... Нет, пусть десяток особей, а остальных велю ликвидировать!..

Ваматр уставился на экран гялоскопа. На экране метались, всплескивались и распадалась зеленые линии. Рисунок искажался ежесекундно. Ваматр повернулся к Крэлу:

— Смотрите! Такого еще не бывало... Неужели они...— Ваматр схватил телефонную трубку. — Виварий, пожалуйста... Спасибо, дорогая Эллочка!.. Ах, это не Эллочка. Всё равно покорная благодарность вам, соединяющей меня с потребным мне сейчас учреждением, именуемым... Вот противная девчонка! Эллочка всегда так приветлива и благосклонна ко мне... Виварий? Получили партию нового корма?.. Очень хорошо. Давайте им, не отказывайте ни в чем!..

Но отказались они.

Паника началась в тот же день к вечеру. Из питомника сообщили, что протоксенусы пищу не принимают.

Прошел еще день, а изрядно проголодавшиеся, обычно очень прожорливые питомцы Ваматра к корму не притронулись. Теперь Ваматра уже беспокоило не то, как достать корм, а как заставить протоксенусов питаться. Прежде всего он распорядился проверить — не больны ли они? Потом еще раз проверил сам. Протоксенусы были здоровы.

На третий день после разговора с Ваматром Крэл проснулся от шума, громких голосов, доносившихся из парка. Наскоро одевшись, он вышел на веранду коттеджа. Все бежали к гаражу.

Оттуда, с пригорка, хорошо видна была верхушка приземистой башни. Над ней, словно легкий дымок, струилась сероватая ленточка. Но дымок этот был странный: он не вылетал из вытяжных труб, а втягивался в них. Почти прозрачный, едва заметный, но постоянный.

Это были насекомые.

Протоксенусы обиделись на Ваматра и сами стали добывать себе пропитание.

Крэл понял, как жалки оказались его попытки, — а всё выглядело так эффектно, — попытки приборами

определить, на какое расстояние распространяется влияние протоксенусов. Призывный клич, видимо, уносился далеко, очень далеко... Какой же протяженности поле они создают, если насекомые, улавливая их коварный призыв, тянутся со всей округи!

Вскоре, однако, возникла новая догадка. Видимо, призывы протоксенусов расходились как волны или как импульсы по нервам. Насекомые, находящиеся в радиусе непосредственного влияния протоксенусов, не только спешили на зов, но и трубили, в свою очередь: «Нас зовут, поспешите!» Призыв этот шел дальше и дальше, он мог охватить всю страну, может быть, весь континент...

Ваматр теперь всё время проводил у Крэла, наблюдая за экраном гялоскопа.

— Фиксируйте, Крэл, всё фиксируйте, не жалея фотопленки. Важны мельчайшие изменения, наблюдаемые вашими приборами. Осмыслим, проверим, поймем. Рано или поздно — поймем... — И задумчиво, с легким сарказмом: — Хомо сапиенс... А они уже нас поняли... Это новый этап, Крэл. Тогда вы доказали, что они реагируют на любое упоминание о них, теперь ясно, что они понимают, о чем именно мы ведем речь!

Ваматр встал из-за пульта. Он долго смотрел куда-то в бесконечность и, запрокинув голову, сказал тихо, но внятно:

— Очень скверную шутку выкинул господь бог, когда заставил материю мыслить.

Часть III

КРЭЛ

Ваматр уехал из Холпа, и Крэл вздохнул с облегчением. Особенно потому, что тот прихватил с собой и Лейжа. Петера Ялко Крэл не боялся. Ялко, увлеченный идеей непосредственного контакта с протоксенусами, большей частью находился в питомнике и в пультной почти не показывался. Инса... Она настойчивей всех... А может быть, ей и поручено выманить секрет получения фермента?.. Опять подозрения, недоверие. Если бы не этот проклятый фермент, с ней было бы просто, сердечно... Как тяжело становится, когда она уходит, удаляется в совсем неведомые ему и чуждые дали... А она права.

Самому, самому придется решать... А не отдать ли фермент? Как станет сразу легко. Вот взять и отдать. Ей — дочери Бичета... Бичет тоже ничего не мог поделаться с Ваматром, с Хуком. А что смогут поделаться Ваматр, Хук, наконец, все мы — люди, если протоксенусы, получив от нас фермент, превратятся в существа более совершенные, проявят свойства незнакомые и могучие? *Фермент нужен им, а не Хуку!* Если в них заложено неумное стремление к развитию, к образованию каких-то высших форм, они должны быть «заинтересованы» в получении фермента. Стоит рискнуть, подразнить их, показав только краешек, и понаблюдать за ними. Тогда выявится, что они в состоянии увидеть, что могут понять.

Опыт Крэл готовил исподволь, опасаясь, как бы в лаборатории не догадались о его замысле. В пультовую он приходил поздно вечером и дежурил до утра, поручив лаборантам следить за приборами в остальное время суток. Даже вечером кто-нибудь мог всё же заглянуть сюда, а ночью... Ночь была его. Идея опыта была проста: два экрана. Однако для осуществления опыта ему надо было войти в башню... Чем это кончится, что произойдет с ним, с протоксенусами?.. Вспомнились и опасения Ваматра, и настойчивые предупреждения Инсы, и как ухудшалось самочувствие в те моменты, когда он с пультом приближался к башне, но выхода не было. Два экрана! Один в пультовой, а другой... другой надо установить у них, у самой сетки вольтеров. Пусть наблюдают.

Крэл поставил экран, подключил его к гяалоскопу, запараллелил со своим экраном и вернулся к пульту. В башне он пробыл не менее получаса и... Он сосчитал пульс, пощупал лоб, потряс головой... Да ведь ничего не болит! Никакого ухудшения, больше того — самочувствие хорошее, никаких болезненных симптомов. Тогда за дело!

Крэл сжевал две таблетки кофеина и стал поспешно готовить настройку прибора для фиксации кода синтеза фермента. «Фермент ведь образуется в живых организмах. Для протоксенусов нужен толчок — излучение с определенной характеристикой, и тогда, вероятно, они смогут создать фермент в себе. Код найден мной... Интересно, что сумеют они?»

К полуночи он закодировал программу, ввел ее в машину, выверил датчики. Осталось нажать кнопку «опыт».

Пожалуй, никогда он еще так не волновался перед экспериментом, как в эти минуты. «Теперь нужно дать им ряд значений. Близких к истинным и истинных. Но не все три группы. Ни в коем случае не давать всё. Это так, как дают тест преступникам. Называют различные цифры, и, например, при упоминании номера дома, где было совершено убийство, у преступника вздрагивает рука...»

Крэл ввел программу с сочетанием, соответствовавшим трем семеркам. 777!

Кривая обозначилась твердо, устойчиво, как тогда, как в то утро, и на экране взволновалось всё. Ни на что, даже на угрозу «испепелить» они не реагировали столь бурно.

«Ищут, — испугался Крэл. — Неужели действительно ищут? Значит, они могут понять...» Пальцы сами тянулись к клавишам. Привычные, готовые набрать остальные две комбинации кода — 717 и 618, но воля сдерживала пальцы. А протоксенусы искали. Экран почти весь заполнился узорами и вдруг успокоился. На мягкой плавной цепочке Крэл отчетливо различил кривые, характерные для второй группы кода, для семьсот семнадцати. Но ведь он дал только 777. Следовательно, о второй составляющей кода они догадались сами и получили 717! Сделают еще одно усилие и, чего доброго, найдут третью позицию — 618. Да ведь тогда они сами станут выделять фермент, нужный им для нового перехода к высшей форме. Сами создадут его в своих телах. Без Нолана, без Крэла! В их телах фермент образуется лучше, совершенней, чем в колбе!

Крэл выключил общий рубильник и бросился к башне.

Расстояние, отделявшее пультавую от питомника, он пробежал, но, войдя в дверь, освещенную синим фонариком, пошел тихонько, крадучись... Где-то справа должна быть дверь, через которую можно попасть в пространство между стенками башни. Не шуметь, только не вызвать тревогу! Вот дверь. По железным почти вертикальным тестницам — наверх! Отключить генераторы — и конец всему!..

Первый марш он уже преодолел и шел по круговой площадке, осторожно наступая на рифленые листы железа. Листы гремели при каждом шаге, и он время от времени замирал, прислушивался. В тускло освещенном пространстве виднелась лестница, ведущая к следующему перекрытию. По лестнице удалось взобраться без шума... Только бы кончились эти плохо приваренные листы

железа. Еще два пролета — и можно подобраться к генераторам. Надо постараться сбить настройку, резко изменить характер излучения, и они погибнут сразу... Правильно, у каждого генератора есть регулируемое устройство пуска...

Крэл нащупал в кармане складной нож и быстро влез по лестнице. Еще один переход. Теперь это давалось легче. Наконец он высунул голову из верхнего люка и осмотрел площадку, на которой стояло восемь генераторов.

В это время что-то зашумело внизу. Крэл быстро вылез на последнюю площадку и прислушался. Кто-то бежал по кольцевым площадкам, идущим между стен башни. Сейчас бежит по первой площадке... Вот грохот железа стих — значит, лезет по лестнице. Вновь стук быстрых ног по железу... Уже последняя лестница, которую должен преодолеть преследователь. Сейчас он покажется из люка...

— Крэл, что ты задумал, Крэл!

Лицо Инсы, любимое и ненавистное, едва освещенное рассеянным светом ночи, появилось в люке. Где-то совсем близко от его ноги, и в бешенстве захотелось вдавить в него каблук.

— Крэл, остановись!

Крэл попытлся от люка, пытаясь ухватиться за железные перила, и в этот миг голову сковала нестерпимая боль. Так и не поймав перил, он начал мягко оседать. На момент он напрягся, собрав все силы, чуть приподнялся, но потерял сознание и с грохотом упал на железные рифленые листы последней, самой верхней площадки, на которой стояли восемь генераторов.

Сознание вернулось внезапно. Пробуждение оказалось мгновенным и ощущение окружающего мира неожиданно четким.

Он лежал у себя. В коттедже. На фоне большого, во всю стену, окна, уже почти синего от надвигающейся ночи, виднелась знакомая фигура. Крэл сразу вспомнил отца. Он вот так же, очень похоже, любил сидеть в кресле-качалке. С газетой в руках и задранными на лоб очками.

— Вот и хорошо. Очнулся — значит, всё позади. Здравствуй, мой мальчик!

Крэл улыбнулся, радуясь наполнявшему всё тело приливу тепла, здоровья, и протянул руки доктору Феллисену.

Доктор удобно устроился возле Крэла, и Крэл понял, что при этом пробуждении, похожем на новое обретение жизни, нужен он, именно доктор Феллинсен, заботливый, добрый, свой. Его мясистые, немного влажные губы, как обычно, шевелились, и казалось, он всё время не то шепчет умиленно, не то смакует что-то вкусное. Розовое свежее лицо с приспущенными веками, сцепленные на округлом брюшке пухлые руки — всё говорило о нерушимом спокойствии и собранности этого умного и деятельного человека.

— Спасибо.

— Это почему?

— Потому что вы со мной сейчас. Кто вам дал знать?

— Ваматр.

— Что со мной было?

Феллинсен двумя большими пальцами приподнял Крэлу веки, несколько секунд изучал зрачки, а затем посмотрел на приборы, установленные возле кровати. Только теперь Крэл почувствовал приклеенные электроды. На затылке, щиколотках, на левом запястье.

— А ты молодцом! Всё идет хорошо и совершенно так, как было задумано... Небольшая инъекция, Крэл. Это так, для закрепления достигнутого.

Покончив со шприцем, доктор Феллинсен опять уселся возле Крэла и, привычно пожевывая, улыбаясь, смотрел на выздоравливающего.

— Бойтесь сказать?

— Да нет, Крэл, — доктор ткнул коротким пальцем по направлению приборов, — теперь не боюсь. А было худо, ничего не скажешь — худо... Ну, прежде всего поздравляю тебя, мой мальчик, ты — исцелен. С лейкемией покончено. Это произошло — я изучил твою историю болезни — еще до того, когда ты... — Феллинсен пожевал усиленной обычного и, будто проглотив наконец смакуемое, закончил: — Еще до того, когда ты бросился уничтожать исцеливших тебя... Как они называются?

— Протоксенусы.

— Никак не могу запомнить.

— Скажите, — Крэл опустил глаза, — скажите, я ничего не успел... Ничего не наделал безобразного?

— Ну что ты! Всё обошлось наилучшим образом.

— А что было?

— Плохо было. Нервное потрясение, глубочайший шок, вызванный этимп... Как они называются, Крэл?

— Протоксенусы.

— Да, шокое состояние в результате их сильного воздействия. Это оказалось особенно опасным на фоне... Ты не пугайся, мой мальчик, я должен сказать тебе всё.

— Говорите.

— На фоне нервного заболевания... Началось оно у тебя почти сразу по приезде сюда. Болезнь развивалась быстро. Борьба с лейкемией могла обойтись слишком дорого, однако произошёл спасительный перелом... Тогда, в ту ночь. И мне удалось выправить тебя. Теперь ты можешь не волноваться. Всё идет хорошо.

— Это значит так же, как с Лейжем?

— С Лейжем? — Доктор задумался, сидел с приспущенными веками и тихонько шевелил пальцами, уложенными на жилете. — Пожалуй, да. Только у него заболевание протекало тяжелее. Доктор Ваматр полагает, что они, эти, как их, существа, постепенно, как бы приспособляясь к людям, раз от разу норовят поменьше повредить, вступая в контакт, влияя на людей. Вот у тебя, например, уже обошлось всё лучше, чем у Лейжа. Однако мы заболтались с тобой.

Феллинсен подскочил, засуетился, посмотрел на часы и продолжал уже о другом:

— Сейчас, мой мальчик, — спать. Спать! Ввел я тебе смесь, надо сказать, магическую. Она и поспать тебе поможет, и подкрепит. Я обосновался у тебя. Буду, как и все эти дни, рядом с тобой. Дверь я не закрываю. — Феллинсен захватил с кресла-качалки газеты, еще раз глянул на приборы и направился к себе.

Выздоровление шло быстро, однако доктор Феллинсен никому пока не разрешал проводить Крэла...

Дни тянулись медленно, однако время подгонять не хотелось. Надо было собраться с мыслями, прийти к какому-то четкому, строгому решению, попробовать выработать мнение определенное, свое. Такое, за которое можно было бороться. До конца.

Чувство какой-то рассеянности, острого одиночества, грусти овладевало Крэлом по вечерам, и присутствие доктора Феллинсена в эти часы было особенно желанным. Феллинсен любил поговорить, но, к счастью, отличался удивительно приятной способностью замолкать вовремя...

Наконец доктор снял электроды. Приближалась последняя ночь затворничества. Настанет утро, и Крэл сможет выйти в парк!.. Феллинсен отправился к себе в

комнату и через несколько минут уже сладенько посапывал. Крэл сидел у окна и смотрел, как золото постепенно сменяется синью, как замирает уставший за долгий летний день старинный парк. Было тихо. В окнах зажглись огни. Почему-то их оказалось гораздо больше, чем обычно, они горели ярче, веселей. Огни вспыхнули на верхушке башни, огни сияли в «клубе». Крэл распахнул окно, и в комнату полилась музыка. В «клубе» пели. Пели старинную застольную:

...Мы выпьем за тех, кто не с нами, не дома,
кто в море, в дороге, в неравном бою,
кто так одинок, что за верного друга
готов прозакладывать душу свою...

Крэл подбежал к телефону, постучал по рычажку, плотно прижав трубку к уху. В трубке не слышно было ничего, даже всегдашнего фона.

Доктор Феллинсен, сонно жмурясь, уже стоял возле Крэла:

— Я отключил эту штуку, Крэл. Тебе очень захотелось позвонить?

— Да, мне нужно. Они поют!

— Пусть поют. Когда люди поют, это хорошо. Хуже, когда они начинают стрелять.

— Что-то случилось. Смотрите — везде свет.

— Ну что же, никогда еще радостная весть не мешала выздоровлению больного. — Феллинсен вышел в переднюю и, быстро возвратясь, продолжал: — Звони, я включил аппарат.

Крэл поговорил с Вamatром и осторожно положил трубку на рычаг.

— Протоксенусы догадались о третьем значении кода. Обошли мой запрет, начали вырабатывать фермент в себе. Сами разорвали кольцо и дадут теперь новый виток спирали. Вamatр считает сегодняшний день днем рождения еще более совершенных существ... Давайте... давайте выпьем кофе.

За кофе они просидели долго, на все лады обсуждая сложившуюся в Холпе обстановку. Феллинсен наконец стал позевывать, прикрывая рот полной, белой рукой, и предложил:

— Надо спать. Завтра у тебя трудный и очень ответственный день. Здесь все расположены к тебе наилучшим образом. Однако собранность необходима. Береги себя.

Взваливать на себя всё сразу не следует. Нужен до поры до времени щадящий режим.

Крэл заснул не скоро, проспал часа четыре и разбудил доктора Феллинсена рано утром.

— Я попрошу вас, как только представится возможность, отправьте это объявление в газеты. В списке указано, в какие именно.

Объявление было коротким:

ДОКТОР НОЛАН!

**МЫ ДОСТИГЛИ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ, И
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ С НАМИ.
ЗДЕСЬ ТОЖЕ ЛЮБЯТ СТАРИННУЮ ЗА-
СТОЛЬНУЮ. ОТЗОВИТЕСЬ!**

КРЭЛ.

Все дни, находясь под бдительной охраной доктора Феллинсена, он думал об Инсе, нетерпеливо ждал встречи с ней, а теперь, впервые после болезни, выйдя из котеджа, больше всего боялся встретить именно ее.

Сколько же лет прошло с тех пор, когда ноги вот так упруго и сильно отталкивали землю? Покончено с недомоганием, постоянным, изнуряющим, уже ставшим привычным, но от этого не менее тяжким... Крэл посмотрел на башню. Над ней вислась сероватая лента. Лента, пожалуй, стала плотней. «Втягивают всё большее и большее количество пищи. Куда им такая уйма? Странно...»

Он пошел быстрее, а по ступенькам лаборатории взбежал. Легко, как в двадцать лет, как до болезни. И еще приятно: в коридоре встретился Ялко. Хорошо, что он, а не кто-нибудь другой, менее симпатичный.

— Крэл! Выздоровели? Совсем-совсем? Я очень рад, мы все рады, поверьте!

— Расскажите, Петер, расскажите всё по порядку. — Крэл толкнул Ялко в свою лабораторию, подбежал к окну, распахнул его и, опираясь на подоконник, повторил:

— Расскажите!

Ялко подробно, не спеша, но с огромным увлечением говорил о происходящем в башне. Сомнений не оставалось. Протоксенусы сумели, очевидно, выйти на новый цикл, дали потомство, резко отличающееся от всех предыдущих. Личиночная стадия совсем иная. Недели две —

и должен появиться еще более совершенный вид протоксенусов.

— И что мы будем делать с ним?

Ялко недоуменно поморгал узкими, с чуть припухшими веками глазами, скуластое лицо его расплылось в снисходительной улыбке:

— Да неужели не понятно? Возьмем от них всё, постараемся использовать их удивительные свойства. Направленное формообразование, улучшение в короткий срок многих пород и даже видов животных. Наконец — болезни... Вы же сами... Вы исцелены, Крэл! Разве этого мало?

— Мало... — задумчиво повторил Крэл, повернулся лицом к окну и только тогда заметил, что решеток на окне нет. — Не знаю, не знаю... А если они и в самом деле чужие? Тогда они очень хитры... Смерть Эльды, Бичета... Тогда они еще не приноровились к нам, еще не умели дозировать свое влияние. А затем... Уже на первой стадии протоксенусы, существа в общем-то беззащитные, распространяли излучение, вызывающее эйфорию, задабривали, стараясь привлечь людей, повысить интерес к себе и зародить в людях мысль о своей нужности. Да, да, вылечивали. Всё это хорошо, конечно. Важно, чтобы они нас не перехитрили... Согласитесь, Петер, людям пока не удается решить проблему равенства. Всё еще идет борьба. Самое страшное и отвратительное, что борьба эта дикая, кровавая, атавистическая. За кусок мяса, за место в пещере, у костра, когда-то дрались, разбивая черепа камнем. Теперь это делается с помощью радиоэлектроники и счетно-решающих машин. Но ведь принципиально ничего не изменилось! Так можно ли считать разумным и своевременным присоединение к этой борьбе еще одной, по существу своему чуждой нам силы?

Крэл уже говорил не для Ялко — для себя. Мысли, высказанные вслух, становились отточенней, строже, и, слушая себя, Крэл чувствовал, как крепнет его убежденность.

Ялко принялся спорить, дискуссия затянулась, а Крэлу не терпелось поскорее пойти в пультовую. Как только Ялко, взглянув на часы, побежал в башню. Крэл направился к своему пульту.

За пультом сидела Инса.

Сразу захотелось исчезнуть. Но Инса встретила его радушно и просто, словно ничего и не случилось в ту

ночь, будто и не было каблука, занесенного над ее лицом. Спокойно и деловито она рассказала о питомнике, об изменениях в системе сумматора, которые пришлось сделать во время его болезни...

Доктор Феллинсен настаивал на щадящем режиме, рекомендовал бывать в лаборатории поменьше, и Крэл упорствовал. Он много бродил по лесу, почти всегда с Инсой. Настало спокойное, умиротворенное время. Между ними теперь не стоял проклятый фермент, ушли рожденные нервной болезнью страхи и даже то, что заботило больше всего — проблема отношения к протоксенусам, — заботило совсем по-иному. Можно было не в одиночку, не тайно от всех, а со всеми вместе решать так трудно решаемые задачи.

Инса, пожалуй, не разделяла его тревог, она просто оберегала каждую возможность побыть вместе. Бездумно и счастливо. Крэл чувствовал, как в разговорах с ней уходят мысли-ограничители и постепенно открываются тайники ума и сердца...

Прогулки затягивались допоздна. Они возвращались в Холл к закрытию «клуба», но всегда забегали на огонек. После надвинувшейся на лес черноты уют, свет, музыка были особенно приятны. Больше всего в «клубе» говорили о предстоящем переселении в кратер. Ваматр не хотел рисковать. «В кратере, только в кратере, — убеждал он всех, — мы можем рассчитывать на успешное развитие нового вида!»

В Холпе опять появился Хук. Он достал деньги. Где, как? Никто не знал. Да и мало кого это интересовало. Вероятно, только Крэл, не будучи в состоянии забыть пережитое, нередко задумывался — а на какие новые авантюры пустился Хук? Откуда деньги? Что запродавал он на корню?

Однажды Крэл засиделся в лаборатории дольше обычного и чуть не пропустил час, когда можно будет встретиться с Инсой, пойти по любимой тропинке, выйти к обрыву, с которого открывался вид на всю долину Холпа. Он стал поспешно собирать бумаги, и в эту минуту зазвонил телефон.

Хук приглашал к себе.

«Ну вот и пришло время решать, с кем я», — подумал Крэл, запер сейф и направился к Хуку.

В кабинете Хука сидел Вamatр.

Крэл не готов был к разговору о своем участии в работах лаборатории, но Хук, оказывается, и не намеревался затрагивать эту тему.

— Нам известна, Крэл, настороженность, с какой вы подходите к самому факту появления новой формы протоксенусов, и мы с уважением относимся к вашей точке зрения. Мы и сами, разумеется, понимаем, сколь серьезная стоящая перед нами проблема. Не так ли, доктор?

Ваматр сидел в низком кресле, зажав между колен ладони, сидел сумрачный, видимо злой. Он кивнул, не произнеся ни слова, а Хук продолжал с подъемом:

— Еще не пришло время открыть секрет, и пока всю ответственность нам приходится брать на себя. Чем серьезней проблема, Крэл, тем осторожней надо подходить к вопросу о привлечении людей, способных принять участие в ее решении. Рассмотрим крайний случай — широкая гласность! Вы представляете, какой бы переполох могло вызвать подробное сообщение о происходящем сейчас в башне! Да обнародуй мы сейчас, каких зверюшек растим, туго бы пришлось и нам и... зверюшкам. А решение принимать надо. Никуда не денешься. Рано или поздно необходимо решать судьбу и человечества и чужого разума... Как ваше мнение, Крэл, не пора ли увеличить число людей, способных решать проблему?

— Пора.

— Я так и думал, Крэл, уверен был в вашей поддержке.

— После того, как прочли мое объявление в газетах? Хук скрыл лицо в облаке сигарного дыма:

— Альберт Нолан не откликнулся на ваш призыв.

— Да. Меня это крайне огорчило. Значит, вы думаете о ком-то другом. Кто же это? Арнольдс?

— О, до этого еще далеко. Пока. Потом все великие мира сего так или иначе, волей-неволей подключатся к этой, не побоюсь сказать, общечеловеческой проблеме. Нет, я и в самом деле подразумевал Нолана. Он не отождествлялся, но это не беда. Гора не хочет идти к Магомету, пусть Магомет пойдет к горе. Понимаете, у нас есть сведения, что у Нолана интенсивно ведутся работы по созданию портативного генератора, который способен подавить деятельность протоксенусов и, если потребуется, уничтожить их.

— Даже уничтожить?

— Крэл, Альберт Нолан должен быть с нами, а не против нас! Вы его любимый ученик, и вы... Вы должны вернуться к нему.

— Зачем?

— Убедить его.

— А если он не согласится? — спросил Крэл, уже догадываясь, чего от него хочет Хук.

— Если не согласится, ваша миссия не будет бесцельной. Вы... разузнаете, что у них там творится, и... помещаете им.

Крэл встал.

— Подлости я не делал, — сказал он резко. — Никогда. И никогда не пойду на подлость.

Ваматр, так и не произнесший ни слова, подбежал к нему и пожал, впервые пожал ему руку.

Крэл шел по лесу торопливо, большими глотками захватывая воздух, настоенный на прогретой за день сосне. В сумерках он плохо различал тропинку. Обычно они с Инсой ходили по ней медленно, прогуливаясь, а сейчас он спешил и часто спотыкался о корни, скользил по сухим иглам. Немного легче стало идти, когда могучие сосны уступили место молодняку. Здесь было светлей, и, добравшись до просеки, он побежал.

Инсы над обрывом не было.

Начал накрапывать дождь. Крэл пошел по краю обрыва медленно, то и дело останавливаясь и сталкивая ногой пласт дерна. Так он дошел до трех сосен. Огромных и уже обреченных: половина корней, обнаженных, высохших, висела над обрывом.

— Я очень ждала, Крэл.

Между двумя самыми большими корнями, как в удобном гнездышке, сидела Инса. Крэл сел рядом, прижался к ней, и сразу стало хорошо, как бывает только с ней.

— До сих пор разговаривали у Хука?

— Угу.

— Решили, что делать дальше?

— Я уезжаю, Инса.

— В кратер?

— Нет. Совсем.

— А я?

Инса вскочила. Он тоже быстро поднялся и протянул к ней руки:

— Я очень люблю тебя, Инса!

— Не надо очень. Когда человека любят, он становится хорошим, а когда его слишком любят, он может испортиться.

— Не шути, Инса. Это серьезно и... навсегда.

Инса пошла по краю обрыва. Теперь она сталкивала кусочки дерна, и дерн, прошуршав по крутому склону, утихал внизу.

— Я не могу без тебя, Крэл.

— Уедем вместе.

— Я не могу без Холпа, без Ваматра... Зачем мы ушли из-под сосен? Дождик усиливается.

— Он ласковый.

— И мокрый... Будет гроза.

— Да, будет.

Они вернулись к соснам и сели, держась за руки. Крэл рассказал о предложении Хука шпионить у Нолана.

— Да как он смел предложить такое. Тебе предложить!

— Хук есть Хук, Инса.

— Что же мы будем делать?

— Коротать эту ночь здесь.

— Она самая короткая в году, Крэл.

— Жаль. — Крэл обнял Инсу, и она прильнула к нему. Доверчивая, впервые совсем неколючая.

— Отвратительно...

— Ты о чем?!

— О подлости.

— Не надо сейчас.

Но Инса продолжала шептать:

— Даже по отношению к Нолану нельзя допускать такой подлости.

— Ты сказала — даже по отношению к Нолану?

— Ты всё еще боготворишь его, а он шпионит за нами. — Инса ждала, что ответит Крэл, но не дождалась и спросила: — Где ампулы, которые он дал тебе? Помнишь?

Крэлу стало жарко — он ни разу не вспомнил об ампулах и не знал, где они.

— Одну мы исследовали, — продолжала Инса спокойно. — Собака сдохла сразу.

— Инса! — вскочил Крэл.

— Ой, какой ты несносный. Было так уютно. — Она встала, потягиваясь, закинула руки над головой и, при-

слонясь к стволу, смотрела вдаль, на восток. Там уже появилась светлая полоска зари. Но над ней всё еще чернели тучи. Левее они сливались с чернотой земли, и только когда вспыхивали зарницы, частые, далекие и пестрые, было понятно, где тучи, где земля.

— Неужели ты думаешь, что я соврала?.. Всё еще недоверчив, насторожен...

Крэл не ответил, не мог не думать о Нолане. Что же он замыслил? Отнять жизнь, давая ампулы, отнять Инсу, предупреждая об амулете?..

— Крэл, не думай о них хотя бы сейчас... Ведь эта ночь наша... Мне так хорошо... Мы будем любить друг друга, Крэл, и нам будет... нам будет очень трудно... Пойдем, Крэл, пойдем в Холп.

Топазовая полоска разрасталась, по верхнему краю начинала зеленеть, и от этого темнее становились тучи на севере, а в них ярче блестели зарницы. Крэл взглянул на Инсу и тихонько прочел:

— «В твоих глазах оставила гроза свою разгневанную вспышку...»

— О, Крэл, ты помнишь эти стихи? Они хорошие. Как там дальше? «А дождь...»

— Я не всё помню. Кажется, так: «А дождь все льет и льет свой теплый мед, и тянут сосны к нам свои изможденные лапы...»

— «Меня пьянит сосновый запах», — подхватила Инса.

— «И мы идем. До самых зорь!»

— «Не спорь — дорогой зорь!»

— «Без капли лжи...»

— «Для нас рассвет, как пейзажист, на синь холста, на синеву куста, на неба синь кладет кармин».

— «Для нас гроза — сумбурный композитор — вплетает нежные мотивы».

— «Да, я хочу с тобой вдвоем и под одним плащом уйти в такой зовущий ливень!»

— А ливня-то и нет, — высвободила руку Инса. — Так, дождичек. Едва моросит. А почему вдруг ливень, когда и неба синь, и солнца нового кармин? Ведь тучи, когда ливень! До чего же стихи вещь неточная. Даже хорошие.

— Ты всё умеешь высмеять...

В ворота Холпа они вошли почему-то крадучись, словно нашкодившие подростки. Молча прошли по главной аллее, и Крэл не знал, куда Инса свернет. Она свер-

нула на дорожку, ведущую к его коттеджу. На веранду она вбежала первой, отряхнула с волос воду и подошла к двери. Крэлу не давала покоя мысль об амулете, почему-то непременно хотелось избавиться от него. Будто угадав, о чем он думает, Инса сняла цепочку с шеи, надела ее на палец и стала раскручивать амулет, как маятник. Тихонько смеясь, она раскрутила его прачей, отпустила, он полетел далеко в парк, и она подтолкнула Крэла к двери.

* * *

Холл пришлось эвакуировать.

Приток насекомых возрос. По дорожкам и без дорожек шли муравьи, термиты, жуки; летели бабочки, стрекозы, пчелы, мухи, комары, ползли клопы, вши, тли, гусеницы. Гибли от истощения и иссыхали, но те, которые добирались до башни, попадали к протоксенусам.

Старинный красавец парк погиб. Он стоял обглоданный, истерзанный, мертвый. Коттеджи, еще недавно такие чистенькие, уютные, превратились в зловонныеместилища всякой гниющей живности, лабораторные помещения заваливались издыхающими насекомыми. Трупы их накапливались в гараже и складах, трансформаторных будках, канализационных колодцах. А насекомые всё двигались и двигались к Холлу, проникая во все щели и отверстия, заполняя собой всё вокруг.

Применить ядохимикаты холповцы не решались, боясь повредить протоксенусам. В какой-то мере помогали птицы. Теперь они собирались над Холлом тучами. Пиршество пернатых, обильное, неистовое, было отвратительно шумным, но и их приходилось терпеть, иначе специально нанятые рабочие вовсе не управились бы с расчисткой.

Назревал скандал. Давно заржавевшие ворота (милые сердцу Крэла граммофончики разом сожрала стремившаяся к башне орда) починили, закрыли и выставили надежную охрану, оберегая Холл от репортеров.

Хук созвал экстренное совещание.

— Мы не можем допустить огласки. — Глава фирмы был мрачен, суров и полон решимости потребовать от ученых деловых предложений. — Боюсь, нам не избежать неприятностей. Некоторое время я еще смогу сдерживать натиск любопытных и пострадавших из-за нас, а затем? Насекомые испоганили всю округу. Посевы близлежащих

к Холпу ферм практически погибли. Под угрозой Толорский лес, а это уже не шутки. Компенсировать потери фермеров, может быть, и удастся, но национальный заповедник!.. — Хук помолчал немного и продолжал совсем тихо: — Люди хотят знать, что же у нас творится. По имеющимся у меня сведениям, местные власти настояли на создании правительственной комиссии. Значит, девиз «Мой дом — моя крепость» станет недействительным. Пока еще никто толком не знает о существовании наших изысканий, но сейчас, когда со всех концов на нас движется эта мразь!.. Словом, так, давайте решать и решать срочно, что будем делать?

— Я считаю, — начал Вamatр, — прежде всего следует выяснить, почему новой породе протоксенусов потребовалось такое огромное количество насекомых. Для поддержания энергетического баланса им нужно... Петер, скажите, пожалуйста, во сколько раз увеличился вес протоксенусов?

— В два и три десятых раза.

— А приток насекомых?

— В сто пятьдесят раз.

— Ну вот, спрашивается, зачем? Почему они затеяли такое?

Желающих ответить на вопрос Вamatра не нашлось. Молчание становилось тягостным. Хук нетерпеливо выстукивал пальцами по крышке своего стола, и это начало раздражать почти всех собравшихся на совещание. Наконец встал Крэл. Хук уже перестал стучать, а Крэл снова опустился на стул.

— У вас есть какие-то догадки? Тогда говорите о них, — подбодрил Вamatр, — говорите.

— Именно догадки, притом такие, что и высказывать их неловко. Особенно сейчас, когда так остро стоит вопрос, что же делать с протоксенусами... А впрочем, — Крэл улыбнулся, махнул рукой и отважился, — впрочем, иногда соображения дилетанта помогали специалистам. Я не энтомолог, и с насекомыми... с насекомыми у меня отношения неважные. Как и большинство людей, я их терпеть не могу, даже побаиваюсь. Но волею судеб мне пришлось с ними работать, я изучал труды доктора Вamatра и доктора Бичета и, казалось, убедился в том, что они... — Крэл замолчал, подбирая нужные слова, а Ялко, глядя на него с надеждой, скорее подсказал, чем спросил:

— Чужие?

— И да и нет.

— Это странное определение.

— Не спешите, я постараюсь объяснить свою мысль. Они... *они особенные*. Уж очень не похожи на всё живущее на Земле, и мы с вами это хорошо знаем. Примечательно, что теперь, характеризуя состав биосферы Земли уже не пишут: «Растения и животные», а предпочитают делать это осторожней: «Растения, животные и насекомые». Так что же такое насекомые? Вернее, существа типа насекомых. Они, по-видимому, распространены во всей Вселенной и, как ничто живое, способны подстраиваться к типам жизни на планетах. У нас, в мире углеродистой органики, они имеют структуру углеродистую; на планетах, где жизнь кремнийорганическая, они в своей основе кремниевые; а там, где живое, может быть, представляет собой какие-то кристалло-металлические формы, насекомые, словно маленькие механические создания, хорошо вписываются в общий стиль всего живущего на такой планете. Ну а у нас, на Земле, чужие они? Не думаю. Они эволюционировали здесь, в нашей биосфере. Их собратья, обитающие в бесчисленных мирах Вселенной, проходят эволюционный путь в своих, может быть совершенно непостижимых для нашего мышления, мирах, в своих биосферах... И всё это составляет единую биосферу Вселенной. Вот почему я сказал — «и да и нет».

— Единую? — удивленно переспросил Хук. — Почему же единую? Значит, вы утверждаете...

— Простите, позвольте мне закончить. Я ничего не утверждаю. Только догадки, только предположения. Они возникли у меня в то время, когда доктор Ваматр грозил испепелить своих питомцев. Похоже, они действительно поняли и очень своеобразно прореагировали на угрозу, перейдя на самоснабжение. А с чего началось, давайте вспомним. На новой стадии развития протоксенусам уже недостаточно было одних диоксидов, они стали требовать всё новых и новых видов. Сколько они перебрали тогда рационалов?

— Восемь.

— Ну вот, и этого показалось мало. Ассортимент они расширили и привлекают теперь к себе десятки, сотни видов. Для питания им столько не нужно. Это установлено. А они привлекают. Что еще могут содержать в себе насекомые?.. Информацию! Вот она-то и нужна протоксенусам, пока сидящим на одном месте, у нас в башне.

Да, вероятно, информацию... А что, если накопление и хранение информации — это основное назначение насекомых? Запрограммированное, целевое. Насекомые распространились беспредельно, заселили все континенты и климатические пояса, проникли во все слои биосферы Земли. Миллионы видов! Миллионы. Главную массу живого вещества суши составляют насекомые. Приспособляемость их к окружающей среде невероятна, стойкость видов, не изменяющихся тысячелетиями, поразительна. В чем же состоит сверхзадача этих существ, отличных от всего иного, живущего на Земле?

Крэл опять замолк. Он подошел к главному, к тому, ради чего и делал такое пространное вступление, но об этом главном, составляющем самую суть идеи, сказать было очень трудно.

— Вы хотите, Крэл, чтобы мы ответили, какова у них, как вы выразились, сверхзадача? — не без иронии спросил Лейж.

— Я не имел этого в виду. Вопрос чисто риторический. А поделиться я хотел некой сумасшедшей идеей.

Хук заерзал в кресле, посмотрел на часы, начал было вновь барабанить пальцами, но сразу перестал и попросил Крэла, не теряя времени, продолжать.

— Появление на Земле протоксенусов, созданий еще более загадочных, чем насекомые, натолкнуло меня на мысль о существовании биосферы Вселенной — великом союзе миров, связь между которыми осуществляется не генерацией электромагнитных волн, а проникновением жизни, то есть самым сильным, самым действенным из всех процессов во Вселенной, потому что только живое способно бороться с энтропией. Вероятно, бесконечно давно существует Биосфера, объединенная системой связи... Наиболее приспособленными, надежными хранителями генной памяти и информации оказались организмы, подобные насекомым. Их инстинкты, их умение бездумно-механически создавать сообщества, в которых узко ограничены функции индивидов, их запрограммированность — всё это наводит на мысль, что насекомые роботоподобны, как ничто в мире живого. Возможно, они, как малюсенькие разведчики, каждый из своего угла, каждый из своего времени, черпают сведения обо всем окружающем. И хранят их. Сведения о нас, о Земле, о пережитом нами и Землей. О происшедшем вчера и сотни лет назад. О процессах тысячелетней давности и о происходившем

в мезозойскую эру... Теперь, с появлением протоксенусов, начался процесс конгломерации, сбора всего накопленного, может быть, переработка, классификация.

Закончив, Крэл обвел взглядом всех участников совещания и понял, что высказанные им соображения ни у кого энтузиазма не вызвали. Лица были разными — чуть смущенными, замкнутыми, вежливо внимательными, но ни на одном нельзя было прочесть одобрения или хотя бы понимания. Крэл и не ожидал иной реакции, однако чувство досады сразу же испортило настроение.

Долгую неловкую паузу нарушил Хук:

— Вы сами, Крэл, окрестили свою гипотезу сумасшедшей, и я... Ничего я не понимаю. Боюсь, такие гипотезы уведут нас черт знает куда.

— Не спешите, Хук, — вступился за Крэла Ваматр. — Не спешите. Да, дерзко, совершенно ново, но ведь мы столкнулись с явлением, никогда не наблюдавшимся, необычайным, следовательно, и мыслить теперь должны как-то совсем иначе. Молодые, идущие нам на смену, и делают это. Догадки Крэла позволят нам глубже понять это явление, а затем, вероятно, и овладеть им. Чем смелее гипотеза, тем лучше... Да, заманчивая мысль... Опровергнуть вашу гипотезу, Крэл, мы не можем, как и вы не можете доказать, что протоксенусы и в самом деле начали сбор информации. Понимаете, я могу согласиться со многим, вернее, допустить многое, коль скоро мы действительно соприкоснулись с процессами странными, даже непостижимыми. Трудно, однако, представить себе, как накопленная информация, записанная отдельными видами по строчке, пусть по страничке, сошлется во что-то целостное — в летопись нашего мира. Трудно. Но я допускаю и такое. Мы ничего толком не знаем о протоксенусах, а потому вправе предположить у них свойства поистине чудесные. Листы огромной книги, множества книг сваливаются в одну кучу, и надо рассортировать их, разобраться что куда, распределить, так сказать, в пространстве и времени. Невероятная задача! Но, повторяю, я могу допустить и это. Немыслимое для нас может оказаться совершенно обыденным для существ необыденных. Всё это так, хуже другое. Что такое протоксенусы? Почему они получились? Я убежден, пока мы не поймем этого, мы не сможем ни одну сумасшедшую гипотезу сделать рабочей гипотезой.

Ваматр умолк, и первой заговорила Инса:

— Я не понимаю, как же это? Позвольте, позвольте, протоксенусы созданы, живут уже годы и вдруг...

— Да, да, Инса! Ничего еще не решено, несмотря на годы. Откуда они?

— Ну, отец и вы... Вы создали подходящие условия, подобрали благоприятное излучение и...

— И из бактерий вырастили слона? Да ты что, и в самом деле думаешь, будто из какого-то примитивного организма можно создать организм сложный, не исключено — даже разумный, подобный протоксенусам? Подумай, ведь ты биолог.

Инса совершенно растерялась:

— Но они есть, они существуют, протоксенусы!

— Вот это самое загадочное, почему они есть.

— Да, — вдруг вспомнила Инса, — а фермент!

— Фермент тоже ничего не решал. Ни тогда, у Нолана, ни теперь, у Крэла. И облучение и фермент способствовали, конечно, их развитию, но пойми, ведь человек, люди, — ты, я, все мы, кто угодно — не могли мы дать программу, по которой должно строиться такое сложнейшее существо, как протоксенусы. Нет у нас, у людей, такой программы и быть не может. Откуда она у протоксенусов?

Ваматр впервые высказался столь откровенно. Обыкновенно скрытный, он и сотрудников приучил к тому, чтобы они не задавали лишних вопросов. Ваматр работал в своей личной лаборатории, не допуская туда никого. Считалось, что там, в его святая святых, уже многое решено и только до поры до времени не становится достоянием всех сотрудников, и вдруг Ваматр признался в своей несостоятельности.

Обсуждения теоретических проблем не получилось, и Хук стал настойчиво требовать практических решений. Лейж, обладая способностью разряжать обстановку, помог и на этот раз, предложив изменить режим генераторов.

Способ унять протоксенусов оказался действенным. Как только благотворное излучение стали отпускать протоксенусам в минимальном количестве, они умерили свою активность, а вскоре и вообще впали в состояние своеобразного апатии.

Приток насекомых в Холл прекратился. И всё же Хук и Ваматр считали хлопотным и опасным держать протоксенусов в Холпе. Так как кратер готов был к приему

беспокойных питомцев, их решили эвакуировать как можно скорее.

Специальные контейнеры изготовили в течение пяти дней и поместили в них протоксенусов. Огромные треллеры подошли к Холпу, загрузились контейнерами, и процессия двинулась к аэродрому.

Переезд в кратер прошел без особых задержек. Желаящих уехать в Африку нашлось достаточно. Холл опустел.

Инса уезжала с последней партией.

В парке еще валялись трупы насекомых, но стаи птиц поредели, гомон их стал терпимей. Обглоданные, казалось, безнадежно погибшие деревья напоминали о пронесшемся над Холпом вихре. Инса в последний раз поднялась на полуразобранную, ненужную теперь башню и оттуда, с самой высокой точки Холпа, смотрела на черное переплетение омертвевших ветвей, на покинутые кирпичные корпуса, на то место, где совсем недавно был расположен поселок. Из коттеджей не увезенным остался только один — Крэла.

Через час придет машина, и всё. Сколько еще простоят коттеджик Крэла?.. Что он делает там?.. Нестерпимо захотелось увидеть его. Сейчас, сию минуту!

По перекрытиям, проходящим внутри каркаса башни, она пустилась бегом, и грохот железа под ее каблуками напомнил ей страшную и так много решившую в ее жизни ночь.

За огромным стволом мертвого вяза стоял Крэл.

— Я думала, ты у себя.

— Мне захотелось в башню.

— Зачем?

— Не знаю. Вероятно, потому же, почему и тебе.

— Крэл, ты всё же остаешься?

— Да, но мне кажется... мне кажется, я буду тосковать без них.

— Без них? — Инса даже отстранилась от него.

— А без тебя... Ты ведь понимаешь, без тебя я... я не могу теперь. Просто не могу.

— Поедем вместе.

— Мне там нечего делать. Они взяли фермент сами. Зачем мне в кратер? Я не энтомолог, не биолог даже...

— Пойдем к тебе, Крэл.

В коттедже всё было вроде бы так же, как и месяц назад, но почему-то стало неуютно, сиротливо, будто этот

маленький домик не мог жить в отрыве от других, теперь уже увезенных отсюда.

— Хочешь кофе?

— Если у тебя найдется рюмка коньяка.

Коньяк нашелся. Вскоре аромат наполнил коттедж, и сделалось немного веселей на душе. Теплей. От кофе, от коньяка, от желанной обоим близости.

Инса подошла к зеркалу, поправила волосы и закурила сигарету.

— Ты говорил с Ваматром?

— Да.

— И он отпускает тебя?

Крэл пожал плечами.

— В ферменте он уже не нуждается, сам на распутье. Что он может предложить мне?

Инса повернулась к нему, бросила сигарету.

— Крэл, что же происходит, Крэл?

— Мы в тупике... Есть протоксенусы, и никто не знает, почему они есть, а главное, имеют ли они какую-нибудь цель.

— Знаешь, мне понравилась твоя мысль о насекомых — сборщиках информации, о Великой Сфере Связи Миров... Если ты прав, то станет понятно, зачем протоксенусы.

— Но как проверить это? Как сделать сумасшедшую гипотезу рабочей? Мы все совершенно запутались. Все. В том числе и Ваматр.

— Ты уверен?

— Да. — Крэл налил полную рюмку и быстро выпил. — И я ничем не могу помочь в этом сложном и незнакомом мне деле. Неловко мне критиковать и только критиковать... Протоксенусы лишили меня возможности наложить вето. А ведь я шел сюда с тем, чтобы повлиять на происходящее в Холпе. Теперь не могу и, следовательно, никому не нужен. Даже протоксенусам. Впрочем, им мало кто нужен, они чертовски независимы. Даже зарождение их произошло помимо воли человека.

— То есть как это так?

— Да вот так. Зародились, и всё тут. Когда сочли нужным.

— Чепуха какая-то. Дед просто не хочет... или боится повторить...

— Он не может... Я не хотел говорить. Не имел права, собственно, и не имею... Тебе скажу, Инса. Ваматр

призвался: не может он. Годы бьется в своей личной лаборатории, и у него ничего не получается.

— Ты меня пугаешь.

— Нисколько. Не получается потому, что всё дело в программе. Как получили ее протоксенусы, откуда? И почему сейчас, а не тысячу или миллион лет назад?

— Крэл, ты, похоже, прав: всё дело в том, чтобы понять, как и откуда они получили программу... Ты обо всем этом говорил деду?

— Конечно. Он понял меня и согласился с тем, что я сейчас ничем не могу быть полезен. Вот разве только критиковать... Инса, останься!

— Не могу я без них, не могу без деда. Он ведь очень одинок, о нем надо заботиться, как о маленьком.

— А без меня можешь?

— Не надо так. Это недозволенный прием... Поедем в кратер.

— Нет.

— Крэл, поедем!

— Только в том случае, если пойму.

— Что поймешь?

— Пойму, откуда у них программа.

Автомобиль, увозивший Инсу, проехал через ворота и скрылся в лесу. Ворота теперь снова были открыты... День-два, он соберет свои вещи и... Куда ехать, как устраиваться, еще не было решено. Что-то надо было предпринимать, но что? Он знал одно: нигде, занимаясь какой-то другой проблемой, не сможет перестать думать о протоксенусах.

Крэл прикрыл половинку тяжелых ворот. Машинально, не думая, а пока шел ко второй, первая со скрипом распахнулась, и Крэл бросил возню с ними. Подумалось только: «Грамофончики на них завьются не скоро...» Грамофончики. Казалось, совсем недавно так трудно было переступить невидимую преграду у проржавевших ворот таинственного Холпа. Через нее помогла перейти Инса, и тогда появился в жизни лес над обрывом, открылся мир любви, надежд, покоя. Он сам лишил себя этого мира... А ведь еще не поздно. Побросать в «дисмен» чемоданы — и через час-полтора можно быть в городе.

Крэл не заметил, как вернулся в коттедж. Здесь было пережито много, и здесь захотелось побыть еще. Побыть

совсем одному, в тишине. Попробовать собраться с мыслями и на что-то решиться наконец.

Время, как ни странно, шло быстро, совершенно незаметно. Отъезд из всеми покинутого Холпа Крэл откладывал с дня на день и непрестанно думал о протоксенусах. Что делают они, к чему стремятся сейчас, на новом этапе своего развития? Приходило в голову разное, но чаще всего он думал о контактах с ними. Они уже пробовали всякое. Не разумно, вероятно, а инстинктивно, по заложенной программе ищут общий язык с людьми. Даже в самой начальной стадии превращений пытались использовать для налаживания контактов музыку, как наиболее абстрактную, эмоционально высокую и общедоступную категорию... Но как направляется всё это? Откуда, зачем?.. Порой казалось: вот-вот сработает реле, давно подготовленное к такому акту, и всё станет на места. Чуть-чуть додумать, и можно будет решить... Почему, почему зародились протоксенусы? Насекомые не могут быть чужими, Ваматр прав... Как он храбро отбросил то, с чем сжился за долгие годы.

Умница, а говорят — дьявол. Впрочем, дьявол должен быть умен... Стоило ли оставлять Ваматра? Может быть, надо было всё же ехать в кратер?.. Нет-нет, ехать туда не с чем.

Как устроить дальнейшую жизнь, где и над чем работать, он так и не придумал, однако сидеть и дальше в Холпе уже было невозможно. Крэл пообедал, наскоро справившись с последней банкой консервов, закрыл чемоданы, сдвинул их в угол и вышел в парк. Попробовать.

Багровый неуютный закат высвечивал мертвые деревья. На черных искореженных ветвях блуждали тусклые, едва теплящиеся блики. Чернела и земля, всё еще устланная иссохшими насекомыми. На земле, то тут, то там, вероятно отражаясь от какого-то глянцевого крылышка, порой разгорались пурпурные искорки. Ветра не было. Прогретый за день недвижный воздух усиливал впечатление раскаленности, созданное закатом. Пустынно, тихо. Поселок разобран и увезен, кирпичных корпусов не видно, и только торчит над обглоданным парком железный каркас демонтированной башни...

«Будто на том, съеденном лимоксенусами острове...»

Крэл шел медленно, шелестя, как опавшими листьями, сухими трупиками, валявшимися под ногами, и впечат-

ление заброшенности всё усиливалось и усиливалось. Остров. Какой-то совсем дикий, необитаемый, вернее, покинутый всеми остров. Казалось, за тысячи миль нет ни одной живой души, и это нравилось — ведь так редко в наш век человеку удается ощутить полную отдаленность от себе подобных. Полное уединение позволяет сосредоточиться и, не расслабляясь, подчас решать такое, что обычно не поддается решению в суете и спешке будничных дел.

Крэл вздрогнул от почудившегося шороха и, когда резко обернулся, что-то яркое, алое мелькнуло в голых темных кустах. Он обругал себя за минутную трусость и направился к заблестевшему в наклонных лучах солнца предмету. Около садовой скамьи лежал транзисторный видеоприемник. Кто-то поставил его и забыл. Такой, кажется, был у Петера, а может быть и не у него. Какая разница...

Ощущение заброшенности, обитания на покинутом острове оказалось настолько прочным, что в первое мгновение Крэл никак не мог представить, как это здесь, на диком безлюдье, может вдруг появиться на экране изображение, как могут возникнуть звуки музыки.

Вспыхнувшая мысль словно обожгла. Он почувствовал, что, кажется, сработало реле, и бросился к находке.

«Вот кнопка. Именно ее надо нажать, и транзистор оживет. Засветится экран, я увижу, что делается сейчас в огромном мире, услышу о происходящем за тысячи миль от этого острова. Услышу, увижу, узнаю! А если бы на моем месте оказался настоящий островитянин, дикарь, который никогда не видел транзистора, ничего не знает о возможности передавать сигналы на расстояние, и вдруг нашел его в кустах? Он взял бы его в руки, повертел, может быть даже случайно нажал кнопку и, услышав треск, пожалуй, отбросил, испугавшись. А я? Я знаю, знаю, как обращаться с приемником. Знаю!»

Крэл быстро начал настраивать приемник. Аккумулятор не сел. Экран засветился. Несколько привычных движений — и экран немного потемнел, на нем четко выявились проворно бегавшие фигурки. Еще поворот верньера, звук усилился, и вдруг в одичавшем парке взорвалось многоголосое, радостное:

— Гол!

За две тысячи миль от Холпа заканчивался матч на первенство мира по футболу.

«Я получил информацию, — думал Крэл, уже не слыша неистовых криков. — Да, получил информацию, преодолел огромное расстояние мгновенно. Информация в союзе со временем сжала пространство, дала мне возможность перенестись бог знает куда. И всё потому, что я умею обращаться с этим приемником. Умею. Дикарь, повертев его, стал бы заколачивать им деревянные гвозди, восторгаясь своей изобретательностью. Он ведь ничего не знает о том, что всю Землю охватывают волны информации...»

Крэл бросил приемник в кусты и побежал к своему коттеджу. Портфель он расстегнул торопливо, отыскал в нем блокнот и сразу же сел к столу.

«Информация вне нас и пронизывает нас. Она постоянна, вечна, она включает в свою сферу новые, только зарождающиеся миры, миры, процветающие и уже отжившие, близкие к гибели. Включает их в общий поток Вселенной. Вот этот-то поток и принес команду: конгломерироваться, собираться воедино! *В результате получились протоксенусы!*

Как только какое-то разумное существо, в данном случае человек Земли, научится генерировать сложную гамму излучения (код синтеза фермента), нужного для развития «приемника-передатчика», то есть протоксенусов, — как только разумное существо это научится синтезировать фермент, оно этим самым покажет, что умеет обращаться с приемником-транзистором, не будет забивать им гвозди и, следовательно, уже достойно включиться во Вселенскую биосферу Информации, объединяющую миллионы планет».

Стемнело. Едва различимы стали строчки. Крэл отложил перо и начал вышагивать из угла в угол. Время от времени он открывал то один, то другой шкафчик, прошел в кухонку, пошарил там на полках. Кроме пачки бисквитов, ничего съедобного не нашлось. «Не оставил ничего на ужин. Инса ведь предупреждала — запаси побольше продуктов. Не послушал... Как отнесется к этой мысли Инса? А Ваматр? Кто поймет, кто поддержит? А ведь всё как будто становится на свои места. Может быть, понятно станет, что такое насекомые, вернее, существа типа насекомых».

Крэл протянул руку к выключателю, позабыв, что в Холпе уже давно нет электричества, и щелкнул им не-

сколько раз. Сообразив наконец, в чем дело, он зажег наполовину сгоревшую свечу и снова сел к столу.

«Протоксенусы словно маяки во Вселенной, словно узловые трансляционные станции, осуществляют связь, включаясь в вечный поток Информации. Так происходит тройственная связь: Информация — Пространство — Время...»

Яркий луч мелькнул за окном. Только когда свет скользнул по исписанным листкам, задавив своей электрической мощностью свечу, Крэл понял, что к коттеджу подъехал автомобиль, и поспешил на веранду. Перед ним стоял Нолан.

— Крэл, позвольте мне зайти к вам. Я не надолго. Всего на несколько минут.

Крэл немного растерялся — Альберт Нолан здесь, в Холпе! — однако быстро справился со смущением и учтиво пригласил:

— Да, да, конечно, милости прошу. — И уже в комнате: — У меня беспорядок. Всё собрано к отъезду. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. — Нолан расстегнул летнее пальто, провел уголком платка по губам и занялся своей любимой трубкой. — Вам неприятно мое появление. Нет, нет, не отрицайте, это так, и это вполне естественно. Но мне надо было повидать вас, Крэл. Мне так недоставало вас всё это время. — Нолан раскурил трубку и теперь смотрел на оплывавшую свечу. Лицо его стало спокойным, приветливым, почти прежним, каким бывало в Асперте. — Свеча... Живой огонь. В будущем, когда человек при помощи одной только мысли сможет окружать себя тем или иным комфортабельным светом, он сохранит живой огонь. Кое-кто даже сможет позволить себе роскошь спичкой зажигать свечу и ощущать запах серы и стеарина. Гурманы, конечно, умудрятся добывать для себя и спички. Как современным любителям старины и простых житейских благ, нет-нет да и удаётся полакомиться продымленным на костре куском вепря... У вас, Крэл, найдется что-нибудь выпить?

Крэл поспешно достал початую бутылку вермута, поставил ее на стол, ловко убрав при этом исписанные листки, и тут только сообразил, что вино пить не из чего. Впрочем, сразу же обоим стало не до вина.

— Крэл, мне надо поговорить с вами именно теперь, когда вы свободны от обязательств, данных Хуку, и еще никому не дали новых.

Крэл опустил глаза и сказал медленно:

— Я понимаю вас... Вы имеете все основания упрекнуть меня... Да, я не мог осуществить свое право запрета...

— В этом вы не виноваты, мой друг. — Нолан говорил мягко, участливо, пожалуй даже ласково. — Протоксенусы отобрали у вас секрет и сделали это гораздо толковей, чем Хук и компания.

— Вы всё еще боитесь протоксенусов?

— Да.

— Вы считаете их разумными?

— Думаю, Крэл, мы с вами не сможем найти определение, что такое разум, запутаемся в семантическом споре и потеряем время.

— Тогда позвольте спросить иначе. Вы всё еще считаете их опасными... для людей?

— Опасными?.. Пожалуй, но ведь беда не в протоксенусах, а в нас самих... Двадцатый век культивировал в людях тоску по родственному разуму. Привлекательность самой идеи о возможных контактах нещадно эксплуатируется популяризаторами самого различного толка. Формула «разумно — значит гуманно» повторялась слишком часто, люди уверовали в нее и теперь могут наделать глупостей. Надо никогда не забывать, что всё дело в степени зрелости и гуманности прежде всего нашего, человеческого разума... А что касается протоксенусов... Крэл, поймите, они должны быть уничтожены, они несут неисчислимые бедствия миру. Пожалуй — гибель! Новая порода протоксенусов начинает развивать в себе совершенно новые свойства. Если разовьёт, то худо нам всем придется... Они пробуют летать.

— Что?!

Нолан, будто не заметив этого крика, спокойно продолжал:

— Но как! Наблюдатели увидели, что две особи в башне, держась на небольшом расстоянии друг от друга, в течение нескольких минут неподвижно висели в воздухе. Бескрылые, они преодолели притяжение Земли. Это повторилось несколько раз. Одна пара почти достигла верхней сетки, прикрывавшей башню, затем упала и, вероятно, немногo покалечилась. После этого протоксенусы долго не решались повторять подьемы, но потом опять оживились. Кажется, взлетели с бoльшим успехом. Вы понимаете, Крэл, они могут уйти из кратера. Поверьте,

они очень скоро начнут тяготиться своим зависимым положением, захотят освободиться от контроля, осуществляемого людьми. Что тогда?

«Почему я ничего не знаю? — лихорадочно думал Крэл. — Почему они мне ничего не сказали об этом?..»

— Вы говорите, протоксенусы попытались подняться в башне над общей массой?..

Нолан, видимо уловив нотки сомнения в голосе Крэла, открыл маленькую тисненой кожи папку. Оттуда он извлек фотографии и протянул их Крэлу. Крэл почти с испугом подумал: «Как, ему и фотоснимки доставляют! Да что же это?»

Сомнений не оставалось — два протоксенуса висели в башне.

Свеча вспыхнула, запахло стеарином. Черный фитилек изогнулся, высунувшись из пламени. Раскаленный его кончик окунулся в прозрачную лужицу, шипя и потрескивая. Пламя стало ярче, чадней и, сделав еще одно усилие, погасло, но в комнате не потемнело, только свет из тепло-желтого переменился на зеленовато-холодный, лунный.

— Что вы мне хотите предложить?

— Быть вместе с нами, Крэл, и работать... у Ваматра. Крэл стиснул кулаки.

— Выслушайте меня, — сказал он тихо. — Я хочу, чтобы вы избавились от ложных представлений о Холпе. Вспомните, я ведь пошел сам, по своей инициативе. Вы не только не помогли мне, а очень осложнили задачу, дав столь превратные сведения о происходящем здесь. Я рискнул, готов был к самому страшному, даже к тому, чтобы разделить участь Лейжа... Кстати, вы знаете, что Аллан Лейж жив?

— Жив?

Крэл замер, сжался, с ужасом ожидая, что дальше скажет Нолан. Ведь не может, не может Альберт Нолан солгать...

— Лейж? — Нолан явно думал о чем-то ином, более важным для него в эти минуты. — Лейж... Ах да, разумеется, жив. Ваматр не уничтожил его... его тело... Он сделал хуже — забрал его душу. Лейж погиб для нашего дела... А вы, Крэл? Вы еще живы?

— Выслушайте меня, и вы поймете, что ошибаетесь. В Холпе меня встретили обыкновенные люди, не изверги, не палачи. Люди, озабоченные решением большой, может

быть общечеловеческой проблемы. Они исследуют необычайное явление, ищут. Радуются удачам и находкам, стараются преодолевать затруднения вместе, дружно. Люди здесь разные, но все в общем порядочные. Доктор Ваматр во многом заблуждается, экстравагантен, подчас даже взбалмошен, но, безусловно, честен и до сих пор с уважением, я бы сказал с любовью, относится к вам...

Нолан встал и заговорил, не глядя на Крэла, тихо, как бы размышляя вслух:

— Ваматр загубил и Крэла. И Крэл потерян для нас. Потерян теперь окончательно...

Из Холпа Крэл выехал утром. Очень рано. К девяти утра он уже был на столичном почтамте и отправил Ваматру радиogramму:

**НАШЕЛ В ПАРКЕ ТРАНЗИСТОР. ПОСЛЕЗАВТРА
ВЫЛЕТАЮ КРАТЕР. КРЭЛ.**

* * *

Готовясь к сообщению, Крэл изрядно волновался. Предстояло убедить Ваматра и его сотрудников в необходимости по-новому вести поиск, чтобы установить, не являются ли протоксенусы коммутаторами в извечном потоке Информации. Возникали опасения, не примут ли его соображения в штыки, со скепсисом, может быть и с насмешкой? Однако всё получилось по-иному. Конкретное предложение — попытаться проверить, не несут ли излучения протоксенусов сигналы, доступные пониманию человека, сразу же нашло сторонников. Это даже немного огорчило Крэла. Он готовился к борьбе, был напряжен, предвидя возможные атаки, и вдруг... Может быть, просто не поняли?..

Опустошенность, чувство предельной усталости охватило его после доклада, и захотелось побыть одному. Еще не умолкли голоса сотрудников, с энтузиазмом обсуждавших услышанное и уже строивших планы увлекательных поисков, а Крэл ушел из столовой — самого большого помещения горной станции, где проводились многолюдные совещания. Стараясь, чтобы его не заметили, не окликнули, он прошел вдоль небольшой площадки, уставленной алюминиевыми сборными домиками, и очутился у обрыва. Пожалуй, впервые по приезде Крэл смог наконец немного осмотреться. Всё вокруг было новым, еще неизвестным, и вместе с тем не производило такого впечатления,

какое бывает при виде чего-то необычного. Африка представлялась совсем иной. Более экзотичной, что ли, а выглядела будничней, тусклее, чем ожидалась. И, как это ни странно, знакомей. Может быть потому, что в Африке было неожиданно холодно?

Зябко поживаясь, Крэл медленно побрел по краю обрыва, обогнул древний лавовый натек и за ним увидел конусообразную, со срезанной вершиной гору — потухший вулкан.

По периметру среза выстроились вышки-излучатели. В свете быстро заходящего солнца жарко горел металл конструкций, и было похоже, что кратер увенчан раскаленной золотой короной. Крэл улыбнулся, вспомнив о хитрой выдумке Лейжа. Для непосвященных считается, что вышки — это радиоастрономические антенны, а на самом деле излучатели смотрят вниз, непрерывно изливая потоки живительных лучей, поддерживая существование протоксенусов.

— Крэл! Крэл-эл!

Инса бежала по краю обрыва, весело размахивая чем-то большим, темным.

— Инса! — Крэл сделал несколько шагов навстречу, протянул руки, и она сразу прильнула к нему. Теплая, своя.

— Убежал зачем-то.

— Хотелось побыть одному.

— И даже со мной не хотелось?

— Тебя-то я боялся больше всего. Знаешь, как страшно было. А вдруг не поймут, высмеют?

— Но ведь поняли, Крэл. Крэл, как здорово! — Инса прижалась к нему еще крепче и смотрела в глаза. Не отрываясь. Всё такая же — дерзкая и смешливая, чуть-чуть странная.

Быстро темнело. Еще видна была петляющая в долине, между округлыми скальными выступами дорога, а на излучателях уже вспыхнули ярко-красные огни. Крэл направился к ним. Инса висела у него на рукаве.

Подъем был крутой, но недолгий. Станция осталась внизу. Справа еще поблескивали в свете уходящего дня алюминевые крыши, но один за другим начали зажигаться теплые огни в окнах домиков, и крыши тоже померкли. Свет на небе исчез внезапно. Потянуло холодком.

— Набрось плед.

— Так вот ты что тащила! А я думал, чем это ты размахиваешь?

Крэл накинул плед, сразу перестал зябнуть, и они пошли медленней. Перед входом в туннель он остановился.

— Тебе порой не приходит мысль, Инса, что они могут оказаться хитрей нас?

— Думаю иногда, но не верю. И потом... ведь мы их крепко держим в руках. Теперь они совсем не могут обходиться без наших излучателей. Дед проделал рискованный опыт, почти лишив их излучения.

— И оказалось?..

— Что они не могут без него. Они не гибнут, правда, но замирают.

— А их попытки улететь?

— Улететь? — вопрос прозвучал настолько искренне, что Крэл поверил: Инса ничего не знает. Но как это могло получиться? Ведь кто-нибудь из ее сотрудников всегда дежурил в башне!..

Инса нажала кнопку у входа в туннель, двери раздвинулись, и они пошли по наклонному спуску. Туннель был низкий — пробить его в крепкой скальной породе стоило немалых трудов, — но освещен хорошо. Тянулся он метров пятнадцать и заканчивался выходом в застекленное помещение, как балкон нависавшее над тем местом, где в незапамятные времена бушевала раскаленная лава, а теперь приютились протоксенусы.

— Знаешь, а Лейж молодчина. — Инса постучала согнутым пальцем по стеклу. — Это он сконструировал балкон, предложил поставить здесь такое стекло. Свинцовое. Считается, что сквозь него излучение протоксенусов не проникает. По крайней мере, не влияет на людей.

Крэл молчал. Застекленный балкон был погружен во тьму — только у пульта горела притененная лампочка, — красные огни на вышках-излучателях тоже были экранированы со стороны кратера, и темень, скопившаяся на дне, была густая, непроглядная. Но через несколько минут с восточной стороны вдруг засеребрилась зубчатая кромка кратера. Лунный свет стал постепенно проникать в естественную чашу, и Крэл перенесся в иной мир — серебристо-черный, холодный, пронизанный идущим через высокогорную разреженную атмосферу космическим излучением, мир чужой и далекий, породивший неведомые и, быть может, очень всё же опасные чудища, притаив-

шиеся сейчас в темноте. «А что, если они всё же чужие, если их родина на самом деле там, в бесконечных просторах Вселенной?..»

— Крэл!

— Да, да, Инса.

— Ты очень далеко, Крэл.

— Я здесь, я с тобой, моя радость.

— Нет, ты там, с ними.

— А если всё это чепуха? — Крэл прильнул лбом к холодному стеклу. — Смотрю я на их логово и думаю: а вдруг я делаю скверное дело.

— То есть как?

— А если они всё же чужие?

— Но ведь и дед отказался от этой мысли...

— Ах, Инса, ничего-то мы не знаем толком. Суеتمدимся, выдвигаем заумные теории, а нужна проверка. Сейчас меня мучит одно: как пайти подтверждение, простое и наглядное доказательство того, что при помощи протоксенусов мы и в самом деле сможем включиться в Вечный Поток Информации... Не найдем такого подтверждения — значит, чепуха всё это, бред... Надо, надо заставить их, черт возьми, подать нам знак: понимаем, мол, хотим, чтобы и вы поняли...

Порой Крэл приходил в отчаяние. Боясь нашествия на кратер насекомых, протоксенусов продолжали держать на скудном пайке, притушив генераторы до минимума. В этом положении протоксенусы едва излучали, а для того, чтобы определить характеристику создаваемого ими биополя и попытаться расшифровать излучение, нужна была оптимальная их активность.

— Поймите, — убеждал Ваматра Крэл, — положение безвыходное. Давайте рискнем и постепенно будем смягчать режим. Если начнется нашествие насекомых, мы опять прижмем протоксенусов.

Наконец Ваматр согласился. С каждым днем режим генераторов переводили на более благоприятный для протоксенусов, и активность их возросла. Насекомых они почему-то не призывали, но вновь и по-новому встревожили исследователей. Теперь протоксенусы дали понять, что являются решительными противниками вивисекции.

— Этого еще не хватало! — бушевал Ваматр. — Да я их, да я их... уничтожу. — Он опасливо оглянулся на пульт,

связанный проводами с кратером, и все присутствовавшие в лаборатории рассмеялись. — Вот вы всегда так. Смее-тесь над стариком, и только. Но ведь это не слыхано: предъявлять ультиматум человеку!.. Как самочувствие лаборанта?

— Еще плох. Из коматозного состояния его вывели, однако врачи встревожены.

— Нет, что делают паршивцы! — Ваматр потряхивал кистями рук, сновал по тесному помещению, заставленному аппаратурой, натыкался то на одного, то на другого сотрудника. — Подумать только: превратили в столб человека, который должен был проводить опыт!

— Разрешите уточнить, — вмешался Крэл, — человек готовился взять протоксенуса на *острый* опыт.

Ваматр резко обернулся к нему:

— Люди везде и всегда, во всем мире ставят острые опыты. Ставят не только на всякой мелкой живности, но и на собаках, обезьянах, даже на дельфинах!

— А вот на протоксенусах, видимо, нельзя.

— Обезьяны, дельфины, — иронически заметил Ялко. — Да ведь никто из них не способен объединиться, согласовать действия и сообща выступить против человека, а вот протоксенусы... — Ялко закончил с гордостью: — Способны!

Инса спрыгнула с еще не распакованного ящика.

— Ты, Петер, вообще, как мне кажется, слишком уж высокого мнения о них.

— Да, и не скрываю этого. Я и раньше считал их существами высокоорганизованными, а теперь, на новой стадии развития... Не исключено, что они гораздо совершенней человека и, наверно, порядочней.

— Ялко!

— Они еще покажут себя! — заявил Ялко. — Они могут такое!..

— Вот это верно: покажут. — Инса отвернулась от Ялко и подошла к окну. — Собственно, уже показывают. Должна вам сообщить новость: они не нуждаются больше в продуктах питания. Ни в тех, которые мы им мило-стиво отпускали, ни в тех, которые они получали, привлекая насекомых. Они начали синтезировать всё им необходимое.

— Синтезировать? Из чего?

— Из воздуха. Похоже, они ведут прямой синтез, строя сложнейшую органику из простых веществ. Нечто

вроде фотосинтеза, осуществляемого растениями, но без участия хлорофилла, методом, совершенно еще не понятным, и притом со скоростью, в сотни раз превышающей скорость фотосинтеза.

— Инса, это настолько серьезно, это... — Вamatр подбежал к Инсе, схватил ее за руки и, заглядывая в глаза, продолжал: — Инса, если ты не ошибаешься, то ведь мы откроем для человечества...

— Мы? — дерзко перебил Ялко.

Вamatр бросил руки Инсы и повернулся к Ялко, а тот продолжал спокойно, немного даже нагло:

— «Мы откроем, мы дадим человечеству!» Да согласятся ли протоксенусы?

Теперь, не слушая друг друга, заговорили все разом, поднялся шум, и Вamatр закричал:

— Спокойней, спокойней, друзья! — Он наконец перестал метаться по лаборатории, сел, жестом подозвал всех к себе поближе. — Давайте попробуем без лишней экзальтации разобраться в происходящем, наметим план действий. Начнем по порядку. Как только мы столкнулись с совершенно необычным на Земле явлением: быстрым, направленным перерождением одних видов в другие, увидели существа, еще неизвестные человеку и притом обладающие удивительными свойствами, естественно, возникла мысль — а не порождение ли иного мира перед нами? Больше того, вечная тоска по родственному разуму заставила подумать: а может быть, он уже появился на Земле! Такое допущение не могло не волновать. Однако мы не только приходим в восторг от возможной встречи, но и задумываемся над проблемами, которые в этом случае возникнут... Какой критерий гуманности чуждого нам разума? Верна ли формула: разумно — значит гуманно! (Крэл тотчас вспомнил ночной разговор с Ноланом в Холпе и стал слушать Вamatра еще внимательней.) Достаточно ли гуманны и высокоразвиты оба разума, чтобы находиться в одной биосфере? Уживутся ли они или вступят в борьбу? Может быть, один займет главенствующее, а другой подчиненное положение. Кому тогда будет принадлежать Земля? Тому, кто пришел раньше, тому, кто численно превосходит соперника, или тому, кто совершенней? Поистине страшно становится, когда представляешь, с каким комплексом проблем мы столкнемся, если протоксенусы окажутся представителями иного, внеземного разума! В этом случае уже не мы,

горстка людей, а ученые всей планеты должны будут решать, как должен вести себя в возникшей ситуации человек. А сейчас?

— Сейчас надо установить главное — верна ли гипотеза Крэла.

— Правильно. Одно дело контакт с инопланетным разумом, пожаловавшим к нам, другое — включение в Сферу Вселенской Информации.

— Хорошо, если команда включаться пришла извне, как это предполагает Крэл. Дали команду, когда предположили, что, кажется, на этой планетке, затерянной в космосе, на Земле на нашей, разумные существа начинают приближаться в своем развитии к тому, чтобы и их подключить к Великой Сфере Связи. Если это так, протоксенусы дадут нам знать об этом. Следовательно, прежде всего нужен способ общения с этими существами.

— Друзья! — Ваматр опять встал. — Поймите, сейчас протоксенусы — это не существа, это — явление! Оно вызвано нами и вместе с тем возникло независимо от нас. Необходимо досконально изучить это явление. Вы правы: прежде всего надо попытаться получить от них какой-то знак. Давайте послушаем Крэла. У него есть конкретные предложения. Обсудим их и, если примем, тогда... — Ваматр устало опустил на стул, привычно засунул руки между колен и, разделяя каждое слово паузами, закончил: — Тогда... надо... снова... просить... у Хука... денег.

— Хук приезжает сегодня, — вставила тихонько Инса.

— Сегодня, — заволновался Ваматр, — сегодня, а мы еще ничего не решили. Крэл, Крэл, всё, о чем вы мне говорили, может быть, и правильно, но ведь это опять потребует огромных средств. Уникальная аппаратура, которую надо затащить сюда, в горы; понадобятся еще и еще специалисты, которых надо как-то заманить в кратер. А это значит — расширить поселок... Хорошо, что вы, молодежь, здесь, в горах, в волейбол не играете, а то вот спортплощадки...

Поведение Ваматра раздражало Крэла. Он не выносил его манеры паясничать или униженно лепетать нечто несуразное в трудные для него минуты.

— Вероятно, доктор, вы правы, — жестко начал Крэл. — Опять деньги, опять спортплощадки, унитазы, прецизионная аппаратура, вертолеты и астрономы, нуж-

ные только для прикрытия нашей деятельности, а между тем у фирмы нет средств. Значит, следует кончать с нелепой таинственностью и предложить проблему всем ученым мира.

Ваматр выпрямился, фиглярства как не бывало, и он отчеканил строго:

— На это мы не пойдем. По крайней мере пока. Что касается денег...

— А я знаю, как подойти к Хуку, чтобы он раскошелся. — Это прозвучало у Инсы задорно, немного хвастливо, совсем по-девчоночьи.

— Ты... знаешь?

— Пожалуй, да! — сказала Инса уже серьезно. — Вы представляете, что произойдет с фирмой «Хук и компания», если в ее руках окажется способ непосредственного синтеза органики?

— Инса, да ты молодчина! Правда, надо еще суметь заполучить этот способ у протоксенусов. Но если сумеем, то Хук... Пожалуй, Хук решится, пойдет на новые расходы.

— К делу, друзья! Крэл, мы слушаем вас. Расскажите всё, о чем вы мне говорили. Выкладывайте подробно, и мы вместе попытаемся наметить программу. А с ней, благословясь, к Хуку. Итак?

— Итак, я хочу напомнить о главном. Что характерно для протоксенусов, что с самого начала производило особенное впечатление? Их свойство создавать какое-то биополе. Вот и следует, вероятно, постараться использовать именно это свойство. Если протоксенусы и в самом деле коммутаторы Великой Связи Миров, то им, конечно, известна форма общения с любыми мыслящими существами Вселенной. Следовательно, нам остается только показать нашу подготовленность воспринять такой метод. Протоксенусы наверняка знают о нас больше, чем мы сами о себе. Поэтому теперь совершенно необходимо нам, людям, побольше узнать о них. Даже на предыдущей стадии развития протоксенусы всячески старались установить с нами контакт. Начали они давно. С попыток непосредственной передачи каких-то образов. Это, правда, привело к трагедии. Я имею в виду смерть Эльды Нолан и доктора Бичета... Затем протоксенусы пытались при помощи музыки, обладающей огромной силой эмоционального воздействия, заявить о своем желании вступить в общение с нами. Они прибегли и к более тонкому

воздействию. Стали лечить людей. Случай со мной, заживление трофических язв, исцеление Кирба от туберкулеза, наконец, — Крэл обратился к Ваматру, — я имею в виду...

— Да, да, — подхватил Ваматр, — правильно. Опухоль у меня рассосалась!

— Для чего они делают это? — продолжал Крэл. — Может быть, убирая химические шлаки в организме человека, улучшая обмен, усиливая эмоции, хотели показать доброе расположение к нам, свою готовность к установлению хороших отношений? Они подсказывали нам самые различные варианты, рассчитывая, что мы поймем их. И заметьте, во всех этих попытках протоксенусов было нечто общее. Во всех перечисленных мной случаях они влияли *на расстоянии*, то есть создавая какое-то биополе. На новой стадии развития протоксенусы излучают значительно мощнее. Давайте попытаемся регистрировать импульсы протоксенусов, давайте воспроизводить их на экранах наших осциллографов, и, я уверен, мы наконец поймем протоксенусов, узнаем, о чем они так давно стремятся сообщить нам.

— Так, значит, вы считаете их разумными?

— Нет, не считаю. Думаю, протоксенусы, получив из Сферы Связи Миров программу, делают свой кусок работы, собирая информацию, пробуя контактироваться с нами. Они, пожалуй, могут только казаться разумными, но поведение их типично для... насекомых: выполнение своей задачи «от сих до сих». Передаточная станция, к которой чертовски хочется подключиться! Не так ли?

* * *

Подключение происходило мучительно. То, чего больше всего боялся Ваматр — выколачивание денег из Хука, — как раз удалось безболезненно. Инса была права. Интуиция крупного дельца подсказала Хуку, какой переворот может вызвать открытие прямого синтеза, и он, как говорится, открыл закрома. «Астрономическая обсерватория» расширялась. К уже существовавшим сборным домикам присоединилось еще пять, к лаборатории пристроили помещение для работ по синтезу. Стройка и монтаж велись непрерывно, порой по ночам при свете прожекторов. Из долины, где кончался участок приличной дороги, почти вся транспортировка осуществлялась вер-

толетами. Теперь к кратеру, как некогда к башне в Холпе, всё время подлетали стрекозы. На этот раз металлические, и несли они не информацию и пищу протоксенусам, а ящики с оборудованием и приборами, стройматериалы, целые панели зданий.

Однако оживление, общее приподнятое настроение, возникшее на новом этапе работы, длилось не так уж долго. Прошел месяц, второй, кончался третий, а на огромных экранах, установленных в главной пультовой, не появлялось ничего такого, что можно было счесть за вразумительный знак, что подкрепило бы надежду исследователей, стремившихся подключиться к потоку Информации. Главное, правда, было уже достигнуто. В результате совместных усилий физиков и кибернетиков удавалось улавливать и фиксировать импульсы-сигналы, излучаемые протоксенусами. Как только в долине закончили монтаж электронно-вычислительного центра, показания приборов-датчиков, установленных в кратере, стали поступать на обработку в счетно-решающие устройства. Но и они не в состоянии были разобраться во всё растущем потоке сигналов. Пришлось удвоить, а затем и утроить емкость ячеек памяти, но и этого оказалось недостаточно. Тогда заговорили скептики. Считая, что несколько клеток в организме какого-нибудь жука, не говоря уже о протоксенусах, намного сложнее, чем вся система вычислительного центра, они утверждали:

— Пожалуй, электронные мозги всей планеты не в состоянии понять протоксенусов. Они просто глуше их.

Может показаться странным, но именно Хук первым давал отповедь маловерам:

— Однако и дурак кое-что поймет, если умный будет говорить с ним, скажем, о погоде.

Вообще в этот период Хук радовал Крэла и Ваматра, освободив их от необходимости постоянно выпрашивать средства на проведение изысканий. Хук не отказывал ни в чем, делал срочные, дорогостоящие заказы в различных странах мира, выписывал самую совершенную, наиболее современную аппаратуру и приборы, нанимал лучших специалистов. Впрочем, секрет его энтузиазма был прост: протоксенусы способствовали проведению органического синтеза из элементов. Ни один процесс, происходящий в биосфере Земли, не мог соперничать по скорости с тем, что происходило в лаборатории, прилепившейся к кратеру. Элементы неживой природы — азот,

кислород, углекислота воздуха под действием солнечной радиации превращались в органическую массу. Процесс не новый, миллиарды лет назад начатый на Земле растениями, но земные растения, месяцами накапливающие сахаристые вещества и крахмал, не могли состязаться с установками, находившимися под влиянием протоксенусов. Производительность опытного участка площадью в несколько квадратных метров равнялась производительности нескольких акров полей, но... но протоксенусы «разрешали» людям вести процесс только в течение срока минут в сутки. Никакие ухищрения экспериментаторов не позволили увеличить этот срок. Протоксенусы, словно демонстрируя свои необычайные возможности, вернее, знания, почерпнутые ими из Вселенской Сферы Информации, показывали, на что они способны, что в состоянии дать людям, однако выдавали только крохи.

— Не верят они нам, — сокрушался Ваматр.

— Не усложняйте, доктор, — подбадривал Хук. — Я согласен с Крэлом. Он не считает их разумными, и он прав. Нужно нам мы от них возьмем.

— Если сумеем. Сложно всё это и... страшновато. — Ваматр поежился, плотнее укутываясь в плед.

На небольшой террасе у нижнего ряда домиков-коробочек, защищенные от ветра, стояли кресла. На спинке каждого висел теплый плед, предохраняющий от сырости и холода. Ясное небо, усеянное неприветливыми звездами, чернота зияющего под ногами обрыва — всё напоминало морозную ночь где-то на севере.

— Никак не могу привыкнуть к мысли, что я в Африке. А вы, доктор? — спросил Хук.

— И я.

— Вы здесь не хуже себя чувствуете, чем в Холпе?

— Нет, нет, пожалуй, даже бодрее. Вот только...

— Вас всё больше и больше огорчают протоксенусы?

— Хуже. Люди наши. Особенно Ялко. Знаете, он как-то слился с протоксенусами. Порой говорит об их «философии», об их отношении к людским проблемам, словно выступает их дипломатическим и полномочным представителем. И не он один.

— Холодно уже становится, а хочется еще побыть на воздухе.

— Да, видимо, уже пора забираться в наши пеналы.

— Не сетуйте, доктор. Сами знаете, здесь трудно создать комфорт больший, чем это удалось.

— Ну что вы, Хук, вам это удалось превосходно.

— Вы же знаете мой девиз: всякое дело надо делать хорошо, если нельзя не делать вовсе. Смотрите, сюда идет Крэл.

— Крэл, что это у вас, неужели догадались притащить бутылочку французского?

— Сыро ведь здесь, зябко.

— Вот молодчина. Подсаживайтесь поближе и сразу же берите плед. Вы сейчас снизу? Что там, в центре?

— Наладили передачу записей на экраны верхней лаборатории и на главный пульт. Теперь от сумматоров будем получать расшифровки прямо сюда.

— А каковы сигналы?

— Хаос.

— Не будем терять надежды. Вы чем-то обеспокоены, Крэл?

— Настроение отвратное.

— Неудачи?

— Не только это. Альберт Нолан.

— Что, что с ним? — Ваматр даже вывернулся из пледа и поставил на столик рюмку с недопитым коньяком.

— Я получил от него письмо. Он предупреждает всех нас, что мы, по его мнению, теряем контроль над протоксенусами. Он очень ясно намекает, что не допустит их распространения, так как это может привести к страшным последствиям. Письмо суховатое, если не сказать больше.

— Но ведь они у нас в кратере и ничего поделать не могут!

— А их попытки взлететь? — спросил Крэл.

— Таких попыток не было.

— Следовательно, Нолан лжет?

— Альберт не может сказать неправду! — убежденно сказал Ваматр. — Никто, поймите, Крэл, никто из наших дежурных этого не видел.

— Оказывается, — Хук помедлил, — оказывается, один человек всё же видел.

— Кто?

— Лаборант Грэн.

— Грэн? Да как же он мог, как посмел не занести в протокол, не сделать записей в лабораторном журнале? Ну хотя бы устно... Нет, нет, его надо немедленно... Я не

знаю что, но что-то надо сделать немедленно. Уволить! Да, да, прежде всего уволить.

— Ни в коем случае. Может быть, это единственный шанс узнать, кто же у нас работает на Нолана. Исключительный случай, и мои детективы, надеюсь, не оплошают.

Крэл быстро повернулся к Хуку:

— Ваши детективы? Так. — Крэл помолчал. — Вы их держите и здесь, среди нас?

— Разумеется.

— Вы меня очень порадовали. Как-то надежней себя чувствуешь при мысли о такой... о таком внимании.

— Без этого невозможно, Крэл. Люди у нас разные, и теперь их много. А детективы... детективы у меня отличные.

Ваматр вдруг развеселился и захлопал в ладоши:

— Bravo, Хук! Наконец-то мы сможем оставить неприятельные разговоры об угрозах Нолана. Пусть всем этим занимаются ваши детективы. Что же касается самого Нолана, то поверьте мне: он кристально чистый человек. Вся его беда только в том, что он маньяк, догматик: никогда не верь тому, что видишь, но никогда не сомневайся в том, во что веришь. Да, Нолан не отступится от убеждения, что надо запретить нам торговать «страшной силой», и крестовый поход против нас продолжит. Продолжит, конечно.

— Странное у вас отношение к Нолану. Ребячество какое-то, сентиментальность. От того Нолана, перед которым вы преклонялись, осталось немного. Вот вы о его кристальной чистоте толкуете, а он подкупает людей и засылает их к нам.

— Неправда! Разве Альберт подкупал Лейжа, Крэла? Он обращал их в свою веру.

— Я не о них. Теперь Альберт Нолан поступает по-иному. Он просто-напросто подкупил человека.

— Вы его уже поймали? — Ваматр хитренько улыбался, вглядываясь в лицо Хука.

— Еще не поймали.

— А-а-а!

— Не спорьте, Нолан опасней, чем вы думаете, и я это докажу вам.

— При помощи ваших детективов? — спросил Крэл.

— Да, Крэл. Они главным образом и нужны для этого. И вы, доктор Ваматр, многого не учитываете, всё еще

находитесь под влиянием импозантной фигуры знаменитого Альберта Нолана. Святой, ангел. Никаких пятен на нем. Христианин! — это уже Хук произносил с нескрываемым сарказмом. — Христианин. Знаете, из тех, кто за веру гибли на ристалищах. А чем, позвольте спросить, кончилось христианство первых веков? Инквизицией, доктор, инквизицией. Вот такие, как Нолан, пытали, сжигали на кострах, кстати, таких, как вы, Ваматр, блюли чистоту догматов, изгоняя дьявола — вестника прогресса. На всё шли, когда им надо было «укреплять веру»... А подкуп — это пустячок, не стоящий раскаяния...

— Крэл! Крэл! — Инса бежала от кратера к террасе.

— Что-то случилось, — испугался Ваматр.

— Там... — Инса не могла перевести дыхания, тяжело оперлась на спинку кресла Крэла и наконец выпалила: — Гам, на втором экране... контуры.

— Да сядь ты, пожалуйста, расскажи толком.

— Идемте скорее в пультовую! Понимаете — контуры. Еще размытые, не очень ясные, но явно контуры каких-то фигур или предметов!

Подъем к кратеру всем показался трудным. Что касается Ваматра, то он едва дышал, но передохнуть отказывался.

— Скорей, скорей! Ведь, может быть, сейчас, именно в эти минуты... Не могу. Да, надо отдышаться немного. Знаете, почему-то дрожат колени. Глупо. Старый черт — расчувствовался... Пойми, Инса, если эти контуры окажутся сигналами от них, я не выдержу, расплачусь. — Ваматр крепко опирался на руку Крэла, жадно заглатывал разреженный горный воздух. — Надо быстрее оборудовать помещение рядом с пультовой. Хук, если мы увидим изображения, я переселюсь туда. Ни минуты без наблюдений! Всегда, всегда. День и ночь.

По туннелю они почти бежали и только в пультовой, не сговариваясь, замедлили шаг. К экранам они приближались чуть ли ни крадучись.

Разочарование было слишком велико. Ваматр весь как-то обмяк и, не поддержки его Крэл, вероятно, опустился бы на пол. Инса поспешно подала ему стул.

— Инса, да что же ты?

На экранах, как и вчера, как и третьего дня,плыли бесконечно изменяющиеся сочетания цветных переливчатых пятен. Инса чуть ни плача, обратилась к дежурному:

— Но ведь мы видели! Правда? Ведь нам не показалось?

— Совершенно верно. Контуры появлялись на экранах. Сперва на втором, а как только вы ушли, и на остальных. Насколько я могу судить, они повторяются периодически...

— Смотрите, смотрите! — закричал Хук. — Вот оно!

Экраны потемнели, краски сгустились, набегавшие от края к краю зеленоватые волны затрепетали, стали тревожней, и в центре каждого экрана — прием дублировался четырьмя приборами — показались контуры.

— О, теперь видно гораздо отчетливей, — обрадовалась Инса.

Сомнений не оставалось. Из хаоса сигналов, непрерывно излучаемых протоксенусами, удалось наконец выделить что-то организованное, и это давало возможность заключить: контуры не случайны, они — и это казалось главным — что-то изображают. Но что?

— Да, да, — волновался Ваматр, — что может значить эта странная фигура?

— Мне кажется, — Крэл был возбужден не меньше Ваматра, голос его срывался, — мне кажется, это даже не важно сейчас. Сам факт получения первого изображения вселяет надежду. Мне бы не хотелось ошибиться, но сегодня, да, пожалуй, сегодня исторический день — мы подключились к Великой Сфере Связи!

Хук сновал от пульта к стене, на которой были смонтированы экраны. Строгая медальность сошла с его лица, на нем расположилась хорошая, даже какая-то наивная улыбка, оно помолодело. Трудно было предположить, что Хук сможет вот так, очень по-детски, восторгаться случившимся, и, когда он потрогал экран рукой и руку отдернул, как нашкодивший мальчишка, Ваматр рассмеялся. Счастливо, искренне, по-доброму. Он обнял Хука, и Хук сказал тихо, казалось, только Ваматру, но слышно было и Крэлу и Инсе:

— Фармацевту и вдруг выпало такое!..

Первым протрезвел Крэл и деловито обратился к дежурному:

— Вы отсняли изображение?

— Разумеется.

— Да, да, всё фиксируйте на пленку. Потребуется масса пленки, черт возьми, но ничего не поделаешь — каждый штрих должен быть сохранен.

— Не отчаивайтесь, Хук, затраты на пленку вас не разорят. Все сигналы подаются в центр и фиксируются в ячейках памяти.

— Надежно ли это? Знаете, Ваматр, на фотопленке как-то привычней, крепче... Посмотрите, вам не кажется, что рисунок становится ярче?

— Да, пожалуй... Но это не контуры какого-то предмета, а скорее геометрическая фигура...

— Фигура странная. Две линии под небольшим углом. Каждая переходит в закругление с разным радиусом и потом снова отрезки прямых линий...

— Нет, эти короткие отрезки не прямые...

— Стоит ли спорить? — вмешался Хук и приказал дежурному: — Позвоните в центр, пусть сделают отпечатки снимков и сейчас же раздадут всем, мокрыми.

— Совершенно верно. Весьма вероятно, что математические формулы помогут понять, что они хотят передать нам... Минутку! Однако это...

Экраны опять потемнели. Загадочные контуры, появившиеся на них, то исчезали, то вдруг возникали, становясь ярче раз от разу. Фон, цветной, переливчатый, стал мерцать. Волны красок побежали от краев экрана к центру, к изображению, словно сгоняя к нему частицы, из которых должно было вылепиться изображение. Казалось, идет огромная, напряженная работа по созданию какого-то образа. Прошло еще несколько минут, и у наблюдателей сомнений не осталось: на экранах виднелись не контуры сложной фигуры, а предмет. Если до сих пор он виден был в одном ракурсе, то теперь стал разворачиваться, становился объемным.

— Да ведь это... это трубка!

На пульте дежурного замигали красные лампочки.

— В кратере беспокойно. Протоксенусы излучают интенсивней обычного, — быстро пояснил дежурный.

Экраны вспыхнули еще ярче, затем сразу потемнели, но в центре каждого совершенно отчетливо видна была изящной формы курительная трубка.

Сигнальные лампочки на пульте погасли одновременно с экранами. В пультовой стало темно и тихо, удивительно тихо. Горела только затененная лампа на столе у дежурного и едва слышно, словно отмеряя тишину, ритмично пощелкивало какое-то реле.

— Где же я видел точно такую трубку? — задумчиво проговорил Крэл.

— Знаете, — живо подхватил Ваматр, — впечатление такое, будто мне она тоже знакома. Ерунда, конечно... Странный, очень странный предмет для... для установления первого контакта....

С этого момента жизнь исследователей, поселившихся возле кратера, стала особенно напряженной. Хотя на экранах изображений больше не появлялось, никого не покидала уверенность, что контакт будет налаживаться. Раздражала, конечно, зависимость от протоксенусов, однако все испытывали огромное удовлетворение: направление поисков выбрано верное, ведь удалось всё-таки из хаотического, бессмысленного нагромождения сигналов-импульсов вычленить что-то понятное, знакомое! Но почему вдруг курительная трубка?!

Впрочем, скоро стало не до праздных пересудов — справляться с протоксенусами день ото дня становилось трудней. Уже никто не рисковал спускаться в кратер без скафандра, а затем большинство опытов пришлось проводить посредством дистанционно управляемых манипуляторов.

Первые восторги быстрее всего прошли у Хука. Он, как и его сотрудники, разумеется, ждал новых контактов, но по-настоящему озабочен был только одним: каким образом форсировать работы по синтезу. Оспаривать его желание никто не мог, да и не собирался, понимая, какие блага сулила возможность синтезировать органические вещества непосредственно из элементов. Однако и здесь протоксенусы оставались хозяевами положения. Только сорок минут в сутки они благосклонно разрешали пользоваться их милостями.

Хук настаивал на том, чтобы прижать протоксенусов, и добился своего. Живительное излучение установленных по кромке кратера генераторов стали отпускать им в течение сорока минут в сутки, выдерживая в остальное время на голодном пайке. Они впали в состояние, напоминавшее анабиоз, и выдрессировать норовистых обитателей потухшего вулкана так и не удалось. Впрочем, норовистых ли?.. Вероятно, они действовали по заложенной в них программе или, получая команды извне, почему-то не спешили одаривать людей.

Как только Лейж вернулся из очередной поездки в Европу, он с увлечением занялся выколачиванием из

протоксенусов секрета синтеза, но и он ничего, кроме создания более строгого режима, придумать не смог. Протоксенусы быстро приспособились к еще более жестким условиям, не сдавались и только умили активность, сократив мощность излучения до минимума. Не исключено, что именно это обстоятельство натолкнуло Крэла на мысль использовать в схеме приема сигналов систему мобильных усилителей. Теперь он не давал покоя ни Ваматру, ни Хуку, убеждая в необходимости приобретения новой дорогостоящей аппаратуры.

— Усилители нужны. Много. Не менее двенадцати. Синтез синтезом, но поймите, насколько же привлекательней возможность установления контактов! Как можно, увлекшись перспективой получения дешевого органического сырья, свернуть работы по выяснению главного: существует ли система Вселенской Связи Миров?

— Су-ще-ству-ет, — раздельно и очень уверенно вставил Ваматр.

— Мы еще далеки от того, чтобы утверждать это столь определенно, — отпарировал Хук. — А мобильные усилители... Где гарантия, что схема, собранная вами, позволит укрепить контакт с протоксенусами?

— Непременно укрепит!

— Почему вы так думаете?

— Потому, что я перестал спать, как только составил эту схему.

Хук пожал плечами.

— А я не шучу, — настаивал Крэл, — я действительно перестал спать. И вовсе не из-за возбуждающих меня идей. Понимаете, как только я закончил схему приема сигналов с мобильными усилителями, я не испытываю потребности в сне. Врачи не находят никакихстораживающих симптомов, чувствую я себя отлично, бодр, могу работать круглосуточно.

— Постойте, постойте... — Хук силился понять, что происходит.

— Еще один дар протоксенусов, — лукаво улыбнулся Ваматр.

Хук сел.

— Такой дар может оказаться не менее соблазнительным, чем непосредственный синтез.

— Но учтите, и этот дар из «рук» протоксенусов. Хотят — одарят нас, а не захотят...

— Толково ли медики произвели проверку, Крэл?

— Да, пожалуй. Кроме тщательного обследования, которому я подвергся у невропатолога, физиолога, психиатра, я проделал следующее. Несколько ночей проводил здесь, у кратера, а затем уезжал в долину. На биостанции — там у них небольшой отель — я спал много и с удовольствием. Там влияние протоксенусов, вероятно сумевших по-новому организовать торможение и отдых клеток моего мозга, почти не сказывалось.

— Жаль.

— А вы, Хук, — съехидничал Ваматр, — уже замыслили наладить выпуск таблеток?

Шутка рассердила Хука, он побагровел, резко повернулся к Ваматру, и Лейж поспешил разрядить обстановку:

— Кстати, не нравится мне эта биостанция.

— Ничего не поделаешь — биостанция была здесь еще до нас, как вы знаете.

— Знаю, но вот теперь... Похоже, что там приютились субъекты, готовые выведать как можно больше о наших делах.

— Почему вы так думаете?

— Многое настораживает. В частности, мне показалось странным, зачем наш лаборант... Словом, я его видел на биостанции, и он поспешил удрать оттуда, чтобы не попасться мне на глаза.

К удивлению Крэла, Хук никак не реагировал на сообщение Лейжа.

— Вероятно, приобрести эти мобильные усилители придется, — сказал он, — хотя бы для того, чтобы проверить, действительно ли ваша новая схема понравилась протоксенусам. Они фактически продлевают вам жизнь на одну треть. Ну что же, может быть, они в самом деле показывают таким образом, что мы на верном пути. Попробуем усилители. Оформляйте заказ.

Как только Лейж занялся испытыванием у протоксенусов секрета синтеза, он в лице Петера Ялко приобрел лютого врага. Ялко никому не давал покоя, настаивая на смягчении режима для протоксенусов, но мало у кого находил поддержку. Азарт охватил всех. Теперь не только Хук, а и Крэл, Инса, почти все сотрудники Ваматра, раздраженные упрямством выращенных ими питомцев, во что бы то ни стало хотели сломить их сопротивление.

Большинству этого хотелось вовсе не для того, чтобы воспользоваться какими-то благами, нет, просто люди представить себе не могли подобного неподчинения.

В помещениях, наскоро оборудованных возле главной пультавой, работа велась круглосуточно. Маленькую комнату, примыкавшую к застекленному балкону, висевшему над кратером, оккупировал Ваматр. Он распорядился перенести туда свою узкую железную кровать и там, почти не появляясь на поверхности, проводил большую часть суток. Крэл, тоже по многу часов сидевший в пультавой, нередко слышал, как поздно вечером, ближе к ночи, Ваматр играл на скипке. Страсть его к музыке не угасла, но теперь он играл только для себя. Играл плохо. Это понимал даже Крэл, начисто лишенный музыкальности. Однако и эта, плохая игра, судя по показаниям приборов, подбадривала протоксенусов. Теперь не они влияли на Ваматра, а он своими замысловатыми, непонятными людям импровизациями оживлял, поддерживал их, содержащихся на скудном лучевом довольствии.

Прошел месяц, а Лейж так и не порадовал Хука надеждой добыть у протоксенусов секрет синтеза. Излучали они слабо, никаких изображений на экранах не появлялось, и Крэл, не дождавшись поставки усилителей, начал обдумывать план атаки на Хука. Однажды, когда в пультавую зашел Ялко, Крэл решил ему рассказать о своем намерении добиться отмены «санкций».

— Петер, вы правы, надо прекратить это, — начал он, показывая на график жесткого режима. Ялко поднял на Крэла свои узкие грустные глаза и чуть-чуть улыбнулся. Впервые за последнее время Крэл обратил внимание на то, как выглядит Ялко, и огорчился происшедшей в нем перемене. Тоскливый взгляд, сероватый цвет лица, появившиеся вдруг морщинки — всё говорило о том, что он, очевидно, болен. — Вы плохо себя чувствуете? К врачам обращались? Может быть, здесь, в горах...

— Ах, Крэл, не в горах дело... Ведь их держат в ужасных условиях, а я ничего не могу поделать. Мне больно... Все так жестоки. Даже Инса. Ведь она могла помочь нам...

— Кому нам? — настороженно переспросил Крэл, но Петер не обратил внимания на его вопрос и продолжал сумбурно:

— Совсем плохо. Координация нарушена, напряженность биополя ничтожная. Еще несколько дней таких

страданий, и мы погибнем... Крэл, попросите Инсу. Доктор Ваматр всё сделает для нее. Попросите.. Она вас любит и для вас... Впрочем, что я говорю, ведь вы сами готовы истязать их...

В пультовой немного посветлело — дежурный отлучился и, уходя, включил еще одну лампу над доской приборов. Ялко бросился к пульта и сразу погасил ее.

— Не надо, ведь им теперь особенно вреден лишний свет... Крэл, а может быть, вы всё же поддержите меня? Ваше слово много значит для Хука.

— Петер, ведь я начал говорить с вами именно об этом. При жестком режиме мы больше не получаем от них никаких осмысленных сигналов. Надо кончать с этим, надо продолжить попытки включиться в Биосферу Связи!

Казалось, Ялко должен был обрадоваться, услышав такое заявление Крэла, но он стоял всё такой же поникший, измученный и печальный.

— Всем от них чего-то нужно... Дешевой органики, продления жизни или вестей ниоткуда... Вот даже вы, Крэл... А ведь именно вы способны понять протоксенусов.

— Понять?

— Я так думал... Наверно, я в чем-то ошибся, однако не в главном... Всё же хорошо, что мы добыли вас.

— Вы тоже участвовали в поимке? — Крэл попытался шутливым тоном изменить стиль разговора, но ему это не удалось. Петер продолжал всё так же серьезно и с грустью:

— Да, я сразу, как только узнал о ваших работах, решил, что вы должны быть с нами. Вот мы и начали борьбу за вас. Инса предложила поехать в Рови... Роль ей шла, и мы как-то увлеклись всем этим. Мальчишество, конечно... А время-то было удивительное! Или оно только кажется таким потому, что впервые начинаешь играть с судьбой в пятнашки... — Ялко склонился над пультом, сделал несколько переключений и продолжал, не оборачиваясь к Крэлу: — Она ездила и ездила в Рови... И каждый раз, когда возвращалась оттуда, она уходила от меня всё дальше... Зато Холп приобрел вас, Крэл. — Ялко оставил пульт в покое и посмотрел на Крэла. Пристально, словно видел его впервые. — Впрочем... С чего я начал? Ага, ваша идея Биосферы Связи... Ни к чему этот вычислительный центр, куча самых совершенных машин. Умных и бездушных. Сложно всё это и не нужно... Лучший приемник — человеческий мозг, когда

он стремится понять. А протоксенусов просто надо понять... Тогда всё почувствуешь и поверишь... А экраны, зачем они?..

— Я вас не понимаю, Петер!

— Крэл, — Ялко заговорил шепотом, быстро, уже не сбивчиво, — дежурный вышел. Он знает, что в пультровой находитесь вы, и совершенно спокоен. Крэл, ну на несколько минут, ну пожалуйста!

Ялко положил руку на рычаг управления генераторами. Крэл, словно загипнотизированный, смотрел на его руку и не в силах был ничего ответить. Он знал, что вот сейчас Ялко нарушит строгую инструкцию, передвинет рычаг, прибавит живительного излучения своим любимцам...

Сдвинул Ялко рычаг или не сдвинул, Крэл так и не уловил почему-то. Поведение Ялко, возбужденного, экзальтированного, не давало покоя Крэлу, волновало его самого.

А Петер уже легонько подталкивал его к стеклянной толстой стене балкона, нависшего над пропастью:

— Пойдемте, Крэл, пойдемте!

Черневшая под ногами бездна даже не пугала: не пять было, сколь она глубока. Только ни на миг не оставляло сознание, что там, на дне, — *они*. А Ялко всё вел и вел Крэла к стене, всё вел и вел... Показалось странным, почему небольшое расстояние, отделявшее пульт от стены из толстого свинцованного стекла, они проходят так долго. Ялко сжимал его локоть крепко, до боли, но и боль эта не мешала, была даже приятной, успокаивала... Они всё шли и шли в темноте. Шли до тех пор, пока темень не стала редеть, исчезать, незаметно превращаться в сероватую мглу. Мгла становилась белесой, а затем такой, каким бывает небо в раскаленный полдень. И полдень настал. Постепенно заголубел над головой яркий купол. Искристый, словно сотканный из мириад звезд, пылающих и днем. Пылающих и не палящих зеленъ. Удивительно свежую, мягкую, видневшуюся везде — и под ногами и дальше, вплоть до отлогих, спокойных холмов.

Дивное ощущение покоя, простора охватывало при виде незнакомой и всё же приветливой травы, при каждом глотке воздуха, пахнувшего цветочной пылью и росинками ночи. Хотелось броситься на эту ласковую, упругую траву, но и хотелось идти дальше, к заманчивым рощам,

к синеющим вдали озерам, к горам, кокетливо прикрытым сиреневой вуалью... И они шли. Долго. Бесконечно долго, нигде не встречая укатанных дорог, прокопченных зданий, машин и реклам. И шли и одновременно валялись в траве, и обрывали фиолетовые листки с кустов, и одновременно пили из вкусных, чистых, что-то нашептывающих ручьев. Взбирались на холмы и весело скатывались в долины, не похожие одна на другую... Шли и шли не устывая. Шли, как на звонком празднике. Вдыхали ароматы неведомого мира, впивали мирную его сущность и, не встречая никого, не чувствовали себя одиночками в этом живом мире. Мир, странный, но не пугающий, таинственный и не чуждый, оказался приветливым, не вызывал опасений, представлялся радостным и вселял радость. Он, неизвестный, побуждал мысль, и казалось: он мыслит, существует осмысленно.

Крэлу захотелось наконец сказать что-то, может быть, просто крикнуть, чтобы ощутить самого себя, но невозможно было нарушить царивший вокруг покой, боязно было сказать хотя бы слово, никогда не слышанное здесь, еще никем не произнесенное и, как знать, вероятно разрушившее бы прелесть всего увиденного. Насытиться созерцанием открывшегося мира было невозможно. Хотелось без конца бродить и смотреть, впитывать никогда еще не виданные краски, незнакомые запахи, хотелось новых встреч с неизведанным...

— Ябло, — не удержался Крэл и больше ничего не успел сказать. Нейстово-голубой купол над ними мгновенно померк, дневное сияние обратилось в свет ночных звезд, и, хотя всё их окружавшее не исчезло, а только померкло, стало тревожно, почти страшно.

— Крэл, возвращается дежурный.

В пультовую они вошли спокойно, будто не через стену из четырехсантиметрового стекла, а через услужливо раздвинутые кем-то двери. Ябло поспешил к пульту. Крэл оглянулся назад. Огромные стекла были на своем месте, чернели, поблескивали, отражая разноцветные лампы приборов, и за толстыми стеклами балкона, нависшего над давно-давно потухшим вулканом, продолжали свою загадочную деятельность протоксенусы.

Крэл решил сейчас же пойти и рассказать о случившемся Ваматру, но почему-то удержался и поспешил ра-

ыскать Инсу. Она была в своей лаборатории. Радостно возбужденная от ощущения кипящей вокруг нее работы, окруженная помощниками, она кивнула Крэлу, бросила нетерпеливое «подожди минутку» и вновь склонилась над прибором.

«Минутка» продлилась час, затем все устремились в столовую. После ужина общество по обыкновению собралось на нижних террасах. Здесь устраивались кто как мог — в шезлонгах, за маленькими столиками или на низких парапетах, огораживавших крутые склоны. Вокруг говор, болтовня, шутки — словом, привычное оживление. И Крэл, хотя и сидел с Инсой за отдельным столиком, никак не мог начать говорить о недавно случившемся.

— Пойдем, — не выдержал Крэл.

— Куда?

— В пультовую.

— Ой, Крэл, я так устала...

— Пойдем, Инса, пойдем. Это очень важно. Кто там сейчас дежурит? Твой сотрудник?

— Да.

— Ты его сможешь... Сумеешь на несколько минут, ну, например, послать за чем-нибудь или каким-то другим способом на время удалить из пультовой?

— Да что случилось, Крэл?

Они уже шли по крутой тропинке, поднимаясь к входу в туннель, и Крэл рассказал Инсе о путешествии, совершенном вместе с Ялко.

— Я боюсь за Ялко, — тихо проговорила Инса. — И за тебя боюсь.

— Инса, а, знаешь, он любит тебя.

— Да, давно, — просто и спокойно ответила Инса.

— Давно? Еще до... До того, как ты заделалась девчонкой с канатной?

— Конечно... Он хороший. Я бы его полюбила, наверно, но ведь есть ты!

Дежурного Инса отправила с легкостью, ей одной присущей, не подав и виду, что они с Крэлом замышляют что-то недозволенное. Проделала она всё это быстро, почти шаловливо, но, как только дежурный ушел, встревожилась:

— Нехорошее мы затеваем. Оставим, Крэл.

— Ты боишься? — Крэл уже держал руку на рычаге. — Боишься, что не вернемся оттуда?

— Мы ведь пойдем вместе!

— Ах, Инса, не до эмоций сейчас. Дело серьезное, и без твоего согласия я не пойду.

— Включай.

Теперь Крэл, как недавно Петер, сжимая руку Инсы, вел ее к стеклу. Крэл помнил, как всё произошло с Петером: они шли быстро, уверенно и совершенно не заметили толстой стеклянной стены балкона. С Инсой они тоже шли быстро, уверенно и больно стукнулись о стекло.

Крэл стоял упершись лбом в холодное стекло и молчал. Стоял, пока Инса не потянула его за рукав.

— Крэл, ты никому, кроме меня, не рассказывал об этом? — Она смотрела пылливо, с тревогой за него.

Крэл молчал.

— Ты никому не говорил?

— Нет.

— Крэл, я боюсь за тебя, Крэл, я с ума сойду, если с тобой что-нибудь случится, Крэл!.. Никому не говори. Никому, даже деду. Особенно Хуку...

Крэл не послушал Инсу и о своем путешествии с Ялко подробно рассказал Вamatру. Как и предполагала Инса, ничего, кроме конфуза, из этого не вышло. Вamatр шумел, нес нечто невразумительное и из одной крайности впадал в другую. То он с восторгом кричал о достигнутом наконец прорыве через Пространство, подчеркивая, что произошло это благодаря мгновенно полученной Информации, то с издевкой говорил о Ялко, намекая на его неуравновешенность.

— Петера надо лечить. Да, да, лечить! Куда смотрят наши эскулапы, хотел бы я знать?! В отпуск! Распорядитесь тотчас отправить Ялко в Европу. Он зарабатывает у нас неплохо, холостяк. Куда он деньги деваает? Впрочем, это его дело. Пусть сегодня же едет в... Я не знаю, куда в таких случаях надо ехать. Всё равно пусть едет... А вы, Крэл... Господи, такой здравомыслящий, трезвый человек и вдруг поддались гипнотическому внушению. Я вот... Ничему-то я не поддаюсь, а ведь так хорошо было бы побывать там, в этом мире!..

Инса негодовала:

— Всё равно стыдно. Лейж вот уже посмеивается. Забыл, что ему самому чудилось на острове и даже в собственной лаборатории. Лимоксенусы, видите ли, его хотели съесть!

— Не надо так, Инса.

— Прости, я, наверно, гадкая. Не могу я, когда тебя обижают. — Инса постучала своим крепким кулачком о ладонь. — А деду я еще покажу. Всем разболтал. Устрою ему... И Хуку тоже!

— Хуку я уже устроил.

Сердито суженные зеленоватые глаза Инсы расширились:

— Что?

— Рассказал ему о путешествии с Петером.

— Этого еще не хватало! Ну?

— В нем испытатель победил коммерсанта.

— О!

— Не удивляйся. Только на две недели.

— Не понимаю.

— Он разрешил на пятнадцать дней приостановить работы по синтезу...

Как только режим был смягчен, на экранах вновь стали появляться изображения. Теперь это уже были не отдельные предметы, вроде курительной трубки, а множество изображений, в которых так же трудно было разобратся, как и несколько месяцев назад в беспрерывно чередовавшихся цветных пятнах и полосах. Контуры самых различных предметов, словно в киноленте, отснятой наплывом, постоянно накладывались друг на друга. Вот показались очертания какой-то металлической конструкции, но не успели наблюдатели сообразить, что это за конструкция, как на ее фоне стала проступать скала. Вот разглядели на скале трещины, травинки, прорастающие из них, уже начался спор: наши ли это травинки или неземные, а поверх скалы поползли линии, постепенно складывающиеся в очертания каменных ступеней.

Возобновившиеся сеансы, разумеется, привлекали в пультовую. Около экранов стояли и сидели часами, однако через несколько дней утомило и это. Только с пуском пятого, очень емкого агрегата вычислительного центра хаос на экранах постепенно прекратился, и однажды ночью дежурный отчетливо увидел кратер.

Ваматр, благо он спал по соседству с пультовой, прибежал первым, и сразу нажал кнопку общего вызова. Через несколько минут у экранов уже толпились почти все сотрудники. А на экранах разворачивалась панорама окружающей местности. Создавалось впечатление, что какая-то съемочная камера установлена на вертолете.

Ясно видны были алюминиевые домики, стоящие на террасах, тропинка, ползущая к туннелю, ажурные вышки излучателей. Кратер осматривался чудо-камерой со всех сторон. Вот ушли вправо домики поселка и открылся северный склон. Скалистый, самый крутой. Осмотр кратера продолжался. Экраны то темнели, то вдруг разгорались ярче, и тогда лучше было видно, как на северо-восточном, более пологом склоне, цепляясь за скалы, вьется кустарник.

Увиденное поразило наблюдателей настолько, что никто не мог произнести ни слова. Даже когда впервые удалось уловить сигналы, излучаемые протоксенусами, перевести их в доступную человеческим органам восприятия форму, впечатление было меньшим, чем теперь, когда перед взорами притихших людей открылась целая панорама.

А панорама менялась беспрерывно. То она становилась широкой, и тогда видны были громоздящиеся на горизонте конусообразные, срезанные у вершин горы; долины, окружавшие кратер; дороги, ведущие к электронно-вычислительному центру, к поселку, к биостанции, едва угадывавшейся внизу. Но затем общий план сменился крупным, и тогда на скалах, у вышек излучателей, различимы были мельчайшие детали. Протейный кустарник, росший у самой кромки кратера, вдруг занял всё поле зрения, зашевелился, и из-за него показался протоксенус. Крупный экземпляр, но какой-то странный, почти прозрачный — такими они бывают в моменты наихудшего их состояния, — он то вспучивался, то опадал, с трудом преодолевая препятствия. Те, кто много времени наблюдал протоксенусов, сразу поняли, что этот, по-видимому чем-то травмированный, находится в состоянии близком к анабиотическому. Похоже, он двигался из последних сил, и всё же двигался. Вниз, к долине...

Яркая вспышка и на экранах — чернота.

— Сгорели трубки! — в отчаянии закричал Ваматр. — В такой момент сгорели трубки!

— Да не могли они сгореть все четыре сразу.

— Надо попробовать сменить приемники.

— Это займет уйму времени.

— В такой момент, — восклицал одно и то же Ваматр, мечась по пульту, — в такой момент!

— Но почему протоксенусы вне кратера?

— Проверьте схему приемных блоков.

- И умножителей.
- Внимание! Тише!

Экраны стали светлеть. Как в ванне с проявителем, из черноты начало показываться чье-то лицо. Пока смутно, расплывчато. Гораздо отчетливей была видна трубка, зажатая в зубах.

Человек вынул изо рта трубку, прищурился, во что-то всматриваясь. Пристально, с беспокойством.

И тогда Ваматр закричал:

— Да ведь это Нолан! И трубка его. Как я не узнал ее раньше!

Экраны погасли. Первым пришел в себя Хук и сразу направил к излучателям несколько человек. Они обшарили всё вокруг, но ни протоксенусов, ни Нолана не обнаружили.

— Так и должно быть, конечно, — резюмировал Хук. — По моим сведениям, Нолан еще не выезжал в Африку. Протоксенусы тоже никогда не покидали кратер. И вдруг эти изображения. Странно, очень странно...

— Отсюда вывод, друзья, — Ваматр, сощурив глаза, улыбался, и не понять было, шутит он или говорит серьезно, — протоксенусы нас предупреждают.

— Ну знаете!

— Не возмущайтесь, Хук. От протоксенусов можно ожидать чего угодно...

От них ждали новых сообщений, сигналов, которые помогли бы разобраться в происходящем, но прошло около двух месяцев, а они молчали, хотя им и создали самые комфортабельные условия. Люди никак не могли догадаться, каким образом можно пустить в ход коммутаторы Великой Связи. Общение получалось односторонним. Хотели обитатели кратера — люди получали доступные их восприятию сигналы, хотели — оставляли их без таковых, заставляя довольствоваться игрой замысловатых, подчас удивительно красивых цветных полос и пятен, возникающих на экранах. Казалось, протоксенусы дразнят людей. Но наконец к концу второго месяца ожидания на экранах вновь появились изображения. По большей части это были странного вида конструкции и постройки, части каких-то замысловатых зданий, расплывчатые контуры машин, никому из наблюдателей не известных.

Однако уже начал появляться кое-какой опыт. Считалось, что наплывавшие одна на другую картины, разрозненные куски, должны были, вероятно, сложиться в общую, связную картину, как это произошло в предыдущем показе. От экранов не отходили, ожидая, что вот-вот на них возникнет что-то целостное, понятное. Вскоре так и произошло. Почему-то опять ночью. На этот раз Ваматру не пришлось нажимать на кнопку общего вызова.

Путаница на экранах прекратилась, появились четкие кадры, плавно сменявшие друг друга. Эффект присутствия возник тотчас же, рамки, ограничивавшие поле зрения, уже не воспринимались. Ощущение было такое, будто вместе с кем-то, свободно парящим в воздухе, спокойно движешься между стройных зданий, гигантских эстакад, виадуков, башен, пролетаешь над поросшими зеленью пологими склонами и вновь приближаешься к незнакомым, но приятным на вид сооружениям. Воздух чист, прозрачен, небо высокое, яркое, и в нем время от времени встречаются пролетающие люди. Крылатые и бескрылые — сидящие в легких, совсем прозрачных летательных аппаратах. Расстояние до них значительно, видны они плохо, и больше всего хочется, чтобы представился случай приблизиться к ним, рассмотреть их, узнать, каковы они.

А полет продолжается. Время идет незаметно, как бы смещается. Понимаешь, что при небольшой, сравнительно, скорости (успеваешь всё увидеть подробно), путь непонятно почему проделан огромный. Недоумение и растерянность первых минут пребывания в незнакомом мире быстро проходит. Начинаешь ориентироваться в пространстве, и становится понятным, что полет проходит по кругу. Уже узнаешь то одно, то другое особенно запомнившееся сооружение. Но с каждым новым оборотом видишь, как сооружения эти предстают в новом ракурсе, и вскоре понимаешь, что движешься по спирали, закручивающейся к какому-то центру.

А потом обозначается и центр этот — конусообразная, со срезанной вершиной гора.

Кратер потухшего вулкана.

Ажурные башни по его краям очень похожи на излучатели, установленные для протоксенусов.

Теперь облет совершается вокруг кратера, то приближая наблюдателей к башням, то отдаляя, но всё время вблизи обиталища протоксенусов.

Кратер похож на тот, в который холловцы поместили своих протоксенусов. Но только похож. Генераторы тоже напоминают те, которые установлены в Африке под руководством Лейжа. Но только похожи... Нет поселка, расположенного почти у самой кромки кратера, нет тропинки, ведущей к туннелю. В долине, открывающейся взгляду, не видно зданий вычислительного центра, биостанции. Не видны африканские зонтичные акации...

Как только начался показ, все устроившиеся у экранов боялись только одного: не прекратился бы он, не исчезли бы картины незнакомого мира. Но шел час за часом, а изображения не исчезали. Жажда всё новых и новых сведений, разумеется, была огромной, неумемной, однако утомление всё же пришло, внимание стало ослабевать. Смотрели уже не с затаенным дыханием, боясь произнести хотя бы слово, а начали подавать реплики, обмениваться мнениями о увиденном, а затем и спорить.

Большинство склонялось к тому, что протоксенусы наконец открыли людям панораму какого-то мира, несомненно далекого, населенного разумными существами, так похожими на людей и вероятно уже давно обладающими станцией Биосвязи Вселенной. Но находились и противники такого мнения, считавшие, что протоксенусы показали будущее африканского кратера, дали возможность заглянуть в то время, когда неузнаваемо преобразится Черный континент, а протоксенусы... протоксенусы составят неотъемлемую часть высокой цивилизации Земли, осуществляя обмен достижениями всех разумных существ Большого космоса.

Спор возник с новой силой, когда день на экранах стал сменяться ночью. Небо потемнело, сумрак заполнил окружающие кратер долины и, насколько охватывал взгляд, то тут, то там начали зажигаться огни. Многоцветные, веселые, перемигивающиеся в далекой дымке, они говорили о кипящей в далеких поселках жизни. От одного поселка к другому теперь особенно часто стали перелетать люди. Как светлячки в тропическом лесу, их летательные аппараты прочерчивали путь в ночи. А ночь густела, чернело небо, и ярче разгорались в нем звезды.

— Звезды! — закричал Крэл. — Звезды! Зовите астрономов. Вот теперь они нам пригодятся.

Астрономов позвали. Поначалу им пришлось нелегко. Хотя экраны были огромны, изображения великолепны, но всё же сиявшие всюду огни не позволяли сделать за-

ключение, какие же созвездия проглядывают в этом небе. Мешал астрономам и кратер. Из него время от времени поднимался нежно мерцающий, уходящий в бесконечность столб света. Но вот он угас, уменьшилось число огней в долинах, ночь уверенней вступила в свои права, и астрономы, посовещавшись еще раз, твердо заявили:

— Земля. Созвездие Южного Креста, перед нами Антарктида.

— Антарктида?!

— Позвольте, позвольте, — заговорил Лейж. — Я не специалист, но Южный Крест я знаю. Совсем не похоже!

— И не должно быть похоже. Вы видите Южный Крест, каким он был примерно сто тысяч лет назад.

С этой поры какая бы то ни было планомерная работа в лабораториях прекратилась. Всё вертелось вокруг происходящего в пультовой. Хук понимал, что ничего поделать нельзя, что просто невозможно заставить сотрудников думать, например, о прямом синтезе, когда явление, с которым они столкнулись, становится действительно грандиозным.

Никто, кроме Хука, не хотел таить открытие, но Хук именно в это время с особым рвением стал заботиться об охране тайны. Не упустить из своих рук, никому не дать воспользоваться полученными наблюдениями — стало его целью. Он еще не представлял себе, как сможет использовать совершающееся в кратере, и, может быть, поэтому откладывал решение вопроса о дальнейшей судьбе открытия. Выжидать, копить результаты и выжидать — единственное, на что соглашался глава фирмы Хук и К°.

Однако продолжать накапливать результаты не удалось. Экраны внезапно угасли. Поначалу это никого не встревожило, так как протоксенусы не отличались постоянством, не баловали людей и сообщения свои посылали тогда, когда им заблагорассудится. Но на этот раз причина молчания была иной. Что-то крайне беспокоило протоксенусов. Никогда еще они не были так взбудоражены, агрессивны. На главном пульте то и дело вспыхивали сигналы тревоги. Опыт, который успели приобрести люди, общаясь с ними, выращивая их и обслуживая, теперь не помогал. Успокоить ничем их не удавалось.

— Мне кажется, не совладаем мы с ними, — сказал Крэл.

— Это еще почему? — удивился Хук.

— Мои сотрудники видели протоксенуса, переползавшего через кромку кратера.

— Этого не может быть! — запротестовал Ваматр. — Они без наших излучателей не могут... А впрочем... Ах, ничего-то мы еще не знаем о них. В кратере беспокойно, это так. Вероятно, наступает какой-то неизвестный нам, наиболее бурный период их развития, и они стараются выйти из-под контроля, из-под опеки нашей. А может быть, начинает действовать общепологический закон — стремление распространиться. Клоп и то покидает надежное убежище близ кровати...

Крэл не выдержал:

— Да к чему вы всё это? Какой там общепологический закон. Протоксенусы живут по законам Большого космоса, и удержать их мы всё равно не сможем. Не удастся и взнуздать их, заставить работать на себя. Они уйдут, распространятся, если такова у них программа, и реакция может стать неуправляемой.

— Очень по-нолановски, Крэл. Не могут они уйти из кратера.

— А их попытки преодолеть земное притяжение?

— А, — отмахнулся Хук, — это же ловушка.

— Не понимаю.

— Фотографии были изготовлены для моего детектива, чтобы он мог передать их Нолану, заслужить таким образом доверие, а затем выведать, кто же на самом деле шпионит.

— Черт знает что творится здесь, — вскипел Крэл. — Выход во Вселенную Связи и мышьяная возня с детективами. Диверсанты. Пакость! Да ведь это всё отвратительно. Открытое нами явление больше нельзя скрывать. Оно должно быть опубликовано. Я настаиваю на этом.

— А я на публикацию не согласен, — спокойно и зло объявил Хук.

— В таком случае я буду действовать без вашего согласия.

— Вы не сможете. Вы подписали контракт, дали обязательство, и если вы его нарушите... — Хук осекся, побледнел и полез в кармашек за таблеткой.

— Контракт расторгнут при эвакуации Холпа, а нового контракта, как вы знаете, я не подписывал.

— В каждой шутке, — Хук энергично сжевывал таблетку, — есть доля правды... Всё же несчастные случаи с людьми происходят. Не так ли?

— О да, конечно. «Автомобильные катастрофы, вне-

запно срывающиеся карнизы». Помню, помню. — Крэл улыбался нехорошей улыбкой, тоже побледнел, но выдержки не терял. Он вынул из кармана конверт и протянул его Хуку.

— Что это?

— Воззвание к ученым мира. В нем я коротко, но достаточно подробно описал, с каким явлением мы столкнулись и чего от этого явления можно ожидать. Остальные экземпляры я опечатал и поручил своему адвокату передать в крупные газеты... Предусмотрены различные варианты, в том числе и «карнизы».

В пультовую вбежала Инса:

— Привезли! Привезли первую партию мобильных усилителей. — Инса глянула на Крэла, повернулась к Хуку: — Что здесь происходит, Крэл?

— Ничего особенного, моя дорогая. Обмен мнениями.

Хук быстро направился к выходу, но затем вернулся:

— Крэл, ваш заказ выполнен. Подумайте, не горячитесь... Мы уже увидели много. Неужели теперь, когда осталось сделать, может быть, последний шаг и мы услышим Вселенную, вы... — Хук протянул Крэлу его конверт. — Возьмите и продолжайте работу.

Крэл медлил. Конверт чуть подрагивал в протянутой руке Хука, и это не могло продолжаться долго.

— Хорошо, схему, которую мы уже начали монтировать, я доведу до конца.

Возможность не спать, точнее, спать по полчаса, по сорок минут в сутки, позволила Крэлу довольно быстро закончить разработку новой установки для приема и расшифровки импульсов, испускаемых протоксенусами. Физики, кибернетики, математики и радисты хуковской «обсерватории» день и ночь трудились над созданием аппаратуры, предназначенной для накопления и обработки огромного количества информации, над системой адаптивной, самонастраивающейся, которая способна была решать сложные задачи без предварительного программирования. Работали день и ночь не в переносном смысле этого слова, а в буквальном, так как каждое удачное решение того или иного узла, агрегата или конструкции установки, каждая правильная мысль расчетчиков и конструкторов тут же награждалась: автор не ощущал потребности в сне, оставался бодрым, энергичным и с особенным подъемом, с чувством удовлетворения продолжал работу.

Дело двигалось споро, и этому способствовали... про-

токсенусы. Как только кто-то из сотрудников становился вялым, сонливым, быстро уставал, Крэл понимал: сделан ложный ход, взято неверное направление, неудачна принятая конструкция, и это помогало ему немедленно перестраивать работу.

Пришло время, когда удивляться свойствам протоксенусов уже не приходилось. Они отчетливо дали понять, каковы их возможности. Оставалось использовать эти возможности и постараться показать, что люди могут включиться в Биосферу Связи...

С получением последней партии мобильных усилителей завершалась окончательная сборка аппаратуры, на которую Крэл возлагал столько надежды. Он даже не волновался, его не тревожили сомнения — удастся эксперимент или нет, настолько он уверовал в направляющее действие могущественных обитателей кратера. Крэлом теперь владело одно чувство нетерпения. Он почти всегда находился в главной пультовой, стараясь не упустить подходящее время для включения новой системы расшифровки. День шел за днем, а включить ее не удавалось, так как протоксенусы не утихали. Что-то беспрестанно продолжало их беспокоить, на пульте то и дело вспыхивали сигналы тревоги, а на экранах вновь и вновь возникало изображение курительной трубки.

Крэл выжидал, будучи уверен, что, как только у протоксенусов настанет период спокойствия, он включит систему и она непременно сработает. Не может не сработать. Не может! Он повторял эти слова как заклинание, как призыв к свершению и неусыпно подстерегал, когда в кратере станет спокойно.

И такой момент настал.

Исчезла курительная трубка на экранах, а затем исчезли и сами экраны, стены, темные, свинцованного стекла огромные окна, пульт, весь балкон, нависший над черной бездной, и Крэл увидел... нет, вернее, воспринял всем существом, как Вселенная вошла в кратер и раскрыла себя... Сколько он пробыл наедине с ней, он не представлял. Познание еще никем не познанного могло сломить его, он это понял и, собрав все силы, вырвался из пульта.

В ярко освещенном туннеле Крэл перевел дыхание и сразу припер дверь, словно опасаясь, что возникшее там, за ним, может вдруг заполнить пультую, может хлынуть паружу.

Прошла минута, может быть час, а Крэл всё стоял, не меняя позы, чувствуя, как по лицу медленно стекают капли пота, стоял, едва дыша, не отрывая глаз от входной двери в туннель... Кто войдет в нее первым? Вероятней всего, дежурный. Не окажется ли нагрузка для него чрезмерной? А кому она будет под силу?.. Сейчас может прийти Инса. Что, если она, как и Эльда, всем существом потянется к прекрасной тайне и не выдержит... погибнет, как Эльда, как Бичет... Беспокойство росло, Крэл никак не мог принять решение — что делать, если в конце туннеля появится Лейж, Ялко или Ваматр...

Вошел Хук.

Вверх по туннелю он шел медленно, не сразу обратил внимание на странную позу Крэла и, только приблизившись к нему, испуганно спросил:

— Что с вами, вам дурно?

Крэл помотал головой и указал на всё еще подпираемую им дверь.

— Так вам удалось, вы включились, увидели?

— Включился... Но я... я не увидел, нет, я ощутил... Мне стало страшно — всё это непостижимо, сложно... Мы делали всё возможное, добиваясь контакта, и не задумывались, чего это может стоить...

— Слишком велика нагрузка, и вы боитесь...

— Да. Я вспомнил сейчас Эльду Нолан, Бичета и не знаю, как нам быть... Встреча с другим разумом, восприятие мира, отраженного Внеземным Разумом, — это принципиально новое, неожиданное и очень сильное воздействие на человеческий разум. К нему человек не приспособлен эволюционно, не имеет защитных механизмов. Люди боятся встречи с чуждыми для Земли бактериями, потому что против них не выработан иммунитет. А ведь мозг наш при контакте с другим разумом оказывается еще более незащищенным... Мне всё время хочется держать эту дверь...

Хук тоже оперся о дверь и глухо, едва шевеля губами, произнес:

— Так вот какая она... Вселенная...

В это время дверь задрожала. Казалось, что кто-то напирал на нее, стараясь вырваться из пультавой. Хук прижал ее еще сильнее. Крэл помогал ему. Оба превосходно понимали, что нечему вырываться в туннель, и оба всё же продолжали сдерживать дверь,

— Да пустите же, черт побери!

И Хук и Крэл в эти минуты совершенно забыли, что комната Вamatра сообщается с пультовой. Вamatр стоял на пороге, внимательно всматриваясь в их лица.

— Я отключил вашу систему, Крэл. — Вamatр тоже был бледен, но стоял прямо, немного откинув голову. Глаза его блестели. Задорно, немного лукаво. — Итак, свершилось!

Вид и поведение Вamatра немного успокоили Крэла, но Хук был уже насторожен:

— Может быть, рано, может быть, надо позаботиться о том, чтобы человечество не узнало...

— А пусть его знает. Ему просто необходимо время от времени срывать ядовитые плоды с дерева познания. Пусть срывает! Почему, собственно говоря, рано? — Вamatр даже фыркнул презрительно. — Рано! Да, мы малы, дерзки и требовательны, как дети. Мы уже хотим настоящий паровозик и позитронного робота в придачу... Да, на нас обрушилось непостижимое. Ну и что из этого? Мы избаловали себя. Почему-то, размышляя о возможных контактах с мирами взрослыми, мы непременно ждем кое-чего задаром, а они, взрослые, вместо того чтобы сразу же дать нам паровозик, который, кстати, от неумелого обращения может взорваться, говорят: сначала обучись, познаний происходящее во Вселенной. Поверьте, она не страшна, она еще непонятна нам.

— Настолько, — подхватил Хук, — что нужно опасаться перегрузки: следует ли заставлять мальчишку, только-только преодолевающего таблицу умножения, изучать квантовую механику?

Вamatр не ответил, открыл дверь и, когда все вошли в пультовую, стал оглядывать ее, словно выискивая, а не притаилось ли где-то в укромных уголках хотя что-нибудь от так недавно воспринятого им, огромного, привлекательного и страшного. Про себя он не боялся так думать. С самим собой он был откровенен и, конечно, опасался происходящего в кратере не меньше, чем Хук и Крэл: за свинцованными стеклами, в темной глубине, шли процессы, может быть уже не подвластные людям.

— Чаша кратера, — тихо проговорил он, — обращена к звездам. Вселенная льет в чашу щедрый поток, и благодаря протоксенусам мы наконец пригубили ее...

Все трое еще продолжали обсуждать, каковы могут быть последствия подключения Земли к потоку Инфор-

мации, когда приборы начали сигнализировать о неблагоприятном состоянии протоксенусов. Ваматр распорядился объявить тревогу.

— Дело так серьезно? — беспокоился Хук.

— Никогда еще они не были в столь ужасном состоянии. Не могу понять, в чем дело. — Ваматр вновь и вновь просматривал ленты на самописцах. Пришла Инса, появился Ялко, но и они ничем не помогли Ваматру.

— Ничего не изменилось в режиме, как будто ничто пагубно на них не влияет, а они беснуются.

Вскоре в пультовой собрались все руководители групп. Сигналы, поступающие из кратера, говорили об одном: беспокойство протоксенусов нарастает.

Крэл отвел Ваматра в сторону и спросил:

— А если это из-за того, что мы вдруг отключили систему контакта? Они уже настроились на передачу, вероятно, сконцентрировали всю свою энергию, целиком занялись этим и внезапное отключение...

— Может быть, включить? — Глаза Ваматра забегали, он немедленно воодушевился, но опасливо поглядывал на Хука. Пожалуй, Ваматр рискнул бы и обрушил на присутствовавших в пультовой Вселенную, но в это время вошел Лейж:

— Сейчас они, наверно, успокоятся.

— А что изменилось?

— Они опять призвали насекомых.

На этот раз протоксенусы стягивали к себе только один вид бабочек, излучавших в определенном, довольно узком диапазоне. Над кратером уже вилась серенькая струйка, втягивалась в него и поглощалась протоксенусами. Лейж был прав: они немного успокоились, но не надолго. Процесс поглощения шел стремительней, чем в Холпе, и это беспокоило Хука.

— Если не удастся приостановить принудительную миграцию насекомых, тайна нашей «астрономической обсерватории» будет раскрыта! Надо попробовать как-то прекратить это втягивание.

И тут вмешался Ялко:

— Насекомые нужны в кратере, и этим сказано всё! Они нужны протоксенусам, выполняющим великую миссию. А насекомые... насекомые просто субстрат, из которого складываются протоксенусы... Мы пришли из другого мира, мы включимся в Биосферу Связи и уйдем дальше, выполнив задание!..

— Ялко! — вскричал Ваматр. — Опомнись, Ялко!

Однако Ялко уже не мог опомниться и продолжал:

— Да, да, только выполнив задание. Таких планет, как Земля, — миллионы, и большинство из них уже связано системой Биоинформации. Она вечна, как вечна Вселенная, как вечна жизнь. Перед лицом этого величайшего организма жизнь одной клеточки — биосферы Земли — ничтожна!

Ялко опустил голову, вернее, упал на стул, уронив голову на руки, и замер. Стало тихо. И в этой тишине явственно слышен был шепот Хука, коротко приказавшего:

— Врача!

Между тем на пульте опять тревожно засигналили приборы. Ваматр подбежал к дежурному, пытаясь понять, что на этот раз изменилось в кратере. Крэл не отходил от Ялко. Когда появился врач, Петеру стало, видимо, немного лучше, он даже улыбнулся, подняв на него измученные глаза, но как только врач взял его за руку, он закричал. Закричал, будто от страшной, непереносимой боли. Крэл обнял Ялко за плечи, стараясь поддержать, не дать ему упасть, однако Петер не падал. Он вытянулся, извиваясь и корчась, словно его пытали нечеловеческой пыткой, и вдруг начал выкрикивать:

— Помогите! Помогите! Мы погибаем... Не включайте эти излучатели... Помогите! — Врач ввел Ялко ампулу аминазина, но и это не подействовало. — Помогите! — Петер уже не кричал, а хрипел, с мольбой оглядывая склонившихся над ним людей: — Ну сделайте же что-нибудь, придумайте... Не могу, не могу... Инса, ведь ты должна помочь, ведь ты нам поможешь, правда?!

— Надо перенести его в амбулаторию, — распорядился врач, повторив инъекцию. — Я не могу понять, что с ним происходит.

Ялко унесли. На какое-то время в пультовой стало немного спокойней, но около полуночи начали гибнуть протоксенусы. Ваматр и его сотрудники совершенно растерялись, не зная, что можно предпринять, и только Хук, получив сообщение по телефону, принял решение:

— Идемте к генераторам! — Пригласив Лейжа и Крэла, он быстро направился к кромке кратера. Крутой подъем одолели за несколько минут. Хук шел впереди, выказывая хорошую натренированность, первым оказался у генератора и тотчас распорядился открыть крышку нижнего щита. Лейж открыл и изумился:

— Что это такое?

— Приставки, делающие излучение наших генераторов губительным для протоксенусов. Срывайте проводку!

По бетонированной круговой дорожке прошли к следующему генератору, а от него еще к двум, на всех отключая приставки. Когда Лейж направился было к пятому, Хук остановил его:

— Погодите, теперь можно, как говорится, перевести дыхание. Приставки успели установить только на четырех. Когда попробовали это сделать на пятом... Вот, дорогой Крэл, конец нашего спора о необходимости держать здесь детективов. Диверсанта поймали. За участь протоксенусов мы теперь можем не беспокоиться.

Крэл молчал. Чернела бездна с копошащимися в ней питомцами Ваматра, над кратером чернело небо, усеянное звездами. Яркими, холодными, большими и маленькими, едва мерцающими. Две бездны смыкались здесь, на срезе давно потухшего вулкана, теперь окруженного цепочкой алых сигнальных огней двенадцати генераторов.

— До чего же еще ненадежна эта связь, — задумчиво проговорил Крэл, подбрасывая на ладони небольшую тяжелую коробочку. — Успели бы установить их на все генераторы — и протоксенусы... Мы бы лишились всякой возможности контакта!.. Давайте проверим остальные генераторы.

— Крэл, мои люди работают четко. Вы в этом убедились. — В красноватой полутьме можно было различить самодовольную улыбку Хука. — Диверсант был один.

Вмешался Лейж:

— И всё же следует пройти по всему периметру.

— Ну что же, — благосклонно согласился Хук, — давайте пройдем.

Проверка подтвердила правоту Хука. В пультовую они вернулись усталые, но довольные тем, что могут успокоить Ваматра. По своим кабинам исследователи разошлись только к концу ночи, когда протоксенусы наконец успокоились. А утром завывла сирена тревоги.

— Гибнут протоксенусы! — вскричал дежурный, увидев вбегавшего в пультовую Ваматра.

Когда в пультовую вбежал Лейж, Ваматра там уже не было. Лейжу достаточно было мельком взглянуть на приборы, чтобы понять, как серьезно обстоит дело. Погибая, протоксенусы излучали особенно интенсивно.

— Где доктор Ваматр? — спохватился Лейж, вспомнив, что тот должен был первым появиться на застекленном балконе.

— Оп, он ушел... ушел в кратер.

— Как, без защиты?! Да вы с ума сошли!

— Я ничего не мог поделать, поверьте, я уговаривал его, я даже... я даже схватил его за руку, но доктор...

Лейж бросился к шлюзу, ведущему вниз, в кратер. По железной крутой лестнице он спускался со скоростью, доступной разве только пожарным, но было поздно. Бесполезно жертвовавший собой Ваматр не выдержал огромного напряжения биополя, создаваемого протоксенусами, и потерял сознание. Лейж подхватил его на руки и стал выбираться из кратера.

Тем временем Хук и Крэл осмотрели вышки. На всех генераторах стояли приставки. Детективы Хука клялись, что на подозрении был только один человек, пойманный ими после того, как он вывел из строя четыре генератора.

— Кто же это мог сделать? Кто же это сделал?! — беспрерывно повторял Хук.

Инса не отходила от Ваматра. Он лежал у себя в маленькой комнатке, примыкавшей к пультовой. Врачи не рисковали перевозить его, да он и сам не хотел никуда двигаться, чувствуя, что часы его сочтены.

Ночью следующего дня Ваматр попросил к себе Хука, Крэла, Лейжа. Лейж не пришел — он тоже пострадал, спасая в кратере Ваматра, но несколько меньше, и его увезли в долину, с тем чтобы немедленно переправить в клинику.

Ваматр, маленький, сухонький, лежал, подобрав к подбородку колени. Иногда он приоткрывал глаза. Большие, темные, жаждущие жизни, всегда такие выразительные, а теперь увядающие. Говорил он тихо. Порой его было трудно понять.

— Все двенадцать излучателей... Инса, девочка моя, ты береги Крэла... Крэл!

— Я здесь.

Но Ваматр не понял или не услышал ответа, резко поднялся. Стремительная тень возникла на стене, и Крэл вспомнил черный силуэт на пригласительном билете... Летит он вслед за скрипкой, за своей несбывшейся мечтой...

— Крэл!

— Да, да, я здесь, я с вами.

— Как хорошо, что вы с нами, Крэл... Крэл сможет... только, пожалуй, он сможет воссоздать протоксенусов... Если... Если *они* опять дадут программу... Нет, не дадут больше. Не поверят. Пока не поверят, и будут ждать... Долго-долго. Что для них века... Не поверят. Ведь поняли, что мы еще дикие... Транзистором стали забивать гвозди... Лимоксенусов сотворили. Варварство... А потом совсем сломали. Один дикарь у другого стал отнимать и растоптали... Альберт. Зачем он так?.. Растоптали... На острове опять спокойно. — Ваматр вдруг немного ожил, даже сел в постели, лицо его чуть порозовело, глаза заискрились. — На острове опять спокойно. Чешутся дикари, вылавливая блох. Тихо. Прибой урчит, да шелестят пальмы... — Ваматр, не поддержи его Инса, упал бы. Лежал он несколько минут молча, а затем, не открывая глаз, прошептал: — Тихо на острове. И музыки не слышно. Не слышно говора Вселенной... Нет музыки на острове... Музыки... Скрипку мою отдайте Марандини... Жаль только, что это не настоящий Гварнери...

Это были последние слова «дьявола со скрипкой».

ДЕСЯТЬ ГРАММОВ НАДЕЖДЫ

На площади Палем Крэл не был давно. С того дня, когда он впервые увидел Хука. Старинная и нестареющая, небольшая, стиснутая огромными зданиями, она постоянно всасывала со всех втекающих в нее проспектов автомобили. Вращала вокруг своего фонтана и разбрасывала по проспектам, уходящим вдаль, в сизую дымку, к фьордам.

— Инса, ты взяла с собой его письмо?

— Взяла.

— Интересно, какой он теперь?

— Наверно, всё такой же, только стершийся, конечно.

Лифт полз медленно, очень медленно. По крайней мере для них. Пассажиров набралось много, их стиснули, прижали друг к другу, и губы Крэла оказались совсем близко от ее уха.

— Зачем он вызывает? — едва слышно спросил Крэл.

— Он хочет предложить хорошую работу.

— Нет, не то. Почему тогда такая спешка? Письмо с нарочным и — «приезжайте немедленно!».

Прежде чем открыть дверь, обитую серым пластиком, они постояли немного, перевели дыхание. Инса провела пальцем по латунной, давно не чищенной табличке с номером 826 и шепнула Крэлу, немного удивленно и со смешком:

— Фирма всё же существует.

— С тысяча восемьсот девяносто шестого года, — серьезно заметил Крэл и толкнул дверь.

В приемной никого не было. Крэл постучал в дверь с надписью «Управляющий».

— Да, да, войдите!

Из-за стола поднялся Хук:

— Рад вас видеть. Спасибо, что поспешили. Садитесь, пожалуйста.

Лицо Хука в неярком свете осеннего дня было прежним — медальным, но теперь на нем лежала патина древности. Говорил он мягче, усталым голосом, в котором уже не слышалось бронзовых нот.

— Я доволен, — закончил расспросы Хук, — приятно, что у вас всё хорошо. Пять лет прошло. Да, много, но я никогда не переставал думать о протоксенусах, и я, — Хук торжествуяще оглядел гостей, — и я нашел Нолана.

— Он жив?!

— Жив, но... — Хук протянул Крэлу письмо. Крэл прочел, передал его Инсе и вопрошающе посмотрел на Хука.

— Какое странное письмо. Кому он писал?

— В институт Арнольдса. Там не поняли его, не поверили.

— Боже, — прошептала Инса, — какие слова!.. Тепло, уходящее по каплям из тела. Он погибает от голода!

— В институте его сочли одним из тех, кто, рассылая жалобные письма, вымаливает себе на пропитание — он ведь не подписался своим именем, — участь таких писем определенная: большинство из них попадает в корзину. Участь нолановского была иной. И только потому, что он писал о какой-то тайне. Из канцелярии бумагу передали доктору Зуру — это мой старинный приятель, — он уловил в нем что-то необычное. Зур решил посоветоваться со мной.

— И вы поехали к Нолану?

— Ну что вы, Инса! Нолан... Не думаю, чтобы Нолану, в каком бы бедственном положении он ни оказался, мой визит придется по душе. Ехать надо вам.

— Зачем, если не считать, что его просто надо подкормить?

— Сейчас я вам объясню. Заполучив письмо, я стал действовать. После катастрофы в кратере Нолан, как известно, исчез. Как и куда, я понял только теперь. Прежде всего я направил доверенных людей по адресу, указанному в письме. Они разузнали, кто живет в лачуге, и мы начали разворачивать киноленту с конца. Кадры, в которых жалкая нора и в ней больной старостью человек. Надлежит узнать, кто он, как появился в этой дыре. Прежде всего мы проследили, откуда появился нищий старик, и вскоре удостоверились — это Нолан. Нам удалось установить, когда он сменил имя. Потом действовать стало легче. Альберт Нолан никогда не был богатым человеком, однако во время событий в кратере на его банковском счету числилась довольно приличная сумма. Надо было выяснить, куда она девалась. Почему обвинял Нолан?

— А сколько лет он скрывался под чужим именем?

— Почти все эти годы.

— Значит, деньги ушли на жизнь. Он ведь уже не работал.

— Он не работал, это так, но сумму, которой он располагал, он потратил не на себя, а на... протоксенусов.

— Что?!

— На протоксенусов, — отчетливо выговорил Хук, наслаждаясь произведенным эффектом. — Все эти годы он жил, расходуя гроши. Он издержал свои деньги сразу, в ближайшие после диверсии месяцы.

— И вы установили, на что именно?

— Да. Оказывается, Нолан притаился на биостанции, которая, как вы помните, была расположена неподалеку от нашего кратера. Он хотел в ответственный момент быть поближе к подосланному им диверсанту, рассчитывая, в случае надобности, прийти ему на помощь. Нолан постоянно держал с ним связь по радио, знал, что тот пошел переключать генераторы, слушал его сообщения и вдруг... слушать уже было нечего — его поймали. Вот тогда Нолан пошел сам. Думаю, напрямик. От биостанции к кромке кратера.

— Там крутые скалистые обрывы.

— Но зато там мы не держали охрану, надеясь на неприступность этой части горы. А Нолан, как вы знаете, Крэл, в молодости был альпинистом. В Африке он еще был крепок. Это позже, будучи в трущобах, он... Да, по-

стоянная элегантность его померкла, и тогда... кончился Альберт Нолан. Уверен: одолел он скальный подъем. Ну да не в этом дело, важен факт — он подобрался к кромке кратера. Вот вам и объяснение загадки. Нельзя, нельзя было успокаиваться, узнав, что диверсант пойман и остальные генераторы не повреждены...

Хук встал, подошел к бару, вмонтированному в книжные полки, наполнил до краев бокал и, не разбавляя, выпил. Он не предложил выпить гостям, не прикрыл, как прежде, аккуратно шкафчик и заходил по кабинету.

— Что же, по-вашему, было дальше?

— Прочтите, Инса, еще раз, о чем пишет Нолан. Вот это место. — Хук надел очки и склонился над Инсой.

— «Сил нет, скоро кончится всё... Возьмите. Я отдам тайник. А мне, мне нужно только одно — побывать у них, в последний раз ощутить призывную волну далекого мира... Я отдам *их* людям, и пусть люди решат... Пусть решат сами...» Крэл, что же это?! Значит, и он *видел*?

Крэл молчал. За него ответил Хук:

— Он столкнулся тогда с выползавшими из кратера протоксенусами.

— И встреча, — продолжил Крэл, — встреча, конечно, была необычайной. Протоксенус влиял на Нолана, весьма возможно, что Нолан оказался еще восприимчивей, чем наш Ялко, и без усилителей изведаль...

— Что же теперь делать? — перебила Инса.

— Ехать к нему. Только позавчера я добыл последнее, недостававшее звено, и всё стало на свои места. Сразу же после диверсии Нолан, скрываясь под чужим именем и действуя через подставных лиц, произвел закупки материалов, оборудования, разместил заказы на самых различных предприятиях. Для чего, спрашивается?.. Он сооружал тайник.

— На что он рассчитывал?

— Не знаю, Инса, не знаю... Встреча его с протоксенусами была трудной. Вероятно, трудной для обеих сторон. В результате этой встречи психическое состояние Нолана ухудшилось, а протоксенусы, лишённые нужных условий, главным образом наших генераторов, впали в диапаузу. Нолан прихватил их на биостанцию. Добрался до цивилизованного центра, а затем всё свое состояние употребил на устройство тайника.

— Может ли быть такое?..

Крэл заметил, что не только Инса, но и Хук, несмотря на свою убежденность, смотрит на него вопрошающе.

— Ты знаешь, Инса, пожалуй, может... Диапауза... Нолан, вероятно, сумел создать в своем тайнике такие условия, при которых они могут находиться долго и не утратят жизненной силы. Они замерли. Насекомые тоже, как ничто живущее на Земле, способны поразительно долго, если это необходимо для сохранения вида, пребывать в состоянии своеобразного анабиоза.

— Но ведь при каких-то, немного улучшившихся, условиях они могут вновь воспринять к жизни, Крэл!

— Поезжайте к нему!

— И вы ничего еще не предпринимали?

— Я послал ему обнадеживающее письмо. На бланке института Арнольдса, разумеется.

— Тогда и отвечать он станет туда, с ними и начнет переговоры.

— О, это у меня налажено. Его ответ попадет только в мои руки. Беда в том, что ответа всё нет и нет.

— Как страшно его решение... Почему он писал, а не сам обратился в институт?..

— Он очень долго ни на что не решался, а когда принял решение — сил уже не было. Взвалив на одного себя непосильное бремя, он тяготился своим вето. Оно не принесло ему удовлетворения. Одних уничтожил, остальных спрятал у себя, — ну и что?.. Теперь он совсем плох и написал о тайнике. Не мог не написать.

— Он не в состоянии, — продолжал вслед за Крэлом Хук, — не может отказаться от даваемого людям протоксенсами. Наверно, он не раз готов был наплевать на всё и ринуться к своему тайнику. Но сил и средств уже не было. Кто знает, может быть, тайник его где-нибудь в Гималаях. Как теперь ему, старому, нищему, добраться туда? Да, взять средства неоткуда, и у него остается одна надежда — отдать тайник. Отдать с условием, что ему дадут возможность еще раз соприкоснуться с Неведомым. Крэл, Инса, пообещайте ему. Обещайте ему всё, что только он захочет, и, может быть, он отдаст ключ нам.

— Сотрудникам института Арнольдса он поверит с большей легкостью, — вслух подумал Крэл. — А ехать надо. Поедем, Инса!

Они подошли к его лачуге тогда, когда никто уже не мог открывать заколоченными пальцами замок серого поч-

того ящика, не доверяя глазам, уже не запускал в него руку, надеясь вынуть свои десять граммов надежды.

Три дырочки не были безнадежно черными. В них белел конверт, отосланный Хуком...

К Хуку они вернулись засветло. Погода резко изменилась. Небо очистилось от туч, и кабинет был залит закатным, но еще ярким солнцем. Хук выслушал их, не задавая вопросов, не углубляясь в детали. Его лицо стало темно-медным, твердым, и, почти не разжимая губ, он сказал:

— Нолан унес с собой тайну.

— Но тайник остался!

— Что вы думаете делать, Крэл?

— Искать.

Хук поднялся. Медленно. Отяжелевший и усталый, он не спеша подошел к Крэлу:

— Дела идут плохо, Крэл. Средства мои ограничены, но я готов опять рискнуть.

«А он всё такой же: риск, страх упустить лакомый кусок... Чует, что протоксенусы должны, по крайней мере, могли бы принести ему много...»

Они вышли от Хука, и Крэл, увлекая за собой Инсу, пошел не к выходу, а в конец коридора. Там, из широкого окна, хорошо была видна площадь Палем, лежащая на восемь этажей ниже. Она без усталости всё вращала и вращала вокруг фонтана автомобиля.

— Крэл!

— Да.

— Крэл, ты хочешь искать?

Странно, в этом вопросе Инса послушался испуг, неуверенность, смятение. Никогда с ней не было такого... Что с ней? Устала, больна?..

— Будем искать. Только без Хука. Вдвоем будем искать.

Инса молчала.

— Что с тобой? Уж кого-кого, а тебя должна увлечь эта цель.

— Ты хочешь искать, Крэл?..

— Ну конечно! Кому же, как не нам с тобой? Мы знаем о протоксенусах больше всех, можем располагать собой, не будучи связаны... большой семьей, и самое главное — ты надежный, хороший парень, Инса!

— Ты хотел сказать, Крэл, что у нас нет детей и поэтому мы...

— Я никогда не говорил об этом. Как ты могла подумать! Ведь я понимаю, вероятно, это... Наверно, казалось долгое общение с протоксенусами и мы...

— Крэл, — перебила Инса, — Крэл, у нас будет сын.

Крэл смотрел на нее долго, молча, и она поняла: не может быть у человека глаз более счастливых, чем сейчас у него.

— Ты сказала... сын?

— У нас, конечно, будет мальчик, а не девочка!

По коридору сновали люди, то и дело открывались и закрывались двери контор, раздавались звонки телефонов, а они, ни на что не обращая внимания, прильнули друг к другу. Как тогда, в Холпе, меж сухих сосновых корней, нависших над обрывом... Будет сын. Непременно сын!.. А что, если ему придется жить в изменившемся мире?.. Что ждет его с появлением на Земле протоксенусов, с подключением к Биосфере Связи?.. Казалось странным, что вот так, буднично, светит солнце, закатное, но еще теплое; совсем близко, в конце проспекта, уходящего в оранжевую дымку, плещется океан; город полон жизни, люди спешат по своим делам, читают газеты, выбирают в парламент, а где-то в тайнике притаилась до времени чужая, еще не понятная сила. Сила, направляемая далеким Разумом. Чужим... И живут сейчас люди бок о бок с этим притихшим пока Разумом, и всегда, в любой час, он, уже не охраняемый никакими вето, может воспрянуть и вступить в общение с Разумом Земли... А может быть, в борьбу?..

Крэл держал Инсу за руку. Крепко, ласково. Он смотрел на людские потоки, переливающиеся внизу, и, полный неизведанного счастья отцовства, хотел крикнуть с высоты восьмого этажа: «Люди, будьте людьми, достойными ВСТРЕЧИ!»

СОДЕРЖАНИЕ

Лев Успенский	
ЭН-ДВА-О ПЛЮС ИКС ДВАЖДЫ. <i>Полуфантастическая повесть</i>	7
Георгий Мартынов	
КТО ЖЕ ОН? <i>Фантастико-приключенческая повесть</i>	83
Аскольд Шейкин	
ТАЙНА ВСЕХ ТАИН. <i>Повесть</i>	195
Илья Варшавский	
ТРАВА БЕССМЕРТИЯ. <i>Рассказ</i>	291
Илья Варшавский	
ПРОДЕЛКИ АМУРА. <i>Рассказ</i>	305
Станислав Лем	
СУД. <i>Повесть. Перевод Дм. Брускина</i>	321
Сергей Снегов	
ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ТЕБЕ. <i>Рассказ</i>	399
Сергей Снегов	
УМЕРШИЕ ЖИВУТ. <i>Рассказ</i>	421
Геннадий Гор	
ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА. <i>Рассказ</i>	445
Александр Мееров	
ПРАВО ВЕТО. <i>Роман</i>	465

ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН

В мире фантастики и приключений

Редактор *Н. А. Чечулина*

Художник *С. Н. Спицын*

Художник-редактор *О. И. Маслаков*

Технический редактор *З. М. Колесова*

Корректор *И. Е. Блиндер*

Слано в набор 12/II 1971 г.

Подписано к печати 19/VIII 1971 г.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3

Усл. печ. л. 36,54. Уч.-изд. л. 39,32.

Тираж 100 000 экз. М-35149. Заказ № 1897/л.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59

Ордена Трудового Красного Знамени
типография им. Володарского Лениздата
Фонтанка, 57

Цена 1 р. 29 к.

11. 29 H.